Максим Чертанов

Конан Дойл

Предисловие

ЧТО И ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ О ЖИЗНИ АРТУРА КОНАН ДОЙЛА

Любая биография – это вымысел, который тем не менее должен быть увязан с документальными данными.

Подробных и вразумительных биографических книг о Конан Дойле не так уж много; при его популярности их могло бы быть значительно больше. Одна из причин заключается в том, что до самого последнего времени большая часть его архивов (переписка, дневниковые записи, черновики) была недоступна для исследователей; новые значительные работы появлялись по мере того, как приоткрывался архив.

После смерти писателя в 1930 году весь его архив находился у вдовы; после ее смерти в 1940-м документы перешли во владение сына Адриана, который не пожелал предоставить их для широкого доступа; единственным источником для биографов могли служить мемуары самого Дойла, опубликованные при его жизни, в 1924-м. Первую значительную биографическую работу о писателе издал Джон Ламонд; книга была в основном посвящена деятельности Дойла как пропагандиста спиритизма и не стала популярной у широкой публики. В 1943 году популярное жизнеописание Дойла опубликовал Хескетт Пирсон, специализировавшийся на биографиях известных людей. Эта книга, написанная в несколько снисходительном тоне, вызвала недовольство у Адриана Дойла, и тот вскоре опубликовал свою версию биографии отца – довольно тенденциозную и малоинформативную. Адриан также оказал помощь в написании биографической работы известному детективному писателю Джону Диксону Карру, предоставив в его распоряжение часть семейных архивов. Именно на книге Карра (и, разумеется, на мемуарах самого Дойла) базировались все последующие биографии вплоть до конца XX века.

Адриан умер в 1970 году, и архив унаследовала его вдова Анна Андерсон, которая скончалась в 1992-м. После этого между оставшимися в живых родственниками Конан Дойла начались длительные и запутанные тяжбы из-за наследства. В 1997-м умерла младшая дочь писателя Джин, завещавшая свою часть архива библиотеке Британского музея. Это открыло новые возможности для биографов. Мартин Бут в 1997 году издал книгу «Доктор и детектив: биография сэра Артура Конан Дойла»: это очень серьезная исследовательская работа, хоть и перегруженная второстепенной информацией. В 1999-м вышла одна из наиболее популярных современных биографий Дойла – «Рассказчик историй» Дэниела Стэшовера; книга очень доброжелательная и, подобно работе Карра, старательно обходящая острые углы.

В 2004-м другие наследники Дойла (потомки вдовы Адриана) выставили имеющиеся у них документы на аукцион «Кристи», в ходе которого основную часть документов также приобрела библиотека Британского музея. В результате этого в 2007-м были опубликованы сразу две книги: «Артур Конан Дойл: жизнь в письмах» Стэшовера, Лилленберга и Чарлза Фоли и «Конан Дойл: человек, создавший Шерлока Холмса» Эндрю Лайсетта. Первая из них представляет собой сборник писем с комментариями, вторая – биографический текст, автор которого сделал основной упор на внутренний мир своего героя и в итоге изрядно перенасытил книгу психологической символикой и физиологическими подробностями.

Казалось бы, точка в деле поставлена – но рецензенты по-прежнему пишут, что всеобъемлющей и всесторонней биографии Конан Дойла до сих пор нет. Во-первых, многие документы, как предполагается, недоступны по сей день либо уничтожены. Во-вторых, вновь открывшиеся архивы пролили не так много нового света на жизнь писателя, как того ожидали исследователи и читатели. В переписке он был весьма сдержан, о своем внутреннем мире писал мало; те стороны его жизни и жизни его семьи, которые представляли загадку для исследователей, так загадкой и остались: скелеты (если они были) предпочитают прятаться по своим шкафам. Но англоязычный мир по крайней мере узнал что-то новое; на русский же язык до сих пор переведены только старые биографические работы Пирсона и Карра, да и то с купюрами. Русскоязычной биографии Дойла вообще никогда не существовало: есть только отдельные статьи.

Автор данной работы ни в малейшей степени не пытался пересказывать новые биографические книги о Дойле и просит прощения у читателя, который на это рассчитывал. Эти книги рано или поздно будут переведены. Автор пытался сделать совсем другое: во-первых, написать биографию Конан Дойла «с русским акцентом», а во-вторых, увидеть жизнь героя глазами не профессионального исследователя, каковым автор отнюдь не является, но простодушного рассказчика – такого же простодушного, как доктор Уотсон, питающего столь же простодушное пристрастие к словечку «мы» («мы с читателем») и простодушно старающегося руководствоваться словами своего героя: «Каждая книга – это

мумифицированная душа, сохраняющаяся от забвения в саване из навощенной холстины, выделанной кожи и печатной краски. Под переплетом каждой правдивой книги заключена концентрированная суть человека. Личности писателей стали легкими, тела их превратились в прах, а в вашем распоряжении – их истинный дух».

Если перечитывание книги не доставляет удовольствия, то и читать ее ни к чему.

Глава первая

ЗА ВОЛШЕБНОЙ ДВЕРЬЮ

Один из самых злоязыких людей, когда-либо живших на свете, Владимир Набоков, ни в грош не ставивший Достоевского, Камю и Томаса Манна, называвший Драйзера и Голсуорси «неимоверными посредственностями», всегда проявлял снисходительность и даже нежность, когда речь шла о писателях его детства. Правда, признаваясь в интервью Альфреду Эппелю, что когда-то одним из его самых любимых авторов был Конан Дойл, он добавлял, что со временем очарование его книг поблекло. Детское – детям. Но чуть не в каждой второй книге взрослого Набокова мы можем разглядеть острый профиль Шерлока Холмса, выглядывающий из-под строчки или упрятанный в какую-нибудь анаграмму. Так поблекло ли очарование для Набокова, для интеллектуала Умберто Эко, написавшего роман о Вильгельме Баскервильском, для Станислава Лема – или что-то от этого волшебного сияния осталось навсегда?

В своей книге мемуаров «Воспоминания и приключения» («Memories and Adventures», на которую нам предстоит ссылаться постоянно, Артур Конан Дойл не без тщеславия заметил, что мог бы проследить родовое древо своих предков за пятьсот лет. Однако на страницах книги он не сделал этого, справедливо полагая, что не всякому читателю такой экскурс может быть интересен. Да и не всегда можно доверять этим деревьям: нынче любой из нас может, обратившись к специалисту и уплатив требуемую сумму, получить такое хоть за тысячу лет. Не стоит думать, что людям XIX века в своих семейных хрониках никогда не случалось немножко подтасовывать факты. Во всяком случае, в «Английском биографическом словаре» Дойлы пятисотлетней давности не упоминаются, а первым представителем рода, попавшим на страницы справочника, был дед писателя – Джон Дойл, сын дублинского ирландца, ярого католика, когда-то владевшего поместьями, но во времена Реформации изгнанного, как многие паписты, со своих земель и вынужденного заняться коммерцией.

Отец Джона Дойла торговал тканями (шелком и льном), а сам Джон уже ничем не торговал. Когда ему исполнилось двадцать, он уехал из Ирландии в Лондон и стал профессиональным художником – даже, можно сказать, двумя художниками одновременно. Под собственным именем он писал вполне традиционные картины, которые выставлялись в художественных галереях и пользовались умеренным успехом, а другая его ипостась под псевдонимом «Х. Б.» избрала довольно редкое амплуа – карикатуру. Как и сейчас, карикатуристы изображали тогда разного рода знаменитостей, в основном – политических деятелей; разница лишь в том, что в те годы, к которым относится расцвет творчества Джона Дойла – вторая четверть XIX века, – в газетах карикатуры не помещали; их литографировали на отдельных листах и продавали в книжных лавках. Спрос на подобный жанр был весьма велик, а за рисунками загадочного «Х. Б.» выстраивались настоящие очереди. Так что денег Джон Дойл зарабатывал немало.

И Артур Конан Дойл, и его сын Адриан пишут о том, что их предок был в своей работе намного утонченнее других популярных карикатуристов, сводивших весь юмор к утрированию физических черт изображаемого лица, тогда как Джон Дойл первым внес остроумие в сюжеты. Серьезная живопись, ценимая лишь знатоками – и юмористические рисунки, которые сметают с прилавков: повторение этой двойственности можно увидеть в жизни внука, которого немного раздражала баснословная популярность написанных им детективных рассказов в сравнении с остальной его прозой; однако нет никаких данных о том, что Джона Дойла бешеный успех его карикатур хоть чуточку огорчал. Это был уравновешенный человек с большим чувством юмора, высокий красавец, отличавшийся великолепной осанкой, «настоящий джентльмен», числивший среди своих знакомых королеву Викторию и принца Уэльского и близко друживший со многими выдающимися людьми того времени (Теккереем и Диккенсом, к примеру: они-то, конечно, знали тайну «Х. Б.»).

Джон Дойл женился на девушке по имени Марианна Конан, которая, если верить генеалогическим изысканиям ее брата Майкла (он еще сыграет немалую роль в жизни Артура Конан Дойла), тоже происходила из очень древнего рода: Конаны приходились родней герцогам Бретани, а одного из них, Артура Конана (обратим внимание на имя), даже увековечил Шекспир в хронике «Король Иоанн»; этого несчастного Иоанн Безземельный приказал ослепить, дабы тот не претендовал на престол. Отец Марианны и Майкла был ирландцем, как и отец Джона Дойла, и тоже торговал тканями. Майкл Конан, как и Джон Дойл, прекрасно рисовал. Он был художественным критиком и почти всю жизнь прожил в Париже. Марианна умерла задолго до рождения Артура Конан Дойла, но в его работах она вместе с Майклом обретет жизнь вечную: мы ведь помним, не правда ли, что бабушка Шерлока Холмса была сестрой французского художника Верньо?

У Джона и Марианны было семеро детей: пять сыновей и две дочери. Один сын и одна дочь

умерли еще детьми. Все выжившие сыновья унаследовали художественный талант отца (о дочери, Аннет, в этом отношении ничего не известно; основным ее увлечением была музыка). Старший, Джеймс, писал исторические хроники и сам делал к ним иллюстрации. Второй, Ричард, в наибольшей степени пошел по стопам отца: он иллюстрировал «Панч», первый английский сатирический журнал, существующий и поныне, а также книги самых значительных писателей того времени. Третий, Генри, стал художественным критиком, а впоследствии – директором Национальной галереи живописи в Дублине. Все эти трое были преуспевающими людьми и, как сказали бы мы сейчас, полностью реализовались в жизни.

Лишь судьба младшего, Чарлза Алтамонта, родившегося в 1832 году, сложилась, мягко говоря, не так удачно. Он, как и все Дойлы, великолепно рисовал; своей профессией выбрал архитектуру, получил соответствующее образование, но в Лондоне для него подходящей должности не нашлось, и в 1849-м, совсем мальчишкой, он принял должность в Эдинбурге, в Государственной палате по промышленности. Среди биографов, как ни странно, до сих пор нет единства относительно того, как же точно называлась эта должность – то «геодезист», то «архитектор», то «инженер», то «заместитель главы управления», – но все сходятся на том, что это была работа клерка.

Такое «распределение молодого специалиста» уже само по себе считалось неудачей – лондонцы, как и москвичи, любой другой город воспринимали как жуткую дыру, а на севере, в Эдинбурге, по их мнению, чуть ли не волки по улицам расхаживали, – но, с другой стороны, город всегда славился своей архитектурой, и в XIX веке в нем очень много строили. Чарлз надеялся, что будет проектировать здания – пусть не такие, как королевская резиденция Холируд, где Мария Стюарт венчалась с лордом Дарнли, но уж, по крайней мере, больницы, банки, жилые дома. Однако обязанности, которые ему поручили, были далеки от творческих: не столько архитектура, сколько бухгалтерия. И все-таки место было само по себе перспективное, можно сделать хорошую карьеру – только имей терпение.

Так что в первые годы Чарлз был настроен оптимистично, и Эдинбург, где всё, как принято говорить, «дышало историей», ему нравился: романтическая натура всегда отыщет очарование в глуши. Эндрю Лайсетт в своей книге о Конан Дойле называет Эдинбург призрачным, странным, почти зловещим местом, городом контрастов: изысканнейшая архитектура – и непролазная грязь и вонь на улицах. Конечно же он не был такой уж глушью, как казалось старшим братьям Чарлза, однако с интеллектуальной и светской жизнью там дела обстояли – по сравнению с Лондоном – не ахти как. Эдинбург подарил миру множество великих людей, но, как правило, жить там они почему-то не оставались, а стремились в Лондон – тенденция, знакомая и нам. Для Чарлза так и не нашлось подходящего круга общения – возможно, это его в конце концов и сгубило. «Он обладал живым и игривым остроумием, а также замечательно утонченной душой, дававшей ему достаточно нравственного мужества, чтобы встать и покинуть любое общество, где велся разговор в грубой манере», – напишет Конан Дойл об отце: надо полагать, вставать и уходить тому приходилось нередко. И еще в Эдинбурге очень, очень много пили – большое искушение даже для утонченных людей...

Ирландцы в Шотландии, естественно, тянулись друг к другу; по рекомендации местного священника Чарлз поселился в доме своей соотечественницы Кэтрин Фоли, вдовы, проживавшей со своими двумя дочерьми; ее отец был торговцем, как и предки Чарлза, а покойный муж преподавал в медицинском колледже. Кэтрин овдовела рано. Она заведовала курсами подготовки гувернанток и считалась женщиной бедной, но тем не менее отправила свою двенадцатилетнюю дочь Мэри Джозефин Элизабет получать образование во Францию (про их капиталистическую бедность мы еще поговорим); в 1855-м, окончив колледж, Мэри вернулась к матери. Чарлз Дойл мельком видел ее перед отъездом; теперь ей исполнилось семнадцать лет. Они полюбили друг друга и летом того же года поженились. Вторая жена Артура Конан Дойла Джин впоследствии скажет о свекрови, что та была «сильной, доминирующей личностью под покровом самой обаятельной женственности», а Чарлз был красив, добр и – к сожалению – весьма мягкотел и легкомыслен. Нетрудно догадаться, кто у кого оказался под каблуком.

Мэри была миниатюрной изящной женщиной, до старости моложавой (когда Артуру Конан Дойлу будет двадцать два года, кондуктор в поезде ошибочно примет его мать за жену), с необычным и даже экстравагантным характером: она была, как мы бы выразились, «зациклена» на своих чрезвычайно аристократических предках, с которыми предки Чарлза не могли идти ни в какое сравнение (биографы считают, что претензии Мэри Фоли на древность ее рода были совершенно безосновательны). В автобиографическом романе «Письма Старка Монро» («The Stark Munro Letters») Конан Дойл писал о матери своего героя: «По прямой линии Пекенгэмы (она урожденная Пекенгэм) считают в числе своих предков нескольких выдающихся людей, а по боковым, – о, по боковым линиям нет, кажется, монарха в Европе,

который не был бы с нами в родстве... „Ты в очень близком родстве с Перси, а в жилах Салтайров тоже есть кровь Перси. Правда, они только младшая линия, а мы в родстве с старшей; но из-за этого мы не станем отвергать родство“, – она бросила меня в пот, намекнув, что может легко уладить дело, написав леди Салтайр и выяснив наши отношения. Несколько раз в течение вечера я слышал, как она снисходительно бормотала, что Салтайры только младшая линия». Дойл замечал также, что, когда ему случалось каким-либо поступком заслужить одобрение матери, она говорила, что сын пошел в ее благородную родню; если же ему случалось свернуть с прямой дорожки, это, конечно, было дурное влияние отцовой ветви.

Молодая семья провела медовый месяц в отеле, потом несколько раз переезжала с одной квартиры на другую. Во всех биографиях Конан Дойла мы читаем, что его семья, когда он был ребенком, была *очень* бедна – встречается даже слово «нищенство». Поскольку в дальнейшем речь о бедности, богатстве, доходах и расходах будет заходить довольно часто, давайте сразу попробуем разобраться с материальным положением Дойлов. Итак, Чарлз был служащим, и его жалованье составляло 220 фунтов в год в начале карьеры (к концу ее оно увеличится очень незначительно – до 240). Один тогдашний фунт стерлингов можно приравнять – разумеется, приблизительно и грубо – к современным ста долларам США. Получается, что годовой доход молодой семьи (у Мэри за душой практически ничего не было) был около 22 тысяч долларов, то есть примерно 1800 долларов в месяц – не так плохо для семьи из двух человек. Квалифицированный рабочий или ремесленник получал тогда в два с половиной раза меньше. За свои «жалкие жилища» из пяти-шести комнат Дойлы платили значительно меньше, чем платим мы, снимая однокомнатную квартиру на окраине Москвы. Были, конечно, у викторианцев такие расходы, каких большинство из нас не знает – покупать уголь и дрова, платить прислуге. К тому же детей у Дойлов будет восемь (две девочки умрут в младенчестве). И все же до настоящей нищеты супругам было далеко. В доме всегда были хорошая мебель, картины, прислуга. В сравнении с диккенсовскими бедняками или с Акакием Акакиевичем, годами зарабатывавшим на новую шинель, фигуры Чарлза и Мэри Дойл, страдавших оттого, что они не могут принять гостей, как подобает благородным джентльменам и леди, могут вызвать у нас скорее усмешку, чем жалость.

Предполагалось, что Чарлз будет быстро продвигаться по службе, но этого не случилось, хотя он – во всяком случае, поначалу – относился к своим обязанностям с огромным рвением, хватаясь за любую работу, в том числе и выходившую за рамки его служебных обязанностей; для карьеры, как известно, не так важно много работать, как в нужное время говорить нужным людям нужные слова, а к этому он оказался решительно неспособен. Тем не менее он совсем неплохо зарекомендовал себя именно в качестве архитектора, разработав ряд впечатляющих проектов, среди которых были фонтан во дворе замка Холируд и витражи для собора в Глазго – чем не сбывшаяся мечта? Но более важным в его жизни стало другое занятие – живопись (похоже, это фамильная черта Дойлов: делать одну работу для денег, а другую для души). Он писал оригинальные акварели, изображавшие готические пейзажи и сказочных животных. В том же духе, кстати, работал и Ричард Дойл, чьей визитной карточкой были прелестные эльфы, танцующие на обложке «Панча», только картины Чарлза были более причудливы, более фантастичны и в них при всей солнечной яркости красок с самого начала ощущалось что-то трагическое – про обоих мы бы сейчас сказали, что они творили в жанре фэнтези.

Однако и как художник Дойл не смог добиться успеха. Вся беда в том, что он был слишком талантлив, при этом – дьявольски горд, да еще и слабохарактерен. Сочетание фатальное для человека, который хочет не просто заниматься искусством, но получить признание и зарабатывать деньги; такой может продвинуться лишь в том случае, если очень повезет или если он получит хорошую протекцию. Не совсем ясно, почему отец и старшие братья не смогли оказать ему такую протекцию. Они предлагали ему перевестись в Лондон, но опять же на чиновничьи должности, а этого он не хотел; неужели не нашлось бы для него хоть какого-нибудь места, предполагавшего творческую работу? Возможно, причиной столь слабого участия родственников в судьбе Чарлза было то, что он очень рано пристрастился к спиртному. Как пишет Конан Дойл об отце, судьба поместила этого «человека с чувствительной душой в условия, которым ни возраст его, ни натура не готовы были противостоять».

Грубоватые и прозаические шотландцы мечтательного очарования картин Чарлза по достоинству не ценили (хотя в подарок принимали охотно); он пытался «пристроить» их в Лондоне, но каждый раз терпел поражение, а горе заливал выпивкой. Время от времени он получал от лондонских издателей заказы на иллюстрации к книгам, обычно детским. В общей сложности он проиллюстрировал 17 изданий. Иллюстрации приносили Чарлзу дополнительно около 50 фунтов в год (между прочим, он еще и подрабатывал в качестве художника по уголовным делам для полиции Эдинбурга); это было неплохим подспорьем, особенно в начале семейной жизни, и другой человек, вероятно, был бы горд тем, что его проектные работы и

иллюстрации востребованы, и не желал ничего лучшего. Но Чарлз, рассчитывавший на быстрое и громкое признание его таланта и ревниво сравнивавший свою карьеру с куда более блестящей карьерой старших братьев, был сильно разочарован. Уже скоро – когда один за другим начнут появляться дети и в бюджете семьи образуется куча дыр, а до всемирной славы будет все так же далеко, – он сломается.

Но пока что всё достаточно радужно: отец семейства еще надеется сделать карьеру, семейство живет на Пикарди-плейс, 11 (это окраина, но квартиры там считаются вполне приличными). Мэри Энн Конан (домашнее имя – Аннет), родившейся в 1856-м, уже три года, а 22 мая 1859 года на свет появляется первый сын (за год до него родилась и почти сразу умерла еще одна девочка). Он родился крупным и здоровым, каким останется на всю жизнь. Его назвали Артур Игнатиус Конан. Крестным отцом ребенка стал его парижский двоюродный дед Майкл Конан, любитель генеалогии, и, похоже, одно из имен новорожденному (как и его сестре) было дано не только в честь крестного, но и в память о том самом бедняге Артуре Конане, которого упоминал Шекспир. Впоследствии, уже став писателем, Артур Дойл превратит одно из своих имен в часть фамилии.

Время шло, дети росли, родилась и через полтора года умерла еще одна дочка, с Пикарди-плейс переехали на другую квартиру, а карьера Чарлза не продвигалась. Он уже ни дня не мог обходиться без спиртного. У него начала развиваться депрессия и, что еще хуже, – случались припадки буйства, во время которых он мог причинить вред себе и окружающим. Не нужно представлять его злобным, заросшим бородою безумцем с дикими глазами: все, кто видел Чарлза Дойла в те годы, характеризовали его как деликатного, тихого человека, оригинального и остроумного собеседника. Современные исследователи, изучавшие жизнь Чарлза, пишут о нем с жалостью и сочувствием, как о натуре непонятной, трагической, несчастной. Все верно – с точки зрения мужчин. Но женщины, наверное, лучше поймут, что такое муж-алкоголик и как тишайший человек внезапно превращается в зверя. Воспитанием детей занималась мать – ни биографы Артура Конан Дойла, ни он сам не упоминают о каком-либо интересе Чарлза к своим детям и о его влиянии на них. И хозяйство и воспитание – все полностью легло на плечи Мэри Дойл. «Самой причудливой смесью домохозяйки и леди» назвал Конан Дойл свою мать в «Письмах Старка Монро»; там же он вспоминал ее «с ложкой, помешивающей овсянку, в одной руке, и „Revue des deux Mondes“ в другой».

В книге «Истинный Конан Дойл», написанной Адрианом Дойлом о своем отце, мы видим «мальчика, с нежнейшего возраста погруженного в рыцарскую науку XV века, растущего в лоне семьи, для которой родовая гордость имела бесконечно большее значение, чем неудобства, вызванные сравнительной бедностью окружающей обстановки». Почти все биографы Конан Дойла подробно описывают «средневековую» атмосферу, что царила в доме и определила впоследствии круг интересов нашего героя: «Руководимый матерью мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за шесть предшествовавших столетий, и, что самое главное, как верное мерило земных ценностей ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства...»

Безусловно, Мэри пыталась привить детям (особенно сыновьям) свое увлечение генеалогией и геральдикой и свою гордость предками – а чем еще ей было гордиться, бедной, разве что мужем, не сделавшим карьеры, пьющим и поднимающим руку на нее и детей? Однако любопытно, что в главе «Воспоминаний и приключений», посвященной ранним годам Артура Дойла, этот средневековый колорит как-то не чувствуется: «О своем детстве я мало что могу сказать, за исключением того, что дома мы вели спартанский образ жизни, а в эдинбургской школе, где наше юное существование отравлял размахивающий ремнем учитель старой закалки, было и того хуже». Трудно сказать, занимался ли этот злодей Свирс рукоприкладством в отношении учащегося Дойла просто так, без малейших оснований, или на то все же были какие-то причины. Не исключено, что были, так как сразу вслед за учителем и полученными от него колотушками идут воспоминания о драках с соседскими детьми: сплошь разбитые головы и коленки. Дрался этот ребенок беспрестанно, если верить мемуарам, а не верить им трудно, ибо в них почти семидесятилетний автор с документальной точностью запечатлел все свои наиболее значительные шишки и «фонари» под глазом. «Товарищи мои были грубыми мальчишками, и сам я стал таким же». Ни о каком Средневековье, ни о каких рыцарях и гербах в этой главе – ни слова. То есть читаться-то лекции по геральдике читались, но вряд ли их воздействие на мальчишку было таким уж сильным, и при всей любви к матери Артур Конан Дойл во многих своих текстах будет подтрунивать над ее увлечением.

А теперь насчет «мальчика, растущего в лоне семьи». Сам Дойл – и вслед за ним его «классические» биографы – умолчал об одном важном обстоятельстве, но современным исследователям оно хорошо известно. Дело в том, что в лоне семьи маленький Артур жил

только до четырех лет. В 1863 году (по некоторым источникам – в начале 1864-го) Мэри Дойл попросила свою знакомую Мэри Бартон взять мальчика к себе. В доме Мэри Артур прожил четыре года; он и в школу начал ходить, когда жил там. Такое поразительное решение матери было вызвано жестокостью, которую Чарлз Дойл проявлял по отношению к своей семье и особенно к сыну – жестокостью, по-видимому, далеко выходящей за рамки обычной викторианской грубости, раз уж мать решилась отдать ребенка в чужую семью. Не исключено, что даже жизни малыша угрожала опасность – или, во всяком случае, мать так считала (не забудем, что совсем недавно умерла ее двухлетняя дочь).

Лучшего выбора, чем семья Бартонов, Мэри Дойл вряд ли могла сделать. Мэри Бартон была чрезвычайно образованным человеком и выдающимся общественным деятелем. Она стала первой женщиной – членом совета директоров эдинбургского института Хэриота-Уатта, входившего в восьмерку старейших учебных заведений Великобритании (сейчас он имеет статус университета). В 1869-м, еще до вступления в эту должность, Мэри возглавила кампанию за прием в институт девушек на одинаковых условиях с юношами (закон о равном праве женщин и мужчин на получение высшего образования был принят в Шотландии лишь в 1889-м). Она также добилась открытия вечернего отделения для работающей молодежи и из своих личных средств учредила стипендии для лучших студентов-вечерников – разумеется, независимо от пола. Убежденная феминистка, Мэри Бартон выступала за равенство во всем: мальчиков, по ее мнению, необходимо было обучать вязанию, шитью и кулинарии в той же степени, что и девочек. Когда мы далее будем говорить об отношении взрослого Конан Дойла к «женскому вопросу», нужно все время помнить о Мэри Бартон – иначе многое в его позиции (заинтересованной и довольно противоречивой) будет нам непонятно. А что касается уроков штопки, они сильно пригодятся Артуру, когда он начнет жить один и по бедности – уже настоящей бедности – на некоторое время станет сам себе домохозяйкой.

Дом, где жила Мэри Бартон, назывался Либертон-Бэнк-хауз; несколько лет тому назад печать широко освещала конфликт, возникший вокруг этого дома – на его месте собирались открыть очередной «Макдоналдс». К жизни самого Конан Дойла эта история вроде бы отношения не имеет, но упомянуть о ней нужно: дело в том, что многочисленным домам, где будет жить наш герой, вообще катастрофически не везло. Дом, в котором он родился, давно снесли; на месте следующего жилья семьи Дойлов функционирует общественный туалет; другие дома также перешли в чужие руки. И это притом что по всему миру открывались и продолжают открываться новые музеи, посвященные Конан Дойлу. Либертон-Бэнк-хауз пока что удалось отстоять...

Мэри Бартон постоянно навещал ее живший неподалеку брат, Джон Хилл Бартон, человек тоже весьма выдающийся, у которого была одна общая черта с Чарлзом Дойлом: его профессия не вполне совпадала с его призванием. Юрист по образованию, он служил секретарем тюремного совета, но страстью его были литература и история. Своими трудами по истории Шотландии он заслужил титул королевского историографа. Посещая сестру, он много возился с Артуром. Его сын Уильям был тремя годами старше Артура Дойла и, насколько позволяла разница в возрасте, казавшаяся в ту пору громадной, подружился с ним. Интересная деталь: если Артур Дойл, сын инженера, станет писателем, то сын писателя Уильям Бартон сделается инженером, причем известным на весь мир: ему суждено жить в Японии и возводить небоскребы. Друзья детства будут поддерживать переписку и много лет спустя: Дойл посвятит Уильяму свой первый роман и у него же будет консультироваться, когда придет пора писать рассказ «Палец инженера».

Нет, конечно же Мэри Дойл сына не бросила. И он бывал регулярно дома (Чарлз тогда еще ходил ежедневно на службу), и она приходила в Либертон-Бэнк-хауз. Они постоянно бывали вместе, но не меньше времени и внимания Артуру уделяли Мэри Бартон и ее брат. Некоторые исследователи считают, что своим интересом к истории и литературе он обязан не столько матери, сколько семье Бартонов, – и, учитывая его тогдашний возраст, от четырех до восьми, самый восприимчивый, пожалуй, с этим есть смысл согласиться. Но сам Дойл, высказавший в своих мемуарах тысячу благодарностей разным людям, когда-либо ему помогавшим и оказавшим на него влияние, ни единым словечком не обмолвился о существовании женщины, которая отчасти заменила ему мать. Ведь иначе ему пришлось бы объяснять, кто она такая и почему он жил не со своей семьей, – а скелеты из своего семейного шкафа Дойл прятал чрезвычайно тщательно.

Обе Мэри читали очень много и приучили к этому занятию Артура; он читал книги по своему выбору, поначалу гораздо больше интересуясь тиграми, львами и индейцами, снимающими с белых скальпы, нежели английской историей; лишь лет с десяти любимым его автором стал Вальтер Скотт. Так что не совсем уж не от мира сего была Мэри Дойл, и не стоит преувеличивать «средневековость» полученного Артуром воспитания и напрямую выводить из него будущие исторические романы. Мэри Дойл и Мэри Бартон учили Артура не бить тех, кто

слабей, а, напротив, вступаться, если их бьют другие, и никогда не обижать девочек; очень жаль, если это – принципы Средневековья. Во всяком случае, помешан на генеалогии Артур Конан Дойл никогда не будет и предпочтет не чваниться заслугами предков, а обрести собственные.

В шесть лет Артур написал свою первую книгу, снабдив ее собственноручно выполненными иллюстрациями. Взрослый Конан Дойл рассказал о ней в маленьком эссе «Ювеналии», написанном в 1897 году для сборника (под редакцией Джерома К. Джерома), в котором разные писатели вспоминали о своих первых литературных опытах. В книге были два действующих лица: путешественник и тигр. Тигр, следуя своей натуре, проглотил путешественника, чем поставил автора в чрезвычайно затруднительное положение: он не знал, как ему закончить историю. В шесть лет, казалось бы, ничего не стоит вернуть героя обратно, но Артур, будучи, по его собственному утверждению, не романтиком, а реалистом, так поступить не мог. «Очень просто помещать людей в затруднительные положения, но гораздо трудней их из этих положений выпутывать» – эту истину, осознанную в очень юном возрасте, Дойл вспоминал в своей литературной жизни нередко. Из Рейхенбахского водопада выбраться окажется проще, чем из тигриного желудка. Первая книга так и осталась незавершенной и была отправлена на хранение в семейный архив, где хранилась аж до 2004 года, когда была выставлена на аукционе «Кристи». Лот оценивался в 5 тысяч фунтов. Вот бы эти деньги шестилетнему автору – сколько конфет и разных превосходных вещей можно было бы накупить...

В 1867 году Мэри Дойл показалось, что состояние Чарлза улучшается, и Артур ненадолго вернулся домой. Семья жила тогда на Сайенс-Хилл-плейс, 3; на одной стороне узкой тупиковой улочки стояли частные дома, а на другой – многоквартирные, для бедных; в таком доме и поселились Дойлы. «Домовые» и «квартирные» мальчишки регулярно дрались стенка на стенку, и редкая драка обходилась без Артура. «Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой, очень часто с разбитым носом.» Все совпадает, за исключением одного: Артур был крупным ребенком, и кулаки у него уже в самом нежном возрасте были тяжелые. Носам противников доставалось сильно. Принято считать, что свои «нерегулярные части с Бейкер-стрит» Конан Дойл писал, вспоминая именно этот период своей жизни. Может, и так, но на мальчишек из бедных семей он еще насмотрится, когда станет доктором.

В эдинбургской школе преподавали арифметику, немного географии, истории и того, что мы назвали бы природоведением, заставляли выучивать стихи наизусть, иногда давали писать небольшие сочинения. С математикой Артур не поладил с самого начала (именно поэтому, как полагают некоторые изыскатели, Мориарти стал математиком); для будущего архитектора, каким видели его родители, это было очень скверно. Что касается живописи, то каких-либо особых талантов маленький Дойл вроде бы не обнаруживал, хотя рисовал для ребенка очень неплохо. Больше всего он, разумеется, любил читать и глотал книги с такой скоростью, что в городской библиотеке Эдинбурга – так, во всяком случае, гласит семейное предание – был собран специальный совет, на котором решалось, позволительно ли абоненту Дойлу обменивать книги чаще чем три раза на дню. «Я не знаю радости столь полной и самозабвенной, – вспоминал он, – как та, которую испытывает ребенок, урвавший время от уроков и забившийся в угол с книгой, зная, что в ближайший час его никто не потревожит».

Уже учась в школе, Артур начал сочинять свою вторую историю: записать текст на бумаге не нашлось времени, благодаря чему роман сделался бесконечным. Никаких рыцарей, кстати сказать, там не было: прерии, океаны, альбатросы, индейцы, буйволы, отравленные стрелы и охотничьи карабины. Известно, что о литературных фантазиях маленького Артура с одобрением отзывался парижский дедушка Майкл Конан, но нет сведений о том, как к ним относился родной отец. Может создаться впечатление, что Чарлз с Артуром вообще не разговаривал, и, возможно, это впечатление будет не очень далеко от истины: в «Воспоминаниях и приключениях» то и дело приводятся диалоги с матерью, но ни разу – с отцом. Чарлз Дойл «витал в облаках и плохо знал реальную жизнь», – мягко выразится Артур Конан Дойл, будучи уже сам отцом и дедушкой. Все его высказывания об отце носят такой же мягкий и обтекаемый характер – отчасти по причине того, что мы бы назвали «викторианским ханжеством», а он сам – заботой о семейной чести; отчасти, вероятно, потому, что вместе с отцом он жил лишь до четырех лет и о том, каким агрессивным и опасным тот мог быть, попросту ничего не знал.

Почему Мэри Дойл не ушла от мужа? Она не могла этого сделать – не позволяли британские законы о разводе (реформированию которых Артур Дойл впоследствии посвятит двадцать лет своей жизни). Семейная жизнь продолжалась, и дети рождались почти каждый год: в 1866-м – дочь Кэролайн Мэри Бартон (домашнее имя – Лотти), а в 1868-м – дочь Констанция Амелия Моника (Конни).

Была в семье и потеря: зимой 1868-го умер Джон Дойл. Это событие Чарлз пережил очень тяжело. Старшие братья уже оставили свои попытки помочь ему в поисках другой должности и не отзывались даже на мольбы: к тому моменту всем родственникам стало окончательно ясно, что он неизлечимо болен алкоголизмом. Оклад ему больше не прибавляли, повышением по службе и не пахло. Появились первые признаки душевной болезни: он все слабее ощущал связь с действительностью. Его картины становились все готичней и мрачней – это было уже не «фэнтези», а «хоррор»: скелеты и мертвецы среди крестов, под луной. Но они по-прежнему были очень хороши, словно болезнь усиливала его талант.

Трудно судить о том, насколько Мэри пыталась помочь мужу справляться с его проблемами и не лежит ли на ней какая-то часть вины за его поломанную жизнь. Она, похоже, была довольно суровым человеком, не всегда склонным проявлять понимание к слабостям других людей. С «курицей, стоящей на страже своих цыплят», сравнивает ее Конан Дойл, но это – по отношению к детям. Она отнюдь не была жалостлива и снисходительна. «Я часто слышал от нее (и убежден, что она действительно так думает), что она скорее бы согласилась видеть любого из нас в гробу, чем узнать, что он совершил бесчестный поступок. Да, при всей своей мягкости и женственности, она становится жесткой, как сталь, если заподозрит кого-нибудь в низости; и я не раз видел, как кровь приливала к ее лицу, когда она узнавала о каком-нибудь скверном поступке». О поступках взрослых людей она судила резко, без снисходительности: из-за этого, когда Артур подрастет, между ними нередко будут возникать ссоры. Да, наверное, Мэри с ее сильным характером иногда подавляла Чарлза, да, он нередко слышал упреки тогда, когда ему требовалось утешение; а с другой стороны, помочь можно лишь тому, кто сам себе помогает. Мэри делала что могла: тянула детей, хозяйство. На пьяницу-мужа, обманувшего ее надежды, уже не оставалось душевных сил.

Артура осенью 1868 года наконец забрали из городской школы, запомнившейся лишь побоями, и отправили в графство Ланкашир, где рядом с деревней Херст-Грин, в живописной лесистой местности, находилась большая католическая школа Стоунихерст, а при ней – подготовительная школа для мальчиков (до двенадцати лет), называвшаяся Ходдер по имени протекавшей рядом реки. О Мэри Дойл иногда пишут как о фанатичной католичке, которая отдала Артура в иезуитский колледж, дабы он посвятил себя римской церкви; ничего подобного на самом деле не было. Во-первых, Мэри особо ревностной католичкой никогда не была (впоследствии она официально перейдет в англиканское вероисповедание), а во-вторых, инициатором отправки мальчика в католическую школу был его двоюродный дедушка Майкл Конан, причем соображения, по которым он рекомендовал так поступить, были самые прозаические и светские: у иезуитов, по его мнению, давали хорошее образование. Пушкина, как мы помним, его дядя Василий Львович тоже был не прочь пристроить учиться к иезуитам.

Колледж Стоунихерст, первоначально основанный во Франции и лишь затем переселившийся в Англию, был в XIX веке одним из ведущих культурных и образовательных центров, основанных иезуитами; он функционирует и поныне. Стоунихерст славился своими библиотеками, содержавшими богатейшую коллекцию инкунабул и средневековых рукописей, а также своей научной деятельностью – в частности, в области астрономии и метеорологии: при колледже была прекрасно оборудованная обсерватория. Образование было вполне светским: богословские предметы изучались в специальных классах, предназначенных для подготовки будущих богословов, а в общих классах ограничивались коротеньким катехизисом. В основу преподавания были положены классические языки – латинский и греческий. Арифметика в младших классах должна была преподаваться легко, между делом, но позже ученики проходили полный курс математики.

Мать приняла совет дядюшки Майкла охотно: она понимала, что в городской школе учат плохо и ребенок ее ненавидит; к тому же учиться в закрытой школе было престижно; к тому же ей хотелось убрать сына из дому, подальше от отца. Ни о какой церковной карьере для Артура речь не шла с самого начала: да, школьным руководством Мэри Дойл было сделано заманчивое предложение: в том случае, если она согласна, чтобы мальчик в будущем принял сан, его обучение будет бесплатным, – но она отказалась решать за сына, предпочтя унизиться перед родственниками денежной просьбой и платить за каждый год учебы по пятьдесят фунтов. Деньги давал Ричард Дойл (по другим сведениям, остальные лондонские дядюшки и дедушка Майкл тоже внесли свою лепту); он же потом посылал Артуру и карманные деньги.

Относительно будущей профессии сына Мэри и Чарлз придерживались на тот момент единого мнения: он будет, как отец, специализироваться в области архитектуры, чтобы стать «гражданским инженером», то есть архитектором, работающим над типовыми проектами: в тогдашней Англии в связи с массовым жилищным строительством эта профессия была в большой цене. Дядюшки Артура, хоть и были гораздо более убежденными католиками, чем Мэри, тоже не считали, что мальчику нужно становиться священником. Пусть строит здания. С его нелюбовью к математике считаться никто не хотел, а может, рассчитывали, что

преподаватели, более квалифицированные, чем эдинбургский учитель, смогут преодолеть эту нелюбовь. Ни о какой медицине тогда речи не шло. Артур, по-видимому, был с мнением родителей согласен – во всяком случае, ни в мемуарах, ни в письмах нет ни слова о том, что его в том возрасте привлекала другая профессия.

Малыша посадили в поезд одного – по какой-то причине Мэри не могла его отвезти. Всю дорогу он плакал. Каникулы будут только один раз в год.

Об учебе Артура в подготовительной школе Ходдер (которая также существует по сей день) сведений не очень много. Он начал собирать марки, много читал, стал хорошо плавать. Сам он называет два года, проведенные там, счастливыми, несмотря даже на длительную разлуку с матерью (с Ходдера началась интенсивная – как минимум одно письмо в неделю – переписка Артура с Мэри, которая будет длиться пятьдесят лет – это настоящий роман в письмах), и упоминает о своем наставнике отце Кессиди, «более человечном, чем обычно бывают иезуиты». Кажется, его даже не били, или, во всяком случае, били нечасто, хотя поводов к тому наверняка бывало предостаточно: в мемуарах он мимоходом замечает, что «мог потягаться *силой* и умом с моими товарищами». Если взрослые думали, что в католической школе дитя перестанет драться, они сильно просчитались.

Именно к этому периоду относится его воспоминание о том, как он полюбил крикет – покамест в качестве зрителя – и как знаменитый игрок по имени Том Эмметт очень больно угодил ему мячом в колено, чем сделал Артура почти счастливым. В «Ювеналиях» Дойл пишет, что именно в закрытой школе обнаружился его талант рассказчика историй: когда по случаю какого-нибудь праздника их отпускали с уроков пораньше, он влезал на стол и, обращаясь к рассевшейся на полу аудитории, пересказывал – пока не охрипнет – длиннейшие злоключения персонажей, придуманных накануне или только что. Нередко он сталкивался с той же проблемой, что и в шесть лет: не знал, чем кончить историю, и был не прочь ее бросить, но слушатели требовали продолжения, и, поскольку за рассказы выплачивался гонорар (например, пирожками или яблоками), меркантильный автор всегда шел у публики на поводу. «Когда я произносил: „Медленно, медленно дверь отворилась, и злодей-маркиз с ужасом в глазах увидал…“ – я чувствовал, что аудитория в моей власти». Поскольку Дойл не указал точно, в какие годы происходили эти публичные чтения, биографы, как правило, относят их к обучению в Стоунихерсте; нам, однако, в силу некоторых обстоятельств, которые будут изложены ниже, кажется, что это скорее относилось именно к Ходдеру, где с детьми обращались мягко и предоставляли им больше свободы.

Ученики могли купаться и удить рыбу в реке Ходдер и ее притоках, на чьих лесистых берегах маленький Дойл проводил массу времени и в чьих водах утопил подаренную ему книгу «Айвенго». Он подружился с другим маленьким шотландцем, Джеймсом Райаном из Глазго, с которым переписывался и после отъезда из Ходдера. «Я помню вспыхнувшую в то время франко-прусскую войну и то, как она отозвалась в нашей тихой заводи». Англичанам – свое, а нам при этих словах, вероятно, вспомнятся тыняновские школяры, с сильно бьющимися сердцами слушающие реляции о Бородине. Все симпатии Артура были на стороне Франции: там провела детство его мать, там жили родные, и вообще страна прекрасная и героическая. Любить Францию он будет всю жизнь и недолюбливать немцев – тоже, хотя, возможно, детские воспоминания тут и ни при чем.

В 1871 году учащийся Дойл был переведен из подготовительной школы в основную – Стоунихерст. Это было (и есть) очень красивое мрачное здание, напоминающее средневековый замок (оно изначально и было феодальным поместьем), с огромными спальнями, которые по английскому обычаю не отапливались. Считается – во всяком случае, представители администрации Стоунихерста в этом убеждены, – что это здание послужило одним из прототипов легендарного Баскервиль-холла. Аллея, на которой сэр Чарлз принял свою страшную смерть, – это тисовая аллея, ведущая к воротам колледжа; есть там поблизости и заброшенный карьер, и пастбища, а находящаяся буквально рядом с колледжем болотистая местность под названием Лонгридж-Фелл – вылитый баскервильский торфяник. От биографов не укрылось также обстоятельство, что аж два мальчика, обучавшихся в Стоунихерсте одновременно с Артуром, носили фамилию Мориарти (к сожалению, неизвестно, были ли это хорошие мальчики или не очень). У писателей редко какая мелочь пропадает даром. Стоунихерст, кстати сказать, претендует на то, что его мрачные стены вдохновляли еще одного писателя – Толкиена, который, будучи профессором Оксфорда, неоднократно приезжал в колледж читать лекции.

В Стоунихерсте Артур пробыл пять лет и за эти годы усвоил «обычный для закрытой школы курс евклидовой геометрии, алгебры и классических языков, подававшихся в обычном ключе,

рассчитанном на то, чтобы привить прочное отвращение ко всем эти материям». Он пишет также, что в школе «преподавали семь предметов – азбуку, счет, основные правила, грамматику, синтаксис, поэзию и риторику; на каждый предмет полагалось по году». Эта фраза может заставить нас почесать в затылке: целый год на азбуку? А как же, например, география, или иезуиты готовили каких-то митрофанушек, которых кэбмены всюду довезут? Но дело в том, что во всех иезуитских школах издавна так назывались классы – не «пятый» или «шестой», а «класс риторики», «класс поэзии»; сведения из истории с географией, разумеется, преподавали, как и разрозненные обрывки естественных наук, но все эти предметы беспорядочно сваливались в одну кучу под общим наименованием «эрудиция». Представления дедушки Майкла о том, какое прекрасное образование дают иезуиты, похоже, оказались не совсем верны – во всяком случае в отношении Артура. К математике он по-прежнему питал отвращение и усваивал ее плохо, но тем не менее в старших классах все еще утверждал, что будет гражданским инженером. Классических языков он также терпеть не мог и видел в их изучении больше вреда, чем пользы: из-за них он в юности проникся отвращением к античным авторам. Даже история была ему противна – сплошная зубрежка дат, ничего человеческого.

В общем, какой предмет ни возьми, – сплошная скука. Трудно сказать, были тому виной исключительно программа обучения и нудные методы преподавания, которые взрослый Конан Дойл назовет средневековыми, или все-таки он сам в детстве проявлял недостаточный интерес к наукам, или же обстановка не способствовала обретению такого интереса – наверное, всё вместе. «Не знаю, хороша или плоха иезуитская система образования, – чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы испробовать какую-нибудь другую», – пишет он в «Воспоминаниях и приключениях» и прибавляет, что из Стоунихерста выходило в общем не больше и не меньше достойных молодых людей, как из любой другой закрытой школы. Хорошо, что в Стоунихерсте не преподавали толком ни химию, ни зоологию, а то б он и их возненавидел – и не знали б мы тогда ни Холмса, ни Челленджера, ни Раффлза Хоу. Лишь на последнем курсе обнаружился предмет, который ему доставлял удовольствие: поэзия. Ученикам предлагалось писать стихи на заданные темы. Здесь нужно сразу заметить, что Конан Дойл как поэт нашему читателю совершенно неизвестен, а между тем стихи он писал, и немало. О них у нас еще будет возможность поговорить в дальнейшем, а пока ограничимся констатацией того, что поэтические упражнения учащегося Дойла были высоко оценены как педагогами, так и одноклассниками, большинство из которых не сумели связать ни строчки, как ни бились. Так что редактировать школьный литературный журнал доверили именно ему.

С воспитанием дела тоже обстояли не ахти как, и основной его метод ничем не отличался от принятого в эдинбургской городской школе. Детей били резиновой палкой по рукам, причем так, что они потом не могли повернуть дверную ручку, чтобы выйти из комнаты (эту палку описал и Джойс, также прошедший иезуитскую школу, в «Портрете художника в юности»). Матери Артур о побоях не писал. Семидесятилетний Конан Дойл изо всех сил пытался быть объективным по отношению к своим педагогам: «Кое в чем их (иезуитов. – *М. Ч.)* оклеветали – я, например, в течение восьми лет постоянного общения не заметил, что они менее правдивы, чем их собратья, или более склонны к казуистике, чем соседи»; но за каждой строчкой воспоминаний, посвященной Стоунихерсту, мы видим ребенка, с трудом сдерживающего слезы: «Получить дважды по девять, да еще в холодный день, было пределом человеческих сил». Учащийся Дойл много хулиганил, поэтому (а вовсе не из-за успеваемости, которая, несмотря на отвращение, была не так уже плоха: выручали живой ум и хорошая память) испытывать предел человеческих сил ему приходилось постоянно: «Меня били чаще других, но не потому, что я отличался каким-то особым злонравием, а потому, что натура моя горячо отзывалась на нежность и доброту (которых я никогда не получал), но восставала против угроз и находила извращенный повод для гордости, показывая, что силой ее нельзя усмирить».

Религиозного рвения Артур также не проявлял, скорее всего, по той же причине, что и страсти к наукам: прилежание, уважение к заповедям, благонравие – все вколачивалось одинаково, угрозами и палкой. Единственной отдушиной в подобных условиях обычно становятся закадычные друзья: все можно стерпеть, когда каждый день есть с кем поделиться мечтами и обидами. Но в Стоунихерсте и друзей-то заводить, по сути дела, воспрещалось. В одной из биографий Конан Дойла мы можем прочесть: «Очень худой, со спокойными манерами, со странной скрытной улыбкой, мальчик был на хорошем счету у отцов-иезуитов. Но на самом деле он тайно писал пародии в стихах на учителей, читал при свечах до рассвета Вальтера Скотта или, подняв соседей по дортуару, которые, завернувшись в простыни, рассаживались на кроватях вокруг него, рассказывал им ужасные истории, всегда прерывавшиеся на самом интересном месте… » Это взято из «Ювеналий», но, как мы уже отмечали, «ужасные истории с продолжением» относились скорей к Ходдеру, нежели к Стоунихерсту. Не говоря уж о «спокойных манерах» и «хорошем счете» – что-то плохо верится в эти «свечи до рассвета» (ночью при свече он читал «Айвенго» дома, а не в школе); какие

свечи, какие простыни, когда надзиратель обходил спальни по нескольку раз за ночь, проверяя, у всех ли руки лежат поверх одеяла? Да, были игры на свежем воздухе, ставились (на старших курсах) любительские спектакли, но выходить на прогулки можно было только в присутствии надзирателей, играть – тоже. Понятно, мальчишки на то и мальчишки, чтобы как-то обходить запреты (будь надзор действительно тотальным, то и бить юного Дойла резиновой палкой, наверное, было бы не за что), и приятельские отношения завязывались, как и неприятельские (а то с кем бы он дрался?); но условия для неформального, как бы мы сейчас выразились, общения были сведены отцами-надзирателями к минимуму. Уж очень они пеклись о нравственности. «Нам, например, никогда не дозволялось оставаться друг с другом наедине, и, думается, вследствие этого свойственная закрытым школам распущенность была сведена к минимуму». Оставим нравы закрытых школ без комментариев, заметим только, что самого дорогого и ценного в подростковом возрасте – настоящей, «до гроба», задушевной мальчишеской дружбы – Артур в течение восьми лет был лишен и, возможно, поэтому через всю жизнь пронес мечтательную тоску по такой дружбе: кто такие, в сущности, Холмс и Ватсон, как не повзрослевшие мальчишки, которым никто не смеет помешать, наслаждаясь обществом друга, сутками напролет болтать, курить и играть в казаки-разбойники?

И все-таки отдушины, конечно, находились. Во-первых – спорт. К чести иезуитов надо сказать, что зубрением уроков они детей не слишком перетруждали, зато отводили по несколько часов ежедневно для занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Отдушина настолько важная, что Мэри Дойл, которой сын в основном о спорте и писал, могла подумать, что он абсолютно счастлив в Стоунихерсте. Плавание, коньки, хоккей, футбол, крикет – учащийся Дойл поспевал везде. «Я никогда не специализировался ни в одном виде спорта и потому во всех выступал посредственно» – это Дойл говорит скорей о своей взрослой жизни, чем о Стоунихерсте. Там он вроде бы во всех видах делал успехи. Здоровья было у него хоть отбавляй, даже школьная кормежка ему не повредила. О кормежке стоит сказать особо – уж очень «богатое» меню предлагалось в Стоунихерсте. Хлеб, немножко масла, хлеб, *иногда* картошка, хлеб, вода пополам с молоком и, наконец, о чем с возмущением пишет семидесятилетний Дойл, – разбавленное пиво. Возмущение конечно же относится к характеристике «разбавленное» – ежедневное употребление детьми пива в викторианской Англии, где даже младенцам было принято давать портер и джин, не смущало даже высоконравственных иезуитов.

Он был высоким, крупным, сильным и ловким – правда, бегал не очень быстро. Больше всего любил крикет: «Я был толстый и шары отскакивали от меня, как от матраца». Начал заниматься регби – правда, в те времена в каждой закрытой школе правила этой игры были особые и, по мнению Дойла, это обстоятельство ему сильно вредило, когда он впоследствии стал играть в регби уже на более высоком уровне. В старших классах пристрастился к бильярду и остался любителем этой игры на всю жизнь.

Конечно, падал, расшибался, разбивал голову, вывихивал пальцы, был вечно в синяках с головы до пят, но эти травмы, в отличие от нанесенных резиновой палкой, оставляли следы лишь на теле, а не в душе. Боксом ученики не занимались, а жаль – может, уже тогда свою любовь к дракам Артур перенес бы на ринг и получал меньше наказаний. Вообще спорт занимал в жизни Конан Дойла настолько большое место, что он отвел ему в мемуарах отдельную главу, едва ли не самую объемную во всей книге. «Демонстрация твердости без жестокости, беззлобного мужества без озверения, мастерства без жульничества и есть, по-моему, то высшее, что может дать спорт». Кому пристрастие к физическим упражнениям кажется уделом туповатых людей, те могут обратиться, например, к творчеству Лермонтова, Гюго, Джека Лондона или Набокова – там много чего можно найти на эту тему.

Другой отдушиной были книги. Индейцы и тигры остались в прошлом; теперь юный Дойл увлекся Жюлем Верном, которого мог читать в подлиннике (Мэри обучила его французскому языку), и по-прежнему обожал Вальтера Скотта. В 1900 году он написал эссе «За волшебной дверью» («Through the Magic Door»), посвященное любимым книгам: «Айвенго», томик, подаренный ему в раннем детстве и потом, увы, утонувший в речке, так навсегда и остался среди самых-самых – «какая любовь ко всему, что отмечено печатью мужества, благородства и доблести!». Недостатков Скотта, которые видит взрослый Конан Дойл – многословие, бесчисленные отступления, слабое чувство формы, – учащийся Дойл, конечно, не замечал: «Скотт рисовал мужественных людей, потому что сам был мужественным человеком и находил свою задачу привлекательной». Артур Дойл был без ума от всего мужественного, героического и благородного, а что касается женских образов, то хоть бы их и вовсе не было: «Лишь прочитав подряд с десяток глав романа, где действует минимальное число женщин… мы постепенно осознаем все мастерство романтического повествования, которого достиг писатель».

Так будет – почти всегда – писать и он сам, «с минимальным количеством женских образов»,

объясняя это «реакцией на злоупотребления темой любви в художественной литературе»: до того, мол, заезжена и избита в романах эта любовь, да еще заканчивающаяся (как скучно) браком, что прямо тошнит. Не совсем понятно, исходя из круга чтения молодого Дойла, когда это он успел пресытиться любовными романами: в школьном возрасте он их, похоже, вовсе не раскрывал. Войну читаем (пишем), мир пропускаем. Даму, конечно, надо уважать и быть рыцарем, но вообще-то ну их к черту, этих баб, да и всякие там сложные душевные переживания – тоже. Немужественно и скучно. Типичный мальчишечий подход к делу. В сущности, литературный вкус Конан Дойла, хоть и облагороженный годами почти до безупречности, навсегда останется вкусом мальчишки. Превознося Стивенсона и Киплинга, он умудрился не заметить существования Флобера.

Когда Артур учился на предпоследнем курсе, у него появился еще один любимый автор: Томас Бабингтон Маколей. Это был убежденный виг, государственный деятель, казначей, историк (автор «Истории Англии с 1688 года»), а также эссеист, прозаик и поэт. Мало кто из писателей оказал на Конан Дойла такое большое влияние, и поскольку наш широкий читатель навряд ли хорошо знаком с его творчеством – мы и Карамзина с Ключевским, если честно, знаем как-то все больше понаслышке, – о нем следует сказать чуть побольше, чем о Вальтере Скотте. В XIX веке российская интеллигенция Маколеем зачитывалась, как и европейская: Николай Чернышевский хвалил, Писарев сперва хвалил, потом отругал за мелкотемье, Карл Маркс обозвал фальсификатором (обиделся за критику революции 1848 года, понятное дело). Наиболее известны были его очерки на исторические темы и эссе о знаменитых людях, написанные очень субъективно, живо, ярко и, что главное, – доходчиво. «До того дня история была для меня лишь противным уроком, – писал Конан Дойл в эссе „За волшебной дверью“, подразумевая под „тем днем“ период, когда он начал читать „Историю“ Маколея. – Но вдруг нудные задания превратились в путешествие в волшебную страну, полную прелести и красок, где мудрый и добрый проводник указывал путь».

Маколей был гениальным популяризатором, умевшим простым языком излагать сложные вопросы. Под его пером все самое скучное – статистика, социология, экономические выкладки – превращалось в увлекательнейшую беллетристику (невольно подумаешь, что Маркс просто завидовал), и в наше время он бы, надо полагать, был востребован еще больше, чем в свое. Описать стиль Маколея «своими словами» невозможно; сам Конан Дойл делает такую попытку, но, махнув рукой, попросту приводит ряд цитат. Поступим так же – надо же нам иметь представление о стиле автора, в котором наш герой видел один из своих идеалов, – только цитату, чтоб не повторяться, возьмем другую – из очерка «Бэкон» в старинном переводе О. Сенковского, того самого очерка, который в пух и прах разругал Писарев. «Ему (Бэкону. – *М.* Ч.) страх как хотелось получить титул сэра для двух причин, довольно забавных. Король уже одарил титулами половину Лондона – один философ был при нем без титула. Это ему не нравилось. Сверх того, по собственным словам Бэкона, ему «приглянулась дочь одного олдермена, пригожая девочка», а этой девочке непременно хотелось быть леди». Высокоидейного Писарева, конечно, эти милые мелочи в стиле «Каравана историй» раздражали; но очерки Маколея не сводились к мелочам. Просто он не умел и не хотел писать скучно даже в ту пору, когда, следуя его собственному афоризму, мог бы себе это позволить, – когда стал знаменит. В этом Конан Дойл всегда будет вернейшим последователем Маколея («в его благородном стиле я любил даже промахи»); в дальнейшем мы увидим, что публицистические тексты Дойла ничуть не менее занимательны, чем его беллетристика.

В Стоунихерсте была одна хорошая вещь: длинные каникулы. В отличие от Ходдера они устраивались дважды в год. Лето Артур проводил в Эдинбурге, а на рождественские каникулы оставался в колледже. Мэри Дойл против этого не возражала, хоть и тосковала по сыну: общение его с Чарлзом она старалась свести к минимуму (из детской переписки Артура с матерью невозможно понять, знал ли он, что происходит с его отцом). Да и с младшими было очень много хлопот: зимой 1873-го родился ее второй сын, Джон Фрэнсис Иннес, будущий боевой генерал.

В дни каникул отцы-надзиратели были к ученикам значительно мягче. Лучше кормили, дозволяли пить вино (после ежедневного пива мы уже воспринимаем это как должное), есть сколько душе угодно присланных из дому припасов; Артур писал домой, что в меню бывали омары и сардины. Устраивались концерты и вообще было весело – быть может, именно воспоминание об этих каникулах, обильно сдобренных портвейном, хересом и кларетом, смягчило Конан Дойла настолько, что он, описав на нескольких страницах иезуитскую науку и иезуитское воспитание, в конце главы довольно непоследовательно заявил, что у него остались к воспитателям «теплые чувства» и что в своем недоверии к человеческой натуре они были, «пожалуй, правы».

На следующий год Ричард Дойл и его сестра («дядюшка Дик» и «тетушка Аннет») договорились с Мэри, что рождественские каникулы 1874 года Артур проведет в Лондоне.

Мэри не хотела, чтобы сын приезжал домой, ибо к тому времени депрессия Чарлза Дойла усилилась настолько, что он иногда не мог заставить себя утром подняться с постели и идти на работу; вконец испортился и его характер. Да и материальное положение семьи Дойлов становилось все более скверным: Чарлза вот-вот уволят со службы, зато на подходе очередной ребенок – дочь Джейн Аделаида Роза (Ида), родившаяся в 1875-м. Артур выразил свое огорчение тем, что не увидит мать, но поездке был страшно рад. Дойл пишет, что, едва пристроив свой багаж, он сразу же совершил паломничество в Вестминстерское аббатство, на могилу Маколея, и это было едва ли не главным, что влекло его в Лондон. Сразу или не сразу, но чаю-то с родственниками, наверное, все-таки попил перед этой экскурсией: Ричард и Аннет встречали его на вокзале.

Поселили гостя в студии Ричарда Дойла на Финборо-роуд, где тот работал. За три недели Артур познакомился со всеми остальными родственниками, которые были очень внимательны к племяннику: приглашали в гости, кормили-поили и позаботились о том, чтоб организовать ему «культурную программу». Самый старший, дядя Джеймс, дважды водил его в театр. Это было не первое посещение театра юным провинциалом, но на него произвела большое впечатление игра знаменитого актера Генри Ирвинга в роли Гамлета. Матери он написал об Ирвинге письмо, полное восторгов. Многими годами позже, когда Конан Дойл сам станет знаменит и займется постановкой своих пьес, он познакомится с Ирвингом лично.

С дядей Генри он посетил Хрустальный дворец – знаменитый стеклянный павильон, построенный для Всемирной выставки в 1851 году и продолжавший изумлять посетителей своей роскошью. Дядя Дик, чуть лучше других представлявший, что нужно мальчишке, повел его на цирковое представление. Развлекался он и самостоятельно, осмотрев все, что полагается осматривать в Лондоне: Тауэр, где наибольшее впечатление произвела конечно же коллекция оружия, собор Святого Павла и другие достопримечательности. Побывали они и в Зоологическом саду: там гастролировал передвижной зверинец, из экспонатов которого наибольшее впечатление на Артура произвела гигантская крыса. Разумеется, в культурную программу входило посещение музея мадам Тюссо, где он был «очарован комнатой ужасов и статуями убийц». Музей в те годы находился на. Бейкер-стрит. Вряд ли правомерно напрямую из этого визита выводить будущий интерес к писанию детективов, но, конечно, при выборе квартиры для Холмса Конан Дойл вспомнит бледные лица восковых злодеев.

О родственниках: ближе всех Артур сошелся с дядюшкой Диком, которого отличал чуть более богемный и легкомысленный дух, чем остальных. При чтении старых биографий Конан Дойла может сложиться впечатление, что из всей родни как раз Ричард был самым непримиримым идейным противником и чуть ли не врагом Артура в его студенческие годы, когда тот отказался от католицизма. Это не совсем верно: просто дядюшка Дик на протяжении всей жизни горячее, чем другие братья, принимал участие в судьбе Артура, отсюда и бесконечные перепалки между ними: на того, кого не любишь, не станешь и времени тратить. Да, Ричард был глубоко верующим человеком (он ушел из редакции «Панча», когда там разместили карикатуру на папу римского), но прежде всего он был художником и романтиком, всю жизнь посвятившим веселым, хрупким и трогательным сказочным существам, не имевшим ничего общего с католичеством; под конец жизни он уже ничего не рисовал, кроме своих фэйри, и умер, окруженный лишь ими – есть здесь что-то отдаленно напоминающее конец жизни его непутевого младшего брата... Когда в 1883 году тело Ричарда Дойла найдут поутру в его студии, расписанной фигурками эльфов, среди красок и кистей, Артур напишет на его смерть стихотворение:

Вскричали эльфы на стенах:Что видим мы, увы!Лежит Волшебник, повержен в прахИ не слышит нашей мольбы.О, что же это? И за чтоТак жестоко наказаны мы?И тоненькой нимфы вдруг голосокРаздался пронзительно неясно:– Зачем мы, друзья, обижали его?Зачем я была так небрежна?– Ну что ты, Энид, он не помнит обид —Волшебника сердце безбрежно!

Зимой 1874-го серьезных разногласий между дядей и племянником еще не было: Артур пока не задумывался о религии глубоко, хотя первая трещинка в его вере появилась уже в Стоунихерсте. С дядюшкой Диком они весело проводили время. Другие дядья, Джеймс и Генри, были для него слишком стары и серьезны. Ему очень понравилась Джейн, жена Генри. Отношения с тетей Аннет, нежно любившей племянника, но фанатично религиозной и всегда уверенной в своей правоте, складывались неоднозначно. С одной стороны, в письмах к матери Артур отзывался о тетке в теплых словах; с другой стороны, в «Письмах Старка Монро» есть эпизод, где молодому герою приходится некоторое время жить в качестве семейного врача у неких лорда и леди Салтайров: эпизод, в отличие от всей повести, целиком вымышленный, но в леди Салтайр, быть может, проглядывают некоторые черты Аннет Дойл. «Вы представить себе не можете более невежественной, нетерпимой, ограниченной женщины. Если б она хоть молчала и прятала свои маленькие мозги, то было бы еще туда-сюда; но конца не было ее

желчной и раздражающей болтовне. <…> Я решил избегать всяких споров с ней; но своим женским инстинктом она догадалась, что мы расходимся, как два полюса, и находила удовольствие в том, чтобы махать красной тряпкой перед моими глазами». В период, о котором мы сейчас говорим, тетя и пятнадцатилетний племянник пререкались в основном из-за разных бытовых пустяков, но уже в следующий приезд Артура в Лондон разногласия между этими двоими приобретут идейный характер и станут нестерпимы.

Артур провел в Лондоне три недели и, наверное, с удовольствием остался бы дольше. Однако когда он вернулся в Стоунихерст, вскоре обнаружилось, что жизнь там становится не так противна. Он повзрослел, малость набрался у дядюшек «светского лоска», и его меньше тянуло к детским выходкам, а отцы-иезуиты в ответ сделались к нему гораздо мягче. У педагогов возникли планы относительно его дальнейшей участи (о чем он еще не знал), и его поместили в класс герра Баумгартена с усиленным изучением немецкого языка. Черты этого преподавателя мы можем обнаружить в рассказе «Необычайное происшествие в Кайнплатце», где зануда-педант нечаянно обменяется душами с разгильдяем-студентом. По-видимому, Мэри Дойл обладала большими педагогическими талантами, чем преподаватели в Стоунихерсте, так как, в отличие от французского языка, с немецким у Артура не очень ладилось. Но это было уже не так страшно. Еще на предыдущем курсе, о чем мы упоминали, началось преподавание поэзии: новый предмет захватил его с головой, и он сочинял теперь беспрестанно; свои тогдашние стихи взрослый Конан Дойл называл убогими, но отмечал, что на других учеников и на преподавателей они произвели довольно сильное впечатление. Наставники уже меньше за ним следили; когда его выбрали редактором школьного журнала, вокруг него стали понемножку группироваться товарищи, также обладавшие литературными наклонностями или хотя бы каким-то интересом к литературе. Неожиданно для себя самого он стал значительно лучше успевать и по другим дисциплинам. А уже через полгода – летом 1875-го – пришло время выпуска.

Ученики, которые успешно сдавали выпускные экзамены, автоматически допускались к вступительным экзаменам в Лондонский университет (эти последние проводились не в Лондоне, а здесь же, в Стоунихерсте: из столицы только присылали экзаменационные задания). Артура не так пугали вступительные экзамены, как выпускные – ему казалось, что большинство преподавателей по-прежнему его ненавидят и что его непременно завалят на каком-нибудь переводе с греческого. Но все обошлось, он не провалил ни одного предмета. Затем в числе четырнадцати выпускников он отправился на вступительные экзамены – результат оказался еще лучше: он получил диплом с отличием. Почему так получилось – трудно сказать; скорей всего, он просто хорошо готовился; может быть, помогло умение собраться в трудную минуту, а может, и вопросы легкие попались. Во всяком случае, приятно удивлены были все: экзаменаторы, экзаменующийся и родители.

Но в университет Артур не попал. Педагоги объяснили ему, для чего он обучался немецкому – оказывается, его считали слишком юным, чтоб начать профессиональное образование, и предполагали отправить еще на год в другую иезуитскую школу, Стелла Матутина, которая находилась в городе Фельдкирх в австрийской провинции Форарльберг. Родители были согласны. Конан Дойл не говорит, был ли он сам разочарован или обрадован таким решением, возражал или нет и спрашивали ли его мнения. Скорее всего, он злился, так как от иезуитов не ждал ничего, кроме подвоха. Однако в Фельдкирхе ему неожиданно очень понравилось. Здание школы, как и Стоунихерст, напоминало средневековый замок, но не такой мрачный, и вся местность была очень живописна: крошечный, сонный городок, лежавший в долине, тысячей футов ниже уровня Альп. Все было здесь лучше: здоровый горный климат, мебель, еда, отапливаемые спальни и, к неописуемой радости ребенка, отличное австрийское пиво взамен стоунихерстского пойла. Но главное, конечно – отношение учителей. Дисциплина была строгая, но поддерживалась она убеждением, а не палкой, не было круглосуточного надзора, и в ответ на проявленную педагогами доброту Артур Дойл «сразу из возмущенного юного бунтовщика превратился в опору закона и порядка».

В Фельдкирхе обучались в основном немецкие юноши «из хороших семей», но были и англичане – около двадцати человек. Естественно, они старались держаться вместе; педагоги пытались препятствовать этому (не из вредности, а чтобы мальчики, раз уж им нужно было выучить немецкий язык, говорили на нем, а не на английском), например, на прогулках строили учеников так, чтоб англичанин шел между двумя немцами, – но далеко не всегда это получалось, и потому успехи Артура в немецком, по его признанию, оказались в итоге хуже, чем могли быть (это выяснится многими годами позже, когда он, уже будучи врачом, надумает стажироваться в Германии). Тогда, в австрийской школе, ему казалось, что он говорит по-немецки вполне прилично.

Пришлось ему, правда, столкнуться с небольшим разочарованием – австрийцы не знали его любимого крикета и играли в какой-то ужасный «футбол на ходулях», который ему с его

ростом и весом никак не давался, – зато было очень много зимних видов спорта: катание на коньках и санках, хоккей. В обычный футбол тоже играли; неизвестно, игроком какого амплуа тогда был Артур, но сдается, что не форвардом – тоже из-за габаритов. Росту в дитяти было уже шесть футов и от обильной кормежки он изрядно раздался вширь. Довелось Артуру проявить себя и на новом поприще: австрийцы – народ музыкальный, и в Фельдкирхе был свой оркестр; один из его постоянных участников, игравший на большой басовой трубе, после каникул не вернулся, и ему срочно подыскали замену в лице Дойла. Эта честь, впрочем, была ему оказана благодаря не столько музыкальным способностям, сколько опять же росту: труба была очень, очень большая. («Однажды другие оркестранты запихали в нее мои простыни и одеяла, и я удивлялся, что не могу извлечь из нее ни звука» – как видим, серьезности и благонравия у этих молодых католиков было хоть отбавляй.) Как и в Стоунихерсте, здесь издавалась школьная газета, в редколлегию которой юный Дойл был включен с первых дней и проявил такую активность, что очень скоро все остальные члены редколлегии, к их собственному облегчению, смогли сложить с себя эти обязанности. Он писал много стихов и отсылал их родственникам. Он завел кучу приятелей. Он запоем читал – в частности Эдгара По, который произвел на него громадное впечатление. В отличие от Стоунихерста он был доволен тем, как преподавали историю; наполеоновские походы особенно интересовали его, и бригадир Жерар своим появлением на свет будет отчасти обязан фельдкирхской библиотеке.

Год, проведенный в Австрии, еще больше смягчил отношение Артура к иезуитским наставникам как к личностям: «усердные, искренние люди с ясным умом, и хотя среди них встречались проходимцы, их было немного.» – но не улучшили его мнения о религии, скорей наоборот. «Все в них достойно восхищения, за исключением их теологии – именно теология вынуждает их быть внешне жестокими и негуманными, что на самом деле является общим порождением католицизма в его крайней форме». Конечно, сформулировал эту мысль Артур Дойл не в шестнадцать лет. Тогда он вроде бы еще считал себя верующим католиком, но «жестокость и ограниченность» уже в те годы отталкивали его; сам он говорит, что впервые ощутил трещину между собой и своими наставниками в тот миг, когда слушал проповедь, в которой говорилось о том, что любого человека, находящегося вне католической церкви, ждет проклятие.

Тем временем дома, в Эдинбурге, произошло множество неприятных событий. В 1876-м, в возрасте всего сорока четырех лет, Чарлз Дойл был уволен со службы. Кому нужно держать в штате полусумасшедшего прогульщика? «Жизнь моего отца была трагедией нереализованных сил и неразвившихся дарований», – скажет позже Конан Дойл. В этом же году Чарлз был направлен в лечебницу Форден-Хауз. В популярных журналах об этом факте из жизни Дойлов можно прочесть, например, следующее: коварная Мэри упрятала своего пьющего, но абсолютно вменяемого мужа в сумасшедший дом, а неблагодарный сын одобрительно отнесся к этому решению – «он всегда стыдился отца и хотел, чтобы тот навсегда исчез из их жизни». В лечебнице несчастному стало только хуже, и до конца дней Артур Дойл был обречен испытывать неизбывную вину перед отцом. Трактовка, конечно, мелодраматически-вульгарная, но возразить особо нечего. Мэри – да, упрятала, заручившись согласием других родственников; Артур – да, не возражал, более того, принимал в этом активное участие, подписав соответствующие документы; состояние Чарлза – да, ухудшилось; чувство вины – да, присутствовало.

Правда, больница Форден-Хауз была не «желтым домом», а заведением, специализировавшимся на исцелении алкоголиков, и поместили Чарлза туда не с какими-то изуверскими целями, а чтобы лечить. Вряд ли можно ставить в вину Мэри то, что излечивать алкоголизм в XIX веке не умели (с ним и сейчас не больно-то справляются) и лечение сводилось в основном к присмотру, как бы пациент чего-нибудь не натворил; в результате депрессия Чарлза только усилилась и у него начались эпилептические припадки. Ряд источников утверждает, что эпилепсия у Чарлза Дойла развилась не в Фордене, а в другой больнице, за два года до смерти, иные – что он страдал ею еще до помещения в лечебницу, и вообще в этом вопросе все по сей день темно, как в голове у бедного Чарлза: даже год его определения в лечебницу в разных биографиях называется не один и тот же. Вскоре он совершит попытку самоубийства, затем попытается бежать, после чего его будут трижды переводить в другие психиатрические лечебные заведения – в последнем из них он умрет. Так что насчет чувства вины у сына – справедливо, конечно. Годами позже, в рассказе «Хирург с Гастеровских болот» («The Surgeon of Gaster Fell») – самой «готической» и, пожалуй, самой жуткой своей вещи, – Конан Дойл расскажет историю о человеке, бежавшем от мира и похоронившем надежды на карьеру, чтобы посвятить жизнь уходу за сумасшедшим отцом. И вина была, и жалость. Но неправда, что Артур Дойл не желал знать своего больного отца: он посещал его регулярно и именно его попросил быть первым иллюстратором своей первой книги о Шерлоке Холмсе.

Итак, осиротевшая семья ждала от старшего сына помощи; печальная участь Чарлза

показала, что, будучи архитектором, не очень-то разбогатеешь, да и отсутствие у Артура наклонностей к точным наукам было уже слишком очевидно для всех; надо было искать другую профессию, более надежную. В конце концов было решено, что он должен получить специальность врача. Почему вдруг именно врача, ведь ни малейшей тяги к медицине он не испытывал и до сих пор ни ему, ни матери подобная возможность даже в голову не приходила? Причины выбора могли быть очень просты: профессия доктора давала неплохой заработок и была престижной (из этих же соображений – всего двумя годами позже – выберет медицину и юный Антон Чехов). Но в наш век никто не любит простых объяснений; в деле появляется новый фигурант.

Еще до того, как Чарлз был помещен в лечебницу, он уже фактически перестал быть кормильцем семьи, и женщины взяли дело добывания денег в свои руки. Старшая дочь Аннет была вынуждена искать места экономки или гувернантки в богатых домах и в конце концов уехала в Португалию, чтобы там поступить на службу: англичанок-домоправительниц на континенте ценили. А Мэри Дойл по примеру своей матери решила брать жильцов на пансион; как пишет Конан Дойл, это «в некоторых отношениях, возможно, облегчало ее положение, зато в других было для нее гибельным». Туманная фраза, причинившая биографам немало головной боли. Можно расшифровать ее, например, так: не все квартиранты платили вовремя, доход был небольшой, а хлопот и унижения – хоть отбавляй, и все это выматывало Мэри так, что она постоянно жила «на нервах». Однако современные исследователи (начало положили журналисты Дэвид Пири и Цуката Кобаяси, а за ними последовали и другие) дают этой фразе совершенно иное толкование, утверждая, что с одним из жильцов, Чарлзом Брайаном Уоллером, юным врачом, бывшим всего шестью годами старше Артура, Мэри Дойл вступила в любовную связь; именно по этой причине она отправила Чарлза в лечебницу, да и самая младшая ее дочь, Додо, появившаяся на свет в 1877-м, когда Чарлз был уже в Форден-Хаузе, родилась не от мужа, а от молодого Уоллера, о чем явно свидетельствует ее полное имя: Мэри Брайан Джулия (Джулией звали мать Брайана Уоллера.) В доказательство приводится тот факт, что Мэри Дойл несколько лет жила исключительно за счет Уоллера, кочевала с квартиры на квартиру с ним вместе, а в 1882-м вместе с младшими детьми переехала в дом, принадлежавший его родителям, и жила там бесплатно почти до самой смерти. Правда это (имеется в виду связь, а не финансовая поддержка и переезд, которые являются установленными фактами) или нет – сказать невозможно.

Личность самого Брайана Уоллера характеризуют по-разному: если ранние биографы деликатно называют Уоллера степенным молодым человеком, другом семьи Дойлов, оказывавшим на всех ее членов (увы, за исключением отца семейства) положительное влияние, то у представителей современной биографической школы, полагающих, что всякому скелету место на витрине, мы можем прочесть, что Уоллер был высокомерным снобом, узурпировавшим власть в доме, и юный Артур его ненавидел; дальше одни развивают тему Гамлета, Клавдия и Гертруды, другие делают предположение – возможно, и не безосновательное, – что кой-какие черты Уоллера унаследовал Шерлок Холмс. Сам Конан Дойл ни единым словом не упоминает о существовании Брайана, а это действительно очень странно, учитывая то обстоятельство, что именно Уоллер, по мнению всех без исключения биографов, порекомендовал ему избрать своей профессией медицину, помогал готовиться к экзаменам и поддерживал впоследствии как морально, так и материально. Даже Карр, старавшийся избегать любых мало-мальски двусмысленных эпизодов, пишет о значительном влиянии, которое Уоллер – медик, материалист, поэт – на протяжении многих лет оказывал на духовное развитие Артура Дойла.

Во всем этом, возможно, не стоило бы копаться – нам-то какая разница, с кем жила или не жила Мэри Дойл и почему бы ей не найти свое счастье, коли с мужем не повезло, – но, когда мы читаем современные статьи о Конан Дойле и видим, что его мемуары называют викториански ханжескими и лицемерными и предупреждают, что им нельзя доверять, нам хочется понять – за что. Да вот за эти умолчания конечно же (уж эти викторианцы, они даже обнаженные ножки рояля упрятывали под юбочки, как же, знаем, наслышаны!). И вправду, какой неискренний, какой лицемерный человек: вместо того чтобы прямо и честно написать «отец мой был законченный алкоголик и бил мою мать, а она пошла на содержание к молодому парню», отделывается невнятицей о «нереализованных силах» и «гибельных решениях». Как бы не так. Времена переменились. Нас вон сколько таких, кто сделает это за него. Простите, сэр Артур, если сможете.

Короче говоря, профессию для сына по тем или иным соображениям выбрала Мэри, а поскольку он не тяготел ни к какой другой, то согласился. Так что в июне 1876-го, не без сожаления покидая Фельдкирх, он уже знал, что по возвращении домой будет учиться на врача. Детство закончилось. Но остались еще последние детские каникулы, которых Мэри не хотела его лишать, и, имея в кармане пять фунтов, он решил отправиться в небольшое турне по Франции, а если хватит денег, то и по остальной Европе.

Одним из тех, кому Артур посылал свои стихи и статьи для «Фельдкирхской газеты», был его крестный – дядя (по нашему все-таки правильней называть его двоюродным дедушкой) Мишель, бывший Майкл Конан, художественный критик, редактор парижского «Художественного журнала», интеллектуал и любитель искусства. Он и раньше проявлял к внучатому племяннику постоянный интерес, вел с ним и с его матерью активную переписку, принимая в его судьбе ничуть не меньшее, если не большее участие, чем дядя Дик. Наверное, можно даже сказать, что он в какой-то степени сделался для Артура в юности тем, чем не сумели стать педагоги, – духовным наставником. Он присылал своему крестнику из Парижа книги, когда тому было еще пять лет; он же познакомил подростка с творчеством Маколея. И он, в отличие от другой родни, с самого начала всерьез относился к любому литературному упражнению Артура; получив номер «Фельдкирхской газеты», он угадал, что все до единой статьи в ней сочинены его крестником, а это свидетельствует либо о том, что у Конан Дойла в шестнадцать лет уже был *свой стиль,* либо о том, что Мишель Конан был чрезвычайно внимательным читателем, что, наверное, более вероятно. Разумеется, когда дедушка Мишель узнал, что летом 1876-го Артур собирается во Францию, он пригласил его в гости. До этого они еще ни разу «живьем» не виделись.

Европейского турне у юного Дойла толком не вышло: уже в Страсбурге он истратил все свои деньги на «оживленный ужин» (подозреваем, что с дамами), и ему ничего не оставалось, как сразу отправиться к дедушке Мишелю. Ему не на что было даже нанять извозчика, и он пешком обошел пол-Парижа, прежде чем разыскал улицу Ваграм, где жил его крестный. Дедушка Майкл оказался высоченным и здоровенным стариканом, который всем своим обликом – за исключением окладистой бороды и взъерошенных седых кудрей на голове – был очень похож на самого Артура. В мемуарах Дойл пишет, что пошел в деда Мишеля не только телосложением, но и складом ума; естественно, что эти двое моментально нашли общий язык. Сюзанна, жена Мишеля Конана, тоже понравилась Артуру. Так что никуда он больше не поехал – так и провел в Париже почти месяц. Надо думать, о книгах они с дедом говорили часами напролет, при этом то и дело ругаясь и тут же мирясь: оба были вспыльчивы, но отходчивы.

Мишель Конан, хоть и офранцузился изрядно, своего происхождения никогда не забывал; по убеждениям он был яростным ирландским националистом и, конечно, пытался настроить внучатого племянника в том же духе. Артуру еще в раннем детстве случилось увидеть радикальных националистов – в «Воспоминаниях и приключениях» он описывает эпизод, когда, будучи с матерью в гостях у дальнего ирландского родственника, он наблюдал, как при приближении к усадьбе компании каких-то безобидных на вид оборванцев перепуганные слуги бросились запирать ворота: «Только позднее я понял, что эти люди были отрядом фениев и что мне довелось увидеть один из тех мятежей, которые время от времени переживает бедная старая Ирландия». На всякий случай освежим память читателя относительно фениев: так назывались революционеры-террористы (они, в частности, организовали ряд взрывов в лондонском метрополитене и на вокзале Кингс-Кросс), члены тайных заговорщических организаций, действовавших во второй половине XIX – начале XX века. Дедушка Мишель к фениям не принадлежал и не одобрял террора, но был одним из основателей движения «Шинн фейн» (по-гэльски, «мы сами»), которое также требовало независимости Ирландии; оно оформилось как политическая организация в 1905 году и не дает покою правительству Великобритании по сей день.

Мишель Конан, однако, не преуспел в том, чтобы привлечь крестника на свою сторону: Конан Дойл, напротив, всю жизнь будет сторонником единой империи и противником ирландского самоопределения. Почему он не поддался националистическим убеждениям, которые были так сильны у его матери и других родственников? Вопрос слишком сложный и обширный, чтобы пытаться осветить его здесь, но впоследствии мы еще не раз будем обращаться к «ирландской проблеме».

Узнав, что Артуру предстоит быть врачом, дедушка Мишель вряд ли пришел от этого в восторг: он куда ясней самого мальчишки видел, что его призвание – литература. Но вмешиваться он конечно же не стал. Не всякого литература может прокормить.

В июле Артур вернулся в Эдинбург (к тому времени семейство Дойлов вместе с Брайаном Уоллером перебралось с Сайенс-Хилл-плейс на другую квартиру, более приличную, по адресу Аргайл-парк-террас, 2) и они с матерью окончательно сверили свои планы. Вообще-то, чтобы заниматься медицинской практикой общего характера, по тогдашним законам не обязательно было получать степень доктора медицины в высшем учебном заведении: можно было, например, пойти в ученики к хирургу или аптекарю и через пару лет сдать экзамен в лицензирующей организации. Но Дойлы все-таки решили, что Артуру следует поступать в университет: дипломированных специалистов вносили в реестр квалифицированных врачей, что давало не только уважение пациентов и коллег, но и гарантии: докторов без диплома

могли легко лишить практики. Учиться – так уж как следует; Мэри всегда была честолюбива.

Эдинбургский университет, основанный в 1583 году, был одним из лучших учебных заведений Великобритании в XIX веке (он и сейчас входит в первую пятерку британских университетов); своей медицинской школой он славился на всю Европу. Доктор Уоллер тоже был его выпускником, и повлиял он на решение Дойла или нет, но о медицинском факультете наверняка отзывался с похвалой. Учиться в родном городе, никуда не ездить, а следовательно, не тратиться на съемное жилье; в общем, все сошлось как нельзя удобней, вот только денег на учебу не было. Но и эта проблема решалась. В Эдинбургском университете, как и теперь во многих вузах, существовала система стипендий, носивших имя различных деятелей науки: человек сдавал конкурсные экзамены и по их результатам ему выплачивалась определенная сумма, которую он в дальнейшем тратил на свое образование – оплату обучения, книги, жилье. Артур записался на экзамены и весь оставшийся месяц провел за зубрежкой – математика, химия, опять ненавистные классические языки. Сдал успешно и с радостью услышал, что ему присуждена стипендия в сорок фунтов на два года. Для студента это была солидная сумма, и Дойлы ликовали.

Но когда Артур пришел за деньгами, оказалось, что канцелярия допустила ошибку: профессор Грирсон, в чью честь называлась выигранная Артуром стипендия, был лингвистом и, соответственно, деньги предназначались для гуманитарных факультетов. Артуру казалось, что это легко поправить, ведь стипендий была целая куча, для медиков в том числе. Но было уже поздно, а может, чиновники просто не захотели себя утруждать; юный Дойл некоторое время обивал пороги, хотел даже судиться, но близкие отговорили его (ходил и ругался, правда, не совсем впустую: семь фунтов ему все-таки выплатили). Можно, конечно, было отказаться от поступления, пойти в ученики, потом пробовать получить стипендию на следующий год, но жаль было потраченного времени и сил. Так что в октябре 1876-го Артур Дойл был зачислен на первый курс медицинского факультета.

Глава вторая

ТРИ СТУДЕНТА

Хорошо, что наш герой не родился лет на тридцать-сорок раньше – не то бы ему пришлось, как другим медикам, выкапывать на кладбище трупы, чтоб попрактиковаться в анатомии, и производить ампутации с помощью пилы, напоив больного спиртом и не зная, выдержит ли он болевой шок (так резали ногу несчастному Анатолю Курагину). Но, к счастью, как раз в 50-е – 70-е годы XIX века медицина совершила огромный скачок на пути к прогрессу. С 1846-го стали использовать анестезию (эфир, а после – хлороформ) во время операций – собственно, лишь тогда и начали делать настоящие операции, удаление аппендицита, например, или камня из почки, а не только отпиливать конечности. В 1867 году Джозеф Листер (кстати, выпускник Эдинбургского университета) случайно обнаружил, что карболовая кислота предотвращает попадание инфекции в раны – так возникла антисептика (авторство термина принадлежит медику по фамилии Холмс, к чьей биографии мы еще обратимся – он же, кстати, одним из первых додумался до того, что, принимая роды, желательно мыть руки и что родовая горячка, от которой женщины умирали тысячами, – следствие грязи, а не Провидения). В 1876-м были впервые использованы медицинские перчатки, а хирурги наконец-то стали мыть руки перед всеми операциями. С кражами из могил после 1850-го тоже был наведен некоторый порядок: студенты-медики по-прежнему практиковались на трупах бедняков (утопленников, висельников, нищих), но человек *приличный* мог уже не опасаться, что его тело попадет в анатомический театр.

Кроме того, если врач первой половины XIX века, как правило, и резал, и вскрывал, и лечил от всех болезней, то в те годы, когда учился Артур Дойл, уже появились узкие специалисты – гинекологи, окулисты, хирурги, хотя большинство врачей по-прежнему готовили для «широкого профиля». Заметим также, что «распределялись» английские выпускники вовсе не в больницы – это было возможно в России, где большинство населения жило в сельской местности и врачей отчаянно не хватало, так что в деревенскую больничку могли с радостью взять любого зеленого новичка, а в Англии, напротив, среди медиков была гигантская конкуренция и в клинику мог устроиться только опытный, хорошо зарекомендовавший себя врач, – они становились частнопрактикующими докторами, причем терапевтами и хирургами в одном лице. Не существовало ординатуры и больничной практики в нынешнем виде. Но в остальном обучение на медицинском факультете было довольно похоже на современное: первый курс – общие предметы (химия, физика, ботаника, зоология, анатомия), потом начинались специализированные: хирургия, акушерство, физиология, психиатрия, фармакология, диагностика, венерология и так далее (латынь, разумеется, тоже учили). О студенте Чехове мы можем прочесть, что присутствовать при операциях и вскрытиях он начал на втором курсе; Конан Дойл в рассказе «Его первая операция» («His First Operation») пишет, что и первокурсники ходили смотреть на операции в клинику. Из этого рассказа мы можем составить себе некоторое представление о том, какого рода операции были тогда подвластны врачам:

«– Видите высокого лысого человека в первом ряду? – прошептал старшекурсник. – Это Петерсон. Как вы знаете, он специалист по пересадке кожи. А это Энтони Браун, который прошлой зимой успешно удалил гортань...

– А кто эти два человека, что сидят у стола с инструментами?

– Никто. помощники. Один ведает инструментами, другой – «пыхтелкой Билли». Это, как вы знаете, антисептический пульверизатор Листера. Арчер – сторонник карболовой кислоты. Хэйес – глава школы чистоты и холодной воды. И они смертельно ненавидят друг друга».

Особо нежных чувств к своей *aima mater* Конан Дойл, человек довольно сентиментальный, никогда не питал: отчасти, наверное, из-за жульничества со стипендией, но главным образом потому, что эта угрюмая «мать» (сейчас Эдинбургский университет представляет собой большой комплекс учебных корпусов и общежитий, а тогда это было просто громадное массивное здание с «угрюмым серым фасадом»), в свою очередь, весьма прохладно относилась к питомцам. «Огромной равнодушной машиной» называл Дойл университет в своем первом романе «Торговый дом Гердлстон» («The Firm of Girdlestone: a romance of the unromantic»), а в мемуарах отзывался так: «Университет интересуется своими сынами лишь в тех не слишком редких случаях, когда надеется получить от них гинею-другую. И тут остается только дивиться, с какой быстротой старая курица считает своих цыплят.»

Порядок был такой: студент вносил минимальную требуемую плату за год (откуда взялись деньги, спросит дотошный читатель, если стипендии Артур Дойл не получил? – а другой догадается, что не обошлось без доктора Уоллера) и затем дополнительно оплачивал только те

курсы лекций, которые хотел прослушать, но экзамены проводились по всем предметам. Как мы уже отметили, кроме собственно медицинских дисциплин, в программу входили общеобразовательные предметы, которые, как считал Артур, имели весьма отдаленное отношение к искусству врачевания. Но в Эдинбургском университете никто никого ни к чему не принуждал: начальство не интересовало, ходит студент на занятия или не ходит, зубрит или не зубрит; любой мог посреди семестра уехать куда угодно и вернуться только к сессии, а мог и не вернуться и сдать экзамен в следующем году; мог вообще проучиться пять или десять лет, не сдавая никаких экзаменов – правда, диплом бы он не получил, но в XIX веке можно было практиковать и без диплома. Не было студгородков, как в Кембридже или Оксфорде, жилье студенты подыскивали самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей, могли хоть на вокзале жить, никого это не волновало. Также не было контроля ни за их моральным обликом, ни за религиозностью – несмотря на наличие теологического факультета, студент мог поклоняться чему угодно или вообще быть атеистом. «Пьянки и гулянки» не возбранялись, лишь бы они происходили не на лекциях. В общем, каждый устраивался как ему вздумается и делал что хотел. Такова была шотландская система образования, коренным образом отличавшаяся от английской.

Дойл весьма иронически отзывался об английской системе (признавая, правда, за ней кое-что хорошее: «Того, кто опояшет свои чресла и начнет трудиться, ожидают всяческие награды, стипендии, солидные денежные пособия»), но и шотландская не приводила его в восторг. И не только потому, что прилежная учеба не вознаграждалась: «Из каждой тысячи штук сырья примерно шестьсот полностью проходят процесс обработки. Остальные в ее ходе отбрасываются». Артур видел много таких отброшенных, и далеко не всегда это были люди неспособные: просто не всякий юнец может справиться с полной самостоятельностью. Многие просто спивались.

Как же при таком подходе к обучению можно было стать специалистом? Страшновато становится, когда представишь себе дипломированного доктора, толком не посетившего ни одной лекции. Но это сейчас выпускник-разгильдяй может спрятаться в огромном штате какой-нибудь государственной больницы; в XIX веке, когда подавляющее большинство населения лечилось у частнопрактикующих врачей, к плохому доктору просто не стали бы ходить пациенты. Так что каждый эдинбургский студент, всерьез надеявшийся приобрести хорошую практику, понимал, что все зависит от него самого; если было у него достаточно воли и здравого смысла – он выдерживал испытание свободой и становился взрослым, «в то время, как его английские сверстники в духовном отношении еще оставались школьниками». И время, похоже, подтвердило, что шотландская система совсем не плоха: достаточно взглянуть на краткий перечень знаменитых выпускников. Чарлз Дарвин, Дэвид Юм, Роберт Стивенсон, Вальтер Скотт, Джеймс Клерк Максвелл, палеонтолог Ричард Оуэн, русский физик Игорь Евгеньевич Тамм (а самым первым русским, получившим диплом Эдинбургского университета, был сын Екатерины Дашковой), изобретатель телефона Александер Белл, а также, между прочим, одна из богатейших женщин мира Джоан Роулинг и нынешний премьер Гордон Браун. На любой вкус. Хотя, быть может, среди тех, кто загулял и недоучился, тоже были потенциальные гении – как знать.

Студента Дойла, во всяком случае, к гениям никто не относил. Учился он, по его собственным словам, не плохо и не хорошо, был старателен, но звезд с неба не хватал: все-таки профессия была выбрана больше по расчету, чем по любви. Да и занятий пропускал очень много, правда, не из разгильдяйства, а по причинам уважительным, о которых мы будем говорить дальше. Он радовался, что не нужно больше учить математику, зато чрезвычайно увлекся химией, любимой наукой Шерлока Холмса.

Как всегда и везде, занимался спортом. В крикет почти не играл – крикету, как и медицине, надо было посвятить себя без остатка, а у него не находилось на это времени. Пробовал себя в регби – лучшем, по его словам, спорте для коллектива. «Сила, мужество, скорость и изобретательность – великие качества, и все они сошлись в одной игре». В регбийной команде он играл форварда; для людей, совсем далеких от этих игр, стоит заметить, что в тогдашнем регби, в отличие от футбола, форвард – вовсе не стремительный голеадор, а, напротив, рядовой труженик, что на протяжении всего матча возится и пыхтит в куче своих тяжеловесных собратьев по амплуа, дабы легконогие звездочки полузащиты могли прорваться к чужим воротам. Иногда можно прочесть, что Конан Дойл был футбольным нападающим – это ошибка, в футбол он играл в защите. Пустяк, но пустяк-то важный, потому что он характеризует нашего героя: в играх, как и в жизни, он, как правило, был не блестящим индивидуалистом, а рабочей лошадкой. Он начал заниматься боксом – наконец-то детская страсть к дракам нашла приличный выход – и будет практиковаться в нем до старости, хотя выдающихся успехов не достигнет никогда, как и во всех других видах спорта – для этого у него чересчур любительский подход. («Я был бы сильнее, если бы меньше учил и больше учился» – похоже, едва усвоив азы, юный Дойл старался приобщить к своему увлечению как можно больше

народу.) Разносторонний был студент, хоть и не особо блестящий. Приведенный ниже абзац отчасти позволяет судить о круге интересов студента Дойла.

«На буфете подозрительно аккуратным строем стояли внушительные тома, порядок которых явно нарушался очень редко: „Остеология“ Холдена, „Анатомия“ Куэйна, „Физиология“ Керка и „Беспозвоночные“ Гексли, а также человеческий череп. Сбоку к камину были прислонены две берцовые кости, а по другую его сторону красовались две рапиры, два эспадрона и набор боксерских перчаток. На полке, в уютной нише, хранилась беллетристика, и стоявшие там книги выглядели куда более потрепанными, чем ученые тома». Эта комната нам уже кажется знакомой – недостает персидской туфли с табаком, – но снимают ее пока что не два знаменитых друга, а совсем другие люди: студент Том Димсдейл, герой дойловского романа «Торговый дом Гердлстон», со своим однокурсником. Артур Дойл жил со своей семьей (опять на новой квартире – Джордж-сквер, 23), с матерью и младшими детьми; надо думать, он порой завидовал приезжим студентам, у которых бывал в гостях, и представлял себе, как бы восхитительно ему жилось, будь он так же свободен в своих привычках – отчасти та же тень тоски по веселому мальчишескому братству, что найдет свое отражение в рассказах о Холмсе и его верном спутнике.

В студенческие годы Артур перестал поглощать только исторические и приключенческие романы и открыл для себя литературу иного рода. В «Торговом доме Гердлстон» описано, какие книги стояли на полках у Тома Димсдейла: «Эсмонд» Теккерея, «Новые сказки тысячи и одной ночи» Стивенсона и «Ричард Феверел» Мередита, «Завоевание Гранады» Ирвинга и «романы в бумажных обложках, зачитанные почти до дыр». Димсдейл был, откровенно говоря, довольно глупым юношей и к тому же двоечником, вылетевшим из университета, так что круг чтения, описанный в романе, скорей относится не к персонажу, а к автору. Не студент Димсдейл, а студент Дойл смог оценить Теккерея – не только исторический роман «История Генри Эсмонда», но и куда более тонкую и блистательную «Ярмарку тщеславия», – и на всю жизнь полюбил Джорджа Мередита, глубокого психолога, незаслуженно забытого в наши дни. Он брал в библиотеке Шекспира, Диккенса, Филдинга, Томаса Харди; как всякий юноша, он пристрастился к поэзии – англоязычной, естественно, – Бернсу, Шелли, Байрону, Браунингу, Китсу, Теннисону (ценил, впрочем, и Гейне); он был в ту пору без ума от Мелвилла, и на него произвела неизгладимое впечатление повесть молодого, но уже знаменитого Стивенсона «Дом на дюнах». А вот книгу Мопассана он впервые раскроет уже лет в тридцать, и вообще французская литература, несмотря на все симпатии к Франции, как-то пройдет мимо него.

Он до дыр зачитал «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“» и впоследствии писал о Чарлзе Дарвине, что человека с более всеохватывающим интеллектом еще никогда не встречалось; не менее, чем интеллект, его привлекали в Дарвине «смелость, нравственная и физическая» и «спокойная настойчивость» – черты, которые казались ему неотъемлемыми качествами англичанина и которыми стремился обладать он сам. Ветхие тома Тацита и Гомера (в переводах: древних языков, как мы помним, он терпеть не мог) стоили ему немалой жертвы: два пенса, что выдавались ему ежедневно на завтрак, он порой оставлял в лавке букиниста. «По мере приближения к лавке между моим голодным желудком и пытливым ненасытным умом разыгрывалось целое сражение. Пять раз из шести во мне побеждало животное». Но каждый шестой раз приобреталась – аккурат за два пенса – старинная книжка: то жизнеописание Фрэнсиса Бэкона, то «История» Эдварда Кларендона (памфлет о деятелях английской революции); ценою завтрака он прочел Свифта, чей памфлет «Сказка бочки», весьма желчно критикующий как католиков, так и протестантов, был созвучен его собственным мыслям. Снижая пафос, заметим, что один тогдашний пенс – это что-то около десяти рублей по-нашему. Позавтракать на двадцатку нынче вряд ли получится, а хорошую книгу на развале отыскать можно.

Артур часто ходил на танцевальные вечера и, едва появлялись свободные шесть пенсов, – в театр, ухитрившись однажды совместить театр с боксом, когда какой-то грубиян пытался пролезть за билетами вне очереди. Из всего вышеприведенного можно сделать вывод о том, что младшекурсник Дойл был, в общем, благополучен и счастлив. Его письма к матери, приводящиеся в биографических изданиях, подтверждают это. Сам он в «Воспоминаниях и приключениях», признавая, что у него бывали «дополнительные заботы и тревожные мысли», тотчас оговаривается, что ни в коем случае не хотел бы создать впечатление, будто жизнь его была мрачна. «Будучи по натуре жизнелюбивым человеком, я не упускал ни одной возможности повеселиться, а кроме того, я обладал огромной способностью наслаждаться». Однако в «Письмах Старка Монро» мы можем прочесть по поводу его душевного состояния в юные годы и другие слова: «Дикая застенчивость, чередующаяся с абсурдными приступами дерзости, тоска по дружеской близости, мучительные переживания по поводу мнимых промахов, необычные эротические опасения, смертельный страх перед несуществующими болезнями, смутные томления, пробуждаемые всеми женщинами, и парализующая дрожь в присутствии одной из них, агрессивность, вызванная опасениями показаться трусом,

внезапные приступы уныния, глубокая неуверенность в себе – я держу пари, Берти, что Вы прошли через это, как и я, как и любой восемнадцатилетний парень».

Не стоит ловить Дойла на противоречии – в восемнадцать лет «ужасная застенчивость» и «огромная способность наслаждаться» преспокойно уживаются рядом; а все-таки довольно неожиданная откровенность для джентльмена и викторианца. Далее он высказывает сожаление о том, что писатели-мужчины, подробно описывающие душевную жизнь юных девушек, в которых они ничего на самом деле понимать не могут, почему-то никогда не пишут откровенно о переживаниях молодых людей (как жаль, что он не сможет прочесть «Над пропастью во ржи»!), и признается, что сам хотел бы написать об этом, да вот беда – не обладает достаточным воображением. Так никогда и не соберется написать, напротив, чем дальше, тем глуше будет «застегивать душу на пуговицы», тем меньше будет уделять внимания внутренней жизни своих персонажей. А зря, наверное. Любопытная вышла бы книга.

Не касаясь сейчас всех проблем, названных в «Старке Монро», задержимся на одной: «тоске по дружеской близости». Опять Артур, такой вроде бы общительный, оказался одинок: его друг детства, Джеймс Райан, поступил на тот же факультет, но вскоре заболел и его семья уехала из Англии. Лишь на третьем году обучения Дойл – благодаря регби – сблизится со студентом своего факультета Джорджем Баддом (четырьмя годами старше его), о котором потом напишет целую повесть, и чьи черты будут время от времени проявляться то в одном, то в другом персонаже, – но дружба эта, в силу очень уж неординарного характера Бадда, будет иметь противоречивый и односторонний характер. Почти во всех кратких биографических очерках можно прочесть, что Конан Дойл в университете «сталкивался с такими будущими светилами английской литературы, как Джеймс Барри и Роберт Луис Стивенсон». Это некорректное прочтение фрагмента из мемуаров Дойла, где он пишет, что «мог встречаться» и «едва ли не встречался». Со Стивенсоном он пересечься никак не мог, поскольку тот окончил Эдинбургский университет в 1875 году, когда Дойл еще не поступил туда, причем другой факультет – юридический. Что же касается Барри, то теоретически встречи были возможны – Барри учился с 1877-го по 1882-й, – но опять-таки не на медицинском, а на факультете изящных искусств, и сам Дойл пишет, что познакомился с автором «Питера Пэна» уже много лет спустя после окончания университета, когда они оба жили в Лондоне. С Барри они подружатся и даже попробуют писать вместе. Жалко, конечно, что в Эдинбурге эти двое не знали друг друга.

В «Торговом доме Гердлстон» Эдинбургскому университету посвящено несколько глав, может быть, лучших в романе, во всяком случае, самых живых и непосредственных: экзаменационная сессия, выборы ректора, матч по регби. Попал на страницы романа и кое-кто из университетских профессоров: когда Том Димсдейл приходит сдавать экзамен по зоологии, на столе его ждет распластанный краб, а за столом – «низенький профессор, чьи выпуклые глаза и скрюченные руки придавали ему такое сходство с вышеупомянутым крабом, что Том не мог сдержать улыбки». Этот карикатурный экзаменатор, подвергающий Тома жестокому, но разумному допросу, вероятно, представляет собою нечто среднее между профессорами Томсоном и Резерфордом; последнего (имеется в виду не великий физик-ядерщик Эрнест Резерфорд, а Уильям Резерфорд, обычный профессор медицины, ничем не примечательный в научном отношении) принято называть прототипом профессора Челленджера, что справедливо лишь отчасти: если от Резерфорда профессор Челленджер взял громоподобный голос, ассирийскую бороду, эпатирующее поведение и страсть к парадоксальным идеям, то в научном отношении «крестным отцом» Челленджера скорее является Чарлз Томсон, знаменитый биолог и океанограф, совершивший кругосветную экспедицию, результаты которой коренным образом изменили представление о рельефе дна океанов; кстати, судно, на котором он плавал, называлось «Челленджером» (в экспедиции «Челленджера» участвовал еще один ученый, зоолог Вайвилл, большой педант, чью козлиную бородку унаследует профессор Саммерли). Но преподаватель, который произвел на Дойла самое сильное впечатление, в «Гердлстонах» вообще не упоминается: возможно, начинающий автор инстинктивно почувствовал, что эта фигура слишком значительна для эпизодической роли. Мы говорим о профессоре Джозефе Белле.

«Белл – прототип Шерлока Холмса» – если кто-то и не читал об этом, то наверняка видел английский телесериал о приключениях молодого доктора Дойла. Экранный доктор Белл проводит вскрытия в полицейских участках и сам расследует преступления; в жизни он работал хирургом в Эдинбургской больнице, занимал почетную должность председателя Королевского общества хирургов и никакого отношения к криминалистике не имел – во всяком случае, таково общепринятое мнение. Уже упоминавшийся Дэвид Пири и некоторые другие современные изыскатели, правда, полагают, что Белл таки работал на полицию в качестве судебно-медицинского эксперта и помогал раскрывать громкие убийства, но предпочитал сохранять конфиденциальность, причем Конан Дойл о его деятельности

полицейского консультанта знал; говорится даже о конкретном человеке, которого доктор Белл в 1878 году привел на виселицу: известном эдинбургском отравителе Евгении Шантреле. Однако в соответствии с официальными источниками, в качестве судебно-медицинского эксперта по этому делу работал другой сотрудник Эдинбургского университета, профессор судебной медицины Литтлджон; так что версия насчет доктора Белла представляется несколько надуманной, хотя, с другой стороны, если один университетский медик постоянно работал для полиции, то теоретически мог это иногда делать и другой. В любом случае стоит заметить, что в наши дни в Эдинбурге существует Центр судебной статистики и юридических обоснований, который носит имя Джозефа Белла, и этот центр, в частности, разработал компьютерную программу, пытающуюся устанавливать связи между различными уликами и свидетельскими показаниями, а также на основании введенных данных выдвигать разные версии преступления. Так что и не поймешь, кто кому подражает: литература жизни или жизнь – литературе.

Однако «дедуктивный метод» Белл действительно применял на практике, причем как непосредственно в деле – диагностике заболеваний, – так и без видимой пользы для него. Очень наблюдательный человек был доктор Белл и любил щегольнуть своей наблюдательностью перед студентами, угадывая по наружности и манерам пациентов их профессию, материальное положение и прочее.

«Ну, любезный, вы служили в армии?

– Да, сэр!

– Недавно уволились?

– Да, сэр!

– Из Хайлендского полка?

– Да, сэр!

– Сержант?

– Да, сэр!

– Стояли на Барбадосе?

– Да, сэр!

– Видите ли, джентльмены, – пояснял он (Белл. – *М. Ч.),* – это человек воспитанный, но шляпы не снял. Такого не делают в армии, но если бы он давно вышел в отставку, он приобрел бы уже гражданские манеры. У него уверенный вид, и, без сомнения, он шотландец. А Барбадос – так как он страдает слоновой болезнью, что обычно для Вест-Индии, а не для Британии».

Что касается собственно медицинских диагнозов, то при их постановке Белл нередко обходился вообще без вопросов и ответов, что казалось юным Уотсонам чем-то сверхъестественным, тогда как, по словам самого профессора, все дело было лишь в наблюдательности, умении анализировать и делать выводы. Неудивительно, что студенты внимали Беллу разинув рот; правда, в отличие от Холмса, ему нередко случалось ошибаться – в разгадке прошлого пациентов, но не в диагностике.

Доктор Белл состоял личным врачом королевы Виктории (когда она бывала в Шотландии) и почетным врачом Эдуарда VII, издал ряд медицинских учебников, более 20 лет редактировал «Эдинбургский медицинский журнал». Писал стихи, был неплохим спортсменом, увлекался орнитологией. Внешне он был таким, каким Дойл написал Холмса: длинные тонкие пальцы, орлиный нос и все прочее. Что касается характера Белла – тут источники расходятся во мнениях: можно прочесть, что он был одним из немногих служителей «равнодушной машины», которые относились к студентам по-человечески, а можно и обратное – что он был холоден и строг. Артур Дойл, во всяком случае, чем-то ему приглянулся – наверное, слушал с особенным любопытством, – и Белл выделил его из толпы, назначив своим секретарем (по-видимому, на общественных началах, так как о вознаграждении нигде не упоминается): Артур вел в клинике эдинбургской Королевской больницы, где практиковал Белл и куда приводили студентов-медиков смотреть и учиться, картотеку амбулаторных больных, записывал истории болезней, а главное – присутствовал при «сеансах дедукции» значительно чаще, чем какой-либо другой студент. Все это не только пригодилось ему в литературе (чего он тогда и предположить не мог), но и дало кой-какой навык работы помощником врача – а вот это понадобится уже скоро.

Артуру, как мы помним, были очень нужны деньги – не столько для помощи семье, сколько затем, чтобы содержать себя самого и не быть никому обузой; поэтому он толком прослушал лишь первый курс, а уже на втором начал давать объявления в газеты: он намеревался проходить курс обучения за полгода, а остальное время работать ассистентом у практикующего врача. На том же втором курсе он решил попробовать свои силы в литературе. Написал рассказ «Замок с привидениями в Горсторпе» («The Haunted Grange of Goresthorpe», не путать с более поздним юмористическим рассказом «Тайна замка Горсорп-Грэйндж») и отослал его в эдинбургский литературный журнал «Блэквуд». Ужасную тайну усадьбы Горсторп пыталась разгадать пара молодых героев – один из них был умен и проницателен, другой, попроще, восхищался своим другом. Рассказ отвергли. Текст долгое время считался пропавшим бесследно; в 1942-м его отыскали в библиотеке Эдинбурга, но опубликовали лишь недавно (автору это вряд ли бы понравилось: к своим юношеским пробам пера он относился с брезгливостью).

Отказ сильно обескуражил Артура. Он решил больше не писать и сосредоточиться на поисках работы. В Эдинбурге врача, который нуждался бы в ассистенте-второкурснике, не нашлось; первым нанимателем «доктора» Дойла, к которому тот поступил в помощники в начале лета 1878-го, был доктор Ричардсон из Шеффилда, который обслуживал пациентов из беднейших слоев общества. Обязанности Артура заключались в приготовлении лекарств: работа тонкая, и неопытный ассистент с нею справлялся неважно, да и больные не доверяли юнцу; спустя всего три недели доктор Ричардсон и студент Дойл расстались к взаимному облегчению. Не заплатили Артуру ни гроша – только на дорогу потратился. Тогда он решил, что приработок легче будет найти в большом городе, и, списавшись с родней, приехал в Лондон, где возобновил рассылку объявлений.

Жил он на сей раз не у дяди Ричарда, а у дяди Генри на Клифтон-гарден, но виделся, как и в прошлый приезд, со всеми остальными дядьями и тетками. Однако теперь уже он не мог найти общего языка не только с тетей Аннет. Одна из причин конфликта между лондонскими Дойлами и Артуром заключалась в разном отношении к религии: они были «упертые» католики, он к деятельности церкви уже относился весьма критически.

Что представляло собой мировоззрение Дойла-студента? В мемуарах он назвал ученых, которые в те годы были для него духовными авторитетами: уже упоминавшийся Дарвин, чей вклад в науку, мы надеемся, пока еще не нуждается в комментариях, Томас Гексли – биолог, один из главных пропагандистов учения Дарвина, – натуралист и путешественник Альфред Уоллес, опубликовавший «Вклад в теорию естественного отбора», физик Джон Тиндал, а также известные нашей дореволюционной интеллигенции не хуже Дарвина, а ныне основательно забытые социолог Герберт Спенсер и экономист Джон Милль – основатели позитивизма. (Под конец жизни Конан Дойл от них довольно бесцеремонно отречется: «Сейчас я знаю, что их негативный подход был даже более ошибочен и гораздо более опасен, чем установленная точка зрения, на которую они нападали с такой сокрушительной критикой».) Все они стояли на позициях эволюционизма – как по отношению к человеку, так и к обществу в целом, – и твердо верили в то, что технический прогресс постепенно приведет к прогрессу во всех областях жизни. Большинство из них называли себя агностиками; агностиком решил побыть и студент Дойл.

Сам он в мемуарах определил свои тогдашние взгляды как «агностицизм, который ни на миг не вырождался в атеизм, поскольку я очень остро чувствовал чудесное равновесие вселенной и огромную силу замысла и устойчивости, которую она в себе заключает», а в книге «Новое откровение» («The New Revelation»), о которой в дальнейшем мы будем говорить подробнее, писал, что, как и большинство молодых врачей, оказался убежденным материалистом во всем, что касалось человеческой участи. «Но в то же время я никогда не переставал быть и ревностным теистом, поскольку, на мой взгляд, никто еще не дал ответа на вопрос, заданный Наполеоном звездной ночью во время египетского похода профессорам-атеистам: „Скажите-ка, господа, кто создал эти звезды?“» И, поскольку рядом не оказалось В. И. Ленина, который разъяснил бы ему, что агностицизм есть лишь фиговый листок материализма, считать себя атеистом Дойл решительно отказывался. Но в то же время ему противен был тот бог, любовь к которому пытались вколотить резиновой палкой и в которого верила тетя Аннет – мелочный, мстительный и любящий грубую лесть, – и те общественные институты, что под предлогом защиты истинной веры потворствуют самым низменным человеческим инстинктам и на чьей совести не один десяток братоубийственных войн; а то, что он видел на вскрытиях, все больше подвигало его к убеждению, что жизни вечной не существует и сознание навсегда покидает мертвое тело, как пламя – сгоревшую дотла свечу. В «Новом откровении» есть по поводу бессмертия души один абзац, столь очаровательный, что невозможно удержаться и не заглянуть еще разок в эту книгу, хоть пока и не ко времени: «Каждый человек в эгоизме своем может чувствовать, будто его "я" бессмертно, но пусть он взглянет, скажем, на среднего бездельника, принадлежащего к высшему или низшему классу общества – возникнет ли у него

тогда в самом деле мысль, будто есть какая-то явная причина к тому, чтобы и такая личность продолжала жить после смерти тела?!»

Долго оставаться последовательным агностиком Артур не смог – по своему характеру он всегда тяготел к определенности и ясности и в конце концов причислил себя к унитариям: это были протестанты самого либерального толка, утверждавшие значимость свободы индивида в поиске религиозной истины с использованием доводов разума. (Название «унитарии» указывает на их противоположность «тринитариям», признающим троичность Бога.) Унитарии верили в единого Бога, а Христа воспринимали лишь как великого человека; они отвергали ряд таинств и догматов, в частности учение о грехопадении, еще со школьных лет представлявшееся Артуру наиболее бессмысленной частью официальной религии, за что были ненавидимы и католиками, и протестантами.

Итак, он был унитарием (мы говорим сейчас именно о восемнадцатилетнем студенте второго курса, а не о том Артуре Дойле возраста двадцати двух лет, чьи куда более сложные религиозные взгляды будут изложены в «Письмах Старка Монро»), а родственники прозрачно намекали ему, что по окончании учебы с удовольствием окажут ему протекцию, только если он захочет стать «католическим врачом», то есть будет обслуживать католические семейства. Его бесило, что ему ставят условия – отсюда конфликт. Однако были тут, конечно, и другие разногласия, более приземленные: пожилых Дойлов пугали соблазны, которыми Лондон кишмя кишел, и они предпочли бы видеть юного племянника чинно сидящим с ними у камина, а не шляющимся в одиночку по «каменным джунглям», а у него, естественно, было на этот счет другое мнение. «Боюсь, что оказался для них слишком богемным, а они для меня – слишком традиционными». Реализовать как следует свои богемные наклонности, впрочем, ему не удалось: денег было очень мало, и в основном он просто шатался по городу, исходив его вдоль и поперек – по маршрутам этих одиноких пеших прогулок будут колесить в кебах Уотсон с Холмсом.

На газетные объявления несколько недель никто не откликался; с отчаяния юный Дойл даже записывался в солдаты, чтобы ехать в Афганистан, где было в тот год очень неспокойно, а также просился на работу в полевой госпиталь, желая отправиться на Русско-турецкую войну (в которой Англия была на стороне Турции, в благодарность за что потом получила Кипр), но, к счастью, до военных действий так и не дошло: Берлинский конгресс в июне 1878-го положил войне конец. И в июне же Артур наконец-то получил ответ от доктора Эллиота из местечка со странным названием «Райтон-Одиннад-цать-Городов» в Шропшире. Он тотчас помчался туда.

В этом самом Райтоне, который «и для одного-то города был слишком мал, куда уж там до одиннадцати», он проработал четыре месяца – до октября 1878 года. Основным его занятием опять было приготовление лекарств. Вообще сложно сказать, зачем доктору Эллиоту понадобился помощник – практика была мала, и у юного доктора Дойла оказалось очень много свободного времени. Кое-какой врачебной деятельностью доктор Дойл, конечно, занимался: в частности, однажды, когда доктора Эллиота не было дома, ему пришлось – за неимением другого врача – делать операцию человеку, который был на городском празднике ранен в голову осколком от пушечного выстрела; извлечение осколка прошло успешно, и доктор Эллиот остался доволен помощником, чего нельзя сказать о пациенте, который, вместо того чтобы заплатить, потребовал компенсации за причиненный ущерб – так, во всяком случае, сообщают некоторые биографы.

Но большую часть времени доктор Дойл оказался предоставлен сам себе и очень много читал, в результате чего отметил у себя «некоторый умственный прогресс». (Надо полагать, в Райтоне была библиотека, хотя какое-то чтение Артур, по-видимому, привез с собой: двухметровому и стокилограммовому верзиле нетрудно было всюду таскать набитый книгами сундучок.) Что он читал? Возраст, как мы уж говорили, взял свое, и теперь Артура больше привлекали книги о «жизни и любви», чем о погонях и перестрелках, однако в его литературных предпочтениях по-прежнему оставалось – и останется навсегда – что-то до бесконечности простодушное. В 1900-м, когда в свет уже давным-давно выйдут «Братья Карамазовы», «Госпожа Бовари» и «Приключения Гекльберри Финна», он так и будет считать образцами идеального романа нестерпимо слащавую «Памелу» Ричардсона (да-да, того самого Ричардсона, чью «Клариссу» еще Татьяна Ларина, жившая на свете задолго до Конан Дойла, любила «не потому, чтобы прочла») и «Монастырь и очаг» Чарлза Рида, о котором наш читатель вряд ли слыхал вообще и, возможно, решит, что потерял немного, прочтя пару строк из упомянутого романа – о том, как девушка завязывает ленты шляпки: «Затем небесный трепет коснулся невинного молодого человека, и перед ним смутно промелькнул новый мир чувств и ощущений. Маргарет невольно продлила эти новые, тонкие эмоции, ибо для ее пола было бы неестественно торопиться со священным туалетом».

Мы вовсе не хотим сказать, что Рид и Ричардсон плохие писатели или что у Конан Дойла был

дурной вкус – он оценил по достоинству Киплинга и Амброза Бирса, когда большинство литературных критиков не понимали их, и яростно защищал от нападок «Портрет Дориана Грея», – нас просто не может не умилить человек, предпочитающий Смоллетта и Бульвер-Литтона (которые сами по себе очаровательны, спору нет) – Готорну, а Оливера Уэнделла Холмса – Свифту. Однако мы сильно убежали вперед. К литературным вкусам доктора Дойла мы еще обратимся не раз; заметим лишь, что в эссе «За волшебной дверью» он называл два романа, по его мнению, весьма похожих друг на друга и одинаково являющихся вершинами мировой литературы: это процитированный выше «Монастырь и очаг» и. «Война и мир».

Осенью 1878-го начинался новый учебный год, и Артуру надо было уезжать из Райтона, но тут его ждал не очень приятный сюрприз. Когда он обратился к доктору Эллиоту за жалованьем, тот отказал, сославшись на текст данного Артуром объявления: «Студент третьего курса, *больше интересующийся опытом, чем оплатой,* предлагает...» (По совести говоря, он в ту пору лишь перешел на третий курс.) В общем – сам виноват. Даже расходы на дорогу ему не возместили.

В следующем, 1879 году ему наконец повезло: когда, сдав зимнюю сессию, он опять разместил в газетах объявления, то скоро получил приглашение подработать помощником в Астоне – тогда Астон считался городом, теперь это район Бирмингема, – у доктора Хора, «доброго малого», по выражению Дойла. Это был солидный, известный врач с большой практикой, которую он «обслуживал на пяти лошадях, а каждый практикующий врач поймет, что до появления автомобиля это означало вызовы с утра до ночи». Конан Дойл называет сумму, которую зарабатывал доктор Хор: ну-ка, посмотрим, как жили приличные английские доктора. Его годовой заработок был около трех тысяч фунтов стерлингов – при пересчете выглядит весьма внушительно, не правда ли? Здесь же Конан Дойл сообщает и о том, сколько стоил (в среднем) в те годы вызов врача – три шиллинга шесть пенсов за визит. Можно, конечно, самостоятельно сделать расчет исходя из фунта и пенса, но, поскольку в те годы путаники-англичане не использовали в деньгах десятеричную систему (1 фунт – 20 шиллингов, 1 шиллинг – 12 пенсов, а были еще гинеи, фартинги, флорины), проще сразу сообщить, что тогдашний шиллинг примерно соответствует 120 рублям. С бедняков брали обычно один шиллинг, но и это влетало в копеечку. Пузырек с лекарством обходился еще в полтора шиллинга; а ведь пузырьков прописывалось немало, и покупали их больные, как правило, не в аптеке, а непосредственно у доктора. Вот так и набегали три тысячи фунтов годовых. Артур, надо полагать, мечтал, что будет когда-нибудь зарабатывать столько же. Мечта сбудется, да только кормить доктора Дойла станут не пациенты, а совсем другие люди, которых он силой воображения сотворит сам.

Работы ассистентам (Дойл был не единственным) находилось очень много, и она была трудна: иногда за вечер Артуру приходилось готовить до сотни различных лекарств. «В целом я делал мало ошибок, хотя случалось, я посылал баночки мази и коробочки пилюль с подробными инструкциями на крышке и пустые внутри». В обязанности помощника также вменялось самостоятельно ходить с визитами к выздоравливающим больным или, наоборот, к безнадежным: последнее было очень тяжело. Хотя основная клиентура доктора Хора к тому времени состояла из обеспеченных людей, это вовсе не значит, что он не лечил бедных, и Артуру довелось, ходя по визитам, познакомиться «с жизнью самого дна». А дно у Бирмингема было глубокое – это был индустриальный центр, заполненный металлургическими заводами. В «Письмах Старка Монро» он изображен как Мертон, центр угольной промышленности: «Как могут люди жить в таких местах – для меня просто непостижимо. Чем может жизнь вознаградить их за это изуродование лика природы? Ни лесов, ни лужаек, – дымные трубы, бурая вода, горы кокса и шлака, огромные колеса и водокачки».

В «Старке Монро» также описан рабочий день молодого доктора: «Мы завтракали около девяти утра, и тотчас затем начинали являться утренние пациенты... Хортон исследует лучших пациентов в кабинете, я осматриваю беднейших в приемной, а ирландец Мак Карти пишет рецепты. По клубным правилам пациент обязан приносить свою бутылочку и пробку. О бутылочке они помнят, но пробку обыкновенно забывают. „Платите пенни или затыкайте пальцем“, – говорит Мак Карти. Они уверены, что вся сила лекарства выдохнется, если бутылочка будет открыта, и потому затыкают ее пальцем как можно старательнее. Вообще, у них курьезные представления о медицине. Всего больше им хочется получить две бутылочки: одну с раствором лимонной кислоты, другую с углекислым натром. Когда смесь начинает шипеть, они уверены, что здесь-то и сидит настоящая врачебная наука. Эта работа, а также прививка оспы, перевязки, мелкая хирургия продолжаются до одиннадцати часов, когда мы собираемся в комнате Хортона, чтобы распределить между собой пациентов, которых нужно навестить. К двум часам мы возвращаемся домой, где нас дожидается обед».

Примерно та же работа, только обрамленная не завтраком и обедом, а соответственно обедом и чаем, продолжалась до пяти часов; затем она возобновлялась, чтобы прерваться, как мы уже

догадываемся, ужином; а благодаря ночным вызовам нередко заканчивалась, когда пора было садиться завтракать. Однако благодаря неисчерпаемому дружелюбию доктора Хора-Хортона, который был «точно огонь в морозную ночь», и его милой жены, труд помощников был не в тягость, а в удовольствие, а Артур ощущал себя почти сыном в этой семье. «Да и живем мы как братья, наш разговор всегда веселая болтовня, пациенты тоже чувствуют себя как дома...» В Астоне доктор Дойл купил себе скрипку (некоторые источники сообщают, что банджо) на улице. Шерлок-стрит и вечерами упражнялся в игре на ней, но, кажется, скоро забросил это занятие. От потомков доктора Хора известно, что Артур Дойл много возился с детьми Хоров и то ли рассказывал, то ли даже писал для них увлекательные истории; они, к сожалению, не сохранились (Дойл будет поддерживать отношения с этой семьей до конца жизни). Работа у Хора не прошла для Артура бесследно и в научном отношении. Доктор Хор не был ограниченным практиком, он много писал в солидные медицинские журналы; его примеру последовал доктор Дойл: он довольно рискованно экспериментировал на себе с ядовитыми веществами и написал по результатам эксперимента статью «Ядовитые свойства дикого жасмина», которая была опубликована в сентябре 1879 года в «Британском медицинском журнале»; это была его первая серьезная статья, и он гордился ею, как потом ею будет гордиться Шерлок Холмс.

Очень многому доктор Дойл научился в Бирмингеме, и, что немаловажно, добрый доктор Хор ему за работу платил. Два фунта в месяц, не бог весть что даже по нашим меркам, но на большее студент-недоучка претендовать никак не мог. А поскольку из-за страшной занятости Артуру некогда и некуда было свою зарплату тратить (жил он в доме Хоров на всем готовом), то за полгода скопилась вполне пристойная сумма. Он был страшно признателен доктору Хору и его жене. Он наконец по-настоящему полюбил медицину. Но 1879 год стал для нашего героя счастливым и в другом отношении.

У викторианцев, как и вообще у людей XIX века, было принято беспрестанно обмениваться письмами. Артур не был исключением: где бы он ни находился, он все время писал матери, лондонским дядям и тетке, дедушке Мишелю Конану, знакомым девушкам и приятелям по университету. Один из его корреспондентов – Дойл его не называет, но можно предположить, что это был Чарлз Бадд, – заметил, что письма Артура получаются очень живыми и занимательными и он мог бы написать «что-нибудь на продажу». Для Артура это не было, конечно, откровением: Мишель Конан давно уже заметил в крестнике литературный дар и говорил ему об этом. Но в юности больше доверяешь словам приятелей, чем пожилых родственников – и, по утверждению самого Дойла, именно слова этого друга, «не склонного к лести», послужили толчком к тому, чтоб изменить свое решение и еще раз попытаться сочинить художественную прозу. Он осуществил это весной 1878-го, то есть, по всей видимости, уже в Бирмингеме – выкроил немного времени, сел и написал рассказ «Тайна долины Сэсасса» («The Mystery of Sasassa Valley»).

Поскольку этот небольшой рассказ стал первым опубликованным произведением Конан Дойла, он заслуживает внимания независимо от литературных достоинств. Он написан от лица недоучившегося студента, который вместе со своим товарищем уехал в африканские колонии, надеясь там разбогатеть. Надежда, заметим, не беспочвенная: в 1867 году на территории нынешней ЮАР были открыты месторождения алмазов (золото будет позднее), и множество англичан устремилось туда (отчаявшийся Чарлз Дойл, по некоторым источникам, одно время тоже подумывал податься на заработки в Южную Африку). Поначалу никакого богатства герои рассказа не находят, а ютятся в хижине, перебиваясь случайными заработками, но как-то раз их навещает знакомый и рассказывает, что в местечке под названием долина Сэсасса, где, по преданиям кафров, водятся духи, по ночам виден некий таинственный и жуткий огонь. Рассказчик не видит необходимости на этот огонь глазеть, но его друг тащит его в долину – он, как выясняется, сразу решил, что это светится огромный алмаз, который решит все их материальные проблемы; сперва они по ошибке выковыривают не тот камень, но потом находят настоящий алмаз.

Не стоит придираться к убожеству придуманного девятнадцатилетним автором сюжета – лучше обратим внимание на то, что Конан Дойл еще в первом неопубликованном рассказе интуитивно нашел схему повествования, которой упрямо следовал и во второй попытке и которая впоследствии его – уже не в мечтах – озолотит: два неразлучных друга, один из которых, более сообразительный и предприимчивый, не сразу снисходит до того, чтобы разъяснять суть своих действий простодушному напарнику. Что касается самого рассказа, то он написан энергично, так называемым «разговорным» языком, без стилистических изысков – вроде бы так же, как будет писать большинство своих рассказов и зрелый Дойл, однако выбрать из него хоть строчку для цитирования решительно невозможно, хоть полдня его штудируй – индивидуальности еще нет. Текст живой, бойкий, занятный, уже вполне профессионально скомпонованный, с юмором, с характерами, но такой, что его мог бы сочинить компьютер, начитавшийся приключенческих романов. Но далеко не всякий человек

может в девятнадцать лет написать хотя бы такой. Он, пожалуй, даже чересчур хорошо сделан для начинающего – следующие рассказы у доктора Дойла выйдут похуже.

Артур отослал «Тайну долины Сэсасса» в «Чемберс джорнэл» – литературно-художественный журнал, издававшийся в Шотландии, – и был очень удивлен и, понятное дело, счастлив, когда спустя несколько месяцев получил известие, что рассказ принят. Он был напечатан 6 сентября 1879 года, и Дойл получил за него три гинеи (21 шиллинг). То есть за крохотный рассказик никому не известного автора заплатили приблизительно три фунта – о такой сумме наш современный начинающий автор может разве что мечтать. Для сравнения приведем такой факт: в 1880 году юный Антон Чехов получил от «Стрекозы» за шесть рассказов 32 рубля 25 копеек. Если огрубленно сравнить покупательную стоимость тогдашнего фунта, тогдашнего рубля (на рубль, к примеру, можно было купить 30 буханок хлеба) и современных денег, то получится, что за один рассказ Дойлу платили около 300 долларов, а Чехову – около 100.

В тогдашней Англии подобный гонорар считался ничтожным. Но это было больше, чем Артур зарабатывал приготовлением лекарств за месяц. Вдохновленный успехом, он тут же на скорую руку сочинил еще несколько рассказов, которые «Чемберс джорнэл» отверг. Тогда он (уже вернувшись из Астона в Эдинбург) стал рассылать их в другие журналы, более низкого сорта (в те же годы доктор Чехов писал по несколько рассказов в неделю и печатал их под разными псевдонимами в разных третьесортных изданиях, причем половину из написанного редакторы не брали), и в конце концов «Лондон со-сайети», журнал развлекательного толка, принял еще одну вещь – «Рассказ американца» («The American's Tale»). Блокнот, в котором студент Дойл набрасывал черновик этого рассказа, ныне выставлен на всеобщее обозрение в Королевском хирургическом колледже Эдинбурга. Оговоримся сразу, что характеризовать *все* рассказы Конан Дойла в рамках данной книги невозможно – уж очень их много, – и мы будем останавливаться лишь на тех, которые позволяют что-то важное понять о их авторе.

Если в «Тайне долины Сэсасса» фабула довольно куцая и робкая, то в «Рассказе американца» фантазия Артура уже разгулялась вовсю, причем большую роль в его написании сыграл, по-видимому, прослушанный не так давно курс ботаники, так как одним из главных персонажей является... мухоловка, гигантское плотоядное растение, обитающее в Америке. «Рассказ американца» написан очень типичным для литературы XIX века приемом, когда собравшееся в гостиной общество, средь которого затесался и автор, выслушивает сногсшибательную историю некоего рассказчика-вруна; он, как ясно из названия, американец, и в этой фигуре выражены все шаблонные представления английского читателя (именно читателя, а вовсе не писателя – не настолько Дойл был наивен даже в молодости) о «неотесанных янки». Янки рассказывает слушателям о мужественном молодом англичанине, который вступил в схватку (в ковбойском баре, естественно) с местными головорезами и в результате был приговорен к смерти судом Линча, но его спасла добрая мухоловка, покаравшая убийц. Орхидеи-людоеды сослужили добрую службу не одному десятку литераторов, и многие начинающие авторы – во всяком случае, те, кто начинает в юном возрасте, – переносят действие своих произведений в экзотические страны, возможно, полагая, что занимательность предмета может компенсировать недостаток писательского мастерства, или просто потому что им самим интересно писать о «чем-нибудь эдаком».

В ближайшем будущем Артур Дойл напишет еще целый ряд рассказов, в которых действие происходит в Африке, Австралии или Америке, взяв за образец, по его собственному признанию, тексты Фрэнсиса Брет Гарта. Но в «Рассказе американца», хоть он и об Америке, от Брет Гарта ничего нет – это проявление мальчишеской фантазии в чистом виде. Пустячок, короче говоря. Но здесь вот что интересно: на первый взгляд водораздел конфликта в рассказе проходит между англичанином и американцами; однако доблестный английский юноша, как мимоходом замечает автор, – чартист, то бишь участник массового рабочего движения первой половины XIX века, – и другие английские колонисты (реакционеры и консерваторы, надо полагать) его сторонятся; а в финале истории не соотечественники, а именно раскаявшиеся американцы, представители самого свободолюбивого народа, несут героя на руках до ближайшего бара, где он выражает свою надежду на то, что «британский лев и американский орел вечно будут идти рука об руку» – вечная мечта самого Конан Дойла.

Брет Гарту и в еще большей степени Майн Риду он обязан своей влюбленностью в Америку, продлившейся всю жизнь. Заметим, что в своей любви доктор Дойл был скорее исключением, нежели правилом: война за независимость еще не забылась, и среди британцев преобладало довольно-таки неприязненное отношение к заокеанским братьям. Когда на свет появится Шерлок Холмс, то почти в каждой вставной новелле, где излагается предыстория преступления, страсти будут разворачиваться именно в Штатах: возможно, доктор считал, что в современной ему Англии жизнь слишком мирная и ничего такого интересного и яркого там случиться не может; возможно также, что ему просто нравилось писать об Америке, так

нравилось, что он никогда не мог от этого удержаться.

Хогг, редактор «Лондон сосайети», не только заплатил за «Рассказ американца» гонорар (опять около трех фунтов), но и посоветовал автору профессионально заняться литературой. Окрыленный Артур попытался немедленно развить успех, но ничего не вышло: следующий его рассказ опубликуют лишь в 1881 году («Рассказ американца» вышел в свет в начале 1880-го). Осенью же 1879-го пришлось приналечь на учебу: шел уже предпоследний курс, а второе полугодие Артур опять намеревался провести на заработках. Он пишет, что дома в этот период дела были очень плохи, и несмотря на то, что все деньги, заработанные в Бирмингеме, и гонорары он отдал матери, старшая сестра Аннет тоже все свои заработки отсылала домой, а Конни (Констанция) и Лотти (Каролина) последовали ее примеру и уехали зарабатывать, семья еле-еле сводила концы с концами. Трудно судить, насколько это соответствует действительности: мы видели уже, что нищета Дойлов была по нашим меркам весьма относительной. Брайан Уоллер имел медицинскую практику и содержал их семью. Но сам-то Артур определенно не намеревался жить за счет квартирантов. Мужчина – пусть ему всего двадцать лет – должен уметь зарабатывать деньги.

Глава третья

КАПИТАН «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

В феврале 1880-го студент Клод Карри (некоторые биографы называют его другом Дойла, но последний утверждал, что это было не более чем шапочное знакомство однокурсников, и ему, наверное, виднее), которому предлагали должность судового врача на китобойном судне, поехать в экспедицию по каким-то причинам не смог и переадресовал предложение Дойлу. Артур, недавно сдавший зимнюю сессию и как раз подыскивавший работу на весну – лето, тотчас дал согласие. (Нас уже не удивляет то обстоятельство, что студенты могли преспокойно бросить занятия, в том числе на выпускном курсе, и уехать посреди учебного года куда им вздумается.) Китобойный промысел в те годы был одним из самых прибыльных видов бизнеса – китовый жир, китовый ус, амбра, спермацет, – и заработок судового доктора обещал быть неплохим: два фунта и десять шиллингов в месяц, да еще, как полагалось любому члену экипажа, процент с добычи – три шиллинга за тонну китового жира. (Доктор Дойл прослужит на судне семь месяцев и заработает примерно пятьдесят фунтов; составив простейшее уравнение, можно подсчитать, что за это время будет добыто порядка 200 тонн.) Даже на снаряжение тратиться не пришлось: Карри отдал свое.

Деньги, конечно, были очень нужны, но не только из-за них Артур с радостью согласился ехать: он и в старости останется любителем путешествий, а тогда ему было двадцать, и от возможности «посмотреть мир» он бы ни за что не отказался. Тем более – ледяной мир, куда так просто не попадешь. До «Путешествия „Дискавери“ в Антарктиду» Роберта Скотта было еще далеко, и Фритьоф Нансен на «Фраме» еще не плавал, и Адольф Грили еще не совершил свою трагически знаменитую полярную экспедицию (то и другое произойдет двумя годами позднее), но о гибели экспедиции Джона Франклина Артур читал еще ребенком, а к 1880 году уже состоялись плавание Норденшельда на «Веге» и британская арктическая экспедиция Джорджа Нерса, так что вдохновиться было чем...

Китобой, парусник водоизмещением 200 тонн, назывался «Надежда», маршрут – из порта Питерхед через Шетландские острова в Норвежское море. У Шетландских островов, в проливе Лервик-Харбор, «Надежду» застиг шторм, и несколько дней пришлось провести у берега. Наконец погода установилась и экспедиция двинулась на север. Всего через несколько дней «Надежда» оказалась среди дрейфующих льдов.

Командовал кораблем капитан Джон Грей, «великолепный моряк, шотландец и серьезный человек»; с ним у доктора Дойла сразу установились прекрасные отношения. Из других товарищей по плаванию юный доктор выделяет старшего помощника Колина Маклина, который по документам числился коком, ибо не умел читать и писать (кок соответственно числился старпомом; едва судно отошло от берега, как оба заняли свои настоящие должности), и стюарда Джека Лэма, любителя пения. Что касается команды, она состояла из вспыльчивых шотландцев и спокойных, послушных шетландцев; иные составители русскоязычных биографий Конан Дойла, поленившись справиться в словаре, заменяют последних на ирландцев, и читатель недоумевает, с чего это вдруг ирландцы стали образцом уравновешенности; на самом деле шетландцы – это жители Шетландских островов, этнически родственные скандинавам. Шотландец Маклин, например, был вспыльчив и необуздан до такой степени, что Артуру приходилось разнимать драку между ним и стюардом. «Каждый раз, когда я полагал, что опасность уже позади, стюард затягивал снова свою глупость: „Не обижайся, Колин, я только говорю, что если б ты поживее поворачивался с этой рыбиной.“ Не знаю, сколько раз он начинал эту фразу, но так ни разу ее и не закончил, потому что на слове „рыбина“ Колин сразу хватал его за горло, я хватал Колина за пояс, и.» Все моряки были «отличные и храбрые ребята», но – крайне невоспитанные и грубые. В эссе «За волшебной дверью» говорится о том, что нет ни одной нации в мире, за исключением британской, которая представляла бы собой столь высокий идеал дисциплины, но, наверное, за двадцать два года доктор Дойл что-то подзабыл. Он вообще был склонен идеализировать людей, а моряков – в особенности.

Независимо от национальной принадлежности все члены экипажа «Надежды» были людьми чрезвычайно крепкими и здоровыми, так что пользовать новоиспеченному доктору было решительно некого (даже после драк); он не упоминает ни об одном случае, когда бы ему пришлось поработать по специальности. Таким образом, его обязанности свелись преимущественно к тому, чтобы составлять компанию капитану Грею, который в силу устава не мог в свободные часы общаться с другими членами экипажа. Все время ничего не делать было невозможно, и доктор Дойл не раз принимал участие в охоте, в том числе в качестве гарпунера. Охотились на два вида животных: тюленей и китов. Лежбища тюленей попались первыми; произошло это между 70 и 75 градусами северной широты. Необходимость убивать

их вызывала у Артура тяжелое чувство из-за их беспомощности: «Повсюду лежат детеныши, белоснежные крошки с маленькими черными носиками и большими темными глазами. Их крики, похожие на человеческие, наполняют воздух, и когда вы сидите в каюте корабля, находящегося в центре тюленьего лежбища, может показаться, что рядом с вами какие-то чудовищные ясли». Неизвестно, доводилось ли доктору Дойлу собственноручно убить крошку тюлененка, но шкуры с мертвых он снимал.

Тюленья охота – как казалось тогда – оправдывалась необходимостью (жир, шкуры, мясо, масло); что касается охоты вообще, довольно скоро доктор Дойл придет к убеждению, что люди не вправе отнимать жизнь у животных ради собственного удовольствия: «Имеем ли мы в таком случае моральное право убивать эти существа ради забавы? Я знаю многих достойнейших и добрейших людей, которые это делают, но все-таки считаю, что в более прогрессивный век это станет уже невозможно». Надейтесь, доктор Дойл, надейтесь. Вы всегда верили в прогресс. (Касательно рыбалки, правда, доктор будет не так тверд: «Надо ли равнять хладнокровное существо низкой организации, вроде рыбы, с зайцем, который начинает кричать перед гончими, или оленем, который может унести в боку ружейную пулю?») Детские крики раненого зайца он поминает еще не раз: возможно, эти крики вкупе с черными глазами тюленят и превратили страстного охотника в одного из первых убежденных экологистов.

Расправившись с тюленями, «Надежда» двинулась дальше на север и между 79 и 80 градусами обнаружила китов. Кита Конан Дойл к существам низкой организации не относил, напротив, как всякий китобой, признавал за ним значительный интеллект (вспомним «Моби Дика»), но в китовой охоте тем не менее находил наслаждение: в его глазах схватка с таким могучим и достойным соперником была не подлым убийством, а честным сражением сродни рыцарскому или боксерскому поединку. (Сомнительная точка зрения: о поединке могла идти речь до 1867 года, пока Фойн не придумал гарпунную пушку, а в 1880-м это уже была бойня.)

Читая главы «Воспоминаний и приключений», посвященные арктической экспедиции, все время сожалеешь о том, что Дойл не стал специализироваться в такого рода прозе, настолько хорошо и живо они написаны, и удивляешься, почему человек, питавший настоящую страсть к путешествиям, собственно о путешествиях писал не так уж много (единственная вещь, где от начала до конца описывается экзотическая поездка, – «Затерянный мир»), а к теме Арктики, которая произвела на него неизгладимое впечатление, почти совсем не обращался. Были у него в этом арктическом путешествии и самые настоящие приключения с опасностью для жизни, правда, говорит он о них отнюдь не в героической тональности, как, например, об эпизоде, когда капитан Грей не разрешил ему в первый раз принять участие в охоте, а велел остаться на корабле: «Все мои протесты оказались тщетными, и в конце концов в самом мрачном настроении я уселся на фальшборте, свесив ноги с внешней стороны, и так укрощал свой гнев, то взлетая вверх, то падая вниз в унисон с корабельной качкой. Оказалось, однако, что в самом деле я сидел на тонкой корочке льда, покрывавшей дерево, и поэтому, когда волна наклонила корабль под особенно острым углом, меня выбросило, как пробку, и я исчез в море под двумя льдинами. Однако в результате этого происшествия я получил то, что хотел, поскольку капитан заметил, что раз уж мне в любом случае суждено было свалиться в океан, то нет разницы, где мне находиться – на льду или на корабле». Осчастливленный разрешением сойти на льдину, доктор не замедлил в тот же день еще несколько раз грохнуться в воду, получив таким образом почетное прозвище «Великий северный ныряльщик». В общей сложности за время плавания он едва не погиб дважды или трижды.

Как всякий, кто видел Арктику, Дойл отмечает особое «потустороннее ощущение», возникающее в северных морях – чувство бесконечного одиночества и затерянности. Это чувство усугублялось тем, что члены экспедиции не знали ничего о том, что делается в окружающем мире; когда они отправлялись в путь, «похоже было, что надвигается война с Россией». Какая еще война, спросим мы – а дело в том, что, во-первых, Россия, одержавшая победу в войне с Турцией, нарушила ограничения, наложенные на нее после поражения в Крымской войне, что вызывало раздражение Англии, а во-вторых, интересы двух стран столкнулись в Афганистане; Англия и Россия в те годы беспрестанно угрожали друг другу. В Афганистане же за те семь месяцев, что доктор Дойл плавал по морям, произошло немало горячих событий, в том числе известная битва при Майванде, закончившаяся поражением англичан – та самая, в которой будет тяжко ранен доктор Уотсон. «Возвращаясь, мы подошли ко входу в Балтийское море, не имея ни малейшей уверенности в том, что какой-нибудь крейсер не подобьет нас так же, как мы подбивали китов».

Все, однако, закончилось – не исключено, что к некоторому разочарованию двадцатилетнего доктора – вполне спокойно и благополучно: он получил честно заработанные 50 фунтов, осенью 1880-го ухаживал за пятью девицами одновременно и даже умудрился в зимнюю сессию сдать выпускные экзамены «с неплохими, но не выдающимися результатами», получив

степень бакалавра медицины и магистра хирургии (чтобы получить ученую степень доктора медицины, нужна была еще практика и защита диссертации). Дойл был весьма неплохим карикатуристом: он нарисовал себя с дипломом, сопроводив рисунок подписью «Лицензия на убийство». Он также отметил, что в результате плавания из мальчишки стал «совсем сложившимся мужчиной» – заявление, как будет видно из дальнейшего, несколько преждевременное: во многих отношениях доктор останется мальчишкой до конца своих дней. Было, однако, в этой поездке и некоторое разочарование, а именно – «застой, если не хуже» в умственной и духовной сфере.

Горячий интерес к холодным широтам у Конан Дойла сохранился на всю жизнь: «Память... об огромных, опоясанных льдом темно-голубых озерах, о безоблачном небе бледно-зеленого цвета, где-то на горизонте переходящего в желтоватый, о шумных стаях птиц, не боящихся человека, о громадных, с лоснящимися спинами морских животных, об увальнях-тюленях, резко выделяющихся на фоне ослепительной белизны, – все это когда-нибудь возвратится к человеку в его воспоминаниях...» Недаром в «Волшебной двери» среди любимых произведений Дойла названы «Спасательная служба в Арктике» Адольфа Грили и «Путешествия „Дискавери“ в Антарктиду» Роберта Скотта.

Дойл срочно взялся искать место – дело весьма сложное для начинающего врача, которого, несмотря на диплом, никто не принимает всерьез. Чтобы купить готовую практику, то есть приобрести кабинет вкупе с пациентами у врача, уходящего на покой или переезжающего в другое место, не было денег, а просто приехать в какой-нибудь городишко (об Эдинбурге и думать нечего: можно себе представить, какая конкуренция царила в городе медиков) и с нуля начать конкурировать с уже известными врачами – очень рискованно. Должности в клиниках, как мы уже говорили, также были молодому специалисту недоступны. Куда только доктор Дойл не обращался, но ничего подходящего не подворачивалось: «Я предлагал свои услуги различным компаниям в качестве корабельного врача, но и на это жалкое место с платой в сотню фунтов столько охотников, словно дело идет о должности вице-короля Индии».

В итоге все лето и начало осени 1881-го Дойл, хотя уже ставший формально доктором, опять был вынужден провести в качестве ассистента у настоящего доктора – Хора из Астона (мы помним: завтрак – приемы – обед – визиты – ужин – ночные вызовы – завтрак). «Был вынужден» – это выражение корректно лишь отчасти: конечно, Артуру отчаянно хотелось встать на ноги самому, но работа у Хора и общение с его семьей доставляли ему большую радость. Было весело, иногда даже чересчур: астонские предания гласят, будто однажды доктор Дойл получил выволочку в местной полиции за то, что вместе с другим молодым ассистентом Хора и его малолетними детишками разослал нескольким уважаемым гражданам фальшивые приглашения на бал.

Дурака доктор валял, разумеется, в свободное от работы время. Он написал еще одну научную работу, посвященную диагностике и лечению лейкоза, которая была опубликована в журнале «Ланцет». Также в этот период были написаны несколько рассказов: «Кости» («Bones. The April Fool of Harvey's Sluice»), «Квадратный ящичек» («That Little Square Box»), «Дуэль на сцене» («An Actor's Duel and The Winning Shot»); это изящные, вполне профессионально скроенные тексты, обнаруживающие неплохой дар юмориста, но по-прежнему лишенные индивидуальности. В рассказе «Квадратный ящичек», действие которого происходит на корабле, герой-рассказчик случайно подслушивает разговор двоих террористов-фениев, которых сопровождает загадочный ящик, и, сразу подумав о взрыве, впадает в отчаяние. Жуткий ящик в конце концов оказывается всего-навсего клеткой для почтовых голубей, а «фении» – обычными джентльменами, но интересно в рассказе не это: герой испытывает ужас лишь до того момента, как встречает своего старого друга, решительного и умного человека, а с той минуты, как друзей становится двое, паника тотчас уступает место деловитому обмену версиями и разгадыванию тайны. В «Костях» появляется герой, увлекающийся химическими опытами. Потихоньку, шаг за шагом – к будущей идеальной схеме.

Работая у Хора, доктору Дойлу вновь пришлось много общаться с представителями «низших классов», и он пришел к выводу, что эти люди намного добрее, благороднее и разумнее, чем кажется журналистам, пишущим о невежестве масс; из тех строк, которые доктор Дойл уделил этим своим пациентам в «Старке Монро», можно сделать вывод, что он беседовал с ними отнюдь не только на медицинские темы, а еще и обсуждал текущую политику. Он размышлял о Великой французской революции (которую изучал по Карлейлю и Маколею) и приходил к выводу, что все ее кровавые ужасы меркнут перед тем угнетением, которому в течение веков подвергались трудящиеся; не исключено, что, попадись ему в этот период жизни какой-нибудь подкованный марксист, доктор Дойл мог превратиться в социалиста, подобного Герберту Уэллсу. Но этого не случилось.

В Астоне Артур получил письмо от Джорджа Бадда, который унаследовал от своего отца

практику в Бристоле, но попал в трудное финансовое положение и звал Артура, чтобы «посоветоваться» с ним об этом – не исключено, что «посоветоваться» означало занять денег. Ничем, однако, кроме совета, Артур помочь приятелю не смог и вернулся к доктору Хору в полном унынии – до поездки он в глубине души надеялся, что Бадд, обладавший пробивным характером, поможет ему устроиться. Уныние несколько развеивали отношения с девушками («отношения», разумеется, в духе девятнадцатого века, а не нашего); на одной из них, Элмо Уэнден, он подумывал жениться. Лишь в октябре 1881-го Артур получил вызов в Ливерпуль, чтобы принять должность врача на судне «Маюмба». Теперь путь лежал не на север, а на юг. Африка! Стэнли и Ливингстон! На первый взгляд эта экспедиция обещала быть гораздо более увлекательной, чем первая; другой любитель путешествий и литературы, двадцатидвухлетний Николай Гумилев, чьи общие с Конан Дойлом черты мы будем обнаруживать еще не раз, однажды побывав в Африке, заболел ею на всю жизнь. С двадцатидвухлетним Артуром Дойлом, как ни странно, этого не случилось. Попробуем понять, почему.

«Маюмба», торговый пароход водоизмещением в двадцать раз большим, нежели «Надежда» – четыре тысячи тонн, – должен был вывозить с западного побережья Африки пальмовое масло, кокосовые орехи, слоновую кость, какао-бобы и прочие экзотические товары, одно перечисление которых вызывает сладкую дрожь у сухопутного читателя. Путь «Маюмбы» лежал из Ливерпуля через Ирландское море – Ла-Манш – Бискайский залив – остров Мадейру – остров Тенерифе – и далее вдоль западного побережья Африки. Опять, как в прошлый раз, вышли в шторм и несколько дней болтались в качке, но близ Мадейры бури закончились и установилась хорошая погода. Санта-Крус, Лас-Пальмас, Гран-Канария, Золотой Берег – что за восхитительные имена; вроде бы все располагало к тому, чтобы африканский вояж привел юного доктора в восторг. Опять повезло с капитаном (Гордоном Уоллесом), повезло даже больше, чем в прошлую экспедицию, так как знакомство с ним доктор Дойл будет поддерживать и в последующие годы. Нашлась на сей раз и работа: «Маюмба» вез три десятка пассажиров, людей более хрупкого здоровья, нежели моряки. (Случилось доктору и самому заболеть тяжелой лихорадкой, из которой он едва выкарабкался.) Среди пассажиров были даже дамы (опять повезло), а также несколько чернокожих торговцев, о моральном облике которых доктор отзывается весьма нелестно, впрочем, судя по некоторым его замечаниям, пили на этом корабле вообще слишком много. Было множество остановок – «восхитительные виды», «прелестные бухты», экзотические рыбы, крокодилы, лианы и прочий африканский антураж. Странно только, что доктор Дойл, так любовно и красочно описавший Арктику, для Африки не нашел более выразительных слов, чем «восхитительные виды».

Экзотика была, а восторга не было. И стихов об Африке доктор Дойл не писал, тогда как для Гумилева она была постоянным источником вдохновения. Может быть, причина в том, что Гумилев ездил как вольный путешественник (в третью экспедицию – как представитель Академии наук), а Дойл работал врачом на корабле, все время проводил в океане и у него просто не было времени познакомиться с Африкой как следует? Да нет, «Маюмба» шел не только вдоль побережья, поднимался по притокам Нигера вглубь континента, и времени свободного у доктора Дойла было много, и сухопутных экскурсий он совершил множество. Или разница в том, что Гумилев интересовался этнографией, а Конан Дойл – нет? Это верно лишь отчасти: и Гумилева этнографические исследования стали по-настоящему занимать лишь после второй экспедиции, и Конан Дойл позднее, во время других путешествий (в Канаду, например), проявит к этой отрасли науки живейший интерес; в период первого визита в Африку оба были слишком молоды. Все же нам представляется, что одна серьезная причина такого разного отношения этих двоих к Африке была: Гумилев путешествовал по чужим странам, а доктор Дойл – по своей собственной.

Британская Западная Африка – так тогда назывались территории, по которым проходил маршрут «Маюмбы». Приведем описание этого маршрута: Фритаун (город в Сьерра-Леоне) – Монровия (столица Либерии) – Кейп-Кост (город на территории современной Ганы, тогда Золотого Берега) – Лагос (город на территории современной Нигерии) – Старый Калабар – Фернандо-По (сейчас часть республики Экваториальная Гвинея). Наш путешественник даже стран почти не называет, одни города. Все это (за исключением Либерии, о которой отдельный разговор) – Британская империя, какие уж там страны. И то, что видел доктор Дойл в своей империи, в своем хозяйстве, ему очень не нравилось:

«Нельзя не почувствовать, что здесь белый человек с его устоявшимися привычками в пище и образе жизни – незваный гость, которому никогда и не предназначалось здесь бывать, и что огромный мрачный континент убивает его, словно щелкает орехи». Ах, до красот ли, до лиан, бабочек и рыб, до Южного ли Креста в небе, когда от малярии англичане мрут как мухи, от тоски и безделья спиваются, белые женщины жить в колониях не могут (разве что отдельные миссионерки, чье облагораживающие влияние на колониальные нравы доктор Дойл готов был признать, хотя их присутствие в Африке все же казалось ему неуместным), а несчастных британских миссионеров едят туземцы – «совершенные варвары, приносящие жертвы акулам

и крокодилам». Какой уж там «запах ладана, шерсти звериной и роз», если повсюду дикие племена угрожают безопасности английских колонистов, французы (Гвинея, Бенин – бывшая Дагомея, Кот-д'Ивуар) почему-то не желают жить с англичанами в добрососедстве, какие-то туземные царьки имеют наглость приказывать хозяевам явиться к ним на прием. Поневоле задашься вопросом: «Хотелось бы знать, неужели колонии заслуживают того, чтобы платить за них такую цену?!» – вопрос, который Гумилева, колоний в Африке не имевшего (не будем углубляться в проблему русских интересов в Абиссинии), вряд ли мог волновать настолько сильно. Хорошо было русскому гостю писать: «Пусть хозяева здесь – англичане – /Пьют вино и играют в футбол» (эти строки из «Шатра», правда, относятся к относительно цивилизованному Египту, но тем не менее) – а бедные англичане умирали, пытаясь цивилизовать «неблагодарных дикарей»!

Но раз уж взялись руководить этими землями – ничего не поделаешь: надо. Всю жизнь доктор Дойл нежно любил Британскую империю, очень горевал, когда она хоть самую малость уменьшалась в размерах (у Стивенсона, натуры гораздо более поэтической, чем наш герой, мы находим фразу: «Несчастье усиливает любовь, и мы почувствуем себя англичанами не прежде, чем утратим Индию»), и простодушно удивлялся, зачем кому-то нужно рваться из нее вон. Прежде чем снисходительно усмехнуться, спросим себя, не тоскуем ли мы по нашей империи и не удивляемся ли до сих пор, с чего это все вдруг так бросились из нее бежать. Заметим также справедливости ради, что в XIX веке по сравнению с бельгийским, французским или немецким колониализмом английский был верхом просвещенности и гуманизма. (Сравнение колониального управления англичан и французов не в пользу последних делает, кстати, и нейтральный Гумилев в своих африканских дневниках.)

Теперь несколько слов доктора Дойла о Либерии – «образованной, как следует из названия, беглыми рабами. Насколько я мог заметить, она была довольно хорошо организована, хотя все маленькие сообщества, относящиеся к себе слишком серьезно, выглядят несколько комично». Между прочим, самым образованным человеком, которого Артур Дойл встретил в этой поездке, оказался американский консул в Монровии, афроамериканец («негритянский джентльмен») Генри Хайленд Гарнет, с которым доктору, изголодавшемуся по интеллектуальному обществу, удалось не раз подискутировать о Стэнли и Ливингстоне, а также о Банкрофте (автор десятитомной «Истории США») и Мотли (тогдашний посол США в Великобритании), после чего «внезапно осознать, что говоришь с тем, кто, возможно, сам был рабом и уж, безусловно, сыном рабов!». Опять будем справедливы к англичанам: именно они первыми отменили в своих колониях рабство и боролись за его отмену в Штатах – а все ж в этом возгласе есть что-то – самую чуточку! – от изумления ловкостью ученой обезьянки. После этого не стоит удивляться тому, что в эпизодах, когда африканцев, поднимавшихся на борт для торговли, члены экипажа бесцеремонно скидывали вверх тормашками в воду, доктор Дойл заметил лишь комическую сторону. Не будем, однако, переносить наши представления о политкорректности, большинством из нас усвоенные и теперь лишь формально, на XIX век. Не всё сразу: пройдет время, и доктор Дойл одним из первых начнет выступать в печати против угнетения коренного населения в Бельгийском Конго и добьется своего. За этими скучными словами об «угнетении» – спасенные жизни великого множества людей. А вот молодого француза, умиравшего от лихорадки, молодой доктор тогда, в Африке, исцелить не смог. Помнил о нем до конца своей собственной жизни, как и о каждом, кого спасти не удалось.

Плавание на «Маюмбе» продлилось недолго, всего около трех месяцев, но уже на середине срока Артур понял, что это – не для него; к тому же он, по его собственным словам, почувствовал, что потихоньку спивается. Преувеличивал или нет – сказать сложно; он конечно же боялся, что мог унаследовать пагубную склонность от отца, и заметим сразу, что больше никогда он много пить не будет – ни от скуки, ни от потрясений: «На моем пути постоянно оказывались ловушки, и я благодарен всем ангелам-хранителям, что не угодил ни в одну из них, хотя и с сочувствием отношусь к тем, кто этого не избежал». Как можно понять из других отрывков, приведенная фраза касается уже не столько вина, сколько прекрасного пола. (Двадцать два года всего лишь было доктору; о Гумилеве так и вовсе распускали слухи, будто он в Африке женился на чернокожей девушке.) В общем, Африка со всеми ее пышными красотами юному Дойлу не понравилась, и в его дальнейшем творчестве она найдет лишь слабый отклик.

«Доход ниже того, что я могу заработать пером за такое же время, а климат адский», – писал он матери, чтобы объяснить свое нежелание впредь ходить в плавания. Но дело было отнюдь не в доходе и не в климате: как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, жизнь кочевника с ее экзотическими опасностями Дойл назвал слишком легкой и роскошной (это притом что он пару раз снова был на волосок от гибели, а «Маюмба» в конце рейса едва-едва не взлетела на воздух в результате пожара), в противоположность той «тяжелой борьбе», которая, как он верно предвидел, ждала его на берегу – во врачебном кабинете и за письменным столом. Отличить искусственные трудности от настоящих в двадцать два года

способен не всякий человек. К этнографии, как мы уже заметили, Артур в том возрасте был равнодушен, к миссионерству не склонен, а что-то иное вряд ли могло оправдать подобные экскурсии. Он даже поклялся больше не путешествовать – слова этого, конечно, не сдержит, будет ездить много и охотно, но служить на корабле уже никогда не станет.

В январе 1882 года он вернулся в Ливерпуль, оттуда поехал в Эдинбург. Ничего, в сущности, за это время не изменилось, разве что мать и Брайан Уоллер в очередной раз сменили адрес (Лонсдейл-террас, 15): работы так и не было, свою практику открыть по-прежнему не на что, да и кто пойдет лечиться у никому не известного мальчишки? Состоялось несколько напряженных разговоров с матерью: полученное письмо Мэри Дойл не убедило, и она продолжала настаивать, чтобы сын вновь нашел себе должность корабельного врача, а он, похоже, не мог или не хотел рассказать ей об этих экспедициях всей правды. Однако деваться-то ему было некуда – не сидеть же вечно безработным, – и он стал подумывать о новом рейсе – теперь, для разнообразия, южноамериканском. (Доктор Дойл так и не попадет в Южную Америку, но профессор Челленджер побывает там.) Тем временем возникла еще одна возможность устроить свою карьеру: тетка Аннет и дядюшки, имевшие множество связей в католических кругах, звали к себе, теперь уже прямо и настойчиво предлагая стать «католическим врачом». Он отказался даже обсуждать это; родственники всерьез его слов не приняли, настаивая на приезде в Лондон. Артур приехал, но это ничего не изменило – только разругались.

Мэри Дойл тем временем уже решила перебраться с двумя младшими дочерьми жить к Брайану Уоллеру, в принадлежащее его семье поместье под Йоркширом. Сам Уоллер, оставив карьеру врача и выбрав образ жизни сельского сквайра, намеревался поселиться там же, правда, в другом доме, унаследованном им от умершего недавно отца. Артур оставался в Эдинбурге один-одинешенек. Оплачивать квартиру ему было не на что. Денег от Уоллера он брать не хотел. С южноамериканским (или хоть каким-нибудь) рейсом тоже ничего не получалось. Существовала в те времена такая работа, как домашний врач в богатой семье, дело, с одной стороны, рискованное – можно нарваться на каких угодно деспотов, но с другой – весьма привлекательное. «Но тут открывалось не только место, а и связи в высшем обществе. Случится заболевание в семье (может заболеть сам лорд Салтайр или его жена), за доктором посылать – время не терпит. Приглашают меня. Я приобретаю доверие и становлюсь домашним врачом. Они рекомендуют меня своим богатым друзьям. Я рассуждал по дороге домой, стоит ли отказываться от выгодной практики ради профессорской кафедры, которая может быть мне предложена».

Но в действительности, увы, никто и не думал предлагать молодому специалисту ни профессорских кафедр, ни работы у людей со связями в высшем обществе. Ни на одно его объявление никто не откликался – хоть по миру иди.

И тут очень кстати, как в романах, пришла телеграмма от доктора Бадда, к тому времени перебравшегося из Бристоля в Плимут. Отчасти этой телеграмме мы обязаны одним из лучших художественных текстов, написанных Конан Дойлом. Речь идет о неоднократно уже цитированных «Письмах Старка Монро». К сожалению, большинство русскоязычных читателей знакомы со старым сокращенным переводом этой книги, из которой была вырезана ровно половина текста. Полный перевод издан лишь в 2006 году; для «покупабельности» его переименовали в «Загадку Старка Монро» и в аннотациях сделали все для того, чтобы сбить читателя с толку: «..."Записки Старка Монро" могут показаться набросками к „Шерлоку“ – герой-доктор, подробно излагающий происходящую с ним историю в письмах, другой герой – эксцентричный и хитроумный, гнетущая и таинственная атмосфера лондонских предместий, детективная интрига». На самом деле никакой детективной интриги, никакой таинственной атмосферы в тексте нет и в помине, и доктор Монро не имеет к доктору Уотсону ни малейшего касательства. «Письма Старка Монро» – роман-переживание, что-то вроде «Воспитания чувств». Это самый откровенный, самый непосредственный текст, какой Дойл написал когда-либо. Если мы хотим понять, каким наш герой был в юности, мы обязаны обратиться к «Письмам». Но здесь перед нами встает не совсем простая задача.

Роман, по признанию самого автора, является почти на сто процентов автобиографическим. В нем мы видим доктора Дойла таким, каким он был в 1882 году. Но написан-то роман в 1893-м (черновой вариант; год спустя он был автором отредактирован) уже вполне зрелым мастером. Так что если подходить к делу строго, на этом тексте стоило бы подробно остановиться лишь тогда, когда мы доберемся до 1893 года. С другой стороны, не обращаться то и дело к этому роману в главе о юности Артура Дойла невозможно, настолько детально в нем описаны злоключения (и, что еще более важно, мировоззрение) молодого доктора; эта детальность настолько соблазнительна для биографов, что многие из них, характеризуя плимутский период в жизни Дойла, просто пересказывают огромные фрагменты из романа «своими словами». Есть и другой подход: поскольку плимутский период был очень недолог (с середины

весны до начала лета 1882-го), то о нем рассказывают в двух словах, всю «идеологию» Старка Монро выносят в другое место, где говорится об отношениях Конан Дойла с религией, а о самом романе упоминают вскользь, когда доходят до периода его написания, – наверное, с точки зрения биографических канонов это правильно, но целостное впечатление от книги разрушается. А что, если нам на русский манер поискать третьего пути? Сперва опишем вкратце жизнь доктора Дойла в Плимуте, а сразу же после этого займемся собственно романом?

Итак, доктор Бадд прислал доктору Дойлу телеграмму с описанием своего нынешнего преуспевания и приглашением приехать к нему и работать вместе, затем еще одну телеграмму, более настойчивую, в которой он обещал своему компаньону заработок в размере 300 фунтов в год: эта цифра решила дело, и Артур немедленно выехал, не обращая внимания на то, что мать его всячески отговаривала – она очень не любила Джорджа Бадда. За что? Бадд был человеком неординарным и экстравагантным – «наполовину гений, наполовину шарлатан», – но Мэри Дойл в товарище ее сына отталкивало не только это. Сам Дойл говорит, что мать не одобряла дружбы с Баддом потому, что «ее фамильная гордость была уязвлена» – можно подумать, что Бадд был незаконнорожденным отпрыском сапожника, но он был сыном врача. Тут дело совсем в другом. Во-первых, Бадд, еще будучи студентом, постоянно пьянствовал, дебоширил и даже попадал в полицейский участок, во-вторых, весьма неординарным способом женился, умыкнув несовершеннолетнюю девушку (с ее согласия, впрочем), в-третьих, любил брать взаймы без отдачи, а в-четвертых, не пожелал расплачиваться со своими кредиторами: какой матери понравится дружба сына с этаким аморальным типом? Но главное даже не это, а то, что Мэри видела, насколько односторонней является дружба: Артур постоянно «смотрит в рот» Бадду, а тот беззастенчиво манипулирует своим приятелем. Она немного заблуждалась: сын ее был не так простодушен. Но в том, что от Бадда следует ждать одних неприятностей, она не ошиблась.

Приехав в Плимут, Артур обнаружил, что Бадд (в «Старке Монро» его фамилия Коллингворт) и в самом деле преуспевает: богатый дом, обширнейшая практика. Он был удивлен – как молодой человек, еще несколько месяцев назад сидевший на мели и у всех знакомых клянчивший денег, сумел так быстро «раскрутиться», – но уже через несколько дней понял, что, хотя Бадд был действительно отличным диагностом и хорошим врачом, успеха он добился отнюдь не благодаря этим качествам, а потому, что ему удалось изобрести свой метод обхождения с пациентами, основанный на рекламе и заключавшийся в безапелляционности, хамстве и апломбе. Бадд был очень занятным человеком, и литературоведами написан ряд работ о нем; в романе Дойла страницы, посвященные ему, представляют собой великолепный образец юмористической прозы. Однако нас в рамках данной книги доктор Бадд не интересует. Нас интересует доктор Дойл.

Артуру была предоставлена комната для приема больных по соседству с приемной Бадда: предполагалось, что ему отойдут хирургия и акушерство, в которых сам Бадд был не очень силен. И пациенты появились, был даже случай злокачественной опухоли: доктор Дойл нервничал, но произвел операцию успешно. За первую неделю он заработал 17 шиллингов и 6 пенсов, за вторую и третью чуть побольше (Бадд зарабатывал 20 фунтов *в день).* В это время он получил ответ на свое недавнее объявление о поиске места корабельного врача на южноамериканском пароходе, делающем рейсы из Буэнос-Айреса в Рио-де-Жанейро. Предложение было соблазнительным, но доктор Дойл под сильным давлением Бадда решил, что от добра добра не ищут.

Выбор оказался неверным: Бадд очень скоро начал оскорблять и унижать Дойла, затевать с ним публичные ссоры, а потом заявил, что ему не нужен конкурент, вредящий его собственной практике. Мэри Дойл в своих письмах настоятельно просила сына прекратить с Баддом всякие отношения; то же делали Брайан Уоллер и доктор Хор. Артур и сам уже понял, что это неизбежно. Ему ничего не оставалось как уехать из Плимута и пытаться самому открыть практику. Бадд предложил ему взаймы денег: один фунт в месяц до тех пор, пока друг не встанет на ноги.

Предложение унизительное, Дойл был вне себя. Но деваться было некуда. В июне 1882 года он проехался от Плимута до Тэвистока, подыскивая город, где можно было бы открыть самостоятельную практику (отчет об этом маленьком путешествии ему удалось в ноябре опубликовать в «Британском фотографическом журнале»), и в первых числах июля нашел такой город (в «Старке Монро» он называется Бирчеспуль), где будет жить и работать много лет. Этому периоду у нас посвящены несколько дальнейших глав, так что здесь мы о нем говорить не будем; упомянем только, дабы не возвращаться более к доктору Бадду, что, когда Дойл уже обосновался на новом месте и потратился, рассчитывая на обещанный заем, Бадд внезапно отказал в деньгах, сославшись на якобы найденное письмо Мэри Дойл, в котором та оскорбляла его, чем поставил Артура в безвыходное положение. Никаких материных писем

Артур в Плимуте не забывал, они были при нем; он понял, что Бадд все время тайком читал его корреспонденцию и удар свой готовил заранее. Так гаденько закончилась дружба.

И тем не менее: «Я любил Коллингворта и даже теперь не могу не любить его – меня восхищали его достоинства, а его общество и необычные ситуации, возникавшие от общения с ним, доставляли мне удовольствие». Герой Марселя Пруста скажет в точности то же самое о своем товарище Блоке, напакостившем ему в общей сложности не меньше, чем Бадд – Дойлу. Снисходительный народ эти писатели!

А теперь обратимся к тогдашней внутренней жизни Артура Дойла. (Вообще-то полностью отождествлять автора и героя текста, написанного от первого лица, может только очень наивный читатель, но «Письма Старка Монро» можно отнести к исключениям, так как сам Конан Дойл неоднократно подтверждал, что он и есть доктор Монро.) Роман представляет собой последовательный ряд писем, отправленных молодым врачом Старком Монро своему другу Берти Сванборо. В этих письмах рассказывается обо всех перипетиях жизни героя в период от практики у доктора Хора-Хортона до разрыва с Баддом-Коллингвортом и началом самостоятельной практики; в жизни Дойла эти события заняли несколько более длительный период, в книге они сжаты менее чем до одного года. Большинство эпизодов точно соответствует действительности, но некоторые придуманы, да и любовная жизнь Монро более занимательна, чем у автора. Бо́льшая часть писем, однако, посвящена не описанию того, куда герой ездил и что делал, а его мыслям и переживаниям – и в этом отношении он тождествен автору. Ни в одной другой книге доктор Дойл не был так откровенен; только «Письма Старка Монро» позволяют увидеть, каким он был в молодости, чего ему хотелось и отчего он страдал.

Монро чувствует себя очень одиноким. Дойл придумал ему верного друга Берти, с которым можно всем поделиться; придумал отца – врача, спокойного, рассудительного, надежного отца, а не такого, каким был Чарлз Дойл; у него есть любящая мать, которую не было нужды придумывать; у него, наконец, есть развеселый доктор Коллингворт – и все же он мучается. «Скучная, тоскливая вещь – жизнь, когда не имеешь подле себя близкой души. Отчего я сижу теперь при лунном свете и пишу вам, как не оттого, что жажду сочувствия и дружбы. Я и получаю их от вас – насколько только друг может получить их от друга – и все-таки есть стороны в моей природе, которые ни жена, ни друг, никто в мире не могли бы разделить. Если идешь своим путем, то нужно ожидать, что останешься на нем одиноким».

И все-таки настоящий друг, как выясняется из писем, в жизни Монро был – это доктор Хортон, который за короткое время стал ему «ближе родного брата». Впечатление такое, что в семье Хоров доктор Дойл чувствовал себя счастливей, чем в родном доме – да это и неудивительно, если учесть, что собой представляла его семья к тому времени. Но тогда, в 1882-м, он мечтал не просто о добром друге, а о единомышленнике, а Реджинальд Хор таким не был; лишь спустя десяток с лишним лет, за четыре года до смерти Хора, Артур Дойл, оглядываясь на прошлое, смог полностью осознать, как много значили для него эта дружба и эта приемная семья. Может, не стоило доктору Дойлу уезжать из Бирмингема; глядишь – со временем взял бы его доктор Хор в долю и тысяча фунтов в год была бы обеспечена, и в футбол играл бы за «Астон Виллу», а не за «Портсмут». Но Дойл – фаталист и оптимист – убежден, что судьба ведет человека и что ни делается – все в конечном итоге к лучшему. Что ж, в отношении собственной судьбы он не ошибся.

Когда «Письма Старка Монро» были опубликованы, Конан Дойл ожидал, что роман станет религиозной и философской сенсацией. Этого не произошло – быть может, из-за того, что религиозные концепции от создателя Шерлока Холмса никто не воспринимал всерьез, но скорей потому, что как философ Дойл неглубок и не очень-то оригинален. Но это не значит, что не оригинальна его аргументация и что доводы его лишены прелести.

Еще в совсем юном возрасте, как уже говорилось, все официальные религии потрясли его своей жестокостью. (Надо заметить, что, упоминая о «всех» религиях, Дойл характеризует лишь католичество и протестантство. Означает ли это, что другие религии не казались ему жестокими, или же он не считал их достойными упоминания? Скорее всего, ни то и ни другое: он мало знал о них и потому благоразумно промолчал.) Говоря о жестокости, он имел в виду религиозные войны, а также, по-видимому, те методы, которыми любовь к Богу пытались прививать стоунихерстские иезуиты. В варварскую эпоху христианство было необходимо; это была благороднейшая идея. Но во что христианство выродилось сейчас, в XIX веке! «Как роскошь, в которой живут отцы церкви, сообразуется с учением о смирении, бедности, самоотречении?» Католичество ждет, что современная цивилизация приспособится к нему, а протестантство худо-бедно приспосабливается к современной цивилизации; но в сущности обе конфессии ложны, а распри между ними заставляют людей отвлекаться на чепуху вместо того, чтобы размышлять о великом. «Так странно, глядя на звезды, думать, что церкви до сих пор ссорятся между собой из-за того, нужно ли выливать чайную ложку воды на голову младенца

при крещении. Это было бы смешно, если бы не было трагично». Что ж, протестантство упростило католицизм, придет новая религия и упростит протестантство; движение человеческой мысли рано или поздно приведет к тому, что обе ветви рухнут вместе с гнилым стволом, ибо религия – не закостенелый свод правил, а живое существо, способное к бесконечному развитию.

Самым большим грехом со стороны традиционных религий Дойл считал неуважение, проявляемое по отношению к интеллекту. Ведь все очень просто: раз Бог дал человеку разум – надо полагать, он рассчитывал, что человек будет этим инструментом пользоваться. А священники требуют, чтобы человек забыл о разуме и полагался на веру. Вера – не достоинство, а недостаток; отказ от разума является неблагодарностью и невежливостью по отношению к Богу. Зачем нужна вера, когда любой человек и так, пошевелив мозгами, может постичь присутствие Творца? Божество нужно изучать не по книжкам, написанным людьми, а по его творению – Природе. «Самое существование мира несет на себе печать Создателя, как стол – клеймо мастера, который его изготовил». «Работу двигателя мы объясняем законами физики, но это не делает менее очевидным присутствие инженера». Атеист говорит, что Вселенная управляется физическими законами – неужто не ясно, что законы должен был кто-то придумать? Человек, видящий прекрасную картину, заявляет, что эта картина вообще не была никем написана, что она сама себя написала! Нет, никаких атеистов быть не может, эти люди просто притворяются; и как атеисты не верят в Бога, так и Конан Дойл не верит в атеистов. Посредством той же аргументации он легко разделывается и со своими бывшими единомышленниками – агностиками. Как можно «не знать», сшил ли сапоги сапожник или они сами себя сшили?

А чем, собственно, Конан Дойла не устраивал христианский Бог? Не устраивал опять-таки своей жестокостью и мстительностью – качествами, которые свойственны людям и которыми люди наделили своего Бога, создав его по собственному образу и подобию. Учение о первородном грехе есть наивысшая несправедливость и нелепость: как можно веками наказывать миллионы людей за безобидный проступок, который в незапамятные времена совершил один человек? Так может поступать лишь злое существо. Кроме того, подобное мелочное злопамятство попросту глупо. «От Создателя мы ждем правосудия, справедливости, милосердия и *логики»*. (Того же мы ждем от Шерлока Холмса – и получаем это.)

Доктору Дойлу также не нравится в религии то, что человек обязан совершать добрые поступки из страха перед карой: нормальный человек и так понимает, что нужно быть добрым. Однако как быть с теми, кому нравится делать зло? По Дойлу, где есть порядок – там есть разум; где есть разум – там должна быть справедливость. Но как мог разумный, логичный, справедливый, добрый Инженер допустить существование зла? Ведь если Создатель не жесток сам – он и не должен позволять людям быть жестокими. Доктор обосновывает следующую теорию: добро и *кажущееся* зло – это инструменты, вложенные в две руки, управляющие Вселенной (на сей раз это не разводной ключ и монтировка, а скорее цапка для прополки сорняков и лейка с водой); одна рука льет воду, и это доброе деяние очевидно сразу, другая же выпалывает сорняки – это действие может показаться жестоким, но оно служит благой цели, и впоследствии польза от него станет видна так же ясно, как и польза от полива. Во всем можно и должно найти хорошее: человек теряет благосостояние – приобретает осмотрительность, женщина утрачивает юность и красоту, но становится добрее и мудрее. Итак, зла нет, есть добро, которое не сразу очевидно, и все к лучшему в этом лучшем из миров. Но. «Посмотрим, что вы скажете, когда у вас обнаружат рак желудка», – мрачно роняет Коллингворт, и бедный Монро, чувствуя слабость собственной аргументации, отодвигает мучающий его вопрос в сторону, надеясь решить проблему когда-нибудь после. «Что может знать о Творце и его замыслах наш бедный полуразвитый мозг?» Да, пути Господни неисповедимы, но лишь до поры до времени; разовьем мозг – тогда сумеем их постичь. (Позднего Конан Дойла, изобретателя новой религии, называют мистиком; чушь полнейшая, трудно найти человека более далекого от мистицизма. Он просто найдет при помощи логики ответы на некоторые вопросы.)

А вот еще проблема: существует ли бессмертие души и что она собой представляет? Собственно человек, его индивидуальность – это не глаза и уши, не кости, не печень или почки. «Что остается? Беловатая масса, подобная замазке, примерно в 50 унций весом, со множеством бледных нитей, на вид не отличающихся от медузы, плавающей в наших морях». Но и мозг не является обиталищем души; самоубийца выстрелом поражает лобные доли мозга и с помощью хирургов остается живым и мыслящим человеком. Стало быть, душа прячется в каком-то определенном участке мозга, но где именно? Этого медицина пока не знает, но узнает обязательно. А раз неизвестно, где находится душа и как она выглядит, то, стало быть, и рассуждать о ее смертности или бессмертии пока нет смысла. «Что бы ни ждало нас после смерти – наши обязанности в жизни неизменны и ясны». И тут доктор Дойл делает, пожалуй, самое любопытное из своих умозаключений: он убежден в. бессмертии человеческого тела. (К

телу он питает огромное уважение как к творению Инженера, а потому слова священников о «презренной плоти» считает столь же богохульными, как и принижение ими разума.) «Есть факты, доказывающие, что каждая клетка нашего организма представляет собой микрокосм и является носителем индивидуальности. Любая ячейка в теле способна воспроизвести человеческий организм.» Уж не был ли доктор Дойл провозвестником генетики?

Берти Сванборо со своим товарищем не согласен и считает его высказывания оскорбительными для верующих. Другие близкие тоже его не понимают. «Те, кого я люблю больше всего, менее всего симпатизируют моей борьбе. Они требуют, чтобы я верил – как будто это может быть сделано волевым усилием! Это все равно, что приказать мне изменить цвет волос с рыжего на черный». Однако Монро в своих исканиях не совсем одинок; они с Коллингвортом провели опрос общественного мнения и обнаружили много свободомыслящих людей. Врачи, представители науки и просто лучшие молодые умы – вот прослойка, которая не нуждается в догматах веры, и это вселяет в Дойла оптимизм. Неизвестно, убедила ли Берти эта социология; ближе к концу переписки автор отослал его жить и работать в Америку. А Старк Монро отправился в Бирчеспуль – там он продолжит размышлять над вселенскими проблемами. Он приводит слова своего отца: «Он говорит, что я рассматриваю Вселенную так, будто это моя собственность, и не могу спать спокойно, пока что-то в моем хозяйстве не в порядке», – произнес ли в действительности кто-то эту прелестную фразу в адрес Артура, или зрелый писатель, знающий себя как никто другой, сам придумал ее?

В «Старке Монро» Дойл также делает прогнозы относительно развития цивилизации; посмотрим, что же конкретно предсказывал доктор Дойл и сбылись ли эти предсказания.

1. Человек покорит воздушные просторы и морские глубины. (Возразить нечего.)

2. Успехи профилактической медицины искоренят болезни и приведут к тому, что причиной смерти останется только старость. (Подождем еще: о сроках доктор благоразумно умолчал.)

3. Образование и социальные реформы общества покончат с преступлениями. Таких, как Билл Сайкс (бандит из «Оливера Твиста»), будут показывать детям в музеях. (Будем ждать, хотя и с несколько меньшим оптимизмом.)

4. Англоговорящие нации объединятся с центром в Соединенных Штатах. (Без комментариев.)

5. Постепенно европейские государства последуют их примеру. (Последовали.)

6. Войны будут редки, зато более ужасны. (Попал в десятку.)

7. Современная форма религий упразднится, но суть ее останется, так что единая вселенская вера будет воспринята всей цивилизованной землей. (Хотелось бы надеяться.)

8. Изменится сам человек: за ненадобностью у него исчезнут зубы, волосы, зрение. «Когда мы думаем о более продвинутом типе молодого человека, мы представляем его лысым и в очках с двойными стеклами». (Типун вам на язык, доктор, а как же спортсмены?!)

Как минимум три попадания: что ж, в среднем доктор Дойл оказался не таким плохим провидцем. Впрочем, сам он оговаривается, что замысел Создателя чересчур сложен, чтобы человек XIX века (тот самый, с маленьким полуразвитым мозгом) мог верно судить о нем и предсказывать пути развития цивилизации. Но он должен продолжать мыслить и постепенно, шаг за шагом, познавать мир; разум, высший, прекраснейший дар Творца, поможет ему в этом. А теперь, когда мы прослушали оду разуму, вчитаемся в следующие слова (цитируется тот же текст). «Мой разум обязан помочь мне, а если настанет миг, когда он не сможет помочь – что ж, я обойдусь без его помощи». Ох, доктор, доктор.

Глава четвертая

ДУЭТ СО СЛУЧАЙНЫМ ХОРОМ

«Домы, магазины, торговля, народ – всё как в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах; но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полюднее» – в таких словах один известный русский путешественник описал город Портсмут, расположенный на южном побережье Англии, в графстве Хэмпшир, в 150 километрах от Лондона. Все в этом городе дышало морем: при Генрихе VIII Портсмут сделался главным морским арсеналом Англии; при Эдуарде VI в гавани его стоял весь английский флот. Большой Портсмут образовали четыре города: собственно Портсмут и Саутси на юге, Портси и Ландпорт на севере. Нас больше интересует Саутси, южный пригород, так как именно он фигурирует под именем Бирчеспуля в «Письмах Старка Монро» и ряде рассказов: «Жена физиолога» («A Physiologist's Wife»), «Голос науки» («The Voice of Science»), «Джентльмен Джой» («Gentlemanly Joe»); здесь почти десять лет работал доктор Дойл.

Саутси – тихий курорт, представляющий собой четыре мили каменистых пляжей (другой доктор, Уотсон, много лет спустя, в рассказе «Картонная коробка», вспомнит об этих пляжах и будет о них тосковать). Крошечный Саутси, однако, немало известен в литературном отношении: в 1812-м здесь родился Диккенс, в 1871-м сюда, в пансион семьи Холлоуэй, родители отдали шестилетнего Редьярда Киплинга (пансион, правда, оказался очень плох), с 1881-го по 1883-й в местном магазине трудился юный Уэллс, а Иван Сергеевич Гончаров, процитированный выше, посетил Саутси, путешествуя на фрегате «Паллада».

Когда Артур Дойл приехал в Саутси, при нем были следующие вещи: чемодан, несессер, шляпная коробка, табличка с выгравированным на ней именем доктора, стетоскоп, несколько медицинских книг, вторая пара ботинок, два костюма, белье, пять шиллингов и 18 пенсов. Он снял меблированную комнату за десять с половиной шиллингов в неделю. Если верить «Письмам Старка Монро», вечером, выпив немного портера и обозревая из окна своей комнатки серые крыши Саутси, юный доктор погрозил городу чайной ложкой и, цитируя Растиньяка, изрек: «Посмотрим, кто кого».

На следующее утро Артур купил карту города и начал методично обходить улицы, узнавая, где живут врачи, дабы не поселиться в чрезмерной близости к какому-нибудь коллеге (он тогда еще рассчитывал на заем, обещанный Баддом). Поисками дома он занимался от завтрака до обеда и от обеда до чая, а вечерами просто прогуливался. Тихий, скучноватый Саутси вызывал в нем усмешку. Но ему нравился этот странный городок: «Его минеральные источники были в большой моде лет сто с лишком тому назад, и он сохранил немало черточек своего аристократического прошлого, демонстрируя их не без изящества, подобно тому, как графиня-эмигрантка носит причудливый туалет, в котором она когда-то прогуливалась в Версале». Город, однако, на поверку оказался не так уж безнадежно респектабелен (кругом моряки как-никак): во время одной из первых же вечерних прогулок доктор Дойл ввязался в драку с уличным хулиганом, избивавшим женщину с ребенком. Как он сам замечал, это была вторая в его жизни драка из-за красавицы. Неизвестно, была ли эта женщина красавицей; Адриан Дойл рассказывал Джону Диксону Карру об эпизоде, когда, назвав какую-то встречную даму безобразной, получил от отца оплеуху и услышал, что «безобразных женщин не бывает».

Вскоре Артур нашел небольшой двухэтажный дом, расположенный между богатым и бедным кварталами, на пересечении четырех улиц; еще при жизни доктора его бывшему жилищу дадут имя «Дойл-хауз». «Замечательно, когда у вас появляется собственный дом, как бы убог он ни был». Убогий домик стоил 40 фунтов в год; будучи уверен в помощи доктора Бадда, доктор Дойл без колебаний подписал арендный договор (агент не потребовал задатка, так как наниматель указал в качестве своего поручителя Генри Дойла, кавалера ордена Бани и уважаемого человека), получил ключ от дома, взял в руки тряпку, метлу и ведро и вычистил дом снизу доверху, обнаружив попутно в кухонном очаге груду человеческих челюстей, выглядевших довольно жутко (предыдущим нанимателем был дантист). «Когда я закончил, я был таким грязным и потным, как если б отыграл целый тайм. Я вспоминал нашу опрятную прислугу и думал над тем, какой высокой квалификации требует это занятие». Потом он начал обживаться: на распродаже в Портси, другом пригороде, купил подержанные предметы обстановки – дубовый стол, стулья, ковер, три акварельные картины и прочую мелочь – и обустроил на первом этаже комнату для пациентов. На лампу денег не хватило, пришлось покупать в кредит. Наверху, в его спальне, была только кушетка, а в задней комнате на первом этаже – многофункциональный сундучок, внутри которого хранились продукты, а крышка, откидываясь, служила обеденным столом; доктор собственноручно приделал к стене над газовым рожком деревянный шпенечек, на который вешался чайник. Потратив предпоследний

фунт на то, чтобы рассчитаться за съемную комнату, доктор получил письмо от Бадда, в котором тот осыпал его упреками за якобы найденное письмо и сообщал, что никакого займа не будет...

Спасла доктора Дойла литература: за два рассказа, что были сочинены еще до переезда в Саутси, и за третий, написанный уже здесь (о них мы поговорим позже), Хогг заплатил неплохой для начинающего автора гонорар в размере десяти (по некоторым источникам – семи) фунтов стерлингов; эти деньги пошли в уплату домовладельцу. (Жалкий гонорар в тысячу или даже 700 долларов, заплаченных второсортным журналом никому не известному автору за три маленьких рассказа, наверное, вызовет лишь мечтательный вздох у наших начинающих литераторов.) Ему удалось устроиться врачом-консультантом в местное отделение страховой компании; он даже написал для нее (бесплатно) несколько рекламных объявлений о пользе страхования.

Потихоньку устраивался быт. Мэри Дойл прислала сыну посылочку с предметами первой необходимости, среди которых были одеяла, простыни, подушки, складной стул, две вазы, чайный прибор, две картины в рамках, скатерти, две медвежьи лапы и чернильница. В доме стало уютнее. На сковородке каждый день жарился бекон. Знакомый снабдил доктора на зиму картошкой. Как-то раз его навестил добрый доктор Хор и тоже привез продуктов. На овощи опять-таки не было денег, и доктор впоследствии удивлялся, отчего не заболел цингой. Он также упоминает о копченой колбасе, которую изредка мог позволить себе купить. В день он проживал шесть пенсов; из этой суммы какая-то часть уходила не на еду, а на то, чтобы покупать газеты и брать книги в городской библиотеке: без них Артур жить бы не смог.

«Я должен был отворять дверь пациентам, что бы они ни подумали об этом. Должен сам мыть посуду и подметать комнаты, и эти обязанности должны быть исполнены, так как посетители должны находить мое помещение в приличном виде». Обходиться без прислуги было неприлично, нанять ее – не на что; из книги в книгу кочует цитата из «Старка Монро» о том, как юный доктор сам ежеутренне начищал медную табличку со своим именем на входной двери (иногда прибавляется, что он делал это под покровом ночной темноты, крадучись – так невыносимо стыдно ему было). Наверное, английскому читателю это обстоятельство кажется более ужасным, чем нашему. И все же помощник в доме, конечно, был необходим: при отсутствии современной бытовой техники (хотя уже появлялись первые бельевыжималки и прототипы пылесосов, с которыми коммивояжеры ходили по домам) холостяку не так-то легко было управляться с домашним хозяйством, даже таким скромным. Да и тоскливо одному в чужом городе.

Артур посоветовался с матерью – кто из семьи мог бы составить ему компанию? – и в результате к нему приехал жить девятилетний братишка Иннес. Он стал, конечно, не прислугой, а товарищем; можно сказать, что сбылась давняя мечта Артура – два джентльмена, два неразлучных друга, делящие пополам стол и кров. Вдвоем с Иннесом им жилось так весело, как, быть может, никогда не будет после. «Он выносит все невзгоды нашего маленького хозяйства, оставаясь в самом веселом настроении духа, разгоняет мою хандру, сопровождает меня на прогулках, входит во все мои интересы (я всегда говорю с ним, как со взрослым) и всегда готов взяться за любую работу, от чистки сапог до разноски лекарств». Артур устроил Иннеса в школу, а после уроков тот помогал принимать больных. *«Мы* сделали прививку младенцу и лечили человека с чахоткой» – так писал Мэри Дойл не старший сын, а младший. Больше всего Иннеса занимала игра в солдатики, которых он вырезал из бумаги, когда брат не мог купить ему оловянных. «Его будущая карьера была определена естественными склонностями, поскольку он был рожден, чтобы вести за собой или управлять». Если доктор Дойл и вправду разглядел эту склонность в девятилетнем мальчике, а не додумал задним числом, похоже, Иннес Дойл, будущий бригадный генерал, уже тогда был незаурядной личностью.

Вопрос с прислугой в конце концов решился просто: ее наняли не за плату, а за жилье. Быт более-менее наладился, и постепенно стали появляться пациенты – правда, дохода от них не было. Доктору удалось получить в кредит партию лекарств, и бедняки, а также – иногда – пациенты, по какой-либо причине (самая распространенная – нежелание платить по счетам) желавшие сменить врача, приходили к нему за консультацией. Относительно личности первого пациента сведения расходятся: в «Старке Монро» написано одно, в «Воспоминаниях и приключениях» – другое. Если все-таки придерживаться мемуаров, то самым первым – если только доктор Дойл не придумал это для красоты и законченности эпизода, что не исключено, – был тот самый хулиган, с которым он недавно подрался. Хотя, возможно, и не придумал, так как он пишет, что хулиган не узнал его и таким образом история не имела продолжения. Приукрасить можно было поинтереснее. Он так и сделал в рассказе «Неудачное начало» («A False Start»), описав первые недели начинающего врача Ораса Уилкинсона: тот сидит в пустой приемной и ждет пациентов, безопасности ради накрепко заперев от себя

самого деньги, предназначенные для арендной платы. «Перед ним были раскрыты журнал, дневник и книга регистрации посетителей. Нигде не было ни единой записи, новенькие глянцевые обложки внушали подозрение, поэтому он потер их друг о друга и даже поставил несколько чернильных клякс. Чтобы пациент не заметил, что его имя первое, он заполнил первую страницу в каждой книге записями о воображаемых визитах, которые он нанес безымянным больным за три последних недели».

Доктор Дойл описывал начало своей практики в нескольких рассказах, в «Старке Монро» и в мемуарах; все страницы, посвященные этому периоду, прелестны и несколько напоминают – в чем нет ничего удивительного – рассказы другого молодого доктора, Булгакова: «Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться: доктор такой-то. И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: „Неужели? А я-то думал, что вы еще студент“. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить». Получалось все это, по признанию доктора Булгакова, плохо. У доктора Дойла, по-видимому, тоже. А вот описывать получалось хорошо. «Некоторые из торговцев предоставили мне свои услуги в обмен на мои, а мои были столь малы, что я, похоже, совершил наивыгоднейшую сделку. Был там бакалейщик, страдавший эпилептическими припадками, что обеспечивало нас маслом и чаем. Бедняга никогда не узнал, с какими смешанными чувствами я встречал известие о каждом его новом припадке».

Пациенты доктора Дойла преимущественно были сами бедны как церковные крысы; многих приходилось лечить задаром. Никогда он не отказывался делать это, хотя, естественно, радовался, получив за свою помощь хоть мизерную плату. Были и цыгане, упомянутые в «Неудачном начале»; правда, по словам Иннеса Дойла, с них таки удалось получить шесть пенсов. Была сильно пьющая старая леди, которая в нетрезвом состоянии расплачивалась за визиты посудой, а придя в себя, забирала ее обратно. Эта комическая сторона медицинской практики, по признанию доктора Дойла, облегчала ему жизнь, так как другая сторона была ужасна, и порой он просто не мог «примирить то, что приходится наблюдать врачу, с идеей милосердного Провидения». Он вспоминает об одном случае, когда его пригласили в очень бедную семью осмотреть ребенка: «То, что я увидел на самом деле, было парой угрюмых карих глаз, полных ненависти и страдания, с негодованием глядевших на меня. Не могу сказать, какого возраста было это существо. Длинные тонкие конечности были скрючены и свернуты на крошечной постели». Девушке оказалось девятнадцать лет, и мать молила Бога забрать несчастную к себе. Поскольку основной контингент больных доктора Дойла, как мы уже говорили, составляли бедняки, можно представить, что подобные картины он видел чуть не каждый день. Неудивительно, что он столько ломал голову над проблемой зла.

Платежеспособные пациенты стали появляться лишь тогда, когда Артур начал заводить знакомства и «вращаться в обществе». (Среди таких пациентов был, в частности, владелец магазина тканей, где учеником служил совсем юный – на семь лет моложе Артура, – Герберт Уэллс; столь необычные обстоятельства знакомства двух писателей, наверное, сказались в том, что в последующих отзывах Дойла об Уэллсе чувствуется нотка снисходительности.) Хотелось бы написать, что он делал это не из расчета, что его неуемная натура требовала общения, но, как следует из «Писем Старка Монро», это было не так. Артур искал общества вполне сознательно. «Не нужно ждать, когда практика придет к вам; нужно самому ходить за ней. Общайтесь с людьми, позвольте им узнать вас. Вы вернетесь домой и узнаете, что в ваше отсутствие приходил пациент. Не расстраивайтесь! Выйдите снова. Шумный курзал, где вы встретите 80 человек, принесет вам больше пользы, чем один или два пациента, которые к вам заходили». Несколько цинично звучит: по курзалам ходят здоровые люди, а искать помощи доктора приходили больные. Правда, раз приходили – стало быть, не так уж страшно они были больны...

Доктор Дойл, однако, понимал, что во всем нужны умеренность и умение держать себя в руках: посещая «тусовки», необходимо помнить, что ищешь клиентуру, а не развлечения. Надо вызвать в людях уважение к себе: быть приветливым и дружелюбным, но без фамильярности, вести себя как подобает джентльмену. А главное – не пить, как бы окружающие ни соблазняли сделать это; лучше отказаться от выпивки, рискуя вызвать осуждение или насмешку, чем кончить, как Чарлз Дойл. Но не стоит думать, что доктор Дойл искал клиентуру в пабах: говоря об «обществе», он имел в виду прежде всего не веселые компании, а «кружки по интересам». Литература, политика, спорт, дебаты на любые темы – всюду начинающий врач должен поспеть, везде зарекомендовать себя с наилучшей стороны и постараться как можно скорей занять какую-нибудь общественную должность.

Следуя выбранной стратегии, Дойл вступил в Портсмутское литературно-научное общество и довольно скоро стал его секретарем. Председателем общества был коллега Дойла, доктор медицины Джеймс Уотсон, которого считают одним из прототипов доктора Джона Уотсона.

Члены Общества собирались еженедельно: делались доклады, велись бурные дискуссии. Темы бывали самые разнообразные, Артур, к примеру, сделал три доклада: об арктических морях, об историке Томасе Карлейле и о другом историке, Эдуарде Гиббоне. Поначалу это было для него тяжело: он не умел выступать перед публикой, смущался и нервничал. Потом научился, «скрывая свой страх, говорить связно и подбирать выражения». Между прочим, во время одного из этих докладов – о морях – он сумел ненароком мистифицировать публику: готовясь к выступлению, он одолжил у портсмутского таксидермиста чучела птиц и животных («которые, *по моему мнению,* должны были водиться за полярным кругом», – мимоходом, с почти незаметным юмором замечает он), а доверчивые английские слушатели решили, что это его собственные трофеи и они имеют дело с величайшим охотником. Не этот ли эпизод вспомнился ему много лет спустя, когда он описывал, как профессор Челленджер на заседании Зоологического института демонстрирует ошеломленной публике детеныша птеродактиля? Доклады об историках, по-видимому, такого шумного успеха не имели.

Доктор Дойл записался также в политический кружок – опять дискуссии и доклады. У власти с 1880 года находились либералы под предводительством Гладстона, и доктор Дойл был их сторонником – не потому, что они были правящей партией, а потому, что он с самых юных лет сочувствовал вигам и не одобрял тори (об этом мы сможем подробно поговорить в следующей главе, когда зайдет речь об историческом романе «Приключения Михея Кларка»). Вряд ли уместно здесь подробно рассуждать о противостоянии двух партий (нам с нашими гигантскими прыжками вправо-влево и вперед-назад все равно очень трудно понять, чем они различаются: при одной и при другой газоны всегда подстрижены и поезда ходят точно по расписанию), но об одной из наиболее болезненных и горячо обсуждаемых в тот период проблем упомянуть все-таки придется, так как она всегда очень много значила для доктора Дойла.

Это – положение в Ирландии, чьи политики требовали так называемого гомруля *(home rule),* то есть самоуправления. Напомним, что история борьбы католиков-ирландцев с Англией к тому времени насчитывала уже много столетий; на жестокое подавление восстаний ирландские патриоты отвечали не менее жестокими, хоть и несравнимыми с современными художествами какой-нибудь «Аль-Каиды», террористическими актами. Тогда, в начале 1880-х, о полной независимости речь еще не шла, но Конан Дойл был ярым противником даже гомруля. Нет, он не был жестоким колонизатором – он просто никогда не понимал, как могут люди из-за религиозных расхождений ненавидеть и убивать друг друга. С наивностью «нормального человека» он мечтал о том, чтобы все утерянные Англией колонии вернулись к ней – не как к «старшему брату», а как к равноправному другу, – и не хотел принимать в расчет всех прочих политических соображений; он будет очень шокирован несколько лет спустя, когда Гладстон, которого он бесконечно уважал, вдруг переменит свою позицию по Ирландии на противоположную.

Он также пытался, насколько позволяли средства, вести «светскую жизнь»: ходил на концерты и на балы. Иногда на этих балах, как сам пишет, позволял себе хватить лишнего и делал предложения всем встречным и поперечным девицам. Как-то не так мы себе воображали викторианские балы... В гости к нему и Иннесу приезжали сестры, особенно часто – Лотти. Приезжала его девушка, Элмо Уэнден; с ней ездили в Лондон на спектакли (поезда в ту пору ходили уже со скоростью около 80 километров в час, так что доезжали быстро), потом рассорились. Во время поездок в Лондон Артур несколько раз виделся с родней, однажды даже оказался очень кстати, когда дяде Дику потребовалась медицинская помощь, но общение получалось довольно холодным. Ричард Дойл – из самых лучших побуждений – написал для племянника рекомендательное письмо к епископу города Портсмута; племянник был в бешенстве.

И конечно же доктор (рост за метр девяносто, вес под 100 килограммов, рукой гнул кочергу) занимался всевозможными видами спорта. Он стал членом боулинг-клуба, крикет-клуба; в Портсмуте был чрезвычайно популярен футбол, и Артур очень быстро пристрастился к нему. Сперва он был вратарем. Если вам случается смотреть по телевизору матчи английской премьер-лиги, обратите внимание на ворота клуба «Портсмут» – это их защищал Конан Дойл! Дабы не вызвать гнева специалистов, уточним: нынешний футбольный клуб «Портсмут» основан в 1898 году, а Артур Дойл с 1884-го играл в любительской команде, основу которой составляли рабочие-докеры (капитаном команды был Альфред Вуд, с которым доктор Дойл сошелся довольно близко; впоследствии этот человек станет секретарем автора Шерлока Холмса), и, между прочим, выступал за нее не под своим собственным именем, а под псевдонимом «А. К. Смит». (Первый матч, в котором Смит принял участие, был выигран со счетом 5:1.) В дальнейшем Дойл внесет немалую лепту, в том числе денежную, в создание профессионального клуба.

Вратарь – фигура заметная; сразу вспомнились слова Набокова, который во времена своего

кембриджского студенчества тоже играл в воротах: «За независимым, одиноким, бесстрастным, знаменитым голкипером тянутся по улицам зачарованные мальчишки. Он одинокий орел, он человек-загадка, он последний защитник». Рухнула, стало быть, концепция, в соответствии с которой спортсмен Дойл – рабочая лошадка, а не звезда? В унынии мы перечли нужную страницу из мемуаров «Память, говори» заново и обнаружили, что «доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма» лишь в России и латинских странах; в Англии же «слишком суровая озабоченность солидной сыгранностью всей команды» отнюдь не поощряла индивидуалиста Набокова развивать свое голкиперское искусство. Не «одинокий орел», а винтик в коллективе! Все было верно. А вскоре Артур Дойл и вовсе переквалифицировался из вратарей в защитники. Блестящим футболистом он сделаться не смог, как, впрочем, не достиг выдающихся успехов ни в одном виде спорта: как мы уже замечали, для этого у него был слишком любительский подход. Он обладал длинным и мощным ударом, но, по его собственному признанию, был чересчур медлителен. Тем не менее в команде играл все годы, которые прожил в Саутси: надо думать, его ценили за трудолюбие и самоотверженность – качества, очень важные именно для защитника.

В крикетную команду он тоже немедленно записался: в этой игре можно быть блестящим боулером (подающим) или великолепным бэтсменом (отбивающим), а можно – универсалом, который неплохо умеет делать то и другое; доктор Дойл, разумеется, относился к последней категории и, не блистая особо ни в одной из двух ролей, пользу своей команде приносил немалую. В 1885-м его выбрали капитаном; он останется им в течение пяти лет – до тех пор, пока у него не окажется слишком много других общественных нагрузок. Боксом доктор продолжал заниматься время от времени и с удовольствием вспоминал случай, когда, приехав по вызову в маленькую деревушку к некоему «фермеру-джентльмену» и застав у него толпу гостей, среди которых обнаружились большие любители бокса, принял участие в импровизированном матче. Познакомившись с другим доктором, который был искусным фехтовальщиком, увлекся и этим занятием; нагрудник надевать ленился и был едва не заколот своим партнером насмерть. Пару раз ломал пальцы (на футбольных матчах). Нормальная жизнь нормального спортсмена.

Расширившийся круг знакомств привел к тому, что практика начала расти; блестящей она никогда не станет, но будет приемлемой. 154 фунта в первый год работы в Саутси, 250 – во второй, к концу третьего – 300; большего достичь не удастся. Доктор Дойл завел приятельские отношения с доктором Пайком, и тот неоднократно рекомендовал его местным жителям. Прислуге выплачивалось жалованье. Маленькому Иннесу не было нужды заниматься хозяйством, и он смог сосредоточиться на уроках. Мать и тетка Аннет присылали еще картин и мебели; стало совсем уютно. В общем, все устроилось. Недоставало лишь хозяйки…

Но мы сильно забежали вперед; вернемся теперь в лето и осень 1882-го: пациентами еще и не пахнет, и юный доктор сидит в своей новенькой приемной один, изнывая от беспокойства, безденежья и безделья: по десять раз на дню он прибирает в комнатке, перемещая с места на место хирургические ножи, ланцеты и стетоскоп и нервно листая «Медицинскую энциклопедию Куэна». Сидя в одиночестве и не смея отлучиться ни на минутку, чтобы не пропустить пациента, он писал рассказы.

Те три истории, за которые «Лондон сосайети» заплатил ему десять или семь фунтов, назывались «Кости» (этот рассказ мы уже упоминали), «Блюмендайкский овраг» («The Gully of Bluemansdyke») и «Убийца, мой приятель» («My Friend the Murderer»). Два первых были, по собственному выражению доктора Дойла, «жалким подражанием Брет Гарту». Вряд ли в самом факте подражания было что-то жалкое; Брет Гарту подражать не зазорно. Этого последнего Дойл в «Волшебной двери» называет замечательным рассказчиком, который не проявил себя в создании произведений большой формы. В какой-то степени эту характеристику можно будет впоследствии отнести и к самому доктору. Рассказы Брет Гарта «Счастье Ревущего Стана» и «Компаньон Теннесси», по мнению доктора Дойла, заслуживают места среди бессмертных произведений. «Я не завидую человеку, который без глубокого волнения сможет прочесть эти два рассказа», – сказал доктор Дойл. Мы тоже не завидуем. Но был ли жалок результат подражания? Раскроем одновременно «Блюмендайкский овраг» и «Компаньона Теннесси»:

«Чикаго Билл был не только очень высок, но и удивительно силен. Одет он был в обычную для старателя красную рубаху, а обут в высокие кожаные сапоги. Расстегнутая рубашка обнажала мускулистую шею и мощную грудь. Лицо его избороздили морщины и шрамы – свидетельства многочисленных столкновений как с силами природы, так и с собратьями по роду человеческому. Под разбойничьей наружностью, однако, скрывалось глубокое чувство собственного достоинства и внутреннее благородство, свойственные подлинному джентльмену» (Конан Дойл. Блюмендайкский овраг, перевод Н. Высоцкой).

«Приземистый, с квадратным, неестественно красным от загара лицом, в мешковатой парусиновой куртке и забрызганных красной глиной штанах, Компаньон Теннесси при любых обстоятельствах мог показаться фигурой весьма странной, а сейчас он был просто смешон. Когда он нагнулся поставить на пол тяжелый ковровый саквояж, полустертые буквы и надписи на заплатах, которыми пестрели его штаны, сразу уяснили присутствующим, что этот материал первоначально предназначался для менее возвышенных целей» (Брет Гарт. Компаньон Теннесси, перевод Н. Волжина).

В данном случае вряд ли нужно быть филологом, чтобы различить, где рука мастера, а где – неуклюжего ученика; очень уж сильно различие. Брет Гарт создал живых людей; у юного Конан Дойла получились штампованные, условные фигурки. Так что попытка подражания попросту не удалась. Однако не будем слишком строги: ранние вещи у многих бывают очень слабыми.

Что касается третьего рассказа («Убийца, мой приятель»), созданного уже в Саутси, он сильно отличается от первых двух: в нем уже бьется что-то живое. В австралийской тюрьме содержится заключенный бандит (и по совместительству – стукач, то есть негодяй вдвойне) Мэлони; он болен, и к нему приглашают тюремного врача. Мэлони рассказывает врачу историю своих кровавых злодеяний (в его изложении все они выглядят скорее комично); вскоре он выходит на свободу, так как срок его закончился, а некоторое время спустя врач в последний раз встречается с бывшим каторжником в придорожном трактире, где тот только что пристрелил какого-то человека и был ранен сам.

«Мэлони задавал вопросы о состоянии своего противника с таким волнением и живейшим интересом, что мне представилось, будто на пороге смерти он раскаялся и не хочет покидать этот мир с кровью еще одной жертвы на руках. Но врачебный долг требовал от меня сказать правду. В осторожных выражениях я признался, что соперник его почти безнадежен.

Мэлони испустил торжествующий вопль, заставивший его закашляться. На губах запузырилась кровь.

– Эй, парни! – задыхаясь, прошептал он, обращаясь к обступившим его посетителям салуна. – У меня во внутреннем кармане лежат денежки. Плевать на расходы – ставлю всем выпивку за мой счет! Мне стыдиться нечего! Сам бы с вами выпил, да, видать, пора мне отваливать. Мою порцию налейте доку. Он хороший парень.

Голова его с глухим стуком упала наземь, глаза остекленели, и душа Вульфа Тона Мэлони, фальшивомонетчика, каторжника, разбойника и убийцы, отлетела в Великую Неизвестность».

А вот здесь уже что-то есть от «Компаньона Теннесси» – пусть совсем немного.

Редактор «Лондон сосайети» присвоил себе права на «Блюмендайкский овраг», «Кости» и «Убийцу» и впоследствии без согласия автора опубликовал их в книге, где стояло имя Конан Дойла; доктора этот факт возмутил вовсе не потому, что мистер Хогг на нем нажился, а потому, что за рассказы эти ему было стыдно. Так или иначе, заплатить за квартиру они ему помогли.

В 1882—1883 годах Артур написал еще несколько рассказов, уже не имеющих к Брет Гарту никакого отношения. Они были абсолютно разные: молодой автор не решил еще, какую манеру ему стоит избрать. Юмористический рассказ «Наши ставки на дерби» («Our Derby Sweepstakes»), к примеру, написан от лица молоденькой девушки, и получилось совсем неплохо. «Я вспомнила, как Джек подарил мне однажды дохлую рыбу, которую он выловил в хазерлейской речушке, и я бережно хранила ее среди самых драгоценных моих сокровищ, пока наконец тошнотворный запах в доме не заставил мою мать написать мистеру Брайтону возмущенное письмо, а он в ответ сообщил, что все трубы в нашем доме исправны». Очень живо и без малейшей слащавости, какой вроде бы следовало ждать от викторианца; однако вспомним, что у Артура была куча сестер. В другом рассказе, «Тайна замка Горсорп-Грэйндж», автор с веселой непочтительностью издевается над людьми, верящими в населяющие старые дома привидения; интересно, с каким чувством он перечитывал этот рассказ в конце своей жизни, если перечитывал. Военные байки пожилого человека в рассказе «Ветеран» («That Veteran») по содержанию и по стилю предвосхищают «Бригадира Жерара». «Джентльмен Джой» («Gentlemanly Joe») – комическое повествование о злоключениях юного банковского клерка, поступившего на службу в бирчеспульскую фирму «Дукат, Гульден и Дукат». Юмор – тот самый английский юмор, очень мягкий, – Дойлу удается пока что намного лучше пафоса. Рассказы были приняты журналом «Круглый год» («All Year Round») – вполне приличным еженедельным изданием, которое основал сам Диккенс. Милые виньетки; однако в те же годы Дойл писал тексты совсем иного типа.

«Роковой выстрел» («The Winning Shot»), опубликованный в журнале для семейного чтения «Колокола» («Bow Bells»), – история в готическом духе: с мистическим подтекстом, с намеками на некрофилию, людоедство и колдовство. Рассказ начинается с прямого обращения к читателю и предупреждает об опасности встречи с неким Октавиусом Гастером: «Этот человек – вне досягаемости закона, но более опасен, чем бешеная собака. Избегайте его во что бы то ни стало». Сразу, в лоб – интригует. А дальше – до поры до времени – идет неспешное, уютное повествование со множеством тщательно прописанных второстепенных персонажей. Рассказ ведется от лица молодой девушки Лотти: она и ее жених Чарли прогуливаются в лунный вечер у водопада среди скал. «Шум падающей воды похож на бульканье в горле умирающего». Хорошая атмосфера для прогулки. Вдруг, подняв головы, они замечают на скалах странного незнакомца. «Приблизительно в шестидесяти футах над нами возвышалась высокая темная фигура, глядя вниз, очевидно, в бурную пустоту, в которой мы были... Луна освещала горный хребет, и худая угловатая фигура незнакомца ясно виделась в ее серебристом сиянии». Уж не Холмс ли это, скрывающийся на болотах? Но когда Лотти и Чарли, не читавшие, по-видимому, газетных объявлений, сводят более близкое знакомство с таинственным человеком, его наружность, увиденная их глазами, отсылает нас совсем к другому персонажу.

«Было нечто в угловатых очертаниях его фигуры и бескровном лице, что, в сочетании с черным плащом, развевающимся за его спиной, непреодолимо напомнило мне об одной кровососущей разновидности летучей мыши.» Незнакомец – читатель, конечно, уже догадался, что это и есть ужасный Гастер, – любезен, изящен; Лотти им очарована, и простодушная английская парочка приглашает его в дом. Там Гастер обольщает прислугу и собак и читает таинственные книги на арабском языке, а по ночам. но не будем рассказывать, чем закончилась эта жуткая история: пусть лучше кому-нибудь захочется ее прочесть. Принято считать, что первым уподобил вампира летучей мыши Брэм Стокер – кстати, он станет близким знакомым Дойла. (Вообще-то связь летучей мыши и вампира гораздо раньше присутствовала у А. К. Толстого, но его ни Дойл, ни Стокер наверняка не читали.) Однако «Дракула» будет написан пятнадцатью годами позднее «Рокового выстрела».

Еще один текст, заслуживающий внимания: «Капитан „Полярной звезды“», о котором мы упоминали в предыдущей главе; здесь опять появляется привидение, только обитает оно не в замке, а в ледяной пустыне. «Мертвая тишина, царящая над этим обширным пространством льда, ужасна. Не видно ни гребней волн, ни надутых ветром парусов, не слышно крика чаек; одна глубокая, всеобъемлющая тишина, среди которой говор матросов и скрип их сапог на белой сверкающей палубе кажутся несообразными и неуместными». Хотя Конан Дойл, в отличие от Эдгара По, Арктику видел своими глазами, в попытке передать ужас громадных ледяных пространств ему до По далеко. Зато герой – капитан, мучимый призраками, – получился неплохо. Конан Дойл в «Капитане» использует и развивает свой любимый прием, когда роль рассказчика заключается в том, чтобы читатель мог видеть основного героя сквозь призму чьего-то живого взгляда, весьма необъективного, быть может, но всегда – чрезвычайно простодушного. Сам же автор так скромен и так искусно прячется за широкой спиной рассказчика, что его невозможно разглядеть. Многим писателям, более значительным, чем Конан Дойл, этот прелестный маневр не удавался. Ему же, полагавшему, что автора в тексте не должно быть видно, прием пришелся очень по душе – и, как мы увидим, он в своем выборе не ошибся.

Как получилось, что автор, сочинявший до сих пор очень слабые рассказы, причем без всякого видимого прогресса, вдруг начал писать гораздо лучше? Может быть, это произошло просто в силу того закона, по которому количество – при наличии таланта и трудолюбия – рано или поздно переходит в качество; но не исключено, что свою роль сыграл переезд в Саутси. Одно дело писать, будучи приживалом у взбалмошного доктора Бадда, совсем другое – у себя дома. Большинству литераторов, чтобы нормально работать, все-таки нужны не парижские кафе, а тихая уединенная комната и какое-то подобие душевного покоя.

«Капитана» опубликовали в январе 1883-го, в журнале «Темпл Бар»; юный доктор был счастлив и писал матери, что надеется зарабатывать литературой и получать чеки с трехзначными суммами. Но до этого было еще далеко.

Теперь о рассказе, который принес доктору Дойлу первый успех. Это «Сообщение Хебекука Джефсона» («J. Habakuk Jephson's Statement»). Он не лучше и не хуже, чем, например, «Капитан „Полярной звезды“»; просто ему повезло больше. Сюжет основан на истории покинутого при таинственных обстоятельствах судна «Мария Селеста». Опять корабль, опять повествование от первого лица, опять колоритный персонаж (на сей раз – отрицательный), мрачную загадку которого рассказчику доводится разгадать. Оба рассказа похожи как близнецы. «Кажется, что наш капитан такая же большая загадка для моряков и даже для владельца судна, как и для меня... У него нет ни одного друга в Дэнди, равно как никто не

знает его прошлого»; «Утром ко мне в каюту заходил Хертон, и мы выкурили с ним по сигаре. Он припоминает, что видел Горинга в 1869 году в Кливленде, штат Огайо. Как и сейчас, он производил тогда загадочное впечатление. Он разъезжал без всякой видимой цели и избегал говорить о своих занятиях» – если не разделить кавычками две цитаты, вполне можно подумать, что это любопытствует один и тот же повествователь на одном и том же судне.

Есть, правда, одно отличие: в «Капитане» загадочный персонаж оказывается хорошим человеком, в «Хебекуке» – плохим. Обычно плохие люди у беллетристов получаются интереснее хороших, но злодей Септимус Горинг, антигерой «Хебекука», на человека все-таки не тянет, это пока еще кукла. Возможно, автора подвело стремление во что бы то ни стало впихнуть в рассказ свою любимую Америку: Горинг – американский мулат, который «решил найти смелых несвободных негров, соединить с ними свою жизнь, развить заложенные в них таланты и создать ядро великой черной цивилизации»; в этом стремлении он не останавливается перед самыми ужасными и подлыми, хотя довольно бессмысленными убийствами. Со временем доктор Дойл забудет о том, как ужасные туземцы кормят миссионерами крокодилов, и его отношение к «черным людям» станет гораздо более человечным; но мулатов он всю жизнь будет считать исчадиями ада. Ни с какими ужасными мулатами он в своей жизни близко не сталкивался, во всяком случае, ничего об этом не известно: скорей всего, он придерживался распространенной в те времена теории, согласно которой от межрасового союза ничего хорошего родиться не могло; подобное мнение о мулатах можно встретить и у Майн Рида, и у Хаггарда, а Гончаров в «Фрегате „Паллада“» обмолвился, что мулаты ему «не совсем нравятся»: «Уж если быть черным, так черным, как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог».

Короче говоря, по какому-то капризу редакторов успех пришелся не на долю «Капитана „Полярной звезды“» (ему воздадут должное в свое время, когда будет издан одноименный сборник рассказов Конан Дойла), а на долю «Хебекука Джефсона»: его приняли в престижный журнал «Корнхилл», печатавший высококачественную поэзию, прозу и рецензии. Журнал был с традициями уже тогда, существует и поныне, хотя ему еще далеко до возраста английских газонов. Сам по себе факт публикации в таком серьезном издании был гораздо важнее тридцатифунтового гонорара; достаточно сказать, что именно в «Корнхилле» публиковались первые произведения Стивенсона. Редактором журнала был мистер Джеймс Пейн, хорошо известный в то время поэт и эссеист. В конце жизни Конан Дойл уделит ему целую страницу в своих мемуарах и отзовется о нем как о человеке, который был гораздо ярче своих книг: веселый, остроумный, во всем находивший юмористическую сторону, даже в собственных страданиях; превосходный игрок в вист, обладатель жуткого почерка и – что самое важное – добрый и человечный критик. Эта особенность и нынче нечасто встречается; для начинающего автора такой критик – нечто вроде ангела. Тогда, летом 1883-го, доктор Дойл перед издателем попросту благоговел и сравнивал его со стражем у священных врат.

«Хебекук» вышел в январском номере «Корнхилла» за 1884 год. Нам покажется странным, но тогда было обычным делом, что рассказ публиковался неавторизованным, то есть анонимно (как, кстати, и все предыдущие рассказы Дойла) – это делалось, чтобы «предохранить автора от оскорблений, равно как и от славы победителя». Нечто совершенно невообразимое в век всеобщего пиара. Нельзя сказать, что доктор проснулся знаменитым, но рассказ заметили. Вскоре появились рецензии, как доброжелательные, в которых, например, автор сравнивался со Стивенсоном (тогда уже признанным мастером) и даже великим Эдгаром По, так и не очень. Был какой-то мистер Флуд, наивностью и доверчивостью под стать рассказчику «Хебекука», которого ввел в заблуждение финал рассказа: «В моем сообщении нет и тени вымысла. Возьмите карту Африки. Повыше мыса Кабо-Бланко, там, где от западной точки континента береговая линия поднимается к северу, по-прежнему правит своими чернокожими подданными Септимус Горинг, если только возмездие уже не постигло его». Он отправил в газеты письмо с опровержением изложенных автором фактов. Доктору Дойлу, обладавшему хорошим чувством юмора, это опровержение, возможно, было приятней одобрительных рецензий.

После теплого приема, оказанного «Хебекуку», Дойлу показалось, что он уже «вошел в литературу». По его словам, время было для этого благоприятное, и «для новичка несомненно открывались чудесные перспективы». Ушли Теккерей, Диккенс, Троллоп, Чарлз Рид: «Не осталось ни одной великой фигуры, кроме Гарди». Мередит был велик, но никому не понятен и непопулярен. Нет, был еще, разумеется, Стивенсон, был Уилки Коллинз, но с ними худо-бедно можно потягаться. Киплинг еще только начинал, об Уэллсе и речи не было. Действительно, перспективы неплохие.

Окрыленный первым успехом, доктор Дойл продолжал предлагать свои рассказы в «Корнхилл», но они не были приняты. Некоторые из них брали другие журналы: в «Касселс» напечатали рассказ «The Cabman's Story», получивший в русском переводе название «Тайна

замка Свэйклифф» – банальную историю с тайнами; в эдинбургском «Блэквуде» был опубликован довольно трогательный и остроумный рассказ «Жена физиолога» («A Physiologist's Wife») – как справедливо замечает автор, здесь не обошлось без влияния Генри Джеймса. В этом рассказе о любви автору удалось набросать неплохой портрет героя, ученого-медика, не умеющего выражать свои чувства словами, но способного умереть от разбитого сердца. Сам доктор Дойл, как уже упоминалось, к этому времени расстался со своей знакомой Элмо Уэнден; нет никаких указаний на то, что сердце его было разбито, но в молодости даже крошечная душевная рана переносится болезненно. «Корнхилл» же был непоколебим; Джеймс Пейн пригласил Артура наряду со всеми авторами и художниками, сотрудничавшими с «Корнхиллом», на торжественный обед в Гринвиче, однако рассказов его больше публиковать не хотел, так как не одобрял стиль молодого автора, находя его грубоватым. Выручали издания более низкой пробы: все те же «Лондон со-сайети», «Касселс», «Темпл Бар».

«Я больше не являюсь литературным поденщиком и выхожу на истинный уровень», – считал он после «Хебекука», и вдруг – всё сначала. «Как это мерзко и оскорбительно, когда безжалостный почтальон вручает тебе свернутые в узкую трубку мелко исписанные и теперь уже потрепанные листки, всего несколько дней назад такие безукоризненно свежие, сулившие столько надежд!» Василевский, редактор «Стрекозы», в те же годы заявлял доктору Чехову: «Не расцвев – увядаете». Вдвойне тяжело начинающему автору, когда его сперва приласкают, а после оттолкнут; можно и сломаться, но доктор Дойл был конечно же не таков; он стал искать выход из сложившейся ситуации. Он, правда, избрал не тот путь, что Чехов: вместо того чтобы без конца писать коротенькие рассказы, совершенствуя их с каждой новой строчкой, решил попытать счастья в крупных формах. «Необходимо, чтобы ваше имя оказалось на корешке книги. Только так вы утвердите свою индивидуальность и ваши достижения либо приобретут высокую репутацию, либо заслужат презрения».

Первый роман, написанный Конан Дойлом, назывался «Исповедь Джона Смита» («The Narrative of John Smith»). Наш читатель о нем, скорей всего, и слыхом не слыхивал, что неудивительно: роман никогда не был опубликован. Доктор отправил его в издательство, но рукопись затерялась в дороге. Оказывается, и у них что-то может на почте потеряться. Искали около года – не нашли. О чем был этот роман? Конан Дойл предпочел этого не раскрывать, ограничившись чрезвычайно короткими и туманными замечаниями, из которых можно понять, что роман представлял собою нечто вроде памфлета на социально-политические темы. Молодой доктор Дойл сожалел о потере, но зрелый – нет. «Отчаяние, в которое меня повергла пропажа этого текста, не может идти ни в какое сравнение с тем ужасом, который я испытаю, если он вдруг отыщется». При жизни Конан Дойла этого не случилось. Но все-таки английская почта есть английская почта: «Исповедь Джона Смита» в конце концов была найдена! В 2004 году на аукционе «Кристи» его приобрела в свою собственность библиотека Британского музея. Поистине рукописи не горят; конечно, в скором будущем мы все сможем ознакомиться с текстом этого романа. Милосердно ли это по отношению к автору, который выразил свою позицию так ясно? Милан Кундера говорил, что так поступать нехорошо. Но его позицию никто не разделяет.

В «Ювеналиях» Дойл пишет, что за «Джона Смита» взялся уже после опубликования «Хебекука Джефсона»; похоже, он то ли ошибся, то ли сказал так для простоты изложения, так как в действительности зимой 1884-го, когда успеха «Хебекука» и последующего разочарования еще не было, он начал работать над своим вторым романом, который и считают обычно его первой крупной вещью. «Джон Смит» в таком случае должен был быть написан в 1883-м.

Можно, наверное, сказать, что доктор пошел по более легкому пути, ведь он сам признавал, что написать хороший рассказ куда трудней, чем хороший роман: «Чтобы вырезать камею, требуется гораздо более тонкое искусство, чем чтобы создать статую». Но эти слова были сказаны не в 1884-м, а в 1900-м, когда за плечами у него было множество и малых, и больших текстов; тогда же он отмечал с изумлением, что рассказ и роман «существуют сами по себе и даже враждебны друг другу». Это занятное противоречие рано или поздно замечают все; один крупный современный писатель сказал по этому поводу, что за сочинение рассказа и сочинение романа отвечают «разные валентности». Наверное, доктору Дойлу, всю жизнь благоговевшему перед химией и химиками, понравилось бы такое сравнение. Но зимой 1884-го он вряд ли задумывался над теорией литературы; ему просто захотелось написать роман, вот и всё. Роман этот – «Торговый дом Гердлстон», который мы цитировали, говоря о студенческой жизни в Эдинбурге; начинающий автор посвятил своему другу детства Уильяму Бартону, который в то время уже читал лекции в Императорском университете Токио.

Ни одна из крупных вещей Дойла не была принята так холодно, причем потомки отнеслись к ней еще хуже современников. Карр убеждает нас, что и сам автор эту свою работу не любил:

«Теперь уже только в редкие минуты работал он с воодушевлением. В глубине души он понимал, что пытается соткать полотно из чужих стилей, главным образом Диккенса и Мередита». На самом деле нет ничего предосудительного или странного в том, что молодой автор начинает с подражания: известно высказывание Стивенсона о том, как он «с усердием обезьяны» подражал десятку известных прозаиков и поэтов и утверждал, что только так можно научиться писать; молодой Дойл, в свою очередь, изрядно подражал Стивенсону, чья повесть «Дом на дюнах» привела его в восторг. Однако и сам доктор Дойл в мемуарах отзывался о своем романе весьма неуважительно: «За исключением отдельных фрагментов, эта книга ничего не стоит и, как первая книга любого автора, если он от природы не великий гений, имеет слишком много общего с произведениями других. Я и тогда это видел, но еще яснее осознал потом; когда я послал ее издателям, а они отнеслись к ней с презрением, я вполне согласился с их решением», – а затем еще и припечатал словечком «увечный». Однако крайне сомнительно, что он презирал эту вещь во время работы над ней или сразу после ее завершения: без любви первый роман не напишешь, и вряд ли в 1880-е годы доктор считал, что «Гердлстон» ничего не стоит.

Ни биографов, ни литературоведов этот текст не интересует; если он и упоминается, то лишь в качестве фона, на котором в жизни и творчестве Дойла происходили другие события, гораздо более важные. Современный наш читатель, как правило, о существовании такой книги у Конан Дойла не помнит, и неудивительно: ребенку она кажется скучна, взрослому – чересчур наивна. Так верно ли, что «Торговый дом Гердлстон» – текст исключительно подражательный, увечный и слабый? Нам кажется, что это несправедливая характеристика, и, окажись автором этой книги другой писатель – тот же Стивенсон, к примеру, – ее оценивали бы намного выше. Возможно также, что если бы «Торговый дом Гердлстон» имел хотя бы небольшой успех, из Конан Дойла мог бы получиться совсем другой писатель, не такой популярный, но, быть может, в литературном отношении даже более значительный, чем тот, которого мы знаем.

Сюжет банальнейший: старый негодяй хочет женить сына на сиротке, чтобы завладеть ее состоянием, девушку разлучают с любимым человеком, а так как она отказывается выходить замуж не по любви, ее решено убить; однако в последний момент приходит спасение. Но персонажи – не схемы, они живые. Особенно это относится к двум злодеям, Джону Гердлстону и его сыну Эзре. Казалось бы, что тут заслуживающего внимания – отрицательные герои у всех выходят интереснее положительных. (Мы не говорим здесь о людях настолько сложных и до такой степени, что к ним стыдно применять эти словечки – отрицательный, положительный, – о князе Андрее, например, или о Мите Карамазове, но если взять другие пары, также созданные гениями – Гринев и Швабрин, княжна Марья и Элен Безухова, Мышкин и Рогожин, – мы увидим общую для всех, великих и невеликих, закономерность.) Но дело в том, что Конан Дойл как раз был одним из редчайших в этом ряду исключений: положительные герои у него выходили куда лучше отрицательных. Сам он, правда, как-то заявил, что «человек не может вылепить характер в своем собственном сознании и наделить его подлинной жизненностью, если в нем самом нет ничего общего с этим характером, – а это весьма опасное признание со стороны того, кто описал столько злодеев, как я». Описать-то описал, кто спорит; однако ж убедительных, живых и запоминающихся злодеев ему в зрелые годы создать не удалось (Мориарти не в счет – это все-таки не человек, а функция). Если не читать его ранних вещей, можно подумать, что он злодеев писать вообще не умел. Но в «Торговом доме Гердлстон» злодеи великолепны. Особенно старший, ханжа и лицемер. Перед тем как отказать вдове своего погибшего работника в выплате пенсии, Джон Гердлстон с постным лицом утешает ее елейными словами, а сына, уезжающего в Африку по делам, напутствует следующим образом:

« – Дай мне обещание, что ты будешь вести себя осмотрительно и избегать ссор и кровопролития. Ведь это же значит нарушить величайшую заповедь Нового Завета!

– Ну, сам я в ссоры ввязываться не буду, – ответил младший Гердлстон. – Мне это ни к чему.

– Однако если ты будешь твердо знать, что твой противник ни перед чем не остановится, так сразу же стреляй в него, мой мальчик, и не жди, чтобы он вытащил оружие... Я очень боюсь за тебя и успокоюсь только, когда снова с тобой увижусь.

«Черт побери! Да у него никак слезы на глазах!» – подумал Эзра, чрезвычайно удивленный этим обстоятельством».

Оказывается, есть у старшего Гердлстона, жестокого дельца, и подлинная слабость: нерассуждающая любовь к сыну. Доктор Дойл сумел написать настоящую любовь, и слезы Гердлстона в данном случае – не крокодиловы. Интересно, что Эзра своего отца всё время пытается понять, но так и не понимает; до самой смерти он не сможет решить, представляет ли тот собой законченного, потрясающего лицемера или полубезумного фанатика. Сам Эзра

неописуемо груб, нагл, много пьет, постоянно бьет собак (а его боголюбивый отец раздавил крошечную соню, кроткого ручного зверька – у Дойла все плохие люди обижают животных, а хорошие занимаются спортом, однако ж Эзру Гердлстона он таки сделал боксером); и тем не менее он не так страшен, как его слащавый отец: идея убить Кэт (героиню), когда та отказывается выйти за Эзру замуж, закрадывается в голову именно набожному Джону, а Эзру приводит в естественный ужас. Конечно, эта парочка сильно смахивает на Феджина и Сайкса из «Оливера Твиста» (даже побитая негодяем собака есть и там); и никто не станет оспаривать, что по выразительной силе, по владению фразой Дойлу до Диккенса страшно далеко. И все-таки Феджин и, в несколько меньшей степени, Сайкс – не портреты, а карикатуры, что для Диккенса вообще очень характерно. Гердлстоны карикатурами ни в малейшей степени ни являются. Чего стоит хотя бы одно из отступлений от стереотипа: казалось бы, старший Гердлстон, нудный святоша, должен вести дела фирмы с осторожностью, блюсти традиции и скопидомничать, а сын – рисковать и проматывать состояние; но Дойл все переворачивает наизнанку. Педант в делах как раз Эзра, а отец, оказывается, в делах финансовых обожает самозабвенный риск, что, собственно, и приводит торговый дом к краху.

Обратимся к другим персонажам: в них есть кое-что очень любопытное. Речь не о Томе, бестолковом молодом герое, и Кэт: о них как раз сказать решительно нечего, а о комической паре: майоре Клаттербэке и его приятеле, с которым они пополам снимают квартиру – квартиру, где «каждый квадратный фут стен был украшен либо ножами, либо копьями, либо малайскими мечами, либо китайскими трубками для курения опиума...». Разные перипетии сводят приятелей с главными героями, и в конце концов именно эти два джентльмена продумывают операцию по спасению Кэт, которой угрожает гибель, дают понять юному герою, что берут его дело в свои руки, и тщательно экипировавшись и одевшись в соответствии с погодой, отправляются на вокзал... «В билетной кассе они узнали, что нужный им поезд прибудет только через два часа, да и тот пойдет со всеми остановками, так что раньше восьми часов им никак не попасть в Бедсворт». Тогда герои, чтобы скоротать время до совершения подвига, «отправились раздобыть какой-нибудь еды и набрели на довольно сносную харчевню, в недрах которой фон Баумсер с царской щедростью угостил их на славу».

Это уже ниоткуда не заимствовано, это – свое; вот он, вот он, этот милый железнодорожный уют, детское очарование никогда не опаздывающих английских поездов и доставляемых с точностью до минуты английских телеграмм, ради которого взрослый российский читатель, собственно, и перечитывает по пятьдесят раз холмсовскую сагу; вот эти аккуратно завернутые бутерброды и толстые, вкусно пахнущие английские газеты, которые два друга, как бы ни спешили, никогда не забудут прихватить с собой, в купе первого класса; вот оно, чудесное, обволакивающее, почти физическое ощущение безопасности и тепла, маленького, прелестного, по-английски уютного и по-английски обстоятельного подвига, о котором так сладко читать, лежа с бутербродом на диване, очарование, которого англичанину до конца не понять, ибо он среди него живет!

Так что, когда дело дойдет до «Этюда в багровых тонах», ничего особенно нового выдумывать доктору Дойлу и не понадобится: гениальная матрица почти завершена; два неразлучных друга, неприкаянно кочующих из рассказа в рассказ, наконец-то попали в идеальную обстановку и нашли себе правильное занятие. Попутно заметим, что вдову, которая в начале романа приходит к Гердлстону просить пенсию, зовут миссис Хадсон.

Работа над «Гердлстонами» шла тяжело, рывками, это видно хотя бы из того, что доктор Дойл не раз надолго отвлекался, чтобы сочинять другие вещи. На небольшой роман из современной жизни с громадным количеством диалогов у него ушло около двух лет; впоследствии он будет гораздо быстрей писать даже исторические романы, где объем подготовительного труда стократ больше. Затруднения свои он отразил в шутливом рассказе «Литературная мозаика» («A Literary Mosaic»), где в гости к начинающему писателю, разрывающемуся от желания стать похожим то на одного, то на другого классика, эти самые классики (Мередит, Чарлз Лэм, Дефо, Смоллетт, Ричарсон, Филдинг, Теккерей и даже дама Джордж Эллиот) приходят в гости – во сне, разумеется, – и всем скопом пытаются помочь ему сочинить великий роман. Пародирование талантливым писателем стилей своих коллег почти всегда бывает очень смешно; у По или Брет Гарта оно выходило очаровательно. В рассказе Дойла все чересчур затянуто, чтобы вызвать смех – разве что улыбку. Зато честно.

Летом 1885 года в жизни Дойла произошло довольно-таки (чуть ниже попытаемся разъяснить это словечко) важное событие: он женился. Случилось это весьма неожиданно для всех окружающих и, вероятно, не в последнюю очередь для самого доктора. Начиналось всё печально: в марте доктор Пайк, лечивший юношу по имени Джек Хоукинс, пригласил коллегу Дойла для консультации. Семья Хоукинсов (Лафорсов в «Старке Монро») недавно приехала в Саутси из Глостершира, она состояла из миссис Хоукинс, вдовы, и двоих ее детей: старшей

Луизы и младшего Джека. Миссис Хоукинс пожаловалась на условия жизни: домовладелец глядел на квартирантов косо, другие просто отказывались держать у себя в доме такого тяжелого больного.

Консилиум оказался проформой, у мальчика был церебральный менингит в последней стадии, болезнь чрезвычайно опасная даже в наши дни; исход очевиден, ни доктор Пайк, ни доктор Дойл уже ничем не могли помочь, и оба прекрасно сознавали это. Однако поступили они по-разному: доктор Пайк умыл руки и откланялся, а доктор Дойл согласился стать лечащим врачом Джека и в тот же день перевез умирающего к себе в дом. В этом не было никакого практического смысла, и никакой посторонней мысли у доктора тогда тоже не было: ему просто стало очень жаль Джека Хоукинса. Наверняка он думал о случае, произошедшем незадолго до знакомства с Хоукинсами: его пригласили к больной женщине, он определил расстройство желудка, обнадежил родственников и спокойно ушел домой готовить лекарство, а женщина в тот же день скончалась: как выяснилось, у нее была неоперабельная и не диагностируемая язва, разъевшая желудок и вызвавшая артериальное кровотечение. «Это не повредило мне, ибо мое положение было таким скромным, что повредить ему было нельзя, – писал он сорок лет спустя, вспоминая этот случай. – Практику, которой не существует, уничтожить невозможно». Однако второй умерший пациент за короткий срок, да еще в доме врача – это было уж чересчур. Но – жалость, жалость мучительная; от этого обременительного свойства – жалеть любого, кто страдает, – доктор Дойл так никогда и не сможет отделаться.

Джек Хоукинс прожил еще несколько суток; он почти непрерывно бредил, и Артур по ночам не отходил от него. «Ничто не могло ее спасти, и мне кажется, ее родственники это поняли» – это о той женщине. Джек скончался утром. На сей раз не было и речи об ошибке в диагнозе, не было даже намека на вину; однако гроб, выносимый из дома врача, может поставить под угрозу даже самую блестящую практику. (В «Письмах Старка Монро» упоминается даже некая анонимная записка, в которой говорится, что молодой человек погребен доктором в неурочный час и при подозрительных обстоятельствах; в действительности это вряд ли было – кому из конкурентов нужно губить практику, «которой не существует»?) Доктор утешал мать и сестру Джека, те – «с женским отсутствием себялюбия, забывая о собственном горе», – утешали его. Луиза Хоукинс (домашнее имя – Туи) была не так красива, как мила. И опять же – жалость, страшная штука. Осиротевшие женщины были очень одиноки в Саутси. Доктор, что немаловажно, тоже осиротел: незадолго до того Иннес, верный и незаменимый товарищ (никогда больше не будет такого), уехал учиться в закрытую школу в Йоркшире, любимая сестра Лотти перебралась в Португалию, где нашла работу экономки в богатом доме. Этот фактор не стоит недооценивать: Артур всегда с трудом переносил одиночество.

Виделись с Луизой часто, вместе прогуливались у моря. Приехавшая проведать сына Мэри Дойл ничего не имела против. С быстротой, нарушавшей все тогдашние понятия о приличиях, обручились, свадьбу сыграли в августе. Невеста была старше жениха на два года. Отец жениха на бракосочетании не присутствовал: в 1885 году, после попытки бежать из лечебницы Форден-Хауз, Чарлз Дойл был переведен в более серьезное заведение того же профиля: психиатрическую больницу Саннисайд на севере Шотландии, где он проведет ближайшие семь лет.

Свадебное путешествие молодожены совершили недалеко: в Дублин. Повидались там с дальней ирландской родней доктора. Свекровь вернулась в дом Уоллера, к своим младшим дочерям, а теща поселилась с молодоженами. Этот скоропалительный брак продлится очень долго. «У нее был собственный маленький доход, позволивший мне изменить к лучшему мое простое домашнее хозяйство таким образом, чтобы обеспечить ей с самого начала если не роскошное, то достойное существование, – простодушно отмечает доктор Дойл, продолжая: – Это обстоятельство ни на йоту не увеличило моей любви к ней, но было бы нелепо говорить, что я был недоволен им». Купили пианино – в рассрочку. Доход был и вправду небольшой – 100 фунтов в год; сам он зарабатывал около 300.

Теперь о любви. В «Письмах Старка Монро» герой ссылается на слова «какого-то русского писателя» о том, что мужчина, узнавший одну женщину, которую любит, лучше поймет женщин, чем если б он знал их тысячи (фраза эта обнаружилась в «Анне Карениной», только произносит ее не автор, а приятель Вронского Серпуховской, которому подобная банальность вполне простительна). Дальше Монро говорит, уже ни на кого не ссылаясь: «Я не знал, как любовь к женщине вносит новые краски в жизнь мужчины и наполняет бескорыстием все его действия. Я не знал, насколько легко быть благородным, когда кто-то принимает это как должное, и как интересна становится жизнь, когда смотришь на нее четырьмя глазами вместо двух». Тут доктор предвосхитил известное высказывание Антуана де Сент-Экзюпери о том, что настоящая любовь – это когда двое глядят не друг на друга, а в одном направлении. Да, о докторе Монро можно сказать, что любовь к жене перевернула его душу. А что насчет доктора Дойла?

«Ни у одного человека не могло быть более милой и привлекательной спутницы жизни», «.пока мы были вместе, не было ни единого случая, чтобы наша привязанность нарушалась какой-либо серьезной размолвкой или расхождением», и еще несколько упоминаний о терпении и милой кротости Луизы – вот, собственно, и все, что он в книге «Воспоминания и приключения», подводившей итог всей жизни, счел возможным сказать о женщине, с которой прожил больше двадцати лет. Пресловутая викторианская сдержанность? В «Волшебной двери» он написал: «В английской художественной литературе девять из десяти романов трактуют любовь и брак как альфу и омегу всего. Но из нашего опыта мы знаем, что это может быть и не так. На жизненном пути обыкновенного человека брак – это эпизод, хотя и имеющий важное значение, но лишь один из ряда эпизодов», и перечислил другие факторы, играющие в жизни человека (то есть мужчины) более важную роль: профессия, карьера, дружеские отношения, «борения с трудностями» и т. д. В «Воспоминаниях и приключениях» он, правда, отмечает, что женитьба означала в его жизни поворотную точку – все-таки не «эпизод». Так в чем же поворотную?

«Я отложил в сторону старые карты, как бесполезные, и почти отчаялся хоть когда-нибудь найти новую, которая дала бы мне возможность следовать разумным курсом, а не к тому туманному пристанищу, кроме которого все мои проводники – Гексли, Милль, Спенсер и прочие – не видели в нашем будущем ничего». Речь идет о тогдашнем мировоззрении доктора; довольно трудно понять, при чем тут брак. Луиза с ее голубиной кротостью никак не могла повлиять на убеждения мужа. (Характер Луизы Дойл по сей день остается непонятным: практически никто из лично знавших ее не смог отметить в ней что-нибудь, кроме пресловутой кротости и смиренного оптимизма, и всем современным биографам остается только повторять эти куцые определения.) Правда, как следует из «Старка Монро», доктор, глядя на жену, смягчил свою позицию по отношению к ортодоксальным верующим. «Если я высказывался резко в адрес ортодоксов, это было направлено против тех из них, кто выстраивает китайскую стену вокруг религии и не хочет принимать ничего нового». Она – не ограниченный человек, защищал доктор Монро свою молодую жену, но даже тот, кто смотрит на подобных ей людей свысока и считает их ограниченными, не может не признать, что такие люди выполняют свою миссию. Дойл полагал, что ортодоксальные, старомодные взгляды в «наше» (то есть его) время все еще вполне пригодны для детей и женщин. Так что он не делал никаких попыток «развивать» жену. Напротив: «Что касается моей жены, я так же мало склонен разрушать ее детскую веру, как она – нарушать порядок на моем письменном столе».

Женщина – что-то вроде ребенка, и совершенно незачем ей взрослеть; идеям не место в милой головке? В юмористическом рассказе «Голос науки» («The Voice of Science») Дойл описал «ученую даму», члена Бирчеспульского научного общества: дама нахваталась разных умных слов и воображает себя ровней мужчинам, бедняжка. Доктор издевался над своей воспитательницей Мэри Бартон? Доктору импонировали ограниченные, робкие и неумные женщины? Доктор был домостроевцем? Подобное упрощение вряд ли оправдано: да, в «Старке Монро» Дойл говорит, что свободомыслие является уделом мужчин, ибо мужчина познает мир разумом, а женщина – чувствами (так же считает, кстати, и доктор Чехов); но если посмотреть на героинь Дойла, мы, как правило, увидим девушек разумных и решительных, у которых за внешней женственностью скрывается сильный, как у Мэри Фоли, характер. Дойл (как и Чехов) отстаивает право женщин иметь профессию, в частности, заниматься медицинской практикой: у него есть даже рассказ на эту тему, «Женщина-врач», где медик-мужчина, сперва относящийся с предубеждением к коллеге-женщине, осознает свою ошибку, сам лечится у коллеги и делает ей предложение, но та отказывается, так как карьера и брак несовместимы. Нет, доктор не презирал жену, он просто повел себя в браке разумно: не пытался переделывать близкого человека, а принимал Луизу такой, какая она была.

Ну хорошо, доктор проявил уважение к убеждениям жены, но своими собственными-то взглядами он не поступился; где же поворотная точка? Внимательно читаем дальше: «До того момента главный интерес моей жизни заключался в карьере врача. Но когда моя жизнь упорядочилась и вместе с естественным развитием умственных сил появилось больше чувства ответственности, литературная сторона моей личности стала постепенно разрастаться, пока не вытеснила первую». Вроде бы вот он, поворот; да только от карьеры врача доктор Дойл не думал отказываться еще пять лет после женитьбы, совсем напротив, собирался стать серьезным специалистом в одной из областей медицины. В общем, как-то туманно наш герой объясняет, в чем женитьба его переменила. Разве что отказ от богемных холостяцких привычек, как считает Дойл, пошел ему на пользу, в результате чего перед ним открылось «счастливое и спокойное, хотя не слишком завидное для честолюбия, поприще» и он предвидел расширение практики, разрастающийся круг друзей, участие в местных общественных делах; «под старость, быть может, депутатство или, по крайней мере, место в муниципальном совете».

Можно заметить, что в книгах, написанных доктором во время брака с Луизой (во всяком

случае, до знакомства с будущей второй женой), тема любви и женщины практически отсутствует. Сплошные мужские дружбы, погони и приключения. Верный товарищ Холмса много лет будет женат, но брак этот какой-то такой, словно его и нет; при каждом удобном предлоге доктор Уотсон с радостью сбегает из дому. Нельзя исключить, что и доктору Дойлу иногда этого хотелось.

Подавляющее большинство биографов Дойла считает, что он свою первую жену по-настоящему никогда не любил и что на брак его толкнули, с одной стороны, рыцарские побуждения по отношению к несчастной девушке, а с другой стороны, желание остепениться, но никак не страсть. Мы не находим никаких аргументов, которые могли бы поколебать эту точку зрения. Недавно, правда, вышла в свет книга, написанная Джорджиной Дойл, вдовой племянника писателя Джона (сына Иннеса), которая, по мнению автора, должна пролить истинный свет на отношения между Артуром и Луизой Дойл. Но и она не проливает никакого нового света. Да, муж писал жене банально нежные письма, писал их и в тот период, когда уже любил другую женщину. Артур и матери писал из Стоунихерста, что ему отлично живется – писал, возможно, рукой, распухшей и посиневшей от ударов дубинки. Письма – самый лукавый источник информации, куда лукавей, чем художественные тексты, которые пишутся не для конкретного адресата, а для всех – то есть для самого себя.

Так почему же – двадцать лет вместе? Положим, в первые лет десять благодаря тишайшей и кротчайшей натуре Туи жили в общем неплохо, к тому же Артур достаточно насмотрелся на ужасную семейную жизнь своих родителей, чтобы ценить спокойный и тихий брак. Но потом, когда Дойл (уже не доктор) встретит настоящую любовь – отчего не развестись? Конан Дойл, которого так любят называть типичным викторианцем, между прочим, придерживался отнюдь не викторианских взглядов на брак. В 1909-м он станет – и будет целых десять лет – председателем Комитета по реформированию законов о разводе. «Союз, освященный Церковью, но лишенный любви», он называет связью, а основанное на взаимной любви сожительство мужчины и женщины – истинным браком. Прогрессивно даже и по нынешним временам. И однако же он даже не помыслил сам сделать то, к чему призывал других. Была на то серьезнейшая причина, и причина эта – не в обстоятельствах, сложившихся очень печально, а в характере доктора Дойла. Но не будем больше забегать вперед и вернемся к «Гердлстонам».

Довольно трудно уяснить, за что доктор Дойл так презирал свое первое большое детище. На каждой странице романа мы видим живые, остроумные диалоги и прелестные, яркие краски в пейзажах. «Вот трудолюбиво пыхтит крошечный паровой буксир и тянет за собой величественный трехмачтовик, тяжеловесный черный корпус которого с устремленными в небо мачтами вздымается над водой, а стеньги кажутся издали тончайшей паутиной какого-то гигантского паука... А вот судно компании „Мессажери“ – французский флаг изящно полощется над его кормой, а его пронзительный гудок шлет предостережение неповоротливым лихтерам, ползущим со своим черным грузом к чумазому угольщику, паровой ворот которого свиристит, словно коростель». Характеры действующих лиц сложны, описания их психологического состояния убедительны. Вот Гердлстон-старший, наемный бандит и Эзра планируют убийство Кэт: из них троих один Эзра колеблется. «При всей его черствости ему не хватало псевдорелигиозного фанатизма отца и полного душевного огрубения Бурта, и мысль о том, что им предстояло совершить, приводила его в содрогание. Веки у него покраснели. Взгляд был тускл, он сидел как-то боком, закинув одну руку за спинку стула, а другой беспокойно барабанил по колену». А вот и финал: судно, на котором злодеи убегают от полиции, терпит крушение, и они вынуждены пуститься вплавь; молодому и ловкому Эзре удается забраться на скалу, старик беспомощно барахтается рядом, но на крошечной площадке нет места двоим.

«– Во имя господа!..

– Я и сам еле держусь».

В плохом романе этот последний диалог отца и сына был бы куда пространней и цветистей. «Торговый дом Гердлстон» написан с огромным вниманием к психологии, чего у зрелого Конан Дойла станет значительно меньше: герои его будут становиться всё более цельными и простыми натурами, а в черные души он почти перестанет заглядывать, сосредоточившись на описании добродетельных людей (и в этом труднейшем деле весьма преуспеет). Нам все-таки кажется, что пренебрежительная – постфактум – оценка собственной работы вызвана тем, что в старости доктор считал унизительным для себя доказывать, что книга его хороша, а в молодости слепо верил критикам. «Какие слезы проливал я над страданиями своих героинь, как смеялся над забавными выходками своих комических персонажей! Увы, я так и не встретил никого, кто бы сошелся со мной в оценке моих произведений, а неразделенные восторги собственным талантом, сколь бы ни были они искренни, скоро остывают» – это

написано в период работы над «Торговым домом Гердлстон». Плакал и смеялся, а вовсе не презирал. Будь роман принят редакторами благосклонно, возможно, доктор Дойл и дальше пошел бы по этому пути; хорошо это было бы для литературы или плохо, сказать трудно. Так известен, как сейчас, он бы наверняка не стал. Но все сложилось как сложилось: рукопись «Гердлстонов» была всеми отвергнута.

Чем еще занимался доктор Дойл в 1885—1886 годах? Во-первых, он написал диссертацию на тему «О вазомоторных изменениях при сухотке спинного мозга (двигательная атаксия) и о влиянии этой болезни на симпатическую нервную систему» и получил ученую степень доктора медицины Эдинбургского университета. Во-вторых, сочинил несколько хороших рассказов, например, пресмешной «Необычайный эксперимент в Кайнплатце» («The Great Keinplatz Experiment»), сюжет которого (обмен душами), правда, беззастенчиво заимствован у беллетриста Томаса Энсти Гатри, или «Пастор ущелья Джекмана» («The Parson of Jackman's Gulch») – это опять о золотоискателях, а конкретно – о грабителе, ловко скрывавшем свою истинную натуру под маской благочестия; по качеству этот рассказ несоизмеримо выше «Блюмендайкского оврага» и его, особенно в заключительных сценах, практически невозможно отличить от Брет Гарта.

Все остальные рассказы, созданные доктором Дойлом в этот период, тоже хороши, ни один из них по уровню не опускается ниже «Хебекука», а большая их часть значительно превосходит его. Весьма интересен «Джон Баррингтон Каулз» – очень качественная, очень изящно выстроенная история с мистикой, гипнозом, которым доктор очень интересовался в то время, и великолепной героиней-оборотнем: уже второй случай, когда галантнейший доктор Дойл решился написать злую и демоническую женщину, да еще садистку в буквальном смысле слова, да еще не побоялся намекнуть на притягательность женской жестокости для некоторых мужчин, но давайте все-таки не будем искать закономерности в том, что он сделал это, едва женившись. (Часто встречаются статьи, где утверждается – в основном на примере Ирен Адлер, – что Конан Дойл, как подобает викторианскому мужчине, видел в женщинах зло и боялся их: ни его творчество, ни его жизнь никак не подтверждают этого; точно так же, ссылаясь на образ Мориарти, можно заявить, что автор боялся и ненавидел мужчин.)

Российский читатель не может обойти своим вниманием «Человека из Архангельска» («The Man From Archangel»). Адриан Дойл писал, что его отец именно этот рассказ считал своим самым лучшим; что ж, все возможно, хотя сам писатель в своих мемуарах о нем даже не упомянул. Нам он скорей кажется одним из наиболее неудачных. Как видно из заглавия, речь в нем идет о русских. Это уже третий раз, когда Дойл вводит в повествование русских персонажей, и, надо сказать, представление о них у него весьма лубочное. Но каким еще оно могло быть у провинциального английского врача? Доктор Чехов и доктор Булгаков тоже вряд ли смогли бы написать об англичанах что-либо вразумительное, во всяком случае, в молодые годы. Первые русские появляются в рассказе еще 1881 года «Ночь с нигилистами» («A Night Among the Nihilists»): английского клерка, приехавшего в Россию по делам своей фирмы, торгующей зерном, русские террористы ошибочно принимают за своего коллегу, и лишь благодаря вмешательству полиции бедняге удается выйти из этой переделки живым. К чему тут именно русские, решительно нельзя понять. Там, у них, своих террористов хватало – ирландских. Описание их «заседания» заимствовано, по-видимому, из какой-то книги о масонах или итальянских карбонариях – может быть, из Дюма-пера, – а главу организации зовут Алексис Петрокин, и он злобно скрежещет зубами.

Во второй раз русский (слава богу, безымянный) фигурирует в «Гердлстонах» – мы специально не стали упоминать его, ведя речь о романе, чтобы уж собрать всех русских в одну кучу. Конечно же этот персонаж «нигилист», то бишь профессиональный революционер, ибо людей, занимающихся чем-нибудь другим, в России, по мнению юного доктора Дойла, просто не существовало. Однако налицо большая разница: этот нигилист – персонаж положительный, он дружит с благородным фон Баумсером и принимает участие в операции по вызволению Кэт. «Он стоял, заложив одну руку за борт сюртука, уперев другую в бедро, словно заранее готовясь позировать для своего монумента, который будет воздвигнут у него на родине, в России, когда народ возьмет власть в свои руки и упразднит деспотизм». Вот так! В кармане сюртука у него нож, и он связывает руки обезвреженному бандиту, «проявляя при этом большую сноровку» – надо полагать, в своей революционной деятельности занимался такими делами постоянно. Но что же означает эта эволюция? В 1881-м доктор Дойл считал русских революционеров плохими людьми, а три-четыре года спустя переменил свое мнение на противоположное? А почему нет? Он ведь как раз в промежутке между этими годами начал понемногу увлекаться политикой, международной в том числе, наверняка что-то читал о России. Рубеж 1870-х и 1880-х: демонический Нечаев, кружок Ишутина, «Земля и воля», взрывы, террор и в довершение всего – убийство доброго царя-освободителя. Отсюда – страшные, скрежещущие зубами безумцы в «Ночи с нигилистами». Начало 1880-х – совсем другое дело: казни революционеров, ужесточение цензуры, принятие реакционного

университетского устава и тому подобное сделали «нигилистов» в глазах доктора Дойла страдающей стороной; в своей борьбе они теперь правы.

Гипотеза соблазнительная, но «Человек из Архангельска», к сожалению, ее ни подтвердить, ни опровергнуть не может: русский здесь – удивительное дело! – не профессиональный революционер, а моряк (по повадкам, правда, вылитый нигилист), и он оказывается и не злым и не добрым, а демоническим и противоречивым. Вообще-то, с технически литературной точки зрения, рассказ нельзя назвать слабым; в начале – до появления русских – он даже хорош. Герой – англичанин, увлеченный химическими опытами, живет в глухом уединении спокойно до тех пор, пока в результате кораблекрушения к нему в дом не попадает русская девушка Софья Рамузина, которая ведет себя как подобает русской: «Она вскочила со стула с криком, выражавшим большую радость, и держа платье, которое чинила, над головой и размахивая им из стороны в сторону и вместе с тем раскачивая туловищем, стала танцевать с необыкновенной живостью вокруг комнаты, а потом прошла, танцуя, через открытую дверь; вертясь кругом на солнце, она пела жалобным, пронзительным голосом какую-то неуклюжую варварскую песню, выражавшую ликование». Своему спасителю Софья пытается целовать руки, как принято у нас в России среди интеллигентных девушек.

Характерно, что герой не влюбляется в эту девицу: автор ясно чувствовал, что англичанин, пусть и со странностями, полюбить такое нелепое создание (он сам называет ее скорее автоматом, нежели человеческим существом) не сможет. Затем появляется русский моряк, Алексей Урганев, и пытается сопротивляющуюся Софью похитить, при этом, скрежеща зубами и сверкая глазами, рассказывает англичанину сложную историю своих с нею взаимоотношений; в конце концов ему удается сделать это, но оба русских погибают в море. В историях о храбром бригадире и даже о Шерлоке Холмсе тоже будут время от времени фигурировать русские, ничуть не более жизнеподобные, чем эти. Чтобы на время завершить тему, отметим, что в «Гердлстонах» один из героев даже ездил в Россию, правда, об этой поездке доктор Дойл не решился сообщать какие-либо подробности, кроме того, что конечным ее пунктом был Тобольск, «большое селение в Уральских горах».

В то время, доктор начал помаленьку интересоваться спиритизмом – тогда, конечно, он и представить не мог, во что это впоследствии выльется (читатель, которому слово «спиритизм» кажется старомодным или глупым, может спокойно заменить его на «парапсихологию»). Любопытство Дойла было отнюдь не мистического, а вполне научного толка. Психотерапия, гипноз, передача и чтение мыслей на расстоянии, вращающиеся столики – все это в ту пору воспринималось как явления одного порядка. Доктора занимали все явления, которые мы нынче называем паранормальными – особенно телепатия, в которой он упражнялся вместе со своим знакомым, архитектором Боллом.

Разные источники расходятся в определении точной даты или хотя бы месяца, когда доктор впервые принял участие в спиритическом сеансе, и где именно это произошло. Сам он этого тоже толком не уточняет, называя разные даты. Похоже, что это все-таки был 1885 год. Вместе с Боллом они присутствовали на сеансе, и некоторые слова медиума произвели на Артура впечатление, потому что соотносились с конкретными событиями его жизни. Человек, впервые согласившийся, чтоб цыганка ему погадала, сталкивается с тем же самым. В некоторых биографиях Дойла говорится, что ему удалось побывать на сеансе одного из самых известных медиумов того времени – Дэниела Хоума. Коронным номером Хоума была левитация – собственного тела и различных предметов; он убедил в своих способностях ряд известных ученых. В России его поклонниками были такие почтенные люди, как братья Аксаковы, химик А. М. Бутлеров (Хоум был женат на сестре его жены), зоолог Н. П. Вагнер и В. О. Ковалевский, муж Софьи Ковалевской. Многократные попытки разоблачить его не дали результата. Хоум в 1886 году умер, так что его встреча с Дойлом могла иметь место не позднее 1885-го; сам Дойл, однако, не говорит, что видел Хоума воочию. Из его слов следует, что в тот период ему как раз попадались исключительно дрянные и неквалифицированные медиумы.

В 1886-м он еще несколько раз посещал сеансы – из любопытства. Проводились они в полумраке, что облегчало задачу медиумов (а Хоум летал при свете!), и, как известно, когда участники сеансов знакомы друг с другом и вращаются в одном обществе, у медиума всегда есть возможность узнать детали, с помощью которых они заставляют наивного человека поверить в сверхъестественную природу их осведомленности. Доктор Дойл был наивен, но не бесконечно; к тому же в 1880-х годах уже прокатилась волна громких разоблачений медиумов. Когда столик, приплясывая, давал ответы на вопросы, Дойл был уверен, что это проделки кого-то из организаторов опыта. «Я всегда смотрел на эту тему как на величайшую глупость на свете; к тому времени я прочитал кое-какие рассказы о скандальных разоблачениях медиумов и поражался тому, как человек, будучи в здравом уме, мог вообще в такое поверить. Однако некоторые из моих друзей интересовались спиритуализмом, и я вместе с ними принял участие

в сеансах с верчением стола... <...> Боюсь, единственным результатом этих посланий для меня стало то, что теперь я смотрел на своих друзей с некоторым подозрением». Пока что на этом все и закончилось.

Став семьянином, доктор Дойл избавился от «богемных привычек», но в целом своему образу жизни не изменил, напротив, сделался еще активней и энергичней. Он занялся публицистикой: писал в газеты статьи по самым разнообразным вопросам, и мы обязаны привести здесь ряд выдержек из этих писем, так как простое перечисление тем не даст нам представления ни об энергичном слоге Дойла-публициста (он вполне мог бы иметь успех как журналист и в наше время), ни о его не менее энергичном характере.

«Об американских медицинских дипломах.

«Ивнинг ньюс», Портсмут, 23 сентября 1884 г.

Милостивый государь!

Поднимая вопрос о дутых ученых званиях и липовых дипломах, Вы делаете большое дело. В любой профессиональной сфере неграмотный специалист, как правило, всего лишь доставляет неудобства; навредить тем самым он способен скорее себе самому, нежели другим. Иначе дело обстоит в медицине. Здесь ошибка в диагнозе или лечении может стоить человеку жизни. Совершенно очевидно, что малообразованному бедняку трудно отличить квалифицированного доктора от мошенника, купившего себе звучный титул. <...> Типичным заведением, специализирующимся на выдаче липовых документов, является так называемый Филадельфийский университет. Он был образован кучкой дельцов-бумагомарателей, открывших торговлю поддельными дипломами и дурачивших публику с поразительным успехом, пока правительство Соединенных Штатов не отказало им наконец в поддержке. После чего они открыли агентства в Европе, где и продолжают жульничать. В результате иному проходимцу достаточно собрать определенную сумму долларов, дабы приобрести ученую степень; честный же специалист для достижения этой цели должен потратить многие годы жизни, не говоря уже о сотнях фунтов стерлингов. <...> Искренне Ваш, Ар-р Конан Дойл».

«Обращение к Ассоциации молодых христиан Портсмута и их преподобному критику.

«Ивнинг ньюс», Портсмут, 27 марта 1884 г.

Милостивый государь!

По мере ознакомления с тремя письмами, опубликованными во вчерашнем выпуске вашей газеты, авторы которых защищают действия преподобного Линдсея Янга в отношении Ассоциации молодых христиан Портсмута, я не раз ловил себя на желании вслед за Шекспиром воскликнуть: «Ах, эта песня даже лучше прежней!..» Сия досточтимая троица могла бы весьма заинтересовать архивариуса. От рассуждений ее участников веет средневековым душком: невольно переносишься в те времена «просвещенного христианства», когда последнее считало своим долгом последовательно бороться с метанием колец и пагубной привычкой к употреблению сливового пудинга на Рождество Христово. Неужто и сегодня страна должна отказать себе в пиве и пирожных – потому лишь, что того хочется господину Янгу, викарию церкви Святого Иоанна? Как вы думаете, когда малые дети начинали резвиться в присутствии Спасителя из Галилеи, он сохранял суровый вид? <...>»

«Карлейль: философ и личность.

«Хэмпшир пост», Портсмут, 29 января 1886 г.

Милостивый государь!

Не знаю, считаете ли Вы все, что печатается на страницах Вашей газеты, не подлежащей сомнению истиной в последней инстанции, но надеюсь, что Вы любезно позволите мне сказать все же несколько слов по поводу Ваших заметок о Карлейле. <...> Не было еще в истории литературы скандала более мелочного и вызывающего глубочайшее сожаление, чем те нападки, которым подвергся Карлейль сразу же после своей кончины. Смел ли кто при жизни шепнуть против него хоть слово? Но вот старый лев испускает дух, и стая шакалов от мала до велика набрасывается на его бездыханный труп! <...> Сесть за это письмо меня вынудили нападки личного свойства. Подобно мухам, липнущим к наименее аппетитным частям мясной туши, критики облюбовали себе относительно темные утолки великого разума. <...>».

Карлейль, жулики, развлечения молодых христиан, – положительно доктору было дело до

всего на свете! И тут мы с облегчением видим, как рассеивается образ Растиньяка, из холодного расчета и в надежде заполучить клиентуру старающегося понравиться всем и каждому, и его место заступает бестолково сражающийся с мельницами Дон Кихот; ну, какую пользу для себя мог извлечь доктор Дойл из нападок на викария или заступничества за писателя, ни в чьем заступничестве не нуждающегося? Скорее уж наоборот – врагов себе нажить на пустом месте.

Разумеется, продолжал доктор писать и научные статьи в медицинские журналы. Бесстрашно тестировал на себе лекарства, еще не занесенные в «Британскую фармакологическую энциклопедию». И по-прежнему был завсегдатаем всевозможных дискуссионных кружков и кружочков. Членом Литературно-научного общества стала и Луиза, которую «все любили за добрый и благородный нрав». Сам доктор был к этому времени уже избран секретарем общества, однако ему случалось выполнять также функции вышибалы – когда прибывшего с докладом государственного деятеля, защитника евреев, пытались освистать уличные громилы; доктор получил удар палкой по голове и лишился шляпы, зато докладчик остался невредим.

Сам Дойл все больше осваивался в роли публичного оратора. Политика тоже этому немало способствовала. Гладстон уже побывал в отставке, но снова взял власть в свои руки, только теперь, как мы уже говорили, он сделался – мирясь с неизбежностью – сторонником ирландского гомруля, вследствие чего от него отошла группа умеренных либералов во главе с лордом Гартингтоном (после 1891-го – с Джозефом Чемберленом). Так возникла либерально-юнионистская партия, получившая это название потому, что она хотела сохранить унию Ирландии и Великобритании под властью одного правительства. Положение партий изменилось: с одной стороны стояла коалиция консерваторов и юнионистов-либералов, с другой – коалиция сторонников Гладстона и ирландцев. Доктору Дойлу пришлось нелегко, но в конце концов он сделал выбор в пользу юнионистов. Он быстро стал партийным активистом и как-то раз, вынужденно заменяя своего кандидата, даже произнес большую речь перед публикой: «Англия и Ирландия обручились сапфирным кольцом моря, а то, что соединил Бог, людям разделять не дозволено». Доктор был в ужасе, прочитав на другой день в газетах эту высокопарную речь, и решительно не помнил, говорил ли он подобные слова на самом деле или то была выдумка журналистов: произнося свой спич, он был так перепуган и взволнован, что почти ничего не соображал.

Но – да простят нас ирландцы – все это не так важно. Великий человек приближается; вот-вот мы услышим на лестнице его шаги.

Глава пятая

ВЕЛИКАЯ ТЕНЬ

«Этюд в багровых тонах» («A Study in Scarlet», первоначальное рабочее название – «Запутанный клубок» («The Tangled Skein») доктор Дойл начал писать в марте 1886-го – практически сразу после того, как переписал набело «Гердлстонов». Новая работа, в отличие от предыдущей, шла легко и быстро. Она заняла не больше месяца. А теперь давайте сделаем над собой усилие и попытаемся на время забыть о том, насколько Шерлок Холмс знаменит и велик, о том, что он – архетип викторианской цивилизации и квинтэссенция позитивистской философии, равно как и о том, что автор серии произведений о нем является родоначальником и основоположником целого жанра в литературе. Литературовед Михаил Тименчик сказал о Холмсе: «Его фигура столь мифогенна и, если можно так выразиться, „мифогенична“, что, порождая бесчисленные стереотипные сюжеты и обрастая подробностями, она ширится, достигает гигантских размеров и накрывает мощной тенью... своего создателя». Не дадим же Холмсу заслонить от нас доктора Дойла. В дальнейшем ему будет уделена целая глава: там и порассуждаем о вкладе Конан Дойла в детективный жанр и о том, почему Холмс затмил всех своих предшественников и не позволил последователям затмить себя. А пока что нет перед нами никакого «архетипа», нет никакой серии, а есть одна небольшая повесть, написанная – без всякой мысли о каких-либо продолжениях! – автором, который всё еще считается начинающим и подающим не слишком большие надежды.

Расстроенный, но не обескураженный тем ледяным приемом, который издатели оказали «Гердлстонам», доктор Дойл, по его собственным словам, почувствовал, что «способен на что-то более свежее, яркое и искусное». Он решил сочинить детектив.

Конан Дойла иногда «для простоты» называют отцом детективного жанра – это, разумеется, абсолютно неверно. К тому времени, когда он писал «Этюд», детективных историй публиковалось сколько угодно, причем были и герои-сыщики, оригинальные, непохожие друг на друга и порой переходящие из романа в роман. Отыскание истоков жанра ни в коей мере не входит в наши задачи (на эту тему существует множество прекрасных фундаментальных исследований), поэтому стоит просто упомянуть, что еще в 1794 году англичанин Годвин написал роман «Калеб Уильямс, или Вещи, как они есть», вполне соответствующий современным представлениям о детективе; детективы писали Диккенс, Уилки Коллинз, Эжен Сю, Эмиль Габорио, Ксавье де Монтепен, Понсон дю Террайль, да и в России к тому времени имелись свои мастера этого дела: Ахшарумов, Панов, прозванный «русским Габорио» Шкляревский. Знаменитый Аллан Пинкертон, глава детективного агентства, в начале 1870-х уже опубликовал две книги о своей деятельности. Да что далеко ходить: в Глазго жил, работал и публиковал свои записки известный сыщик Питер Мак-Кинли, а в Эдинбурге – Джеймс Маклеви, на основе мемуаров которого литератор Уильям Ханеман написал серию историй о сыщике Макговане; шотландцы полагают, что Конан Дойл наверняка эти книги читал.

Сам Дойл, однако, называет только двоих писателей, на чье творчество он опирался: Эдгар По и Эмиль Габорио. Из подражания порой выходят замечательные, необыкновенные вещи: Стивенсон рассказывал, как замысел «Владетеля Баллантрэ» у него родился из желания написать нечто в духе «Корабля-призрака» Мариетта и попытаться «переплюнуть» его. «Если каждый из тех, кто получает гонорар за рассказ, обязанный своим появлением на свет Эдгару По, начнет „уплачивать десятину“ его монументу, то Эдгару По будет воздвигнута такая же огромная пирамида, как и Хеопсу», – говорил Дойл; заметим, правда, что наиболее высоко из всего творчества По доктор оценивал именно его детективные рассказы, которые многим ценителям кажутся прескучными, и упрекал за «отсутствие соразмерности» другие, куда более поэтические и яркие тексты По; эту самую «соразмерность» Дойл считал чуть ли не главным критерием качества в литературе. Тем не менее Эдгар По, конечно, достойнейший образец, но Габорио? Дойл в прошлый раз состязался с Мередитом и Диккенсом; что же, налицо сознательное снижение планки? Как сказать; Эмиля Габорио принято считать писателем бульварным и мелкотравчатым, но это очень несправедливая характеристика. Габорио просто никто нынче не читает; а тот, кто откроет любой из его романов, с удивлением обнаружит, что писал он, по совести говоря, не хуже самого Конан Дойла и создал не менее интересных персонажей. При этом, хотя предтечей Холмса у Габорио обычно называют сыщика Лекока, на самом деле куда больше Холмс унаследовал от другого героя Габорио – учителя Лекока, старика Табаре, занимавшегося полицейскими расследованиями не по долгу службы, а из чистой любви к искусству, как и Огюст Дюпен. «Этот Табаре воображает, что может по одному факту восстановить сцену убийства – ну, вроде как тот ученый, что по одной кости восстанавливал облик допотопных животных».

Можно отыскать и других холмсовских предшественников, например, аббат Фариа – чем не

детектив-интеллектуал, сумевший даже без лупы, посредством одной лишь дедукции, разгадать причину несчастий Эдмона Дантеса? А был еще великолепный и тоже интеллектуальный полицейский Дегрэ из романа Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» (где действует также милая старушка-божий одуванчик, с блеском проводящая посредством логики частное расследование). Были и другие: среди «литературных отцов» Холмса называют вольтеровского философа Задига, сержанта Карра из «Лунного камня» Уилки Коллинза, диккенсовского инспектора Бакета и даже д'Артаньяна. И не один Конан Дойл в 1886 году написал, подражая образцам, своего собственного сыщика; в это же самое время Редьярд Киплинг придумал полицейского Стрикленда, меланхоличного и загадочного, весьма похожего на Дюпена и, между прочим, написанного намного выразительней и правдоподобней, чем у По (его первый рассказ о Стрикленде был опубликован чуть позднее, чем «Этюд в багровых тонах» – в 1887 году). Антон Чехов, используя свой опыт работы в полицейских участках, тремя годами раньше написал детектив «Шведская спичка». Так что ничего особенно оригинального в замысле доктора Дойла не было: как сейчас, так и тогда детективы писали многие, и хорошие писатели ими отнюдь не брезговали. Но он ставил перед собой задачу «привнести что-то свое». Привнес или нет?

Принято считать, что внешность героя Дойл сразу же срисовал со своего бывшего учителя доктора Белла: очень высокий и необычайно худой человек с орлиным носом, квадратным подбородком и «пронизывающим» взглядом серых глаз. Так наверняка и было; интересно, однако, заметить, что в первой главе «Этюда» о наружности Холмса не сказано ни словечка. «Лаборатория пустовала, и лишь в дальнем углу, пригнувшись к столу, с чем-то сосредоточенно возился какой-то *молодой* человек». Этот юнец, фигурирующий в начале повести, довольно мало напоминает того Холмса, к которому мы привыкли. «Он захлопал в ладоши, сияя от радости, как ребенок, получивший новую игрушку». Глаза молодого человека сияют, движения порывистые, он то и дело «вскакивает», «бросается», вообще ведет себя очень импульсивно; на одной странице трижды упоминается о его улыбке и громком хохоте – похоже, он очень смешлив, этот молодой человек. Он даже «распевал как жаворонок» посреди улицы!

Холмсоведы утверждают, будто Шерлок родился в 1854 году, а действие «Этюда» они же относят к 1881-му – стало быть, Холмсу в «Этюде» должно быть 27 лет, как Дойлу в период написания этой книги; но по поведению сыщика кажется, что он даже не ровесник автору, а совсем мальчик – вроде Старка Монро. Симпатичный юноша повзрослеет очень незаметно и быстро – уже во второй главе «Этюда», где впервые будет нарисован его портрет, – и заливаться хохотом будет значительно реже, а скакать и прыгать так и вовсе перестанет. Можно предположить, что, начиная писать текст, доктор Дойл еще не вполне определился с прототипом, а потом ему было лень переделывать начало или же он просто не заметил диссонанса.

Имя сыщику тоже было дано не сразу. Сперва фамилия: скорее всего доктор дал ее своему герою в честь одного реально существовавшего человека, которым восхищался всю жизнь, хотя никогда не был знаком лично. Американец Оливер Уэнделл Холмс-старший (был еще и младший – сын вышеназванного, знаменитый юрист и борец за права негров) – личность очень разносторонняя: анатом, физиолог, преподаватель, историк медицины, поэт, прозаик, эссеист; он первым понял, как нужно бороться с родильной горячкой, от которой во множестве гибли женщины, он придумал термин «анестезия», он, презрев общественное мнение, принял в Гарвардскую медицинскую школу, где был деканом, девушку и троих чернокожих; был блестящим оратором, искусным рассказчиком, великолепным педагогом, а также, по мнению некоторых современников. «известным в бостонском обществе болтуном, отчасти самовлюбленным, любящим лесть и склонным к монополизации течения разговора в свою пользу».

Как говорил сам доктор Дойл, ему в его коллеге Холмсе больше всего импонировали две вещи: религиозное свободомыслие и художественные достоинства написанных им произведений; похоже, что относительно второго Дойл несколько заблуждался, ибо литературное наследство Холмса, составившее тринадцать томов, давным-давно всеми забыто, а его афоризмы, которыми так восхищался Дойл («Плачущие вдовы быстрей утешаются», «Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе», «Если хочешь узнать, что о тебе думает твой знакомый, разозли его» и т. п.), не поражают ни остроумием, ни оригинальностью. Но в общем и целом тот, чью фамилию получил молодой сыщик, конечно, был выдающейся личностью. Еще один прообраз? Умный, отчасти самовлюбленный, любящий лесть. А еще можно сказать, что Холмс в чем-то смахивает и на доктора Бадда, и на Брайана Уоллера, и даже на Джона Бартона. Отыскивать прототипы – занятие любопытнейшее, но немного наивное.

Распространена (даже, пожалуй, преобладает у современных исследователей) и такая точка

зрения: прототипом Холмса является сам автор. Так считал, например, сын Конан Дой-ла Адриан: человек щепетильный, обидчивый, не слишком умный, всем строго указывавший, как следует говорить и писать о его великом отце, всерьез обижался на то, что критики, по его мнению, преувеличивали влияние доктора Белла на творчество Дойла, и доказывал, что Артур Конан Дойл и есть Холмс. «Удивительные способности д-ра Белла послужили к расцвету тех дарований, которые таились в Конан Дойле. В этом, и только в этом, заслуга д-ра Белла. Если бы почтенный доктор умел взращивать таланты, то Эдинбургский университет в период с 1876 по 1881 год из многих сотен студентов произвел бы целую плеяду Шерлоков Холмсов во плоти! Тогда в чем же дело? А дело в том, что мой отец сам обладал всеми теми способностями – возможно, даже в большей степени, – что и д-р Белл». Наивность, с которой смешиваются две вещи, не имеющие одна к другой ни малейшего отношения, – литературный талант и способность делать логические умозаключения, – может вызвать только раздражение или, в лучшем случае, улыбку.

Да, но ведь сам доктор Белл, однако, впоследствии писал своему бывшему студенту: «Вы и есть Шерлок Холмс», и Дойл как-то сказал: «Холмс – это я». Из этих фраз делаются серьезные выводы о том, что все-таки Дойл есть прототип Холмса. (Флобер сказал: «Госпожа Бовари – это я» – из этого, надо полагать, следует, что он и был прототипом Эммы.) Биографы Майкл и Молли Хардвик в своей книге тратят много усилий, доказывая этот тезис. «Перелистывая страницы рассказов о Шерлоке Холмсе и просматривая всю жизнь Конан Дойла, мы все больше убеждались в глубоком сходстве между автором и его героем». Перечисляются сходства: трубка, химия, бокс, фехтование, халат, беспорядок на письменном столе, а главное, наблюдательность и логика. Если простодушные Хардвики доказывают тождественность автора и героя при помощи простеньких «вещественных» улик, то Дэниел Стэшовер и Эндрю Лайсетт, авторы самых современных биографий Конан Дойла, «копают» гораздо глубже, в области психологии: в образе Холмса, по их мнению, автор отобразил свой внутренний духовный конфликт.

Лайсетт, например, говорит следующее: «Этот персонаж был проявлением рационализма его создателя. Однако он включал и некоторые иррациональные черты характера и личности Конан Дойла. Так что Холмс был во многом отражением личности писателя. В то же время Конан Дойл пытался это скрыть, направляя внимание публики на образ профессора Джозефа Белла из Эдинбургского университета как на прообраз Шерлока Холмса. Думаю, что Конан Дойл хотел увести публику от сравнения Холмса с собой, от того, что Шерлок Холмс был альтер эго Конан Дойла». Лайсетт также убежден: то обстоятельство, что возникновение у Дойла интереса к спиритизму и создание Холмса относятся приблизительно к одному периоду – никакое не совпадение, а факт символический и судьбоносный: почувствовав глубокий разлад внутри собственной личности, доктор, дабы не свихнуться, зафиксировал на бумаге свое рациональное «я», которое помогло ему остаться в здравом рассудке. У Стэшовера мы находим примерно то же самое, только с меньшим количеством психологических терминов. (А исследователи совсем уж фрейдистского толка пишут о том, что в образе Холмса отразились сексуальные комплексы несчастного писателя и его саморазрушительная тяга к наркотикам.)

Все это очень умно, хитро и глубоко (на кой черт, правда, Дойлу уводить публику от сходства Холмса с собой? Чем могло его опорочить это сходство – ведь речь не о Гумберте Гумберте?), но грустно оттого, что литературоведы почему-то категорически отказывают беллетристам в умении (и праве) сотворить нового человека, которого раньше не существовало, и дать ему жизнь. Если широкая публика наивно убеждена, что любой персонаж любого автора непременно «списан» с какого-нибудь его знакомого, то серьезный современный исследователь с его обязательной тягой к психоанализу считает, что всякий писатель может и обязан писать только об одном предмете: о себе. Выливает на бумагу свои комплексы, фрустрации, депрессии, мании, бичует себя, оправдывает себя, а потом притворяется, что это всё о ком-то другом... Но разве это не так?

Да, безусловно, писатели иногда создают своих персонажей как портреты (чаще – карикатуры) реально существующих лиц; да, есть писатели, которые практически всегда так делают; да, иногда так поступал и Конан Дойл. Да, есть писатели, которые всю жизнь пишут только о себе, и некоторые из них – писатели великие. Но все же, как правило, литературный герой рождается гораздо сложнее, спокойнее и – на посторонний взгляд – скучнее. Персонаж придумывается; возникает силуэт, идея, схема, которую нужно чем-то наполнять, чтобы вдохнуть в нее жизнь; персонаж соединяет в себе множество авторских наблюдений, и последовательных и случайных; беллетрист создает оригинальный образ, который сознательно, а отчасти бессознательно наделяет чертами доброй сотни реально существующих людей – знакомых, родственников, тех, кого видел по телевизору или мельком из окна, – и героев, которых до него придумали другие писатели; разумеется, что-то он непременно берет там, где взять всего проще – у себя. В итоге на свет появляется новая личность, обязанная своим существованием творческому воображению и сознательной работе

автора, а не его комплексам и конфликтам.

Доктор Дойл ведь был человек простой – не в том смысле, что несложный, а в том, что не путаник и не трус. Когда он писал автобиографичные вещи, он этого не скрывал. Когда ему захотелось написать о себе, о своем душевном раздрае, он сел и написал «Старка Монро». А когда ему захотелось написать о сыщике, он придумал Шерлока Холмса. Персонаж по имени Шерлок Холмс – не отражение и не портрет, он сам по себе. Неправомерно, на наш взгляд, ставить вопрос «или Белл – или Дойл», как неправомерно и высчитывать: двадцать пять процентов того, пятнадцать этого. Персонаж заимствовал и будет заимствовать много красок у многих; в разные периоды – у самых разных людей. Писатель не так уж часто заглатывает что-то одно большое, подобно удаву; обычно он, как скромный воробей, собирает свои крошки повсюду и вряд ли всегда способен вспомнить, где какую подобрал.

Сначала, в черновиках, Холмса звали Шеррингфордом, потом он сменил английское имя на ирландское – Шерлок. Лайсетт считает, что имя дано в честь Патрика Шерлока, одного из соучеников Дойла. Крикетисты убеждены, что это имя герой получил в честь знаменитого игрока в крикет Франка Шеклока, или, быть может, другого игрока – Мордехая Шервина (Майкрофтами, кстати, тоже звали двух известных крикетистов). Есть и масса иных версий. Еще одна страсть исследователей: объяснять, откуда взялось то или иное имя. Те беллетристы, которые называют своего персонажа Смит или Иванов, делают так, надо полагать, из ненависти к будущим биографам.

Итак, Шерлок: «Сам он о своих подвигах рассказывать не мог; так что для контраста ему нужен был простоватый товарищ – человек образованный и предприимчивый, который смог бы участвовать в событиях и повествовать о них». Доктор Дойл даже не рассматривал иной вариант: описывать подвиги героя от третьего лица, «объективно». Он уже привык использовать прием, когда события излагает простодушный рассказчик, и не собирался от этой удачной схемы отказываться.

Уотсону также нашли целую кучу прототипов (не считая самого Дойла, естественно). Стэшовер называет Патрика Херона Уотсона, известного эдинбургского хирурга, участника Крымской кампании, добрейшего, обаятельного человека: он иногда ассистировал профессору Беллу, и студент Дойл наверняка знал его. Чаще пишут, что прототипом послужил добрый приятель Дойла доктор Джеймс Уотсон – тот самый, что был председателем Портсмутского научного общества. Этот человек когда-то служил в Индии, был ранен, вышел в отставку; характер у него был общительный, энергичный, любознательный, живой. Похож на него Джон Уотсон? Да, похож, и еще на десяток других портсмутских знакомых и пациентов Конан Дойла, и на него самого тоже. У Дойла был приятель Альфред Вуд – тот, с которым в футбол играли и который много позднее станет его секретарем, – и он годится в прототипы. Изыскатели установили, что на Бейкер-стрит проживал в то время некий доктор Уотсон, зубной техник-протезист, носивший усы – и его в прототипы записывают, хотя не доказано, что Дойл, живший во время написания «Этюда» не в Лондоне, а в Саутси, был хотя бы знаком с ним. («Это был мужчина среднего роста, крепкого сложения, с широким лицом, толстой шеей, усами и в маске. „Приметы неопределенные, – возразил Шерлок Холмс. – Вполне подойдут хотя бы к Уотсону“».) Если на кого-то и похож доктор Уотсон больше всего – так это на бесчисленных простодушных рассказчиков из предшествующих работ Конан Дойла.

Своих героев доктор поселил на Бейкер-стрит, тянущейся почти через весь северо-запад Лондона – от одноименной станции метро до пересечения с Оксфорд-стрит, по соседству с музеем мадам Тюссо (мы помним, что он посещал этот музей). Выбор, конечно, не случайный, но особого символизма в нем вряд ли стоит искать (а ищут!), иначе бы Дойл сам подчеркивал это соседство. Громадное количество исследований посвящено этому адресу – большее, нежели творчеству Артура Конан Дойла. Давно установлено, например, что в конце XIX – начале XX века на Бейкер-стрит не было дома 221-б (буковка «б» означает «бис», то есть второй этаж), да и номера 221 тоже не было – этот номер был присвоен городскими властями штаб-квартире жилищно-строительного банка «Эбби Нэшнл» только в 1930 году (служащие банка вынуждены были отвечать на тысячи писем, адресованных Шерлоку Холмсу, но этот факт их не слишком удручал – реклама!). Ныне дом 221-б существует: это маленький домик постройки 1815 года, находящийся между домами 237 и 239, и с 1990 года в нем находится один из музеев Шерлока Холмса; кстати, когда дом был выкуплен для музея, оказалось, что на лестнице, ведущей на второй этаж, ровно 17 ступенек, что в квартире просторная гостиная с двумя большими окнами и две маленькие спальни, то есть квартира идеально подходила под описание, данное Дойлом.

Бывал ли он в этом доме? Вряд ли; домик выбрали для музея лишь потому, что это было единственное сохранившееся строение викторианской эпохи, и подобных домиков в XIX веке было полным-полно как в Лондоне, так и в других городах. В похожей квартире уже жили

майор Клаттербек и фон Баумсер из «Торгового дома Гердлстон». А топограф-холмсо-вед Шорт считает, что Дойл описал вовсе не дом 221, а дом 109; а наш изыскатель Светозар Чернов склоняется к дому 72; а некоторые исследователи, обнаружив, что ни один дом на Бейкер-стрит не имеет эркеров, подозревают, что Холмс мог жить совсем на другой улице. Но это проблема холмсоведов. Ни дом 221-б, ни Холмс с Уотсоном ниоткуда не «списаны»: их создало и облекло плотью воображение автора, только оно одно. Лучше вернемся к вопросу о том, что нового удалось Дойлу – в «Этюде», а не во всей серии, – привнести в образ сыщика по сравнению с героями Габорио и По.

Собственно сюжет, а также пресловутая дедукция и логика – нет, здесь ничего не прибавилось. Ход и манера рассуждений Холмса практически полностью копируют Дюпена, а его методы осмотра места преступления – старого Табаре и его ученика Лекока. Хескетт Пирсон сказал, что Дойл «был первым писателем, наделившим сыщика живым человеческим характером». Довольно спорное утверждение. Мы согласны с Пирсоном в том, что «Дюпен – мертворожденный, просто говорящая машина... <...> и ни один из героев По так и не ожил» – у По вообще нет живых людей, одни покойники, его сила в другом. Но Дегрэ у Гофмана и Карр у Коллинза человеческими характерами наделены – другое дело, что их персонажи удались не так хорошо. Старый Табаре у Габорио – вполне живой характер, близкий к персонажам Бальзака, сухой, мрачный, почти трагический.

Гилберт Кит Честертон, вечный соперник Дойла, напротив, утверждал, будто «главный просчет создателя Шерлока Холмса заключается в том, что Конан Дойл изображает своего детектива равнодушным к философии и поэзии, из чего следует, что философия и поэзия противопоказаны детективам. И в этом Конан Дойл уступает более блестящему, более мятежному Эдгару По, который специально оговаривает, что Дюпен не только верил в поэзию и восхищался ею, но и сам был поэтом». Это абсолютно не соответствует действительности: Честертон, кажется, наивно поверил в утверждение доктора Уотсона (не доктора Дойла!) о невежестве Холмса и в составленную Уотсоном знаменитую таблицу, которую Холмс уже на следующих страницах «Этюда» опровергает раз пятнадцать. «Помните, что говорит Дарвин о музыке? Он утверждал, что человечество научилось создавать музыку и наслаждаться ею гораздо раньше, чем обрело способность говорить. Быть может, оттого-то нас так глубоко волнует музыка. В наших душах сохранилась смутная память о тех туманных веках, когда мир переживал свое раннее детство». Нет, конечно, Холмс такая же поэтическая натура, как и Дюпен. Но в этом как раз нет ничего нового. А вот в «невежестве» – есть. Пресловутое невежество Холмса нужно вовсе не для того, чтобы противопоставить логику и поэзию, а для того, чтобы наделить героя слабостью; ведь только слабости придают характеру обаяние. Вот оно – первое отличие.

Второе заключается в том, что Холмсу присущи доброта и сострадание, качества, которых его предшественники лишены. «Однажды утром пришла молодая девушка и просидела у Холмса не меньше получаса. В тот же день явился седой, обтрепанный старик, похожий на еврея-старьевщика, мне показалось, что он очень взволнован. Почти следом за ним пришла старуха в стоптанных башмаках» – всё это «люди, попавшие в беду и жаждущие совета». До сих пор суть занятий сыщиков заключалась в том, что они разгадывали загадки и искали преступников; жертвы их заботили мало. К Холмсу люди приходят, как пациенты к доктору (об этом подробнее – в главе, посвященной Холмсу). Не любим мы во всем искать символы и не станем утверждать, что только врач мог придумать именно такого сыщика, но наверняка профессия автора сыграла свою роль. Мерилом добра и зла для доктора Дойла, как мы не раз видели, является отношение к собаке. «Будьте добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера – хозяйка вчера просила усыпить его, чтоб он больше не мучился». Да, на собаке ставится опыт, но он одновременно является актом милосердия. А кто занимается тем, что избавляет от мук умирающих животных, разве сыщики, а не врачи? «Грегсон и Лестрейд переглянулись, очевидно, считая, что это довольно рискованно, но Шерлок Холмс, поверив пленнику на слово, тотчас же развязал полотенце, которым были скручены его щиколотки. Тот встал и прошелся по комнате, чтобы размять ноги». Да он жалостлив, этот молодой Холмс, он доверчив. Или это профессиональное? Сперва пациент должен восстановить кровообращение, потом уж – допрашивать. Доктор Холмс. Кстати, он и опыты свои проводит не дома, а в больнице, где и происходит знакомство с Уотсоном... Нет, это не аргументы в пользу того, что Дойл писал Холмса «с себя». Такие детали, как правило, всплывают в тексте почти бессознательно, и даже то обстоятельство, что грозный сыщик становится помощником несчастных и защитником болящих, возможно, в ранних произведениях холмсианы осталось незамеченным самим автором, который то и дело заявляет о безжалостности и бесчеловечности Холмса, ничем, однако, эти заявления не подкрепляя.

Литературоведы неоднократно отмечали: оригинальность Дойла в том, что он на детективном материале сотворил очередное воплощение литературной «Великой Пары»: действительно, параллель между Дон Кихотом и Холмсом (сознавал ли Дойл, рисуя портрет Холмса, что

копирует наружность не только Белла, но и Рыцаря печального образа?), Санчо Пансой и Уотсоном не заметит разве что слепой. Но в «Этюде» этого еще нет. Есть лишь отдельные крошечные штрихи. Философия холмсианы еще не выработана. Дойл и не собирался вырабатывать ее, ведь в «Этюде», по сути, Холмс даже не является главным героем! Не собирался Дойл соединять Холмса и Уотсона вечными узами. Адриан Дойл, разбирая черновики отца, обнаружил, что первоначально в «Этюде» никакого Холмса вообще не было, а была лишь история жизни Джефферсона Хоупа и рассказчик, доктор Уотсон; назывался этот набросок «Ангелы тьмы». Строго говоря, это был черновик не «Этюда», а другого, самостоятельного текста, который был переработан в трехактную пьесу – она так и называлась «Ангелы тьмы», но никогда не была поставлена на сцене. Но и в окончательном варианте «Этюда» центральное место занимает – во всяком случае, должна была занимать, по намерению автора, – не лондонская, а американская история. Рассказать об ужасной секте мормонов, изобличить религиозную узость и фанатизм – вот что хотел сделать доктор Дойл. Он не думал, когда писал «Этюд», что Джефферсон Хоуп забудется, сектанты никого не заинтересуют, а сыщик и его товарищ останутся жить вечно.

Кстати, еще до «Этюда» Дойл написал (хотя опубликовал позже) небольшую повесть «The Mystery of Uncle Jeremy's Household», у нас озаглавленную «Жрица тугов»: исследователь Питер Хайнинг включил эту историю в так называемую «неканоническую холмсиану». Главные герои этой истории – демоническая гувернантка, представительница индийской касты убийц, которая душит младенцев и калечит животных, и еще более демонический секретарь, опять-таки похожий «на огромную летучую мышь». В рассказе есть загадка и разгадка – это роднит его с историями о Холмсе. Не более того. Но современные исследователи «Жрицу» анализировать любят: например, как иллюстрацию к расистским убеждениям доктора Дойла.

Доктор ясно понимал, что вещь его хороша, и был уверен, что она очень скоро увидит свет. Но, как ни удивительно, «Этюд» был издателями отвергнут. Джеймс Пейн вроде бы одобрил повесть, но сказал, что она слишком длинна для одного выпуска «Корнхилла» (вот если б выкинуть религиозную, мормонскую часть, было бы в самый раз, но разве мог доктор Дойл пойти на такое?) и слишком коротка для того, чтобы печатать ее в нескольких, и посоветовал отправить рукопись книгоиздателю Эроусмиту, который, однако, вернул текст автору непрочитанным; издательство «Фред Уорн и КО» поступило так же; другие книгоиздатели также не проявили к повести ни малейшего интереса. В конце концов измученный и теряющий оптимизм Дойл послал «Этюд» в издательство «Уорд, Локк и КО», специализировавшееся на остросюжетном чтиве (сейчас оно выпускает преимущественно справочники и энциклопедии). Вскоре издатели ответили, что текст им понравился, но они не могут напечатать его в 1886-м, так как «рынок забит дешевой литературой», предлагали обождать до будущего года, забирали все авторские права и назначали гонорар – 25 фунтов единовременно, без всяких потиражных. Доктор возмутился – нет, не оскорбительными словами о том, что дешевого чтива достаточно и без его произведений, а тем, что его решили ограбить; у нас, в наше время, молодой автор не возмущался бы, а почел за счастье, но по их викторианским понятиям это был и в самом деле грабеж. Но издатели были тверды, как тверды они всюду и во все эпохи. Дойл принял предложение – а что ему оставалось делать?

За новую большую вещь Дойл после «Этюда» взялся не сразу, хотя и думал о ней. Сперва он написал рассказ «Хирург с Гастеровских болот» – мы говорили о нем, когда шла речь о безумии Чарлза Дойла, но он заслуживает более серьезного упоминания. Как Стэшовер, так и Лайсетт подробно доказывают, что в этом рассказе отразилась история взаимоотношений между Дойлом и его душевнобольным отцом. Разумеется, отразилась: чтобы понять это, достаточно рассказ просто прочесть. Но «Хирург» примечателен не только этим.

Действие разворачивается на торфяных болотах; герой-отшельник селится в заброшенной хижине; вскоре уединение, к которому он стремился, нарушает появление печальной девушки, которая бродит по страшным болотам, точь-в-точь как Берил Стэплтон. Отшельник в красавицу не влюбляется: она для него «превосходный товарищ; симпатичная, начитанная, с острым и тонким умом и широким кругозором»; он даже спрашивает ее, не собирается ли она посвятить себя какой-нибудь ученой профессии, а та в ответ – ну, разумеется, предостерегает его от хождения по болотам. Затем в хижину наведывается гость, странный человек по прозвищу Хирург (современному читателю, выросшему на медицинских «ужастиках», сразу становится не по себе) и также намекает на опасность, требуя, чтобы герой непременно запирался ночью на засов. Далее герой во время прогулки натыкается на другую хижину, где живут Хирург и какой-то старик, с которым Хирург обходится жестоко: «Я слышал высокий жалобный голос пожилого человека и низкий грубый монотонный голос Хирурга, слышал странное металлическое звяканье и лязг». (О, эти холодные металлические звуки, так поражавшие наше воображение, когда в детской компании кто-нибудь пересказывал «Пеструю ленту»!)

Хирург занимается химическими опытами, а также бродит по трясине, «рыча, как зверь»; герой обнаруживает на болотах окровавленные тряпки, рука Хирурга оказывается перевязанной, красивая девушка, явно имеющая какое-то отношение к этому страшному существу, тоже разгуливает по ночам одна-одинешенька, и ее одинокий силуэт на болоте вырисовывается в свете луны; все это приводит к тому, что героя не столько тянет разгадывать тайну (как, без сомнения, тянуло бы, разделяй он хижину с верным другом), сколько защитить свою жизнь. Но однажды ночью... «В мерцающем свете угасающей лампы я увидел, что щеколда моей двери пришла в движение, как будто на нее производилось легкое давление снаружи. <.. .> Когда дверь приоткрылась, я разглядел на пороге темную призрачную фигуру и бледное лицо, обращенное ко мне. Лицо было человеческое, но в глазах не было ничего похожего на человеческий взгляд. Они, казалось, горели в темноте зеленоватым блеском. Вскочив со стула, я поднял было обнаженную саблю, как вдруг какая-то вторая фигура с диким криком бросилась к двери. При виде ее мой призрачный посетитель испустил пронзительный вопль и побежал через болота, визжа, как побитая собака». «Собака» – кто знает, не это ли слово послужит подсознательным толчком, когда доктор Дойл будет думать о другом кошмаре торфяных болот? Герой видит, как его незваный гость в ужасе бежит по трясине, а за ним гонится Хирург, и оба растворяются в непроглядной тьме.

Загадка разъясняется в письме, полученном вскоре после происшествия: Хирург – сын врача, когда-то уважаемого человека, а ныне опасного сумасшедшего, девушка – дочь несчастного. Кровавой тайны нет, а неприятное, гнетущее ощущение остается. Стивенсон говорил, что трясся от страха, когда писал «Окаянную Дженет» и «Веселых молодцов»; Дойлу, по-видимому, тоже было страшно, когда он работал над «Хирургом», страшно и очень грустно. Именно это сочетание страха и тоски, не имеющее ничего общего с уютными ужасами «Собаки Баскервилей», придает «Хирургу с Гастеровских болот» такую выразительную силу, которой Дойл, на наш взгляд, не достигает ни в одном из своих «страшных» рассказов.

Известно, что незадолго до и вскоре после написания «Хирурга» Артур Дойл много раз виделся с отцом и, в частности, просил его сделать иллюстрации к «Этюду в багровых тонах». Несчастный Чарлз, ничего общего не имевший с жутким безумцем, которого стерегут на болотах (психолог сказал бы, что именно чувство вины и жалости побудило доктора Дойла в своем рассказе представить душевнобольного более безумным и более опасным, чтоб оправдать свою мать и себя в собственных глазах), тихий и поглощенный рисованием, согласился с огромной радостью. Он сделал для книги шесть рисунков. Но его иллюстрации не понравились ни издателям, ни самому Артуру: нет, они не были плохи, они были выполнены так же великолепно, как прежние работы Чарлза, да вот беда – Шерлок Холмс получился совсем не похож на того, каким его представлял и описывал Артур, зато очень похож на самого Чарлза.

«Этюд в багровых тонах» был издан в конце 1887 года в составе ежегодного рождественского альманаха Битона, где были собраны небольшие произведения «дешевой литературы». Критика его не заметила, но тираж разошелся, и в начале 1888-го «Уорд, Локк и КО» выпустил «Этюд» отдельной книжкой. Затем последовало второе издание, которое было проиллюстрировано Чарлзом Дойлом; за обе книги автор в соответствии с условиями договора не получил ни гроша. Впоследствии «Уорд, Локк и КО» переиздавали книгу бесчисленное множество раз, ничего Дойлу не платя, вследствие чего обозленный доктор заявил, что не чувствует себя благодарным данному издательству, даже если оно и открыло ему путь в жизнь. Но доктор Дойл не слишком переживал из-за того, что никто не оценил «Этюд»: он был уже поглощен работой над другой значительной вещью.

Было бы странно, если бы человек, зачитывавшийся Маколеем и Карлейлем, обожавший творчество Вальтера Скотта и Стивенсона, не захотел написать роман на историческую тему. «Он (исторический роман. – *М. Ч.)* казался мне единственной формой, где определенные литературные достоинства сочетаются с захватывающим развитием действия и приключенческими эпизодами, которые естественно занимали мое молодое и пылкое воображение». Наиболее широко из исторической прозы Конан Дойла известен «Белый отряд», любимое детище самого автора. Но первым был роман «Приключения Михея Кларка» («Micah Clarke»). Тут, пожалуй, стоит сделать отступление. В этой главе мы много говорим о книгах Конан Дойла и мало – о его жизни. Но дело в том, что жизнь писателя, который счастливо женат и с утра до ночи занят своей работой, как правило, довольно однообразна и скучна. В его мозгу бушуют ураганы, миры возникают и рушатся, а внешне это выглядит так: сидит человек за письменным столом и строчит, строчит не подымая головы. Идешь в библиотеку, штудируешь толстые тома, исписываешь записные книжки заметками; несешь книги обратно в библиотеку, берешь новые... А ведь у Дойла как раз в этот период расширилась врачебная практика, так что ему и подавно приходилось крутиться как белка в колесе – какие уж там особые события и приключения.

Он вставал рано, еще до шести часов утра: «Как часто я предвкушал наслаждение от выпавшего свободного утра, когда я мог погрузиться в работу, зная, как редки и драгоценны эти часы затишья!» На втором этаже у него был оборудован кабинет – небольшая светлая комната с одним окном, оклеенная светлыми обоями. Письменный стол всегда был завален рукописями, книгами и другими необходимыми вещами; Адриан Дойл припоминает медали бурской войны, маузеровские пули, немецкий Железный крест, древнегреческие монеты, зуб ихтиозавра, египетские статуэтки, кристалл, выращенный в желудке кита – «сырье для мыслительной деятельности». В 1886-м, конечно, многих из этих предметов еще не могло быть, но были другие в том же роде: доктор обставил свою комнату так, как уже не раз ее обставляли его персонажи. На стенах, как и в приемной, висели акварели Чарлза Дойла. Этот уютный беспорядок никому не позволялось трогать.

Он запирался на ключ. Работал. Часы затишья, однако, длились недолго: стучалась домработница, говорила, что пришел пациент – мальчик, которого послала мать; доктор в самом разгаре какой-нибудь важной сцены откладывал ручку (он купил пишущую машинку, но не сумел освоить этот сложный механизм), пытался запомнить, на чем остановился, выходил в приемную, мыл руки. Пациентка желала знать, нужно ли разводить водой лекарство, которое доктор прописал ей накануне. Можно было разводить, а можно и не разводить, но, чтобы не усложнять, доктор отвечал, что нужно непременно. Поднимался по лестнице в кабинет, брал перо в руки, пытался сосредоточиться заново. Стук в дверь: мальчик вернулся. Его мать в ужасе: она уже приняла лекарство, не разведя его водой, что теперь будет?!

Доктор отвечал, что ничего страшного нет; мальчик, поглядев на него с нехорошим подозрением, уходил; доктор опять взбегал по лестнице, успевал написать пару абзацев, но тут оказывалось, что пришел муж пациентки и хочет наконец получить ясный и недвусмысленный ответ на вопрос, как же все-таки следует принимать лекарство: с водой или без воды? А если это, как выразился доктор, не имеет значения, то из каких таких соображений он сперва сказал мальчику, что вода нужна? Доктор в течение получаса разъяснял сердитому мужу принцип действия лекарства, тот внимательно выслушивал, после чего говорил, что его жена, принявшая лекарство без воды, чувствует себя как-то странно и доктору следовало бы пойти и осмотреть ее. Доктор одевался, брал чемоданчик, засовывал стетоскоп за подкладку шляпы, шел к пациентке, проводил у нее минут сорок, повторяя объяснения, которые дал ее сыну и мужу, затем возвращался домой, где его, оказывается, уже полчаса ожидал другой пациент, рассерженный и недовольный; так проходила первая половина дня, а после обеда все начиналось сначала. Все это не выдумка, а свидетельство самого доктора, который описал свой типичный рабочий день середины 1880-х в «Ювеналиях».

Дойл заинтересовался глазными болезнями: изучал эту новую для себя отрасль, ездил регулярно в портсмутскую глазную клинику, где под руководством доктора Вернона Форда занимался подбором очков для пациентов, штудировал медицинские труды. Тренировку футбольной команды пропускать тоже было нельзя: портсмутская газета «Ивнинг мэйл» называла его одним из надежнейших защитников во всем графстве, а потеря защитника для команды страшней, чем нападающего. В крикетном клубе он уже к этому времени был капитаном – тоже не отвертишься. Семье нужны деньги – где их взять? В Южной Африке нашли золото, все только об этом и толкуют; заработать так легко – всего-навсего прочесть внимательно биржевые сводки да сделать инвестиции в какую-нибудь из добывающих компаний. Доктор вложил 60 фунтов и рассчитывал получить прибыль процентов эдак в триста, но, как оказалось, в биржевых делах не так-то просто разобраться: вместо прибыли получился убыток. Выругаться и забыть. Литературно-научное общество желало пригласить знаменитого лектора: секретарь общества обязан снестись с этим человеком, уговорить его приехать, ответить на все вопросы касательно расписания поездов и гостиниц. В Портсмуте грядут выборы: партийный активист должен бегать повсюду, договариваться о выступлениях, распространять предвыборную литературу. Сестра прислала грустное письмо: ответить срочно. Мать укоряет, что долго не писал. Молодая жена ни в коем случае не должна сидеть дома затворницей, ее нужно выводить в свет, посещать вечера. Из списка в семьдесят с лишним философских, исторических и научных трудов, которые доктор наметил изучить за год, еще половина не прочитана: взяться за это как следует.

Трудами из списка чтение отнюдь не ограничивалось: доктор читал решительно все новинки. В 1888-м вышел первый сборник рассказов Киплинга; доктор осознал, что «появился новый метод написания рассказов, весьма отличный от моего собственного, тяготеющего к искусному и тщательному развитию интриги». Эти слова о «методе, отличном от моего», звучат, конечно, очень наивно и могут показаться напыщенными, если б не следующая фраза: «Это (рассказы Киплинга. – *М. Ч.)* показало мне, что методы нельзя унифицировать и что существует более совершенная манера повествования, даже если она и недоступна для меня». Не часто встречается писатель, спокойно признающийся, что есть нечто ему недоступное и

притом лучшее. Приверженец соразмерности, Дойл позднее мягко пенял Киплингу за ее отсутствие и называл его творчество «опасным примером для подражания». И тут же: «Но гений преодолевает все это, как и величайший игрок в крикет, который берет неимоверно трудный мяч». Себя доктор Дойл к гениям не относил. Возвратимся к повседневным занятиям: близится пятидесятилетие викторианской эпохи, а в Портсмуте нет памятника королеве и городская администрация даже не почешется: как так, что за безобразие, нужно рассчитать, в какую сумму обойдется памятник, и написать статью в «Ивнинг мэйл». Неудивительно, что в «Письмах Старка Монро» Дойл говорил о себе как о заядлом полуночнике: когда-то же ему нужно было работать... Но исторический роман в таких условиях писать все-таки было невозможно, даже при громадной работоспособности Дойла: он попытался упорядочить практику, сократив количество пациентов, временно забросил крикет. «Приключения Михея Кларка» – роман гораздо более объемный, чем «Торговый дом Гердлстон», но написан он был с поразительной для исторического произведения быстротой – полгода на изучение материалов и четыре месяца на собственно текст. А теперь, как нам в эссе «За волшебной дверью» советовал доктор Дойл, закроем за собой дверь, отринем хлопоты и заботы внешнего мира и вернемся к подлинной жизни писателя: той, что происходит в его книгах.

Действие романа «Приключения Михея Кларка» относится к 1680-м годам: «Это было время, когда каждый считающий себя патриотом английский протестант носил под плащом налитую свинцом дубину, которая предназначалась для безобидного соседа, осмелившегося расходиться с ним в религиозных воззрениях». После Английской революции XVII века к власти вернулась династия Стюартов, которая попыталась восстановить не только королевский абсолютизм, но и католическую религию, против чего яростно возражали протестанты и прежде всего их крайнее, пуританское крыло. В 1685 году побочный сын короля Карла II герцог Монмаут поднял мятеж под лозунгом защиты протестантизма, но был разбит и казнен вместе с сотнями своих сторонников. Эти события привлекали внимание многих романистов: «Пуритане» Вальтера Скотта, «Княгиня Монако» Дюма; доктору Дойлу было с кем соревноваться.

Ему всегда были симпатичны пуритане, которые «олицетворяли политическую свободу и приверженность религии» – эти слова могут показаться чрезвычайно странными в устах человека, которому ничто не было так ненавистно, как религиозный фанатизм и который в этом же абзаце называет своих героев «мрачными борцами с палашом в одной руке и Библией в другой». Быть может, протестантство казалось Дойлу посимпатичнее католицизма? Но мы уже видели, что он к одному и другому относился как к «двум ветвям одного гнилого ствола». Доктор, как и его герои, был вигом-либералом и противостоял консервативным тори – в этом причина? Но парламентские виги XIX века имели, прямо скажем, чрезвычайно мало общего с пуританами века XVI, для которых все современные Дойлу представления о либерализме были что нож острый. Протестантизм как выражение интересов зарождающейся буржуазии в борьбе с католицизмом, защищавшим феодальные отношения, объективно способствовал прогрессу? Вряд ли подобные доводы могли заставить доктора Дойла полюбить или не полюбить своих персонажей.

Объяснение, наверное, следует видеть в том, что пуритане в описываемую эпоху представляли собой гонимых, то есть «слабых и обиженных», причем обиженных еще и писателями, представлявшими их в карикатурном виде: Дойл не удерживается от легкого укора даже в адрес своего кумира Скотта, который описал пуритан «не такими, какими они были на самом деле», то есть злобными полубезумными фанатиками. Их меньшинство, они слабее, чем их противник – этого достаточно, чтобы доктор принял их сторону и встал на их защиту. Примем эту гипотезу за неимением лучшей и посмотрим, удалось ли доктору добиться главного: чтобы бедных обиженных пуритан вслед за автором полюбил и читатель. Вообще уделим «Приключениям Михея Кларка» самое пристальное внимание: ведь это первая проба нашего героя в том жанре, для которого, по его собственному мнению (почти никем не разделяемому), он и был предназначен, жанре, который он всегда будет считать областью наилучшего применения своих творческих сил. Это ведь и была самая главная проблема Дойла как беллетриста: он ценил свои исторические романы гораздо выше всех других работ, публика судила немного иначе, потомки оказались еще более строги.

Как и подавляющее большинство текстов Конан Дойла, «Михей Кларк» написан от первого лица, только повествователь здесь – глубокий старик, собравший вокруг себя внуков и рассказывающий им о приключениях своего детства. Его отец сражался в армии Кромвеля и был, естественно, пуританином. «Это были серьезные, религиозные люди, суровые до жестокости. Во многих отношениях они были похожи более на фанатиков-сарацин, чем на последователей Христа. Эти сарацины ведь верят в то, что можно распространять религию огнем и мечом». Нечего сказать, большую читательскую симпатию к пуританам должен вызвать этот абзац; а ведь между ними, оказывается, вдобавок было полно таких, для которых «религия служила ширмами, за которыми они прятали свое честолюбие. Другим такой

человек проповедует, что надо, дескать, делать так и этак, а сам живет кое-как и о Законе Божием не помышляет». Просто оторопь берет от таких положительных персонажей. Но, оказывается, было в них и хорошее: во-первых, они «вели они себя хорошо и чисто и сами добросовестно исполняли все то, к исполнению чего хотели насильно принудить других» (ирония улавливается не сразу), а во-вторых, «рассеялись по всей стране и занялись кто торговлей, а кто ремеслом; и все отрасли труда, за которые брались солдаты Кромвеля, начали процветать. Вот у нас теперь много в Англии богатых торговых домов, а спросите-ка хорошенько: кто все эти дела завел? Последите и увидите, что начало положено солдатом Кромвеля или Айртона». Вот, оказывается, в чем главное достоинство пуритан: все-таки «выражение интересов буржуазии». Напрасно мы думали, что марксистские соображения для доктора Дойла ничего не значат.

Если отец Михея – убежденный пуританин, то мать – приверженка епископальной церкви; казалось бы, в такой семье должны быть беспрестанные распри. Ничего подобного: когда-то давно муж и жена попытались переубедить друг друга, но давно бросили это и живут в мире, любви и согласии, как, например, Артур и Луиза Дойл, придерживающиеся противоположных взглядов на религию. Отец строг, но справедлив; мать нежна, и именно она занимается воспитанием маленького Михея: она рано выучила мальчика грамоте, и тот пристрастился к чтению и проглатывал все книги, которые ему попадались под руку.. «Счастливые минуты доставляли мне эти книги. Я отрешался от мыслей о предопределении и, лежа в душистом клевере с задранными вверх ногами, откладывал попечение о свободной воле и внимал тому, как старик Чосер рассказывает о страданиях». Миссис Кларк зовут Мэри, и страницы, посвященные ей, местами чуть не дословно совпадают с теми, где описана мать героя в «Старке Монро». Мэри Дойл исповедовала англиканскую веру, Чарлз Дойл – совсем другую; вместе прожили тридцать лет, правда, о любви и согласии в той семье говорить сложно. В 1888-м «Письма Старка Монро» еще не написаны; можно предположить, что исторический роман «Приключения Михея Кларка» одновременно в каком-то смысле является первой попыткой автобиографии Артура Дойла, только автобиография эта идеализированная – не так, как было, а так, как хотелось бы.

Конечно же в этой придуманной автобиографии у героя есть (помимо непьющего отца, братишек и сестренок) верный, неразлучный товарищ, Рувим Локарби (Рувим – живой и бойкий коротышка, Михей – задумчивый увалень, наделенный громадной физической силой), с которым они обсуждают книги и день-деньской предаются мечтам. Есть у этого доисторического счастливца Михея и еще один человек, которого не было у маленького Артура: духовный наставник. Это сельский плотник Захария Пальмер, на досуге читающий Платона и Гоббса и выработавший собственную философию. Живет в деревне еще куча разного колоритного народу: все эти второстепенные персонажи описаны очень живо, один лучше другого. Симпатичная деревня Хэвант, и читать о детстве Михея, несмотря на переизбыток религиозных рассуждений, – весело. Особенно ярко, с большим знанием дела описаны драки.

Михей растет, хулиганит, как положено нормальному ребенку; в компании приятелей подпиливает мостик через ручей, и в реку шлепается зануда викарий, вследствие чего Михея чуть не выгоняют из школы; наконец ему исполняется двадцать лет – тут-то и начинаются настоящие приключения. Как-то раз Михей и Рувим вытаскивают из воды загадочного человека, чья лодка потонула. Его зовут Децимус Саксон, он страшно худ, имеет орлиный профиль и не расстается с трубкой, вот только о химии отзывается пренебрежительно. Мы помним, что после «Этюда в багровых тонах» не было и речи о продолжении серии, а расстаться с образом, который удался так хорошо, автору было до смерти жаль. Но Децимус Саксон – не второе издание Холмса; он гораздо сложнее. Саксон – солдат-наемник, существо стопроцентно беспринципное: он сражался со шведами против пруссаков, с пруссаками против шведов, затем поступил на баварскую службу, где ему пришлось бить и первых и вторых; попадал в плен к туркам и благодаря своим актерским данным чуть не получил репутацию святого (шалости с девицами помешали); о том, как следует вести себя в бою, он наставляет простодушного Михея следующим образом: «Когда вы услышите звяканье скрещивающихся стальных клинков и взглянете врагу прямо в лицо, то сразу же позабудете все нравственные правила, наставления и прочую чепуху».

В период своей встречи с Михеем Саксон решил временно отдать свою шпагу на службу мятежнику Монмауту; его собеседники выражают надежду на то, что он поступил так если не из любви к протестантской вере и ее нравственным ценностям, то хотя бы из благородного сочувствия к слабой стороне, но он отвечает, что сделал это исключительно из корысти. И тем не менее Михей Кларк, добродетельный и честный, на всю жизнь привязался к Саксону, как мгновенно, с первых строк, привязывается к нему и читатель. «Много дурного было, дети мои, в характере этого человека. Он был лукав и хитер; у него почти совсем не было стыда и совести, но так уж странно устроена человеческая природа, что все недостатки дорогих вам

людей забываются. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Когда я вспоминаю о Саксоне, у меня словно согревается сердце». Хотел ли доктор Дойл, когда задумывал свою апологию пуританским буржуазным добродетелям, чтобы подлинным героем его романа стал жизнерадостный циник Саксон, не верящий даже в черта? Вряд ли; скорей это вышло само собой, как бывает у писателей: персонаж, которого, быть может, и в главные-то герои не прочили, появляется на свет придуманным так здорово, что дальше никакого удержу на него нет, и перетягивает одеяло на себя.

Отец Михея отправляет сына в сопровождении Децимуса Саксона в армию герцога Монмаута, и начинается странствие; по пути они встречают целый ряд колоритных типов, преимущественно химиков и алхимиков; к ним присоединяется убежавший из дому Рувим; четвертым в этой компании становится молодой разорившийся аристократ Гервасий Джером, который также решил примкнуть к Монмауту, потому что ему все равно, на чьей стороне драться – лишь бы драться: «Воевать очень интересно, кроме же того, я нахожусь в хорошем обществе и поэтому доволен». Сэр Джером имеет с пуританами, на чьей стороне собрался воевать, еще меньше общего, чем Саксон (если есть куда меньше): это женственный, изнеженный придворный щеголь, больше всего на свете озабоченный своей прической, косметикой и нарядами («Я вроде кошек, которые то и дело облизывают себя. Скажите, Михей, хорошо ли я посадил мушку над бровью?»); но он отчаянно смел и полон презрения к опасности. Итак, их четверо: живой и вспыльчивый Рувим, громадный силач Михей, изящный франт Джером и загадочный худощавый Саксон, способный не пьянея выпить бессчетное количество спиртного. У доктора Дойла получились четыре превосходных мушкетера. А пуритане-то где?

Они появляются впервые, когда четверка встречает отряд, состоящий из вооруженных палками крестьян и пуританских проповедников, идущих в лагерь Монмаута; сперва пуритане принимают своих попутчиков в штыки, но затем Децимус Саксон становится их полковником и обучает всю эту толпу военному делу. Что же умного и интересного говорят пуританские вожди? Они поносят Лондон, ругают книги, обещают, как придут к власти, сравнять с землей театры и прочие дьявольские заведения. Немногим лучше выглядят и крестьяне: хоть лица у них «суровые и честные», однако они, сперва осыпавшие нашу четверку бранью и проклятиями, едва лишь их пастор говорит, что Самсон умелый полководец и может быть полезен, тотчас начинают осыпать попутчиков преувеличенными похвалами и лестью. «Теснясь около нас, они гладили наши сапоги, держали нас за камзолы, жали нам руки и призывали на нас благословение». Иной раз трудно понять, пишет ли Дойл всерьез или это черная ирония:

«– .Убиты, между прочим, двое храбрых юношей, братья Оливер и Эфраим Голлс. Бедная мать этих героев.

– Не жалейте меня, добрый мастер Таймвель, – раздался из толпы женский голос, – у меня еще есть три храбрых сынка, которые готовы погибнуть за святую веру».

Расставшись с этой жизнерадостной матерью и прочими жителями протестантского городка, отряд наконец приходит в лагерь герцога Монмаута: это слабый и тщеславный человек, которым управляет, как марионеткой, «полоумный фанатик» Фергюсон; окружение герцога состоит из придворных и пуритан, которые беспрестанно грызутся меж собой. Армия же его представляет собой толпу, «похожую на громадного пса, который рвется на своей своре и стремится схватить за горло своего врага». «Люди были упоены религией, словно вином. Лица были красны, голоса громки, телодвижения дики»; светлым пятном в этой жутковатой армии выделяются городские рабочие с «бодрым и воинственным видом» да граждане города Таунтона: «...большие, честные лица этих добрых мещан говорили о трудолюбии и любви к дисциплине». У читателя сводит скулы от тоски, и он перелистывает страницу, желая как можно скорей вновь оказаться в обществе веселых циников с не очень честными лицами – Саксона и Джерома. Наверняка, если бы Дойл взялся описать как следует хоть одного бодрого рабочего или честного мещанина и наделил его, как он умел, живыми человеческими чертами, читатель и проникся бы симпатией к этим героям. Но это какая-то безликая масса, из которой отдельные люди выхватываются ненадолго разве что для того, чтобы сформулировать какой-нибудь авторский тезис, как в учебнике.

В городе Фраме часть войска Монмаута, предводительствуемая пуританскими проповедниками, разрушает и грабит католический храм («Дикая, обезумевшая толпа окружала нас со всех сторон. Одни были вооружены, другие нет, но все до единого дышали жаждой крови и убийства»); защитить собор от разрушения берутся, однако, не рабочие и мещане с большими и честными лицами, а четыре мушкетера и еще несколько примкнувших к ним аристократов. Вольно или невольно, а выходит, что симпатии автора скорее на стороне «белых», нежели добродетельных «красных». Ни одного симпатичного персонажа из числа

убежденных революционеров в романе нет, даже проходного какого-нибудь; едва лишь встретится Михею какой-нибудь человек, о котором читать приятно – он непременно оказывается таким же беспринципным, как остальные его товарищи. Даже разбойник с большой дороги Мэрот, пытавшийся Михея ограбить и убить, потом становится его другом, потому что это человек жизнерадостный и с юмором. Добродушный Михей болтает по-приятельски с солдатами-роялистами, контрабандистами, бандитами всех мастей; единственные, с кем он решительно не может найти общего языка, – это его соратники. Помнится, затевая писать «Михея», доктор Дойл хотел поправить Вальтера Скотта, который описал пуритан как-то не так. Но у него самого вышла куда более злая карикатура. У Скотта в «Пуританах» фанатик-изувер Беркли – это все-таки личность, и личность незаурядная; в романе Дойла подобного персонажа нет. На людей похожи непостоянный Монмаут, хитрый герцог Босуэл, всевозможные разбойники и солдаты – кто угодно, только не пуритане. Трудно восхвалять добродетель, когда сам толком не чувствуешь, в чем она заключается, кроме смены одной общественно-экономической формации другой, более прогрессивной.

Сочувствие к пуританам возникает лишь в финале романа, когда после разгрома Монмаута над участниками восстания начинается жестокая расправа. Великолепно описан судья Джефрис, проводящий «показательные процессы»: «Этот человек, впрочем, никогда не мог скрывать своих чувств. Я слыхал, что Джефрис нередко плакал и даже громко рыдал. Это бывало в тех случаях, когда он считал себя обиженным людьми, стоящими выше, чем он. <…> Тут судья сделал движение, словно его схватила судорога. По лицу у него заструились слезы, и он громко зарыдал. А затем, перестав рыдать, он продолжал:

– Когда я помышляю о христианском всепрощении нашего ангела короля, о его неизреченном милосердии, мне поневоле приходит на ум другой высший Судия, перед которым все – и даже я – должны будем предстать в свое время. Секретарь, занесли ли вы в протокол эти мои слова или я должен их повторить?

– Я занес их в протокол, ваше сиятельство.

– Пометьте на полях, что главный судья рыдал. Нужно, чтобы король знал, как мы относимся к этим гнусным злодеям».

Легко представить, с каким злобным наслаждением доктор Дойл писал этого судью. Если доктор хотел, чтобы читателю сделались противны роялисты, а не революционеры, ему надо было начать свой роман сразу с поражения. Революционеры, однако, с покаянными речами не выступали, а «шли на смерть твердой поступью, с радостными лицами», что не могло не произвести впечатления даже на королевских солдат. Плененный и ожидающий казни Михей разговаривает с одним из стражников:

«– Мы в случае успеха выиграли бы, и поэтому справедливо, что, проиграв, мы должны за это расплатиться. Но зачем так истязают и убивают бедных благочестивых селян? У меня прямо сердце разрывается от такой жестокости.

– Ах, это правда! – произнес сержант. – Вот другое дело, если бы вешали гнусавых пуританских проповедников. Эти проклятые болтуны тащат свою паству прямо к черту в ад. <…> Добродетель свою человек должен таить глубоко в сердце, – произнес сержант Греддер, – надо эту добродетель зарывать глубоко-глубоко, чтобы ее никто не мог увидеть. Терпеть я не могу этого показного благочестия. Начнет это человек гнусить, ворочать глазами, стонать и тявкать. Такое благочестие на фальшивую монету смахивает».

Сочный такой вышел абзац, убедительный – не то что бледные сожаления Михея о благочестивых селянах. В общем, задумывался роман за здравие пуританского восстания, а получился за упокой – точь-в-точь как и у Вальтера Скотта, которого Дойл хотел «поправить». Жаль, конечно, бедных пуритан, но жалость эта какая-то абстрактная. Нам сообщается, что крестьяне «выражались грубо и не могли бы красноречиво объяснить своих побуждений, но в душе, в сердце своем они отлично сознавали, что сражаются за то, что всегда составляло силу Англии». Крестьяне и пролетарии – движущая сила прогресса, которую одурманивают своим опиумом служители культа. Не сумел автор придумать и показать нам живого селянина, потому что сам слабо представлял себе, какой он, этот селянин, и о чем думает. Это не его индивидуальная вина – горожанам вообще всегда плохо удается писать о деревне, и ничего с этим не поделаешь.

Намеревался Дойл также создать гимн патриотизму и справедливым войнам, и поначалу вроде бы выходило как надо: «Представьте себе, дети, что когда-нибудь Англию застигнет черный день, что ее войска будут разбиты и она очутится безоружная во власти своих врагов. Вот тогда-то Англия и вспомнит, что каждая деревня ее есть военная казарма и что настоящая

английская сила заключается в непреклонном мужестве и гражданском самоотвержении населяющих ее людей. Это главный источник нашей народной силы, любезные внучата!» Михей полон желания биться за правое дело, и ремесло воина кажется ему лучшим из всех возможных. Но постепенно его взгляды начинают меняться. «Люди обманывают себя и дурачат, упиваясь военной славой. <…> Я поседел в боях и участвовал во многих войнах, но и я должен сказать по совести, что люди должны или оставить войну, или признать, что слова Искупителя слишком возвышенны для них. <…> Я видел, как один английский священник благословлял только что отлитую пушку, а другой освящал военное судно, только что спущенное в воду. Можно ли благословлять оружие, предназначенное для истребления людей? Нет, дети, сильно мы отдалились от Христова учения». Отличная речь пацифиста. Запомним эти слова. Запомним и другие: «Воевать очень интересно.» Потом посмотрим, чья возьмет.

Итак, пуритане были разбиты, но в конце концов дело их (замена феодального строя буржуазным) восторжествовало; чудом спасенный Михей, как и его друг Рувим, спокойно дожил свой век, окруженный внуками. Так что же получилось в конце концов? Идейный роман о хороших пуританах – не получился, это уж точно. Похоже, что Конан Дойл все-таки взялся защищать пуритан не столько из человеческого к ним сочувствия, сколько из абстрактных соображений о прогрессивности буржуазного строя. Вот такой он, доктор Дойл, серьезный и сознательный, почти марксист, а не какой-нибудь там легкомысленный сочинитель приключенческих безделок… Если бы он любил своих пуритан по-настоящему, как любил Децимуса Саксона и Гервасия Джерома, – он бы смог написать их так, чтобы мы их тоже полюбили. Но не мог он полюбить людей, которые ненавидят книги и разрушают театры, не мог, будь они хоть сто раз прогрессивны и добродетельны. Не по хорошу мил, а по милу хорош, как говаривал дедушка Михей своим внучатам. Зато получилось другое, гораздо более важное: доктор сотворил целый ряд ярких и убедительных персонажей, которых никогда не забудешь. Есть какое-то не поддающееся анализу волшебство, при посредстве которого писатели, относящиеся к разряду развлекательных и поверхностных (Дюма, например), умудряются порой создавать абсолютно живых людей, тогда как у великих это не всегда получается.

Впоследствии критики ругали «Михея Кларка» за отсутствие любовной интриги и интриги как таковой. Справедливо ругали: изъян серьезный. Интриги действительно нет, а точнее, нет конфликта между персонажами. Можно, конечно, сказать, что есть конфликт военный, исторический, чего еще надо? Но вообще-то в хорошем романе, хоть бы и историческом, личностный конфликт всегда присутствует. В «Пуританах» Скотта он развивается между Мортоном и Берли, в «Айвенго» – между Уилфридом и Буагильбером плюс множество других. Абсолютно все исторические романы Стивенсона строятся на каком-нибудь личностном конфликте. Удивительно, но Дойл об этом, кажется, позабыл. Есть, правда, у Михея враг Деррик, но он очень эпизодический персонаж, и на конфликт эта линия не тянет. Просто идут себе герои, идут, без всяких там проблем в отношениях, которые отвлекали бы читателя от перестрелок и драк. Какие книги так пишутся? Книги для мальчишек. Вот только для мальчишек, пожалуй, в «Михее Кларке» чересчур много идеологических рассуждений. Но богатство характеров этот недостаток искупает. В других исторических романах этой роскоши, к сожалению, поубавится. «Михей» дает нам представление о том, какими богатыми возможностями обладал Конан Дойл – возможностями, которые он так и не раскроет до конца.

В последних числах февраля 1888-го «Михей Кларк» был переписан набело и отправлен Джеймсу Пейну. Дойл возлагал на эту вещь большие надежды и в письме матери признавался, что рассчитывает на хорошую прибыль. Теперь он хотел сочинить другой приключенческий роман, уже без всякой идеологии, в духе Райдера Хаггарда, о древних инках. Схему предполагалось использовать ту же: четыре героя отправляются на поиски приключений. Но два романа подряд написать не всегда легко, требуется передышка; за крупной вещью вновь следовали маленькие. Дойл написал рассказ «Долгое небытие Джона Хексфорда» («John Huxford's Hiatus») – историю о человеке, потерявшем память, и, надо заметить, состояние амнезии в ней описано куда более внятно, чем у многих современных авторов – сказалось медицинское образование. Главная тема рассказа – любовь, преодолевающая разлуку и гибель. О любви у доктора Дойла пока не очень получается: все скатывается в банальность.Тем не менее строгий «Корн-хилл» рассказ принял.

Была также написана повесть «Загадка Клумбер-холла» («The Mystery of Cloomber»), очень, на наш взгляд, слабое произведение (оно тем не менее знаменует начало определенного этапа не столько в творчестве, сколько в жизни нашего героя и потому заслуживает упоминания), повторяющее сюжет «Дома на дюнах» Стивенсона и отчасти более ранних рассказов самого Дойла; здесь, в отличие от «Хирурга с Гастеровских болот», томительно жуткой атмосферы создать не удалось, да и вообще эта вещь сделана как-то топорно, словно автор вдруг разучился писать.

По соседству с рассказчиком и его сестрой, в пустующем доме с дурной славой селится загадочное семейство: отец – отставной генерал Хэзерстон, служивший в Индии, участник подавления восстания сипаев, его жена, сын и дочь. О любовной интриге рассказывается в нескольких банальнейших фразах, словно автора самого от своего текста с души воротило и хотелось с ним побыстрей разделаться: «Когда четверо молодых существ сходятся вместе для приятных и запретных свиданий, результат может быть только один: знакомство перерастает в дружбу, дружба – в любовь». Для сравнения – чтобы читатель не подумал, будто Конан Дойл не умел писать о любви иначе – приведем цитату из «Михея Кларка»: «Я прямо не понимаю, дети, почему поэты называют любовь счастьем? Какое это счастье быть похожим на мокрую курицу? <...> Поглядите на влюбленного человека: весь он начинен вздохами и похож на гранату, набитую порохом. Лицо грустное, глаза опущены долу, ум в эмпиреях. Ну, подойдете вы к такому молодцу, пожалеете его, а он вам и выпалит в ответ, что свою грусть ни за какие богатства в мире не отдаст. У влюбленных слезы считаются за золото, а смех – за медную монету».

Генерал боится – не итальянцев, как Хеддлстон в «Доме на дюнах», а индийцев, которые, понятное дело, желают отомстить; рассказчик, как и герой Стивенсона, из любви к девушке соглашается «вступить в гарнизон по охране Клумбер-холла». Внезапно появляется капрал, передвигающийся на одной ноге, как Джон Сильвер, но это не враг, а друг Хэзерстона, когда-то служивший под его началом – довольно беспринципный тип, заявляющий: «Я решил обратиться к русским, научу их, как пробраться через Гималаи, так, чтобы их не смогли остановить ни афганцы, ни англичане. Сколько мне заплатили бы в Петербурге за этот секрет, как вы думаете, а?» Патриотически настроенный рассказчик сурово обрывает эти излияния, на что капрал отвечает ему: «Я давно сделал бы так, если бы русские заинтересовались. Скобелев был лучшим из них, да его прикончили». Эти русские решительно не дают доктору Дойлу покоя. В конце концов загадочные индийские жрецы после кораблекрушения высаживаются на берег, как карбонарии из «Дома на дюнах», и, несмотря на все попытки рассказчика и сына генерала защитить старого Хэзерстона, уводят его с собой и вместе с ним погружаются в болотную топь – а это уже заимствовано из «Веселых молодцов». Текст взяла для публикации «Пэлл-Мэлл газетт», потом его издали «Уорд и Локк». Может, не стоило бы и говорить столько о «Загадке Клумбер-холла» – человек, написавший более сотни превосходных историй, имеет право на несколько плохих, – если б не одно важное обстоятельство: это первая вещь, написанная доктором Дойлом под явным влиянием спиритических идей. Ведь индийские жрецы – не живые существа, а духи, предупреждающие генерала Хэзерстона о возмездии звоном. астрального колокольчика. Вот и пришло время поговорить о сеансах с вращающимися столиками и прочим.

В числе портсмутских знакомых (и пациентов) Дойла был генерал Дрейзон, преподаватель военно-морского колледжа, известный астроном и математик, интересовавшийся паранормальными явлениями вообще и спиритизмом в частности. Дрейзон был почтенный, уважаемый человек, Дойл восхищался его астрономическими теориями, они регулярно вместе играли в бильярд, и генерал оценивал игру доктора очень высоко; естественно, когда генерал Дрейзон поведал Дойлу о разговоре со своим покойным братом, доктор не мог отнестись к его словам с пренебрежением, хотя не собирался отступать от собственных убеждений. Он уже читал книгу Эдмондса, члена Верховного суда США, тоже почтенного и уважаемого человека, который разговаривал со своей умершей женой – читал, по его словам, с интересом и полнейшим скептицизмом. Он рассказал Дрейзону о собственном спиритическом опыте, чрезвычайно неубедительном.

Но генерал разъяснил, что опыты были плохи потому, что плох был инструмент. Как астроному нужен хороший телескоп, а химику микроскоп, так и ученому, изучающему мир духов, необходим качественный медиум. Разве не логично? Аргументы такого рода, простые и ясные, всегда производили на Дойла впечатление.

Зашла речь о Хоуме – том самом Хоуме, который летал. Здесь для нас самое интересное – это аргументация Дойла, при помощи которой он впоследствии защищал Хоума от нападок. Хоума обвиняли в том, что он мошенник и проводит свои сеансы ради денег – Дойл отвечает, что тот «никоим образом не был, как полагают некоторые, платным медиумом, ибо он племянник графа Хоума». Чтобы племянник графа жульничал – такого, конечно, быть не могло, скорее небо упадет на землю. Далее Дойл пишет, что, услышав рассказы спиритов о том, как Хоум, выпрыгнув при свидетелях из окна дома, вместо того чтобы упасть, поднялся по воздуху и влетел в другое окно того же дома на высоте 70 футов над землей, – поверить этому не мог. Но «когда я узнал, что факт этот подтвержден тремя свидетелями, присутствовавшими при сем: лордом Данрэйвеном, лордом Линдсеем и капитаном Уинном – все трое люди чести, пользующиеся большим уважением, – и что впоследствии они пожелали удостоверить свои показания под присягой, то мне оставалось только признать, что очевидность факта была здесь гораздо лучше удостоверена, нежели в отношении многих удаленных от нас во времени

событий, которые весь мир согласился рассматривать как истинные». Доверие доктора ко всему, что говорят лорды, военные и вообще «приличные люди», было безгранично. Генерал Дрейзон не переубедил его, но вновь пробудил интерес к необъяснимому, а точнее – к необъясненному, ибо он был убежден, что человеческий разум способен объяснить все, если хорошо постарается.

Дойл продолжал участвовать в сеансах с медиумами – то безрезультатных, по его словам, то дававших «тривиальные результаты». Весной и летом 1887 года он организовал ряд сеансов у себя дома: в них участвовали профессиональный медиум Хорстед и архитектор Болл. В июне на одном из этих сеансов доктор получил сообщение, которое его так поразило, что он немедленно опубликовал соответствующую заметку в спиритическом журнале «Лайт». Дух, почтивший его своим появлением, категорически не рекомендовал ему читать книгу автора Лея Ханта. Доктор как раз в те дни думал, читать ему эту книгу или нет, и – насколько ему помнилось – никому о своем интересе к ней не говорил.

Книгу Ханта он не прочел, зато продолжал поглощать в огромном количестве эзотерическую литературу, которая благодаря своей наукообразности могла оказать на него гораздо более сильное влияние, чем практические сеансы. Прочел, в частности, ряд книг о паранормальных способностях индийских йогов: левитация, управление огнем, ускоренное проращивание растений и т. п. Одним из результатов изучения йоговских практик стала «Загадка Клумбер-холла».

Нет ничего удивительного в том, что доктора Дойла с его идеей примирения всех религий на какое-то время заинтересовала теософия, которая как раз стремилась объединить различные вероисповедания и создать род «универсальной религии», не связанной какой-либо определенной догматикой; мысль о том, что человек может познавать божество непосредственно, исходя из собственного мистического опыта, была также довольно близка его собственному мировоззрению, хотя, на его взгляд, теософам недоставало логики. Он увлекся трудами знаменитой Елены Блаватской: идеи перевоплощения и кармы показались ему чрезвычайно привлекательными, но потом он прочел ряд работ, в которых Блаватская разоблачалась как шарлатан, и нашел их куда более убедительными, нежели тексты самой мадам Блаватской. Он скоро разочаровался в теософии: все мистическое и туманное его отталкивало, да и не очень-то он любил сложные теории. Он искал простоты, логики, ясности, неколебимых доказательств, причем желательно таких, которые можно «потрогать» (улики!); спиритизм вроде бы предоставлял такие доказательства, а вроде бы и нет… Доктор преклонялся перед наукой, но наука, к сожалению, высказывалась по поводу спиритизма как-то двусмысленно. Некоторые ученые (химик Уоллес, астроном Фламмарион) были его приверженцами, но большинство людей науки относились к нему издевательски. Обращения в спиритическую веру опять не состоялось. По-прежнему было только любопытство; по-прежнему доктор Дойл с его философией был одинок. Хотя есть люди, утверждающие, будто бы уже в те годы он нашел то, чего искал. Речь идет, разумеется, о масонстве.

В статье Яши Березинера, видного деятеля Объединенной Великой ложи Англии (основной руководящий орган масонства в Англии и Уэльсе, а также в некоторых странах бывшей Британской империи), говорится о вступлении Конан Дойла в масонскую ложу «Феникс», отделение 257 (действующее в Портсмуте с 1786 года), как об установленном факте. Называется точная дата – 26 января 1887 года, сообщается и о том, что при вступлении доктора в ложу присутствовал его коллега и приятель Джеймс Уотсон, а рекомендацию ему давали Уильям Дэвид Кинг, видный член ложи, впоследствии мэр Портсмута, и Джон Бриквуд, богатый пивовар. Как и в любом кружке, куда записывался доктор, он быстро взбирался вверх и уже через месяц был посвящен во вторую степень братства, а 23 марта того же года ему была присвоена степень мастера.

В одних биографических книгах о Конан Дойле ссылаются на этот факт, в иных о нем умалчивается, в третьих он отрицается; сам доктор ничего о себе как о масоне не сообщает. Так правда это или нет? Во всяком случае, если бы Конан Дойл был масоном, в этом не было бы абсолютно ничего удивительного. Во-первых, найти единомышленников, исповедующих идеи всеобщего братства, просвещения и улучшения человечества – всё это как нельзя более соответствовало его собственным стремлениям. Во-вторых, в Европе никогда не было того оттенка испуга и брезгливости по отношению к вольным каменщикам, который со времен «Протоколов» возобладал у нас; множество видных и уважаемых людей были и являются масонами. В-третьих, доктор Дойл вступал абсолютно во все организации, кружки и общества, которые ему подворачивались. В-четвертых, стать членом тайного братства посвященных было бы чрезвычайно приятно его мальчишечьей душе, и вполне естественно, если он, по-мальчишечьи же серьезно относившийся к секретам и клятвам, хранил молчание об этой стороне своей жизни. Кстати, Березинер не утверждает, что Дойл был очень уж активным масоном, напротив: после того как его посвятили в мастера, масонство ему быстро наскучило,

и уже в 1889 году он вышел из ложи. Это тоже очень похоже на доктора Дойла: длинные, туманные и бесплодные разговоры были ему не по душе.

Доктор очень надеялся на «Михея Кларка», но его ждало очередное разочарование, еще более сильное, чем предыдущие. Джеймс Пейн, «добрый ангел», написал ему в ответном письме совершенно обескураживающие слова: «Как вы могли, как вы только могли тратить свое время на писание исторических романов!» Другой издатель, Джордж Бентли, в чей журнал «Бентли мисилейн» также был отправлен бедный «Михей», заявил, что в книге нет увлекательности и она «никогда не сможет привлечь внимание ни библиотек, ни широкой публики». Отказались от «Михея» и «Блэквуд мэгэзин» (заметивший автору, что люди XVII столетия так не разговаривают), и «Касселс» (исторические романы вообще плохо продаются), и все прочие издательства. Доктор уже утратил надежду когда-либо издать свой роман, но в ноябре 1888-го рецензент издательства «Лонгмэн» Эндрю Лэнг, известный критик, в свое время оценивший Стивенсона, вдруг рекомендовал издателям принять «Приключения Михея Кларка».

28 января 1889 года у Артура и Луизы родился первенец; как и у Мэри с Чарлзом, это была девочка. Ее назвали в честь бабушки и матери – Мэри Луиза Конан. (Доктор никогда не менял свою фамилию официально; «Конан» будет одним из имен всех его детей, но не все по его примеру сделают его частью фамилии.) Отец сам участвовал в принятии родов и жутко трусил, хотя принял их к тому времени немало. У него есть рассказ «Проклятие Евы» («The curse of Eve»), где подробно описаны переживания мужа, чья жена очень трудно рожает: «Из-под складок коричневой шали выглядывало смешное маленькое, свернутое в комок, красное личико с влажными раскрытыми губами и веками, дрожавшими, как ноздри у кролика. Голова не держалась на слабой шее маленького создания и беспомощно лежала на плече.

– Поцелуйте его, Роберт! – сказала бабушка. – Поцелуйте своего сына!

Но он почти с ненавистью взглянул на это маленькое красное создание с безостановочно мигающими ресницами. Он не мог еще забыть того, что благодаря ему они пережили эту ужасную ночь». Это – о мужьях пациенток; но это и о себе тоже.

Ребенка крестили по обряду англиканской церкви, против чего отец не возражал. Мэри Дойл приехала на крестины внучки. «Она кругленькая и пухленькая, голубые глаза, кривые ножки, толстенькое тельце. <…> Но манеры ее (на наше горе) очень вольные. Когда ей что-то не нравится, об этом становится известно всей улице». Мэри-то как раз вырастет тихой девушкой; а знал бы доктор, какой вольный нрав будет у его младшей дочери Джин – будущего генерал-майора авиации!

Глава шестая

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Роман «Приключения Михея Кларка» вышел в «Лонгмэне» в феврале 1889 года. Особого успеха у публики он не имел, но вызвал вполне доброжелательные отзывы критиков и, по словам самого Дойла, стал первым краеугольным камнем, положенным в основу его литературной репутации. Именно издательству «Лонгмэн», а вовсе не знаменитому «Стрэнду», Конан Дойл всю жизнь считал себя обязанным первым успехом. В этом же году издательством «Уард энд Дауни» была опубликована «Загадка Клумбер-холла», вышел сборник (неавторизованный) «Тайны и приключения», в который вошли ранние рассказы Дойла и который был вскоре переиздан сперва под названием «Блюмендайкский каньон и другие рассказы», затем «Мой друг убийца и другие рассказы». Доктор Дойл становился профессионалом. Но в Англии он по-прежнему был мало кому известен.

Помогла ему его любимая Америка (не зря он ее воспевал), причем помогла довольно своеобразным способом. В Штатах тогда не охранялось авторское право в отношении иностранных писателей; в 1886 году, когда основными европейскими государствами была подписана Бернская конвенция, установившая обязательства по защите авторских прав на всей территории договаривающихся сторон, США присоединиться к конвенции отказались, сославшись на Первую поправку к своей конституции, в которой говорится о свободе слова, и продолжили издавать массовыми тиражами европейских авторов, не платя им ни цента. «Как и за любой национальный грех, наказание за него обрушивалось не только на ни в чем не повинных американских авторов (они не выдерживали конкуренции. – *М. Ч.),* но и на самих издателей, потому что принадлежащее всем не принадлежит на деле никому, и они не могли выпустить ни одного приличного издания без того, чтобы тотчас же кто-то не выпустил более дешевого», – заметил доктор Дойл не без злорадства.

Но для молодых английских писателей в этой ситуации был и плюс. Платить-то не платили, зато продавали почем зря, так что у любого автора, чью книгу экспроприировали американцы, появлялось множество читателей. Украли и «Этюд в багровых тонах». Американская публика приняла его восторженно – то ли потому, что там занимательно рассказывалось об Америке, то ли она, падкая на все новое, оказалась прозорливее английской. «Этюд» продавался очень хорошо. Но важно было даже не это, а то, что ворованные тексты читали и сами издатели, которые могли выловить из этого потока стоящую вещь.

Джозеф Маршалл Стоддарт, американский редактор журнала «Липпинкотт манзли мэгэзин», в августе 1889-го приехал в Лондон для организации британского издания своего журнала и изъявил желание увидеться с автором понравившегося ему «Этюда». Доктор получил приглашение на обед в отеле «Ленгем», который будет несколько раз упоминаться в историях о Холмсе. То был второй литературный обед (в нашем понимании скорее ужин) в жизни доктора.

Кроме Конан Дойла, Стоддарт пригласил еще двоих: парламентария Джилла и Оскара Уайльда. Все три гостя были ирландцами по национальности. Описывая этот вечер, обычно подчеркивают контраст между двумя литераторами: «Томный, изящный денди Уайльд и громадный Дойл, облаченный в свой лучший костюм, в котором он выглядел как морж в воскресных одеждах». Доктор действительно не всегда был элегантен (запросто мог выйти на люди с криво застегнутым воротничком), однако и Оскар Уайльд был не такой уж томный, а, как подобает ирландцу, жизнерадостный, с громким голосом. Пожалуй, они были даже похожи: оба высокие, здоровенные – косая сажень в плечах; оба громогласные, хохочущие взахлеб. «Для меня это был поистине золотой вечер», – писал Конан Дойл в мемуарах. Уайльд, будучи в Америке, встречался с Оливером Уэнделлом Холмсом, личность которого так восхищала Дойла: тут они сошлись во мнениях. К изумлению доктора оказалось, что знаменитый эстет прочел «Михея Кларка» и роман ему понравился. Несколько сомнительным представляется, что похвалы Уайльда были абсолютно искренни. «Черную стрелу» Стивенсона, которой восхищался Конан Дойл, он, например, уничтожил словами: «Попытка сделать произведение слишком правдивым лишает его реалистичности, и „Черная стрела“ является столь низкохудожественным произведением, что не может похвастаться даже тривиальным анахронизмом.» О «Михее Кларке» он, скорей всего, должен был думать нечто подобное. Хотя, с другой стороны, Стивенсон, когда писал «Черную стрелу», был уже мастером, и Уайльд воспринимал его текст как падение; Дойл только начинал – и его книга обещала дальнейший взлет.

Сам Дойл никогда не был особо рьяным поклонником творчества Уайльда, но при личной встрече моментально попал под его обаяние. Уайльд, как обычно, блистал остроумием и сыпал

парадоксами. Дойл упоминает некоторые темы, что обсуждались за ужином: от будущей войны и технических способов ее ведения до афоризмов Ларошфуко. «Он далеко превосходил всех нас, но умел показать, что ему интересно все, что мы могли произнести. Он обладал тонкими чувствами и тактом. Ведь человек, единолично завладевающий разговором, как бы умен он ни был, в душе не может быть истинным джентльменом». Забежав на много лет вперед скажем, что Дойл и Уайльд встречались еще раз, и тогда последний уже не показался доктору Дойлу «истинным джентльменом»: он сказал о своей пьесе, что она гениальна—и это «с самым серьезным выражением лица». Действительно, такое поведение джентльмену не пристало. Добрый доктор решил, что его собеседник попросту сошел с ума. То же он сказал и после уголовного процесса своего коллеги: «Я подумал тогда и сейчас еще думаю, что чудовищная эволюция, которая его погубила, носила патологический характер, и заниматься им следовало скорее в больнице, нежели в полицейском участке».

В 1889-м Дойл перед Уайльдом благоговел. Ведь это была первая встреча со знаменитостью действительно высокого ранга, если не считать Пейна. Запомним все детали этого обеда – чуть дальше они нам сильно пригодятся.

Стоддарт предложил обоим написать что-нибудь для «Липпинкотта» – объемом не более 40 тысяч слов. Уайльд создал «Портрет Дориана Грея» (книгу сочли аморальной многие, но не Конан Дойл, который писал коллеге теплые письма с выражением своей поддержки), а сам доктор, оставив (к сожалению, навсегда) замысел романа об инках и (ненадолго) замысел еще одного исторического романа, о котором пойдет речь дальше, – «Знак четырех» («The Sign of Four»). Эта повесть была, как и «Этюд», написана очень быстро, менее чем за месяц. Стоддарту он написал, что «вещица вышла прелестная, хотя обычно я бываю недоволен своими работами».

Первоначально участие Холмса и Уотсона в повести не планировалось: Дойл намеревался просто написать индийскую историю Джонатана Смолла, Морстена и Шолто. Затем автор увидел, что какой-нибудь сыщик нужен; он решил не выдумывать нового, а использовать готовый образ. Но он перенес своего героя из одной истории в другую отнюдь не механически: Холмс в «Знаке четырех» довольно сильно отличается от Холмса в «Этюде». По-прежнему он на каждой странице смеется и улыбается, по-прежнему молод (возраст его не назван, но когда мы читаем, как он скачет босиком по крышам и таскает на руках собаку, то нам представляется очень молодой человек). Но его доброта и нежность, намеченные прежде лишь пунктиром, теперь разворачиваются вовсю, вступая в полное противоречие со словами Уотсона о «холодной и бесстрастной натуре» сыщика. Мэри Морстен, придя к Холмсу, прежде всего ссылается на другую клиентку, которая не может забыть его доброту. Общаясь с Тадеушем Шолто, человеком малосимпатичным, Холмс «успокаивающе похлопывает его по плечу». Когда Джонатан Смолл пойман, Холмс с грустью говорит, что ему «жаль, что все так обернулось», и предлагает преступнику сигару и фляжку с коньяком, более того, заявляет, что сделает всё, чтоб ему помочь и защитить его перед инспектором Джонсом: обезвреженный и беспомощный преступник для Холмса тотчас превращается в пациента, требующего ухода и заботы.

Обычно считается, что привязанность Уотсона к Холмсу носит односторонний характер, но это не так. Именно Уотсон бросает Холмса в одиночестве, уходя рука об руку с Мэри Морстен, а тот «издает вопль отчаяния»; именно Уотсон держится настороженно и пытается «немножко сбить спесь с моего приятеля, чей нравоучительный и не допускающий возражений тон меня несколько раздражал»; именно Уотсон подозревает своего товарища в том, что тот мог бы стать преступником, а Холмс относится к другу искренне и просто. Даже известный эпизод, когда Холмс, взглянув на часы Уотсона, восстанавливает историю его брата, – отнюдь не только пример дедукции. Уотсон хочет «уесть» Холмса, а увидев результат своего опыта, приходит в бешенство; Холмс, однако, не говорит ему: «Вы сами напросились», он просто очень расстроен. «Мой дорогой Уотсон, – сказал мягко Холмс, – простите меня, ради бога. Решая вашу задачу, я забыл, как близко она вас касается, и не подумал, что упоминание о вашем брате будет тяжело для вас».

Как только Холмс замечает, что у Уотсона усталый вид, то начинает импровизацию на скрипке, чтоб усыпить его, а когда тот, уснувший под эту колыбельную, просыпается поутру, Холмс первым делом выражает свою обеспокоенность – не разбудил ли друга деловой разговор с посетителем? Это выглядело бы комичным, не будь Холмс так мужествен и смел: сильный человек может себе позволить быть этаким «облаком в штанах», и сочетание силы с нежностью всегда бывает очень трогательно (ничто не умиляет так, как слониха, утешающая слоненка). Все эти детали очень мелки, как колесики в часах, и сильно разбросаны по тексту; при поверхностном чтении их не замечаешь, но они, как пресловутый «двадцать пятый кадр», запечатлеваются в мозгу и заставляют читателя полюбить героя, пусть и не понимая причины этой любви. В ответ на такую заботу опасаться за здоровье своего друга начинает и Уотсон;

квартирная хозяйка, лишь в «Знаке четырех» получившая имя, тоже горячо переживает по поводу здоровья жильца и советуется на эту тему с другим жильцом. Просто какая-то семья докторов.

Даже к полицейским Холмс намного добрее, чем в «Этюде»: если там он относился к Грегсону и Лестрейду с насмешкой, иногда довольно злой (тогда как они к нему – с уважением: то и дело они «бросаются» к Холмсу, «с чувством» пожимают ему руки, называют «дорогим коллегой» и т. д.), то в «Знаке четырех» все наоборот: инспектор Этелни Джонс настроен к Холмсу враждебно, а Холмс отвечает на эту враждебность спокойным дружелюбием и готовностью помочь, что в конце концов обезоруживает Джонса. Холмс доброжелательно и с уважением отзывается о своем французском коллеге ле Вилларе. Увидев докеров, возвращающихся с ночной смены, Холмс заявляет: «Какие они усталые и грязные! Но в каждом горит искорка бессмертного огня». Он бы, наверное, каждому докеру предложил по сигаре и глотку из своей фляги, если б не был так занят помощью Мэри Морстен. Неудивительно, что Мэри называет его и Уотсона «„двумя странствующими рыцарями-спасителями“. Вообще Холмс в „Знаке четырех“ прямо-таки расцветает: то переживает приступы черной меланхолии, то балуется кокаином, то философствует; он проявляет себя то как „великий лентяй“, то как „отъявленный драчун“; он возится с собакой, болтает с мальчишками, лукаво подначивает Уотсона по поводу его влюбленности в мисс Морстен, а при известии о его женитьбе „издает вопль отчаяния“, он прыгает через заборы, стаскивает с себя ботинки и носки, – он весь какой-то растрепанный, летающий, яркий, весь так и лучится жизнью.

А что там у нас с невежеством Холмса? В «Этюде» Уотсон охарактеризовал его знания в области литературы как нулевые, хотя тут же привел диалог о книгах Габорио и Эдгара По (рассеянности Уотсона холмсоведы посвятили массу специальных работ). Но то чтение все-таки можно было отнести на счет профессионального интереса. В «Знаке четырех» Холмс едва ли не на каждой странице цитирует Гете, Ларошфуко и Уинвуда Рида, чья книга «Мученичество человека», недавно прочитанная Конан Дойлом, произвела на него громадное впечатление, сыплет афоризмами, в том числе – на французском, беспрерывно и печально философствует («Зачем судьба играет нами, жалкими, беспомощными созданиями?»); его речь – это речь человека светского, а вовсе не отшельника. Столь же разносторонним довольно неожиданно оказывается и Уотсон. «Как поживает ваш Жан Поль? – Прекрасно! Я напал на него через Карлейля». Добрый доктор Уотсон, вроде бы воплощение ограниченности, досуг свой занимает таким же чтением, как писатель Конан Дойл, а Холмс прекрасно знает, какую книгу читает в данный период его друг: надо полагать, они ее уже обсуждали. Ограниченный военный врач и ограниченный сыщик постепенно превращаются в интеллектуалов-гуманитариев. С чего же вдруг подобные перемены? Чтобы понять это, следует обратиться к одной сцене: обед, которым Холмс угощает Уотсона и инспектора Джонса.

«Холмс, когда хотел, мог быть исключительно интересным собеседником. <…> Он говорил о средневековой керамике и о мистериях, о скрипках Страдивари, буддизме Цейлона и о военных кораблях будущего. И говорил так, будто был специалистом в каждой области». Этелни Джонс также оказывается вполне интересным и приятным собеседником, и все трое чрезвычайно довольны разговором. Ничего не напоминает? Совершенно верно: обед Конан Дойла со Стоддартом и Уайльдом, сразу после которого, находясь под впечатлением от Уайльда, доктор Дойл начал писать «Знак четырех». Сознательно ли он придал Холмсу сходство с Оскаром Уайльдом – сказать невозможно. Но это бесспорное сходство останется у сыщика надолго, постепенно сходя на нет.

А теперь вот что очень любопытно: обнаружим ли мы, в свою очередь, отпечатки Дойла в книге Уайльда? Раскроем «Портрет Дориана Грея» – след, Тоби, след! – и прочтем, как Уайльд характеризует Алана Кэмпбела, того самого, кто скрепя сердце помогает Дориану уничтожить труп Бэзила Холлуорда. «Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, но он ничего не понимал в изобразительном искусстве.<…> Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях.<…> Он и теперь увлекался химией. <…> Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов». Алан Кэмпбел вроде бы не является профессиональным врачом, но он почему-то постоянно бывает в больницах, моргах, проводит вскрытия; он суров, честен и прям, среди друзей Дориана один он – моралист. Тень Холмса – или силуэт Конан Дойла? В любом случае мы имеем полное право предположить, что и для Уайльда знакомство с доктором Дойлом бесследно не прошло.

«Знак четырех» написан совсем не так, как последующие рассказы о Холмсе, где Дойлу нужно будет отсекать всё лишнее и спрямлять характеры; в этой вещи очень много избыточного, много того, что литературоведы называют «воздухом» (а торопливые читатели – «водой»). Честертон замечал, что если бы о Холмсе писал Диккенс, у него все персонажи были бы прописаны так же тщательно, как сам герой; Пирсон на это заметил, что Диккенс таким

образом загубил бы самую суть холмсианы. В «Знаке четырех», как отмечал Джон Фаулз, все персонажи написаны по-диккенсовски, с избыточностью. Великолепный мистер Шерман, чучельщик, который грозится бросить в Уотсона гадюкой; мальчишки, работающие на Холмса; даже у спаниеля Тоби есть тщательно отделанный характер. Длиннейший эпизод посвящен тому, как Тоби бежит по следу, волоча за собой Холмса с Уотсоном, и в конце концов утыкается в бочку с креозотом (Холмс при этом вновь закатывается хохотом – все-то ему весело, этому молодому Холмсу). Дойл и в других текстах будет иногда писать о том, как Холмс делает ошибки в умозаключениях, но расписывать на две страницы ошибку собаки – такой прелестной расточительности он больше себе не позволит. Он станет суше и проще. Многоцветье красок уйдет; неряшливая, но яркая живопись потихоньку превратится в отточенную графику. Формат короткого рассказа потребует этого. А жаль, правда?

Напоследок один маленький штрих. Холмс говорит о Мэри Морстен: «Должен сказать, что мисс Морстен – очаровательная девушка и могла бы быть настоящим помощником в наших делах. У нее, бесспорно, есть для этого данные». Так что не одну Ирен Адлер он уважал за интеллект. Вот было бы занятно, если бы Дойл развил эту линию, и мы увидели бы женщину-сыщика...

«Знак четырех» был на следующий год опубликован одновременно в американском и английском выпусках «Липпинкотта». Дойл, как было условлено заранее, получил гонорар в 100 фунтов. В Штатах повесть имела довольно большой успех. На родине – не очень. Это вовсе не значит, что она провалилась. Нет, работы Конан Дойла, начиная с «Хебекука Джефсона», всегда продавались хорошо. Но пресса не всегда была к ним благожелательна. Сразу после журнального выпуска, в 1890 году, «Знак четырех» был издан отдельной книгой – журнал «Атенеум», правда, написал о ней: «Читатель пролистает эту небольшую книжечку не без любопытства, но едва ли когда-нибудь вновь возьмет ее в руки». Переиздание последует лишь после того, как журнал «Стрэнд». однако нам пора вернуться на несколько месяцев назад, к той большой работе, от которой Стоддарт отвлек нашего героя.

Собирать материалы для своего второго исторического романа «Белый отряд» («The White Company*) Конан Дойл начал еще в первой половине 1889 года. На сей раз он намеревался забраться еще дальше, чем в „Михее Кларке“ – в XIV век, эпоху Столетней войны. Ему пришлось изучить десятки томов по истории Средневековья и прежде всего – „Хроники“ Фруассара, современника тех людей, о которых он хотел писать. Работа на первый взгляд казалась неподъемной; ему необходимо было уединение, чтобы погрузиться в нее с головой и не выныривать как можно дольше. В апреле он ездил „развеяться“ со своими приятелями, генералом Дрейзоном и доктором Фордом, в Нью-Форест – так называется район в графстве Хэмпшир, граничащий с заповедным лесным массивом. Места эти его пленили – как позже выяснится, пленили навсегда. „Теперь перед ним простирался волнующий океан темного вереска, доходившего до колен. Огромными валами он поднимался к четким очертаниям возвышающегося впереди горного склона. Над ним синел мирный купол неба, солнце клонилось к Гэмпширским холмам. <...> Сперва песчаная дорога вела через ельник, и мягкий ветерок обдавал их смолистым запахом хвои; потом пошли вересковые холмы, они тянулись далеко с юга на север, безлюдные, невозделанные: земли на склонах были почти бесплодны и сухи“.

Вернувшись домой, доктор объявил пациентам, что берет отпуск, собрал свои книги и вновь поехал в Нью-Форест. Там он снял небольшой коттедж на все лето и сентябрь. Прислуга в коттедже была приходящая. Жена с ребенком и теща остались в Саутси. Писатели всегда любили удирать от своих семей на дачи и там работать. Но доктор Дойл бежал не только от тещи, жены и громогласного младенца, а прежде всего – от знакомств и общественных нагрузок, которые он взвалил на себя в непомерном количестве. «Белый отряд» был его любимым детищем, и ничто не должно было отвлекать его от романа.

В мемуарах и статьях Конан Дойл обычно очень немного и очень коротко говорит о своих литературных работах. «Белый отряд» (а также его приквел «Сэр Найджел Лоринг», который будет написан много лет спустя) – исключение: ему посвящены целые страницы. Велик и дерзновен, по мнению доктора, был уже сам замысел. И опять им в значительной степени руководило желание потягаться с любимым Вальтером Скоттом и поспорить с ним. «Мне казалось, что времена Эдуарда III ознаменовали величайшую эпоху в истории Англии – эпоху, когда и король Англии, и король Шотландии были оба заточены в тюрьму в Лондоне. Это произошло главным образом благодаря мощи простого народа, прославленного по всей Европе, но которого никогда не изображала английская литература, ибо, хотя Вальтер Скотт в своей непревзойденной манере и вывел английского лучника, у него это скорее разбойник, чем солдат». Никак доктору не давали покоя трудящиеся массы; интересно, считал ли он, что в «Михее Кларке» ему уже удалось их изобразить, или же хотел исправить собственные огрехи? Находил Дойл ошибки и в том, как Скотт изображал рыцарей: «Я хорошо изучил

Фруассара и Чосера и сознавал, что знаменитые рыцари старых времен, представлявшиеся Скотту могучими героями, отнюдь ими не были.» Странно: обычно говорится, что Дойл в «Белом отряде» воспел рыцарство – а он, оказывается, намеревался его разоблачить или, по крайней мере, свести с пьедестала.

Обычно весьма скромный, доктор Дойл и результат своей работы на сей раз оценил очень высоко: по его мнению, «Белый отряд» вместе с приквелом «точно воспроизвели картину великой эпохи, а взятые вместе как самостоятельное произведение являются самым искусным, убедительным и амбициозным творением из всего, написанного мною». Немного удивительно читать эти высокопарные фразы, так мало характерные для доктора Дойла. Но дело в том, что Конан Дойл всю жизнь считал: «Белый отряд» недооценили. Он пытался защитить свое дитя. А между тем в защите роман отнюдь не нуждался. Книга была более чем благожелательно принята и критиками и читателями; она выдержала более пятисот переизданий только при жизни автора; ее называли лучшим историческим романом со времен «Айвенго». Со временем, правда, таких оценок поубавилось. Большинство критиков – и чем дальше, тем больше – относились к «Белому отряду» как к приключенческой истории. Доктора Дойла это уже не устраивало: он считал, что создал серьезный реалистический труд. По мнению Хескета Пирсона (в общих чертах разделяемому более поздними биографами), Дойл во всех своих исторических романах допускал одну и ту же ошибку: он путал развлекательность с познавательностью.

Сейчас «Белый отряд», как и большая часть произведений Конан Дойла, давно перешел в категорию подросткового чтения. Вряд ли здесь уместно подробно рассуждать о том, почему так происходит: книги, написанные для взрослых, со временем становятся книгами для детей. Конан Дойл не вправе считать, что его одного так «обидели»: подростковым чтением стали романы Вальтера Скотта, крупные вещи Стивенсона. Пушкин, будучи взрослым человеком, читал Скотта, относился к нему серьезно, очень хвалил. Но нынче и многие работы самого Пушкина перевели в разряд детской литературы. Примем самое простое объяснение: детям отходят те книги, которые написаны в приключенческом жанре. Должен ли писатель огорчаться, что его читают дети? Когда Конан Дойл задумает писать «Затерянный мир», то скажет, что им руководило желание создать книгу именно для подростков. Когда он писал «Михея Кларка», то признавался, что выбрал форму исторического романа, потому что ее удобно наполнять приключениями. Но с «Белым отрядом» все было не так – уж очень серьезные задачи доктор сам себе поставил. Основываясь на его высказываниях, сформулируем эти задачи – в стиле советских учебников: а) «изобразить всеобъемлющую картину эпохи»; б) «показать роль народных масс»; в) «показать точные характеры людей изображаемой эпохи» и в том числе – рыцарей, какими они были на самом деле, а не в романах; г) поправить и переплюнуть Вальтера Скота; д) вызвать у читателей любовь к своим героям. Что получилось, а что – нет?

Столетняя война между Англией и Францией длилась сто лет (строго говоря, больше – с 1337 по 1453 год) не подряд: случались и передышки. Одно из перемирий было заключено в 1360 году; множество военных осталось без заработка (то есть без возможности грабить). Эти люди стали собираться в отряды наемников – так называемые «белые отряды» – и предлагать свои услуги повсюду в Европе, где возникала какая-нибудь заварушка. «Когда каждый хватает соседа за горло и любой баронишка, которому грош цена, идет с барабанным боем воевать против кого ему угодно, было бы невероятно, если бы пятьсот отважных английских парней не смогли заработать себе на жизнь». Конан Дойл, как и в «Михее Кларке», выбрал для своей работы один небольшой эпизод: подготовку в 1366 году переворота в пользу кастильского короля Педро Жестокого против Энрике Трастамарского. На стороне как одного, так и другого сражались наемники. Педро помогал «Черный Принц» Эдуард, сын английского короля Эдуарда II, под началом которого сражались герои «Белого отряда». Схема романа в точности повторяет ту, что была использована в «Михее Кларке» (а позже и в «Затерянном мире»: Дойл не любил отказываться от своих постоянных приемов): четыре главных героя – бывший послушник Аллейн Эдриксон, профессиональный наемник Сэмкин Эйлвард, крестьянский сын Хордл Джон и сэр Найджел Лоринг – собираются вместе и вступают в войско; дальше следуют приключения и главная битва, заканчивающаяся поражением. («Певцом проигранных сражений» называли Дойла: подмечено верно. У нас еще не раз будет случай об этом говорить.) В своих странствиях герои встречают уйму людей самых разных сословий и профессий: это и есть картина эпохи.

«Рисовать эпоху», вообще говоря, задача для писателя довольно неблагодарная. Дойл старался добросовестно охарактеризовать каждого, кто попадался героям на пути: акробаты, купцы, охотники, студенты, скульпторы, разбойники, монахи-флагелланты, беглые моряки, рисовальщики вывесок, странствующие лекари, даже мулат – бывший судовой повар, ставший на путь бандитизма, – о каждом дается соответствующее пояснение: чем занимался, почему занимался и какую роль играл в общественном укладе. В «Михее Кларке» таких персонажей

тоже было полно, но там они, по крайней мере, вступали в какие-то отношения с героем, например, пытались его убить или взять в плен. В «Белом отряде» все эти люди к сюжету не имеют никакого отношения. Они нужны не для сюжета и даже не для идеи, а для «всеобъемлющей картины». Трудно представить, что бы получилось, если бы Львом Толстым в «Войне и мире» руководило желание не написать роман, а нарисовать картину: наверное, каждая горничная, каждый кучер, каждая портниха имели бы свою историю и в конце концов своею массой задавили бы Кутузова с Наполеоном. Алексей Толстой в «Петре» много отвлекался на то, чтобы делать зарисовки «представителей разных слоев общества», но, во-первых, он был связан методом соцреализма, а во-вторых, все эти картинки были очень крепко нанизаны на основной стержень романа.

У Дойла они так и остались разрозненными кадрами, как будто герои, вооруженные фотокамерой, собирают снимки в альбом, чтобы потом показывать правнукам: вот это, ребятки, монах, а вот так одевалась трактирщица. А вот и трудящиеся массы. «Триста лет мой род изо дня в день гнул спину и обливался потом, чтобы всегда было вино на столе у хозяина... <...> Ударь дворянина – и закричит поп, ударь попа – и дворянин схватится за меч. Это ворюги-близнецы, они живут нашим трудом!» Этот диалог крестьян в кабаке часто приводился в предисловиях к советским изданиям «Белого отряда» как доказательство прогрессивности автора и его любви к народу; опускались только финальные реплики: «Прожить твоим трудом не так-то просто, Хью, – заметил один из лесников, – ты же полдня попиваешь мед в „Пестром кобчике“. – Все лучше, чем красть оленей, хотя кое-кто и поставлен их сторожить».

Тем не менее английские йомены, выиграв множество сражений с французами, продемонстрировали собственным феодалам свою силу и заставили себя уважать. «Покровитель превратился в покровительствуемого, и вся феодальная система, пошатываясь, брела к гибели» (фраза как будто прокралась на цыпочках в текст «Белого отряда» из «Капитала»). Разваливает феодализм, в частности, Хордл Джон. Правда, этот здоровенный детина на земле не трудится, а сперва уходит в монастырь из-за несчастной любви, потом, не слушая матери, которая справедливо считает, что неплохо бы ему все-таки малость поработать, отправляется грабить французов (хотя в «Белом отряде» на кону стояла испанская корона, побоища происходили на территории Франции, которую разоряли и грабили все, кто хотел), а в финале, получив хороший выкуп за пленного рыцаря, сам становится землевладельцем и проводит свои дни, попивая эль. Все это замечательно, только не очень легко понять, чем Хордл Джон в лучшую сторону отличается от разбойных йоменов Вальтера Скотта. Должно быть, тем, что грабил не англичан, а французов.

Есть в «Белом отряде» что-то такое, отчего всех тянет на патетику. Джон Диксон Карр, оценивая роман, сказал следующее: «"Мы свободные англичане!" – восклицает Сэм Эйлвард. И в этом правда Сэма Эйлварда. <...> Это была правда и Конан Дойла – воплощения патриотизма и всего того, что делает Англию великой». Отряд наемников за деньги помогает испанцу Педро Жестокому, весьма подлому типу, вновь заполучить Кастилию, в которой он уже натворил немало мерзостей – при чем тут великая Англия, при чем тут патриотизм? И какой вообще во времена Столетней войны был патриотизм? Нельзя понятия XIX века механически переносить на XIV: в те времена люди были преданы своему сюзерену, землякам, единоверцам, но никак не «родине» в ее современном понимании; в частности, на стороне англичан вполне искренне воевали бургундцы и гасконцы. Если в «Михее Кларке» персонажи Дойла сражались, упрощенно говоря, на стороне исторического прогресса, то в «Белом отряде» они заведомо идут биться за неправое и обреченное на поражение дело. (Черный Принц впоследствии возвел Педро на трон, но вознаграждения не получил, Педро был опять свергнут, а Англия в конце концов проиграла Столетнюю войну.) Господи, да что ж так придираться-то? – не выдержит читатель. – Человек просто написал роман. Да не придираемся, а пытаемся понять, прав ли был доктор Дойл, жалуясь, что его работу неверно оценили; не цеплялись бы, если б не его убежденность в том, что он написал не «просто роман», а серьезный исторический труд. И приходим к неожиданному выводу: поскольку, разоряя Францию, Англия тем самым объективно способствовала Жакерии, то можно считать дело Хордла Джона полезным.

Жакерия в романе тоже присутствует, правда, «жаки», в отличие от «джонов», какие-то совсем уж непривлекательные. «Бунтовщики, позабыв о своих врагах, оставшихся в живых, увлеклись грабежом; их возгласы и радостное гиканье разносились по всему замку, когда они тащили оттуда богатые тканые ковры, серебряные фляги, дорогую мебель с резьбой. Полуодетые бедняки, руки и ноги которых были измазаны кровью, расхаживали внизу во дворе, напялив на головы шлемы с плюмажем...» Что же получается – доктор Дойл на словах обещал превознести революционные народные массы, а сам взял да и оклеветал их? Да нет, конечно: он писал чистую правду (нам ли не знать, как делаются революции), писал в соответствии с документальными источниками. Но беллетрист – не историк, а читателям беллетристики одних фактов мало, их нужно убеждать художественными средствами: если уж

Дойл, искренне любивший Францию, хотел вызвать у читателя какое-то уважение или хотя бы жалость к французским народным массам, то мог бы попробовать влезть какому-нибудь бедняку в душу, как делал это Золя, тоже любивший «рисовать картины». А так опять получилось какое-то стадо диких обезьян. Зато честно. Ах, да бог с ними, с этими народными массами, – вновь не выдерживает читатель, – книга-то про рыцарей.

О рыцарях – тоже честно. «Изысканные законы рыцарственности были лишь тонкой пленкой на поверхности жизни, а под ней прятались варварство и звериная жестокость, чуждые милосердию. Это была грубая, нецивилизованная Англия, полная стихийных страстей, искупаемых лишь такими же стихийными добродетелями. Вот такой я и стремился ее изобразить», – написал Дойл в предисловии к «Сэру Найджелу»; это, естественно, относится и к «Белому отряду».

Вальтер Скотт, как мы помним, изображал рыцарей неправильно. А вот как надо делать это честно и правильно. Главный герой «Белого отряда» – рыцарь Найджел Лоринг, маленький, сухонький, внешне комичный человечек, разумеется, отчаянно смелый и с благороднейшей душой, хотя со всеми недостатками, присущими эпохе: и в армию Черного Принца он отправляется из не самых благородных побуждений («И вот поэтому, милая, тем более важно, чтобы я отправился туда, где хорошо платят и где можно взять хорошие выкупы»), и предрассудки других феодалов в отношении крестьян вполне разделяет. Подлинный рыцарь, не романный? Ну. как сказать.

« – Ничего не бойся, прекрасная девица, но скажи, не может ли ничтожный и недостойный рыцарь случайно быть тебе чем-нибудь полезен? Если кто-нибудь жестоко тебя обидел, я мог бы восстановить справедливость».

«– Благодарю небо за милость, мне ниспосланную! Вот уже и представляется мне случай исполнить долг рыцаря и пожать плоды моего благородного решения: несомненно, это стонет какой-нибудь нуждающийся или нуждающаяся, имеющие нужду в моем заступничестве и помощи».

Сэр Найджел каждую фразу начинает со слов «Клянусь апостолом!»; он останавливается на каждом перекрестке, ожидая, не подвернется ли какой-нибудь рыцарь, с которым можно вступить в битву; он интересуется у всех встречных девиц, не надо ли защитить их честь; он дает дурацкие обеты, в частности, заклеивает себе один глаз; он прославляет повсюду свою даму сердца; он ввязывается в бессмысленные поединки только потому, что кто-то кому-то когда-то что-то сказал (между прочим, ничего этого «ненастоящие» рыцари Вальтера Скотта не делают). Вообще-то такой человек уже существует: он, правда, еще не родился в 1366-м, но придумали его задолго до Конан Дойла. Создается впечатление, что сервантесовскую сатиру Дойл воспринял как прямое руководство – точно так же, как Дон Кихот воспринимал рыцарские романы. Собирался вместо романного рыцаря написать настоящего, а получился-то как раз рыцарь из романа, причем из чужого: карикатура на карикатуру. Нет, по сравнению с лубочным сэром Найджелом флегматичный пьяница Ательстан, мрачный стяжатель Фрон де Беф, жестокий Буагильбер и трусливый де Браси – просто торжество психологического реализма. Но ведь сэр Найджел получился симпатичным, разве нет? Да, в общем получился. Он получился точно таким, как тот рыцарь, с которого его беззастенчиво списали. Справедливости ради следует сказать, что собственные находки у Дойла безусловно есть, такие, как трогательные отношения сэра Найджела с женой или очаровательная сцена с укрощением медведя посредством носового платка.

Закончив работу над «Белым отрядом», Дойл писал сестре Лотти: «Итак, возрадуйся вместе со мной, а я так полюбил и Хордла Джона, и Сэмкина Эйлварда, и сэра Найджела Лоринга, как будто узнал их наяву, и чувствую, что все, говорящие по-английски, в свое время тоже полюбят их». «Так они и жили, эти простые, грубые, однако честные и справедливые люди – по-своему веселой, здоровой жизнью». «Я создал точные характеры людей эпохи», – говорил автор о своих персонажах, опять-таки горюя, что публика не оценила этого достижения. Но неблагодарные англичане – а вслед за ними и весь мир – почему-то влюбились в непростого Холмса, балующегося кокаином, а не в простых и грубых героев «Белого отряда».. Аллейн, Эйлвард, Хордл Джон – все они в общем милые (нас давно нет нужды убеждать в том, что Конан Дойл умел создавать обаятельных персонажей), но сказать, что это «точные характеры людей эпохи», решительно невозможно. Это просто ряженые. Причина скорей всего в том, что Дойл слишком увлекся исторической атрибутикой в ущерб как психологической убедительности персонажей, так и их яркости. В итоге и живые люди не очень получились, и на типажи они тоже не тянут, так как в них нет ничего оригинального.

Рискнем предположить, что Конан Дойл напрасно отказался от приема, который всегда был в его исполнении удачен: рассказа от первого лица. Именно оно придавало всем его текстам

прелестное, нежное обаяние, и, повествуй о сэре Найджеле какой-нибудь очередной простодушный рассказчик – да тот же Аллейн Эдриксон, – нам бы казалось, что мы видим живого человека, а не куклу в доспехах. Но и историзм в персонажах «Белого отряда» не очень-то чувствуется – вот в чем парадокс. Когда читаешь «Айвенго» – есть неуловимое ощущение «чего-то старинного». «Белый отряд» такого ощущения не создает.

«Я предпочитаю простой стиль и, насколько это возможно, избегаю длинных слов, и, может быть, из-за этой внешней легкости читатель порой не смог оценить полного объема разысканий, лежащих в основе моих исторических романов», – сказал Конан Дойл с плохо скрытой обидой. Но, может быть, если он хотел, чтоб его разыскания оценили, «избегать длинных слов» как раз и не следовало. Многие писатели, пишущие исторические романы, это очень хорошо осознают и нарочно «старят» текст, используя необычные, нарочито тяжеловесные словарные конструкции, как «старят» произведения живописи, покрывая искусственным слоем патины. В «Петре I» все фразы построены так, как их не строят современные люди: может, и не так говорили современники Петра, но впечатление «старинности» очень убедительно. Умберто Эко в «Имени розы» сознательно утяжеляет, архаизирует текст, чтобы добиться нужного эффекта. Наш Алексей Иванов в своих квазиисторических книгах делает то же самое. Дойл (как и Морис Дрюон с Валентином Пикулем) поступал противоположным образом: упрощал слог. Он не читателя пытался окунуть в XIV век, а XIV век осовременивал, приноравливая к читателю. От того, что его герои на двух страницах восемнадцать раз произносят: «Клянусь эфесом!» и «О, горе мне!», текст «Белого отряда» архаичным все равно не становится. Нет патины, нет трещин. Сам темп повествования у Дойла современный – энергичный и быстрый.

«Несмотря на столь ясное возвращение Ательстана к прежней вялости и обжорству, Седрик занял место против него и вскоре доказал, что хотя мог устремлять все свои помыслы на бедствия родины и забывать о еде, пока не подавали кушанья, но, как только увидел накрытый стол, обильно уставленный кушаньями, так и почувствовал аппетит, наравне с остальными качествами перешедший к нему по наследству от саксонских предков». «Так ловко действовал сэр Найджел на берегу и так быстро Гудвин Хаутейн – на судне, что сэр Оливер Баттестхорн едва успел проглотить последнюю устрицу, как звуки трубы и нагара возвестили, что все готово и якорь поднят». Не вполне корректно, разумеется, сравнивать тексты по переводу – а все-таки разницу в темпе невозможно не почувствовать. За отрезок романного времени, требующегося героям Скотта, чтобы только наложить себе еды в тарелку, герои Дойла успевают ввязаться в какую-нибудь небольшую битву и закончить ее.

Принято говорить, что Конан Дойл был средневековым рыцарем по духу. Оспорить этот тезис трудно, поскольку сам доктор немало произнес слов о своей любви к Средневековью, но все-таки нам кажется, что это заблуждение. Да, в финале «Белого отряда» автор просит Инженера даровать современным людям добродетели рыцарей и йоменов, но сначала он все-таки благодарит Его за избавление от присущих им пороков. Он был человеком до мозга костей современным; певец технического и общественного прогресса, в XXI век он вписался бы лучше, чем в XVI. Очень показателен один эпизод в романе: спиритический сеанс в исполнении леди Тиффен, жены рыцаря Бертрана Дюгесклена, которая в трансе видит... Соединенные Штаты Америки. «Откуда они, эти народы, эти горделивые нации, эти мощные государства, что встают передо мной? <...> Весь мир отдан им, полон стуком их молотов и звоном их колоколов. Они называются разными именами и называются по-разному, но все они англичане, ибо я слышу голоса одного народа. Я переношусь за моря, куда человек еще никогда не плавал, и вижу огромную страну под другими звездами и чужое небо, и все-таки это Англия». Удивительно, что леди Тиффен не явились также автомобиль, электричество и телефон – это было бы вполне в духе доктора Дойла.

Нет, вряд ли бы доктору в Средневековье понравилось. «Варварство и звериная жестокость» всю жизнь угнетали его, религиозного фанатизма, которым были насквозь пропитаны Средние века, он терпеть не мог, крепостничество осуждал, отсутствие гигиены тоже не приветствовал. Что остается? Рыцарские турниры? Но их достойно заменили бокс и регби. Каких таких средневековых добродетелей, по мнению доктора, недоставало англичанам XIX века? Разве что патриотизма. «Может быть, небо вновь потемнеет и затянется тучами. И опять настанет день, когда Англии понадобятся ее сыны, будь то на суше или на море. Неужели они не откликнутся на ее зов?» Это мы уже читали в «Михее Кларке». Нет, все-таки в пацифисты Дойл никак не годился. «Воевать очень интересно.» И тут же он – устами одного второстепенного персонажа, которого Аллейн вынужден защищать от собственных кровожадных товарищей – спорит сам с собой: « – Война! Война! Вечно эти разговоры о войне. <...> Визгливый и скрипучий язык всегда будет напоминать нам о том, что миром правит дубина дикаря, а не рука художника». Бедный доктор Дойл, как же разрывалась, должно быть, временами его душа! На одной чаше весов – врач, бесплатно лечивший бедняков, гуманист (почти абсолютный), либерал (относительный), защитник прав зайцев, разведенных женщин и

коренных жителей Конго, неутомимый проповедник примирения всех религий и наций, человек, убивший полжизни и все свое состояние, добытое литературой, на то, чтобы заклинать и умолять человечество «жить дружно», а на другой – «Воевать очень интересно.». И какой мальчишка скажет, что неинтересно? Это одно из самых сильных противоречий в довольно-таки цельном характере нашего героя. За всю свою долгую жизнь в защиту воинственности он написал ровно столько же, сколько в ее осуждение.

«Михея Кларка», как мы помним, упрекали в отсутствии любовной интриги и интриги вообще. Доктор Дойл отчасти «исправился»: любовная линия в «Белом отряде» есть, и, кстати, очень симпатичная, так как автор, рассказывая о любви Аллейна Эдриксона и Мод Лоринг, не старался рисовать картины эпохи, а передавал непростые отношения между набожным парнишкой, вышедшим из монастыря, и резкой девушкой с мальчишечьими ухватками. Вроде бы появился и конфликт: между добрым Аллейном и его злым братом. Но этот конфликт декларируется, а не изображается. В начале романа этот злой брат прогнал Аллейна, в середине о нем вообще не упоминается, а в конце он ни с того ни с сего взял да и помер. Взаимоотношения между «добрыми» героями, которые в «Михее Кларке» хотя бы поначалу складывались не совсем гладко, упростились до предела. Опять – едут, едут… Доедут до перекрестка – посражаются с кем-нибудь, едут дальше – еще побьются… В «Михее Кларке» с его необычными героями, остроумными диалогами и простодушно-обаятельным стилем было какое-то обещание – обещание, которое не сбылось. «Войны и мира» не получилось. И миф не создался. Получился опять довольно стандартный образец приключенческого чтения, нудноватый для современных детей, слишком наивный для современных взрослых.

Есть, однако, категория взрослых людей, не склонных к романтическому остросюжетному чтению, которым «Белый отряд» доставит большое удовольствие. Это те, кто не питает любви к служителям церкви. Как и в «Михее Кларке», доктор Дойл уделил немало места разоблачению лживых попов и бездельников-монахов и, надо признать, разнес их в пух и прах блистательно и остроумно.

На страницах мемуаров, посвященных «Белому отряду», Дойл написал, что холмсиана незаслуженно затмила его серьезное творчество, то есть историческую романистику, и если б не Холмс, писатель Конан Дойл занимал бы более значительное место в литературе. Набоков по этому поводу сказал следующее: «Я не Конан Дойль, который из снобизма или просто из глупости считал своим лучшим произведением историю Африки, полагая, что она стоит гораздо выше, чем истории о Шерлоке Холмсе». Воля Ваша, Владимир Владимирович, называть простодушие глупостью, но уж снобизма-то никакого не было. Просто доктор, как и многие писатели, затевающие книги «с тенденцией», уж очень заботился о читателе – картины ему рисовал, в каждую детальку носом тыкал, все разъяснял, где белое, где коричневое, – а такая забота, как правило, идет в ущерб тексту. Спор этот старый и никогда, наверное, не кончится: одни писатели непременно хотят обучить человечество разным хорошим вещам – патриотизму, любви к ближнему, вегетарианству, веротерпимости, – и все время терзаются мыслью, как им обустроить Британскую империю или какую-нибудь другую страну. Другие же полагают, что все эти достойные занятия не имеют ни малейшего отношения к искусству и просто идут себе свободной дорогою, куда свободный ум их ведет, предоставляя человечеству решать его проблемы как ему заблагорассудится. Время, как правило, показывает, что по-своему правы те и другие: великими становятся представители как первой, так и второй категории. Наш «развлекательный» Конан Дойл принадлежал скорее к первой. В сущности, он всю жизнь был проповедником и развлекательность путал не столько с познавательностью, сколько с проповедью. Его первой проповедью был «Михей Кларк». В «Загадке Клумбер-холла» он делился с человечеством своими недавно обретенными познаниями о буддизме. В «Белом отряде» он продолжал проповедовать. Он будет заниматься этим в своих художественных текстах регулярно, пока не перенесет свои проповеди в чистую публицистику.

С тем, что холмсиана затмила все остальное творчество Дойла, никто спорить не станет. И даже с тем, что затмила незаслуженно, тоже можно согласиться. Но является ли именно серьезная историческая проза тем, что заслонил Холмс? По нашему мнению – нет. Скорей уж он затмил то другое, что великолепно давалось доктору Дойлу – готику. Нет, Конан Дойл никогда не написал бы «Войны и мира». Но он легко мог написать «Дракулу». Быть может, живи он в наше время, он бы написал «Кристину», «Сияние» и «Зеленую милю».

В любой биографии Конан Дойла можно прочесть, как, завершив работу над «Белым отрядом», он запустил ручкой в стену (чернильные брызги оставили большую кляксу) и воскликнул, как делают современные американцы в кино: «Я сделал это!» Сестре он написал о своем труде: «Первая половина очень хороша. Следующая четверть – удивительно как хороша, а последняя четверть – опять очень хороша». Несмотря на то что Джеймс Пейн ранее забраковал «Михея Кларка», Дойл вновь отправил рукопись прежде всего ему. На сей раз роман очень понравился

– именно Пейн назвал его лучшим историческим романом со времен «Айвенго».

Почему Пейн отверг «Михея» и восхищался «Белым отрядом»? Ответить на этот вопрос так же сложно, как и объяснить, почему издатели отвергали «Капитана „Полярной звезды“» и приняли его близнеца «Хебекука Джефсона». Издатели нередко отвергали одну книгу какого-нибудь писателя, но принимали другую, а потом оказывалось, что и первая годится. Возможно, «Белый отряд» понравился Пейну потому, что был выстроен более классично, с любовным сюжетом; возможно, на него произвела впечатление большая пафосность этой вещи по сравнению с «Михеем»; возможно, XIV век показался ему экзотичнее и интереснее XVII. Не исключено, впрочем, и другое: после того как американец Стоддарт показал, что считает Конан Дойла «ценным кадром», способным приносить прибыль, Пейн побоялся просчитаться и упустить выгодного автора. Без Маркса тут не обойтись: «Писатель является производительным работником не потому, что он производит идеи, а потому, что он обогащает книготорговца, издающего его сочинения...» Так или иначе, «Белый отряд» был сразу же принят для публикации в «Корнхилл».

1890 год вообще оказался для доктора Дойла очень удачным: у Лонгмэна вышел сборник рассказов «Капитан „Полярной звезды“ и другие истории», включавший ранее публиковавшиеся рассказы – это был первый авторизованный сборник Дойла, – а издательством «Чатто и Уиндус» был наконец-то опубликован «Торговый дом Гердлстон». Неожиданно появился дополнительный заработок и по медицинской части: поскольку в Англии недоставало военных врачей, то стали зачислять на военную службу (несколько часов в день) врачей гражданских, платя за это примерно один фунт в день. Работа была несложная, желающих много, вакансий мало. Дойл не стал выдвигать никаких условий, был согласен на любую работу и потому место получил. Синекура продлилась недолго, но обогатила доктора разными забавными впечатлениями. Мэри Луизе исполнился год, она была здоровым и крепким ребенком. В 1890-м портсмутская футбольная команда претендовала на кубок графства Хэмпшир, но проиграла полуфинальный матч; защитника «А. К. Смита», однако, заметили и пригласили выступать за сборную графства. Доктор был счастлив. Он говорил, что у него никогда не было личных амбиций и простые вещи всегда доставляли ему в жизни больше всего удовольствия. «Простые вещи» – это работа, жена, маленькая Мэри Луиза, футбол, крикет, политика. И вдруг он посреди этого счастья взял да и перевернул всю свою жизнь.

В октябре 1890 года немецкий микробиолог Роберт Кох, профессор Берлинского университета и директор Института гигиены, объявил, что готов представить доклад об открытии туберкулина – вещества, продуцируемого туберкулезной бациллой и способного излечивать туберкулез. От чахотки в XIX веке умирало огромное множество людей, зачастую совсем молодых. Умерла молодой и Элмо Уэлден, девушка, в которую был когда-то влюблен Артур. Доктор Дойл никогда не интересовался туберкулезом профессионально, более того, в мемуарах он написал, что «никогда особенно не интересовался последними достижениями в области своей собственной профессии и был глубоко убежден, что значительная часть так называемого прогресса – не более чем иллюзия». Высказывание на первый взгляд ужасно странное для человека, который а) обожал всяческий прогресс и б) постоянно испытывал на себе с риском для жизни новые лекарства. И тем не менее оно свидетельствует не о ретроградстве доктора Дойла, а лишь о наличии у него большого количества здравого смысла.

В XIX веке (да и не только в XIX) повсеместно существовало невероятное количество шарлатанов от медицины, тянущих из несчастных людей деньги; в частности, был очень популярен граф Маттеи, который объявил, что берется излечивать абсолютно все болезни при помощи «красного, белого и желтого электричества». К электричеству его снадобья не имели ни малейшего отношения: то была подкрашенная вода, якобы извлеченная из растений «электрическим методом». Врачи возмущались, в том числе, кстати, и русские врачи, писали статьи в серьезные журналы, но все было бесполезно: народ к Маттеи валом валил. Дойла это приводило в бешенство.

Однако прогресс доктора на самом деле очень интересовал, он был открыт всему новому и доверчив; его вдруг «охватило непреодолимое желание отправиться в Берлин и увидеть, как Кох это сделает». Дойл собрался в Берлин в тот же день, как прочел сообщение о готовящемся докладе. Он не хотел просто сидеть среди толпы слушателей, а был твердо намерен повстречаться с Кохом лично. Он заехал в Лондон и там встретился с Уильямом Стидом, издателем журнала «Обзор обзоров» («Review of Reviews»). Стид, с которым судьба будет сводить Дойла неоднократно, был личностью известной и незаурядной: радикал, пацифист, русофил, ездивший в Россию, лично общавшийся с Львом Толстым и разделявший его идеи, филантроп, писавший много острых статей о социальных проблемах и издававший дешевые книги для бедных; при этом он был убежденнейшим спиритом и с 1893 по 1897 год выпускал ежеквартальный журнал «Бордерленд», посвященный спиритическим вопросам –

разбрасывающийся был человек, и Бернард Шоу как-то назвал его «абсолютным невеждой». По просьбе Дойла Стид снабдил его рекомендательными письмами – правда, не к самому Коху, а к британскому послу в Берлине и британскому корреспонденту «Таймс». Стид, в свою очередь, попросил Дойла написать материал о Кохе. В «Обзоре обзоров» только что была опубликована восхищенная статья о графе Маттеи, так что поручение вызвало у доктора кривую усмешку.

По дороге в Берлин он познакомился с лондонским врачом-дерматологом Малькольмом Моррисом, также ехавшим на доклад Коха. Попасть на аудиенцию ни к Коху, ни к его помощнику Бергману не удалось, так велик был ажиотаж; невозможно было даже попасть на сам доклад – пришлось давать швейцару взятку. В фойе Дойл попытался заговорить с Бергманом, но тот очень резко ответил, что не собирается тратить время на болтовню со «всякими там». «Может быть, вам угодно занять мое место? – заорал он, приходя в состояние безумного возбуждения. Он снова кинул на меня свирепый взгляд и, выставив вперед бороду и сверкая очками, устремился вперед». Мы потому остановились на этом незначительном эпизоде, что он детально повторится в сцене, когда молодой репортер Мелоун приходит брать интервью у профессора Челленджера; означает ли это, что Бергмана нужно заносить в прототипы? Да нет, это был просто штрих, который вдруг вспомнился писателю в нужный момент.

Прослушав доклад, Дойл пришел к выводу, что открытие Коха находится еще на стадии эксперимента и говорить о туберкулине как о лекарстве очень рано; вместо хвалебной статьи для Стида он написал в «Дейли телеграф» письмо, выражающее его сомнения. Интересно, что он, не являясь специалистом в данной области, был в общем прав: дальнейшие клинические испытания показали, что туберкулин не обладает терапевтическим эффектом и провоцирует токсические реакции.

Вернувшись спустя пару дней в Саутси, Дойл, по его словам, «был уже другим человеком»: он «расправил крылья и почувствовал в себе некую новую силу». С чего это вдруг? Оказывается, так сильно повлиял на доктора его новый знакомый, Малькольм Моррис. Он убедил Дойла (за дорогу от Лондона до Берлина) в том, что ему следует бросить практику, не киснуть в провинции, переехать в столицу и стать профессиональным писателем. Дойл сперва пытался слабо возражать, но энергии и напору нового товарища противостоять не мог. Надо думать, слова Морриса в точности соответствовали его собственным тайным устремлениям. Не исключено, что отчасти сыграла свою роль и его вечная мечта поселиться бок о бок (ну, хотя бы в одном городе) с верным другом-единомышленником: в Саутси он обзавелся десятками, если не сотнями, добрых знакомых и приятелей, но всё это было не то. Моррис, узнав об интересе Дойла к офтальмологии, посоветовал ему поехать в Вену (тогдашний центр изучения глазных болезней) и, повысив свою квалификацию, устроиться в Лондоне уже в качестве окулиста, а не врача широкого профиля. Остается только изумляться, как моментально Дойл последовал совету человека, которого видел впервые в жизни: разговор состоялся в последних числах октября 1890-го, а в конце декабря он уже навсегда покидал Саутси, где провел восемь лет!

Луиза была согласна ехать куда угодно и когда угодно. Практику доктор не продал – так мала она была, – а просто «ликвидировал дело». Сбережения его составили на момент отъезда 400—500 фунтов. (Несколько месяцев спустя он «по совету друга вложил их в дело» – деньги пропали. К сожалению, неизвестно, какой это был друг – уж не Моррис ли? – и какое именно дело; доктор Дойл будет заниматься различным предпринимательством до конца своей жизни и в основном с тем же успехом.) Попрощался со всеми знакомыми. Портсмутское литературно-научное общество с доктором Уотсоном во главе устроило в честь Дойлов прощальный банкет. Мэри было решено оставить у бабушки (матери Луизы). И отправились в Вену. Рассчитывали пробыть там полгода. Подыскали недорогой пансион. Дойл записался на курс лекций по глазным болезням. Увы, поездка себя не оправдала. Лекции читались по-немецки, а немецкий доктор понимал, как оказалось, недостаточно хорошо, чтоб усваивать профессиональный материал. «Безусловно, „учился в Вене“ звучит отличной профессиональной рекомендацией, но при этом обычно само собой разумеется, что перед тем, как ехать за границу, человек постиг все что можно в своей собственной стране, чего никак нельзя было сказать обо мне», – весьма самокритично написал Дойл в своих мемуарах. Вена, однако, ему понравилась: зимний спорт, штрудель, новые знакомства. Дойлы подружились с английской четой Ричардсов (венский корреспондент «Таймс» и его жена). Деньги к тому времени еще не пропали, но тратить их Дойл не хотел и для заработка прибегнул к обычному способу: быстренько написал роман. Об этой вещи он отзывался крайне пренебрежительно, а между тем это был его первый опыт в жанре «чистой» фантастики – «Открытие Раффлза Хоу» («The Doings of Raffles Haw»).

В маленьком городке живет семья Макинтайров: отец-алкоголик и его двое детей. Сын – художник, чьи работы не имеют успеха. Дочь помолвлена с честным молодым моряком. Вдруг

по соседству с ними селится Раффлз Хоу, сложный и загадочный человек, открывший способ изготавливать золото в неограниченных количествах. Девушка бросает жениха ради денег Хоу, который ее полюбил; брат ее перестает работать, так как Хоу помогает ему материально; отец, прикоснувшись к чужому богатству, спивается вконец. Золото Хоу губит всякого, кого он хочет осчастливить. «Благотворительность, которую он так тщательно обдумывал, словно бы пропитала отравой все окрестные селения». В конце концов несчастный Хоу гибнет; финал вообще очень мрачный, что для крупных вещей Дойла несвойственно.

«Открытие Раффлза Хоу» вовсе не плохой роман. Он гораздо интереснее и психологически убедительнее, чем какая-нибудь «Тайна Клумбер-холла»; он продолжает тенденцию «Гердлстонов» – попытка найти романтику в неромантичном. Но Дойл эту линию отверг. То ли ему казалось, что романтики в его тексте слишком мало, то ли отсутствие перестрелок и драк, по его мнению, делало книгу скучной, то ли он уже понимал ясно, что его самая сильная сторона – создание обаятельных, ярких и симпатичных героев, – а в «Раффлзе Хоу» их не было, – так или иначе он назвал свою работу «не слишком значительной» и дал понять, что написал ее исключительно ради денег, тех самых, чью злую власть пытался разоблачить. В «Корнхилл» ее не взяли, удалось пристроить в журнал «Полезные советы Альфреда Хармсуорта», где ее начнут печатать в декабре, а «Касселс» опубликует отдельным изданием лишь на будущий год. Не пришло еще то время, когда за рукописями доктора будут выстраиваться в очередь.

Полгода Дойлы за границей не прожили: уже в марте стало ясно, что затея не удалась и надо возвращаться. В апреле 1891 года семья отбыла из Вены. Заехали в Париж (дедушки Мишеля, к сожалению, уже не было в живых), где Дойл в течение нескольких дней консультировался у известного французского окулиста Ландоля (французский язык доктор знал лучше немецкого), затем вернулись в Англию. Вызов Растиньяка теперь был брошен куда более серьезному противнику, чем маленький Саутси: «Как здорово было снова оказаться в Лондоне, чувствуя, что теперь мы действительно ступили на поле битвы, где должны были либо победить, либо погибнуть, поскольку все мосты за нами уже сожжены».

Первоначально Дойл с женой сняли небольшую меблированную квартиру на Монтегю-плейс, 23. Из Саутси к ним приехали миссис Хоукинс, мать Луизы, и маленькая Мэри Луиза. Дойл был уверен, что найдет работу окулиста. У него было продумано всё до мелочей: хотя окулистов в Лондоне пруд пруди, у них зачастую нет времени на длительные обследования пациентов, которые необходимы, например, для лечения астигматизма, а сам Дойл как раз в этом и специализировался. Доктор рассчитывал, что если он откроет свой кабинет поблизости от других окулистов, они будут «подбрасывать» ему пациентов с астигматизмом.

Он арендовал за 120 фунтов в год помещение из двух комнат по адресу Девоншир-плейс, 2, в начале Уимпол-стрит. Приходил в свой кабинет в десять утра и сидел там до четырех пополудни. Но, видимо, в его (и Малькольма Морриса) расчеты вкралась какая-то ошибка: пациентов не было. Слишком узкую специализацию выбрал доктор Дойл. Он был всерьез обеспокоен; вероятно, даже впал в отчаяние. От безделья и тоски у него, как у любого литератора, всегда было одно лекарство: писать. Он уже восстановил творческие силы после «Белого отряда» и обдумывал новый исторический роман, продолжение «Михея Кларка», действие которого будет происходить в Канаде, где как раз кстати поселился Децимус Саксон, а Михей мог приехать к нему, чтобы вместе отражать нападения кровожадных индейцев. Но непосредственно приступить к написанию этого романа он был еще не готов, а может быть, слишком нервничал из-за отсутствия постоянного заработка.

Постоянный, регулярный доход: если не получается с медициной, может быть, это возможно в литературе? И еще тут должна помочь железная дорога. С ростом массовых поездок на пригородных поездах (с работы и на работу – каждый день) появилась необходимость предоставлять чтение пассажирам; Англия была как никогда прежде наводнена периодикой. Печатать истории с продолжениями из номера в номер было для журналов той поры уже самым обычным делом (и «Белый отряд» так печатался), но Дойлу казалось – и совершенно справедливо, – что такие публикации не очень-то удобны: рано или поздно любой читатель пропустит номер или два, и романист потеряет читателя, а журнал – покупателя.

«Совершенно очевидно, что идеальным компромиссом был бы постоянный герой, но в каждом номере должен быть законченный рассказ, чтобы читатель точно знал, что сможет читать весь журнал». Рассказы, естественно, должны быть остросюжетными, а герой – скорее всего сыщиком. Конан Дойл был убежден, что ему первому пришла в голову такая идея, и эта убежденность передалась многим биографам. Вообще-то первым он не был. Писатель Мэддок в 1888 году уже публиковал серию коротких рассказов (потом объединенных в сборник) о сыщике Дике Доноване в журнале «Данди уикли ньюс»: его героя-суперагента считают предтечей Джеймса Бонда. Неизвестно, читал ли Конан Дойл эти рассказы до того, как

задумал свою серию, но он безусловно читал их после, так как они с Мэддоком печатались в одном и том же журнале и были знакомы. Сперва он думал о том, чтобы сочинить нового сыщика, но очень быстро от этой идеи отказался: Холмс вполне годился на роль. В конце марта доктор Дойл начал писать «Скандал в Богемии» («A Scandal in Bohemia»), вещь несколько странную для саги об идеальном сыщике, поскольку это – история поражения, а не победы Холмса (певец проигранных сражений верен себе), вещь, где на первой же странице появляется Россия в лице убиенного Трепова и в первых же строках дается определение Холмса как «самой совершенной мыслящей и наблюдающей машины» с «холодным, точным и уравновешенным умом», ненавидящей человеческие чувства – определение, полностью опровергаемое всеми холмсовскими рассказами, в том числе и этим.

Предлагать проект в «Корнхилл» не имело смысла: журнал был слишком серьезен, а Пейн слишком консервативен. Для реализации замысла нужно было благоприятное стечение обстоятельств. И оно случилось: устремления троих (а точнее, четверых) разных людей сошлись в одной точке. Даже страшно подумать, что могло бы быть, если б эти четверо не встретились.

В 1891 году издатель Джо Ньюнес организовал новый литературно-художественный журнал, который он назвал «Стрэнд», что подразумевало центральную улицу Лондона, с подзаголовком «Иллюстрированный ежемесячник» («An Illustrated Monthly»). Редакция журнала располагалась, правда, в другом месте, на Саутгемптон-стрит, но на обложке был изображен Стрэнд с домами, кебами и вывесками, причем художники-иллюстраторы каждый раз рисовали его по-иному: в различное время года, в разную погоду, оживляя пейзаж забавными уличными сценками. «Стрэнд» позиционировался как журнал «для семейного чтения», более дешевый и более удобочитаемый, чем обычные литературно-художественные журналы: для Британии это было ново, но в США подобные издания уже существовали и имели успех. Ньюнес позднее говорил, что американские журналы вытесняли английские, потому что были живее, ярче, доступнее. В его новом журнале должны были публиковаться короткие рассказы и статьи, а также – много картинок. Иллюстрациям в «Стрэнде» уделялось громадное внимание: Ньюнес требовал, чтобы картинка имелась как минимум на каждой второй странице – это притом что искусство фотографии и гравировки находилось в зачаточном состоянии и иллюстрации требовали больших затрат. Он рассчитал в общем верно: иллюстрации всегда оживляют и привлекают внимание. «Ежемесячный журнал ценой в шесть пенсов, а ценностью в шиллинг» – таким был рекламный слоган «Стрэнда».

Ньюнес, однако, не собирался в придачу к картинкам печатать что попало: он был не только дельцом, но и искренним ценителем литературы. В журнале должна была присутствовать проза не то чтобы высокоинтеллектуальная, но первоклассного качества. «Стрэнд» сразу попытался привлечь авторов, которые могли бы такую прозу давать: Стивенсона, Гранта Аллена, Джеймса Барри, Роберта Барра. Впоследствии там публиковались Уэллс, Жюль Верн, Грэм Грин, Агата Кристи, П. Г. Вудхаус, Олдос Хаксли, Киплинг, Эдгар Уоллес, Уинстон Черчилль, а однажды даже сама королева Виктория – правда, то был не текст, а рисунок. Большое внимание уделялось переводной литературе.

Первый номер «Стрэнда», датированный январем 1891 года, вышел в свет под Рождество; его раскупили за две недели, тираж трижды допечатывался. Ранние тиражи составляли в среднем 200 тысяч экземпляров. Среди материалов были, в частности, переводы Альфонса Доде, Вольтера, Пушкина и Лермонтова. Вскоре – во многом благодаря нашему герою – тиражи выросли до 300—400 тысяч, потом до полумиллиона. Это был необыкновенный и постоянный успех.

Первым литературным редактором «Стрэнда» стал выпускник Кембриджа Герберт Гринхоф Смит (он оставался на этом посту до 1930 года), сам пишущий рассказы: именно он отбирал материалы для публикации. В это же самое время в Лондоне жил еще один известный человек – Александр Поллок Уотт. Еще в 1875 году он начал заниматься посредничеством между авторами и издателями, а когда увидел, что дело это выгодное, то в 1881-м организовал первое в мире литературное агентство: в отличие от «Стрэнда» оно без перерыва функционирует по сей день, имея на своем счету не только букеровских, но и нобелевских лауреатов. Александр Уотт был агентом Сомерсета Моэма, Рафаэля Сабатини, Марка Твена, Уэллса и еще великого множества писателей как первого, так и не первого ряда.

Некоторые писатели считают Уотта человеком, который положил начало их бессовестной эксплуатации, другие ему благодарны: далеко не всякий способен обивать пороги редакций, выслушивать отказы, не падая духом, нахваливать свою работу и свирепо торговаться, добиваясь хоть мало-мальски приемлемой платы за нее; людей застенчивых и робких все это убивает. Конан Дойл уже не являлся новичком в литературе и не был слишком робок, но и его подобные переговоры угнетали; он предпочитал быть ограбленным хотя бы без унижений и

хлопот. Дойл познакомился с Уоттом еще до поездки в Вену и теперь обратился к нему за помощью. Гринхоф Смит тоже обращался к Уотту – в поисках подходящих материалов для «Стрэнда». Уотт предложил Смиту уже упоминавшийся юмористический рассказ Конан Дойла «Голос науки». Рассказ был принят и напечатан (неавторизованным) в мартовском номере журнала, когда Дойла еще не было в Лондоне; гонорар составил четыре фунта за тысячу слов. В этом же номере, кстати, появился и первый для «Стрэнда» детективный рассказ, но он был написан не Конан Дойлом, а Грантом Алленом. А в первых числах апреля Уотт, проведя предварительные переговоры с Дойлом, отдал в «Стрэнд» «Скандал в Богемии» и сообщил, что автор готов делать серию.

Смит, в свою очередь, посовещался с Ньюнесом; рассказ им очень понравился, и они нашли идею удачной. За «Скандал» назначили гонорар в 30 фунтов 12 шиллингов. Тотчас же Дойлу через Уотта было сделано предложение написать цикл из шести рассказов. Плату предложили очень хорошую: 35 фунтов за рассказ. Дойл принялся за работу с энтузиазмом и делал ее, можно сказать, запоем; в среднем его дневная норма составляла три тысячи слов. К 10 апреля он написал «Установление личности» («A Case of Identity»), к 20-му – «Союз рыжих» («The Red-Headed League»), к 27-му – «Тайну Боскомской долины» («The Boscombe Valley Mystery»). В последних числах апреля он начал писать «Пять апельсиновых зернышек» («The Five Orange Pips»), рассчитывая, как обычно, успеть за неделю.

Утром 4 мая доктор, как всегда, отправился в свой врачебный кабинет – он еще не потерял надежду увидеть пациентов, да и работалось ему там ничуть не хуже, чем дома, если не лучше, – как вдруг его, почти никогда ничем не болевшего, прямо на улице свалил приступ инфлюэнцы, то бишь гриппа. Некоторые биографы видят в этом некий перст судьбы, да и сам Дойл говорил о вмешательстве Провидения, тут же, впрочем, прозаично замечая, что в Лондоне была эпидемия. От гриппа, бывает, умирают и теперь. Тогда умирали часто – антибиотики еще не появились. Мог умереть и доктор Дойл, как умерла его сестра Аннет. «Я не помню ни боли, ни особого недомогания, никаких бредовых видений, но неделю я находился в серьезной опасности, а затем стал слабым и чувствительным, как ребенок, но сознание мое оставалось кристально ясным». Эта болезненная ясность сознания помогла ему трезво взглянуть на свое будущее. За аренду кабинета на Девоншир-плейс платятся большие деньги, а пациентов неопытному окулисту никогда не дождаться. Ну так зачем они, если уже есть другой способ регулярно зарабатывать, причем зарабатывать много? «С дикой радостью я решил сжечь за собой мосты и полагаться отныне только на свои писательские силы. Помню, как в порыве восторга я схватил бессильной рукой лежавший на одеяле носовой платок и от переполнявших меня чувств подбросил его к потолку». Хорошо, что на сей раз доктор швырял не ручку с чернилами! «Я стану наконец сам себе хозяин! Не надену больше белого халата и не буду стараться никому угодить. Буду волен жить как хочу и где хочу».

Глава первая

ПОСТОЯННЫЙ ПАЦИЕНТ

Психологи утверждают, что эмоциональное состояние больного сильно влияет на течение болезни. Доктор Дойл почувствовал себя абсолютно счастливым и довольно быстро начал выздоравливать. В мемуарах он говорит, что принял решение бросить медицину в августе 1891 года, но все биографы убеждены, что это ошибка, так как решение определенно было принято в период болезни, а к августу он был уже абсолютно здоров. Наверное, ошибся, хотя могло быть и так: в мае был чисто импульсивный порыв, а осознанное решение принималось постепенно. Но, во всяком случае, уже в июне, закончив и отослав Гринхофу Смиту «Пять апельсиновых зернышек», доктор начал подыскивать для своей семьи приличный загородный дом.

25 июня Дойлы съехали из меблированных комнат. Их новое жилище находилось в Южном Норвуде, пригороде Лондона (поблизости от Суррея, где поселится ушедший на покой Холмс), по адресу: Теннисон-стрит, 12. В маленькой повести «За городом» («Beyond the City») Дойл описал эту местность: «В начале прошлого столетия здесь, в деревне, почти не было домов, кроме шести или семи таких коттеджей, разбросанных по склону возвышенности. Когда ветер дул с севера, то вдали был слышен глухой шум большого города, – шум прилива жизни, как на горизонте можно было видеть темную полосу дыма – ту пену черного цвета, которая поднималась кверху при этом приливе. По мере того как проходили года, город стал строить то тут, то там каменные дома; дома эти то уклонялись в стороны, то строились дальше по прямой линии, то соединялись в целые группы, так что, наконец, маленькие коттеджи были совсем окружены этими кирпичными домами и исчезли для того, чтобы уступить место дачам позднейшего времени». Дом из красного кирпича с белой крышей, купленный Дойлами, стоял уединенно, при нем был большой заросший сад. Многое надо было перестраивать и пристраивать. Но местность была великолепная, во всяком случае летом. Свежий воздух, зелень, идиллия, никакого смога. Луиза, ее мать и малышка Мэри Луиза были в восторге. Тотчас купили велосипеды для прогулок. Лето прошло в приятнейших хлопотах. Дойл написал последний, как он думал, рассказ о Холмсе – «Человек с рассеченной губой» («The man with the twisted lip»).

Между тем в июле «Стрэнд» опубликовал «Скандал в Богемии», в августе – «Союз рыжих», в сентябре – «Установление личности». Уже по этим трем рассказам стало очевидно, что проект удался. Читатели были в восторге: Холмс оказался именно тем персонажем, что нужен для «семейного чтения». Тираж «Стрэнда» увеличился уже после июльского номера. Как-то раз Дойл переплывал Ла-Манш на пароме и отметил, что чуть не все пассажиры держали в руках свежий номер журнала. «Раньше англичанина за границей узнавали по костюму. Теперь будут узнавать его по журналу „Стрэнд“ в руках».

У Ньюнеса было шесть холмсовских рассказов: Конан Дойл не предполагал писать их больше, но «Стрэнд» настаивал на продолжении. Скажем сразу, что Дойл был самым популярным автором «Стрэнда» – и самым прибыльным. С 1891-го по 1930-й редкий выпуск журнала обходился без его рассказов или статей.

В газете «Лондон иллюстрейтед ньюс» публиковались иллюстрации художника Уолтера Пейджета; они понравились художественному редактору «Стрэнда» Буту, и тот рекомендовал Пейджета Ньюнесу. Письмо с предложением Пейджету иллюстрировать рассказы Конан Дойла по ошибке попало к его старшему брату Сиднею, тоже художнику. Рисовать Холмса стал Сидней, а в качестве модели он по иронии судьбы выбрал своего брата Уолтера, худощавого, высокого, красивого (не слащавой, а «благородной» красотой) и, как решил Сидней, прочитав рассказы, похожего на Холмса. Иллюстрации понравились Ньюнесу и Буту, но не доктору Дойлу. Он задумывал Шерлока кем угодно, только не красавцем. Но читателям и в особенности читательницам образ, созданный Пейджетом, пришелся по душе (всего Пейджет сделал 356 рисунков к 38 произведениям Дойла, прежде чем умер в 1908 году).

История, не знающая сослагательного наклонения, не может дать нам ответа на вопрос, что было бы, если б Холмса нарисовали уродом. Скорей всего, ничего бы не изменилось, ведь смешного коротышку Пуаро и толстяка Ниро Вульфа тоже полюбили. Для народной любви, в том числе и дамской, красота совсем не обязательна. Во всяком случае, доктор (бывший доктор, строго говоря, но уж очень ему подходит это определение) Дойл был недоволен, но возражать не посмел: несмотря на свою популярность и востребованность, он все еще сильно робел перед издателями.

В начале октября 1891-го Смит и Ньюнес насели на Дойла, требуя написать еще шесть холмсовских рассказов. Доктор колебался. Первую полудюжину он написал легко, но теперь

сюжеты, казалось ему, иссякли. И он очень хотел наконец взяться за свой роман о канадских гугенотах, материалы для которого собирал все лето; в основу на сей раз были положены работы американца Фрэнсиса Паркмена, исследовавшего историю борьбы французов за господство в Новом Свете, а также мемуары придворных Людовика XIV. К тому времени уже появились рецензии на «Белый отряд» – исключительно хвалебные, но, как уже говорилось, хвалили автора не совсем за то, за что бы ему хотелось. Проповедь патриотических чувств, кстати сказать, оценили – такие вещи ценят всегда и везде, – но серьезным историческим трудом роман признавать никто не хотел. Сэр Найджел потерялся в тени Холмса. Дойл надеялся, что этого не произойдет с Децимусом Саксоном и Михеем Кларком, но «Стрэнд» настаивал на своем. Любому писателю хочется писать то, что хочется, а не то, что нужно; с другой стороны, деньги тоже были нужны, как любому человеку, обустраивающемуся в новом жилище. Посовещавшись с Уоттом, Дойл запросил непомерно высокий, как он думал, гонорар: 50 фунтов за рассказ, независимо от размера. Он говорил впоследствии, что заломил несусветную цену нарочно, рассчитывая, что его оставят в покое. Вряд ли этому стоит верить: может, доктор Дойл и был готов к тому, что «Стрэнд» отвергнет его требования, но Уоттто прекрасно понимал, что этого не будет. Ньюнес, разумеется, ответил немедленным согласием.

В середине октября доктор Дойл засел за вторую полудюжину рассказов и завершил ее к декабрю. Эта серия включала в себя «Голубой карбункул» («The Adventure of the Blue Carbuncle»), «Пеструю ленту» («The Adventure of the Speckled Band»), «Палец инженера» («The Adventure of the Engineer's Thumb»), «Знатного холостяка» («The Adventure of the Noble Bachelor»), «Берилловую диадему» («The Adventure of the Beryl Coronet») и «Медные буки» («The Adventure of the Copper Beeches»). Вместе с рассказами, написанными ранее, они потом составят первый из пяти сборников: «Приключения Шерлока Холмса» («The Adventures of Sherlock Holmes»). Он выйдет в издательстве Ньюнеса в октябре 1892-го; Ньюнес будет первым издавать и все последующие сборники.

Примерно с этого момента Дойл начал постепенно упрощать обоих своих героев, превращая их в штамп. В самых первых рассказах Холмс – так же, как в «Знаке четырех», – философствовал, говорил об искусстве, обнаруживая эрудицию и вкус. В «Союзе рыжих» он слушал музыку с мягкой улыбкой на лице, с «влажными, затуманенными глазами»; он цитировал письмо Флобера к Жорж Санд – разумеется, на языке оригинала. В «Установлении личности» он произносил следующую тираду: «Если бы мы с вами могли, взявшись за руки, вылететь из окна и, витая над этим огромным городом, приподнять крыши и заглянуть внутрь домов, то по сравнению с открывшимися нам необычайными совпадениями, замыслами, недоразумениями, непостижимыми событиями. вся изящная словесность с ее условными и заранее предрешенными развязками показалась бы нам плоской» (образованный читатель должен был сразу вспомнить «Хромого беса» Лесажа) – и там же поминал поэзию Хафиза. Но чем дальше, тем реже он будет иллюстрировать свои мысли изящными цитатами и рассуждать об отвлеченных предметах. Доктор Уотсон в ранних рассказах довольно подробно говорил о своей семейной жизни, и у миссис Уотсон – в «Человеке с рассеченной губой», например, – даже намечалось что-то вроде характера. Эта линия постепенно сошла на нет. Все отвлеченное, постороннее стало отбрасываться. Дойл поступал так вполне осознанно. Масштаб повести требовал излишеств; масштаб рассказа – по мнению доктора – их не допускал. Дойл считал, что «любой дополнительный штрих просто снижает эффект».

Была, очевидно, и другая причина такого упрощения. Ньюнес делал свой «Стрэнд» как журнал для всех, для среднего читателя, «для здоровой британской семьи»: то, что пишется для всех, должно быть как можно проще, приглаженней. Здоровой британской семье может не понравиться, что герой употребляет наркотики: лучше не упоминать об этом. Средний человек не знает, кто такой Хафиз – выкинуть и Хафиза.

Иногда говорят, что Дойл писал эту часть холмсовских рассказов (включающую, между прочим, такой шедевр, как «Пестрая лента») спустя рукава – лишь бы отделаться. Но он ни к какой работе никогда не относился подобным образом. Работал он каждый день, без выходных. Сменил режим: теперь, когда не нужно было никуда уходить из дому, писал с восьми утра до полудня, потом прогуливался с Луизой, обедал, снова гулял, в пять вечера опять садился и писал либо до ужина, либо совсем допоздна. В этот период его обожаемый братишка Иннес, который всегда, сколько себя помнил, хотел стать военным, начал обучаться в Королевском военном училище (куда поступил после окончания колледжа в Ричмонде) недалеко от Лондона – в Вулвиче, и они могли часто видеться (доктор оплачивал обучение брата). Он также предложил Конни, у которой закончилась работа, не искать нового места, а поселиться вместе с ним, и та приехала в Норвуд; теперь Артура окружали уже не три, а четыре женщины, если считать маленькую Мэри Луизу. Его это ничуть не угнетало, напротив, он хотел собрать вокруг себя всю семью; он ежемесячно высылал деньги матери, а Лотти, которая всё еще работала экономкой в Португалии, приглашал бросить место и жить с ним в Норвуде. Лотти примет приглашение на будущий год, но Мэри Дойл, которую тоже

приглашали, к сыну не переедет. Были ли причиной тому Брайан Уоллер или слишком крутой характер Мэри – судить трудно. Мать и сын, без сомнения, были необычайно сильно привязаны друг к другу. Матери первой Конан Дойл посылал абсолютно все свои рукописи, советовался с ней по любому вопросу, серьезно принимал ее критические замечания. Но существует такая любовь, которая требует некоторой дистанции. Если выражаться без обиняков, Мэри была деспотом, а деспотизма (чужого) Артур Дойл не терпел.

Осенью в Норвуде, как в любой дачной местности, оказалось не так уютно: дули страшные ветра, лил дождь, но прогулки были обязательны. К 11 ноября доктор закончил «Берилловую диадему» и почувствовал, что в очередной раз выдохся. Именно тогда, а вовсе не после смерти своего отца, как иногда утверждается, он впервые стал задумываться о том, что пришла пора расстаться с Холмсом. Матери он написал: «Я думаю убить Холмса и покончить с этим. Он отвлекает мои мысли от лучших вещей».

Между биографами и холмсоведами по сей день не завершился спор: одни считают, что Конан Дойл уже в 1891 году возненавидел Холмса, другие – что он любил его до самого конца. То и другое утверждения подробнейшим образом доказываются. Спор не угаснет никогда; истина, скорей всего, лежит где-то посередине. Любому писателю, у которого есть постоянные или просто долго живущие персонажи, случается временами любить, а временами не любить их. И Пушкину Онегин иногда надоедал. Человеку творческому (да и любому) тяжело делать все время одно и то же, причем, что самое главное, с быстротой конвейера. «Стрэнд» не давал Дойлу вздохнуть свободно, и это, естественно, раздражало его, как раздражало бы всякого; если бы рассказы о Холмсе требовалось поставлять не раз в месяц, а раз в год, Конан Дойл наверняка отнесся бы к этой работе гораздо спокойнее. «Я решил, что, раз теперь у меня нет больше оправдания, заключавшегося в полной зависимости от денег, я никогда больше не стану писать ничего, что не соответствует высшему уровню моих способностей, и, следовательно, не стану писать рассказов о Холмсе, если у меня не будет стоящего сюжета и проблемы, действительно занимающей мой ум, потому что это – первое условие, чтобы заинтересовать кого-нибудь другого». Никакой злобы на персонажа тут нет, а есть обыкновенная порядочность (и разумный расчет) литературного работника, который не хочет скатываться на уровень халтуры и портить свою репутацию.

Мэри Дойл, такая же страстная поклонница Холмса, как и читатели «Стрэнда», была в гневе и настаивала на том, что холмсиана должна быть продолжена; считается, что именно она подсказала сыну сюжет «Медных буков». За это время «Стрэнд» опубликовал «Тайну Боскомской долины» в октябрьском номере и «Пять апельсиновых зернышек» – в ноябрьском. «Человек с рассеченной губой» вышел в декабре; Дойл отдал новые рассказы и, считая себя свободным, приступил наконец к роману – «Изгнанники» («The Refugees. A tale of two continents»).

Роман получился на редкость неудачным. В нем не оказалось ни Михея Кларка, ни Децимуса Саксона, зато были Людовик XIV и его фаворитки; замечал это доктор или нет, но роман от первой до последней строки оказался написанным «под Дюма».

«– Но, я думаю, вы неправы, Расин.

– Увидим.

– И если вы ошиблись...

– Ну, что же тогда?

– Тогда дело для вас примет серьезный оборот.

– Почему?

– У маркизы де Монтеспан отличная память».

Но чтобы писать, как Дюма, надо обладать его легкостью, блеском и размашистостью; у Конан Дойла этих качеств не было. Его описания взаимоотношений между мадам де Монтеспан и мадам де Ментенон, занимающие полромана, настолько скучны, что даже говорить об этом не хочется. Главный герой, однако, вышел не так плохо, хотя он тоже написан под Дюма. Это Амос Грин, всю жизнь воевавший в Канаде со злыми индейцами и приехавший по делу в Париж, где все ему кажется странным.

«—Я стащил кучера в канаву и переоделся в его одежду и шляпу. Я не скальпировал его.

– Скальпировать? Великий боже! Да ведь такие вещи случаются только среди дикарей.

– А! То-то я подумал, что это не в обычаях здешней страны. Теперь я рад, разумеется, что не проделал эту операцию».

У Амоса Грина есть друг, Амори де Катина, молодой офицер-гугенот, с которым они совершают вместе ряд довольно дурацких подвигов; после отмены Людовиком Нантского эдикта (которым Генрих IV даровал гугенотам свободу вероисповедания) семье Амори становится опасно оставаться во Франции, и они уезжают в Канаду. Кораблекрушение, злоключения, скальпирование, томагавки, пытки, злобные ирокезы, метисы – исчадия ада, добрая старая индианка, помогающая белым, разговоры о том, что споры между католиками и протестантами бессмысленны и вредны, которые мы уже читали в «Михее Кларке» и «Белом отряде». Поразительно, но Дойл считал, что роман ему очень удался. В мемуарах он приводит рассказ Мэри Дойл, которая, будучи в Фонтенбло, якобы слышала, как экскурсовод-француз говорил туристам, что если они хотят знать все о дворе Людовика XIV, им следует прочесть «Изгнанников». Скорее всего это выдумка не самого Дойла, а его матери. Или экскурсовод-француз был сумасшедший. Хотя английская и в особенности невзыскательная американская публика приняла роман хорошо, его издавали и переиздавали. Еще бы: писатель Конан Дойл был уже так знаменит, что мог бы опубликовать под своим именем железнодорожное расписание. К сожалению, доктор, которого безумные восторги читателей не убедили в том, что холмсиана – значительное культурное явление, – в данном случае публике поверил. В его оправдание можно сказать, что Стивенсон «Изгнанников» тоже похвалил. Искренне ли? Всякий литератор знает, какую рану можно нанести коллеге, если не похвалишь его новую книгу.

В начале 1892-го, закончив «Изгнанников» (роман вышел в «Лонгмэне» в 1893-м), Дойл решил попробовать свои силы в драматургии. Вообще-то одна пьеса у него уже имелась – упоминавшиеся «Ангелы тьмы», где фигурировал доктор Уотсон, проживавший в Сан-Франциско (опять Америка!), влюбленный и обещавший жениться вовсе не на Мэри Морстен. Пьесу эту Дойл всерьез никогда не воспринимал и вряд ли решился бы снова заняться сочинением пьес, если бы не пример друга. Откуда этот новый друг взялся?

Поскольку Конан Дойл был популярен и «в моде», ему представилась отличная возможность заводить литературные знакомства, и, вопреки распространенному мнению, что литераторы так же готовы перекусать друг дружку, как и актеры, он нашел в этой среде искренних друзей. Но нашел он их не в «Стрэнде». В конце 1891 года прекрасно нам известный Джером Клапка Джером и другой писатель, Роберт Барр, канадец шотландского происхождения, организовали новый журнал «Айдлер» (по-английски – «лентяй»). Там публиковались рассказы, эссе, интервью, карикатуры; он позиционировался как своего рода джентльменский клуб, чьим манифестом была лень и участникам которого полагалось бездельничать, хотя в действительности они, разумеется, работали ничуть не меньше других литераторов. Джером и Барр привлекали для участия в журнале первоклассных авторов (Марка Твена, Бернарда Шоу, Киплинга) и, в частности, тех, кто уже печатался в «Стрэнде». По случаю открытия журнала давался обед – на него был приглашен и Конан Дойл. Один из членов клуба, Энтони Хоуп, заметил, что новый гость выглядит и держится так, будто он «сроду не слыхивал о том, что бывают какие-то там книжки»; «лентяи» считали это комплиментом. Дойла приняли как своего. В начале девяностых в «Айдлере» публиковались некоторые его остросюжетные рассказы, не связанные с Холмсом и потому отвергнутые «Стрэндом»: «Из бездны» («De profundis»), «Случай леди Сэннокс» («The Case of Lady Sannox»), «Фиаско в Лос-Амигосе» («The Los Amigos Fiasco») и ряд других.

Атмосфера в «Айдлере» была очень непринужденная; пили на многочисленных ужинах и обедах отнюдь не только чай. Джером был блестящим рассказчиком, умевшим завести дискуссию, Барр – темпераментным говоруном; с обоими Конан Дойл сдружился моментально. «Душкой», однако, Джером отнюдь не являлся: «Он был склонен к горячности и нетерпимости в вопросах политики, притом без всякой корыстной цели, и потерял из-за этого некоторых своих друзей». Упоминая потерянных друзей, Дойл говорит не о себе. Джером был классический либерал-пацифист, что и в мирное-то время нигде не популярно, а в Первую мировую он, проживший несколько лет в Германии и очень привязанный к немецкой культуре, возмущался антинемецкой истерией, охватившей Британию, чего ему не смогли простить Уэллс и Киплинг, обвинив в отсутствии патриотизма.

Третий сотрудник «Айдлера», с которым Дойл сошелся наиболее близко, – шотландец Джеймс Мэтью Барри, в то время еще не написавший «Питера Пэна», который его обессмертит, а лишь два романа и несколько рассказов, изящных и сентиментальных. Наконец-то доктору Дойлу встретился человек, являвшийся столь же фанатичным приверженцем крикета. Он также высоко ценил Барри как писателя. «Его перо обладает прозрачной ясностью, которая и составляет великий стиль, испорченный поколением жалких критиков, которые извечно путают ясность с легковесностью, а замутненность – с глубиной». Барри был весьма

плодовитым драматургом. Его пьеса «Уокер, Лондон» пользовалась успехом в 1891-м, и он советовал Дойлу тоже написать что-нибудь для театра. Рекомендации друзей обычно оказывали на доктора Дойла сильное воздействие. Писать пьесы всегда кажется простым занятием (знай гони себе диалог) и к тому же выгодным. Но дело не только в этом: очень хочется увидеть, как люди, придуманные тобою, оживают во плоти.

У Дойла был старый рассказ «Ветеран 1815 года» («A Straggler of '15»), герой которого Грегори Брустер, дряхлый старик и бывший гвардеец, рассказывает племяннице и молодому врачу, пришедшему его осмотреть, о своей военной службе. Старик получился очень трогательный, хотя и не слишком миролюбивый:

«– Но, дядя, – возразила Нора, – на том свете уже не будет войн.

– Нет, будут, милая.

– Но с кем же, дядя?

Старый капрал сердито стукнул палкой об пол:

– Говорю вам, что будут, милая. Я спрашивал пастора.

– Что же он сказал?

– Он сказал, что там будет последняя битва. Он даже назвал ее. Битва при Арм... Арм...

– При Армагеддоне».

В финале старик умирает, в предсмертном бреду тревожась лишь о том, что его товарищам не хватает боеприпасов. Довольно банальная вещица, хорошо подходящая для театральной постановки: ролей мало, все действие происходит в одной комнате, старый Брустер в хорошем исполнении непременно вызовет у публики рыдания. Дойл за неделю написал на основе этого рассказа одноактную пьесу под названием «Ватерлоо» и отправил ее великому Генри Ирвингу, чьим поклонником был еще в Эдинбурге. Тот моментально оценил все достоинства маленькой пьесы и через своего секретаря известил Дойла, что покупает права на нее за 100 фунтов. Секретарем этим был Брэм Стокер, тогда еще не прославленный «Дракулой».

Пьеса с осени 1894 года пошла в Америке; успех был громадный – первый успех доктора на драматическом поприще. Стокер писал, что спектакль является «событием чрезвычайной важности в театральном мире». Ирвинг в течение многих лет играл Брустера блистательно и, что любопытно, исправно высылал автору гинею с каждого представления, хотя по условиям договора делать этого был вовсе не обязан – странные они все-таки, эти люди XIX века! Впоследствии Ирвинг и Дойл подружились и нередко навещали друг друга. Критики утверждали, что успех пьесы всецело является заслугой Ирвинга. Дойла это сильно обижало, и обижало, наверное, совершенно справедливо. Никакой актер не вытянет пьесы, если ему в ней нечего играть. Текст «Ватерлоо» банален по содержанию, но у театра свои законы, отличающиеся от законов литературы. Дойл великолепно сделал главное, что нужно для сцены – характер.

Общение с литераторами не исчерпывались сотрудниками «Айдлера». В 1890-е годы доктор Дойл общался со многими молодыми писателями. «Все они появились одновременно, среди них, возможно, не было ни Теккерея, ни Диккенса, тем не менее они оказались столь многочисленны и все такие непохожие, а их достижения в целом так высоки, что, думается, они могли поспорить во всем разнообразии и блеске с любым поколением в истории нашей литературы». Дойл называет имена поэтов, прозаиков и драматургов: Редьярд Киплинг, Джеймс Стивен Филлипс, Грант Аллен, Уильям Уотсон, Артур Пинеро, Мария Корелли, Стэнли Уэйман, Энтони Хоуп, Томас Кейн. Достоянием мировой литературы никто из них, кроме Киплинга и самого Дойла, однако, так и не стал.

В Лондоне Дойл возобновил знакомство с Гербертом Уэллсом, о котором отозвался так, что и не поймешь сразу, комплимент это или завуалированный пинок: «Один из великих плодов, которые дало нам народное образование, поскольку, как он с гордостью утверждал, происходил он из самой гущи народа. Его открытость и полное отсутствие классового чувства порой приводят в замешательство». Из дальнейшего комментария можно сделать вывод, что, по мнению Дойла, который о своих родителях публично либо отзывался в самых восторженных тонах, либо молчал как рыба (об отце), больше импонировало бы, если б Уэллс делал то же самое. Не джентльмен, короче говоря. Такое отношение, с одной стороны, не красит доктора; с другой стороны, сам Уэллс в автобиографической повести «Препарат под микроскопом» признавал, что в молодости «казался просто самоуверенным, дурно воспитанным молодым

человеком». Что касается творчества Уэллса, то о нем Дойл тоже был невысокого мнения. «Он никогда не проявлял понимания истинного смысла явлений мистических, и в силу этого изъяна его история мира, как она ни поразительна, при всей своей скрупулезности неизменно казалась мне телом, лишенным души».

В 1893 году Дойл начал переписку со Стивенсоном, который жил тогда на Самоа, и они неизменно обменивались добрыми словами друг о друге. Стивенсону понравились «Ювеналии», опубликованные в «Айдлере» («я не мог устоять, когда передо мной развевался белый плюмаж Конан Дойла»), и он написал свой известный очерк о том, как создавался «Остров сокровищ». Книги Стивенсона Дойл обожал, однако и тут не обошелся без критических замечаний, упрекая его поздние работы за «сознательное украшательство стиля» и даже «манерность»: по его мнению, Стивенсону следовало бы писать попроще. Писатели, которых называют стилистами, вызывали у Дойла некоторое отторжение. «Момент, когда вы начинаете замечать стиль человека, указывает, вероятнее всего, на то, что тут что-то не так. Кристалл затуманивается – внимание читателя переключается от сути дела на художественную манеру автора, от предмета, изображаемого автором, на самого автора» (Оскару Уайльду, впрочем, доктор Дойл прощал его изысканный стиль; простил и Генри Джеймсу). Хорошо выстроенный сюжет, простота, соразмерность и ясность – вот единственные добродетели; можно посмеяться над такой старомодной наивностью, можно припомнить слова Пушкина о том, что писать надо «коротко и ясно». Когда Стивенсон скончается, его наследники обратятся к Дойлу с просьбой завершить его неоконченный роман «Сент-Ив» – по их мнению, он один способен выполнить такую работу, – но Дойл откажется по очень простой причине: «Боюсь не справиться». Когда мы читаем (с усмешкой, может быть) его критические отзывы в адрес тех или иных больших писателей, не стоит забывать, что себя он к таковым никогда не относил.

Сразу после «Ватерлоо» Дойл вполне логично намеревался приступить к роману из наполеоновских времен. Личность Наполеона с детства привлекала его – а кого она не привлекала? На роман уже был заказчик – издательство «Эрроус-мит». Был поставлен срок сдачи текста – август 1892-го. Можно было работать спокойно, но тут на доктора снова набросились редакторы «Стрэнда». Им срочно требовалась очередная дюжина рассказов о Шерлоке Холмсе. Теперь доктор уже готов был взвыть. «Писать о Холмсе было трудно, потому что на самом деле для каждого рассказа требовался столь же оригинальный, точно выстроенный сюжет, как и для более объемистой книги. Человек не может без усилий быстро сочинять сюжеты». Дойл хорошо понимал, что этой дюжиной он от «Стрэнда» не отделается. Он пытался отказаться, потом прибегнул к испытанному приему: запросил неслыханный гонорар. Дает ли это основания считать доктора жадным? Нам так не кажется. Он отказывался искренне. Как всякий человек, он хотел, чтобы ему хорошо, пусть даже слишком хорошо, платили за его труд, но гораздо больше он хотел, чтоб его оставили на свободе, а не заключали в тюрьму. И бедный Холмс тут был, ей-богу, абсолютно ни при чем: если бы Ньюнес заставлял Дойла писать ежемесячно на протяжении всей жизни рассказы о Найджеле Лоринге, доктор бы тоже не обрадовался.

«Кровопийца» Ньюнес легко принял условия: тысяча фунтов за всю дюжину. Это и в самом деле была громадная сумма – громадная для автора, но отнюдь не для успешного издателя, которого автор озолотил. Принял «Стрэнд» и другое условие Дойла: новый цикл холмсианы будет готов только к концу года, после того как будут выполнены обязательства перед «Эрроусмитом». На первую половину года у Ньюнеса еще был материал: в январском номере опубликовали «Голубой карбункул», потом последовательно все остальные рассказы, завершив цикл «Медными буками» в июне. Далее «Стрэнд» кое-как вышел из положения, пригласив в качестве временной замены Дойлу на вторую половину 1892 года того самого Мэддока, который писал рассказы о сыщике Дике Доноване. Они начали печататься с июля, причем первый рассказ сопровождался редакторским примечанием, адресованным читателям, возмущавшимся отсутствием Холмса: «Мы счастливы сообщить, что публикация историй о Шерлоке Холмсе прервана лишь на время, так как г-н Конан Дойл сейчас как раз работает над вторым циклом рассказов. Мы возместим этот ущерб, размещая в журнале детективные истории других выдающихся авторов». (Читатели «других выдающихся авторов» не оценили.) Дойл же вполне успокоился и начал работать над романом «Великая тень» («The Great Shadow»). Объем текста предполагалось сделать небольшим. Дойл не слишком торопился. Весь прошлый год он работал как каторжный: пришло время немного отдохнуть.

Барри давно звал его к себе, в маленький шотландский городок Кирримьюр. В марте они вместе выехали из Лондона и отправились в Шотландию. Прежде всего они посетили Джорджа Мередита, одного из литературных кумиров Дойла, о творчестве которого он написал в начале девяностых ряд статей и который откликнулся приглашением в гости. Мередит был очень стар и слаб здоровьем, но болезненно воспринимал любой намек на его немощность: когда он споткнулся и Дойл попытался поддержать его под руку, это вызвало

гневную отповедь. Но в общем они друг другу понравились. Престарелый писатель угощал гостей лучшими винами и требовал, чтоб они выпивали по бутылке зараз: сам он уже не мог пить вино, но ему нравилось смотреть, как наслаждаются другие. В последующие годы Дойл будет еще несколько раз посещать Мередита. «Его манера говорить отличалась необычайной живостью и эффектностью, и произносил он все с необычайным жаром. Возможно, она была искусственна, возможно, это была игра, но она захватывала и увлекала». Дойл крайне высоко ценил эту способность – вести беседу – и за нее готов был простить любые недостатки.

Мередит дал Дойлу материал для большой и, как считают некоторые критики (и мы готовы к этому мнению присоединиться), едва ли не лучшей его работы. На английский язык были только что переведены мемуары наполеоновского генерала Марселена де Марбо, и Мередит, как раз читавший их, рекомендовал книгу Дойлу. Тогда доктор еще не мог предвидеть появления на свет бригадира Жерара, но все, что было связано с Наполеоном, естественно, живейшим образом интересовало его.

Барри поехал прямо в Кирримьюр, а Дойл сперва отправился в Эдинбург – навестить мать. Он провел там неделю, обедая со старыми и новыми знакомыми (пообедать со «звездой» были рады издатели и редакторы), потом прожил неделю у Барри, потом они вместе отправились порыбачить в другой маленький городок, Олфорд. Всякий скажет, что Конан Дойл – певец Лондона, – и, безусловно, это так и есть, но маленькие городишки он, пожалуй, любил больше. В апреле он вернулся домой и приступил к «Великой тени».

Великая тень – тень Бонапарта. Но роман этот вовсе не о Наполеоне. Он – о маленьких людях, над которыми в годы их молодости висела тень войны. «Великая тень» – прямая преемница «Михея Кларка», а не «Белого отряда». Форма использована та же, что в «Михее»: Джок Колдер, старый человек, не слишком образованный, простодушный, рассказывает о своем детстве и юности. В возрасте восьми лет его отсылают учиться далеко от дома: поначалу ему приходится в школе очень тяжко – он от природы застенчив и робок, и ему очень тяжело обзавестись друзьями. Дойл писал о своем обучении в подготовительном колледже Ходдер, что оно было в общем приятным – а все-таки похоже, что в «Великой тени» он кое-что рассказал о себе: «Девять миль вороньего полета по прямой и одиннадцать с половиной пешком по дороге отделяли Вест-Инч от Бервика, и тяжесть в моем сердце росла по мере того, как я отдалялся от моей матери; ребенок в этом возрасте всегда заявляет, будто ему не нужна материнская нежность, но до чего же грустно ему, когда он произносит эти слова!» Однажды бедняга Джок не выдерживает и пытается убежать домой – вероятно, подобная мысль приходила в голову и маленькому Артуру Дойлу. Но потом он наконец находит друга – это Джим Харкрофт, первый школьный силач, – и привязывается к нему на всю жизнь.

Была у Джока и любимая девочка – его кузина Эди. Это единственный случай, когда Дойл описывает детскую любовь, и, пожалуй, это лучшее, что он когда-либо написал о любви вообще: «Она всегда смотрела так, словно видела пред собою что-то необыкновенное, смотрела, мечтательно полураскрыв губы; но когда я становился позади нее, чтоб увидеть то, на что она смотрит, то не видел ничего, кроме овечьего корыта, кучи навоза или штанов моего отца, которые сушились на бельевой веревке». Когда Джок закончил школу, Эди, уже взрослую девушку, из-за материальных проблем в ее семье взяли жить в дом Колдеров; Джок наконец-то решился высказать ей свои чувства. Но: «В моем чувстве к ней страха было столько же, сколько любви, и она поняла, что я боюсь ее, задолго до того, как узнала, что я ее люблю. Мне было невыносимо тяжко находиться далеко от нее, но когда я был с нею, я все время изнывал от страха, что своей неуклюжей болтовней могу ей наскучить или обидеть ее. Если бы я знал больше женщин, я, вероятно, испытал бы меньше боли.»

Тем не менее Эди не отвергла Джока сразу, и все вроде бы шло неплохо до тех пор, пока не приехал погостить Джим Харкрофт. Эди выбрала его, а Джок с тоскою покорился ее выбору: с тоской еще и потому, что Джим Харкрофт, неуравновешенный, буйный, сильно пьющий, вряд ли мог составить счастье такой девушки, как Эди. Но ничего не попишешь. Далее, в точности как в «Михее Кларке», Джок и Джим сидят на берегу, когда из лодки высаживается незнакомец: он француз по имени де Лапп, ему некуда деваться, и Колдеры принимают его на постой. Пришелец быстро очаровывает всех в доме; Джок подозревает его в шпионаже – и не без оснований, как впоследствии выясняется: де Лапп на самом деле – де Лиссак, адъютант Наполеона. Де Лапп завоевывает сердце Эди (Джим в это время в отлучке) и тайно женится на ней. Джок в отчаянии; де Лапп уезжает с женой; возвращается Джим – и узнает ужасную новость. На дворе весна 1815-го, и Джим решает вступить в армию Веллингтона, чтобы разыскать де Лиссака и убить его. Джок присоединяется к своему другу. «"Мама, – закричал я, – я записался в солдаты!" Если б я сообщил, что записался в грабители, моя мать, вероятно, восприняла бы это с меньшим огорчением».

Два друга уходят воевать – и принимают участие в сражении под Ватерлоо. Описать

знаменитую историческую битву, событие, тысячу раз уже описанное, и сказать при этом что-то новое, сказать не так, как говорили другие, – задача непростая. Но для Дойла она была разрешима благодаря тому приему, который он избрал: показывать все через субъективный, ограниченный взгляд простодушного маленького человека. Этот прием используется в очень многих текстах Дойла; в «Великой тени» он прямо декларируется. «Я люблю обо всем рассказывать с толком, с расстановкой, – объясняет Джок, – чтобы все события следовали друг за дружкой по порядку, как овцы, выходящие из загона. Так все и делалось у нас в Вест-Инче. Но теперь, когда мы вдруг попали в водоворот больших и сложных дел – как те жалкие соломинки, что лениво плывут по узкой канаве и, попав внезапно в громадную реку, оказываются подхваченными бурным потоком, – мне стало очень трудно находить слова, которые могли бы угнаться за событиями. Да только ведь вы обо всем этом – почему все так случилось и какой в этом был смысл – можете прочесть в книгах по истории; а я лучше и пытаться не стану: буду говорить лишь о том, что видел собственными глазами и слышал своими ушами». Именно так, кстати сказать, описывает Пьер Безухов сражение при Бородине, и доктор Дойл это описание читал.

Наполеона Джок видел лишь одно мгновение, мельком – как тень. Да и не до Наполеона ему было. На поле боя он нашел своего друга – мертвым, врага – умирающим. Друг Джим погиб мгновенно, и Джок думает, что смерть была для него наилучшим исходом. Смерть – далеко не худшая вещь из тех, что могут приключиться с человеком: запомним эту мысль доктора Дойла.

Коварный де Лиссак умирает в муках, но Джок не злорадствует – он растерян, ему тоскливо... Де Лиссак просит его позаботиться о жене, оставшейся в Париже, и Джок понимает по его тону, что коварный враг не просто украл у него любимую женщину, а по-настоящему любил ее. Джок находит Эди: она в трауре, но вполне благополучна и уже завела светские знакомства; она искренне рада старому другу, но просит его уйти по черной лестнице, чтоб ее новые знакомые не догадались, из какой среды вышла мадам де Лиссак. Все это описано коротко, с сухой, почти стендалевской грустью. «Певец проигранных сражений» – удивительно, но жизнерадостный доктор и в самом деле любил писать о поражениях, а не о победах. Для Англии, конечно, Ватерлоо – победа; но в мировой истории эта битва навсегда запечатлена как один из страшнейших, трагичнейших разгромов. Поражение потерпел не только Наполеон, а все герои: Джим, Джок, де Лиссак; даже Эди хоть и вышла замуж за графа, а все ж через два года умерла. В общем, все умерли, как у Шекспира. Грустная получилась вещь.

В «Великой тени» вновь появилось то, чего не было в «Белом отряде» и «Изгнанниках» – обаяние, живость и непосредственность. Появилась душа. Пожалуй, теперь уже можно утверждать, что разница заключается именно в техническом приеме – отдает ли Конан Дойл повествование в руки «простодушного рассказчика» или берет его на себя. Одни писатели одинаково владеют искусством рассказа от первого и от третьего лица, другие, попробовав так и эдак, выбирают тот прием, который им лучше удается. Дойлу безусловно намного лучше давался рассказ от первого лица, и именно так написано подавляющее большинство его текстов, но отказаться от другого способа он не хотел.

Роман был закончен раньше обещанного срока – в июне 1892-го, и Дойл сразу принялся за рассказы о Холмсе для «Стрэнда». За лето он написал три рассказа: «Серебряный» («Silver Blaze») – рассказ, в котором из-за незнания автором правил ипподрома было допущено большое количество «ляпов», «Желтое лицо» («The Yellow Face») и «Картонная коробка» («The cardboard box»). В этот период также была написана небольшая повесть, не имеющая отношения к Холмсу, – «За городом» («Beyond the City»). Эту свою работу Дойл упоминает мельком вместе с другой, написанной в 1894-м, – «Паразит» («The Parasite»), – и обе их называет незначительными. На самом деле оба эти текста, мало знакомые нашему читателю, любопытны до чрезвычайности, и, хотя они написаны в разное время, их удобнее поминать рядом. То ли все-таки сказалось чрезмерно большое количество дам, окружавших доктора, то ли, наоборот, мужское товарищество Холмса и Уотсона ему наскучило, но обе повести – о женщинах. Тема, встречающаяся в творчестве Дойла довольно редко.

«За городом» – элегическое, прелестное повествование, написанное несколько в духе Генри Джеймса: в дачном поселке селится миссис Уэстмакот, эмансипированная вдова средних лет, со своим взрослым племянником. Миссис Уэстмакот пьет, курит и держит в кармане ручную змею; делает это она потому, что посвятила свою жизнь борьбе за права женщин вообще и за их избирательное право в частности. (Вряд ли справедливо видеть в ней Мэри Бартон, которая не пила, не курила и змеи не держала.)

«– Я думаю, что подчиненное положение женщины зависит, главным образом, от того, что она предоставляет мужчине подкрепляющие силы напитки и закаляющие тело упражнения, – она

подняла с пола стоявшие у камина пятнадцатифунтовые гимнастические гири и начала без всякого усилия размахивать ими над головой. – Вы видите, что можно сделать, когда пьешь портер, – сказала она».

Однако постепенно обнаруживается, что миссис Уэстмакот вовсе не так уж несимпатична автору. Она смела, умна, добра и нравится мужчинам; один из соседей, адмирал, сраженный насмерть ее познаниями в морском деле, даже собирается просить ее руки – его, правда, отговаривают от этого поступка его дочери, дав понять, что в жены миссис Уэстмакот при всех ее достоинствах все же не годится. Тогда между адмиралом и героиней завязывается прекрасная дружба, «как между двумя мужчинами»; длится она, правда, не слишком долго, ибо в результате разных семейных перипетий миссис Уэстмакот уезжает в Америку, так как там для борьбы за права женщин существует больше возможностей. Мораль примерно та же, что в «Женщине-враче»: эмансипированная женщина – очень хороший человек, даже, может быть, прекрасный, но жениться на ней нормальному мужчине никак невозможно.

Но если бы этим все ограничилось, текст не стоил бы упоминания. В повести есть еще один персонаж, врач: он, осуждая миссис Уэстмакот за крайности, тем не менее считает, что в главном она совершенно права. «Много ли таких профессий, которые открыты для женщин? <…> Те женщины, которые работают из-за куска хлеба, – жалкие создания: они бедны, не солидарны между собой, робки и принимают, как милостыню, то, что должны бы требовать по праву. Вот почему женский вопрос не предлагают с большею настойчивостью обществу; если бы крик об удовлетворении их требований был так же громок, как велика их обида, то он раздался бы по всему свету и заглушил собою все другие крики». Оказывается, кое-что из уроков Мэри Бартон не пропало даром. Очень вероятно также, что на взгляды доктора повлияли его сестры, которым с юных лет приходилось колесить по свету и зарабатывать себе на жизнь, ни от кого не получая поддержки.

Многими годами позднее, когда женщины последуют прямому совету Конан Дойла и «крик» суфражисток станет достаточно громок, Дойл будет с резким осуждением высказываться о их уличных акциях с битьем стекол; за это одни обвинят его в женоненавистничестве, другие – в реакционности, позабыв, что он всегда защищал право женщин на образование и сделал больше, чем кто-либо другой, для облегчения для них процедуры развода. Да, скажут, но Дойл отрицал право женщины на участие в выборах! Никогда он этого прямо не отрицал. Он говорил, что не уверен в необходимости предоставлять женщинам избирательное право, так как подавляющее большинство из них не платят налогов: не должно быть прав без обязанностей. Но в принципе… «Посмотрите на того человека, который копает землю там, в поле. Я его знаю. Он не умеет ни читать, ни писать, пьяница, и у него столько же ума, сколько у того картофеля, который он выкапывает из земли. Но у этого человека есть право голоса; его голос может иметь решающее значение на выборах и оказать влияние на политику нашего государства. А вот, чтобы не ходить далеко за примерами, я – женщина, которая получила образование, путешествовала, видела и изучала учреждения многих стран, – у меня есть довольно большое состояние, и я плачу в казну налогами больше денег, чем этот человек тратит на водку, а между тем я не имею прямого влияния на то, как будут распределены те деньги, которые я плачу», – говорит миссис Уэстмакот, и мужчинам нечего ей возразить.

Кстати, дочери адмирала, которые противопоставлены миссис Уэстмакот, – отнюдь не кроткие и слезливые «викторианские девицы». В текстах Конан Дойла таких девиц вообще найти трудно. Почти все его женские персонажи, не исключая героинь исторических романов, характеризуются эпитетами «сильная», «твердый, сильный характер», «мужественный характер», «независимая», «гордая и сдержанная», «царственная осанка», «отличалась независимостью суждений», «смелая», «властная», «любознательная» и т. д. Дойловские девушки не беспомощны, не заливаются слезами, почти не подвержены обморокам и болезням и не падают мужчине на плечо. Вот только не курят и не пьют. Похоже, единственная претензия доктора Дойла к эмансипации женщин заключалась в том, что они совершенно напрасно берут себе за образец мужчину с его пьянством и другими пороками. Могли бы выбрать что-нибудь другое, получше.

Совсем иную женщину Дойл описал в повести «Паразит». Здесь тоже не обошлось без Генри Джеймса – недаром персонажи несколько раз говорят о «повороте винта». Текст представляет собой дневник героя и сильно напоминает дневник доктора Сьюарда из «Дракулы» – вернее, дневник Сьюарда, написанный позднее, напоминает дойловского «Паразита». Герой, профессор Гилрой, – материалист и скептик; он немного похож на Шерлока Холмса с его приверженностью фактам, но женщин не сторонится. Он помолвлен с прекрасной девушкой, когда в его жизнь вторгается мисс Пенклоза, уродливая сорокапятилетняя калека, обладающая способностью к гипнозу. Из научного любопытства Гилрой позволил ей провести над собою опыт, и этот опыт едва не погубил его жизнь. Мисс Пенклоза заставила его испытывать к себе чудовищное («зверское», по его собственному признанию) влечение,

которому он оказался не в силах противостоять. «Эта женщина, по ее собственному признанию, могла осуществлять насилие над моей психикой. Она могла завладеть моим телом и заставить его повиноваться. У нее была душа паразита; она и есть паразит, чудовищный паразит. Она вползает в мою оболочку, как рак-отшельник в раковину моллюска. <…> Я помню, как однажды она провела рукой по моим волосам, как будто лаская собаку; эта ласка доставила мне наслаждение. Я весь дрожал под ее рукой. Я был ее раб душой и телом; в тот момент я наслаждался своим рабством».

Прочти мы эти слова у какого-нибудь другого писателя, более склонного к психологии, подумали бы, что здесь метафорически описывается любовь – разве она не такая? И разве сам доктор не так описал любовь Джока к Эди? Но маловероятно, что Конан Дойл в «Паразите» имел в виду именно это: скорей всего он честно писал о гипнозе, которым всегда интересовался. Когда до Гилроя доходит, что его любовь вызвана искусственно, он говорит мисс Пенклозе, которую называет ведьмой и дьяволом, что никогда не полюбит ее по-настоящему. Мисс Пенклоза в ответ разражается беспомощными, вполне искренними слезами: она любит Гилроя и ничего не может с собой поделать; гипноз был единственным средством. Поняв, что ее отвергают, она начинает мстить – изобретательно и жестоко. Ее власть над Гилроем заканчивается лишь с ее смертью. Заманчивое предположение, что Конан Дойл в жизни столкнулся с некоей демонической женщиной, которая чуть не завладела его душой, к сожалению для современного изыскателя и к счастью для нашего героя, не имеет под собой никаких оснований. Такая женщина, как мисс Пенклоза, действительно существовала – чуть дальше мы назовем ее имя, – и Дойл действительно был с нею знаком, но ничего романтического в их отношениях не было.

В повести не происходит ничего такого уж страшного; внешне вообще почти ничего не происходит, вся борьба разворачивается в сознании героя и, собственно говоря, не до конца ясно даже, не является ли Гилрой попросту сумасшедшим, который все это себе вообразил; но при чтении не оставляет ощущение тревоги и неуюта и предчувствие того, что ужасное вот-вот должно случиться; это и есть психологический триллер. Сам автор, однако, считал «Паразита» нестоящей вещью, тогда как «Изгнанников», к примеру – стоящей.

Эссе «За волшебной дверью» дает очень простое объяснение его оценкам. Оказывается, самое важное в художественном произведении – это «широта поставленных проблем» и «значимость изображенных событий и лиц». Просто манифест социалистического реализма. Где уж там тягаться бедной мисс Пенклозе и даже Холмсу с «Королем-Солнце» по значимости и широте проблем! Нет, Дойл, разумеется, признавал, что о маленьких людях можно написать хорошее произведение. Самому ему маленькие люди удавались очень хорошо. Но он не верил, что о больших можно написать плохо, и искренне удивлялся (себе в том числе, надо думать), что кому-то хочется писать о маленьком, когда существует великое, и мягко пенял любимому Вальтеру Скотту за то, что тот не описал Наполеона, а также Первый крестовый поход. «Представьте себе в качестве примера, что великие мастера прошлого искали свои модели, например святых Себастьянов, на постоялых дворах, когда буквально на их глазах Колумб открывал Америку» (как вообще можно писать и думать о чем-либо, когда существует Америка, самая лучшая, важная и интересная вещь в целом мире?). Литературные критики говорят иногда, что писатели, избирающие в герои знаменитых людей, делают это из-за подсознательного желания примазаться к чужой славе. К Дойлу это, во всяком случае, отношения не имеет. Он был не только одним из самых высокооплачиваемых, но и одним из самых знаменитых писателей Великобритании, а потом и всего мира; никуда ему не было нужды примазываться. Сказать, что он обожал «больших людей», тоже нельзя: герцог Монмаут, Людовик XIV, Наполеон – все они изображены весьма малопривлекательными. Возможно, он просто считал нужным писать о тех, о ком сам любил читать. В обширном перечне его любимых книг биографическая литература занимает громадное место.

Летом в Норвуд повадились журналисты и фотографы – слава накладывает обязанности. Конан Дойл сперва давал интервью очень охотно, потом ему начало надоедать. Журналисты спрашивали преимущественно об одном и том же: когда ждать новых рассказов о Холмсе. Но были и интересные проекты: журналист Гарри Хоу в августе 1892-го подготовил для «Стрэнда» очерк под названием «Один день с Конан Дойлом», где повседневная жизнь семейства Дойлов была описана во всех мелочах очень живо. Очерк Хоу получился не совсем стандартным: если большинство журналистов искали в Конан Дойле приметы «детектива», отмечая «проницательный взгляд глубоко посаженных серых глаз» и тому подобное, то Хоу писал, что ничего этого он не обнаружил. «Он просто очень веселый, приветливый, очень домашний; плечистый великан, который жмет вашу руку так крепко, что в избытке дружелюбия может ненароком вас покалечить». Хоу рассказал, что весь дом доктора увешан акварелями и карандашными набросками его отца. Это была правда, и доктору было приятно, что об этом написали. Слава, свалившаяся ему на голову, не тяготила его. Не в пример профессору Челленджеру он обожал гостей, званых и незваных, и с репортерами был

приветлив.

Часто задавали вопросы о прототипе героя; Дойл назвал доктора Белла. Журналисты полетели к Беллу – брать интервью у него. Тот сказал: «Конан Дойл силой своего воображения создал очень многое из очень малого, и его теплые воспоминания об одном из бывших учителей всего лишь придали картине живописности». Дойл возразил, что это не так и роль Белла гораздо больше. Но на самом деле Белл сказал чистую правду.

Холмсом интересовались отнюдь не только журналисты: читатели заваливали Дойла письмами, адресованными сыщику. Просили автограф, присылали разные полезные вещи (трубки, скрипичные струны, табак, кокаин), предлагали взяться за какое-нибудь расследование. Действительно ли все эти люди верили в реальное существование Холмса? На этот вопрос очень трудно ответить: очень уж загадочная вещь человеческая психика. Холмсу пишут и по сей день. Должно быть, верили отчасти, как дети отчасти верят в Деда Мороза. Человеку, который сам никогда не станет писать писем вымышленному персонажу, это кажется массовым умопомешательством – но и атеисту кажется массовым помешательством вера в Бога. Дойл не поощрял этой читательской веры, она его скорее раздражала. Тем не менее письма он добросовестно прочитывал.

В августе 1892-го Джером предложил Дойлу отправиться с ним в небольшое путешествие по Норвегии. Доктор охотно согласился. Луиза была беременна; предполагалось, что эта поездка будет хорошим отдыхом для нее. Поехала с ними и двадцатитрехлетняя Конни. Катались на лошадях, ходили в кафе; компания получилась веселая. Джером отозвался о Дойлах как об «очень энергичном семействе» и восхищался красотой Конни. Доктор попытался быстренько выучить норвежский язык; у него были хорошие лингвистические способности, но времени оказалось уж очень мало: когда он храбро пытался заговаривать со встречными норвежцами о погоде, они его не понимали.

Сразу по возвращении из поездки Джером, Дойл и Конни совершили экскурсию в «черный музей» Скотленд-Ярда; их сопровождал молодой талантливый журналист Эрнест Хорнунг. Конни произвела на него неизгладимое впечатление. Ожидалась свадьба. Доктор был рад: Хорнунг, милый обаятельный юноша, спортсмен, заядлый крикетист, ему очень нравился. После свадьбы сестры доктор Дойл первое время будет поддерживать молодую семью деньгами, но продлится это недолго: Хорнунг скоро сам станет вполне преуспевающим литератором.

Дома доктор засел за рассказы о Холмсе. Но эта работа была на некоторое время прервана. Причиной тому была телеграмма от Джеймса Барри: он сообщал, что ему очень плохо, просил приехать. Он жил в это время в городе Олдборо. Доктор Дойл бросил все дела и примчался. У Барри был бронхит, но звал он своего друга не из-за болезни. Когда сходятся два писателя, высоко ценящих работу друг друга, им порой приходит в голову написать что-нибудь совместно. Барри предложил Дойлу написать... либретто для оперетты. Оперетты, или комические оперы, которые пустили в оборот Гилберт и Салливан, были тогда в большой моде. Режиссер Дойли Карт, ставивший произведения Гилберта и Салливана в Лондоне, в 1881-м открыл театр «Савой»; он и сделал Барри заказ. Музыку написал композитор Эрнест Форд, протеже Салливана.

«Предложил» – не совсем точное слово. Барри умолял: он уже подписал договор с театром «Савой», но, начав работу, почувствовал, что не справляется. Он уже набросал первый акт и часть второго, Дойлу оставалось «всего лишь» сочинить диалоги и стихи. Доктор всегда горячо привязывался к людям и ради обретенного товарища готов был на что угодно – только этим можно объяснить тот факт, что он даст свое согласие на подобную авантюру. Оперетта имела дурацкое название «Джейн Энни, или Приз за примерное поведение» («Jane Annie: or, the Good Conduct prize») и не менее дурацкий сюжет, с которым оба соавтора справиться так и не смогли. Действие происходило в закрытой женской школе: в окна к девушкам влезали студенты, было много переодеваний, розыгрышей, беготни и даже игра в гольф.

Оперетта впоследствии (в мае 1893 года) оглушительно провалилась; авторы со второго акта убежали домой. Затем они внесли в либретто изменения, и пьеса кое-как выдержала 50 представлений, после чего канула в Лету. «Подлинное содружество в ходе подготовки этого спектакля было тем не менее очень увлекательным и интересным, провал же мучительно ощущался нами в основном потому, что мы подвели режиссера и труппу. Критика жестоко поносила нас, но Барри с большим мужеством перенес все это». Вообще-то критика была не так уж жестока: большинство рецензентов честно пытались найти в спектакле что-нибудь хорошее – например красивых девушек-актрис, которым удались женские роли.

«Диалоги идиотские, но музыка прелестна», – сказал Салливан. «Самый бессовестный вздор,

какой только могли позволить себе два уважаемых джентльмена» – так отозвался о «Джейн Энни» ядовитый Бернард Шоу. (Конан Дойл, обычно чуждый яда, о Шоу сказал следующее: «Странно, что все те безобидные овощи, которыми он питался, делали его неуживчивее и, должен добавить, немилосерднее плотоядного человека, и мне не встречалось литератора, более безжалостного в отношении чувств других людей». Забавно, что вегетарианца Толстого добрым человеком тоже редко кто называл.) После этой истории Дойл с Барри никогда ничего вместе не писали; дружеские отношения между ними сохранялись всегда, хотя из слов Дойла, несколько туманных, можно понять, что взаимная привязанность все же пошла на убыль.

В октябре к Дойлам приехала вторая сестра доктора, двадцатишестилетняя Лотти. На этом приток женщин в Норвуд временно завершился. 15 ноября 1892 года Луиза родила сына. Его назвали Аллейном (в честь героя «Белого отряда») Кингсли Конаном; сокращенно Кингсли. Естественно, Дойл назвал рождение сына главным событием всей его жизни в Норвуде. Осенью он также ввязался в публичную полемику в газете «Дейли кроникл», возмутившись тем, что старый флагманский корабль Нельсона было решено продать Германии на утилизацию. Он нежно любил памятники и реликвии. В Чикаго открывалась большая военно-историческая экспозиция, в которой предусматривался и британский зал; доктор, волнуясь, писал в «Таймс», что нужно послать в Штаты три полковых оркестра, которые украсили бы выставку.

В 1893 году (по другим источникам – в 1891-м) Дойл вступил в Общество психических исследований (Psychical Research Society) – организацию, изучающую «все случаи, касающиеся проявления потусторонних сил». В наши дни аналогичные общества определяют предмет своего изучения как «паранормальные явления». Общество, среди членов которого были солидные ученые-естественники, медики и другие уважаемые люди (натуралист Рассел Уоллес, физики Уильям Крукс и Оливер Лодж, философ Уильям Джеймс, будущий премьер-министр Артур Бальфур), подходило ко всем изучаемым случаям основательно и довольно беспристрастно, стараясь не руководствоваться принципом «верю-не верю»; их выводы по большей части носили вполне трезвый характер. Многими годами позднее Дойл будет воспринимать эту основательность и беспристрастность как предвзятость и чуть ли не предательство. Но в этот период ему был близок именно такой подход.

Анализ материалов, собранных обществом, открыл Дойлу значительное количество случаев, не имеющих объяснения, а также ряд мистификаций. Но наличие мистификаций Дойла уже давно перестало смущать. Он стал одним из наиболее активных членов общества и получил полномочия выезжать в качестве наблюдателя на места, где происходили какие-нибудь странные события, которые мы бы назвали полтергейстом. Однажды в компании с двумя другими наблюдателями он был откомандирован ночевать в «дом с привидением»; в первую ночь, по его словам, ничего не произошло, во вторую наблюдатели услышали шум: звуки напоминали удары палкой по столу. «Мы, разумеется, приняли все меры предосторожности, но нам не удалось найти объяснения этому шуму, однако мы не могли бы поручиться, что с нами не сыграли какой-то замысловатой дурной шутки. На этом дело пока и кончилось. Тем не менее несколькими годами позже я встретил одного из жильцов этого дома, и он сказал мне, что уже после нашего посещения в саду при доме были отрыты останки ребенка, закопанные, по-видимому, довольно давно». Дойл счел это совпадение достаточным доводом в пользу подлинности существования призрака.

Общество психических исследований выпускало еженедельник «Лайт», который, по мнению нашего героя, «на каждом своем квадратном дюйме выказывал не менее мудрости, нежели любой издававшийся в Великобритании журнал». Дойл писал туда статьи, участвовал во всех конференциях общества, а также использовал свое членство в других обществах (литературных) для того, чтобы пригласить кого-нибудь из проповедников спиритизма выступить перед более широкой аудиторией. Он регулярно присутствовал на спиритических сеансах, «давших удивительные результаты, включая множество материализаций, видимых в полумраке». Медиумом на этих сеансах бывала, в частности, знаменитая Эвзапия Палладино – неграмотная итальянская крестьянка, инвалид, собиравшая толпы зрителей, среди которых было множество серьезных ученых. Вот и обнаружилась зловещая мисс Пенклоза – правда, Дойл в «Паразите» ее очень сильно романтизировал, как и положено писателю. В репертуаре Эвзапии были перемещение предметов без контакта с медиумом, левитация столов и других предметов, левитация самого медиума, появление материализованных рук и лиц, мерцание огней, звучание музыкальных инструментов без участия человека и многое другое. Вскоре она была изобличена в мошенничестве. Станислав Лем, который этим вопросом интересовался, писал об Эвзапии: «Те, кто остались ей верны, утверждали, что она обманывала только тогда, когда ослабевали ее природные способности, чтобы не разочаровать участников сеанса». Доктора Дойла к этим «верным» можно отнести лишь отчасти: с одной стороны, он придерживался мнения, что «медиумы, вроде Эвзапии Палладино, могут поддаться искусу трюкачества, если им изменяет их природный медиумический дар, тогда как в другое время

достоверность их дара не может быть подвергнута никакому сомнению», с другой – считал для себя лично неприемлемым впредь иметь дело с медиумами, которые хоть однажды скомпрометировали себя шарлатанством.

Занимался доктор и более полезными (с точки зрения истории литературы) делами: за осень 1892-го и начало 1893 года он написал восемь рассказов, которые вместе с тремя уже написанными летом войдут в сборник «Записки о Шерлоке Холмсе» («The memoirs of Sherlock Holmes»): «Приключение клерка» («The Stockbroker's Clerk»), «Глория Скотт» («The „Gloria Scott“»), «Обряд дома Месгрейвов» («The Musgrave Ritual»), «Рейгетские сквайры» («The Reigate Puzzle»), «Горбун» («The Crooked Man»), «Постоянный пациент» («The Resident Patient»), «Случай с переводчиком» («The Greek Interpreter»), «Морской договор» («The Naval Treaty»). В рассказах этой серии Дойл впервые поведал публике о юных годах Холмса; «Глория Скотт» – это самое первое дело, которым занимался великий сыщик. Взрослый же Холмс продолжал упрощаться; в «Случае с переводчиком» Уотсон определял его как «мозг без сердца, человека, настолько же чуждого человеческих чувств, насколько он выделялся силой интеллекта». (Так, во всяком случае, все обстояло на первый взгляд: в следующей главе мы будем говорить об этом подробно.) В том же рассказе в первый и, как предполагалось, в последний раз появился Майкрофт Холмс. Неподвижный, он был еще больше, чем его брат, похож на мыслящую машину; от любителей выискивать тайные смыслы, запрятанные в именах, конечно же не должно укрыться пророческое созвучие «Майкрофт – Майкрософт».

Этой же осенью первая дюжина рассказов, опубликованных в «Стрэнде», вышла отдельной книгой. А в «Стрэнде» с декабря 1892-го уже начал печататься новый цикл, который открыл «Серебряный». Но в цикле не было последнего, двенадцатого рассказа.

В 1893 году Конан Дойл увидел Рейхенбахский водопад и понял, как умрет Шерлок Холмс. Биографы, однако, не пришли к единому мнению относительно того, когда именно это случилось. До Мартина Бута почти все считали, основываясь на книге Дж. Д. Карра, что доктор с женой в 1893-м посетили Швейцарию дважды: в январе и в августе, причем у водопада они побывали в январе. Но Бут был убежден (и убедил большинство последователей), что это ошибка и Дойлы впервые приехали в Швейцарию только в августе, когда доктор был приглашен читать в Лозанне и Люцерне лекции на тему «Беллетристика как часть литературы» (в лекциях рассказывалось о творчестве британских писателей: Гарди, Мередита, Киплинга, Стивенсона). Что же касается января, то Луиза тогда только-только родила и не могла сопровождать мужа, а один он бы вряд ли поехал – просто незачем было. Так или иначе Дойлы по Швейцарии путешествовали; красота Альп доктора поразила, и он написал поэму «Альпийская стена» («An Alpine Wall»). Когда Дойлы (то ли в августе, то ли в январе) ночевали в маленькой гостинице на перевале Жемми, расположенной на вершине горы и почти отрезанной от мира, доктору пришел в голову сюжет для рассказа или повести: в гостинице застревает группа людей, которые ненавидят друг друга; перевалы заметены снегом, люди не могут уехать – и каждый день приближает их к трагедии. Уже на пути домой Дойл случайно купил сборник рассказов Мопассана, которого никогда прежде не читал. Действие рассказа «Гостиница» происходило в том же месте, где только что останавливались Дойлы, и сюжет был в точности тот же самый. Это совпадение доктор всю жизнь считал не случайным: по его мнению, Провидение, подсунув ему в нужный момент книгу Мопассана, уберегло его от обвинений в плагиате. Мопассана он с тех пор очень полюбил – во всяком случае, рассказы, – правда, был несколько смущен «нарушением приличий» в мопассановских текстах. «По сути, нет причин, почему писатель должен перестать быть джентльменом или почему он должен писать для женского глаза то, за что справедливо получил бы пощечину, если бы прошептал свои слова женщине на ухо».

Из Люцерна Дойлы отправились в Цермат (это уже точно было в августе), где познакомились с двумя английскими священниками, один из которых, Хокинг, в своих мемуарах запечатлел все подробности этого знакомства: беседовали о Холмсе, доктор сообщил, что намерен от него избавиться, но еще не придумал, как именно: современные биографы считают мемуары Хокинга главным доказательством того, что Дойл в Мейрингене, где находится Рейхенбахский водопад, ранее не бывал и только в августе увидел его. «Это поистине страшное место. Вздувшийся от тающих снегов горный поток низвергается в бездонную пропасть, и брызги взлетают из нее, словно дым из горящего здания. Ущелье, куда устремляется поток, окружено блестящими скалами, черными как уголь. Внизу, на неизмеримой глубине, оно суживается, превращаясь в пенящийся, кипящий колодец, который все время переполняется и со страшной силой выбрасывает воду обратно на зубчатые скалы вокруг». Такое место наводит на мысли о катастрофе и смерти.

К 1893 году Дойл уже принял твердое решение вырваться из кабалы Ньюнеса. Мемуары Марбо его вдохновили: он задумывал вторую вещь о Наполеоне. Рейхенбахский водопад решил проблему Холмса; вернувшись домой, доктор написал заключительную, как ему думалось,

вещь, посвященную сыщику – «Последнее дело Холмса» («The Final Problem»). Мэри Дойл он сообщил, что дописал до половины последний рассказ о Холмсе, и, зная, как она встретит подобное заявление, все же объявил: «Этот джентльмен исчезнет, чтобы больше не вернуться». (Дразнил он свою мать, что ли?) Тут-то и возникает загвоздка: письмо к Мэри датировано апрелем, а вовсе не августом. Доктор все-таки был у Рейхенбахского водопада в январе? Бут считает, что в письме к матери Дойл говорит не о «Последнем деле Холмса», а о каком-то другом рассказе (о каком – неизвестно) – ведь водопад в письме не упоминается. Сплошные неясности. Но в любом случае вопрос о смерти Холмса был решен не позднее августа. Это важно, поскольку многие изыскатели упорно доказывают, что убийство Холмса суть моральное самоубийство Конан Дойла, измученного горестями и бедами, ощущавшего вину и стремившегося себя покарать. На самом деле никаких бед у него до осени 1893 года не было. Летом он, счастливый, выдал Конни замуж за Хорнунга, потом, такой же счастливый, поехал с Луизой в Швейцарию, где она прекрасно себя чувствовала. Горести и беды придут в октябре, когда Холмса уже не будет на свете. Так что с не меньшим основанием можно предположить, что именно за его безвременную смерть Провидение и покарало семью Дойлов, а гонорар за «Последнее дело», полученный автором, представляет собой тридцать иудиных сребреников.

Рассказ «Последнее дело Холмса» примечателен также тем, что в нем впервые появился профессор Мориарти, великий и ужасный. Снова поиски прототипов – начиная с тех двух мальчиков, что учились в одном колледже с Артуром Дойлом. Литературоведы упорно отказывают беллетристам в умении творить людей посредством собственного воображения: все персонажи непременно должны быть с кого-то списаны. Был, например, в Лондоне некий Мориарти, который убил жену и о нем много писали в газетах... Сейчас общепринятым является мнение, что прототип Мориарти – человек по имени Адам Уорт, и Дойл, по утверждению холмсоведа Винсента Старрета, сам об этом говорил. Уорт родился в Штатах, был талантливым преступником, в 1870-х годах – отчасти из-за преследований со стороны агентства Пинкертона – переехал в Лондон и создал там целую уголовную империю, функционировавшую с точностью часового механизма. В 1893 году, когда Уорт был уже арестован и содержался в тюрьме, большую статью о его жизни и приключениях опубликовала «Пэлл-Мэлл газетт»; Дойл эту статью наверняка читал.

Однако поскольку Уорт никогда не был ученым, а Мориарти – математик и астроном, – существует версия, что его прототип – американский астроном Саймон Ньюкомб, известный дурным характером. Литературовед Валерий Ярхо, сопоставляя дореволюционные и советские переводы «Последнего дела Холмса», отметил, что в «Ниве» за 1898 год в абзаце, где излагается биография Мориарти, была фраза: «Высокое развитие не уничтожило в нем природных дурных наклонностей, но наоборот, дало им обширное применение, ни одно злодейство *анархистов* не обошлось без ученого содействия профессора Мориарти», и сделал вывод, что Мориарти на самом деле революционер-террорист, глава боевой организации анархистов. «Однако появление на страницах изданной в СССР книги „революционера с наследственным стремлением к злу“, мерзкого уродца с огромной головой и „повадками змеи“, было решительно невозможно». Убедительно, но вот только одна мелочь мешает: в подлиннике Дойла нет ни слова об анархистах. Советские переводчики иногда искажали тексты Дойла, но «Последнее дело Холмса» они переводили точно.

Шерлок Холмс подвел итог своей недолгой жизни: «Я принимал участие в тысяче с лишним дел и убежден, что никогда не злоупотреблял своим влиянием, помогая неправой стороне». Его предсмертная записка полна тихого достоинства и печали. Когда «Последнее дело Холмса» будет опубликовано в «Стрэнде», читатели встретят его страшным взрывом негодования. Конан Дойл скажет по этому поводу: «Я слышал, что многие даже рыдали, сам же я, боюсь, остался абсолютно холоден и лишь радовался возможности проявить себя в иных областях фантазии». Свободе он конечно же радовался, но. Флобер плакал над умирающей Эммой Бовари; можно ли поверить, что сентиментальнейший доктор Дойл, взахлеб рыдавший над «Ветераном 1815 года», не пролил у Рейхенбахского водопада совсем уж ни единой слезы? Всплакнул наверняка. Все будут плакать. Попробуйте на мгновение вообразить себе мир, в котором не существует «Собаки Баскервилей». Чтобы не заплакать, нужно иметь сердце из железа.

Глава вторая

ЗНАТНЫЙ ХОЛОСТЯК

«– Холмс, вот вы так любите прийти с улицы, помыть руки с мылом, выпить чашечку кофе и присесть у камина с трубочкой первоклассного турецкого табака. А представьте себе, что вдруг исчезнут мыло, кофе, табак! Как вы тогда будете жить?

– Ватсон, я вам уже говорил: мы никогда не поедем в Россию!»

Анекдот, пусть несмешной или дурацкий – верный спутник эпоса и мифа. «Всё дальше и дальше уходит Шерлок Холмс от своих первоначальных источников, – писал Корней Чуковский, – всё больше кипит и бурлит вокруг него мировое, соборное, стадное, массовое, хоровое творчество современного дикарского города. В основе происходит то самое, что было когда-то, когда творился и жил живой жизнью крестьянский народный эпос». Холмс стал архетипом, героем мифа, холмсиана – эпосом. Чуковский, кстати сказать, считал, что это плохо, как плоха массовая культура вообще. Давайте не будем здесь обсуждать, хороша или плоха массовая культура; она существует – это факт. Холмсиана стала ее частью, как клише, как штамп – это тоже факт, который вряд ли кто-то возьмется оспаривать. Нет, разумеется, есть много людей, которые считают, что, к примеру, патер Браун симпатичней Холмса, но это их оценка, а гигантский отрыв Холмса по популярности от своих соперников – статистический факт. Если кто-то все же сомневается, достаточно вспомнить о другом спутнике мифа – апокрифе: холмсиана породила и порождает множество продолжений, подражаний и подделок, едва поддающееся исчислению, а чтобы кто-то после Честертона сделал своим персонажем Брауна – такие случаи можно по пальцам перечесть. О том, что по всему миру существуют десятки холмсовских обществ и музеев, что люди по сей день пачками пишут Холмсу письма, что в его честь устанавливаются памятники, что книга рекордов Гиннесса называет его самым экранизируемым персонажем, даже говорить много не хочется – все это общеизвестно. Недавно 350 тысяч пользователей Интернета со всего мира выбрали 20 самых «знаковых» явлений, предметов и персонажей, олицетворяющих для них Англию: Шерлок Холмс вошел в этот список наряду с дубом и жареной рыбой. «Ни одному из современных героев, за исключением Шерлока Холмса, не удается выйти за пределы книги, подобно тому как, разбивая скорлупу, выбирается на свет цыпленок» – это сказал не кто иной, как Честертон.

Но почему Холмс стал мифом? Почему анекдотов про Шерлока Холмса сотни, а про Брауна или мисс Марпл их днем с огнем не сыщешь? Почему едва ли не каждый писатель, работавший в детективном жанре (и не только), счел своим долгом написать один-два рассказа, где Холмс является действующим лицом, и до сих пор такие рассказы пишутся, а с Пуаро или Мегрэ ничего подобного не происходит? Почему никто из сыщиков, придуманных позднее, с учетом опыта Холмса, не смог затмить его сумасшедшей славы? Почему Честертон, прямой конкурент и антагонист Дойла, сравнил Холмса с легендарным королем Артуром и признавал его «единственным литературным персонажем со времен Диккенса, который прочно вошел в жизнь и язык народа, став чем-то вроде Джона Буля или Санта-Клауса»? Почему, наконец, сериал «Приключения Шерлока Холмса» у нас показывают по телевизору чаще, чем «Иронию судьбы» и «Место встречи» вместе взятые? Этому вопросу посвящено такое количество исследований, что их совокупный объем тысячекратно превышает объем того, что написал о Холмсе сам Конан Дойл.

Холмсоведение – обширная, разветвленная наука. Было бы смешно и бессмысленно даже пытаться в одной главе небольшой биографической книжки сделать обзор холмсологических трудов и изложить основные постулаты холмсологии – это все равно что, рассказывая биографию Эйнштейна, «бегло изложить и быстренько проанализировать» науку физику. К тому же холмсология имеет к жизни и творчеству Дой-ла довольно опосредованное отношение. Какие трубки курил Холмс, какой головной убор он носил, где он родился и учился, какие актеры играли его роль, – все это для нас сейчас не имеет значения. Какие ошибки и неточности допускал Дойл в рассказах о Холмсе, какие литературные аллюзии вызывает тот или иной рассказ – на эту тему полным-полно специальной литературы, и для понимания нашего героя (не Холмса, а Дойла) это тоже не так важно. Давайте лучше сосредоточимся на одном вопросе, непосредственно характеризующем Дойла как литератора-профессионала. Каковы причины феноменального успеха его детища? Что-то он, как писатель, сделал особенное. Что?

Большинство серьезных холмсоведческих исследований, как правило, начинается с обоснования мифологического характера детективного жанра как такового. «Детективное произведение, – сказал Карел Чапек, – это эпическое произведение, и его тема –

необыкновенное личное деяние». В современном литературоведении эта мысль уже стала общим местом, и мы принимаем ее как аксиому: да, детектив – это эпос; да, его герой сродни фольклорным, библейским или античным героям; да, детективный жанр с его тайнами, загадками и поисками произрастает корнями из древнейшего мифа, волшебной сказки и шекспировской трагедии. Это всё так. Беда в том, что это ни в малейшей степени не объясняет, почему миф получился именно у Дойла, который, придумывая свои детективные истории, никоим образом не рассчитывал на подобный результат; и почему у его просвещенных последователей, которые отлично знают, как надо писать детективные (или любые другие) произведения, чтобы получился миф, он не получается? Почему он не получился у Честертона? Давайте попробуем (в простоте, обходясь без терминов) перебрать наиболее распространенные версии, объясняющие секрет дойловского успеха – и, быть может, когда отвергнем все невозможные, то оставшаяся, как бы невероятна она ни была, и окажется верной?

Вот первая версия: Дойл создал миф, потому что он писал плохо. По мнению Куприна, «Конан Дойл, заполнивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляре, в небольшое гениальное произведение По – „Преступление на улице Морг“». Сомерсет Моэм обмолвился: «Я перечел все сборники рассказов Конан Дойла и нашел их на удивление убогими. Завязка умело вводит в курс дела, обстановка описана прекрасно, но истории он излагает малоубедительные, и, дочитав их до конца, испытываешь чувство неудовлетворенности. Много шума из ничего», – и с нескрываемым раздражением добавил, что Конан Дойл вдалбливает черты Холмса в сознание читателей «с тем же упорством, с каким мастера рекламы превозносят мыло, пиво или сигареты, и с не менее прибыльными результатами». Литературовед Борис Парамонов заметил, что «архетипы, как правило, открывают посредственные литераторы». Его коллега Александр Генис, посвятивший Холмсу не одну работу, сказал примерно то же: «великие писатели создают великие образы, слишком индивидуальные, чтобы раствориться в массовом искусстве и стать всенародным достоянием. Евгений Онегин принадлежит Пушкину, Петрушка – всем. Только забытым, второстепенным художникам дана способность зачать мифических героев: Дракулу, Франкенштейна, Шерлока Холмса, Тарзана, Бэтмена – всех тех, кто шагнул из книжных переплетов в вечную жизнь».

Объяснение обидное, но отмахнуться от него (или списать на счет обычной зависти, как иногда делают заступники Холмса) мы не можем: из всех версий, объясняющих секрет популярности дойловского творения, эта – самая серьезная и самая обоснованная. Да, массовая культура предпочитает сложному – простое, Тарзана – Гамлету. Да, персонаж Конан Дойла довольно-таки схематичен, довольно-таки прост – хотя с утверждением, что в нем мало индивидуальности, уже можно поспорить. Да, самое большое в мире количество экранизаций посвящено Холмсу и Дракуле, а не, к примеру, Холмсу и госпоже Бовари. Да, то обстоятельство, что анекдоты про Холмса есть, а про князя Мышкина нет, свидетельствует, вероятно, не в пользу Холмса. Но есть два серьезных возражения.

Во-первых, совершенно непонятно следующее: если для того, чтобы создать архетип и миф, достаточно уметь писать плохо, то почему из десятков тысяч литераторов по всему миру, писавших и пишущих плохо, сотворить персонажей, вышагивающих за рамки книг, сумели только единицы? Что-то, стало быть, Дюма, Джоан Роулинг и Конан Дойл умели делать помимо того, чтобы писать плохо?

Возражение второе: архетипы создавали и создают порой писатели, которые пишут – мягко говоря – хорошо. Некто Гоголь, к примеру, Пушкин там, Сервантес, Шекспир... Пусть в количественном отношении Обломов, Тарас Бульба или Шейлок недотягивают до популярности Холмса и Дракулы, но тем не менее они – как минимум в культуре своей страны – несомненные архетипы. (Кто знает – напиши Пушкин о Дубровском не одну повесть, а шестьдесят – может, и потеснил бы его герой Холмса на пьедестале?!) Нарицательными именами они стали, постмодернисты их образы постоянно обыгрывают, апокрифические тексты о них изредка попадаются, анекдоты время от времени встречаются (об Анне Карениной так их полным-полно), и на тему убитой топором старушки пошутить может всякий, кто отродясь о ней не читал. Наташа Ростова – и та, вышагнув из книги, вдруг соединилась в массовом сознании с поручиком Ржевским; неужто она так плохо написана, бедняжка? Нет, не так всё просто, наверное: не в том фокус, чтобы плохо писать (а мы-то обрадовались...).

И, наконец, третье. Объединять Холмса и Тарзана, противопоставляя их в качестве феноменов массовой культуры Евгению Онегину, пожалуй, не совсем правомерно, потому что образ Тарзана не вдохновлял Умберто Эко, Набокова и Лема. Большие писатели могут упомянуть о Тарзане (у того же Набокова есть словцо «по-тарзаньи»), но большие критики не станут это упоминание выносить в комментарий, сопровождая красивым словом «аллюзия»; о Тарзане

сотни умных людей (включая самого Александра Гениса) не сочиняют сотни серьезных работ, иногда сплошь состоящих из умных слов «герменевтика», «дискурс», «идеологема» и «мультикультурализм». Такие работы пишут о Гамлете и Евгении Онегине. Их также пишут о Шерлоке Холмсе... Свалившись вниз, сюда, к нам, в масскульт, как Прометей, он в то же время ухитрился остаться там, в «верхней» культуре; за столом небожителей он восседает как равный.

Версия вторая: Конан Дойл создал миф, потому что он писал хорошо. Тоже серьезная версия, тоже имеет много сторонников. Холмсовед Эдмунд Уилсон считал, что произведения о Холмсе с литературной точки зрения – скромного, но, благодаря воображению и стилю, отнюдь не низкого уровня. Честертон дал более высокую оценку: «Рассказы о Шерлоке Холмсе – очень хорошие рассказы, это изящные произведения искусства, исполненные со знанием дела. Тонкая ирония, которой приправлены невероятные перипетии авантюрного повествования, дает нам право отнести эти рассказы к великой литературе смеха. <...> Он (Дойл. – *М.* Ч.) написал лучшую книгу в популярном жанре, и выяснилось, что чем книга лучше, тем она популярней». Честертон сопоставил дойловского героя с персонажами отнюдь не массовой культуры, но – Диккенса. То же сделал Хескет Пирсон, по мнению которого сравниться с Холмсом всенародной славою могут лишь трое: Робинзон Крузо, Шейлок и Ромео. Джон Фаулз, посвятивший главу своих «Кротовых нор» серьезнейшему филологическому разбору «Собаки Баскервилей», считал, что Дойл не заслуживает нашей умиленной снисходительности: критиковать его тексты надо точно так же, как критикуют любую серьезную литературу: «Конан Дойл совершенно определенно принадлежит к сказочникам, оказываясь в их длинном ряду – от По до Росса Макдоналда, – а вовсе не к романистам. Утверждать, что ему недостает достоинств, свойственных Харди или Конраду, – все равно что сетовать на то, что прыгун в длину не достигает высоты шестовика. <...> В случае Конан Дойла нам в конечном счете достаются превосходные карикатуры и непревзойденная методика повествования, а еще – сочувственное сожаление. Он так никогда и не осознал, что было его величайшим талантом. Но это лишь свидетельствует о том, что он был настоящим художником, а вовсе не исключением». Диккенс, Шекспир и Эдгар По – неплохая компания.

Эта версия куда более приятна. Да, талант Дойла был гораздо больше, чем у Мэддока, Агаты Кристи, Стаута или Чандлера, и писал он просто-напросто лучше их. Но все-таки, наверное, не так же хорошо, как те, с кем его сравнили в предыдущем абзаце... Хотя Фаулз и говорит в своей работе о «гении Конан Дойла», но все ж этот гений не может равняться с гением Шекспира, по владению словом он никак недотягивает до По, по психологической глубине – до Диккенса. А рассказы Киплинга о Стрикленде или рассказы того же По о Дюпене – они что, хуже написаны, раз не стали так известны и любимы? Ну, допустим, все дело в количестве: Киплинг и По не дали себе труда сочинить о своих сыщиках целую сагу. Но Честертон-то сделал это; и писательское мастерство его тоже было не меньше, чем у Дойла. Далее, если следовать такой логике, то получается, что чем писатель лучше – тем популярнее должны быть его герои, а у гениев так и вовсе каждый персонаж обязан обретать мифологический характер. Увы, это не так. Много есть писателей, которые пишут хорошо. Далеко не всем им и не всегда удается создать миф, популярный хотя бы в узких кругах.

Следующая версия: абсолютно неважно, хорошо или плохо написан персонаж, важно, чтоб он отвечал требованиям архетипа, то бишь «ментальной структуры, глубоко укоренившейся в коллективном бессознательном большого количества людей и отражающей некие глубинные потребности наших душ». Говоря совсем упрощенно, архетипом является персонаж, который олицетворяет некое качество или функцию; нечто достаточно однозначное, ясное и простое, чтобы массовое сознание могло его переварить. Фальстаф суть воплощенное лицемерие, Тарзан – сила, барон Мюнхаузен – хвастовство, леди Макбет – коварство, Гамлет – нерешительность; крокодил Гена являет собой образ Отца, а Чебурашка – Ребенка... Все эти трактовки до безобразия упрощены и в отношении конкретных персонажей их, разумеется, можно оспаривать – но в принципе-то вроде бы все правильно. Сложный герой, у которого много противоречивых черт, в рамки архетипа не укладывается: какое свойство или чью функцию воплощает Андрей Болконский или Иван Карамазов – поди разбери.

Холмс, следуя этой логике, тоже олицетворяет нечто. Что именно? Пирсон считает, что – Спорт. Может, конечно, для англичан и так, но очень сомнительно, чтоб во всем мире Холмса воспринимали как спортсмена. Самый распространенный ответ – Ум, Мудрость. «Главное, что привлекает читателей к этому искоренителю преступлений и зол, – замечательная сила его мысли. <...> Шерлок Холмс – чуть ли не единственный из персонажей детской мировой литературы, главное занятие которого – мышление, логика» – это написал Корней Чуковский в предисловии к советскому сборнику для детей. И то же написал Генис в интеллектуальном эссе: «Холмс – живая цепь умозаключений. Его сила в последовательности рассуждения». А Николай Вольский в работе «Структура детектива» доказывает даже, что Холмс есть олицетворение одного из трех гегелевских уровней познания. Действительно, назвать

персонажа не только детской литературы, но и литературы вообще, который мог бы быть назван чистым воплощением интеллекта, весьма затруднительно (хотя вообще-то такой персонаж есть у самого Дойла – профессор Челленджер). А то, что из всех литературных персонажей Холмс самый мифологичный, означает, надо полагать, что люди ценят ум превыше всего остального – это необычайно лестно для человечества.

Но тут тоже есть загвоздка. Во-первых, как минимум половина всех литературных сыщиков (пока вторая половина бегает и стреляет) могла бы служить олицетворением ума не в меньшей степени, чем дойловский персонаж. Пуаро точно так же, как и Холмс, строит свое расследование на работе «серых клеточек». Может, он просто подражатель, тогда как Холмс был первым? Уже говорилось – не был он первым. В самом начале холмсианы был обруган сыщик Лекок – за то, что он раскрывает преступления не при помощи ума. Но Табаре у того же Габорио пользуется именно умом и рассуждает точь-в-точь как Холмс. Мадемуазель де Скюдери Гофмана – это гений чистой мысли. Дедукцию и логику придумал не Дойл, а По. Холмс все-таки очень много бегал, разъезжал в кебе, выслеживал и порою стрелял – заточенный в темницу Фариа разгадывал загадки посредством одного чистейшего интеллекта. Холмс болтается по закоулкам, мерзнет, мокнет, по двое суток не ест – а Ниро Вульф решает интеллектуальные задачки, не вставая с дивана. Холмс почти всегда нуждается в кулаках, револьверах и лупе – а Брауну, чтобы раскрыть преступление, достаточно поговорить с человеком или просто взглянуть на него.

Да нет, безусловно, в этом объяснении что-то есть. Но далеко не всё. Оно не объясняет одной очень важной детали. Есть архетипы, грубо говоря, положительные и отрицательные – и, если подумать хорошенько о свойствах массовой культуры, мы увидим, что Холмс должен бы был вызывать отвращение. Массовое сознание умников – начиная с жестокого Сфинкса и того, кто его перемудрил, – не любит. Не Знайка симпатичен, а Незнайка. Гарри Поттер, конечно, ребенок умненький, развитой, но по сравнению с отрицательными персонажами из своего окружения он – простая душа, верх наивности. Самый умный всегда несимпатичен. Большой ум – это что-то опасное, подозрительное. Хорошему человеку он ни к чему. Хорошего человека не назовут мыслящей машиной. Хороший человек может изредка в трудной ситуации проявить догадливость, но не систематический холодный интеллект. В фольклоре и массовой культуре простодушный герой всегда симпатичней хитроумного и торжествует над ним к всеобщей радости. Злые умники плетут коварные интриги – а добрые простаки их обезоруживают. А уж если умник еще и хвастается поминутно своим умом – такого персонажа люди просто на дух не переносят. Пуаро как личность раздражает даже поклонников Агаты Кристи. Самодовольный, надутый, всех поучающий интеллектуал – один из самых гадких типажей. Почему же тогда Холмс – герой не только известный, но и нежно любимый?

Ведь Холмс – ужасно противный человек. Высокомерный. Бездушный. Без убийств ему скучно. Всех кругом он презирает. Беспрестанно измывается над своим добрым другом, использует и обманывает его. «Счастье лондонцев, что я не преступник», – зловеще цедит Холмс, и ему трудно не верить. «Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки», – пишет Генис. Что же все в Холмсе нашли такого хорошего?! (С этими архетипами, кстати, можно встретить парадоксы еще более занятные: почему многие так любят – именно любят! – Дракулу и Фантомаса, которые вроде бы бесспорно олицетворяют зло? Но, к сожалению, этот увлекательный вопрос выходит за рамки нашего расследования.)

Более тонкие литературоведы трактуют Холмса не как интеллектуала, а как художественную натуру, эстета. Юрий Кагарлицкий доказал, что герой Дойла – художник и актер. Чуковский определил Холмса как «мечтательного и грустного отшельника», поэта и идеалиста. Уж конечно, только большой эстет мог (в «Морском договоре») разразиться следующей тирадой: «Мне кажется, что своей верой в божественное провидение мы обязаны цветам. Все остальное – наши способности, наши желания, наша пища – необходимо нам в первую очередь для существования. Но роза дана нам сверх всего. <…> Только божественное провидение может быть источником прекрасного. Вот почему я и говорю: пока есть цветы, человек может надеяться». О черточках Уайльда в молодом Холмсе уже говорилось. По Генису, Холмс как художник – творец хаоса, ренессансная натура, нарушитель правил: «Он – отвязавшаяся пушка на корабле. Он – беззаконная комета». Евгений Головин считает, что Холмс «одинокий постбодлеровский романтик: его не волнует окружающая жизнь», – и доказывает, что Холмс, подобно Ницше, не упорядочивает, а разрушает действительность.

Тоже вроде бы верно: Холмс – романтик, декадент и эстет. «Преступление скучно, существование скучно, ничего не осталось на земле, кроме скуки». Но вот беда: массовому, наивному, уютному сознанию подобные герои претят еще больше, чем умники. Так что же в Холмсе хорошего – а точнее, что в нем привлекательного именно для масс?

Глупый (с точки зрения простодушного читателя) вопрос: конечно же Холмс не только умный, самодовольный и высокомерный эстет, не только свободный художник, презирающий толпу. Он добрый, он благородный, он жалостливый, честь женщин спасает, богатых презирает, бедных защищает и денег с них не берет. Нигде и никогда он не меняет своего знака; назвать Холмса беззаконной кометой и утверждать, что его не волнует окружающая жизнь, можно только ради красного словца, и ни один простодушный читатель не поверит, что Холмс мог бы быть преступником. Он строит из себя декадента и тем умудряется обмануть умнейших исследователей, но на самом деле он – обыкновенный моралист. Даже добропорядочнейший Уотсон не так склонен встревать в чужие дела с добрыми намерениями; в «Знатном клиенте» он спрашивает Холмса:

« – Неужели вы непременно должны ему мешать? А может, пускай себе женится на девушке? Какое это имеет значение?

– Очень большое, если учесть, что он, вне всякого сомнения, убил свою первую жену».

В «Случае в интернате» Холмс разъясняет, что мужу с женой следует жить дружно ради счастья ребенка, в «Жиличке под вуалью» не позволяет отчаявшейся женщине наложить на себя руки. В «Вампире из Суссекса» втолковывает отцу, что воспитанием сына-подростка, лишившегося матери, нельзя пренебрегать, в «Конце Чарлза Огастеса Милвертона» объясняет шантажисту, что шантажировать нехорошо. Он чуть не каждому встречному читает мораль – правда, между делом и очень коротенькую, которая не успевает утомить. «Ступайте на место, – сурово сказал Холмс. – Сейчас вы готовы ползать на коленях. А что вы думали, когда отправляли беднягу Хорнера на скамью подсудимых за преступление, в котором он невиновен?»

Мало ли что он там изящно болтает о скуке обыденности и о красоте кровавых тонов: на самом деле его цель – не мозг свой развлечь и не преступление раскрыть, а помочь несчастному человеку, даже если тот не просит о помощи, а отказывается от нее: «Мне стало жаль ее, Уотсон. На какое-то мгновение я представил себе, что это моя родная дочь. Мне не так уж часто удавалось блеснуть красноречием: я живу умом, а не сердцем. Но тут я буквально молил ее.» Он, быть может, единственный по сей день сыщик, который существует не для преступников, а для жертв. Клиенты Пуаро и соседи мисс Марпл мрут как мухи, десятками, доставляя тем самым немалое удовольствие маленькому бельгийцу и милой старушке. Доброму Брауну весьма редко удается предотвратить преступление: как правило, он является постфактум. Клиенты Холмса не погибают почти никогда. (Почти – это важно; если бы герой Дойла вообще никогда не совершал таких ошибок, как, например, в «Пляшущих человечках», он не был бы так убедителен.)

«Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым всепонимающим взглядом.

– Вам нечего бояться, – сказал он, ласково погладив ее по руке».

Он – заступник, он – защитник, он – умелый анестезиолог. С той минуты, как мы, растерянные и напуганные, вбегаем в его квартиру, нас тотчас окружает абсолютно непроницаемый колпак безопасности и покоя. Брауну исповедуются преступники, он вникает в их души, становится на их место; жертвы ему малоинтересны (даже его помощник и конфидент Фламбо – бывший преступник; в противном случае Брауна он бы не заинтересовал). Холмса преступники не занимают. Их исповеди интересны читателю – Холмс выслушивает их, зевая. Зато жертву, даже самую бестолковую и скучную, он никогда не отпустит без полезного совета – причем не туманного, красиво выраженного и изобилующего изящными парадоксами, как у Брауна, а короткого и ясного, как рецепт. Ниро Вульф своих клиентов бранит, оскорбляет, раздражается на них, торгуется с ними немилосердно. Перри Мейсон всякое общение с клиентом начинает с того, что уличает его (чаще – ее) во лжи и выводит на чистую воду. Комиссар Мегрэ будет часами допрашивать нас, при этом уплетая бутерброды, тогда как мы сидим голодные. Мисс Марпл сплетничает за нашей спиной. Брауну вообще не до нас: он занят душой нашего убийцы. Холмс по отношению к клиентам (пациентам) бесконечно терпелив, нежен и заботлив, как мать родная: поит чаем, поучает, при первом подозрении на что-то серьезное выезжает на дом. «Когда с едой было покончено, он усадил нашего нового знакомого на диван, подложил ему под спину подушку, а рядом поставил стакан воды с коньяком.

– Вам, видно, пришлось пережить нечто необычное, мистер Хэдерли, – сказал он. – Прошу вас прилечь на диван и чувствовать себя как дома».

Обратите внимание: на клиентов Холмса, как правило, его пресловутая дедукция особого впечатления не производит – они воспринимают ее как занятный фокус и не просят воспроизвести ход его мыслей (это делает только Уотсон, не пациент, а ассистент). Им

неважно, воспользуется он логикой или засадой с револьвером; они верят, что операция в любом случае пройдет успешно. Юрий Щеглов в работе «К описанию структуры детективной новеллы» пишет: «.интеллект и воля Холмса нейтрализуют самостоятельность этих лиц, снимают с них бремя личных решений и вызывают чувство руководимости, зависимости от всесильного и всезнающего существа, а тем самым и своеобразной обеспеченности». Всё это мы чувствуем, попадая в кабинет врача – не в милицию. Если Холмс и архетип, то, как нам кажется, не Мудреца, не Декадента и даже не Заступника (оставим эту функцию Бэтмену и Робин Гуду: заступники, защищая жертв, не больно-то ими интересуются – если речь не идет о прекрасной девушке), а – Доктора. «Но дело было такое заурядное, что Холмсу не стоило тратить время. Он чувствовал примерно то же, что чувствует крупный специалист, светило в медицинском мире, когда его приглашают к постели ребенка лечить корь». Уточним: не доктора Моро и не доктора Лектера, а доктора Айболита. «Рассказывайте, пока сможете, но если почувствуете себя плохо, помолчите и попробуйте восстановить силы при помощи вот этого легкого средства», – ласково говорит Холмс пацие. клиенту. Он терпеливо выслушает все наши безграмотные жалобы и одним движением брови нас успокоит: диагноз не смертелен. Он гарантирует нам долгую и счастливую жизнь – разумеется, при условии, что мы будем более-менее соблюдать назначенный им режим.

Но мало выяснить имя великого преступника – желательно понять, каким образом он умудрился сделать свое преступление идеальным. Почему Холмс – не один из сотни самых популярных, а как минимум один из топ-десятки? (Проницательному читателю, который сперва снисходительно недоумевал, почему замалчивается грандиозный вклад Уотсона в величие Холмса, а теперь начинает уже злиться по этому поводу, мы торжественно обещаем, что в дальнейшем не пройдем мимо этого фигуранта.) До этого момента мы называли известных персонажей мировой культуры скопом, не деля их по национальной принадлежности. Но теперь нам придется учесть, что мифологичность и архетипичность литературных персонажей обычно имеет локальный характер. Для англичан скупец – Шейлок, для нас – Плюшкин; на тему «смелость» или «лень» каждая культура создает своего героя. Почему Холмс – достояние интернациональное, почему он «всехний», как Дракула, как Маугли, как пицца, как Кармен? (У аргентинцев, например, есть выражение «шерлокхолмитос», которым обозначают сложные умозаключения.) Что-то, наверное, такое необыкновенное умел делать Конан Дойл.

.Один из топ-десятки? Нет, не так. Не «один из», а – один-единственный. Абсолютный чемпион. Во всяком случае, пока. Существуют, разумеется, памятники другим литературным персонажам – д'Артаньяну, комиссару Мегрэ, даже котенку с улицы Лизюкова. Есть фан-клубы Гарри Поттера и персонажей Толкиена, члены которых слагают бесчисленные апокрифы и играют в ролевые игры. И музей Поттера наверняка откроют. И общества друзей Фантомаса существуют. Но с Шерлоком Холмсом люди переписываются, как с Дедом Морозом. Серьезные люди, в ролевые игры не играющие, относятся к нему как к живому существу. В 1975 году ему было присвоено звание почетного доктора Колорадского государственного университета; в 2002-м он был принят в члены Британского королевского общества химии.

У Поттера и толкиеновских героев фанов в наше время гораздо больше, и они гораздо активней! Верно, но есть одно сверхпринципиальнейшее различие между этими персонажами и Холмсом. Это различие формулирует Даниэль Клугер в своем труде «Баскервильская мистерия»: «.Поклонники творчества Толкиена играют в мир, им придуманный, преображаясь в эльфов, гоблинов и прочих существ, описанных писателем. Подростки берут в руки шпаги, перевоплощаются в д'Артаньяна и Атоса. Участники же „игры в Холмса“ и в мыслях не имеют вообразить себя Великим Сыщиком. Нет, они чувствуют себя именно его поклонниками, его адептами, его верными рыцарями – и клиентами. Поклонники героя сэра Артура играют в присутствие Шерлока Холмса, в его бессмертие – истинное, а не культурное». Истинное бессмертие! Что же, что ухитрился сделать доктор Дойл? Определенно он знал какой-то секрет (и если мы этот секрет раскроем, то, быть может, узнаем, как написать великий бестселлер и разбогатеть.).

Вот еще одна версия: мифологичен вовсе не Холмс, мифологична холмсиана как целостное произведение, ибо она есть квинтэссенция поздневикторианской эпохи, которая является чем-то вроде утерянного золотого века цивилизации, точнее, наивного массового представления о нем. Вновь открываем «Вавилонскую башню» Гениса: «В сочинениях доктора Уотсона последний раз расцвел идеал внятной и разумной вселенной, этой блестящей утопии XIX века, которую сплетали железнодорожные рельсы и телеграфные провода. <...> Холмс – это эпилог к Бальзаку и Диккенсу. В нем сконцентрировалась повествовательная энергия XIX века, нескромно, но и не без оснований считавшего себя вершиной истории». Из другой работы того же автора: «У XIX века не было свидетеля лучше Холмса – мы чуем, что за ним стоит время. <...> Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом

цивилизации, ее иероглифом, ее рецептом, формулой. <…> „Шерлок Холмс“ – библия позитивизма». Вселенная XX века стала сложна и опасна – и человек тоскует по утраченному спокойствию, разумности и уюту. А Николай Вольский доказывает, что с Холмсом умерли не только эпоха, но и сам жанр классического детектива, так что холмсиана – нечто вроде надгробия.

Опять серьезная, красивая, разделяемая многими умными людьми версия. Да, Лондон, Англия, XIX век, уют, комфорт, благополучие, размеренность, разумность, наивный позитивизм в науке, горящие камины, вечер в опере, толстые стены, защищающие от тумана и зла, поезда, которые ходят точно по расписанию, уют, уют, еще раз уют, – все это у нас ассоциируется именно с текстами Конан Дойла. Причем не только у нас, но и у самих англичан. Пирсон пишет о Холмсе: «Как никакой другой герой художественной литературы, он пробуждает ассоциации. Для тех из нас, кто не жил в Лондоне восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, этот город – просто Лондон Холмса, и мы не можем пройти по Бейкер-стрит, не думая о нем и не пытаясь найти его дом». Да, никто другой не воспел эту милую упорядоченную цивилизацию с такой нерассуждающей любовью, с таким изяществом и так «вкусно». Да, Конан Дойл был талантливейшим выразителем эпохи. Да, хочется пожить такой очаровательной жизнью; да, завидно. Да, в наше время все изменилось, мир стал сложен, непредсказуем, иррационален; да, мы тоскуем по добропорядочному уюту. Да, образованный почитатель холмсианы наслаждается вовсе не сюжетом и не героем, а – атмосферой.

Но почему-то в апокрифических текстах Холмс преспокойно выходит из своей викторианской обстановки: приезжает в Китай, в Россию, попадает в XXI век, летает в космос (как история Ромео и Джульетты или Хлестакова в театральных постановках спокойно переносится в современную эпоху или другую страну) и при этом остается все тем же узнаваемым Холмсом с тем же характером.

И насчет массового сознания – опять же как-то сомнительно… Ребенок или взрослый, который о викторианстве сроду не слыхивал, а о Лондоне знает только то, что там живет Абрамович – какое им дело до золотого века и погибшей рациональной цивилизации? Сильно ли нас, советских детей, интересовал Лондон? В лагере (пионерском), ночью, когда друг другу рассказывали «Пеструю ленту» – часто ли поминали очаровательную атмосферу холмсианы? Воспринимали ли ее как уютную? А японцы, чья культура очень отличается от европейской – им-то по чему здесь тосковать?

Еще одна версия – как правило, примыкающая к предыдущей: самое важное, самое замечательное и волшебное в холмсиане – это не Холмс, а его квартира. Опять Генис, но уже вместе с Вайлем, в книге «Гений места» доказывает, что уютная квартирка на Бейкер-стрит – метафора викторианского очага. «Туману противостоял камин – и в рассказах Конан Дойла о преступлениях никогда нет погружения в ужас и тоску от несовершенства мира и человека». «Холмс и Уотсон утверждают и защищают главное в британской иерархии ценностей – то, что так усердно разрушал Джойс. Дом. Викторианский очаг». Совсем с другой стороны заходит Юрий Щеглов: важен не конкретный викторианский дом с викторианским камином, а дом вообще – как образ уютного, комфортабельного убежища, защищенности. Причем Дойл создает этот «дом», как кокон, повсюду. «Автор как бы ставит задачу совместить каждое новое положение, в котором оказываются герои, с идеей комфорта, даже если она при этом сведется к простому жесту или знаку, как, например, поднимаемый воротник пальто в ветреный день или колода карт, которую Холмс в „The Red-Headed League“ берет с собой в подвал, где устраивается ловушка грабителям».

Ребенок устраивает себе домик из одеяла, из скатерти, ставит посреди комнаты палатку, если позволяют родители и метраж, и живет в ней; домик – квинтэссенция защищенности. В Лондоне (мире) сыро, в Лондоне (мире) туманно, в Лондоне (мире) опасно, а Уотсон с Холмсом сидят в теплой комнате, с ног до головы вооруженные символами комфорта: газетой, трубкой, кофейником, лишь на время совершая вылазки во внешний мир, что только усиливает ощущение безопасности и тепла, когда они неизменно возвращаются на то же место. Причем место должно быть маленькое. Если бы Дойл заставил своего героя жить в громадном холодном замке или без конца переезжать с квартиры на квартиру, это было бы ошибкой – но Дойл подобных ошибок не совершал.

Заметим, однако, что дом – это не только прибежище, но и убежище. У доброго доктора должен быть дом, где он всегда принимает, а в доме должно быть тепло и светло – не для самого доктора, а для пациентов. Должно быть теплое и уютное место, куда насмерть перепуганный беглец может в любое время суток прийти со своим страхом, и если даже доктора в данный момент нет дома, есть миссис Хадсон, которая напоит чаем и позволит обождать. Вроде бы мелочь – но какая гениальная! Патер Браун не принимает на дому. Пуаро не принимает на дому. Мисс Марпл не принимает на дому. Каменская не принимает на дому.

(Строго говоря, большинство литературных сыщиков иногда впускают клиента в свое жилище, но это редкие исключения, и они призваны в основном подчеркнуть то обстоятельство, что у героя нет ни минуточки свободной и даже дома его продолжают беспокоить.) Фандорин не принимает на дому. Бэтмен – не принимает! Ниро Вульф принимает, но только в строго определенные часы – а вдруг вам приспичило именно тогда, когда он занят обедом или орхидеями? Все современные сыщики принимают не на дому, а в конторе; некоторые могут принять вас на дому – но только если вы красивая девушка и автор заранее предназначил вам любовную связь. Никто, никто не принимает; бедная жертва вынуждена, дрожа, оставаться на месте преступления, там, где ей неуютно и страшно. В мире есть только один Дом, где нас всегда ждут.

Дом сыщика – страшно важное «ноу-хау» Дойла, но оно не может быть единственным. В мировой литературе можно отыскать и другие уютные дома – у Троллопа, у Голсуорси. Нет, были еще какие-то секреты, благодаря которым он сумел создать великий миф. Вот и добрались мы до Уотсона. То, что его фигура не случайна, а необходима, признается всеми. Его роль в успехе Холмса не просто огромна – без него холмсиана не могла бы существовать. С этим никто не спорит. Но что именно делает Уотсон? В чем конкретно заключается его роль?

Из любого краткого справочника мы узнаем, что Дойл написал два рассказа, в которых не фигурирует Уотсон, и Холмс сам повествует о своих подвигах – «Львиная грива» и «Человек с побелевшим лицом». Многие читатели и критики находят, что в них «чего-то не хватает». Любопытно, что на самом деле у Дойла есть еще два рассказа – «Глория Скотт» и «Обряд дома Месгрейвов», в которых от лица Уотсона написан только крохотный зачин, а дальше полностью следует рассказ Холмса, который Уотсон просто молча слушает; о них, однако, не говорят, что в них чего-то не хватает. (Есть еще два поздних рассказа, где Дойл выбрал форму повествования от третьего лица: «Его прощальный поклон» и «Камень Мазарини» – в них Уотсон не является рассказчиком, но фигурирует как действующее лицо.) Так чего же «не хватает» в первых двух рассказах? Не хватает в них Уотсона, это понятно: но что такое Уотсон? Зачем он? Тут опять возникает огромное множество версий – точнее, подверсий.

Самая простая, «детская»: Уотсон и Холмс олицетворяют одно из прекраснейших в мире явлений: мужскую дружбу, верную и честную. (А рассказы без Уотсона, само собой, хуже, потому что этой дружбы в них нет.) Серьезные исследователи, как правило, над таким утверждением смеются: Уотсон не друг, а раб или оруженосец Холмса. Исчезнуть на несколько лет и заставить друга оплакивать себя – нет, с другом так не поступают. Ежечасно тыкать в нос другу его глупость – нет, это не дружба. Нам, однако, эта версия не кажется такой уж наивной. Вспомним, как вечно томился по дружбе сам Дойл; в его текстах о Холмсе мы повсеместно обнаруживаем свидетельства уважения, нежности и привязанности Холмса к своему другу. Уотсон Холмсу – не друг? Хорошо, тогда попробуйте представить ситуацию: Уотсон попадает в неприятности, его обвиняют в убийстве, на его жизнь покушаются – и Холмс не бросает тотчас все дела, не спешит на помощь. Уотсона посреди ночи вдруг заела хандра или ему просто захотелось поболтать о какой-нибудь книге, он идет к Холмсу – а Холмс заявляет, что он устал и хочет спать. Холмс смеется над непонятливостью Уотсона *за глаза…* Уотсону понадобились деньги – а Холмс не достает их немедленно, каким угодно способом, без малейшего недовольства и попрека? Ну как, представляется такое? А если нет – чего еще можно требовать от друга?

Но все-таки, конечно, это не объяснение. Мужскую и мальчишечью дружбу воспели многие гораздо успешней, чем Дойл. Не для этого, верней, не только для этого Дойлу понадобился Уотсон. Вот совсем иная версия – сухая, сугубо профессиональная, и высказывает ее не литературовед, а романист, прекрасно разбирающийся в технике работы своего коллеги. Джон Фаулз: «Гений Конан Дойла проявился в том, что он сумел решить проблему, знакомую всем романистам, то есть проблему природной несовместимости диалога с повествованием». Уотсон, по Фаулзу, нужен как чисто технический прием: чтобы описание – обстановки, преступления, расследования – можно было облечь в живую и динамичную форму диалога: «.если ты собираешься прочно опираться на беседу как средство повествования, тебе придется обходиться двумя четко охарактеризованными и по темпераменту противоположными друг другу выразителями твоих идей, а не одним центральным „я“ или не одним наблюдателем происходящего. Здесь применимы те же правила, что в рутинном представлении мюзик-холла или в комедийном телевизионном шоу. Одна из ролей подающего реплики должна быть суррогатом зрительного зала, а острие кульминационного высказывания должно быть направлено не только на козла отпущения на сцене, но и на всех тех в зале, кто не ожидал удара». Виктор Шкловский писал, что роль Уотсона – подавая реплики, тормозить действие и разбивать повествование на отдельные куски, тем самым делая его более легким для восприятия. Уотсон – чисто техническая функция. В тех двух рассказах, где он не участвует, некому создавать диалог.

Самые серьезные и скучные объяснения чаще всего и есть самые правильные. Единственное, что тут можно возразить, – в соответствии с такой теорией на месте Уотсона мог оказаться абсолютно любой персонаж – квартирная хозяйка Холмса, его жена, Лестрейд... В «Обряде дома Месгрейвов» и «Глории Скотт» Уотсон, слушающий Холмса, не подает никаких реплик, тем не менее диалог в этих рассказах есть – в пересказе Холмса он происходит между ним и участниками дел, которые он расследует. В самом деле, если Уотсон нужен только затем, чтобы репликами структурировать текст – почему Дойл не отдал эту роль Лестрейду или какому-нибудь из молодых полисменов – Стэнли Хопкинсу, например? Николай Вольский объясняет почему: необходимы именно три фигуранта, а не два, ибо каждый из них являет собой один из трех уровней диалектического познания. Само по себе это, наверное, абсолютно правильно, но ведь Лестрейд (или еще какой-нибудь третий, который мыслит подобно Лестрейду) фигурирует далеко не во всех рассказах. Его нет, к примеру, ни в «Последнем деле Холмса», ни в «Пестрой ленте» – рассказах, считающихся чистейшими бриллиантами холмсианы. Да и вообще довольно трудно представить себе, что массовый читатель считает «Человека с побелевшим лицом» не особенно удачным, потому что в нем гегелевская триада охромела. Нет, Дойл вполне мог обойтись двумя персонажами.

Уотсон выполняет еще одну очень важную – по мнению многих, важнейшую, – функцию. По Шкловскому, он – «постоянный дурак», мотивировка ложной разгадки. Даниэль Клугер определяет Уотсона как «ассистента иллюзиониста, отвлекающего внимание публики»: он нарочно переключает внимание читателя с главных деталей на второстепенные. Фаулз пишет: «Дело не просто в том, что Уотсон – партнер, явно оттеняющий блестящий интеллект Холмса, и не в его безупречной неспособности понять, что происходит на самом деле, тем самым давая возможность Конан Дойлу все растолковать и тугодуму читателю: являясь главным рассказчиком, наделенным неисчерпаемым талантом всегда идти по ложному следу, он, кроме того, играет роль главного создателя напряженности и таинственности в каждом описываемом случае, создателя приключенческо-детективного аспекта повествования». В рассказах без Уотсона некому пускать читателя по ложному следу. Вот слова самого Холмса из «Человека с побелевшим лицом»: «Должен признаться, что теперь я понимаю моего друга и всех остальных людей, которые берутся за перо. Писать интересно не так просто, как я себе представлял. Увы, мне приходится раскрывать карты раньше времени. Ведь я сам рассказываю о своем деле. В тех случаях, когда это делает Уотсон, я умудряюсь даже его держать в неизвестности до самого конца».

Тут уж возразить вроде бы нечего. Разве только. Вот, например, маленькое замечание: на первых страницах «Его прощального поклона» Дойл спокойно обошелся без помощи Уотсона и сам создал у читателя (открывшего его книгу в первый раз) ложное представление о том, что существует некий ирландец, работающий на немецкую разведку. Но это пустяк; есть другое возражение – убийственное. Для человека, читающего рассказы Дойла впервые и интересующегося сюжетом (если такие люди еще существуют в наше время), безусловно, Уотсон – творец ложных догадок, запутывающий дело. Но почему тогда холмсиану с умилением перечитывают, фильмы о приключениях двух друзей смотрят по двадцать раз, давным-давно наизусть зная, кто кого убил?

Следующая версия: роль Уотсона совсем не детективная. Она гораздо шире. По Юрию Кагарлицкому, Уотсон и Холмс – одно из воплощений Великой литературной пары, как Дон Кихот и Санчо Панса. Функция Уотсона – участвуя в приключениях Холмса, оттенять собой характер основного действующего лица. «Здесь не было никакой новации по сравнению с героями романов большой дороги – разве что по отношению к По, у которого друг Дюпена – совершенно безликое существо. Что же касается доктора Уотсона, то он не только хронологист при своем выдающемся друге, но еще и сопутствует ему и оттеняет его в сознании читателей. <...> Он сам „немножко детектив“ – но только в той мере, в какой это дает ему возможность принять участие в приключениях своего друга и тем самым „войти в сюжет“, избежать опасности превратиться в чисто служебную фигуру. В остальном же он противостоит Шерлоку Холмсу, оттеняя его. Тот великий сыщик. У этого только потуги таковым стать. Тот – человек не без странностей. Этот абсолютно во всем нормален». Оттеняет, значит, Уотсон – тень? Пирсон сказал, что мерцание Уотсона, доходящее до гениальности, добавляет блеска Холмсу. Тень, слуга, оруженосец. В детективной литературе полным-полно подобных пар: Лекок – Табаре, Картрайт – Голкомб («Женщина в белом» Коллинза), Браун – Фламбо, Пуаро – Гастингс, Вульф – Гудвин, Мегрэ – Люка; есть и у нашего Фандорина свой японский Санчо Панса. «С тех пор, как Конан Дойл создал свою схему, все остальные попросту списывают с него», – заметил канадский литератор Стивен Ликок.

Согласно Вайлю и Генису, Уотсон – не тень, а совершенно равноправный герой, но он также служит для того, чтобы контрастировать с Холмсом и подчеркивать разницу характеров: интеллект – эмоция, артистизм – здравый смысл. Санчо Панса, конечно, оттеняет характер Дон Кихота, но лишь в той мере, в какой Дон Кихот оттеняет характер Санчо. Друг без друга

они ничто. У других детективных авторов ассистент сыщика остался простой функцией, не возвысившись до характера. Их сыщики спокойно могут обойтись без своих помощников – никто и не заметит. Холмс не может без Уотсона, потому что они – Великая пара, единство противоположностей.

Часто пишут, что эти противоположности – две стороны характера Конан Дойла. Отчасти так, возможно, и есть, но сейчас это не имеет значения; неважно, какие именно противоположности – важно, что их две и они составляют неразрывное диалектическое единство. При желании умелый литературовед мог бы с блеском доказать, что Холмс и Уотсон, например, суть кошка и собака. «А-а, да-да, Холмс – ищейка.» Да нет же, это ложный след: простодушный (но хитрый) автор нарочно назвал его ищейкой, а умные (но простодушные) литературоведы поверили (Фаулз сравнил его с псом «с его хитростью, несгибаемым упорством, молчаливым терпением, способностью выслеживать добычу, яростной концентрацией всех сил и качеств в погоне по горячим следам», а квартиру на Бейкер-стрит – с конурой). Но это очень поверхностное впечатление: всякий, кто хоть чуточку разбирается в характерах кошек и собак, легко определит, кто есть кто: один – гуляет сам по себе, ночью исчезает из дому, никому не докладываясь, появляется, когда ему вздумается, часами лежит недвижно, а потом стремительно выскакивает из засады, даже, между прочим, *видит в темноте;* второй – привязчивый, надежный, верный и сильный, но несамостоятельный, нуждающийся в хозяине: знай полеживает себе у камина, зевает и терпеливо ждет.

Никаких возражений; разумеется, Уотсон и Холмс прежде всего – пара контрастирующих характеров, а в «Львиной гриве» и «Человеке с побелевшим лицом» Холмсу не с кем контрастировать. Тут, правда, возникает один странный вопрос, на первый взгляд не идущий к делу.

Почему Уотсону нельзя быть женатым? Почему нельзя быть женатым Холмсу – понятно: сказочный герой всегда одинок, а когда он женится, кончается и сказка. (Мегрэ женат – но детективы Сименона меньше всего похожи на сказку и не порождают мифа; Каменская замужем – но ее мужа беспрестанно спроваживают в длительную командировку: он мешает.) Но Уотсонуто почему нельзя? Разве женитьба коренным образом изменила его характер и он больше не мог ни контрастировать с Холмсом, ни оттенять его? Он и так бегал к Холмсу по первому зову. Ладно б он вообще никогда не был женат; но за что доктор Дойл свел в могилу бедную Мэри Морстен, которая ничем абсолютно не мешала своему мужу? Мало этого: в «Подрядчике из Норвуда» Дойл сообщает нам, что овдовевший Уотсон продал практику и вернулся на Бейкер-стрит, причем за эту практику тайком заплатил сам Холмс; зачем нужно, чтоб Уотсон непременно жил с Холмсом в одной квартире? Самое остроумное объяснение этому дал Рекс Стаут, блистательно доказавший, что под псевдонимом «Уотсон» скрывалась Ирен Адлер – любимая жена Холмса; ну а если Уотсон все-таки не был женщиной? Обычно ассистенты и друзья сыщиков живут у себя дома. Почему Фламбо можно быть женатым и жить со своей семьей? Почему никого ни в малейшей степени не интересует, женат ли Гастингс и где он живет? Зато в доме своего шефа живет Арчи Гудвин. Из всех последователей Стаут усвоил и воплотил схему Дойла наиболее близко к оригиналу: его веселая гипотеза свидетельствует о том, что он над этим вопросом задумывался; он ясно понимал, что это сожительство зачем-то нужно, для чего-то важно. (И Стаут добился результата: Ниро Вульф примерно так же мифологичен, как и Холмс, разница только количественная – гигантская, правда.)

Юрий Щеглов сравнивает пару Уотсон – Холмс вовсе не с детективными парами «сыщик – ассистент», а с парами «симпатичных холостяков» у Смоллетта, Диккенса и Стивенсона; такая пара нужна совсем не для того, чтоб ее члены оттеняли и подчеркивали характеры друг друга. У них могут быть и одинаковые характеры. На самом деле она выражает идею абсолютного комфорта: «.а) свободу, возможность следовать собственным прихотям, пускаться по воле волн; б) уют, поскольку общество двух холостяков – это интимность, теснота, эндоцентричность дружеского кружка, при которой никакая часть их жизни не остается вне круга совместных приключений и развлечений». Если двое детей сильно подружились – они всегда мечтают жить в одной квартире. «Мама, ну пусть он поживет у нас, ну пожалуйста.» Вспомним, что мы говорили ранее о паре совместно проживающих холостяков из «Торгового дома Гердлстон»: там эти персонажи не были главными, им не было нужды оттенять характеры друг друга, они вовсе не противоположности. Их совместная жизнь и совместные приключения – такая же квинтэссенция детского представления об уюте и свободе, как и совместная жизнь Уотсона и Холмса.

«– Вы согласны пойти со мной сегодня ночью?

– Когда и куда вам угодно.

– Совсем как в доброе старое время. Пожалуй, мы еще успеем немного закусить перед уходом».

В одиночестве может быть свобода, но уюта в нем нет. Рассказы без Уотсона – неуютные рассказы. А в «Глории Скотт» и «Обряде дома Месгрейвов» Уотсон произносит лишь несколько слов в самом начале, но его уютное присутствие у камина обозначено.

Но сейчас, подумает читатель, опять последует какое-нибудь «но». Конечно последует! Сказка на то и сказка, чтобы в ней все время повторялся один и тот же зачин. Если Уотсон и Холмс – две равные величины, составляющие нераздельную пару, то почему, выйдя за пределы книг Дойла и осев в массовом сознании, они запросто разделяются? Почему Уотсону не пишут писем? Почему по всему миру раскиданы музеи Холмса, а не Холмса и Уотсона? А почему сам Дойл написал два рассказа о Холмсе без Уотсона, но ни одного – об Уотсоне без Холмса? Ведь мог бы получиться очень симпатичный, смешной рассказ о том, как Уотсон проводил какое-нибудь расследование... Фрагменты-то такие есть – хотя бы в «Собаке Баскервилей», – но это лишь фрагменты. Почему в двух первых вещах Дойла, «Этюде» и «Знаке четырех», в Уотсоне есть какие-то противоречивые черты, он влюбляется, цитирует прочитанные книги и вообще «тянет» на полноценного лирического героя, а потом Дойл его безжалостно ограничивает – чем дальше, тем больше? Если бы Дойл хотел, чтоб Уотсон был самостоятельной фигурой, такой же яркой, как Холмс, – он бы сумел добиться этого эффекта. Но ему это не было нужно. Он нарочно делал все, чтобы «пригасить» Уотсона; и любимой женщины его лишил, возможно, прежде всего затем, чтобы в нем было меньше индивидуального. Так зачем же ему понадобился Уотсон? Возвращаемся к чисто техническим функциям: податель реплик, озвучиватель ложных версий? Да, наверное. Но так почему же, интересно, в тех двух рассказах, где Уотсона нет, эту функцию не берет на себя кто-нибудь другой? Какой-то замкнутый круг у нас получается; тычемся, тычемся без толку, как Лестрейд... И вообще, увлекшись биографией одного подозреваемого, мы куда-то в сторону уехали от главного вопроса: почему Холмс – самый-самый, миф из мифов?

Да элементарно, говорят нам сторонники самой эффектной версии: потому что холмсиана вовсе не волшебная сказка, а Евангелие; потому что Холмс – это Бог, а Уотсон, естественно – евангелист. Так считает, например, ватиканский исследователь Марио Пальмаро: «Далеко не каждому доступен сокровенный смысл, который содержится в Евангелии. Но в нем есть все элементы детектива. Поэтому писатель и пересказал Святую книгу в виде детективного повествования, чтобы любой человек мог понять адресованное людям божественное послание». Описание подвигов Холмса по сути своей соответствует описанию чудес, которые творил Христос; основное содержание холмсианы – борьба героя со злом, которое олицетворяет дьявол, то бишь Мориарти; во имя искупления грехов и общего блага Шерлок Холмс жертвует собой у Рейхенбахского водопада, бросаясь в бездну вместе со своим заклятым врагом. А потом – воскресает.... По Евгению Головину, Холмс – позитивистский вариант Спасителя, тогда как Мориарти – позитивистский вариант Сатаны. Британский литературовед Филипп Уэллер назвал бедную собаку, которую морят голодом на болотах, воплощением сатанинской силы и заявил, что Холмс, как правило, приходит к разгадке преступления благодаря озарению, ниспосланному свыше.

Честно говоря, сперва нам эта версия показалась надуманной. Но если хорошенько поразмышлять, то. Холмс прежде всего всеведущ: он знает то, что сокрыто от обычных людей. Холмс всемогущ – потому люди и испытывают к нему такое доверие. Холмс милосерден. Холмс не слуга закона, как подавляющее большинство сыщиков; он выше закона, придуманного людьми. Холмс служит не закону, но добру, а где добро – он легко разбирается сам, без чьей-либо подсказки. Он всегда знает, кто плохой, а кто хороший; он может иногда ошибиться в версиях, но не в оценках. Не доверяя суду людскому, он неумолимо и неизбежно карает злодея, чья душа черна; но ему нет нужды делать это при помощи револьвера. За свою долгую карьеру он собственноручно ликвидировал не больше четырех живых существ – и всякий раз со смягчающими обстоятельствами: в «Знаке четырех», возможно, застрелил помощника Джонатана Смолла («возможно» – ибо осталось неизвестным, чья именно пуля попала в стрелявшего отравленными стрелами дикаря – Уотсон пишет, что их с Холмсом выстрелы грянули одновременно; к тому же то была самозащита; к тому же дикарь – не человек), в «Последнем деле» утопил Мориарти (но и сам упал с ним в бездну – это была честная схватка, да и не факт, что Мориарти не выжил тоже); в «Этюде» дал яд старой издыхающей собаке – но то был акт милосердия. Наконец, в «Собаке Баскервилей» (уже второй собаке, принявшей смерть от его руки; не аргумент ли это в пользу того, что он все-таки кошка, а не Бог?) Холмс пристрелил животное, которое на первый взгляд ни в чем не виновато – оно было слепым орудием Стэплтона, к тому же голодным и несчастным; но если перечесть текст внимательно, окажется, что Собака совершила ужасное и самовольное злодейство: она съела милого спаниеля доктора Мортимера. Так что даже звери не уйдут от кары, если на их совести такие грехи. Но во всех остальных случаях Холмс никого самолично не убивает. Это делают

неведомые силы, состоящие у него на службе – в обличье змеи они карают Ройлотта, в обличье несчастной женщины – шантажиста Милвертона (сцену убийства последнего Холмс и Уотсон наблюдают из укрытия, и доктор хочет броситься на помощь умирающему, но Холмс удерживает его: «Это не наше дело, правосудие наконец настигло мерзавца»).

Если человек нарушил закон, но это хороший человек, – Холмс никогда не допустит, чтобы закон карал его. Он сам судит, сам милует, если, взвесив грехи и заслуги, сочтет это нужным:

«– Итак, джентльмены, вы слышали показания? Признаете ли вы подсудимого виновным?

– Невиновен, господин судья! – сказал я.

– Vox populi – vox dei. Вы оправданы, капитан Кроукер. И пока правосудие не найдет другого виновника, вы свободны. Возвращайтесь через год к своей избраннице, и пусть ваша жизнь докажет справедливость вынесенного сегодня приговора».

Холмс – не посредник между клиентом и Богом, как Браун. Он во всем разбирается сам, ни к кому не апеллирует. Ему это не нужно. Он сам – Бог. Его смерть повергла читающие народы в пучину отчаяния, но он воскрес и не умрет больше никогда. Он стал бессмертным. Люди пишут ему, обращаются к нему, взывая: наставь, помоги, спаси...

Почему Браун, Пуаро или Ниро Вульф – не боги? Первый не может быть таковым по определению: для служителя Всевышнего уподобление Ему – кощунственно; Честертон сделал все, чтобы подчеркнуть смирение и служение Брауна. Двое других просто недотянули по своим душевным качествам. Холмс – аскет, а Вульф все время ест да ест, да о гонорарах торгуется. Холмс жалостлив, а Пуаро равнодушен. И, что самое важное, они не приносили себя в жертву человечеству и не воскресали.

Уотсон же, как подобает апостолу, отказался от всего мирского – жены, практики, собственной квартиры, – дабы всюду следовать за Холмсом и донести миру его свет. С простодушием истинного евангелиста Уотсон описывает творимые Холмсом чудеса, в возможности которых сомневаются окружающие, но которые всегда происходят. Холмсиана – евангелие не только по сути, но и по форме; имя Уотсона, как имена Матфея или Луки, осталось в памяти человечества лишь как имя летописца-хроникера, а не самостоятельного героя. Кто станет молиться Луке? Он всего лишь описал то, что видел. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях... <...> то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил...» Уотсон, стушевываясь сам, пишет лишь о том высшем существе, спутником которого ему посчастливилось быть и служению которому он посвятил свою жизнь. Почему рассказы, написанные от лица самого Холмса, кажутся какими-то странными? А воообразим-ка, что Христос сам взялся повествовать о своих деяниях – странно как-то получится, нескромно... «Я не был бы Холмсом, если бы работал иначе», – произносит сыщик в «Львиной гриве». Что за самодовольная, ужасная фраза!

Конан Дойл описал жизнь Бога? Весьма вероятно, что поклонников Брауна Холмс раздражает именно поэтому: им кажется, что Дойл написал на Бога карикатуру, а Холмс самовольно присвоил себе божественные функции. В этом и заключается основное идеологическое противостояние Честертона и Дойла. С точки зрения честертонианцев, Холмс – кощунственный самозванец, более того, он не обладает душевными качествами, подобающими даже простому христианину... Где его скромность, где смирение?! Генис замечает: «Страж порядка, Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста; его скрытая цель – заменить царство Божье». Что ж, при желании можно увидеть в Холмсе и антихриста. Но все равно это – существо надчеловеческое.

Даниэль Клугер тоже говорит о Холмсе как о существе сверхъестественной природы. Холмс вовсе не типичный герой сказки или мифа – Иванушка (или Тезей), который совершает подвиги и женится на принцессе; Иванушка – это скорей уж Уотсон. Холмс же – это та волшебная сила, которая в сказках и мифах помогает герою: говорящий волк, Афина. Он – не христианское божество, а некое куда более древнее, хтоническое. «Сколько бы ни уверял Шерлок Холмс своего друга Уотсона (и читателя заодно) в том, что он всего лишь подвергает бесстрастному „математическому“ анализу действия преступника, ему никогда не избавиться от родимых пятен, от передавшихся ему по наследству архаических черт его прародителя – мифологического существа, связанного с миром абсолютно иррациональным, миром смерти и посмертного воздаяния». Гримпенская трясина, разумеется, царство Аида, собака – адское исчадие. Холмс сражается со злом, но и сам он не безгрешен; это очень старое божество, как бы не доросшее до современных понятий о добре и зле. «Он лжет, лицемерит, угрожает, меняет маски, словом – участвует в том же дьявольском действе, что и его антагонист. В

некотором смысле, они представляют собою две ипостаси одного существа. <...> Если темная фигура – падший ангел, то светлая фигура, как его антагонист – „падший“ дьявол, „неправильный“ дьявол, исторгнутый Адом и выступающий на стороне Добра...»

Возражения? Да нет, пожалуй, закончились у нас возражения. Согласны: Холмс – некое высшее, сверхчеловеческое существо, божество. (Правда, может быть, не христианское и не доисторическое, а милое, уютное, домашнее божество – Дед Мороз? Он является, когда его позовут; в него дети и взрослые, не веря, играют так, как будто верят; ему пишут письма.) Уотсон – спутник и летописец божества. Но доктор-то Дойл этого и в мыслях не держал! Он просто писал рассказы!

Да, у него получилось адаптированное Евангелие (или пародия на Евангелие – как кому больше нравится); да, у него получился гимн цивилизации XIX века; да, у него получилась очаровательная, уютнейшая, всенародная сказка. Но он-то этого не хотел. Это все литературоведы придумали. Он просто писал рассказы. Что же такое он сделал, что его «просто рассказы» получились лучше, чем у кого-либо во всем свете? И тут мы возвращаемся к вопросу: почему все-таки рассказы, где нет Уотсона, нравятся читателям меньше остальных?

Предположим, что истории без Уотсона не так хороши, как другие, вовсе не потому, что Уотсон в них не действует. Они не так хороши, потому что Уотсон о них не рассказывает. В холмсиане Дойл «всего лишь» использовал прием, которым пользовался почти всегда, с самого начала. Уотсон – продолжатель рода простодушных рассказчиков, которые населяют уже самые ранние вещи Дойла. Предположим, что этот прием и есть ноу-хау доктора Дойла, которое делает его тексты столь бесконечно обаятельными.

Эка невидаль – писать от первого лица! Да половина всех книг написана от первого лица; и среди этих «я» простодушных полным-полно, даже круглые идиоты найдутся. Но на самом деле, как ни странно, прием Дойла используется весьма редко. В подавляющем, абсолютном большинстве литературных текстов, где повествование ведется от первого лица, рассказчик – простодушный или нет – является одновременно и героем; он говорит о себе. Уотсон – простодушный рассказчик, повествующий о совсем другом герое; в то же время он не является просто функциональной единицей, которая служит для зачина или связывания одних сцен с другими, а представляет собой настоящий полноценный характер. Полным-полно рассказов и повестей начинается с того, как «я» плыл на пароходе и попутчик Х рассказал «мне» одну историю, или «мы» сидели у камина и Х рассказал «нам» одну историю; в них «я» – всего лишь литературная завязка, уже во втором абзаце куда-то исчезающая (иногда таких «я» в одной истории несколько, и они нужны, чтоб обмениваться сплетнями, как в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда»). У Достоевского в «Бесах» или «Селе Степанчикове» «я» – лицо служебное, абсолютно безликое, никакое, как незаметный лакей в рассказе Честертона: «я» нужен опять-таки для передачи сплетен и мнений и для того, чтобы герои могли встречаться друг с другом на нейтральной территории; примерно таковы же «я» в рассказах Киплинга о Малвени и Ортерисе, «я» в «Хоре и Калиныче», даже, пожалуй, «я» в «Великом Гэтсби».

Уотсон нужен Дойлу совсем не для этого. Уотсон – единственная точка зрения, с которой читатель может смотреть на Холмса. Уотсон судит о Холмсе вкривь и вкось; он пишет о том, что видит – а видит он все очень приблизительно и наивно. Он видит, но не понимает – не только преступление, но и Холмса. «Сколько ни перечислять все то, что он знает, – сказал я себе, – невозможно догадаться, для чего ему это нужно и что за профессия требует такого сочетания! Нет, лучше уж не ломать себе голову понапрасну!»

Уотсон ничего не понимает в «Этюде»; но и годами позже он все так же ничего не понимает. «К моему удивлению, Холмс влез на дубовую каминную полку», – тупо констатирует Уотсон, наблюдая за действиями своего друга; зачем влез, почему влез – да кто же его знает? Когда Холмс достает чемодан, чтобы попросить Джефферсона Хоупа помочь застегнуть ремни и таким образом надеть на него наручники, Уотсон решает, что его друг собрался уезжать и просто не нашел лучшего времени собирать чемоданы, чем момент захвата вооруженного преступника. Уотсон убежден, что у Холмса нет родственников – а в «Случае с переводчиком» вдруг оказывается, что существует Майкрофт и братья регулярно общаются друг с другом. В «Собаке» Уотсон, вроде бы изучивший Холмса насквозь, тем не менее простодушно уверен, что тот бросил его одного. В «Холмсе при смерти» он так же уверен, что его друг, заболев, лишился рассудка (кстати, он еще с «Этюда» время от времени сомневается в здравомыслии Холмса). Даже то, как Холмс к нему относится, Уотсон понимает превратно: «Я был где-то в одном ряду с его скрипкой, крепким табаком, его дочерна обкуренной трубкой, справочниками и другими, быть может, более предосудительными привычками». И это – о человеке, который вечно, как нянька, беспокоится, хорошо ли Уотсон выспался, да не устал ли он, да пообедал ли он; о человеке, у которого, когда ему показалось, что Уотсон ранен,

«задрожали губы» и «взгляд затуманился»! О, неблагодарный! Ничего не понимает, ровным счетом ничего. Стоит только Холмсу загримироваться или сменить походку – и Уотсон нипочем его не признает, как герой водевиля, чья жена надела чужую шляпку.

Уотсон – «кривое зеркало», и недаром Холмс только головой качает, читая рассказы своего друга. Но если для Холмса Уотсон – «кривое зеркало», то для нас – «кривые очки». Мы не знаем, каков реальный Холмс; мы видим лишь то, что нам сумел показать простодушный, мало что понимающий Уотсон. Суждения Уотсона о Холмсе всегда неточны. «Скандал в Богемии» он начинает сентенцией: «Всякие чувства. были ненавистны его холодному, точному и поразительно уравновешенному уму. Мне кажется, он был самой совершенной мыслящей и наблюдающей машиной.» – а несколькими страницами далее выясняется, что «машину» легко обвели вокруг пальца, что «машина» выпрашивает у клиента женскую фотографию. Ничего не понимает, обо всем судит криво! Одна его знаменитая таблица, в которой он оценивает знания Холмса, чего стоит: в ней все ошибочно, ведь на самом деле Холмс прекрасно разбирается в истории, политике, искусстве и литературе. В «Знаке четырех» или «Медных буках» Холмс критикует его рассказы за то, что в них чересчур много беллетристики и мало науки – а он умудряется понять это так, будто тщеславный Холмс обижен, что ему не воздали должного.

Уотсон постоянно видит (и честно пересказывает нам), как Холмс заботлив, как он деликатен с женщинами, как он терпеливо возится со своими клиентами – и все же упрямо твердит нам о том, что Холмс сухарь, машина, бездушный тип. Он частично прозревает лишь после смерти Холмса: когда его собственные глаза застилают слезы – только тогда он называет друга «самым благородным и самым мудрым». Но после возвращения Холмса все возвращается на круги своя: сухарь, машина. Ох, какие кривые очки, какие бестолковые! Но именно благодаря им облик Холмса становится так обаятелен. Если бы Уотсон нам беспрестанно вдалбливал, что его друг добрый, порядочный, ласковый, отзывчивый, – мы бы ему нипочем не поверили; Холмс вызывал бы у нас одно раздражение.

«Холмс не помещается в видоискатель Уотсона, – пишет Генис. – Он крупнее той фигуры, которую может изобразить Уотсон, но мы вынуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но неискусному рисунку». За неискусным рисунком доктора Уотсона спрятался умелый, большой художник – доктор Дойл; ах, до чего же здорово спрятался! Мы его не отыщем, как бы ни старались. Он надел на нас кривые, все искажающие, все затуманивающие очки. Эти очки называются – Уотсон.

Кривые очки Дойл заставляет нас носить практически в каждом своем тексте, написанном от первого лица. Но в его лучших (по крайней мере с точки зрения массового читателя) текстах – холмсиане, рассказах о бригадире Жераре, романах о Челленджере, – эти очки не только кривые. Они очень сложные. Это технический шедевр – недаром Фаулз назвал Уотсона «гораздо более умным и искусным созданием автора» по сравнению с Холмсом. Очки эти умудряются показать нам не только Холмса, на которого они нацелены. Непостижимым образом они демонстрируют сами себя. Как мы узнаем характер Уотсона? Уотсон простодушный, добрый, скромный, надежный, доверчивый, послушный и преданный, как собака (нет, ей-богу, кому-нибудь умному непременно стоит написать работу, где будет доказано, что Холмс и Уотсон есть архетипы Кота и Пса; Дойл сам на этот вывод наталкивает своими беспрестанными упоминаниями о том, что Холмс «мурлыкает», «крадется» и отличается болезненным пристрастием к чистоплотности), ограниченный, мыслящий штампами, респектабельный. А с чего, интересно, мы это взяли, если Уотсон почти ничего не рассказывает о себе, кроме того, что он «невероятно ленив» (что в общем-то неверно: он не ленив, а безынициативен), любит долго спать и привык к бивуачной жизни, никогда не открывает нам своей души, даже малого ее уголочка? Уотсон в каждом рассказе пишет: наш Холмс такой-то, наш Холмс сякой-то. Но он не сообщает нам, какой он сам. Другие персонажи не обсуждают Уотсона, не говорят, какой он. И все же мы видим его очень ясно – гораздо яснее, чем Холмса. Характер Уотсона раскрывается только через то, что и как он говорит о других людях, о Холмсе в частности, – и через их с Холмсом диалоги.

« – А потом что? – спросил я.

– О, предоставьте это мне. У вас есть какое-нибудь оружие?

– Есть старый револьвер и несколько патронов.

– Почистите его и зарядите. Он, конечно, человек отчаянный, и, хоть я поймаю его врасплох, лучше быть готовым ко всему.

Я пошел в свою комнату и сделал все, как он сказал».

Вроде бы ничего Уотсон тут не говорит о себе – и, однако, нам видно все: и его нерассуждающая смелость, и такая же нерассуждающая покорность. Уотсону нет нужды распространяться о своей туповатой, свирепой респектабельности – за него это делает коротенький диалог.

«– Так знайте, я обручен.

– Дорогой друг! Поздра.

– Невеста – горничная Милвертона.

– Господи помилуй, Холмс!

– Я должен собрать о нем сведения.

– И вы зашли слишком далеко?!»

Уотсон глуповат? Но он вовсе не признает себя глуповатым, напротив, он считает себя весьма догадливым человеком, умеющим делать выводы: «В течение первой недели июля мой друг так часто и так надолго уходил из дому, что я понял: он чем-то занят». Невнимательный читатель может и не заметить тишайшей иронии Дойла в этой фразе, но она не укроется в другой:

« – У вас есть дело, Холмс? – заметил я.

– Ваша способность к дедукции поистине поразительна, Уотсон, – ответил он. – Она помогла вам раскрыть мою тайну. Да, у меня есть дело».

Дойл пишет этот характер крохотными, незаметными мазками: вот Холмс объявляет Уотсону, что сейчас будет, сидя в кресле, думать над раскрытием прелюбопытнейшего преступления. Что же Уотсон? Наверное, в свою очередь, начал размышлять над загадкой, стремясь хоть раз в кои-то веки опередить своего друга? Или, быть может, он взялся чистить револьвер, готовясь к поимке преступника? Или он наблюдал за лицом Холмса, пытаясь по его выражению определить, когда тот наткнется на разгадку? Как бы не так... «Я уж подумал было, что он заснул, да и сам начал дремать.»

Нет, Уотсон – не кривые очки. Очки эти волшебные. Нечто большое демонстрируется читателю не как оно есть (оно просто не поместится в «видоискатель»), а через ограниченный взгляд маленького человека, которого, в свою очередь, по этому взгляду только и можно охарактеризовать. Частично, иногда, местами этот прием писатели – великие и не очень – используют довольно часто. Толстой поступает так в первых главах «Войны и мира», показывая Андрея преимущественно через восприятие Пьера, который глядит на своего друга снизу вверх. Жюль Верн предпочитает показывать таких героев, как Немо или Фогг, глазами малозначительных персонажей. Есть примеры (не слишком многочисленные) и более последовательного использования приема, почти такого же последовательного, как у Дойла. В «Бэле» простодушный Максим Максимыч героем событий не является, он только показывает нам Печорина, причем показывает, совершенно не понимая его, и в результате мы видим героя сквозь кривые – нет, волшебные очки. И только по тому, что и с какими интонациями говорит старик о Печорине, нам становится ясно, каков он сам. То же самое представляет собой простодушный Маккеллар, от чьего лица ведется повествование у Стивенсона во «Владетеле Баллантрэ», или Луи де Конт в «Жанне д'Арк» Марка Твена. Хулио Хуренито у Эренбурга мы видим глазами его учеников – и тем самым понимаем, что за люди эти ученики. У Нилина в «Жестокости» и «Испытательном сроке» простодушный рассказчик сквозь волшебные очки демонстрирует нам героя Веньку Малышева, вроде ничего не говоря о себе – а видим мы обоих. В какой-то степени и Фурманов – «волшебные очки», через которые полагается глядеть на Чапаева.

Но только Дойл довел этот прием – в количественном и качественном отношении – до идеального абсолюта. Он создал не одну историю, а сагу; не два-три текста, а великое множество; он надевал на читателя волшебные очки не иногда, не частично, а постоянно, практически всегда. Не исключено даже (хотя это может показаться чересчур тонким для Дойла), что он написал несколько рассказов, нарушающих его собственный канон, *нарочно* – чтобы читатель видел их неуклюжее несовершенство по сравнению с остальной массой и тем самым убеждался в безупречной прелести канона. Быть может, это и есть его ноу-хау, его хитрый секрет.

И только-то? Написать так – и сотворишь миф? Да нет, разумеется, не только. На наш взгляд, это – главное; но недостаточное. Как в супе из топора, к приему надо еще добавить множество

снадобий. Постройте уютнейший в мире Дом; поселите в нем обаятельных, забавных существ; создайте мир, населенный чудовищными злодеями – и вместе с тем полный покоя, гармонии, очарования, уюта, нежности; прибавьте очаровательные своим детским лаконизмом диалоги; расцветите красками эпохи (причем надо, чтоб эпоха была симпатичная!); сбрызните блестками эрудиции; легким взмахом пера придайте своему герою богоподобие; не забудьте тщательно прописать сюжет; разбросайте там и сям намеки на то, что есть и другие истории, о которых вам пока было недосуг поведать; ну, и неплохо бы иметь кой-какой талант...

Да, еще непременно рассказывайте ваши истории не в хронологическом порядке – ведь именно этот простой приемчик создает у нас, читающих холмсиану, полную иллюзию бесконечности! Хитрейший Дойл по-кэрролловски путал хронологию (из-за чего бедные холмсоведы вынуждены были собирать последовательные биографии героев по крупицам, то там, то сям): прошлое наступает после будущего, персонажи оживают и гибнут, вдовеют, не успев жениться, время идет вспять, как в «Алисе»; у читателя кружится голова и ему кажется, что холмсиана никогда не начиналась и никогда не закончится – как подобает сказке, она была всегда и будет всегда.

Не согласны? Всё не то? Опять свалили все в одну кучу? Что ж, любой читатель волен искать другие секреты. Улик-то доктор Дойл нам оставил множество, вот они все – на виду. Осталось правильно их интерпретировать. Сущий пустячок.

Глава третья

СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ

После провала «Джейн Энни» Барри написал остроумную пародию на рассказы о Холмсе. Это была далеко не первая пародия; первую написал Роберт Барр, и она называлась «Знаменитая загадка Пеграма». Пародия Барри носила название «Приключения двух соавторов», и в ее финале Холмс говорил Конан Дойлу: «Дурак ты, дурак! Столько лет ты жил благодаря мне в роскоши. С моей помощью ты немало покатался в кебах, где до того не ездил еще ни один писатель. Отныне будешь ездить только в омнибусах!» Дойлу эта пародия страшно нравилась. Он в общем и целом признавал моральную правоту Холмса, но менять своего решения не собирался. Он был теперь свободен и мог писать те «серьезные вещи», от которых его отвлекали Холмс с Ньюнесом. Ничто не предвещало беды.

Ночью 10 октября умер Чарлз Дойл. Свидетельство о смерти, составленное в лечебнице Крайтона в Дамфрисе, где он находился в последний год жизни, объявило причиной смерти эпилепсию. Чарлз оставил после себя альбом – дневник и рисунки. Этот альбом стал общественным достоянием лишь в 1977 году; записи в нем указывают на то, что существовали и другие альбомы, но они так и не были обнаружены. Все записи свидетельствовали о том, что Дойл тяготился положением сумасшедшего и пытался доказать свою вменяемость. «Постоянно имейте в виду, что книга сия целиком приписывается безумцу. Где же, по-вашему, находятся точные границы интеллекта или благородного вкуса?» Он рисовал в альбоме зверей, птиц, цветы, скелеты, фей и других фантастических существ. Портреты женщин-кошек и зеленых человечков нередко сопровождались подписями о том, что художник видел эти существа собственными глазами. (До какой степени психика Чарлза была расстроена – так пока и не установлено, хотя исследователи много занимаются этим вопросом.)

Чарлза похоронили по католическому обряду. Мэри Дойл огорчилась настолько, насколько этого требовали приличия. Но на Артура Дойла рисунки и записи отца произвели страшно тяжкое впечатление. Когда близкий человек умирает, одинокий и обиженный, единственное, за что можно уцепиться, – надежда еще раз встретиться и поговорить, не в этом мире, так в каком-нибудь ином. Из дневника Чарлза можно сделать вывод о том, что он в возможность подобного общения верил твердо и хотел, чтоб и сын поверил в нее. В 1924 году Конан Дойл организует первую (и на многие десятилетия – единственную) выставку работ отца в Лондоне; едва ли не сильнее всех картинами Чарлза окажется потрясен вечный недруг Дойла Бернард Шоу.

В ноябре случилось новое несчастье: у Луизы начались кашель и боли в боку. Дойл послал за своим коллегой Дальтоном, жившим по соседству; тот диагностировал туберкулез, причем в очень серьезной форме – так называемую скоротечную, или галопирующую чахотку, не дающую никакой надежды на выздоровление. Дойл не поверил. Пригласил другого врача, Пауэлла, более авторитетного. Тот подтвердил диагноз коллеги. Сказал, что болезнь незамеченной развивалась уже несколько лет, а теперь жить Луизе осталось три-четыре месяца. В тот же день Дойл написал матери, что продает дом и все имущество и уезжает с женой в Швейцарию: «Нам нужно принимать то, что уготовила нам судьба, но я надеюсь, что все еще обойдется». Надеялся в действительности или нет – неизвестно. В Альпах некоторые туберкулезные больные выздоравливали. Известно было, как капризен туберкулез: больной, которого признают безнадежным, мог поправиться, а легкий вроде бы больной – умереть.

Врачи рекомендовали Сент-Мориц, но потом было решено поселиться в Давосе. Дом пока что не продавали, в нем осталась мать Луизы с детьми. Дойлы прибыли в Давос в конце ноября 1893 года и поселились в отеле «Курхауз». Ухудшения здоровья у Луизы не было, но не было и улучшения. Она переносила свою болезнь стоически-кротко. Позднее Дойл напишет матери: «Я прожил шесть лет в больничной палате; о, как я устал от этого. Милая Туи: меня это мучило сильнее, чем ее – она никогда не мечтает, не фантазирует, и я рад этому».

В декабрьском номере «Стрэнда» было опубликовано «Последнее дело Холмса». Читатели были возмущены; 20 тысяч подписчиков отказались от журнала в знак протеста. У дверей редакции собирались делегации, требовавшие вернуть Холмса. Редакторы «Стрэнда» предполагали, что последствия гибели сыщика будут для них очень скверными, но такого коллективного безумия они и представить не могли. Гринхоф Смит и Уотт забрасывали доктора письмами. «Я не мог бы оживить его, даже если бы хотел, потому что я так объелся им, что у меня к нему такое же отношение, как к паштету из гусиной печени, которого я однажды съел слишком много и от одного названия которого меня до сих пор мутит», – писал Дойл; а тем временем обезумевшие от горя читатели звонили в Норвуд и угрожали расправиться с автором, если он не исправит свою ошибку. Стивен Кинг описал эту ситуацию

в «Мизери»; возможно, и Конан Дойл мог написать нечто подобное – жестокие женщины у него получались. Но ему было совсем не до того.

В Давосе он начал работу над «Письмами Старка Монро». В возрасте тридцати четырех лет он подводил итог своей молодости: такое обычно делается, когда человеку очень тяжело. Об этой книге мы уже говорили очень подробно, умолчав лишь о ее финале. Вот он: «Доктор и миссис Монро были единственные пассажиры в ближайшем к локомотиву вагоне, и оба были убиты на месте. Он и его жена всегда хотели умереть одновременно; и тот, кто их знал, не будет жалеть, что кто-либо из них не остался оплакивать другого. Он застраховал свою жизнь на тысячу сто фунтов. Эта сумма оказалась достаточной для поддержки его семьи, – что, ввиду болезни отца, была единственным земным делом, которое могло бы его тревожить». Книга была и признанием умирающей жене в любви, и мольбой о прощении, с которой доктор не успел обратиться к отцу. Посещала ли его мысль уйти из жизни, когда Луиза умрет? На первый взгляд, исходя из его жизнерадостного характера и из того, что он не так уж страстно был влюблен в жену, это представляется невероятным. Но – не невозможным. Раскаяние и жалость были уж очень велики. И очень всё сухо, практично и продуманно, даже сумма страховки (с поправкой на разницу в материальном положении молодого врача и знаменитого писателя). Закончив повесть, Дойл отослал ее Джерому в «Айдлер». А несколько дней спустя Луизе стало лучше. Как будто Дойл подкупил или разжалобил судьбу – его жена проживет еще много лет.

Воспрянув духом, Дойл сразу же принялся работать с удвоенной энергией. Он за несколько дней написал «Паразита» и сразу взялся за новый, как сказали бы нынче, проект: серию рассказов о бригадире Жераре, человеке, «которого искушал маршал Бертье, который был впереди в отчаянной скачке на парижской дороге, удостоился объятий самого императора и ехал с ним в лунную ночь по лесу Фонтенбло» – самую, пожалуй, жизнерадостную вещь из всего, что было им когда-либо создано, и, как многие считают, лучшую. Сам автор, однако, был о жераровских рассказах столь же невысокого мнения, как и о холмсиане: по его собственным словам, он намеревался «создать стоящую книгу, нарисовать всеобъемлющую картину наполеоновской эпохи и передать ее дух», но его «амбиции оказались выше сил» – и, на счастье читателя, всеобъемлющая картина не нарисовалась, а написалась великолепная книга. «Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. Я рассказываю о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами, так что вы не пытайтесь возражать мне, ссылаясь на какого-нибудь ученого или писателя, написавших исторические книжки или там мемуары», – предупреждает Этьен Жерар, как и Джок Колдер в «Великой тени», сразу надевая на читателя волшебные очки.

Готовясь к работе, Дойл, как всегда, изучил все документальные источники, что были ему доступны; но главным источником послужили уже упоминавшиеся мемуары генерала Марбо, которые Дойл прочел сперва в переводе, затем в подлиннике. (Существовал в наполеоновские времена реальный Этьен Жерар, маршал, а впоследствии премьер-министр Франции, но к нему рассказы Конан Дойла не имеют отношения.)

Приключений в книге Марбо было столько, что и придумывать ничего не нужно; в некоторых рассказах Дойл лишь видоизменил эти приключения. Но он очень сильно изменил тон.

«Я могу сказать без особой похвальбы, что природа отпустила мне немало мужества; я даже добавлю, что бывало время, когда мне нравилось быть в опасности, о чем достаточно, по-моему, свидетельствуют мои тринадцать ранений и некоторые непростые приключения, которые я выполнял». Это цитата из подлинных мемуаров Марбо.

«Я прекрасный солдат. Говорю это не из тщеславия, а потому что это истинная правда». «Меня ранили из ружей, из пистолетов, осколками ядер, не говоря уж о том, что неоднократно протыкали штыком, копьем, саблей и наконец шилом, что было всего больнее». А это – Этьен Жерар, которого придумал Конан Дойл, «сплошные усы да шпоры» (так назвал его Лассаль), «самая тупая голова и самое отважное сердце во всей армии», по словам самого Наполеона.

Марбо был человек действительно бравый и выдающийся, и описанные им подвиги во многом соответствуют действительности; как большинство мемуаристов, он относился к себе очень серьезно. Жерар тоже относится к себе с чрезвычайной серьезностью. Повествуя о себе, он никогда не улыбается: «Я чувствовал себя покровителем одинокой женщины и, зная, какой я опасный человек, строго следил за собой». Улыбается автор, спрятавшийся за текстом так, что его нипочем не найдешь. В каком-то смысле можно сказать, что Жерар – это Холмс и Уотсон в одном флаконе. Он сам совершает подвиги и сам о них рассказывает – рассказывает так, как мог бы рассказывать барон Мюнхаузен, но Мюнхаузен никогда бы не признался, что кто-то назвал его «самой тупой головой».

Первый рассказ серии о Жераре, который написал Дойл, – «Как бригадир был награжден медалью» («How the Brigadier Won His Medal»); стоит заметить, что еще раньше он написал «Романс ведомства иностранных дел» («A Foreign Office Romance»), где нет Жерара, но действует изобретательный и отважный французский агент, благодаря которому удается на выгодных условиях подписать Амьенский договор: персонаж еще не оформился, но структура и тематика настолько близка к серии, что в некоторых сборниках «Романс» включают в жераровский канон. В «Медали» Жерар уже предстает во всей красе; здесь же появляется и второй герой – Наполеон, на которого читатель глядит сквозь волшебные очки, услужливо предоставленные Жераром, и видит, что пред ним стоит «...коротышка, на дюйм ниже любого из полдюжины мужчин, широкий в плечах, – правда, я и сам не такой уж рослый. Кроме того, бросалось в глаза, что туловище у него длинное, а ноги короткие. Большая, круглая голова, поникшие плечи и гладко выбритое лицо делали его больше похожим на профессора Сорбонны, чем на первого полководца Франции. Конечно. О вкусах не спорят, но мне сдается, что если б я мог прилепить ему пару добрых кавалерийских бакенбард вроде моих, это ему не повредило бы».

Наполеон поручает Жерару доставить важное письмо, нарочно посылая его (в письме – дезинформация) самым длинным и опасным путем в расчете на то, что письмо попадет к врагу; но Жерар, не понимающий хитростей, от врагов успешно ускользает, после чего, до слез обиженный императорскими попреками, и получает звание «самой тупой головы и самого отважного сердца». Отметим, что в «Медали» фигурируют казаки – «лица, заросшие волосами до самых ушей, овчинные шапки и разинутые рты», а также очень милый «граф Боткин из императорского донского казацкого полка», прекрасно говорящий по-французски.

После «Медали» Дойл написал в 1894 и 1895 годах еще семь рассказов серии (в сборниках их обычно размещают так, чтобы соблюсти хронологию подвигов бригадира, но мы приводим их в той последовательности, в которой они публиковались в «Стрэнде»): «Как бригадиру достался король» («How the Brigadier Held the King»), «Как королю достался бригадир» («How the King Held the Brigadier»), «Как бригадир перебил братьев из Аяччо» («How the Brigadier Slew the Brothers of Ajaccio»), «Как бригадир попал в Черный замок» («How the Brigadier Came to the Castle of Gloom»), «Как бригадир померился силами с маршалом Одеколоном» («How the Brigadier Took the Field Against the Marshal Millefleurs»), «Как бригадира искушал дьявол» («How the Brigadier Was Tempted by the Devil») и «Как бригадир пытался выиграть Германию» («How the Brigadier Played for a Kingdom»). Все они в 1896-м будут включены в сборник под общим названием «Подвиги бригадира Жерара» («The Exploits of Brigadier Gerard»), изданный Ньюнесом, а спустя несколько лет Дойл вернется к храброму бригадиру, как вернулся к Холмсу, и напишет новую серию – «Приключения бригадира Жерара» («The Adventures of Gerard»).

Жерар честно следует правилу рассказывать лишь то, что видел собственными глазами: Наполеон появляется в большинстве рассказов обеих серий, но никогда – в своем императорском блеске, в окружении придворных, в битве, а все в какой-нибудь «неформальной обстановке», будь то спальня или темный сырой лес. Конан Дойл, как уже говорилось, прочел тьму-тьмущую исторических трудов; по некоторым деталям можно видеть, что он пользовался теми же книгами, что и Толстой в «Войне и мире» – в частности, эпизоды, где император треплет своих собеседников за уши, заимствованы из «Истории консульства и империи» Тьера (а ведь мог Дойл и самого Толстого использовать в качестве источника – отсюда граф Боткин с его блестящим французским языком!). Но для читателя дойловских рассказов абсолютно неважно, соответствует ли описание Наполеона реальному Наполеону: есть персонаж Наполеон, «наш маленький человечек с бледным лицом и холодными серыми глазами», как называет его Жерар, и мы с помощью простодушного рассказчика видим его как живого. «Вот так он всегда. Мог беседовать с человеком, как с другом или братом, а потом, когда тот забывал, какая пропасть отделяет его от императора, вдруг словом или взглядом напоминал, что она все так же широка и бездонна. Бывает, я ласкаю свою старую собаку и она осмеливается положить лапу мне на колено – тогда я сбрасываю ее и вспоминаю императора и эту его манеру». Талейран, Лассаль, Мюрат – все очерчены одним-двумя энергичными штрихами, к которым ничего не нужно добавлять; это не картина эпохи, а любовный шарж на нее: вспыльчивый, неблагодарный, порою подловатый Наполеон, русские графы, испанские партизаны, – все стараниями Жерара облекается мягкой дымкой, уютной, как дым холмсовских трубок.

«Волшебные очки» бригадира для читателей-англичан были волшебными вдвойне, а то и втройне (нам это труднее почувствовать): сквозь них читатели могли видеть не только самих себя такими, какими их видит француз, а также видеть в глазах этого француза отражение своего собственного взгляда на французов. В своих странствиях Жерар неоднократно сталкивается с англичанами – это, наверное, самые смешные и милые эпизоды. Английский чемпион по боксу пытался приобщить Жерара к своему любимому спорту, но закончилось это

скверно (для чемпиона): чуждый спортивного духа француз «кинулся на него с воинственным криком и с разбегу пнул его ногой». А рассказ из второго жераровского цикла «Как бригадир убил лису» («How the Brigadier Slew the Fox»), где рядом с героем никакого Наполеона вообще нет, а есть только помешанные на спорте англичане, представляет собой просто шедевр юмористики, которому позавидовал бы Джером. Нельзя сказать, что Конан Дойл не ценил юмора, что он не понимал, как остроумны и смешны его рассказы – он все-таки не настолько простодушен, как его герой, – но он совершенно не чувствовал, что создал значительную вещь. Жераровские рассказы – так, пустячок; надо все-таки написать о Наполеоне «стоящую книгу». Увы, очень скоро он исполнит свое намерение.

Весной 1894-го Дойл писал «Жерара» как бы мимоходом, тратя на рассказ не больше времени, чем когда работал над холмсианой. У него было много других интересных занятий. Давос в 1894 году не был тем шикарным курортом, куда толпами съезжаются самые богатые и влиятельные люди со всего мира; это было чрезвычайно скучное местечко, лишенное каких бы то ни было развлечений. Ни о крикете, ни о футболе, ни о боксе и речи не было. Доктор нашел выход из положения. Во время поездки в Норвегию он увлекся лыжным спортом и теперь решил, что Альпы – вполне подходящее место для этого занятия. Он выписал из Норвегии несколько пар лыж и пытался соблазнить других постояльцев отеля разделить с ним удовольствие от катания. Никто не соглашался: лыжным спортом «приличные люди» не занимались. Только двое местных жителей, умевших хорошо стоять на лыжах, согласились сопровождать доктора в его экскурсиях; однажды, совершая переход по горам из Давоса в Арос (высота 9 тысяч футов, длина маршрута – 12 миль), все трое едва не погибли, но в конце концов отделались испугом и порванной в клочья одеждой. Это, однако, не отвратило Дойла от лыж – напротив. Он написал ряд очерков для «Стрэнда», в которых рекламировал Давос и восхвалял горнолыжные прелести. Англичане читали, восхищались, верили; постепенно в городок начало стекаться все больше и больше туристов. Интересно, знают ли участники давосских форумов, кому они обязаны этим удовольствием, или им всё равно?

Луиза в лыжных эскападах не участвовала, но каталась в санях и много гуляла; в апреле ей стало лучше настолько, что она начала умолять мужа отпустить ее на некоторое время в Англию к детям. Примерно в это же время самого Дойла настойчиво звали в Штаты: американец майор Понд, известный импресарио, брался организовать турне по нескольким городам с выступлениями перед читателями. Предполагалось, что на этих выступлениях можно будет неплохо заработать. Деньги были нужны: дом в Норвуде так и не продали (где бы тогда жили дети с бабушкой), главный кормилец сгинул в Рейхенбахском водопаде, а лечение туберкулезных больных обходилось очень дорого. Все же вряд ли это было главной причиной, по которой Дойл дал согласие: он мечтал об Америке, как когда-то об Арктике, и даже больше. Дойлы приехали в Лондон. Туда же приехала, оставив работу, и Лотти Дойл: она могла теперь составить компанию Луизе. В мае – июне все Дойлы очень много времени проводили вместе; одним из итогов этих посиделок стало то, что Конан Дойл и Уильям Хорнунг, муж Конни, решили совместно написать пьесу о спортсменах времен Регентства. Материал был богатейший, эпоха интересная, яркая, «вкусная», как сказали бы сегодня, но работа продвигалась медленно: за лето соавторы написали только первый акт. С соавторством у доктора как-то все не очень клеилось. (Всего он за свою жизнь написал 12 пьес, треть из которых – в соавторстве.)

В мае Дойл в очередной раз ввязался в литературную полемику, очень для него характерную. Был такой ирландский писатель Джордж Мур, который написал роман «Эстер Уотерс» о мытарствах одинокой матери-служанки; крупная фирма «У. Х. Смит и сын», занимавшаяся книготорговлей, сочла роман аморальным и отказалась его распространять; он был изъят со всех прилавков. Коллеги не заступились. Доктор Дойл был сторонником морали, но подобные вещи приводили его в бешенство. 1 мая его статья была опубликована в «Дейли кроникл»: «Совершенно очевидно, что обязанность фирмы-поставщика состоит в том, чтобы распространять литературу, а не в том, чтобы по собственной инициативе брать на себя незаконные функции цензора. <...> „Эстер Уотерс“ – книга хорошая как в художественном, так и в этическом отношении, и если она окажется запрещена, трудно ожидать, что любое другое правдивое и серьезное произведение сможет рассчитывать на благосклонность фирмы». Представители фирмы «У. Х. Смит и сын» в ответ опять выступили с обвинениями Мура в безнравственности и объясняли свой поступок заботой о чувствах подписчиков. Дойл отреагировал еще резче. В конце концов – не сразу – роман «Эстер Уотерс» снова поступил в продажу. Нам все время кажется, что подобные коллизии ушли в прошлое – ан нет, они возникают снова и снова.

Прошло лето, Луиза еще в июне вернулась в Швейцарию; доктору пора было в Америку. Иннес Дойл только что окончил Королевское военное училище, заслужил каникулы и согласился сопровождать брата в американском турне; о лучшем компаньоне и думать было нечего. В конце сентября оба Дой-ла отплыли из Саутгемптона на пассажирском лайнере «Эльба»,

принадлежавшем немецкой компании.

Среди пассажиров были немцы, англичане и американцы. Доктору Дойлу казалось, что немцы к англичанам относятся плохо: «Уже тогда я видел проявления той иррациональной ненависти к британцам, которая за двадцать лет привела к столь ужасному результату, повлекшему за собой крушение Германской империи». Отношения между Англией и Германией, чьи колониальные аппетиты в Африке как раз начинали разгораться в полную силу, действительно были плохи; Дойл, правда, в качестве доказательства ненависти приводит всего один эпизод: в праздничный день салон для пассажиров украсили американскими и немецкими флажками (к американцам, по-видимому, немцы относились хорошо), а британского не было. Немцев Конан Дойл всегда терпеть не мог и не ждал от них ничего хорошего; однако его глубоко возмутило то, что американцы не заступились за свою праматерь. Тогда Дойлы сделали из бумаги британский «Юнион Джек» и водрузили его как можно выше; никто их, впрочем, за это не обругал и не побил. Через неделю в порту Нью-Йорка Дойлов встречал майор Понд, который «казался абсолютным воплощением своей страны – огромный, точно на шарнирах, с козлиной бородкой и гнусавым голосом». Если даже у влюбленного в американцев Дойла было такое представление о них – грех обижаться, что они как-то не так к нему относятся.

Дойл по договоренности с Пондом должен был читать три разные лекции: «Тенденции современной английской беллетристики» (то же самое, что он читал в Швейцарии), «Творчество Джорджа Мередита» и «Чтения и воспоминания» – предполагалось, что в последней он расскажет слушателям о своем собственном творчестве. Материал всех трех лекций впоследствии послужит основой для эссе «За волшебной дверью». Понд предложил очень напряженный график поездок – такой, что Дойл впоследствии назвал свое первое американское турне рабством. Однако в присутствии Понда доктор не роптал, и импресарио потом заметил, что ему редко попадался лектор столь покладистый и на все согласный. Перед тем как отправиться на Средний Запад, Понд привел Дойла для выступления в баптистскую молельню. Доктор, вечно терявший мелкие вещи, посеял где-то запонку, и майор одолжил ему свою; за исключением этого инцидента все прошло очень хорошо. Потом в другом городе доктор споткнулся и упал прямо на сцене – без этого, кажется, не обходится ни один рассказ знаменитостей о их публичных выступлениях. Нью-йоркские газеты много писали о выступлениях Дойла, называя его «скромным», «радушным» и «славным малым»; хвалили его манеру читать. Аудитории доктор Дойл нравился: «Я читал для публики в точности так, как читал когда-то в детстве своей матушке». Это означало – произносить фразы четко и ясно, избегая актерства и длинных слов.

Три лекции доктора постепенно смешались в одну: о своем творчестве он говорить не умел и отказывался, все сводя к рассказам о любимых писателях. Обычно выступление продолжалось около часа: Дойл читал отрывки из Мередита, Стивенсона или Киплинга и свои собственные небольшие тексты, преимущественно отрывки из исторических романов или рассказов о Холмсе; в Штатах он впервые прочел публично «Медаль бригадира Жерара». Потом слушатели могли задавать вопросы – они были чаще всего связаны с Холмсом, и доктор покорно на них отвечал. После Нью-Йорка Дойл выступал в Филадельфии, Чикаго, Цинциннати, Детройте, Милуоки – всего посетил 30 городов; везде был хороший прием, но он очень уставал, к тому же после выступлений организаторы всякий раз устраивали щедрый банкет с возлияниями.

Разочаровала ли Дойла Америка? И да и нет. Матери он писал: «Я нашел здесь все то, что ожидал найти, а то дурное, что рассказывают путешественники, есть клевета и чушь. <…> Народ в целом не только самый преуспевающий, но и самый благоразумный, терпимый и неунывающий из всех, мне известных». Но к Британской империи американцы, к огорчению Дойла, не питали ни малейшей симпатии. Опять не вывешивали где положено британских флагов, а некоторые даже позволяли себе (на банкетах) дурно отзываться об Англии. Причин взаимной антипатии в конце XIX века было много, и они отнюдь не сводились к отголоскам войны за независимость; постоянно возникало что-нибудь новое. В 1894-м США обвинили Великобританию в том, что при ее попустительстве произошла резня армянского населения в Османской империи; в 1896-м, когда были открыты месторождения золота на Клондайке, между Вашингтоном и Лондоном разразился территориальный спор по поводу границы между Аляской, принадлежавшей Штатам, и Канадой, являвшейся английским доминионом, и президент Рузвельт пригрозил Великобритании, что, в случае ее несогласия, «проведет линию границы там, где, по мнению США, она должна быть».

Конан Дойл считал, что вся тяжесть вины лежит на его собственной стране. В письме своему английскому знакомому Джону Робинсону он писал из Нью-Йорка: «Когда я понял, как далеко мы дали им отойти от нас, мне подумалось, что нам следует на каждом фонарном столбе на Пэлл-Мэлл вздернуть по одному из наших государственных мужей. Нам – или идти с ними

вместе, или быть битыми ими же. Центр тяжести расы находится здесь, и нам следует приспособиться». А в декабре 1897-го Дойл опубликует об англо-американских отношениях большую статью в «Таймс», где снова подчеркнет несправедливость Великобритании по отношению к младшей сестре. «Американская история – во всяком случае, если речь идет о внешней политике, – есть, в сущности, не что иное, как сплошная череда конфликтов с Британией, конфликтов, многие из которых, стоит признать, возникли по нашей вине. <…> За всю историю у нас не нашлось теплого слова, чтобы выразить искреннее восхищение достижениями наших заокеанских братьев, их промышленным прогрессом, героизмом в войне и ни с чем не сравнимыми мирными добродетелями. Увлекшись мелкими придирками, мы не заметили великих свершений. Ползая по полу в поисках пятен от плевков, не заметили движения суфражисток и обретения народом права на образование». Мимоходом обратим внимание на то, что суфражизм Дойл назвал в качестве положительного явления – а ведь его всю жизнь корили за ненависть к суфражисткам.

Виновны, да; однако когда на банкетах американцы начинали ругать Британию, доктор Дойл в ответ с покаянием не выступал, а одергивал грубиянов: «Вы, американцы, живете за своим забором и ничего не знаете о реальном мире снаружи». Вряд ли эти речи способствовали усилению любви американцев к Англии. Но так у всех бывает: со своими ругаешь свою страну на все корки, но чужим не дашь о ней сказать плохого слова.

Изредка доктору все же удавалось выкроить день-другой, чтоб использовать его по собственному усмотрению. Он сделал то, что давно хотел: съездил в Вермонт, познакомился с Киплингом и за одни сутки обучил его играть в гольф – или, по крайней мере, делать вид, что играет. Читали друг другу стихи, расстались друзьями. Познакомился с американским поэтом Юджином Филдом, с которым будет дружен в течение многих лет. Посетил могилу Оливера Уэнделла Холмса. (В начале декабря, уже накануне отъезда домой, Дойл узнал о смерти Стивенсона на Самоа.) Случайно он обнаружил, что в американских книжных лавках продается сборник его старых рассказов «Убийца, мой приятель» с его именем на обложке, и написал в нью-йоркскую газету «Критик» возмущенное письмо по этому поводу: возмущался он отнюдь не тем, что за книгу не было заплачено, а тем, что она была плоха и по своей воле он никогда б эти старые рассказы публиковать не стал: «Вы должны понять ту досаду, которую испытывает автор, чьи произведения, в свое время умышленно умерщвленные, возвращаются кем-то к жизни вопреки его воле».

Что касается хорошего заработка, то ничего не получилось. Впоследствии Дойл прочел в журнале «Автор» статью о том, как здорово зарабатывают английские писатели в Америке, и выступил в том же издании с опровержением. «Правда, что Теккерей и Диккенс хорошо там заработали, но чтобы повторить их достижение, необходимо стать новым Теккереем или новым Диккенсом. Британский лектор с более скромным именем вскоре обнаружит, что разница между его заработком и расходами столь мала, что здесь, не выходя из кабинета, он мог бы заработать куда больше». Из этой его статьи мы узнаем, сколько американцы платили за выступление: около 100 долларов (тогдашних, которые были приблизительно равны 2500 современных), 15 процентов – агенту, дорожные расходы, как и проезд в Штаты и обратно – за свой счет. В итоге доход Дойла составил одну тысячу фунтов, и эту тысячу он целиком дал взаймы американскому издателю Сэмюэлу Макклюру, чьи финансовые дела были значительно хуже, чем его собственные.

Понд уговаривал доктора остаться в Америке на Рождество. Но тот отказался категорически – хотел провести праздник с женой и детьми. Пообещал Понду приехать в Штаты на будущий год (не сдержал слова). Во второй половине декабря Дойл прибыл в Лондон и оттуда сразу же поехал в Давос, куда еще осенью вернулась Луиза в сопровождении Лотти (отель теперь был другой – «Бельведер»). Ее состояние по-прежнему было вполне удовлетворительным, и она, казалось, забыла о своем диагнозе. Дойл опять занялся лыжами и продолжал рекламировать Давос, затем организовал площадку для игры в гольф и втянул в это дело чуть не всех постояльцев отеля.

Вообще 1894 год, который, как ожидалось, принесет смерть и ужас, оказался довольно спокоен и удачен (то же можно будет сказать и о следующем). В Лондоне с успехом прошла премьера «Ватерлоо» с Ирвингом в роли Брустера. Издательством «Мэтьюен» был выпущен сборник «Вокруг красной лампы», куда вошли преимущественно рассказы о медицине, написанные в разные годы; тематика их воспринималась как чрезмерно натуралистическая (когда доктор годом раньше читал «Проклятие Евы» в лондонском Клубе авторов, многие были шокированы), и Дойлу пришлось снабдить сборник предисловием, в котором он извинялся за то, что честно рассказал о работе врача, и советовал слабонервным женщинам и тем, кто ищет в литературе приятного, не читать подобных историй. В сборник были включены также «страшные» рассказы, опубликованные в «Айдлере» и других журналах в 1892—1893 годах; среди них отметим «Случай леди Сэннокс» («The Case of Lady Sannox»), история жуткая даже

по нашим временам – муж принуждает любовника своей жены отрезать ей губы без наркоза, чтение и впрямь не для слабонервных женщин, – а также классический саспенс «№ 249» («Lot No. 249») и полный черного юмора в духе По рассказ «Фиаско в Лос-Амигосе» («The Los Amigos Fiasco»). Автор, впрочем, ко всем своим страшным историям относился с абсолютным пренебрежением. Вышли отдельной книгой «Воспоминания Шерлока Холмса». В декабре в «Стрэнде» была опубликована «Медаль бригадира»; рассказ понравился читателям, количество подписчиков снова возросло, Ньюнес был счастлив, и Дойл, которому его новый герой еще не успел надоесть, с удовольствием засел за описание новых подвигов Жерара.

В апреле Дойлы перебрались из Давоса в Ко – местечко на самом берегу Женевского озера. Состояние Луизы продолжало потихоньку улучшаться; на зиму было решено поехать в Египет – доктор надеялся, что тамошний климат может привести к окончательному выздоровлению. В мае Дойл ездил по издательским делам в Англию (в «Лонгмэне» выходил доработанный текст «Писем Старка Монро») и там познакомился со своим коллегой, чьи работы уже читал, – писателем и публицистом Грантом Алленом (сейчас его мало кто знает не только у нас, но и в Англии, а тогда это был автор двух нашумевших романов: «Решившаяся женщина» и «Африканский миллионер»); разговорились о жизни, Дойл объяснил, что в Швейцарии поселился из-за болезни жены и, по-видимому, навсегда; в ответ Аллен сообщил, что тоже был болен туберкулезом, но вылечился, причем вовсе не в Швейцарии, а в деревушке Хайндхед, расположенной у подножия холма Хайндхед в маленьком графстве Суррей, что на юго-востоке Англии. Доктор Дойл, как мы знаем, всегда доверял своим новым знакомым и охотно принимал их советы. Этот совет и вправду оказался хорош. До этого Дойл был твердо уверен, что им с женой суждено провести остаток жизни «в неестественной обстановке иностранных курортов»; ему и в голову не приходило, что они могут спокойно жить на родине, и никто из его коллег не говорил ему о такой возможности.

Он немедленно поехал в Суррей, где никогда не бывал прежде. Местность была несколько суровая, но живописная. «В тех краях бывает две поры: желтая, когда все пылает от распустившегося дрока, и малиновая, когда склоны покрываются тлеющим огнем цветущего вереска. Тогда была малиновая пора. <...> Далеко на запад, горя под лучами раннего солнца, катились волны малинового верескового моря, пока не сливались с темной тенью Вулмерского леса и светлой чистой зеленью Батсерских меловых холмов». Суррей привлекал многих: исследователи насчитали 65 викторианских литераторов, которые в разное время там жили или бывали: среди них – Альфред Теннисон, Джордж Элиот, Герберт Уэллс, Артур Пинеро, Льюис Кэрролл; добавим, что там же Джоан Роулинг поселила опекунов своего Гарри. «На юге Суррея тянулась гряда поросших елью гор, чьи вершины большую часть года были покрыты снегом. Остатки этих вершин сохранились и по сей день – это Лейс-Хилл, Питч-Хилл и Хайндхед» – так описывает эту местность Уэллс в повести «Это было в каменном веке», а Олдос Хаксли в «Дивном новом мире» прибавляет: «Подернутые смутной английской дымкой, Хайндхед и Селборн манят глаз в голубую романтическую даль». Правда, сухарь Шоу, ненавидевший (или делавший вид, что ненавидит) природу и деревню, назвал Хайндхед «мерзкой торфяной кучкой, ничем не отличающейся от других торфяных кучек». Всё зависит от точки зрения.

Дойлу Хайндхед понравился; как врач он отметил, что песчаная почва, еловый лес и сухой климат (по мнению Шоу, в Суррее всегда идет дождь) подойдут Луизе. Как всегда, он принял решение моментально: дом в Норвуде продать, а в Хайндхеде не покупать готовый дом, а строить новый – средства позволят. Каждое место, где Конан Дойлу приходилось жить, становилось местом действия какой-нибудь из его книг; среди холмов Суррея («В ноябре на них ржаво тлеют папоротники, в июле пылает огнем вереск») будет происходить действие романа «Сэр Найджел».

Покупка участка обошлась в тысячу фунтов. Строительство было поручено архитектору Боллу, старинному приятелю Дойла, с которым они когда-то в Саутси пытались заниматься телепатией. Дойл сам нашел подрядчиков, сам сделал план дома – сын архитектора, это он умел. Проект был грандиозный: множество больших комнат, громадный холл, витражи с гербами, бильярдная, конюшня, электрический генератор. Болл обещал закончить строительство через год, а Дойл со спокойным сердцем уехал обратно в Ко. Там он очень быстро завершил серию рассказов о Жераре (эти рассказы потом войдут в «Подвиги бригадира Жерара»), а к концу лета отредактировал «Письма Старка Монро», исключив трагический финал (впоследствии он в разных изданиях этой книги будет то вставлять этот финал, то убирать его). Была у него еще одна незаконченная работа: пьеса, которую начинали писать вместе с Хорнунгом. Пьеса не шла, и осенью Дойл принялся переделывать ее в роман «Родни Стоун» (Rodney Stone).

Личность экстравагантного принца-регента, который вел разгульный и веселый образ жизни, наложила на эпоху отпечаток не меньший, чем личность примерной жены и матери королевы

Виктории на викторианский период. Регентство – время щеголей, элегантности, галантности, стиля, спорта; ошеломляющий контраст с чопорностью и пристойностью, пришедшими им на смену; регентство – время появления денди, первым из которых стал Красавчик Бруммель. Мимо такой личности Конан Дойл просто не мог пройти. Но главный герой «Родни Стоуна» – не денди. Это молодой силач, сын кузнеца Джим Гаррисон, а повествует о его подвигах его закадычный друг Родни Стоун – все тот же простак, который, состарившись, рассказывает историю своей юности «любезным внучатам», он чрезвычайно похож на всех своих предшественников и так же скромен, как все дойловские простодушные повествователи: «Итак, с вашего разрешения, отодвинем мою особу на самый задний план. Постарайтесь вообразить, будто я тонкая, бесцветная нить, на которую нанизываются жемчужины, и это будет как раз то, чего я хочу». Этой-то нити, которую мы назвали волшебными очками, – бесцветной, но окрашивающей все повествование в теплые тона, – и недостает в текстах Дойла, которые написаны не от первого лица.

В «Родни Стоуне» вообще очень много такого, что мы уже читали: все те же наивные проповеди на тему «вообще-то драться нехорошо, но добро должно быть с кулаками», все та же милая заботливая матушка с тем же вязанием в руках, тот же добрый, честный, суровый и непьющий отец, та же пара неразлучных друзей – один физически сильный, другой чуть поумнее, и оба благородны; Джим Гаррисон – почти точная копия Джима Хоркрофта из «Великой тени». Похоже, к этому моменту Конан Дойл окончательно решил, что от добра добра не ищут, и решил, пожалуй, правильно: всё то же самое, и всё получилось так же прелестно и живо, с тем же обаянием простодушия.

Один из главных героев – Чарлз Треджеллис, дядя Родни, приехавший проведать родственников; он-то и воплощает собою тип Бруммеля, то есть денди. Это сибарит, придворный щеголь, законодатель мод, за его изнеженной манерностью скрываются мужественность и решительность; вроде бы дядюшка Чарлз должен был прежде всего напомнить нам Гервасия Джерома из «Михея Кларка», однако, когда читаешь о его появлении в деревенском доме Стоунов – о том, как матушка, узнав о приезде, велит срочно перестирать все занавесочки и переложить простыни лавандой, о его важном камердинере, его болонке, его галстуках и шкатулках, его мягких укорах в адрес дурно одетого племянника, – невозможно отделаться от ощущения, что этот самый персонаж вкупе с этой же самой матушкой и этим же самым мальчиком фигурирует в русской классической литературе. Выискивать интертекстуальные связи – занятие еще более интересное, чем подбирать прототипов в реальной жизни, и столь же бесполезное; в данном случае, однако, удержаться от этого невозможно, ибо персонаж обнаружился у того самого русского классика, которого мы в связи с доктором Дойлом поминали множество раз: придворный дядюшка Чарлз Треджеллис – это вылитый, в деталях, придворный дядюшка Гундасов из рассказа Чехова «Тайный советник». Это вовсе не к тому, что доктор Дойл мог что-то там у доктора Чехова заимствовать: просто занятно, как параллельные (самую чуточку) авторы могут иногда произвести на свет параллельных персонажей; сам Дойл сказал бы, наверное, что в этом совпадении проявилась рука Провидения.

Но вернемся к «Родни Стоуну»: дядюшка Чарлз увозит юного племянника в столицу, чтобы представить его ко двору, деревенщина Родни знакомится с жизнью Лондона, которая приводит его в изумление, встречается с Нельсоном и леди Гамильтон; наконец, на сцене появляется третий новый элемент, самый главный – бокс. Многочисленные боксерские поединки описаны вразумительно, ясно, детально – автор отлично знал предмет, – и так живо и обаятельно, что даже человеку, никаких симпатий к боксу не питающему, интересно о них читать. Это, кстати говоря, получается далеко не у всякого: часто, если даже гениальный автор вдается в подробное описание своих увлечений (удушение бабочек и накалывание их на булавки.), читателя, их не разделяющего, начинает подташнивать от омерзения и скуки. Но бокс, по Конан Дойлу, – гораздо больше, чем спорт. «Древняя страсть к боксу не разбирает сословий, она присуща всему народу, коренится в самом существе каждого англичанина. <…> Да, это и есть костяк, основа, на которой зиждется стойкий и мужественный характер нашего древнего народа!» Заниматься спортом полезно, это развивает патриотизм и поможет отразить нападение врагов – эту очень советскую мысль («знак ГТО на груди у него.») Конан Дойл в романе повторяет на все лады. Вообще угроза нападения на Англию ему виделась постоянно и отовсюду; практически в каждой главе его мемуаров находится какой-нибудь эпизод, о котором говорится, что это было «тогда, когда страна вот-вот должна была вступить в войну». В 1913-м он тоже будет предвидеть войну – и не ошибется. Никакой бокс, правда, там уже никому не поможет, хотя Дойл будет на этот счет иного мнения: «Уверен, что во Франции боксер Шарпантье сделал для победы в этой войне больше, чем кто-либо другой, за исключением тогдашних генералов или политиков».

Дойл, однако, был против того, чтобы делать бокс профессией: там, где появляются деньги, по его мнению, спорт заканчивается, и отец Джима Гаррисона, бывший профессиональный боец,

удерживает сына от той же участи. Попутно Родни и Джим раскрывают тайну одного старинного убийства – убийцей оказывается камердинер дядюшки Чарлза. Он мулат, о чем мы умолчали – иначе бы сразу стало ясно, кто в книге главный злодей. Кстати, раз уж бокс и расовый вопрос оказались помянуты вместе, можно чуть забежать вперед и сказать, что в 1909 году, когда в Америке планировался бой между белым боксером Джефрисом и чернокожим Джонсоном, организаторы просили доктора Дойла приехать и быть рефери; он поначалу рвался, друзья отговаривали. В это же время должна была состояться премьера авторской инсценировки «Родни Стоуна» – пьесы «Дом Темперли»; в конце концов Конан Дойл выбрал пьесу и в Америку не поехал. Забавное свидетельство победы искусства в поединке с жизнью, хотя у них и разные весовые категории.

«Родни Стоуна» издал Ньюнес в 1896 году; роман читателям понравился, но был прохладно принят критикой – очень уж необычной казалась тема. Известный критик Макс Бирбом, кроме того, в газете «Сэтердей ревью» – это было уже в 1897-м – обвинил автора во всевозможных исторических неточностях, как то: Бруммель не мог стоять, засунув большой палец под мышку, у принца Георга был нос не курносый, как говорится в «Родни Стоуне», а совсем наоборот, и т. д. Дойл публично защищал свою работу: по отрывку из его статьи в той же газете можно судить о том, что он при написании исторических книг действительно очень серьезно подходил к источникам, не пропуская ничего, что относилось к изображаемому им периоду. «Любому студенту тут же придет на ум фронтиспис ко второму тому мемуаров Гроноу. Там Бруммель стоит именно так, как не мог бы, по Максу Бирбому, стоять денди того времени: сунув большой палец под мышку». Бирбом не стал продолжать дискуссию.

В ноябре 1895-го Джеймс Пейн, написавший повесть «Напополам» (о близнецах), предложил Дойлу инсценировать ее; доктор согласился, как соглашался на всё, о чем просили друзья, хотя и без особого энтузиазма. В том же месяце Дойлы собрались ехать в Египет. Черный континент, как мы помним, вызывал у Дойла отвращение; но сухой и теплый климат должен был пойти на пользу его жене; к тому же Египет был тогда цивилизованнейшей частью Африки. Супружескую чету сопровождала Лотти. Проехали через Италию, на несколько дней останавливались в Риме. Развалины Колизея в тот раз Дойла ни на что не вдохновили, но даром впечатление не прошло, у него ни одно впечатление не проходило даром: многими годами позднее он напишет цикл рассказов из древнеримской истории.

Приплыв в Египет, поселились в отеле «Мена» в семи милях от Каира, близ пирамид, и прожили там всю зиму. Стояла великолепная погода. Отель был первоклассный, английских туристов много, все условия для тенниса и бильярда. В Каире кипела оживленная светская жизнь, в которой принимали участие Лотти и совсем ожившая к тому времени Луиза: она даже начала снова танцевать на балах. Сам доктор с утра по обычной привычке работал – кроме пьесы для Пейна, надо было продолжать писать рассказы о Жераре, – а развлечениям отдавал послеобеденное время. В Каире он познакомился со многими высокопоставленными чиновниками, поклонниками его рассказов (в Египте рассказы о Холмсе были изданы в переводе на арабский язык и рекомендованы для чтения полицейским чинам) – в частности, с главой департамента разведки полковником Уингейтом, который привил ему увлечение гольфом – «игрой-кокеткой», по выражению самого Дойла, который признавался, что при всей страстной влюбленности в этот вид спорта так и не научился толком в него играть. Поле для гольфа лежало у самого подножия пирамид; оно было рыхлое, клюшка то и дело зарывалась в землю. «Как-то раз здесь некий циничный незнакомец, понаблюдав за моей энергичной, но нерезультативной игрой, заметил, что, насколько ему известно, на проведение раскопок в Египте существует специальный налог». В первые дни доктор взобрался, разумеется, на пирамиду, ничего особенного не ощутил и больше не лазил. Начал заниматься верховой ездой, но больших успехов снова не достиг: лошадь сбросила его и страшно ударила копытом в лицо; залитый кровью, почти ослепший, он едва добрел до отеля: «Если мое правое веко слегка приспущено на глаз, то это результат отнюдь не философских размышлений, а козней черного дьявола в образе лошади с хищной мордой, торчащими ребрами и прядающими ушами».

В первых числах января 1896 года Дойлы отправились на продолжительную экскурсию по Нилу на маленьком пароходике «Кука»; конечным пунктом был городок Вади-Хальфа, отстоящий от Каира на 800 миль. Было очень жарко – чересчур жарко, Луиза утомлялась, но держалась мужественно. Осмотрели бесчисленное множество древних храмов и гробниц. Доктор восхищался их величавостью: «Римская и Британская империи по сравнению с Древним Египтом просто жалкие выскочки». И тут же прибавлял, что, хотя в искусстве египтяне достигли больших высот, их мыслительные способности ничтожны, а осмотрев внутренность гробниц и ознакомившись с правилами захоронений, требовавшими, чтоб в усыпальницу к мертвому клали еду, одежду и деньги, заявил: «Я никогда не поверю, что народ, разделяющий подобные идеи, может быть чем-то иным, кроме интеллектуального скопца – такова участь любого народа, подчинившегося власти жрецов». О потрясающих технических достижениях древнеегипетской цивилизации доктор, вероятно, в тот момент

просто забыл. А очень скоро он пожалел, что жена и сестра с ним поехали: экспедиция была не так уж безопасна.

В 1875 году Великобритания купила у египетского хедива (наследного правителя) и мелких собственников контрольный пакет акций Суэцкого канала; в 1882-м, когда в Александрии вспыхнуло восстание, английские войска подавили его и установили над Египтом скрытый протекторат. В это же время в соседнем Судане в ходе восстания против колониальных властей образовалось независимое теократическое государство пророка Махди; для его разгрома Великобритания организовала блокаду морского побережья Судана. В 1895-м открытых военных столкновений между махдистами и англоегипетскими войсками не было, но мелкие стычки возникали постоянно. В середине января пароходик с экскурсантами пристал к берегу у маленькой деревушки, на которую было только что совершено нападение махдистов; узнав об этом, Дойл очень обеспокоился: беззащитную группу туристов, сопровождаемую четырьмя солдатами-неграми, ничего не стоило похитить. Он представил себе во всех деталях, как могло произойти такое похищение, и в конце 1896-го описал эту ситуацию в повести «Трагедия „Короско“» («The Tragedy Of The Korosko»). Перепрыгнем через год, чтобы не отвлекаться от темы.

В своей повести Дойл использовал фабулу, гораздо более характерную для остросюжетной литературы XX века, чем XIX. Группка туристов плывет по Нилу на пароходике «Короско»: несколько людей, не связанных друг с другом, разных по характеру и социальному положению, случайно оказываются вместе и попадают в экстремальную ситуацию, где характер каждого может проявиться особенно ярко и где они вступают в конфликт не только с внешней угрозой, но и друг с другом. (Мы помним: он уже хотел написать нечто подобное, но, прочтя Мопассана, отказался от своего замысла.)

Во время своего пребывания в Египте, да и дома, в Англии, Дойлу, конечно, приходилось слышать, что англичане обижаются на махдистов совершенно напрасно: завоевателям нечего делать в чужой стране. Его персонажи на эту тему тоже дискутируют:

«– Ба, друг мой, вы не знаете англичан! – говорит француз. – Вы смотрите на них, на их самодовольные лица и говорите себе: „Это славные, добродушные люди, которые никому не желают зла“. Но вы ошибаетесь: они все время следят, высматривают и стараются нигде не пропустить своей выгоды. „Египет слаб, не будем зевать!“ – говорят они, и словно туча морских чаек налетели на страну».

Англичане возражают:

«– Мы очищали моря от пиратов и работорговцев, теперь мы освобождаем и очищаем эту страну от дервишей и разбойников и постоянно, везде и всюду стоим на страже интересов цивилизации. <…> Есть народы, столь неспособные к совершенствованию, что не остается никакой надежды на то, чтобы они могли создать себе когда-либо хорошее правительство, – и тогда их берет под свою опеку или под свое руководство какой-нибудь другой народ, более способный к созданию прочной государственности.»

Вмешивается и американец: «У нас в Бостоне, на Бэк-Бей, стоит старый безобразный дом, этот дом портит положительно весь вид. Он весь наполовину сгнил и развалился, ставни беспомощно висят, сад совершенно заглох, – но я, право, не знаю, вправе ли соседи ворваться в этот сад и этот дом, начать хозяйничать в нем по своему усмотрению и наводить свои порядки! – Вы думаете, что они не имели бы на то права, даже если бы этот дом горел?»

Сам Дойл, разумеется, считал, что можно и должно вмешиваться, когда где-то кого-то обижают или кто-то живет неправильно; использую термин Стругацких, можно сказать, что он был до мозга костей прогрессором. Русскоязычный читатель, скорей всего, презрительно поморщится – знаем мы этих империалистических западных прогрессоров, – а кто-то вспомнит, что прогрессоры были (и есть) не только империалистические и не только западные. Спор не окончен по сей день и будет вестись еще долго; кто прав – рассудит разве что далекое будущее.

Пароходик пристает к берегу; махдисты, перебив охрану, уводят туристов с собой; пленники оказываются во власти фанатика-эмира, который требует от них принять магометанство – в противном случае они будут казнены. Дальше всё разворачивается опять-таки очень современно и нетипично для Дойла: мало внешнего действия, много напряженного внутреннего конфликта; текст, написанный чрезвычайно сухо (автор стилизует его под документальный), читается на одном дыхании. В полном соответствии с принципами экзистенциализма люди, попавшие в критическую ситуацию, меняются; некоторые просыпаются от многолетней душевной спячки; смельчак трусит, циник неожиданно для себя

оказывается героем – всё как у Камю в «Чуме». Перед лицом смерти люди рассуждают о ней: «Меня так всего более пугает одиночество смерти. Если бы мы и те, кого мы любим, умирали все разом, то, я полагаю, смерть была бы для нас тем, что переезд из одного дома в другой!» Не будем рассказывать, как среди пленников возникали и разрушались группировки, как разрешались конфликты, кто как повел себя, кто спасся, кто погиб – «Трагедию „Короско“» лучше прочесть, – скажем только, что ислама, разумеется, никто из героев не принял – отнюдь не из религиозных убеждений, а потому, что «в каждом из них говорило самолюбие европейца, гордость белой расы, заставлявшая возмущаться подобным поступком, как отречение от веры своих отцов и попрание символа этой веры».

В «Трагедии „Короско“» отсутствует та «бесцветная нить, на которую нанизываются жемчужины»; выходит, она опровергла лелеемую нами теорию о том, что Конан Дойл не мог хорошо писать иначе как от первого лица, при помощи волшебных очков. Очень хочется извернуться и подогнать факты под теорию, но разумней признаться честно: да, опровергла; да, мог и совсем по-другому. Эта маленькая повесть открывает нам совершенно новую сторону литературного дара нашего героя. Очень обидно, что он больше никогда ничего подобного не писал.

Зимой 1895-го наших путешественников никто не похитил и они благополучно вернулись в Каир. В конце апреля стало чересчур жарко, и Луиза с Лотти отбыли в Европу. Дойл остался: от своих знакомых военачальников он узнал, что генерал-майор Китченер получил приказ перейти границу и вновь попытаться захватить Судан. «Воевать очень интересно.» Доктор тотчас телеграфировал в лондонскую «Вестминстер газетт» и попросил, чтоб ему разрешили отправиться на фронт в качестве военного корреспондента. Купил револьвер, сел на верблюда и поехал (мы утрируем, конечно, но немножко проехаться на верблюде ему таки довелось, и этот зверь оказался по характеру еще хуже лошади). В Асуане ему и другим журналистам было велено присоединиться к частям египетской кавалерии, но он подбил нескольких корреспондентов удрать и добираться до Вади-Хальфа самостоятельно. Очень хотелось ему попасть в какую-нибудь перестрелку, но таковой не случилось: когда прибыли к линии фронта, там боевые действия тоже не велись, и, проторчав среди верблюдов и пыли два месяца, доктор пароходом возвратился в Каир, откуда отплыл домой. И в этот раз Африка как таковая произвела на него мало впечатления; она волновала его лишь как объект приложения британского ума и британской доброты. Романтического в Африке он не видел – хоть убей. Отель, гольф, магазины, пирамиды... Можно сказать, что Египет он воспринял так же, как воспринимает его средний современный турист. Война – совсем другое дело. Но и тут не повезло – Судан был захвачен англичанами только три года спустя.

В мае он был в Хайндхеде и обнаружил, что на строительстве дома еще, как говорится, конь не валялся; на упреки строители давали вечный ответ, что-де была заминка со стройматериалами и т. д. Дойл понял, что скоро ему дома не дождаться. Луиза не хотела жить в Швейцарии, вдали от родных. Тогда Дойлы сняли меблированный дом под названием «Грейвуд-Бичес» там же, в Суррее, в деревушке Хейзлмир; теща приехала к ним и привезла детей. Дом был небольшой и не очень-то благоустроенный, зато хозяева держали кур, гусей свиней, кроликов, трех собак, кучу кошек – раздолье для семилетней Мэри Луизы и трехлетнего Кингсли, которые в Суррее сделались совсем похожими на деревенских детей. Луиза чувствовала себя хорошо – хвойные леса Суррея действительно пошли ей на пользу. Дойл постоянно ездил на стройку; с появлением хозяина дела, как водится, пошли чуть быстрее. Он перезнакомился с будущими соседями; несмотря на печальный египетский опыт, твердо решил купить коня, как только строительство завершится, и стать первоклассным наездником.

В «Стрэнде» продолжалась публикация рассказов о бригадире Жераре; писать новые Дойл не собирался. Пустячки ему наскучили. Он еще в Египте потихоньку начал работать над давно задуманным «стоящим» романом из наполеоновских времен – «Дядя Бернак» («Uncle Bernac: A Memory of the Empire»).

Герой-рассказчик – молодой французский эмигрант Лаваль, сын роялиста: в Англии он получает письмо от своего дяди Бернака, бесчестного злодея (он служил и Робеспьеру, и Баррасу, и Наполеону), который предлагает племяннику вернуться во Францию и пойти на службу к императору. Тяготясь изгнанием, Лаваль принимает приглашение дяди. По пути он попадает в руки заговорщикам, готовящим убийство Наполеона; дядя Бернак его спасает, но лишь затем, чтоб женить на своей дочери, которую герой не любит и которая любит не его. Все это – плен и спасение – происходит на торфяном болоте, а заговорщики вступают в схватку с ужасной громадной собакой; на болоте же уединенно живет дядя Бернак, а дочь Бернака предупреждает героя о том, что он должен держаться от болот подальше. Героя, кое-как выбравшегося из торфяников, представляют ко двору; в романе появляются Наполеон, Фуше, Жозефина, описанные примерно так же, как Людовик в «Изгнанниках»: наивно и ходульно, как написал бы школьник, прочтя учебник по истории.

«– Нравственность, – кричал он [Наполеон] в исступлении, – мораль не созданы для меня, и я не создан для них! Я человек вне закона и не принимаю ничьих условий. Я много раз говорил вам, Жозефина, что это все фразы жалкой посредственности, которыми она старается ограничить величие других. Все они неприложимы ко мне. Я никогда не буду сообразовывать свое поведение с законами общества!»

Не шло у доктора Дойла с королями и императорами, никак не шло. Принцы с герцогами у него получались лишь тогда, когда они – при войске, в походных условиях (Монмаут, например); описание же придворной жизни всякий раз было из рук вон. Для описания некоторых сторон жизни недостаточно изучать источники: нужно чувствовать дух и стиль. Почувствовать дух королевского двора провинциальный доктор не умел и передать его, соответственно, тоже. В отличие от автора это прекрасно сознавал Этьен Жерар: «Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает о стремя, – тогда я силен. И всему, что касается фуража – сена или овса, ржи или ячменя – и командования эскадронами на марше, я могу поучить кого угодно. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором и вижу, что все говорят обиняком, вместо того чтобы выложить все начистоту, – тут я чувствую себя как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску». Вот таким «Дядя Бернак» и получился – нелепым, как кавалерийская лошадь в дамской коляске.

Бумажным и плоским выглядит в романе и сам Жерар, которого в бытность его лейтенантом встречает герой и который уничтожает заговорщиков и косвенным образом помогает герою сделаться адъютантом Наполеона и удачно жениться. Угол зрения сменился – и обаяние исчезло. А ведь начало «Дяди Бернака» читалось с интересом. Дойл начал писать двух чудесно живых и противоречивых заговорщиков, но потом их бросил – зачем писать про мелкое, когда есть большое? – и предпочел высказывать банальные невнятицы о Наполеоне: «Я знаю только одно, что это был гениальный человек, и все его поступки были всегда настолько грандиозны, что к ним неприложима обыкновенная мерка человеческих поступков». Неужто он всерьез верил, что эта фраза, с точки зрения литературы, весит больше, чем «наш маленький человечек с бледным лицом»?

На первый взгляд кажется, что автор все понимал; в отличие от «Изгнанников» он своего «Дядю Бернака» не полюбил. В письме матери он называл его «несчастной книжицей» и признавался, что ни одна вещь не давалась ему с таким трудом. «Я, видимо, не нашел правильного ключа, но мне необходимо с ней как-нибудь развязаться». «Правильный ключ» – он же «тонкая бесцветная нить» – он же «волшебные очки» – и впрямь куда-то подевался. Почему, ведь рассказ ведется от первого лица? Но волшебные очки обязаны быть наивными. В Лавале этой наивности нет; автор, видимо, сам не знал, как должен смотреть на вещи образованный французский дворянин-роялист. Ну, не получилось и не получилось. И тут самокритичный доктор Дойл нас как обухом по голове огрел: в мемуарах он, признавая, что книга «Дядя Бернак» в целом неудачна, утверждает, что «две главы в ней, посвященные Наполеону, рисуют его портрет точнее, чем множество толстых книг». Хоть стой, хоть падай. Возмущение, правда, чуть-чуть уляжется, когда попытаешься вспомнить – ну хорошо, а кому из писателей удалось создать по-настоящему живой и убедительный образ Наполеона? – потом еще раз перелистаешь «Войну и мир» (усилием воли абстрагировавшись от мыслей о величии толстовского гения) и призадумаешься надолго. Трудный какой-то материал был этот Наполеон для писателей, неблагодарный. Разве что Алданов в «Святой Елене». но там Наполеон – не император, а умирающий старик. Дойл с потрясающей, под стать Жерару, наивностью замечает, что его описание Наполеона хорошо потому, что оно представляет собой «квинтэссенцию десятков книг». Любой студент знает, как называется такая квинтэссенция, – рефератом...

После «Дяди Бернака» (опубликованного издательством «Элдер и Смит» в 1897 году) в конце 1896-го Дойл написал «Трагедию „Короско“». И той же осенью Египет напомнил ему о себе довольно неожиданным образом. На один из спиритических сеансов, которые доктор продолжал исправно посещать все эти годы, явился дух человека, с которым Дойл познакомился в Каире – тот потом уехал на Нил в составе экспедиции и погиб. Никто из участников сеанса, по мнению Дойла, не мог ничего знать об этом человеке. «Я начал задавать ему вопросы точно так же, как если бы он сидел передо мной, и он отвечал мне быстро и уверенно». Дойл и дух предались воспоминаниям о Каире, перебрали всех знакомых; дух сообщил, что при всей своей занятости в ином мире находит время интересоваться земными политическими событиями. Дойла интересовало, встречается ли его знакомый дух со знаменитостями, но тот разочаровал его: духи живут семьями, как и здесь, и к знаменитостям подступиться так же сложно. Дойл попросил духа уточнить касательно семей: непременно ли человек на том свете живет с той же женой, что и на этом. Дух ответил, что это необязательно, и добавил вещь чрезвычайно поэтичную: «Но те, кто действительно любили друг друга, непременно встречаются вновь».

На тот же сеанс явился и другой дух – он принадлежал шестнадцатилетней девочке, умершей в Австралии: та рассказывала о жизни на Марсе. Дойл узнал, что духи молятся и развлекаются; у них нет ни богатых, ни бедных, и вообще жизнь устроена несравненно лучше, чем на Земле. Рассказы обоих духов, вразумительные и ясные, произвели на него чрезвычайное впечатление; однако, по его признанию, в то время он еще не мог вписать подобную концепцию будущей жизни в свою философскую схему: «Я только отметил ее и прошел мимо».

Тогда же, в конце 1896-го, Дойл придумал очередного персонажа, переходящего из рассказа в рассказ: капитана Шарки, кровожадного и ужасного пирата. Очень характерно для доктора Дойла, что он удержался от искушения (а может, и искушения даже не было) придать своему пирату обаяние, как делали и делают большинство пишущих о пиратах, Стивенсон в том числе. Шарки – существо абсолютно омерзительное: милых и обаятельных убийц Дойл не признавал. Сами рассказы, пожалуй, нельзя отнести к числу шедевров Дойла – это изящные безделки, – но в них очень сильно проявилась склонность автора к черному юмору. Можно выделить один из рассказов серии (более поздний) – «Ошибка капитана Шарки» («The Blighting Of Sharkey»), который оставляет после себя впечатление по-настоящему жуткое: когда девушка, которую Шарки захватил в плен, оказывается прокаженной. «Шарки уставился на руку, которая ласкала его. Она была странного мертвенно-бледного цвета, с желтыми лоснящимися перепонками между пальцев. Кожа была припудрена белой пушистой пылью, напоминавшей муку на свежеиспеченной булке. Пыль густым слоем покрывала шею и щеку Шарки. С криком отвращения он сбросил женщину с колен, но в тот же миг, издав торжествующе злобный вопль, она, как дикая кошка, прыгнула на доктора, который с пронзительным визгом исчез под столом. Одной клешней она вцепилась в бороду Галлоуэя, но он вырвался и, схватив пику, отогнал женщину от себя; она что-то невнятно бормотала и гримасничала, а глаза у нее горели, как у маньяка». Стивен Кинг, как говорится, отдыхает.

Холмс всё это время считался мертвым, хотя доктор написал о нем в 1896 году один маленький забавный рассказ под названием «Благотворительная ярмарка» («The Field Bazaar»). Это было сделано по просьбе журнала «Студент», издаваемого Эдинбургским университетом, – для сбора средств на реконструкцию крикетного поля.

Осенью Дойл наконец выполнил свое давешнее намерение купить коня: его назвали Бригадиром в честь нового литературного кормильца (конь оказался спокойным и хозяина не калечил). Доктор по своему обыкновению активнейшим образом включился в лондонскую литературную и светскую жизнь. Стал членом престижного Реформ-клуба и писательского кружка «Новый клуб бродяг», членом (а потом и председателем) Клуба авторов, почетным членом Ирландского литературного общества. Выступал с чтениями на благотворительных вечерах. В организации под названием «Клуб королевских обществ» ему поручили «отвечать за литературу». День-деньской сидел в президиумах, стал «важной шишкой»; но в жизни, в отличие от литературы, для доктора Дойла маленькое всегда было таким же важным, как большое, и с тем, что казалось ему несправедливым и жестоким, как бы мало оно ни было, он мириться не мог.

«Дело миссис Кастл.

«Таймс», 10 ноября 1896 г.

Сэр! Позвольте нижайше просить Вас использовать все свое влияние, чтобы заступиться за злосчастную американку миссис Кастл, которую приговорили вчера к трем месяцам тюрьмы, признав виновной в краже. <…> Наверняка никто не станет оспаривать тот факт, что существуют по крайней мере некоторые основания для того, чтобы усомниться в способности этой женщины нести моральную ответственность за свои поступки. Так пусть же сомнения эти заставят нас быть чуть милостивее к той, чья принадлежность к слабому полу и положение гостьи нашей страны вдвойне требуют снисхождения. Эту женщину следовало бы препроводить не в тюрьму, а в приемную доктора.

Искренне Ваш,

А. Конан-Дойл

«Грейсвуд-Бичес», Хаслмир, 7 ноября».

Эта попытка (неудавшаяся, к сожалению) нашего героя побороться с судебной машиной и спасти осужденного человека была не первой и далеко не последней. И не все подобные битвы, к счастью, закончатся поражением.

Глава четвертая

КАК БРИГАДИРА ИСКУШАЛ ДЬЯВОЛ

Строительство дома в Хайндхеде никак не заканчивалось; доктор решил со всеми чадами и домочадцами перебраться поближе к стройке, чтоб иметь возможность руководить процессом. В январе 1897-го Дойлы поселились в пансионе «Мурлендз» на склоне холма Хайндхед, в двух шагах от своего будущего жилища. В феврале доктор съездил в Эксетер проведать Иннеса; тот, уже офицер, был помолвлен с дочерью местного богача Гамильтона (брак в конце концов не состоялся). Затем доктор вернулся к жене и детям в «Мурлендз». «Там мы провели несколько счастливых и хлопотливых месяцев», – пишет Дойл об этом периоде, ни словечком не упоминая о том, что в эти месяцы он встретил свою любовь. Его вторая жена появляется в мемуарах лишь десять лет спустя, когда дело доходит до свадьбы: тогда мельком говорится, что их знакомство было длительным. Конан Дойл познакомился с Джин Леки в Лондоне 15 марта 1897 года. Ему было в то время тридцать восемь лет, ей 14 марта исполнилось двадцать четыре.

Семья Леки жила в Блэкхите – районе Лондона, весьма известном, в частности, своей спортивной жизнью: там были свой гольф-клуб, регбистский клуб и стадион, клубы крикетный, футбольный и даже хоккейный – так что знакомство произошло, по всей вероятности, на спортивном мероприятии, а поскольку Джин Леки увлекалась гольфом, то, скорей всего, на гольфе это и случилось. Отец Джин, Джеймс Блит Леки, был шотландец, состоятельный человек, бизнесмен, происходивший – так, во всяком случае, считалось – опять-таки из древнего и знатного рода (его наиболее знаменитым предком считался сэр Уолтер Леки, телохранитель французского короля, прославившийся во время Столетней войны), его женой стала Селина Бусфильд, и у них было двое детей: Джин и ее брат Малькольм, шестью годами старше. Оба ребенка учились в частных школах за границей, потом Малькольм продолжил образование в Англии, став медиком; Джин обучалась пению в Дрездене. Внешне и по характеру Джин представляла собой полную противоположность Луизе Дойл: яркая, зеленоглазая, по-кошачьи грациозная, обаятельная красавица, любительница разнообразных видов спорта (а ее брат Малькольм был известным хоккеистом и даже за сборную страны играл), певица с очень красивым меццо-сопрано и вообще девушка романтическая (так и тянет сказать: спортсменка, комсомолка.). О Луизе все всегда говорили: кроткая, добрая. К Джин подходили совсем другие слова: умная, живая, яркая, обольстительная. У нее несомненно был сильный характер. Джин Леки обожала охоту с гончими – черточка не самая приятная в женщине, которой вроде бы следует быть более чувствительной к плачу раненого зайца, чем мужчинам, но, в конце концов, это всего лишь черточка.

Там же, где доктор Дойл называл брак «одним из эпизодов», он высказался и по поводу любви: «Как много людей проживут на свете, вообще не зная, что такое любовь. Она внезапно обрушивается на нас, вместо того чтобы постоянно осознаваться нами как превалирующая и крайне важная реальность жизни». Считается, что любовь случилась с первого взгляда: так это или нет, вряд ли кто-то когда-то узнает, ибо доктор был в этом отношении чрезвычайно скрытен: по его словам, «есть вещи слишком личные, чтоб их высказывать». Для биографов, во всяком случае для биографов современных, ничего слишком личного не существует: по сей день продолжаются рассуждения и споры о том, была ли у доктора с Джин Леки в течение десяти лет связь в том смысле, в каком это понимается сейчас, или ее не было.

Сам он утверждал, что их отношения до брака были исключительно платоническими. Современному человеку поверить в это трудно, и журналист Крис Логан, установивший, что 31 марта 1901 года доктор Дойл и мисс Леки одновременно останавливались в отеле «Эшдаун» в Форест-Роу в Суссексе, сделал из этого совершенно однозначный вывод (хотя проживали они, естественно, в разных номерах, и в той же гостинице жила вместе с сыном Мэри Дойл); однако переносить наши представления о жизни на XIX век не совсем корректно. С другой стороны, верить доктору на слово в таком вопросе, когда он должен был защитить честь девушки, было бы несколько наивно. Дойл не имел сексуальных отношений со своей женой после того, как она заболела – так утверждают Стэшовер и Лайсетт; это утверждение основано на том, что больным туберкулезом такие отношения не рекомендовались. Стэшовер тем не менее считает, что обостренное чувство чести доктора исключало измену; из благородства доктор хранил целибат, из благородства же не мог развестись с женой. Лайсетт придерживается не столь высокого мнения о нравственных устоях доктора. А Джорджина Дойл с нескрываемой обидой пишет: «Принято рисовать Джин как романтическую героиню, обладающую всеми достоинствами, которых была лишена Луиза. Артура представляют как благородного героя, чье сердце разрывается от безнадежной любви к достойной женщине, но он стоически отказывается изменить своему долгу и исполняет его, оставаясь подле своей больной жены и заботясь о ней. Я считаю, что это обман». Как и в случае с Мэри Дойл и

Уоллером, никто никогда ничего не узнает точно; так или иначе Дойл и Джин Леки любили друг друга десять лет, прежде чем смогли пожениться.

Невозможно также ответить на вопрос о том, стал бы Дойл добиваться развода, если бы Луиза была здорова; она была больна, и это все определило. Ее состояние в 1897 году было стабильным, но очаги в легких не зарубцевались: она по-прежнему могла умереть в любой момент, но и надежда на полное выздоровление тоже оставалась. Нам кажется, что дело тут вовсе не чести и не в благородстве, а в более простом человеческом чувстве – жалости. О том, чтобы бросить человека, находящегося в таком положении, доктор Дойл и думать не мог. Нет, эта фраза – фальшивая. Думать-то он мог и наверняка думал. Но он не мог этого сделать – вот в чем разница.

Джин Леки оставалось только ждать – десять лет. Конечно, все гладко и благородно в таких ситуациях не бывает. Наверняка Джин не питала добрых чувств по отношению к Луизе: она могла жалеть ее год, два, но не десять лет. Сама Луиза, при всей ее сверхангельской христианской кротости, при всем желании обманываться, все же вряд ли могла отнестись к сложившейся ситуации с полным пониманием. Да знала ли она что-нибудь? Документальных свидетельств, разумеется, не существует. Стэшовер, комментируя эту ситуацию, замечает: «Нет никаких оснований думать, что Луиза знала о Джин». А по нашему мнению, нет никаких оснований думать, что не знала. Нам всегда кажется, что наши жены ничего не знают, ничего не понимают – милые, доверчивые существа, слепые и глухие ко всему, кроме своих детей и стиральных машин. Луиза была кротка и доверчива, но уж никак не слабоумна, и, если она знала, ей вряд ли было важно, полюбил ее муж молодую женщину платонически или еще как-нибудь. Знали все кругом. Мать, брат и сестры Дойла были в курсе: он сам им рассказал о своей любви, сперва Мэри, затем Иннесу, потом остальным. Это-то как раз может показаться современному человеку самым неблагородным – женатому человеку можно иметь хоть двадцать любовниц, но не следует кричать об этом на каждом углу, – однако вспомним, что речь идет о временах столетней давности, и Дойл не мог бы достаточно свободно общаться с Джин, не будь она введена в круг знакомых официально; ей нужен был статус друга семьи.

Когда он познакомил Джин с матерью, та сразу приняла его сторону и сторону Джин; особой любви к Луизе Мэри Дойл никогда не питала и, вероятно, находила ее не самой подходящей женой для своего сына. Мэри была для сына наперсницей; иногда современные исследователи заходят так далеко, что называют ее сводней, и доля справедливости в этом, пожалуй, есть. Она с самого начала стала поощрять сына; он даже посылал ей любовные письма Джин к нему – прочесть и убедиться, как прекрасна душой его избранница. В своих письмах к матери Дойл довольно ясно, хотя и не слишком подробно описывал, что происходит в его душе. Он признавался ей в своей любви к Джин, называя это чувство «роковым, посланным свыше и вдохновленным небом»; говорил, что, несмотря на это чувство, никогда не причинит боли жене. О Луизе он писал, что чувствует к ней «привязанность и уважение». А Иннесу написал о своей жене следующую фразу: «Она так же дорога мне, как и прежде, но существует большая часть моей жизни, которая раньше пустовала; теперь это не так». Лайсетт однозначно трактует эту «большую часть жизни» не как любовь, а как секс, которого в жизни доктора с больной Луизой давным-давно не было, а всю фразу считает достаточным доказательством того, что Дойл вступил в связь с Джин Леки (и тут же похвастался младшему брату – хорошо хоть не матушке). Допустить можно всё, а правды все равно не узнать – так что, наверное, нет смысла без конца копаться в этом вопросе.

В 1898-м Мэри пригласила Джин погостить у нее в Шотландии; та приехала со своим братом. Позднее приехала туда и Лотти Дойл; все друг другу чрезвычайно понравились. С 1899-го Лотти и Джин стали подругами, постоянно общались, вели нежную переписку – невозможно не вспомнить про Машу Чехову с Ликой Мизиновой, хотя там очередность знакомства была обратная. Доктор, в свою очередь, подружился с Малькольмом.

Джин также представила Дойла своим родителям, и он произвел на них благоприятное впечатление; неизвестно, в качестве кого был представлен доктор, но можно предположить, что разговоры были достаточно откровенны. Состояние здоровья Луизы ни для кого не было тайной. На Рождество 1899-го будущий тесть преподнес будущему зятю булавку для галстука с драгоценными камнями, о чем доктор не преминул написать своей матери. Та, в свою очередь, делала аналогичные подарки Джин – в частности, подарила ей фамильный браслет, принадлежавший покойной тете Аннет. Если в первый год влюбленные виделись довольно редко, то после всех официальных знакомств, с осени 1898-го, они стали общаться гораздо чаще. У них были общие увлечения: гольф, верховая езда и другие спортивные занятия; она приохотила его и к охоте, и даже к музыке: не бравший в руки музыкального инструмента со времен практики у доктора Хора, он стал учиться игре на банджо – ему хотелось во всем соответствовать избраннице, разделять все ее вкусы. Влюбленный не может не быть хоть чуточку смешон.

Внешне все выглядело почти пристойно и очень мило, но самому Дойлу было нелегко. Все десять лет он чувствовал себя страшно виноватым и перед женой и перед Джин; все его близкие отмечали, что характер у него в этот период испортился. Он стал нервным, раздражительным, ссорился с людьми по пустякам. Старался как можно чаще удрать куда-нибудь из дому и проводил в Лондоне гораздо больше времени, чем нужно было для решения деловых вопросов; далеко не всякий раз он видался с Джин, иногда неделями торчал в Реформ-клубе, членом которого был – лишь бы не домой ехать. Он кричал на детей, с которыми раньше был нежен и ласков. Добрые биографы пишут, что Дойл просто уделял детям мало внимания: часто отсутствовал, запирался в кабинете, куда никто не мог войти без позволения; мы подозреваем, что доктору также случалось – как всем нам – срывать на домашних свое дурное настроение. Мэри Дойл-младшая впоследствии говорила, что все эти десять лет они с Кингсли трепетали перед отцом и обстановка в доме была спокойнее, когда он отсутствовал.

Нам попалась статья Чарлза Макграта, в которой утверждается, что свою сексуальную неудовлетворенность доктор ежедневно сублимировал посредством игры в гольф (как Челентано в «Укрощении строптивого» рубил дрова), а писал он о гольфе мало именно потому, что стыдился этого непристойного сублимационного занятия; звучит довольно глупо, но то, что мужчине, запутавшемуся меж двух женщин, очень полезно бывает окунуться с головой в какие-нибудь мужские дела и занятия – абсолютно верно. Такому человеку, как доктор Дойл, найти себе занятие никогда не составляло труда – садись за стол да пиши. Но ему не писалось: в начале 1897-го он лишь продолжил серию о похождениях капитана Шарки. Три рассказа о капитане были опубликованы в «Пирсоновском журнале» зимой – весной 1897 года; они потом вместе с различными рассказами войдут в сборник под названием «Зеленое знамя» («The Green Flag and Other Stories of War and Sport»).

В мае «Элдером и Смитом» был издан «Дядя Бернак», а летом (по одним источникам – в июне, по другим – в октябре: причина расхождений, наверное, просто-напросто в том, что переезд, да еще с огромным количеством людей, животных и вещей – дело затяжное) Дойлы наконец-то смогли перебраться в новое жилище. Дом, который построил Дойл, получил имя «Андершоу», потому что над ним нависали кроны деревьев («under shaw» – буквально «под рощей»); внизу, у подножия Хайндхеда, проходило шоссе, и к нему от дома спускалась широкая дорога, усыпанная гравием: всё это очень пригодится, когда Дойлы купят автомобиль. В саду было два теннисных корта. Пока машины не было – купили ландо и еще одну лошадь, тихую, спокойную кобылку для Луизы (потом лошадиное поголовье возрастет до шести особей), и наняли кучера.

Собственно дом не представлял собой архитектурного шедевра – просто здоровый домище из красного кирпича, о тридцати шести комнатах, с множеством окон; но внутри все было устроено роскошно и комфортабельно. Провели электрическое освещение – в том районе это была большая редкость. Обустроили великолепные ванные комнаты. Повсюду были гербы и монограммы: в оконных витражах, на дверях. Двери громадные, внушительные и при этом легкие – под стать хозяину; что интересно, они открывались в обе стороны – хоть тяни, хоть толкай. Это была идея самого доктора: его возмущало, что человек даром тратит уйму времени, раздумывая, в какую же сторону надо открывать дверь. В доме имелся огромный холл, в котором опять-таки развесили гербы предков: говорят, будто герб Фоли сперва повесить забыли, и Мэри Дойл, урожденная Фоли, была сильно обижена. Доктор перевез в «Андершоу» старинный письменный стол, доставшийся ему по наследству от дядюшки Ричарда. Все было очень внушительно и красиво – так подобает жить знаменитому и богатому писателю – и при этом по-британски скромно. Дюма потратил на дом-замок все состояние, Бальзак надорвался под тяжестью золотой сантехники; с Дойлом этого, к счастью, не случилось – он был все-таки человек умеренный. У него снова появился уютный рабочий кабинет, которого он не имел с начала болезни Луизы – это было самое главное.

Одним из первых гостей «Андершоу» был Брэм Стокер, который приехал интервьюировать знаменитого коллегу и написал о его доме: «Он так хорошо защищен от холодных ветров, что архитектор счел возможным сделать большое количество окон, создав тем самым пространство, полное света. Но при этом он такой теплый и уютный, что у каждого его обитателя или гостя возникает восхитительное „ощущение дома“». Сам Стокер в этом же году опубликовал «Дракулу»; большинство коллег приняли роман прохладно, но Дойл был в восторге: «Это лучшее произведение о дьявольщине, которое я читал за многие годы. Это просто замечательно, как Вам удалось поддерживать и интерес у читателя на протяжении всей книги».

Как и всем домам, где жил Конан Дойл, «Андершоу» катастрофически не везет. С 1924-го по 2004-й там была гостиница; в 2005-м она закрылась, владелец земли затеял снос дома; вокруг разрушающегося здания разгорелся конфликт. Министерство культуры отказывалось присвоить дому категорию, необходимую для того, чтобы государство взяло его под защиту и

выделило средства на реставрацию и охрану: Конан Дойл недостаточно хорош, он всего лишь жалкий детективщик. Возмутилось Викторианское общество, возмутились британские писатели: Джулиан Барнс, Иэн Рэнкин, Питер Акройд, Джон Гибсон. «Андершоу», говорили они, один из двух «литературных» домов, которые проектировал писатель (второй принадлежал Томасу Гарди); если не спасать его, кричали они в отчаянии, то и ничего вообще не стоит спасать! Конфликт покамест не разрешен. Человек, создавший один из символов Англии, все еще недостаточно хорош для нее.

В июне 1897-го в Лондоне пышно праздновался бриллиантовый (60 лет) юбилей правления королевы Виктории. Все было очень патриотично: солдаты с разных концов империи прошли по городу маршем; принц Уэльский принимал парад имперского флота; одним из официальных мероприятий было представление дойловского «Ватерлоо» в театре «Лицеум», которое, по словам Брэма Стокера, сопровождалось «экстазом верноподданнических чувств».

Экстаз продолжился в октябре, когда Британия пышно отмечала другую дату – день победы Нельсона в Трафальгарской битве. Доктору Дойлу, как ни странно, этот экстаз не понравился. Он написал ряд статей в «Таймс», предлагая чествовать великого адмирала в день его рождения, 29 сентября, а не в тот день, который олицетворяет унижение Франции. «Не бей лежачего – требует от нас старый британский обычай. Празднование даты, которая нашим недавним противникам представляется днем катастрофы, нарушает это правило». Естественно, никто доктора не послушал; адмиралы его обругали. Накануне собственного торжества вдруг озаботиться мыслью о том, что ты своим торжеством кого-то обижаешь – озаботиться всерьез, писать в газеты, препираться с адмиралами – и не затем, чтобы «засветиться» лишний раз, ибо от популярности и так уже не знаешь куда деваться, а просто потому, что «так нехорошо»? Странный человек наш доктор... В следующем, 1898 году чуть не началась новая война с Францией, когда лорд Китченер повел египетские войска вторично занимать Судан – а всё потому, что французская экспедиция разбила лагерь у деревни Фашода в верхнем течении Нила. Дойл не считал это достаточным поводом к широкомасштабным военным действиям, но видеть войну хотел; намеревался отправиться в Египет корреспондентом, был уже готов к тому, чтобы получить назначение. Но все обошлось: Франция, будучи не готова к морской войне с Великобританией и опасаясь ослабления своих позиций в Европе, отступила.

Не за горами была уже очередная война, Англо-бурская, а Конан Дойл в августе 1897-го вел свою маленькую литературную войну: на сей раз его возмутил поступок писателя Кейна, который заранее в периодике рекламировал свой еще не опубликованный роман под названием «Христианин». Литература и самореклама, по мнению доктора, были две вещи несовместные; он послал гневную статью в «Дейли кроникл». «Если пользующиеся успехом авторы будут, используя прессу, рекламировать продукт собственного труда, дабы подстегнуть интерес к книге прежде, чем она попадет в руки к литературным критикам, подающая надежды литературная молодежь решит естественным образом, что реклама есть непосредственная причина успеха, и примет на вооружение ту же тактику, снизив уровень всей системы ценностей нашей профессии». Современному издателю читать эти слова, наверное, очень смешно.

Читатели и издатели меж тем не отставали от Дойла, требуя продолжения холмсианы; на это доктор не соглашался, но осенью все же написал пьесу под названием «Шерлок Холмс». В Англии она поставлена не была: знаменитый в то время актер Бирбом Три, которому предназначалась главная роль, просил переделок, автор на них не соглашался. «Чем переписывать роль так, чтобы вышел Холмс, непохожий на моего Холмса, я лучше положу его под сукно и сделаю это без тени огорчения». Под сукно положить не удалось: пьесу затребовали из Америки, где за нее взялся американский актер Уильям Джиллетт и, увлекшись, переделал ее всю от первой до последней строчки; в 1899-м он телеграммой спрашивал у автора, можно ли ему женить героя, и уставший от разговоров об этой пьесе Дойл, махнув рукой, отвечал, что Джиллетт может Холмса женить, убить или сделать с ним что-либо еще на свое усмотрение.

После пьесы, которая не принесла Дойлу удовлетворения, он опять не мог толком взяться за какую-нибудь работу. Влюбленных всегда тянет к стихам; доктор Дойл собрал свои стихи разных лет, и они были изданы у «Элдера и Смита» в сборнике «Песни действия» («Songs of action»). В сборник вошли двадцать восемь стихотворений. Это преимущественно баллады на патриотические темы: есть среди них, например, баллада об английском луке, хорошо известная нашему читателю по переводу «Белого отряда», есть баллада о шахтерах, баллада об испанских крестьянах, о скачках, об охоте, есть даже басня о сыре; есть и лирические, очень, кстати, мрачные стихотворения, как, например, «Внутренняя комната» («The Inner Room»). В этом стихотворении Дойл сравнил свою душу с комнатой, в которой уже много лет заперта «пестрая компания» из нескольких конфликтующих личностей: военный, священник,

агностик, – и все они борются за обладание его душой. Среди обитателей комнаты есть также «изменчивая, пугающая фигура с пустым лицом и черной душой, которая страшится Судного дня и даже сама себе не решается признаться в собственных мыслях», и эта жуткая личность, как и другие – сам доктор Дойл… Тяжко было на душе у доктора в первый год его беззаконной любви, если уж он сам страшился собственных мыслей.

Говорить о качестве поэзии, когда она написана на иностранном языке, весьма сложно – очень уж многое зависит от перевода, а переводами стихов Конан Дойла всерьез мало кто занимался. Поэтому мы просто приведем одно из самых известных стихотворений, которое называется «Старый охотник» («The old huntsman»).

Он – старый охотник, угрюмый и злой,И взор его – холод безбрежный.То вяло влачится, то мчится стрелойСкакун его – конь белоснежный.Охотник без промаха бьет наповал.Он связан с твоею судьбою:Везде, где ты будешь, и есть, и бывал,Он мчит за тобою.Он – Смерть, что на Времени скачет верхомСейчас, в эти самые сроки,Когда я над этим склонился стихом,Рифмуя упрямые строки.Он скачет, когда ты, вникая в меня,Припал к своему восьмистрочью.Ты слышишь копыта средь белого дня,Ты слышишь их ночью.Ты слышишь, на башне пробили часы:Бам-бам! – трепещите, живые!Бам-бам! – встрепенулись охотничьи псы:Их звуки бодрят роковые.С трудом, еле-еле полдневной поройТы слышишь их грозную свору,Но явственно слышишь отчаянный войВ полночную пору.Со следа их свору не сбить никому,Всегда она – с доброй добычей.Столетья проходят, уходят во тьму, —Но свора хранит свой обычай.Вечерние звоны врываются в дом,Где ты еще, кажется, дышишь,Но псы твоей смерти – уже за углом, —Ужель ты не слышишь?Найдется ль на свете такой уголок,Где Смерть свои планы не строит?Быть может, финал твой уже недалекИ думать о лучшем не стоит?Собаки нас травят и ночью, и днем,И лучшее – в нашей кручинеМечтать как о счастье, мечтать об одном, —О легкой кончине!А где-то живет, побуждая сейчасПодумать о зле неизбежном,Хозяин, что шлет против нас, против насСтрелка на коне белоснежном.Хозяин велит, – и приходит беда,И жертва рыдает и стонет,Но Он – никогда, никогда, никогдаСобак не отгонит!Его никогда мы не видим лица,Он глух к нашим жалобам слезным,Но мы прославляем Его без конца,Склоняясь пред Ним, перед грозным.И пусть мы приходим к Нему одномуВ бессмысленной жалкой надежде,Давайте и впредь обращаться к НемуИ верить, как прежде!

«Стрэнд» в 1898-м открыл новую серию «Рассказы у камелька»; весной Дойл написал три остросюжетных рассказа для этой серии: «Охотник за жуками» («The Beetle Hunter»), «Человек с часами» («The Man with the Watches») и «Исчезнувший экстренный поезд» («The Lost Special»), а впоследствии еще множество рассказов, большинство из которых позднее вошли в сборник, носивший то же название, что и серия в «Стрэнде». Все это были «страшные» или как минимум «таинственные» истории с элементами мистики, как правило, очень изящные, очень мрачные и не лишенные черного юмора. Среди них стоит отметить рассказ «Король лис» («The King of the Foxes»), где фигурирует громадная серая лисица, заманивающая охотников, подобно баскервильской собаке, и наводящая на них ужас (потом выясняется, что это был волк); этот рассказ часто называют прямым предшественником «Собаки», но мы уже видели, что страшная собака на болотах появлялась в текстах Дойла и ранее. В рассказе «Исчезнувший экстренный поезд» невооруженным взглядом можно разглядеть Холмса и Мориарти, хоть они и не названы по именам. Однако в свете событий, происходящих в жизни Дойла в тот период, интереснее всего кажется рассказ «Черный доктор» («The Black Doctor»), на котором нужно остановиться чуть подробнее, ибо это один из тех текстов, где наш герой кое-что совершенно явно писал о себе.

В деревушке живет врач Алоиз Лана; в нем есть примесь индусской и испанской крови, из-за чего его и прозвали Черным доктором; сперва его недолюбливали, но постепенно он завоевал всеобщее уважение и стал известен. А по соседству живет семья Мортонов, брат и сестра. Доктору Лана 37 лет, мисс Фрэнсис Мортон – 24. Они влюбляются друг в друга, и поскольку, кроме разницы в возрасте, их браку ничто не мешает (в отличие от брака доктора Дойла с мисс Леки), следует объявление о помолвке. Внезапно, получив некое письмо, доктор Лана по неизвестной причине разрывает помолвку, чем навлекает на себя гнев Артура, брата своей невесты; некоторое время спустя доктора находят убитым. Единственный подозреваемый – Артур Мортон. Ему грозит казнь, но мисс Мортон вдруг сообщает, что ее бывший жених жив, а потом он самолично является на суд, дабы объяснить, что труп принадлежит его брату-близнецу, человеку преступному: в разгар ссоры брат умер от инфаркта, а доктор Лана решил исчезнуть. «Мои надежды были разбиты, и я предпочел бы самое скромное существование там, где меня никто не знал, той благополучной жизни, которая была у меня в Бишоп-Кроссинг». Бросить все и сбежать! Не этой ли мысли страшился человек «с черной душой», поселившийся у доктора Дойла внутри? Невозможно, конечно, доказать, что Конан Дойл примерял эту ситуацию на себя, как нельзя доказать, что он думал о самоубийстве, когда ему сказали, что Луиза вот-вот умрет; но человеку, впервые в жизни по-настоящему полюбившему

и не видящему для своей любви никакого будущего, всегда приходят в голову самые романтические и несуразные мысли. Разумеется, в рассказе все кончилось хорошо: судебный медик подтвердил смерть от инфаркта, Фрэнсис простила возлюбленного, ее брат с ним помирился, и состоялась свадьба. В жизни пока ничего подобного не предвиделось.

В марте 1898-го Дойл потерял старого друга: ушел из жизни Джеймс Пейн. Умирал он мучительно и долго, и, поскольку Дойл сошелся с ним особенно близко в последние годы, наблюдать это угасание было очень тяжело. (Уже после его смерти была наконец поставлена пьеса «Напополам», которой занимался Дойл.) В том же месяце Дойл отправился в Италию, где его за литературные заслуги должны были удостоить звания кавалера итальянской короны; в поездке его сопровождал деверь Уильям Хорнунг. Путешествие по Италии продлилось около месяца; в Неаполе встретили чету Уэллсов, которые ехали в Сиену навестить своего друга, известного романиста Гиссинга. В результате вся компания, объединившись, довольно весело провела оставшееся время.

В феврале «Элдером и Смитом» была опубликована «Трагедия „Короско“», в июне – «Песни действия»; начали выходить номера «Стрэнда» с «Рассказами у камелька». Лето прошло без особых событий: Дойл по-прежнему пропадал на заседаниях всевозможных обществ, литературных и спиритических, в «Андершоу» наезжали журналисты, Луизе не становилось ни хуже, ни лучше. В августе майор Гриффитс, автор известной книги «Тайны полиции и преступного мира», пригласил Дойла на военные маневры; там он познакомился и подружился с фельдмаршалом лордом Уолсли. А в октябре он наконец-то принялся за новую довольно крупную и очень значимую для себя вещь: «Дуэт со случайным хором» («A Duet with an Occasional Chorus, a version of his own romance»).

Сам он определял этот текст как «совершенно новый литературный жанр – картину вроде, так сказать, натюрморта». «Дуэт» – рассказ о влюбленных: они знакомятся, женятся, выясняют отношения, ревнуют, ссорятся, мирятся. Большая часть текста представляет собой письма влюбленных (Мод и Фрэнка) друг к другу. Надо полагать, Джин Леки верно понимала, кому адресованы эти письма, и хотелось бы надеяться, что Луиза понимала неверно: лирический герой «Дуэта» находился не в том возрасте, что автор, а был десятью годами моложе – примерно как Артур в пору женитьбы на ней. «Моя дорогая, любимая девочка! <…> Я даже боялся сознаться тебе, как сильно я тебя люблю! Мне кажется, что в наше время лаун-теннисов, званых обедов и гостиных нет больше места той сильной глубокой страсти, о которой мы читаем в книгах и поэмах. <…> Если мы будем вместе, – я спокойно смотрю на будущее, что бы оно нам ни готовило. Если мы не будем вместе, тогда ничто на свете не заполнит пустоты моей жизни».

Как раз во время написания этой главы автору довелось посмотреть телепередачу, посвященную Шерлоку Холмсу, где девушка-литератор назвала доктора Дойла «кондовым викторианцем» (слово «викторианец» звучало в ее устах примерно как «неандерталец»), не умевшим и не желавшим писать о любви и не интересовавшимся ею; такой вывод действительно можно сделать, если ограничиться холмсианой. Но и викторианцы могут влюбляться – отчаянно, по самые уши; и кондовые они только с виду, тогда как в душе у них, быть может, творится черт-те что – о, с этими викторианцами никогда нельзя быть ни в чем уверенным… «На женщин он производил впечатление не совсем неблагоприятное, – пишет автор о своем лирическом герое, – потому что в его душе еще остались далекие, неизведанные уголки, которые еще ни одна из них не сумела понять. В этих темных изгибах скрывался или святой или великий грешник, и так манило проникнуть в эти темные уголки и узнать, наконец, кто же из двух там скрывается». Мы-то уже знаем: там скрывается черный человек, страшащийся собственных мыслей.

Доктор Дойл описал свою любовь как умел. В «Волшебной двери» он говорил, что любовная страсть «должна быть описана большим художником, который обладает смелостью нарушить условности и вдохновлять которого будет сама жизнь». Сам он не был очень большим художником, а условности въелись в его кровь, но жизнь его вдохновляла – и нам не кажется, что он описал любовь неубедительно или неискренне. «Раньше жизнь моя была тяжелой, глупой и бессмысленной. Есть, пить, спать – и так год за годом, потом умереть: как это все было пошло и бесцельно! Теперь же стена, окружавшая меня, упала – и передо мной открылся необъятный горизонт. И все мне кажется прекрасным: и Лондонский мост, и улица короля Вильгельма, и узкая лестница, что ведет в контору, и сама контора с ее календарями и лоснящимися столами – все это получило для меня смысл и все рисуется в каком-то золотистом тумане».

Дойл никогда не писал о детях, потому что не умел о них писать и ничего о них не знал и не понимал – еще одно распространенное мнение. Женщин не знал, детей не знал – так можно сказать о любом писателе, если из множества написанных им текстов выхватить один и

пребывать в уверенности, что других не существует. В «Дуэте» молодая мать рассказывает о своем малыше: «Вероятно, что-нибудь ужасно смешное случилось с ним прежде, чем он появился на свет, потому что с тех пор не было ничего, что могло бы объяснить ту веселость, которая часто мелькает в его глазах. Когда он смеется, Франк говорит, что он походит на доброго старого гладко выбритого монаха, краснощекого и добродушного. <…> Я люблю следить за его глазами; иногда мне кажется, что я могу прочесть в них слабую тень воспоминаний, – как будто бы у него в прошлом была какая-то другая жизнь, о которой он мне много бы рассказал, если бы мог говорить».

Не таких книг, конечно, все ждали от Конан Дойла; издатели мялись, в конце концов «Стрэнд» согласился печатать «Дуэт». Но Дойл считал, что разбивать эту книгу на отрывки нельзя. Было небольшое издательство «Грант Ричардс», владелец которого только что женился по большой любви. Доктор отдал книгу ему, полагая, что тот поймет его лучше чем кто-либо другой. В марте 1899-го книга вышла целиком. Однако публика сочла, что автор взялся не за свое дело: «Дуэт» был принят холодно. Поклонники Холмса или исторических романов Дойла хотели приключений; серьезные критики находили, что книга чересчур сентиментальна. Но были и те, кому «Дуэт» очень понравился. Герберт Уэллс, который примерно в ту же пору переключился с остросюжетных вещей на «бытовые» (все они были так же холодно приняты и сейчас так же мало кому известны, как и «непрофильные» тексты Конан Дойла), был в восторге и писал Дойлу: «Мне кажется, вы нашли самую верную форму и дух. <…> Это супружеская пара среднего класса как она есть; но тупые критики ставят ей это в упрек». Уэллсу повсюду виделись классы и социальные вопросы; наверняка влюбленный доктор Дойл меньше всего думал о том, какой класс он изобразил в «Дуэте», но похвала была приятна. Гораздо важнее, наверное, было для него то, что «Дуэт» похвалил поэт Суинберн – тонкий критик, известный своим вкусом. Потом начали приходить письма с наивными выражениями благодарности от читателей; оказывается, кто-то мог увлечься не только приключениями. Продавался «Дуэт» очень хорошо, а в Америке – еще лучше; впрочем, начиная с 1891-го все книги Дойла всегда очень хорошо продавались. Но было и кое-что неприятное.

Просматривая рецензии на «Дуэт» (рецензии всю жизнь вырезались, собирались и подклеивались в специальный альбом – сперва Луизой, потом Джин), Дойл насчитал пять (или семь) различных людей, которые отзывались о книге недоброжелательно, причем автор обвинялся вовсе не в сентиментальности и неумелости, а. в безнравственности. В «Дуэте» есть эпизод, когда герой встречается с женщиной, которая была его любовницей до свадьбы, и она угрожает все рассказать его жене – вот это было сочтено аморальным. Доктор только-только ругался по поводу аморальности из-за чужой книги; он готов был вступиться и за свою, стал разыскивать этих пятерых-семерых критиков и в результате узнал, что за всех пишет один человек – Уильям Робертсон Николл, в то время известный и влиятельный литературный рецензент. Тот факт, что человек выдает себя за нескольких разных рецензентов, так заинтересовал и так возмутил Дойла сам по себе, что он начал разбираться в этом вопросе и уже думать забыл про нравственность и безнравственность; не обида, несправедливо нанесенная книге, теперь угнетала его, а обнаружившаяся коррупция в мире литературы. С изумлением доктор обнаружил, что подобное давно стало обычной практикой: один и тот же рецензент под разными именами и в разных изданиях публикует многочисленные отзывы на книгу и таким образом создает видимость общественного мнения.

Результатом этого открытия стала продолжительная полемика (в мае 1899-го) в газете «Дейли кроникл», где собственно о «Дуэте» Дойл обронил вскользь одну лишь фразу («Что же до литературного уровня моих собственных книг, то при очевидной плачевности оного должен заметить, что именно о нем речи у нас не идет»); он поставил себе цель убедить людей в том, что книги следует судить только по их литературным достоинствам, а критики должны честно писать в своих рецензиях только то, что они в самом деле думают, и желательно под своим собственным именем. Дойл пригласил всех «собратьев по перу» присоединиться к его возмущению, но никто не откликнулся; Николл же публично заверял его, что никаких комиссионных от издателей и авторов никогда не получал и выдал себя за нескольких разных рецензентов исключительно из любви к искусству, а «Дуэт» считает вещицей, недостойной замечательного писателя Артура Конан Дойла. Дойл Николлу в тот момент не поверил, но улик у него не было. Пришлось спустить дело на тормозах. В конце концов, однако, Николл убедил Дойла в своей невиновности и они не только примирились, но и сделались добрыми приятелями.

Последнее выступление Дойла на эту тему в «Дейли кроникл» было опубликовано 18 мая 1899 года, а спустя несколько дней ему стукнуло сорок лет: «Ну вот, мне уже сорок, но жизнь моя стала мало-помалу полнее и радостнее. Что касается моего физического состояния, то сегодня я играл в крикет и сделал 53 из 106 наших очков, а у противника выбил 10, так что я вполне здоров и крепок». В крикете для Дойла в 1899-м начиналась новая эра: игравший до сих пор в небольших любительских командах, собранных с бору по сосенке, преимущественно

состоявших из школьных учителей, он в сорокалетнем возрасте стал членом знаменитого Мэрилебонского крикетного клуба, основанного в 1787 году, и ему довелось играть на не менее знаменитом стадионе «Лордз». Правда, по его собственному признанию, во второсортных командах он был полезнее: Мэрилебонский клуб изобиловал первоклассными талантами, и «любителю, слабо отбивающему мяч и не блещущему в игре на поле», на большой успех рассчитывать не приходилось. В Мэрилебонском клубе, как и прежде, он был универсалом, результаты показывал средние, правда, в самом первом матче ему повезло и он продемонстрировал блестящую игру.

Он также сколотил любительскую крикетную команду из знаменитостей, где играл вместе с Барри и другими литераторами; заметим, что команда носила жутковатое имя «Allah-Akabarries» (что можно перевести как «аллах-акбарцы»; внимательный читатель сразу увидит, от чьей фамилии это название образовано). Завершая разговор о крикете, добавим, что Уильям Хорнунг как раз в тот год придумал собственного постоянного персонажа, рассказы о приключениях которого также печатались в «Стрэнде», – Раффлза, заядлого крикетиста и обаятельного жулика, «вора-джентльмена»; некоторые считали, что Раффлз сможет со временем затмить Холмса. Дойлу нравилось, как написаны эти рассказы; он высказывал деверю сомнения в том, что можно делать мошенника героем, но тем не менее написал очень хвалебное предисловие.

Сам он в конце мая сдал в «Стрэнд» рассказ о боксе – «Хозяин Кроксли» («Croxley Master»): там молодой помощник врача по счастливой случайности обнаруживает талант к боксу и бросает постылую практику. Весной 1899-го он также написал еще несколько рассказов для серии «У камелька»; все они были опубликованы в «Стрэнде». Приближались премьеры двух пьес Дойла «Шерлок Холмс» и «Напополам» по Пейну. Джиллетт в конце мая приехал из Америки и привез с собой отредактированный текст «Холмса». Дойл был настроен не слишком приветливо, но знаменитый актер его совершенно обезоружил и они моментально сдружились; доктор, который всегда был склонен в новых друзьях видеть одно хорошее, решил, что безжалостные переделки пошли его пьесе только на пользу. Джиллетт, кстати, оказался очень похож внешне на Холмса, причем именно на того, каким видел своего героя Конан Дойл. В середине июня в Лондоне была поставлена «Напополам». Премьеру «Холмса» в Штатах назначили на осенний сезон.

Вслед за Пейном доктор потерял еще одного друга: в 1899-м состояние Гранта Аллена резко ухудшилось. Умирающий попросил Дойла закончить его детективный роман «Хильда Уэйд», который уже начал печататься в «Стрэнде». Доктор просьбу исполнил.

В 1898-м вышла замуж сестра Ида, а в 1899-м – самая младшая, Додо, та, что будто бы не была дочерью Чарлза. Лотти была намного старше и намного красивее, но все еще оставалась незамужней; она призналась брату, что положение приживалки ее начинает тяготить. Многим английским девушкам удавалось найти мужей в колониях, где было мало белых женщин. Иннес Дойл служил в Индии, он был уже в звании капитана и командовал артиллерийской батареей. Блестящий офицер был и блестящим спортсменом, как большинство Дойлов (из всех возможных видов спорта Иннес выбрал самый дорогой – поло), и старший брат основательно помогал ему деньгами. Решено было, что Лотти поедет к Иннесу и проживет в Индии осень и зиму; доктор Дойл был на все согласен, но брату написал отчаянное письмо: «Не представляю, что я буду делать, когда Лотти уедет, как уехал в свое время ты».

Все это происходило на фоне приближающейся Англо-бурской войны – первой войны XX столетия: пришло время поговорить о ней – поговорить подробно, так как в жизни нашего героя это было одним из важнейших событий и он написал об этой войне книгу, которую считал едва ли не самым главным трудом своей жизни. Да и вообще «воевать очень интересно» – желательно только понять, за что воюешь.

Буры («boer» – «крестьянин») – это в основном этнические голландцы. В России их любили. Многие русские путешественники, побывав на африканском Юге, писали о сходстве буров с русскими: религиозность, патриархальность, домовитость, окладистые бороды – во всем этом усматривали общие черты с «русским мужиком». Конан Дойл в своем фундаментальном труде «Великая бурская война» («The Great Boer War») описал буров так: «Возьмите сообщество голландцев того типа, которое в течение пятидесяти лет противостояло всей мощи Испании да еще в то время, когда эта страна была самой великой державой мира. Соедините с ними породу тех несгибаемых французских гугенотов, что оставили собственные дома и имущество и навсегда покинули свою страну после аннулирования Нантского эдикта. В результате, вне всякого сомнения, получится один из самых стойких, отважных и неукротимых народов, когда-либо обитавших на земле».

Впервые голландцы обосновались на самом юге Африки (район мыса Доброй Надежды) в

середине XVII века; там они основали Капскую колонию. Во время Наполеоновских войн, когда шел тотальный передел земель, колонию получила Великобритания: значительная часть голландцев не захотела жить под властью англичан и стала переселяться с южной оконечности Африки в более глубинную ее часть, на север. В 1850-х годах с согласия англичан там были основаны две бурские республики – Трансвааль и Оранжевое свободное государство (на реке Оранжевой). Расположены обе республики оказались так, что к югу от них оставалась управляемая англичанами Капская колония, а между ними маленьким клином врезалась другая английская колония, Наталь – она-то и станет впоследствии центром военных действий. Большую часть населения этих двух английских колоний составляли буры – те, кто добровольно остался жить совместно с англичанами. В 1853-м наш Гончаров побывал в Южной Африке и описал свое путешествие в известном произведении «Фрегат „Паллада“»; любопытно, что он был убежден в неперспективности южноафриканских земель: «Здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и в Австралию». Предсказание сбылось с точностью до наоборот: после 1869 года на землях буров были обнаружены крупнейшие в мире месторождения алмазов и золота.

Первые алмазы нашли на территории под названием Гриквaленд; Оранжевая республика считала, что это ее территория, Великобритания полагала, что ее; кончилось тем, что Великобритания аннексировала территорию, выплатив бурам незначительную компенсацию. В 1877-м Великобритания также аннексировала и Трансвааль; Конан Дойл, пытаясь оправдать это действие, писал следующее: «Все действительно считали, что страна находится в чересчур расстроенном состоянии, чтобы управлять своими делами, и превратилась, вследствие слабости, в кошмар и угрозу для соседей. В нашем поступке не было ничего низкого, хотя он, возможно, являлся и опрометчивым, и своевольным». Он же, правда, добавлял: «Сложно подняться на ту высоту философской отстраненности, которая позволяет историку абсолютно беспристрастно судить о событиях, в которых одной из сторон в спорном вопросе является его собственная страна». В 1880—1881 годах Трансвааль вернул себе независимость: эти события называют первой Англо-бурской войной, хотя войны как таковой не было – лишь несколько вооруженных столкновений, в которых буры взяли верх. Были подписаны документы, в которых определялся статус Трансвааля; Дойл считал, что в этих документах изначально крылись ошибки. «Правительство [британское], уступив силе (что оно неоднократно отрицало для создания благоприятного образа), превратило документ в неловкий компромисс. <…> Оно спорило по мелочам, играло словами и торговалось, пока новое государство не превратилось в странный гибрид, какого еще никогда не видел мир, – в республику, являющуюся частью монархии. <…> Она была суверенной и тем не менее являлась субъектом какого-то нечеткого сюзеренитета с размытыми границами».

Потом, в середине 1880-х, на территории Трансвааля нашли золото, и золотоискатели со всей Европы хлынули туда рекой. Количество белого населения резко возросло, стала развиваться промышленность. Власти Трансвааля обложили золотодобычу огромными налогами. Европейские государства, естественно, точили зуб на эти земли. Конан Дойл всегда подчеркивал, что британский колониализм был абсолютно бескорыстным в прямом значении этого слова. Не нужно смеяться над глупостью доктора или называть его лицемером. Во все времена, как правило, колониализм (можно назвать его «поддержкой дружественных режимов») приносит метрополии не доход, а сплошные убытки. Гончаров во «Фрегате „Паллада“» писал: «Многие ошибочно думают, что вообще колонии, и в том числе капская, доходами своими обогащают британскую казну; напротив, последняя сама должна была тратить огромные суммы». Но есть геополитика; есть влияние, престиж. Англия старалась найти юридические лазейки для того, чтобы не признавать Трансвааль полностью и абсолютно независимым, Трансвааль искал в тех же документах юридических доводов в свою пользу. В 1890-х в Трансваале приобрела большую остроту проблема так называемых уитлендеров (слово это на языке африкаанс означает «иностранец»). Так буры называли европейцев, приехавших после открытия золота. Президент Крюгер не соглашался давать уитлендерам равные избирательные права с бурами (тогда как буры в Капской колонии и Натале имели равные права с англичанами).

Это всё факты, а дальше начинаются точки зрения: сами буры, немцы и, к примеру, русские считали (и считают), что никакого притеснения уитлендеров не было и что богатые иностранные промышленники просто хотели захватить власть в Трансваале и ущемить свободолюбивых буров; по мнению англичан, дискриминация была вполне реальна, а буры, получавшие от уитлендеров большие налоги, были коррумпированными взяточниками и притом жестокими рабовладельцами. К последнему мнению могли бы присоединиться африканцы, чьи земли буры захватывали. Конан Дойл по этому поводу писал: «Не было ни единой обиды, из заставивших буров покинуть Капскую колонию, какую бы они сами не нанесли другим.» Добавим, что в 1884-м во всей Британской империи была провозглашена отмена рабства; Трансвааль был убежден, что к нему это не относится, что подливало масла в

огонь.

В конце 1895-го в Трансваале уитлендеры совершили неудачную попытку государственного переворота (так называемый рейд Джеймсона), в результате которого напряженность между Трансваалем и Капской колонией усилилась, а Трансвааль получил моральное право называть уитлендеров бунтовщиками и относиться к ним соответственно. Событие тотчас отразилось на европейской политике. Кайзер Вильгельм поздравлял буров с победой и намекал на то, что впредь Германия может вступить в военные действия на их стороне. Англичан это сильно насторожило, и начиная с 1896-го в Южную Африку начали потихоньку стягиваться войска. Конан Дойл, разумеется, эти действия полностью оправдывал, как положено патриоту, и с некоторой наивностью заявлял, что «британское правительство и британский народ не желали прямого правления в Южной Африке. Их главный интерес состоял в том, чтобы различные страны жили там в согласии и достатке и не было бы нужды в присутствии британского „красного мундира“». Это все та же теория прогрессорства. Доктор совершенно искренне считал, что в Трансваале люди живут нехорошо, а правители ими правят нехорошо, и было бы хорошо, если б правители правили лучше и люди (и вообще все люди во всем мире) жили лучше; а если они сами этого не понимают, так надобно им помочь. Кто бы спорил, да вот беда – у всех разные мнения относительно того, что такое «хорошо» и «нехорошо». Впоследствии, правда, Дойл сам признал, что, вероятно, было бы лучше не вмешиваться. «Идеализм и болезненная, неспокойная совестливость – два самых опасных несчастья, от которых вынуждено страдать современное прогрессивное государство». Доктор Дойл наделил государство собственными недостатками: вряд ли когда-либо какое-либо государство страдало, страдает или будет страдать от излишней совестливости, у государств обычно другие болезни.

Что конкретно Дойлу не нравилось в Трансваале? Не только те притеснения (реальные или мнимые – здесь вряд ли уместно это разбирать), которым подвергались его соотечественники и прочие иностранцы со стороны правительства, но и общий дух бурских республик. Пуритане, помешанные на религии, которыми он не очень успешно попытался восхититься в «Михее Кларке», теперь были перед ним со всеми своими достоинствами и недостатками. «К своей порочности [имеется в виду коррупция] эти люди добавляли такое безграничное невежество, что в печатных сообщениях о дебатах в фолксрааде рассказывалось об их утверждениях, будто использование зарядов динамита, чтобы вызвать дождь, есть стрельба в Господа; что истреблять саранчу – нечестиво; что такое-то слово не следует использовать, потому его нет в Библии; а стоячие почтовые ящики – расточительство и баловство». Беспокоился Дойл и о неграх: «Британское правительство в Южной Африке всегда играло непопулярную роль друга и защитника чернокожих слуг. Именно по этому поводу возникли первые разногласия между старыми поселенцами и новой администрацией». Эта защита, однако, относилась больше к привезенным рабам, чем к тем «дикарям», на чьей, собственно говоря, земле и ссорились англичане, голландцы, немцы и прочие цивилизованные люди (справедливости ради нужно заметить, что разные африканские племена между собой тоже жили не больно-то дружно и вели себя отнюдь не как ангелы).

Как относились к англо-бурскому конфликту другие английские писатели? Ради логики немного нарушим хронологию: в 1900-м, когда военные действия были в разгаре, практически никто из литераторов не остался в стороне – вот только стороны они занимали разные. Киплинг, певец Империи, естественно, полностью поддерживал позицию своего правительства и посвящал солдатам патриотические стихи. Честертон, самый, пожалуй, яростный противник политики своей страны в тот период, писал страстные антивоенные памфлеты. Его позицию в общих чертах разделял Уэллс. Стивенсона уже не было в живых, но он выразил свою позицию раньше, в период первой бурской, охарактеризовав войну как «недостойную». Но самое любопытное то, что Бернард Шоу, чьи мнения с мнениями Дойла никогда ни в чем не сходились и чье высказывание о британском прогрессорстве уже приводилось, в данном случае думал то же самое, что и Дойл: патриархально-теократический Трансвааль был ему противен, и он писал: «Однако я видел, что Крюгер – это означает семнадцатый век, и притом еще шотландский семнадцатый век; к своему величайшему смущению я обнаружил, что стою на стороне толпы, в то время как. Честертон, и Джон Бернс, и Ллойд Джордж противостояли ей. Просто удивительно, в какую дурную компанию могут привести тебя передовые взгляды». К дурной компании, надо думать, относился и Конан Дойл. Так либерализм более общего характера может иногда возобладать над политическим либерализмом.

8 апреле 1899 года несколько тысяч уитлендеров обратились к королеве Виктории с петицией, в которой они просили о защите их интересов. В Англии у власти были тогда консерваторы во главе с премьер-министром Солсбери; тот поручил ведение переговоров с бурами министру колоний Джозефу Чемберлену, который, как мы помним, еще в 1886-м откололся от либералов, выступив против гомруля в Ирландии, а в 1895-м вошел в кабинет тори. Потянулась череда переговоров; стороны поочередно предъявляли друг другу ультиматумы и,

злясь друг на друга все больше, продолжали готовиться к войне. Те и другие давно поняли, что она неизбежна; но англичане тянули время, чтобы собрать в Южной Африке контингент побольше, а буры – потому что в Южном полушарии весна начинается осенью, а им – прирожденным партизанам – было бы удобнее воевать *по зеленке* (далеко не последняя ассоциация, которая у нас может возникнуть в связи с этой войной). Оранжевая заключила с Трансваалем военный союз; Дойла это удивляло, так как отношения Британии с Оранжевой всегда были внешне спокойны. Он считал, что причиной тому – Германия и Голландия, которые хотели бы занять место Британии в Южной Африке.

9 октября Трансвааль в очередной ноте потребовал незамедлительно отвести британские войска от границ республики, удалить из Южной Африки все пополнение, прибывшее туда в течение последнего года, а находящееся в данный момент в море вернуть обратно без высадки; невыполнение этих требований в течение двух суток будет означать начало военных действий. 11 октября Англия ответила объявлением войны.

«Жаль, что до этого дошло, – писал доктор Дойл. – Буры близки нам, как никакой другой народ. <…> На свете нет народа, имеющего больше качеств, вызывающих наше восхищение, и не последнее из них – любовь к свободе, которую (и это предмет нашей гордости) мы поощряем в других, как и питаем сами. Но тем не менее мы оказались в ситуации, когда во всей огромной Южной Африке не нашлось места для нас обоих. В таких делах не бывает правых».

Глава первая

ДОЛИНА УЖАСА

В ноябре в Штатах с громким успехом прошла премьера пьесы «Шерлок Холмс»; автор получал поздравительные телеграммы. В Америке же, на студии Артура Марвина, в 1900-м был создан первый фильм о Холмсе – собственно говоря, не фильм, а киношутка продолжительностью 45 секунд под названием «Шерлок Холмс недоумевает»; Дойл ее никогда не видел. Ему было не до того: ежедневно он прочитывал от корки до корки все газеты, в которых сообщалось о ходе военных действий. Естественно, он захотел пойти на фронт добровольцем. Он писал в «Родни Стоуне», что спортсмены могут и должны помочь нации в трудную минуту; теперь он писал об этом статьи в «Таймс». «В Великобритании избыток мужчин, которые способны стрелять и ездить верхом. <…> Тысячи мужчин скачут сегодня за лисицами и палят в фазанов; конечно же они с радостью послужили бы своей стране, предоставь им такую возможность».

Правительство его как будто услышало: был объявлен призыв в добровольческие кавалерийские войска. «Я чувствую, что сильнее, чем кто-либо в Англии, кроме разве что Киплинга, могу повлиять на молодежь, особенно молодежь спортивную. А раз так, было бы правильно, чтоб я возглавил их», – писал он матери. Мэри Дойл, однако, его устремлений не понимала. «Если бы политиканам и журналистам, которые с такой легкостью ввязались в войну, предстояло самим идти на фронт, – писала она в ответ, – они были бы много осмотрительнее. Они ввергли страну в войну, и пока это в моих силах, ты не станешь их жертвой».

Было бы странно, если б наш герой послушался мать в подобном вопросе. Он отправился в призывную комиссию, чтобы записаться в кавалерийскую часть. (Киплинг тоже пытался пойти на фронт добровольцем, потом поехал туда в качестве журналиста. Шоу, ратовавший за войну, на нее не пошел – как и Честертон не поехал защищать буров.) Его портретами были полны журналы, но в комиссии его никто не узнал. Его спросили, умеет ли он стрелять и ездить верхом и есть ли у него военный опыт. Никакого военного опыта у него не было, но он ответил, что есть. «Джентльмену простительно солгать лишь в двух случаях: выступая в защиту женщины и вступая в борьбу за правое дело. Я полагаю потому, что меня можно было извинить». Комиссия считала, что он слишком стар, но пока не говорила ни да ни нет. Это ожидание ему было очень тяжело переносить. Он решил, что если получит отказ, – поедет в Южную Африку как частное гражданское лицо, а там как-нибудь где-нибудь сумеет пригодиться. Возможно, в уме ему рисовались картины, где он в одиночку, вооруженный маузером, спасает какую-нибудь высоту.

Военные действия тем временем складывались для Англии скверно. Она упустила инициативу: вместо того чтобы сидеть и терпеливо ждать нападения, буры сами нанесли удар. 12 октября буры вторглись на территорию Наталя, где была сосредоточена значительная часть британских войск. Большинство английских солдат были новобранцами, совсем молодыми и необстрелянными. Британские генералы в первые месяцы войны не придавали значения разведке и вели боевые действия, имея самое неопределенное представление о силах противника, организации его обороны и планах на будущее. В первые недели войны английские войска уступали бурским даже по численности. Буры были превосходно вооружены; в их армию входили добровольцы из Европы (в основном немецкие). Кроме того, они использовали военную тактику, к которой англичане были абсолютно не готовы. Основным тактическим приемом британской пехоты была фронтальная атака позиций противника в сомкнутом строю при поддержке артиллерии, переходящая в штыковой бой, как требовали воинские уставы того времени; однако в первых же боях с бурами выяснилось, что те не желают воевать по классическим правилам, предпочитая расстреливать из укрытий атакующих солдат, а если те приблизятся вплотную к ним, немедленно отходить, ни в коем случае не вступая в штыковой бой. Произошел ряд столкновений, закончившихся в пользу буров.

Их военное искусство восхищало Дойла: «Если бы только эти люди желали быть нашими согражданами! Все золотые копи Южной Африки не стоят их самих». Он восхищался полководцем буров, генералом Жубером. Доктору все еще казалось, что война – это вроде рыцарского турнира или боксерского поединка: мы благородные, противник благородный, кругом сплошное благородство. В подобном духе Гумилев описывал Первую мировую: в занятых немцами деревнях нет никаких разрушений, вообще все очень любезны. Дойл к 1914-му от романтического тона уже откажется, но сейчас он описывал войну как роман: «Доблестный Саймонс, отказавшийся спешиться, получил пулю в живот и упал с лошади смертельно раненный. С поразительным мужеством он навлекал на себя огонь врага не только

тем, что остался на лошади, но и тем, что всю операцию его сопровождал ординарец с красным флажком части. „Они взяли высоту? Они уже там?“ – постоянно спрашивал он, когда его, истекающего кровью, несли в тыл. У кромки леса полковник Шерстон закрыл глаза Саймонса».

В конце октября буры осадили город Ледисмит и надолго заперли там британские части – 12 тысяч человек – вместе с жителями города. Империи был нанесен сокрушительный удар. Европа злорадствовала – не то чтобы все так обожали буров, до которых, в сущности, никому не было дела, но все ненавидели англичан. «Одни не любили Великобританию за то, что она захватывала все новые территории по всему миру, другие – за то, что товары Бирмингема, Шеффилда и Манчестера издавна были сильными конкурентами промышленности других государств. Третьи – за „хитрую“ внешнюю политику. Четвертые, сторонники самодержавных методов правления, – за ее „гнилой либерализм“», – говорится в исследовательской работе А. Б. Давидсона и И. И. Филатовой «Англо-бурская война и Россия». Это для нас важно, потому что не англо-бурский конфликт сам по себе, а именно нелюбовь со стороны большинства европейцев побудила Дойла написать книгу (а затем еще одну) в защиту своей страны. Ему казалось, что весь мир ополчился против Англии, и казалось небезосновательно.

Гончаров писал: «Если проследить историю колонии [Капской] со времени занятия ее европейцами в течение двухвекового голландского владычества и сравнить с состоянием, в которое она поставлена англичанами с 1809 года, то не только оправдаешь насильственное занятие колонии англичанами, но и порадуешься, что это случилось так, а не иначе». Слова эти никто не вспоминал. Русские добровольцы – например, Гучков, будущий вождь октябристов, – ехали защищать буров (в Трансваале среди прочих уитлендеров жило немало русских, которые в основном приняли сторону правительства), повсюду пелась песня о Трансваале, который горит в огне; Николай II обсуждал со своим другом кайзером вторжение в Южную Африку, в газетах прославлялся бурский патриархальный консерватизм и осуждался британский либерализм. Но если бы только Российская империя, которую Дойл никогда особо не уважал; нет, вся Европа поносила британцев на чем свет стоит… Что ж – тем более доктор должен был быть там, со своей бедной страной, которую никто не любит.

В середине декабря Дойлу наконец повезло. Его друг Джон Лэнгман снаряжал за собственный счет полевой госпиталь на 50 мест. Раненых на той войне было очень много (а еще больше – больных дизентерией и тифом), и медики требовались постоянно – Махатма Ганди, между прочим, хоть и был в душе за буров, но снаряжал санитарные отряды индийцев для помощи Британии. Заведовать госпиталем Лэнгмана должен был его сын Арчи, тоже хороший знакомый Дойла. Доктору Дойлу предложили заняться комплектованием медперсонала и поехать с госпиталем в качестве старшего врача, а также взять на себя функции общего надзора. Неделю Дойл провел в доме Лэнгманов, отбирая сотрудников для госпиталя; в это время он получил извещение от комиссии, занимавшейся записью в кавалерию, но было уже поздно – он связал себя обещанием, да и сам, наверное, понимал, что в качестве врача принесет больше пользы, чем в качестве кавалериста.

Формирование госпиталя затянулось на пару месяцев; всё это время доктор не переставал бомбардировать статьями «Таймс» и другие газеты. Не стоит думать, что он предлагал какие-нибудь наивные средневековые глупости: в военном деле, как оказалось, доктор мыслил очень ясно, ни о каких рыцарях не вспоминая, а, напротив, значительно опережая свое время. Большой, если не главной, проблемой для английских войск в Южной Африке было то, что буры вовсю пользовались укрытиями и заградительными сооружениями. Англичане были к этому не готовы: наступая открытой цепью, они не могли поражать противника, зато сами оказывались мишенью. Дойлу все это не нравилось задолго до войны: когда он был на учениях в августе 1898-го, то высказал командованию, что подобная тактика является устаревшей, а также – что артиллерия в современной войне становится важнее пехоты; от него отмахнулись как от мухи, сказав, что главное – смело идти вперед и не бояться потерь. Так, возможно, мог бы сказать сэр Найджел. Но Конан Дойл так не думал: именно потери его и заботили – свои потери, естественно, а не противника, какой бы тот ни был благородный.

Он придумал, как можно сражаться, если неприятель находится за укрытием. «Если бы можно было превратить винтовку в переносную гаубицу и в пределах заданной территории вести огонь с приблизительной точностью, то при любой общей точности попадания остаться в живых на этой территории, мне кажется, вряд ли будет возможно». Звучит кровожадно, но *à la guerre comme à la guerre*. То, что придумал доктор, впоследствии будет применяться повсеместно – это так называемый пулеметный навесной огонь. Но тогда его никто и слушать не хотел. Он не отчаивался – стал придумывать, как же все-таки усовершенствовать винтовку: подвешивал к задней стенке прицела иголку на нитке и, наклоняя ствол, отмечал в соответствии с отклонением иголки деления на стволе – с тем, чтобы, направив иголку на нужную метку, можно было послать пулю с определенной точностью. Теория была хороша, но,

когда он стал проводить эксперименты, все оказалось не так гладко. Он отправился на заболоченный пруд со своими иголками, нитками и охотничьим ружьем и начал палить по воде, наклоняя ружье под самыми разнообразными углами, пытаясь по фонтанчикам определять место падения пули. Первая из них едва не угодила в его собственную голову; это его нимало не обескуражило. Эксперимент продолжался, но проклятые пули куда-то девались, даже не думая производить фонтанчиков. «В конце концов мое уединение нарушил маленький человечек, художник с виду.

– Хотите знать, куда падают ваши пули, сэр?

– Да, хочу, сэр.

– Тогда, сэр, могу вам сообщить, что все они падают вокруг меня».

Доктор был вынужден свернуть рискованные опыты и опять стал писать в «Таймс», а также обратился со своей идеей прямо в военное министерство, откуда получил ответ, извещавший, что в его предложениях и прочих услугах не нуждаются. Тогда он в отчаянии написал в «Таймс»: «Нет ничего удивительного, что новейшие изобретения оказываются чаще в руках врагов, чем в наших собственных, если те, кто бьется над усовершенствованием нашего оружия, получают такую же поддержку, как я».

Главнокомандующий английскими войсками в Южной Африке, генерал Редверс Буллер, стремясь деблокировать осажденный Ледисмит, предпринял в середине декабря 1899 года в Натале наступление против буров – ничем хорошим для Англии оно не закончилось. Дни с 11 по 16 декабря 1899-го получили известность как «черная неделя» британской армии: в трех сражениях (при Коленсо, Стормберге и Магерсфонтейне) она потеряла 2 500 человек и 12 орудий. «Ужасное, леденящее душу ощущение – наступать через залитую солнцем безлюдную равнину, тогда как твой путь позади усеян рыдающими, задыхающимися, скорчившимися от боли людьми, которые только по месту своих ранений могли догадываться, откуда пришли доставшие их пули». Все больше горечи и недоумения, боли и ужаса – и тут же следует новый романтически-восторженный абзац: «Когда полковник Брук из Коннаутского полка упал во главе своих солдат, рядовой Ливингстон помог перенести его в безопасное место, а потом признался, что „сам немного ударился“, и осел, теряя сознание, с пулей в горле. Другой сидел с перебитыми ногами. "Принесите мне свистульку, и я сыграю вам любую мелодию, какая вам нравится!» – кричал он, заботясь о выполнении ирландской клятвы». Разрывалась душа доктора Дойла: разумеется, лучше бы не воевать, но и воевать, да еще в окружении столь благородных и доблестных людей, – так хорошо!

После декабрьских поражений Британия поняла, что малой кровью с бурами не справиться. Требовались серьезные меры. Буллеру, который до сих пор возглавлял кампанию, было приказано сосредоточиться исключительно на Натале; лорда Китченера назначили главнокомандующим войсками в Южной Африке, лорда Робертса – начальником его штаба. Были приняты решения о призыве армейских резервистов, отправке дополнительного артиллерийского контингента, а также колониальных частей и добровольцев. В добровольцы записывались представители различных сословий; у доктора Дойла это вызывало детский восторг: «Аристократы и конюхи скакали рядом в шеренгах рядовых, а среди офицеров было много и знатных людей, и псарей». Робертс и Китченер с мощным подкреплением отправились на фронт; громадное превосходство военной мощи Британской империи неизбежно должно было сказаться рано или поздно. Но пока что на фронте все было очень худо. Буры наступали, британцы терпели одно поражение за другим.

Продолжалась осада Ледисмита; попытка буров взять его штурмом не удалась, и Дойл написал об этом любопытный абзац: «Бур, однако, за исключением тех случаев, когда на его стороне находятся все преимущества, несмотря на его безусловную личную отвагу, не слишком хорош в атаке. Его национальные традиции, основанные на ценности человеческой жизни, восстают против нападения». Такое впечатление, что это упрек; то ли дело английские национальные традиции, основанные, напротив, на малоценности человеческой жизни! Потом, правда, Дойл много раз будет говорить о том, что солдат нужно беречь, и выступит с рядом предложений (весьма разумных и деловых) по этому поводу – а все-таки ощущение упрека остается. Подумаешь – жизнь, такая скучная ерунда, за которую цепляются трусы! Да и вообще смерть – далеко не самая худшая неприятность из тех, что могут с нами приключиться. Может, он вовсе и не думал в «Михее Кларке» иронизировать над пуританской матерью, у которой мысль о гибели ее детей в битве вызывала восторг?

Гарнизон осажденного Ледисмита вымирал от голода и брюшного тифа. Январь 1900-го опять нес британским войскам сплошные поражения. Реакция «широких масс» в самой Англии была понятна: как всегда бывает в подобных ситуациях, нарастали шовинистические настроения и

большинство жителей Британских островов поддерживали правительство, требуя вести войну до победного конца; с другой стороны, катастрофическое начало военных действий укрепило позиции политиков, выступающих против войны, – радикальной группы либералов в палате общин, возглавляемых Ллойд Джорджем, Независимой рабочей партии и социал-демократов. Мир за пределами Англии продолжал злорадствовать. Доктора Дойла это и возмущало, и мучило:

«Читая материалы европейской прессы того времени, поразительно наблюдать, с какой радостью и глупым торжеством встречали эти наши неудачи. То, что подобным образом реагировали французские ежедневные газеты, неудивительно, поскольку наша история в значительной степени представляет собой противоборство с этой державой и мы можем с удовлетворением принимать их неприязнь в качестве дани нашему успеху. Россия, как наименее прогрессивная из европейских стран, тоже испытывает естественную враждебность к образу мыслей, если не интересов, нашей державы, которая больше всех выступает за свободу личности и демократические институты. Такое же слабое оправдание можно дать и печатным органам Ватикана. Но как нам относиться к жестокой брани Германии, страны, чьим союзником мы являлись в течение столетий?!»

Непонятно, чему так удивлялся доктор Дойл – он всегда говорил, что от немцев не стоит ждать ничего хорошего. И обида его очень детская, как будто он не знал, что такое «геополитические интересы» и «экономические интересы». Обиженный на весь мир, он пригрозил ему: «Политический урок этой войны состоит в том, что нам следует крепить свою мощь в рамках собственной империи, а все, кто в нее не входят, кроме наших братьев по крови в Америке, пусть идут своей дорогой и отражают удары судьбы без помощи или помех с нашей стороны». В те дни он уже задумал написать книгу, которую мы всё время цитируем, – и тем самым в одиночку зашитить Англию от целого света.

28 февраля 1900 года госпиталь Лэнгмана на транспортном судне «Ориентал», где также перевозили войска, наконец отплыл в Южную Африку. Доктора Дойла провожала мать – Луизу с детьми еще ранее отправили в Италию, Джин Леки прийти не решилась, боясь расплакаться. С Мэри опять едва не вышла ссора; прощание получилось тяжелое. Мать и сын помирятся в письмах. «Есть только две вещи, ради которых я хотел бы вернуться в Англию, – писал он Мэри Дойл уже из Африки, – и одна из них – еще хоть раз поцеловать мою дорогую матушку».

Зато с фронта стали приходить хорошие вести. Ледисмит был освобожден частями под командованием генерала Буллера (Дойл еще не знал этого в день отплытия); лорд Робертс, во главе большого контингента идущий с севера, был уже близко к фронту. Дойл ехал за собственный счет и за свой же счет экипировал своего денщика Клива; он также вез деньги на благотворительные цели, которые были собраны им в Лондоне. Госпиталь был отлично снаряжен – повара, санитары, кастеляны, всевозможное медицинское оборудование; со старшим персоналом (который набирался еще до того, как Дойл вошел в дело), однако, вышло не очень хорошо. Главный хирург оказался по специальности гинекологом. Хирург от военного министерства – алкоголиком. 21 марта «Ориентал» зашел в Кейптаун за распоряжениями; несколько дней провели там. Узнали прекрасные новости: помимо снятия осады Ледисмита, в конце февраля генерал Френч под Кимберли (тоже осажденным городом) разбил и взял в плен четыре тысячи буров во главе с одним из их самых лучших военачальников – генералом Кронье (что стало переломным событием в войне); 13 марта английские части под командованием Робертса взяли Блумфонтейн – столицу Оранжевой республики. «После сомнений и хаоса, крови и напряженного труда звучит, наконец, приговор, что меньшему не следует давить большего, что мир принадлежит человеку двадцатого, а не семнадцатого века». Армия буров разбегалась, превращаясь в неорганизованные отряды; 17 марта Крюгер и «оранжевый» президент Стейн приняли решение о начале партизанской войны, на первые роли в которой выдвигался генерал Девет.

Под Кейптауном находился лагерь для военнопленных буров. Дойл поехал туда и увидел «обнесенный колючей проволокой ипподром, где находилась толпа грязных, неряшливых и лохматых оборванцев, но с осанкой свободных людей». Он посетил госпиталь для военнопленных и оставил там значительную часть привезенных денег. 26 марта госпиталю был дан приказ отправиться в порт Ист-Лондон. Там разгрузились и с эшелоном отправились в Блумфонтейн. Наконец-то Дойл попал в атмосферу настоящей войны: огромный поезд, мчащийся во мраке, костры вдоль железнодорожного полотна, темные силуэты на фоне пламени, крики «кто идет?»; эта атмосфера его опять-таки привела в восторг, которого он не мог скрыть: «С наступлением золотого века мир много приобретет, но лишится сильнейшего душевного переживания». 2 апреля прибыли в Блумфонтейн и обнаружили, что половина госпитального оборудования (50 тонн) застряла где-то в дороге – это всё тоже атмосфера настоящей войны.

В Блумфонтейне доктор Дойл встретил много старых знакомых и приобрел новых – чудная компания, но времени на нее не было. В город прибывали раненые. Под госпиталь отвели поле для крикета. Развернули палатки. И тут обнаружили, что нет воды. Бурский военачальник Девет захватил водопроводные сооружения в 20 милях к востоку от города. Началась эпидемия брюшного тифа. Для публики ее размеры преуменьшали, газетные сообщения строго цензурировались, но она была ужасна.

Стояла жара, лили дожди, вода была отравлена. Над Блумфонтейном висел смрад, люди умирали на улицах, их хоронили в ямах, как во время чумы. В лэнгмановском маленьком госпитале, рассчитанном на 50 мест, оказались сотни людей, раненые лежали вперемешку с больными, повсюду стояло жуткое зловоние, летали черные тучи мух. Не было прочного навеса – одни незащищенные палатки. «Один конец павильона занимали подмостки с декорациями оперетты „Крейсер Пинафор“. Здесь устроили нужники для тех, кто мог до них доковылять. Остальные обходились как могли, а мы в свою очередь делали все, что в наших силах. Какой-нибудь Верещагин нашел бы для себя тему в этой ужасной палате с рядами изможденных людей и дурацкими декорациями, взирающими на все это». Такая же картина была и во всех других госпиталях. Санитары и врачи заражались сами и превращались в обузу. Главный врач лэнгмановского госпиталя сбежал в Англию, его помощник запил, заведующий госпиталем – молодой Арчи Лэнгман – с делами справиться не мог. Дойл частично принял руководство на себя. Врачей осталось трое. Было также 11 медсестер, 18 санитаров и еще пара человек обслуживающего персонала. Одна медсестра умерла, три других и прачка заболели тифом; у начальника палаты была язва, заболели девять санитаров, один умер. За девять недель штат госпиталя сократился вдвое.

Дойл сам оперировал и при этом решал все хозяйственные вопросы. Просил городские власти использовать пустующие дома в городе для размещения больных – отказали: дома были собственностью буров. Просил снести забор вокруг крикетного поля и сделать из него крышу для госпиталя – отказали по той же причине. Носился по городу в поисках марли, дезинфекционных средств, белья, требовал, умолял. Сидел с ранеными, когда не хватало персонала, писал за них письма, рисовал их портреты. Написал статью об эпидемии и отправил ее в «Британский медицинский журнал»: там говорилось, что всего за один месяц от тифа умерли 600 человек. Дойл называл страшной ошибкой то, что в армии не делались прививки от тифа. Умерли еще два санитара: «Когда скауты и лансеры вместе с другими разряженными героями двинутся по Лондону парадом, вспомните же об изможденном санитаре – он ведь тоже отдал стране все свои силы. Он не писаный красавец – в тифозных палатах вы таких не найдете, – но там, где необходимы кропотливая работа и тихое мужество, равных ему нет во всей нашей доблестной армии».

Дойл нашел новых санитаров – местных жителей, буров. Однажды на похоронах британского солдата другой солдат бросил в санитара-бура палку. Доктора Дойла затрясло. Сам он тифом не заразился, но лихорадка истощила его: он потерял аппетит, страшно похудел. В госпиталь прибыли две девушки – добровольные сестры милосердия. Они остались живы, но были страшно измучены. А больные продолжали умирать.

Однако британская военная машина, так долго запрягавшая, уже набрала мощный ход. В мае была снята осада с Мафекинга, 1 июня войска генерала Робертса вступили в Йоханнесбург, а 4 июня – в Преторию. Президент Крюгер бежал в Европу, чтобы просить у Германии и других стран вооруженного вмешательства (впустую просил: проигравших никто не любит). Завершился период крупных наступательных операций британских войск, результатами которых стали военное поражение регулярной армии буров, потеря ими всех крупных городов и коммуникаций. 27 мая английское правительство официально объявило об аннексии Оранжевой республики и включении ее в состав Британской империи (через три месяца, 11 сентября, будет объявлено о присоединении к Великобритании Трансвааля).

Наступил просвет и для Блумфонтейна: в конце апреля был наконец отправлен отряд под руководством Гамильтона, чтоб отбить водопровод. В лэнгмановский госпиталь к этому времени прибыли новые хирурги; Дойл отпросился на три дня и поехал с отрядом. Он мечтал о сражении, но его не было: под артобстрел попали, но затем буры сдали насосную станцию без боя.

Отряд Гамильтона двинулся дальше на север, а Дойл вернулся в госпиталь. Появилась вода – и все пошло на поправку. Госпиталь постепенно разгрузили. У Дойла появилось свободное время: он вновь после долгого времени вернулся к футболу и организовал ряд матчей между госпиталями, расквартированными в Блумфонтейне; кончилось это для самого организатора плачевно, так как он играл, будучи больным, и вдобавок получил травму, сломав два ребра. Он довольно много занимался в этот период публицистикой: писал статьи о лэнгмановском госпитале и вообще о медицинской помощи на южноафриканском фронте (защищая

медперсонал от обвинений в некомпетентности), а также высказывал свои мысли по поводу военной реформы – вполне разумные прогрессивные мысли, касающиеся демократизации армии: «Уроки войны состоят в том, что полезнее и выгоднее для страны содержать меньше хорошо натренированных солдат, чем много, но разного качества. Нужно обучать их стрельбе и не тратить время на парадную муштру».

В конце июня Дойл посетил Преторию, где лично познакомился с лордом Робертсом; там он узнал, что его госпиталь отправляют домой. Он вернулся в Блумфонтейн и попрощался с сотрудниками госпиталя: их везли за казенный счет, он должен был выбираться самостоятельно. 11 июля он (с денщиком) сел в Кейптауне на пароход «Бритт». На корабле ему впервые довелось услышать о том, что Англия применяла против буров разрывные пули «дум-дум», что было открытым нарушением международных договоров о правилах ведения войны; он был убежден, что этого не было; произошел конфликт, закончившийся принесенными Дойлу неискренними извинениями. Этот инцидент окончательно убедил его в том, что Англия нуждается в защите – уже не от пуль, а от слов.

По приезде в Англию Дойл остановился в лондонском отеле «Морли» на Трафальгар-сквер. Дома ему было нечего делать, особняк «Андершоу» стоял пустой: Лотти задержалась в Индии, Луиза с детьми оставалась в Италии. В Лондоне Дойл немедленно принялся за книгу и тотчас окунулся во всевозможные дебаты по поводу войны. Не упускал и светской жизни: стал членом престижного клуба «Атенеум». Сломанные ребра зажили, и он с августа вновь играл за Мэрилебонский крикетный клуб, причем довольно успешно.

Однажды на стадионе «Лордз» он был с Джин Леки; там их увидел Вилли Хорнунг. Его супруга Конни (не в пример Лотти) была шокирована столь вызывающим поведением брата. Дойл поехал к Хорнунгам домой, чтобы объясниться, уверял, что отношения его с мисс Леки невинны, но понимания не нашел. Конни отказывалась общаться с Джин под явно надуманными предлогами. Доктор в довольно напыщенных выражениях («Я отказался далее обсуждать с этими людьми столь священные вещи») написал о конфликте Мэри, но та неожиданно встала на сторону дочери: должны все-таки соблюдаться какие-то приличия. Отношения между Дойлом и Хорнунгами были на некоторое время фактически разорваны, Джин была оскорблена и заговаривала о разрыве – все наперекосяк. Но тут уж доктор нашел себе занятие, которое полностью его поглотило и отвлекло от личных дел.

В Англии осенью 1900 года должны были состояться парламентские выборы. В 1895-м с громадным перевесом победили тори, а юнионисты фактически растворились в массе консервативной партии: их лидеры вошли в кабинет Солсбери. Конан Дойл уже давно был известным человеком; после бурской кампании его популярность возросла многократно. Руководство юнионистской партии в лице ее секретаря Джона Борестона предложило ему баллотироваться. Дойл, который всю жизнь считал себя (да по сути и был) либералом, оказался в непростом положении. Но тогдашняя либеральная оппозиция во главе с Ллойд Джорджем была неприятна ему своими антивоенными настроениями; он решил, что правительство нужно поддерживать: «Я твердо знал, что для империи было бы национальным позором, а, возможно, и бедствием, не доведи мы бурской войны до полной победы». Доктор сделал довольно-таки нетипичный для себя вывод о том, что в некоторых обстоятельствах принципами можно и поступиться. У него была куча идей относительно того, как обустроить Англию вообще и армию в частности; он надеялся, что парламент станет идеальной трибуной – от депутатского запроса министры не посмеют отмахиваться, как от статеек беллетриста. Он дал согласие участвовать в выборах.

Можно было подобрать для знаменитости легкое, «проходное» место, но доктору Дойлу хотелось настоящего сражения. Он выбрал родной Эдинбург, причем Центральный район – в то время оплот либералов и тред-юнионов. Дойла предупреждали, что сторонникуправительства победить в этом округе невозможно; слово «невозможно» только подстегнуло его, и он помчался в Эдинбург.

Избирательную кампанию Дойла возглавил Роберт Крэнстон (впоследствии – мэр Эдинбурга). Она проводилась с 25 сентября по 4 октября. Доктор начал ежевечерние предвыборные выступления перед избирателями (в цехах, в театрах); он, кроме того, произносил речи «на улицах, стоя на бочках и любых других возвышениях, какие только мог найти, и провел очень много встреч прямо на дороге». Говорить он к тому времени уже был мастак и говорил «по-простому»: рабочим новый кандидат неожиданно понравился, его популярность росла. За него агитировал Джозеф Белл. Он собирал огромные толпы. Но этого оказалось недостаточно.

Сам Дойл считал, что проиграл исключительно из-за «черного пиара», о котором речь пойдет ниже. Но вообще-то он крайне мало уделял внимания социальным вопросам, которые были для эдинбуржцев насущными, и сосредоточился почти исключительно на бурской войне,

которая так и не завершилась: после того как Робертс и Китченер уже праздновали победу над Трансваалем и Оранжевой, буры развернули партизанские действия в тылу английской армии – а такого рода войны могут продолжаться до бесконечности. В одном из обращений к избирателям Дойл писал: «Обстоятельства, при которых проходят настоящие выборы, можно назвать исключительными. Все вопросы стали второстепенными в сравнении с главным – этой ужасной затянувшейся войной, которая потребовала от народа неисчислимых жертв и многих из нас заставила одеться в траур. Теперь, наконец, пройдя через многие битвы к победе, мы должны сделать выбор. Или мудрость наших граждан поможет сохранить то, что было добыто мужеством наших воинов, или же в этот последний час величайшая политическая ошибка нанесет нам непоправимый ущерб, обесценив плоды военных успехов».

Эта сосредоточенность на войне, вероятно, сыграла бы Дойлу на руку, баллотируйся он от какого-нибудь мононационального, шовинистически настроенного сельского округа, но в Эдинбурге людей занимали другие проблемы. Многочисленные тамошние ирландцы все еще добивались гомруля. Шотландцы никакого гомруля не хотели и вообще придерживались того мнения, что католикам дают слишком много воли. Тред-юнионы требовали национализации земли, рудников и железных дорог, а также законов, регулирующих отношения рабочих с предпринимателями. Рассказывая об осаде Ледисмита, доктор вызывал у слушателей слезы, но такие скучные вещи, как налогообложение и структура местной администрации, его волновали меньше. Нельзя сказать, что они не волновали его совсем: он писал в газеты, например, о необходимости сокращения рабочего дня, но аудитория чувствовала, что эти вещи кажутся ему второстепенными.

Кроме того, он не умел лукавить, то есть не был политиком. В самом больном вопросе, ирландском, он вечно занимал разумную, но непопулярную позицию – что, мол, те и другие неправы, тогда как, чтобы нравиться, нужно говорить обратное: что правы обе стороны. Совсем недавно он написал рассказ «Зеленый флаг» («The Green flag»; вышел в марте 1900-го в составе сборника «Зеленый флаг и другие истории»), герой которого, ирландец, чьего брата-близнеца пристрелила английская полиция, нарочно записывается в британскую армию, дабы рука об руку со своими сородичами вести там подрывную деятельность «с ожесточенной ненавистью к флагу, под которым они служили». В Нубийской пустыне происходит нападение арабов; оно совпадает с вооруженным мятежом ирландцев. Герой испытывает ужас от того, что он и его товарищи оказались заодно с арабами. Рассказ не понравился ни ирландцам, ни англичанам. Так и с избирательной кампанией: ирландцам Дойл прямо говорил, что не желает гомруля, перед шотландцами заявлял, что нельзя нападать на ирландских католиков по конфессиональному признаку. Католики его и погубили.

Накануне выборов весь Эдинбург оказался увешан плакатами, которые сообщали, что Конан Дойл, происходящий из католической семьи и обучавшийся в иезуитской школе, – «папистский конспиратор, иезуитский эмиссар и ниспровергатель протестантской веры». Соперником Дойла был представитель либералов Браун – издатель по профессии (пожалуй, одного этого было достаточно, чтобы считать дело Дойла обреченным, ибо в кровавой схватке писателя с издателем неизбежно побеждает последний). Дойл отказывался верить, что плакаты расклеили по приказу соперника, и полагал, что это сделал некий Плиммер, фанатик-протестант. Так или иначе «черный пиар» достиг цели: Браун победил с перевесом в 569 голосов. (Нужно заметить, что на прошлых выборах преимущество либералов составило более двух тысяч голосов.) Дойл не стал подавать апелляцию: в конце концов, все факты, о которых говорили плакаты, соответствовали действительности, а если б он взялся объяснять избирателям, что католичество и протестантство ему противны одинаково, то потерял бы и те голоса, что имел. Впрочем, его сторонники в целом выиграли: правительство Солсбери осталось у власти.

Дойл решил, что все к лучшему. «Я никогда бы не смог стать партийным человеком – а в нашей системе, кажется, никому больше и нет места». После выборов он бывал в парламенте, но лишь в качестве слушателя. Там он и познакомился с восходящей звездой английской политики – молодым Уинстоном Черчиллем, который был в Южной Африке в качестве корреспондента газеты «Морнинг пост», в ноябре 1899-го попал в плен к бурам, бежал и с приключениями добрался до расположения британских войск. В Лондоне его встречали как национального героя; Черчилль попросил о зачислении его на действительную военную службу, и его просьба была удовлетворена, несмотря на приказ, запрещающий военным сотрудничать в прессе. Его подвиги позволили ему победить на выборах – сам Чемберлен приезжал выступать в его поддержку.. Так вот, именно Черчилль сказал Дойлу по поводу его проигрыша, что «человеку с таким обостренным чувством справедливости в политических играх делать нечего» – из чего, надо полагать, следует, что себя будущий великий премьер к людям с таким чувством не относил.

Уже после поражения Дойл написал статью в эдинбургский журнал «Скотсман», где более-

менее откровенно высказывал свои мысли о религии: «В течение двадцати лет я страстно выступал в поддержку полной свободы совести и считаю, что любая заскорузлая догма недопустима и в сущности антирелигиозна, поскольку голословное заявление она ставит, вытесняя логику, во главу угла, чем провоцирует озлобленность в большей степени, нежели любое иное явление общественной жизни». Этой статьи он не смог бы написать, оставшись в политике.

Отказавшись от политических амбиций, он прочно засел за книгу о войне. Он писал ее уже не в Лондоне, а в «Андершоу»: жена и дети вернулись из Неаполя, в дом возвратилось семейное тепло. Луизе стало значительно лучше; она считала себя практически здоровой, врачи тоже отмечали улучшение. Иннес приезжал из Индии – погостить. Конфликт с Хорнунгами потихоньку «рассосался». Доктор писал матери, прося ее снова пригласить Джин к себе в гости, чтоб он мог приезжать к ней. В семье Дойлов появился новый родственник: Лотти в Индии вышла замуж за капитана инженерных войск Лесли Олдхема. Осенью 1900-го Дойлу было уже сложно самому управляться с перепиской – так обширна она стала, – и он предложил своему старинному знакомому, Альфреду Вуду, с которым когда-то в Портсмуте играл в футбол, занять место его секретаря.

«Великая бурская война» была закончена осенью 1900-го, но эта была еще не та книга, которая известна сейчас, а только часть ее – автор заканчивал повествование на том, как Крюгер бежит на голландском корабле в Европу просить защиты. Он ожидал гонений и нападок, но книга неожиданно пришлась по душе всем – даже сторонникам буров понравилось, как Дойл описывал храбрых бурских военачальников; к тому же она была очень хорошо написана, и читать ее – одно удовольствие даже сейчас. Подобно Маколею Дойл оказался прекрасным популяризатором. Более противоречивые отклики вызвала его статья «Несколько уроков войны», опубликованная целиком в «Корнхилле», а частями в «Таймс», где он говорил о необходимости демократизировать армию и сократить ее численность – генералы не любят подобных высказываний. Выступая против обязательной воинской повинности, Дойл ратовал за гражданское ополчение. Он предлагал, сокращая регулярную армию, одновременно с этим готовить все мужское население к возможному военному конфликту и прежде всего учить мужчин стрельбе. Буры, в отличие от англичан, были великолепными снайперами; известна распространенная во время той войны среди британских солдат примета, что нельзя троим прикуривать от одной спички: прикуривает первый – бур поднимает винтовку, прикуривает второй – бур целится, прикуривает третий – бур стреляет. Чтобы быть не хуже буров, доктор предложил повсеместно организовывать стрелковые клубы. Он сам организовал в Хайндхеде такой клуб: чтоб обойтись без большого полигона и больших затрат, в ружья и винтовки обычного калибра вставлялись так называемые трубки Морриса – трубки малого диаметра, ограничивающие калибр пули и дальность дистанции выстрела.

Уже в январе 1901-го он писал о своем опыте: «Я построил здесь стрельбища в 50, 75 и 100 ярдов... и дважды в неделю провожу смотры. По праздникам я выставляю приз, предлагая за него побороться стрелкам, и – уверен – через год-другой в районе не отыщешь возницы, кебмена, землепашца или продавца, который не был бы превосходным стрелком. <...> Надеюсь, наш опыт найдет себе распространение и в окрестностях, что позволит буквально наводнить местность потенциальными бойцами». (Среди потенциальных бойцов, между прочим, были малолетние Дойлы.) Все мужчины Британии в возрасте от 16 до 60 лет, по мнению доктора, должны были вступать в стрелковые клубы и, взяв пример с буров, иметь винтовки у себя дома.

Позиция эта, естественно, подвергалась критике. Гражданские лица говорили, что вооружение мирных граждан приведет к росту преступности, – Дойл отвечал, что эти явления не связаны друг с другом, более того: поскольку владеть огнестрельным оружием разрешено, то человек, умеющий с ним обращаться, гораздо менее опасен для окружающих, чем неуч. Военные считали стрелковые клубы пустой тратой времени и утверждали, что в войне они никак не пригодятся; выведенный из терпения Дойл в ответ на ругательную статью военного корреспондента «Вестминстер газетт» заявил, что члены хайндхедского клуба добились прекрасных успехов: джентльмены, торговцы, шоферы, крестьяне – все выбивают больше 80 очков из 90; если военные ведомства не желают принять помощь столь эффективную – иначе как идиотизмом назвать это нельзя. Клубы по образцу хайндхедского стали появляться по всей стране, как грибы после дождя; власти их не поощряли, но и не запрещали. Кроме упражнений в стрельбе доктор счел необходимым заняться укреплением собственного физического здоровья: стал брать уроки у известного тяжелоатлета Сэндоу и зимой следующего года был членом жюри конкурса по атлетизму.

Тем временем партизанская война шла вовсю. Об этом этапе войны Дойл написал в 1901—1902 годах вторую, куда более спорную часть «Великой бурской». Оговоримся сразу, что в тот же период в жизни Конан Дойла произошло нечто, не имевшее отношения к войне, но

чрезвычайно значимое для литературы; сейчас же, чтоб не разбивать его книгу на куски, еще раз принесем хронологию в жертву логике и займемся войной, все остальное временно оставив за скобками.

После череды неудач в мае 1900-го многие буры смирились с поражением и отказались от продолжения вооруженной борьбы, покинув армию; но другая часть буров решила воевать против оккупантов партизанскими методами. Британские войска, находившиеся в Трансваале и Оранжевой, полностью зависели от поставок снаряжения и продовольствия из Капской колонии – следовательно, бурам было необходимо разрушать железные дороги и мосты. Основой бурской армии с этого момента стали небольшие отряды, способные наносить внезапные удары по коммуникациям англичан, их обозам и тыловым базам (только в июне и только на территории Трансвааля отряды буров провели 255 подобных боевых операций). Поезда взрывались повсюду, железнодорожные сообщения прерывались каждый день, на отдельные английские отряды производились нападения; группы вооруженных буров легко уходили от преследования.

Среди партизанских отрядов, действовавших на территории бурских республик (их общая численность достигала 20 тысяч человек), наибольшей активностью и решительностью отличался отряд генерала Девета. В августе 1900-го войско британского генерала Хантера вынудило Девета уйти в северную часть Оранжевой, но это было временное отступление. Поскольку британцы находились на землях буров, буры решили вновь войти на земли британцев: осенью пришла *зеленка,* и в ноябре Девет попытался перенести боевые действия на территорию Капской колонии. Буры были разбиты и отошли на свои территории, их отряды начали дробиться на более мелкие. В этих отрядах осталась самая стойкая часть бурской армии; почти все их бойцы были снайперами и обладали навыками современного спецназовца. Их называли *коммандо,* и они стали настолько популярными во всем мире, что превратились в общепризнанное название подразделений специального назначения, предназначенных для разведки и диверсий в тылу врага.

До середины декабря 1900-го главнокомандующим оставался Робертс – он, по мнению Дойла, был «мягким человеком, истинным джентльменом и в то же время великим солдатом, вся его натура восставала против жестокости, и более жесткий человек мог бы быть лучшим лидером на этом последнем, безнадежном этапе войны». Робертса отозвали; его место занял более решительный генерал Китченер. Но война не собиралась заканчиваться. Для защиты своих людей и грузов англичане придумали бронепоезда и блокгаузы [опорные пункты, обеспечивающие прикрытие важных военных объектов и коммуникаций ружейно-пулеметным огнем], но это не решало всех проблем. С партизанами всегда очень трудно бороться – днем они мирные люди, а ночью воюют. Конан Дойл писал о Девете: «Всем его планам помогала наша неоправданная терпимость, которая не позволяла признать, что в этой стране лошадь является таким же оружием, как и винтовка, и поэтому большое количество лошадей было оставлено во владении фермеров, и Девет получил возможность заменить своих измученных животных. <…> Не будет преувеличением сказать, что наше слабое понимание этого вопроса будет признано величайшей ошибкой войны и что наша излишняя, даже фантастическая щепетильность была причиной того, что военные действия растянулись еще на долгие месяцы и стоили стране многих жизней и многих миллионов фунтов».

«Фантастическая щепетильность» длилась недолго. Британские войска стали повсеместно применять *зачистки:* сжигали или взрывали динамитом бурские фермы [согласно сведениям, представленным Чемберленом английскому парламенту, к началу 1901 года британские войска сожгли 634 фермы, а весной 1902-го речь шла уже о тысячах], захватывали принадлежащий бурам скот и запасы продовольствия. Китченер предложил вооруженным бурам сдаться добровольно, тогда они «получат возможность жить со своими семьями в государственных лагерях до окончания партизанской войны, после чего смогут благополучно вернуться в свои дома». Буры, попав в окружение, сдавались, но потом убегали и снова брали в руки оружие; так что в «государственных лагерях» находились преимущественно не бойцы, а их семьи. Так было; а далее снова начинаются точки зрения. Одна сторона говорит: «восстановление законности и порядка», «вооруженные бандформирования» и «лагеря беженцев», другая отвечает: «оккупация», «партизаны» и «концлагеря». Чтобы не занимать ничью сторону, не будем употреблять эпитетов вовсе: просто британцы и просто буры, просто отряды и просто лагеря.

К весне 1901-го лагеря покрывали практически всю территорию бурских республик; в них находилось около 200 тысяч человек. Многие умирали. Зачистки, лагеря, разрывные пули – все это вызвало новую волну критики Британии со стороны европейской общественности да и внутри самой страны тоже. Оппозиция призывала немедленно прекратить боевые действия. В газетах – и английских, и иностранных – действия британской армии назывались варварством и зверством. В этих статьях было много правды и немало выдумок. Правительство не

снисходило до объяснений: ведь официально считалось, что войны уже давно нет, а есть «наведение порядка». К осени 1901-го всеобщее осуждение достигло такого накала, что Дойл не выдержал и начал писать вторую часть «Великой бурской», где с прежней скрупулезностью (и по-прежнему превосходным популяризаторским слогом, очень эпично, лирично и живо) описывал события с лета 1900-го, а также пункт за пунктом отвечал на обвинения и, в свою очередь, выдвигал обвинения в адрес противника. Человеку, интересующемуся военной историей, эту книгу стоит прочесть даже в том случае, если он недолюбливает англичан – настолько детально и ясно в ней описано каждое столкновение за каждый пригорок, с живыми подробностями и непременным упоминанием о доблести и отваге обеих воюющих сторон.

В это же время Дойлу пришлось вступить в полемику с человеком, к которому он питал дружеские чувства: Уильямом Стидом, по-прежнему редактировавшим «Обзор обзоров». Стид был пацифистом, с самого начала войны занимал пробурскую позицию; он был личным другом Сесила Родса, но война развела их по разные стороны идейных баррикад, как развела и с доктором Дойлом. Когда военные действия перешли в партизанскую стадию, Стид начал выступать в печати еще резче. Он опубликовал два памфлета – «Должен ли я убивать моего брата бура» и «Методы варварства», в которых подверг действия британских войск и позицию британского правительства самой жесткой, если не сказать – жестокой критике. Дойл решил, что он обязан ответить. Громадный объем «Великой бурской» не позволял ей быть прочитанной всеми, и Дойл за неделю – с 9 по 17 января 1902-го – написал небольшую брошюру под названием «Война в Южной Африке: ее причины и ход» («The War in South Africa: Its Cause & Conduct»). Эта вещь должна была, по замыслу Дойла, разойтись огромными тиражами по всему миру. О его работе были осведомлены высшие чины Британской империи; разведотдел военного министерства предоставил ему множество закрытых документов; министерство иностранных дел предложило выделить средства для издания; издательство «Элдер и Смит» вызвалось напечатать брошюру за свой счет. Был также открыт специальный фонд для издания; среди жертвователей числился Эдуард VII, от себя лично внесший 500 фунтов.

Брошюра была написана гораздо суше и деловитее, чем книга, в ней меньше рассуждений и опущена почти вся историческая часть; она представляет собой краткие ответы на обвинения Стида и других либералов. Ее главы так и назывались: «Сожженные фермы», «Концентрационные лагеря» и т. д.; на каждое обвинение Дойл старался отвечать фактами: сколько и каких продуктов выдавалось в день на человека, содержавшегося в лагерях, сколько пленных и от каких конкретно причин умерло, сколько английских солдат и при каких обстоятельствах были убиты. В точности ту же самую аргументацию, что и в брошюре, Дойл приводил во второй части «Великой бурской» – только пространнее. (Читатель может подставить на место буров и британцев, тех, кого сочет нужным.)

О зачистках: «Ранние воззвания лорда Робертса, обращенные к населению Оранжевой республики, были исключительно милосердными. Но шли месяцы, борьба продолжалась, и война приняла более жесткий характер. Каждая фермерская усадьба представляла собой потенциальный форт и возможный склад вооружения противника. К экстремальным мерам – уничтожению фермы – прибегали только в случае конкретного преступления, например, предоставления убежища снайперу, или в качестве предохранительных мер от разрушителей железных дорог, но в обоих случаях очевидно, что женщины и дети – обычно единственные обитатели фермы, не могли своими собственными усилиями предотвратить разрушение железнодорожной линии или огонь снайперов. <…> Армейские чины утверждали, что война будет бесконечной, если женщинам на фермах будет оставлена возможность помогать снайперу на холме. Нерегулярный и бандитский характер, который приняла борьба, приводил солдат в ярость; отмечались вспышки жестокости, иногда происходили несанкционированные разрушения, общие приказы выполнялись с излишней жесткостью, осуществлялись такие репрессивные меры, которые может оправдать война, но о которых цивилизованный мир может лишь глубоко сожалеть».

О лагерях: «На попечении британцев оказались огромные толпы женщин и детей, которых содержали и кормили в лагерях, в то время как в большинстве случаев их отцы и мужья продолжали сражаться. <…> Это была кубинская система реконцентрации, с той лишь разницей, что гостей британского правительства хорошо кормили и с ними хорошо обращались в течение всего срока задержания. <…> Некоторую озабоченность вызвал в Англии доклад мисс Хобхаус, который привлек внимание общественности к высокому уровню смертности в некоторых лагерях, но расследование показало, что это было обусловлено не какими-либо антисанитарными условиями или плохой организацией, а жестокой эпидемией кори, которая унесла жизни многих детей».

О военнопленных: «Из этих восьми [пленных буров], по решению военного трибунала, трое на следующий день были расстреляны за то, что взяли в руки оружие после капитуляции, а двое

оправданы. Можно сожалеть по поводу хладнокровного расстрела этих людей, но невозможно соблюдать правила ведения войны, если грубые их нарушения не будут сурово караться надлежащим образом. <…> Очень многие – слишком многие – британские солдаты на собственном опыте познали, что значит попасть в руки врага, и следует признать, что обращение с ними нельзя назвать негуманным, но обращение британцев с бурскими пленными не имеет в истории войн аналога по своему великодушию и гуманности».

К началу 1902 года обеим сторонам стало ясно, что войну пора заканчивать. Она была обременительна для бюджета Великобритании, а большинство руководителей буров, в свою очередь, видели неизбежность поражения. Еще в феврале – марте 1901 года состоялись переговоры бурского генерала Боты с Китченером, но успеха они не имели: англичане отказывались признать независимость бурских республик, буры отказывались признать аннексию своих государств. В конце концов Солсбери счел возможным пообещать бурам сохранить самоуправление и уравнять их в правах с англичанами, проживавшими на юге Африки. Произошел раскол среди руководства буров: большинство военачальников выступали за мир на условиях англичан, Девет стоял за войну до победного конца. 27 мая 1902 года Чемберлен предъявил бурам ультиматум: они признают аннексию, за это Англия предоставляет им субсидию в размере трех миллионов фунтов для восстановления разрушенных ферм, разрешает использовать язык африкаанс в образовании и судопроизводстве, а также создавать органы местного самоуправления. Буры были согласны – деваться-то некуда. Девет остался в меньшинстве; даже его родной брат давно выступал против него. Буры признали свое военное поражение и вынуждены были принять условия Британии. 31 мая в Претории был подписан мирный договор.

Дойл написал: «Британский флаг с нашими лучшими администраторами будет означать неподкупное правительство, честные законы, свободу и равенство для всех. И пока все это будет в наличии, мы будем владеть Южной Африкой. Но если из страха или корысти, из-за лени или по глупости мы отойдем от этих идеалов, то поймем, что нас поразила та самая болезнь, от которой погибли многие великие империи до нас».

В 1910-м был образован британский доминион под названием Южно-Африканский Союз, включавший Капскую колонию, Наталь, Оранжевое Свободное государство и Трансвааль. С тех пор на юге Африки всё многократно перевернулось и переменилось – только регби, завезенное англичанами, процветает пуще прежнего.

Брошюра «Война в Южной Африке: ее причины и ведение» была издана огромным тиражом в январе 1902 года; она продавалась по цене всего 6 пенсов, и за первые два месяца было продано 300 тысяч экземпляров. Доход от продажи брошюры шел на ее же переводы и распространение в других странах; кроме того, для изданий за границей был основан специальный фонд, куда людьми, разделявшими мнение автора, присылались пожертвования. К апрелю брошюра была переведена на многие языки мира, в том числе русский, а также отпечатана шрифтом Брайля для слепых. От продаж брошюры остались денежные излишки в размере 2 500 фунтов: все эти деньги пошли на различные виды благотворительности (например, стипендии для южноафриканцев в Эдинбургском университете) и на призы в военно-спортивных соревнованиях. В том же году в издательстве «Нельсон» вышло новое (семнадцатое по счету!) издание «Великой бурской войны»: объем – 770 страниц, тираж – 63 тысячи. На фронтисписе поместили портрет автора, но Дойлу это не понравилось, и он потребовал портрет убрать – тогда его заменили изображением лорда Робертса. Может показаться, что такая щепетильность отдает кокетством, но дело в том, что Дойл не считал «Великую бурскую» художественным произведением (а зря!) и совершенно искренне не хотел привлекать внимание читателя к персоне автора; то же, естественно, относилось и к брошюре – это была пропагандистская работа.

Естественно, автор получал десятки тысяч писем – как негодующих, так и благодарных. Вряд ли ему удалось кого-то переубедить. Он ведь сам говорил, что в таких делах нет правых. Он приводил факт: когда Китченер предложил бурскому генералу Бюргеру забрать из лагерей всех детей и женщин и взять их на свое обеспечение, Бюргер отказался. Ему отвечали: а куда бы Бюргер мог их забрать, если шла война? И так по каждому вопросу. Стид говорил, что Конан Дойл излагает факты тенденциозно, от неприятных фактов отмахивается, верит лишь тому, во что хочет верить. В точности тот же самый упрек – тенденциозность в подборе фактов – Дойл предъявлял Стиду; вероятно, по-своему тенденциозны были оба. Дойл писал в «Таймс»: «Мы не питали иллюзий. Мы не ждали полного обращения. Но можно быть уверенным, что теперь никто не сможет отговориться неведением». Что правда, то правда: услышан он был.

Британское правительство, однако, считало, что труд Дой-ла (включая книгу и брошюру) сыграл огромную роль в том, что европейское общественное мнение в 1902—1903 годах сильно смягчилось. Скорее всего оно смягчилось просто потому, что кончилась Англо-бурская

война и у всех государств моментально нашлись новые причины и предлоги ругаться друг с другом. Двадцатый век начинался: скоро вчерашние враги начнут превращаться в союзников, а бывшие товарищи – в смертельных врагов.

Всего этого королева Виктория уже не увидит: в январе 1901-го «бабушка всей Европы» умерла. Она взошла на трон в год дуэли Пушкина, когда, по словам Голсуорси, «еще ходили почтовые кареты, мужчины носили пышные галстуки, брили верхнюю губу, ели устрицы прямо из бочонков; на запятках карет красовались грумы, а женщины не имели прав на собственное имущество», а оставила его в эпоху кино и автомобилей; ее царствование продолжалось 64 года.

Глава вторая

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БРИГАДИРА

Королеве Виктории наследовал ее старший сын, в 60 лет ставший королем Эдуардом VII. В молодости он был любителем развлечений; с годами сделался спокойнее. При нем сильно потеплели отношения с Францией и Россией. Он очень любил рассказы о Шерлоке Холмсе и, по утверждениям злых языков, ничего кроме них отродясь не читал; те же злые языки утверждали, что именно за эти рассказы доктор Дойл был возведен в рыцарское достоинство. Это, разумеется, не так, а жаль. Если можно сделать англичанина рыцарем за рок-музыку, то почему нельзя – за книги, которые радуют весь мир?

Отрадой доктора Дойла (помимо крикета, атлетизма, бокса, бильярда, боулинга и стрельбы) все последние годы был гольф – элегантное занятие, игра для джентльменов, которой он, по собственному признанию, толком так и не выучился: упорно зарывал клюшку в землю, но играть не бросил. Возвращаясь из Африки, он на пароходе подружился с журналистом Флетчером Бертрамом Робинсоном, военным корреспондентом газеты «Дейли экспресс», и узнал, что тот также имеет пристрастие к гольфу, они договорились встретиться по возвращении в Англию.

Несколько раз зимой и весной 1901 года они виделись в Лондоне, а в марте Робинсон пригласил Дойла съездить куда-нибудь на несколько дней – отдохнуть и всласть поиграть. В маленьком приморском городке Кромер, что в графстве Норфолк, была довольно известная водолечебница; Дойл после Африки все еще чувствовал себя неважно, его мучил ревматизм. Он принял приглашение, и они с Робинсоном отправились в Кромер. Там они провели около недели – Дойл принимал водные процедуры, а потом они с Робинсоном играли в гольф и беседовали. Говорили о фольклоре, рассказывали друг другу старинные предания. Упоминалась широко распространенная – отнюдь не только в Британии – легенда о гигантской призрачной собаке: в Норфолке она имела черный цвет и огненные глаза и называлась «Black Shuk», в других областях встречались иные варианты: чаще это была не одна собака, а стая – так называемая «дикая охота». Робинсон – он был родом из Девоншира – рассказал Дойлу девонширский вариант легенды, который отличался тем, что в нем фигурировал реальный человек по фамилии Кейбл, владелец поместья Брук, который будто бы был чуть ли не вампиром и похищал девушек; согласно легенде, в 1672 году Кейбла разорвала на куски «дикая охота» – стая демонических гончих псов; Робинсон записал легенду в форме новеллы и познакомил Дойла с ее текстом.

Страшных собак, страшных болот и страшных собак на страшных болотах мы уже находили у Дойла немало; неудивительно, что он пришел от истории Кейбла в восторг – она так и просилась в книгу. Дойл и Робинсон собрались делать ее вместе. Соавторство – штука сложная и совсем необязательно подразумевает, что два человека садятся за два стола и пишут по одной второй части текста. Поскольку они приняли это решение, находясь вместе, и переписки друг с другом в этот момент не вели, то неизвестно, как конкретно эта совместная работа планировалась первоначально. Известно, что название родилось сразу. Некоторые биографы убеждены, что фамилию Баскервиль предложил Робинсон, потому что так звали его кучера; однако, например, в уэльском варианте легенды собака-призрак преследует семью по фамилии Баскервиль, и Дойл с Робинсоном этот вариант, вероятно, обсуждали, так как первоначальный план повести основывался именно на этом: есть некая семья, над которой тяготеет проклятие в виде призрачной собаки. Дойл написал о замысле матери – упомянул и будущего соавтора, и название «Собака Баскервилей» («The hound of the Baskervilles»). Робинсон много говорил ему о мрачных красотах Девоншира. Доктор захотел поехать туда.

Договорились встретиться чуть позже, а пока Дойл вернулся в Лондон. Там он сообщил Гринхофу Смиту (письмом), что намерен писать новую книгу (ее жанр он определил как «creeper» – то есть нечто ужасное, бросающее в дрожь) в соавторстве с Робинсоном, и гонорар запросил свой обычный: 50 фунтов за тысячу слов. Не установлено точно, сам ли Дойл решил включить в повествование Холмса или это ему предложил Смит, давно надеявшийся, что Дойл сменит по отношению к сыщику гнев на милость; второе, пожалуй, более вероятно. Когда Дойл сообщил Смиту, что Холмс в книге будет, «Стрэнд» с радостью согласился увеличить оплату вдвое.

В более позднем письме по поводу соавторства Робинсона Дойл писал Смиту следующее: «И стиль, и атмосфера, и весь текст будут полностью мои… <…> но Робинсон дал мне главную идею, приобщил к местному колориту, и я считаю, что его имя должно быть упомянуто». Надо полагать, что такое распределение труда было установлено между Робинсоном и Дойлом еще в Кромере: тому, кто хоть самую чуточку знает доктора Дойла, невозможно представить, что

он заявил бы в официальном письме, что весь текст книги напишет он, а на самом деле было б иначе. «Стрэнд» от идеи соавторства был отнюдь не в восторге, но Холмс перевесил. Дойл и Смит договорились, что имя Робинсона будет упомянуто наравне с именем Дойла, а гонорар между соавторами будет разделен следующим образом: три четверти получает Дойл, одну четверть – Робинсон. Сам Робинсон в этих переговорах не участвовал вовсе и не изъявлял никакого желания участвовать – это говорит в пользу того, что писать собственно текст он в это время и не собирался.

Еще прежде самого доктора на отдых в Девоншир съездила Луиза, которую сопровождала ее мать Эмилия; Дойл в это время (в конце марта) встречался в Сассексе с Джин Леки. В апреле супруги вновь встретились дома, а в конце мая, заручившись договоренностью со «Стрэндом» и написав еще в Лондоне часть текста, Дойл отправился в Девоншир, где Робинсон уже ждал его.

Графство Девоншир (или Девон), которое Генри Джеймс назвал «совершенством Англии», расположено на юго-западе страны; место романтическое, при плохой погоде мрачноватое (его любили описывать Дафна Дюморье и Агата Кристи); с севера и юга оно омывается морем, на западе граничит с не менее романтическим Корнуоллом, где происходит действие жуткой «Дьяволовой ноги» Дойла. Девоншир – район, где мало промышленности и много природы. Там есть местность под названием Дартмур – обширное скалистое плато (368 квадратных миль), покрытое частично лесом, частично – вересковыми зарослями, небольшими озерцами и торфяниками. «Унылость этих болот, этих необъятных просторов, впрочем, не лишенных даже какой-то мрачной прелести», по выражению доктора Уотсона. По вересковым пустошам спокон веков бродили дикие пони (один бедняга на глазах потрясенного Уотсона утонул в Гримпенской трясине) – эта порода сейчас известна как «дартмурский пони» и ее разводят специально. Сам Дартмур ныне – национальный парк; его центром является город Принстаун. Неподалеку находится Дартмурская тюрьма строгого режима, по сей день пользующаяся сомнительной славой одного из самых жестких исправительных учреждений.

Дойл и Робинсон поселились в Принстауне, в небольшой гостинице «Даки» – она существует и поныне, и там есть музей «Собаки Баскервилей». Оттуда они ежедневно совершали вылазки в окрестности, осматривали Дартмурскую тюрьму. Дойл писал: «Мы прошагали целых четырнадцать миль по окрестностям и порядком устали. Это дикое и печальное место, где попадаются развалины жилищ древнего человека, странные каменные сооружения, есть и остатки старых шахт». Недалеко от Принстауна находилось родное поместье Робинсона, Ипплпен; съездили и туда. Фамилия кучера (он же по совместительству служил у Робинсонов садовником) действительно была Баскервиль.

Опять вернулись в Принстаун. Дойл сообщал матери: «Мы с Робинсоном лазаем по болотам, собирая материал для нашей книги о Шерлоке Холмсе. Думаю, книжка получится блистательная. По сути дела, почти половину я уже настрочил. Холмс получился во всей красе, а драматизмом идеи книги я всецело обязан Робинсону». Болот как таковых, кстати, рядом с Принстауном нет; Гримпенская топь получила свое название, по-видимому, в честь неолитической деревни Гримспаунд на востоке Дартмура, рядом с которой действительно расположено топкое болото; его по сей день стараются избегать местные жители. Жилище неолитического человека, мрачные останки этого существа, как тогда считалось, кровожадного, темного и злобного, – вот маленький штрих, которого недоставало прежним попыткам Дойла описать ужас торфяных болот. Трясина, в глубине которой покоятся скелеты такой древности, что ее даже представить себе трудно, – деталь, оказывающая неотразимое воздействие на воображение художника и на его работу.

Что касается источников, то одними рассказами Робинсона доктор Дойл в своей работе отнюдь не обошелся. Он от корки до корки прочел книгу Баринг-Гулда – викария, известного археолога и фольклориста; этот фундаментальный труд представлял собой энциклопедию Дартмура, где было собрано абсолютно все: природа, климат, история, архитектура, народные предания, генеалогические древа старых девонширских семей. Работа шла быстро, «запоем». В июне Дойл распрощался с Робинсоном и поехал в Лондон, по пути посетив города Шерборн, Бат и Челтнем. «Собака» была практически окончена, но кое-что еще дописывалось: в начале июня из Принстаунской тюрьмы бежали два преступника, и в тексте появился беглец Селден. Публикация началась в августовском номере «Стрэнда» с подзаголовком «Еще одно приключение Шерлока Холмса» и продолжалась по апрель 1902-го. В этих же номерах «Стрэнда» печатались «Первые люди на Луне» Уэллса – позавидуешь тогдашним подписчикам.

Робинсон как автор не значился, но на титульном листе было написано: «Появление этой истории стало возможным благодаря моему другу, мистеру Флетчеру Робинсону, который помог мне придумать сюжет и подсказал обстоятельства». В 1902-м Ньюнес издал «Собаку»

отдельной книгой – там тоже были слова благодарности. За британским изданием сразу последовало американское, затем «Собаку» начали одновременно переводить на множество языков (по-русски она была впервые издана в 1905-м). В многочисленных переизданиях благодарность Робинсону порой опускалась – но это уже на совести издателей, которые не очень-то советовались с авторами по подобным «пустякам». Робинсон умер в 1907 году от брюшного тифа; в 1929-м в предисловии к полному собранию рассказов о Холмсе Дойл вновь упоминал о том, что Робинсон подсказал ему идею книги: «"Собака Баскервилей" – итог замечания, оброненного этим добрым малым, Флетчером Робинсоном, скоропостижная кончина которого стала утратой для всех нас. Это он рассказал мне о призрачной собаке, обитавшей близ его дома на Дартмурских болотах. С этой байки и началась книга, но сюжет и каждое ее слово – моя и только моя работа».

Сам Робинсон при жизни никакого недовольства не выказывал; в интервью американскому журналу «Букман» в октябре 1901-го сказал, что «Собака» «частично принадлежит ему», против чего, в свою очередь, не возражал Конан Дойл; правда, пресса, как водится, слегка исказила слова Робинсона и получилось, что он «все придумал», а Дойл «только написал» (литератор поймет иронию). Сам Робинсон никогда не считал себя автором книги (как Катаев не считал себя автором «Двенадцати стульев», а Пушкин – «Ревизора»). Оба остались в превосходных отношениях, называли себя друзьями, интенсивно переписывались, играли в гольф, бывали на одних и тех же званых обедах. Когда Дойл потерпел неудачу на выборах, Робинсон написал сочувственную заметку; когда сам Робинсон в 1904-м опубликовал несколько детективных рассказов, он подписался как «соавтор Конан Дойла в его лучшем произведении – „Собаке Баскервилей“», против чего Дойл опять-таки не возражал. Многие считают, что Робинсон послужил одним из прототипов обаятельного Эдварда Мелоуна, соратника профессора Челленджера. Короче говоря, все было абсолютно безоблачно.

Почему, собственно, этому вопросу мы уделяем такое внимание? Дело в том, что время от времени в печати высказываются сомнения по поводу авторства «Собаки». Благодаря интервью Робинсона они высказывались и при жизни Конан Дойла – так что в предисловии к полному собранию холмсовских рассказов ему пришлось подчеркивать, что текст книги полностью принадлежит ему. А в 1961-м старый кучер Баскервиль заявил в интервью Би-би-си, что «Собаку» написал не Дойл, а его тогдашний хозяин; разумнее, наверное, было промолчать, но Адриан Дойл, не обладавший чувством юмора, яростно вступился за честь отца, чем только привлек внимание к речам бывшего кучера.

На этом история отнюдь не кончилась: пожилой британец Роджер Гаррик-Стил, в разные периоды своей жизни работавший инструктором по плаванию и сотрудником похоронного бюро, а ныне называющий себя психологом и литератором, очень, по-видимому, огорченный тем, что жизнь Конан Дой-ла какая-то недостаточно «вкусненькая» по нынешним временам, потратил 11 лет на создание труда, изданного в 2002 году, в котором утверждал, что: а) Робинсон написал «Собаку» и затем шантажировал этим Дойла, и тот его отравил; б) Дойл жил с женой Робинсона, и та помогла ему отравить мужа.

Казалось бы, любой вменяемый человек, хоть чуточку знающий биографию доктора Дойла и хоть в малейшей степени понявший его характер, по прочтении этой книги (которую отклонили 90 издательств и в которой критики нашли более десяти тысяч (!) ошибок не только в исторических деталях, но также в орфографии и грамматике) должен пожать плечами и тотчас выкинуть ее из головы. Как бы не так: книгу Гаррика-Стила до сих пор всерьез обсуждают; как только выходит в свет очередная биография Дойла, один из первых вопросов, который интервьюеры задают автору: считает ли он, что его герой убил Робинсона? И автор вынужден так же серьезно на этот вопрос отвечать, приводя массу доказательств невиновности доктора – в том числе результаты почерковедческих экспертиз. Эндрю Лайсетта спросили, считает ли он версию Гаррика-Стила правдивой, и тот отвечал, что перелопатил громадное количество документов и не нашел абсолютно ничего, что могло бы свидетельствовать в ее пользу. И из-за такой чуши (эпитет «собачья» в данном контексте вполне уместен) серьезным людям приходится перелопачивать громадное количество документов! В 2005-м Гаррик-Стил заявил, что потребует эксгумации тела Робинсона; в 2006-м группа британских ученых (не литераторов и не инструкторов по плаванию, а биологов, историков и судмедэкспертов: Саймон Брэй, Гьян Фернандо, Сьюзен Петерсон, Мэтт Ричард), а также члены семьи Робинсон были вынуждены, в свою очередь, просить епархию Эксетера, где похоронен журналист, об эксгумации, чтобы положить конец идиотским сплетням и защитить от них не столько Дойла, сколько Робинсона и его жену. Скорее всего, эксгумация рано или поздно состоится, но разговорам все равно не будет конца.

Кстати, не менее занятная версия о причинах смерти Робинсона возникла еще в начале прошлого века (она также всерьез обсуждается доныне): в Британском музее журналист осматривал и фотографировал египетскую мумию, которая к тому времени уже якобы

погубила нескольких исследователей. Тут опять не обошлось без Конан Дойла: он не раз писал о мумиях, в частности, в рассказах «Кольцо Тота» и «Номер 249». Журналисты спрашивали, склонен ли он считать мумию причиной смерти Робинсона; доктор отвечал, что причиной смерти является брюшной тиф, но при этом заметил, что отговаривал своего друга этой мумией заниматься – как бы чего не вышло. Надо полагать, Дойл сам и натравил мумию на Робинсона. А в 1912-м, как мы дальше увидим, они на пару с Шоу потопили «Титаник», чтобы развязать вокруг него дискуссию и привлечь к себе внимание...

Обратимся наконец к самой «Собаке». Почти все исследователи сходятся на том, что самое сильное в ней не сюжет и даже не герой, а атмосфера. «Передо мной в лунном свете лежали болота; низко стлавшийся туман, казалось, заколыхался, когда я открыл дверь. Он как будто настороженно прислушивался. И казалось, над болотом витало что-то зловещее, чего я никогда раньше не ощущал. <...> Миллионы звериных существ прожили свою жизнь, оставив после себя обломки, орудия, камни, которые они обтесали, и кости, которые они обглодали. Нет камешка в болоте, которого они не держали бы в руках, нет кочки, которой бы они не попирали ногами миллиарды раз». Признаемся в обмане: это цитаты вовсе не из «Собаки Баскервилей», а из повести Уэллса «Игрок в крокет», написанной многими годами позднее «Собаки», и ничего более мрачного и давящего, чем эта маленькая вещь, Уэллс не написал. Не Уотсон с Холмсом, не мрачный Баскервиль-холл и не несчастное животное, убитое ни за что ни про что, а сама унылая трясина с поднимающимися из нее испарениями кровавой древности – вот фундамент, на котором воздвигнуто великолепное готическое здание «Собаки»; и главная заслуга Робинсона не в том, что он рассказал Дойлу довольно заурядную, хоть и прелестную легенду, а в том, что он привез его в Дартмур: торфяные болота Дойл уже видел и описывал, но соединить мрачность болот со зловещей тенью древнего существа – это была воистину замечательная художественная находка.

Дойл никогда не был склонен к символам, но в «Собаке» литературоведы видят символику на каждом шагу. В самом деле, при чем здесь, казалось бы, неолитический человек и его череп? Добро б хоть какие-нибудь археологи в сюжете фигурировали. Но черная собака – мрачный, жуткий зверь, а древний человек – мрачное, жуткое «звериное существо», чьи останки сквозь века источают зло. Вероятно, Дойл, символизму совершенно чуждый, своими упоминаниями о древних черепах просто-напросто хотел пустить читателя по ложному следу, заставив его, поеживаясь, предположить, что убийства совершал этот самый доисторический человек – вариант ожившей мумии. Но в результате получилась символика. «Глядя на иссеченные примитивным орудием склоны холмов, на которых темнеют эти пещеры, забываешь, в каком веке живешь, и если бы вдруг под низким сводом одной из них появилось одетое в звериную шкуру волосатое существо и вложило бы в лук стрелу с кремневым наконечником, вы почувствовали бы, что его присутствие здесь более уместно, чем ваше». Звериная шкура, звериное существо, зверские убийства, сплошное зверство; в «Собаке» вообще очень много упоминаются животные, причем всегда в очень мрачном контексте. Ужасные крики выпи, растерзанная собачка доктора Мортимера, чайка, одиноко парящая над просторами топей, несчастный дартмурский пони: «В зеленой осоке перекатывалось и билось что-то живое. Потом над зарослями мелькнула мучительно вытянутая шея, и болота огласились страшным криком». Даже мертвые камни на болотах «напоминают гигантские гнилые клыки какого-то чудовища».

Фаулз замечал в «Кротовых норах»: «Нечего и говорить, что в действительности Черная собака – это сами болота, то есть неприрученная природа, нечеловеческая враждебность, кроющаяся в самой сердцевине такого ландшафта. В этом – всеохватывающий ужас, и Конан Дойл в тот дождливый день, сидя у камина в норфолкской гостинице, должно быть, сразу же понял, что ему наконец удалось отыскать „врага“, гораздо более сложного и устрашающего, чем любой преступник в человеческом облике». Современному нашему читателю, давно знающему «Собаку» наизусть и – благодаря очаровательному фильму Масленникова – усвоившему в основном ее комическую сторону, трудно представить себе, что при чтении этой истории кто-то может по-настоящему испугаться. Ребенку, впервые открывшему книгу, может быть страшно, но не взрослому. Но это когда сидишь дома. А вот если судьба занесет ночью на болота и вдруг увидишь, как в их темной глубине «что-то живое перекатывается и бьется» – тут как бы не случилось инфаркта..

Но Дойлу мало пугать нас (пусть не нас – наших маленьких детей) мрачной топью, злобно скалящимися черепами и мучительно гибнущими животными; настойчиво, как ни в одном из своих текстов – за исключением разве только «Хирурга с Гастеровских болот», – он сгущает атмосферу, постоянно используя в разных вариациях одни и те же слова, одни и те же унылые краски. «Я уже говорил, что над Гримпенской трясиной стлался густой белый туман. Он медленно полз в нашу сторону. Лившийся сверху лунный свет превращал его в мерцающее ледяное поле, над которым, словно черные пики, вздымались верхушки отдаленных гранитных столбов. <...> Над Баскервиль-холлом низко нависли тучи; время от времени гряда их редеет,

и тогда сквозь просветы вдали виднеются мрачные просторы торфяных болот. <…> Вдали, над самым горизонтом, низко стлалась мглистая дымка, из которой проступали фантастические очертания Лисьего столба». И туман, и дождь, и луна – всё низко, низко, медленно, тяжко, стелется, ползет. Доктор Дойл никогда не был блестящим пейзажистом, но тут уж он постарался на славу. Ему удавались «страшные» рассказы и удавались «уютные» детективы; впервые он свел то и другое воедино – и получился шедевр.

В холмсиане «Собака» вообще стоит особняком, возвышаясь, как черный гранитный столб над трясиной: она во всем необычна. Литературоведы отмечают в ней массу больших и малых отступлений от канона. Уотсон проводит самостоятельное расследование хоть и с ошибками, но отнюдь не без пользы. Холмс называет Лестрейда «лучшим сыщиком» и признается, что нуждается в его помощи. Холмс оказывается слаб, непонятлив, совершает серьезные промахи, что бывало с ним только в ранних рассказах; ему кажется, что сэр Генри погиб – и вот он, «словно обезумев, схватился за голову: „Чего я медлил, дурак!“». От сознания собственной вины он набрасывается – чего с ним сроду не бывало – с попреками на друга. Давно не писавший о Холмсе доктор Дойл уже забыл о том, как старательно делал своего героя схематичным, как безжалостно обрезал все побочные ветви; как в «Этюде» и «Знаке четырех», в «Собаке» чрезвычайно много избыточного. Дойл никогда не преуспевал особо в создании второстепенных персонажей, но Френкленда, который вечно судится, не забудешь никогда.

Карр сказал о «Собаке»: «В ней единственной повествование берет верх над Холмсом, а не Холмс над повествованием; читателя в ней очаровывает не столько викторианский герой, сколько дух готического романтизма». Но одно без другого невозможно. Болотам, туману и диким зверям противостоит обычный дойловский уют: в пещеру доисторического человека Холмс приносит цивилизацию – очаг, консервные банки (одна – с копченым языком, другая – с персиками в сиропе), ведра, кружки, одеяла, непромокаемый плащ, чистые воротнички, бутылку виски. Страшны после этого торфяные болота? Да, немножко страшны – и при этом уютны, как всё, что описывал доктор Дойл. Дьявол? «Трудно представить себе дьявола с такой узкой местной властью. Ведь это не какой-нибудь член приходского управления». В «Собаке» полным-полно тихого, мягкого комизма; это уже не готическая традиция, а викторианская – ее-то и уловили создатели нашего знаменитого фильма, по заслугам награжденного британской королевой.

В первые годы своего существования «Собака» никем не оценивалась как один из лучших текстов холмсианы. Критики не выделяли ее из массы других рассказов о Холмсе. Читатели радовались ее появлению потому, что вновь получили Холмса – и очень рассердились, когда до них дошло, что он не ожил, и стали требовать других рассказов. Всерьез и много «Собакой» стали заниматься значительно позже. Созданная на основе простодушной сельской легенды, обрастающая – с каждым новым поколением литературоведов – тысячами смыслов, которые простодушный (но хитрый) доктор Дойл в нее, быть может, и не думал вкладывать, она сама превратилась в легенду.

Впрочем, далеко не все считают, что «Собака» так уж хороша. «Есть люди, полагающие, что критиковать эпопею о Холмсе – это все равно что колошматить кувалдой по бабочке или, точнее говоря, по чему-то вроде изящной готической беседки, превратившейся к настоящему времени в памятник, в народное достояние», – сказал Фаулз. Он, правда, признал, что холмсиана, как всякий классический детектив, есть сказка и критиковать ее по несказочным законам бессмысленно – но тут же принялся критиковать. Торфяники на самом деле выглядят совсем не так, как их описал Дойл, и флора на них совсем другая. Постоянное употребление слов «мрачный» и «черный» выглядит нарочито. Женские образы абсолютно неубедительны. «Старинный» документ, который зачитывает доктор Мортимер, стилизован прескверно. Стэплтон просто из рук вон плохо написан; «его пристрастие к энтомологии, мания гоняться в соломенной шляпе за английскими бабочками, никак не соответствует ни его прошлому, ни его настоящему». Все прочие персонажи «представляют собой весьма жалкое зрелище». Расследования и логики в «Собаке» мало. Изобретательности – еще меньше. Холмс карикатурен. Уотсон чересчур глуп. Вдобавок в тексте не хватает воздуха: «Все происходит слишком быстро, слишком наглядно, события громоздятся друг на друга, словно это фильм по книге, а не сама книга». Разделал Фаулз творение доктора Дойла в пух и прах – мол, скучно и совсем не страшно. И тут же рассказал, как сам в 1946 году побывал на Дартмурских болотах. «Неожиданно в полной тишине огромная черная тень двинулась и встала в расщелине между двумя уступами, прямо надо мной. Никогда не забуду того чисто атавистического ужаса, что завладел мною на несколько мгновений, прежде чем я сообразил выхватить имевшийся у меня сигнальный пистолет. ясно, что я остался в живых, раз могу рассказать эту историю. Ну да, конечно, это скорее всего был одичавший пони; но то, что я увидел, – подобно множеству жителей болот, одиноко бродивших в тумане, – была Собака».

«Собака Баскервилей» принесла доктору Дойлу хороший доход – как и все его книги.

Перестройка дома давно завершилась, денег в семье было предостаточно; доктор мог в очередной раз дать волю своим задаткам бизнесмена: «Полагаю, человеку следует изучить все стороны жизни, и если он не примет участия в коммерции, то не уловит ее весьма существенной стороны». Он сам отмечал, что в его натуре была некая предпринимательская жилка, основанная скорее на любви к приключениям, нежели на надежде на прибыль. Доктор неоднократно вкладывал деньги в такие предприятия, которые трудно назвать иначе как авантюрами: он инвестировал средства то в операцию по подъему затонувшего двести лет тому назад испанского галеона, то в экспедицию на острова, где, по слухам, «в каждом птичьем гнезде лежало по алмазу» – всякий раз с одним и тем же плачевным результатом. «Если бы каждый раз, получив деньги, я выкапывал яму в саду и там их зарывал, я был бы сейчас куда богаче», – писал он в старости, вспоминая о своей неудачной попытке разбогатеть на родезийском золоте и других предприятиях подобного рода. Но доктор несколько преувеличивал свою деловую неудачливость. Ему случалось покупать акции удачно и получать доход.

Дойл также пробовал управлять коммерческими предприятиями – и вполне успешными. С 1901-го он стал членом правления известной фирмы «Рафаэл Тук», производившей детские книги, открытки, сувениры, игрушки и головоломки: предприятие было процветающим и делало много новаторского – в частности, именно эта фирма начала производство книг-«раскрасок» и паззлов. Несколькими годами позднее он вошел в совет директоров другого всемирно известного предприятия – компании «Бессон» по производству духовых музыкальных инструментов: основатель фирмы, в честь которого она названа, знаменит тем, что создал и зарегистрировал корнет, который до сих пор считается образцовым изделием в своей отрасли. Обе фирмы были на плаву до того, как доктор Дойл присоединился к управлению ими, и он ничего не испортил. Когда он брался управлять чем-нибудь самостоятельно, получалось гораздо хуже.

9 сентября 1901 года в театре «Лицеум» состоялась лондонская премьера пьесы «Шерлок Холмс» в постановке Джиллетта: это было то, что теперь называют «по мотивам», но публике понравилось. Автор в этот период был занят исключительно книгами о бурской войне: сперва – их созданием, затем – изданием и перепиской с критиками и читателями; все это продолжалось до апреля 1902-го. 10 апреля он поехал в Италию немного отдохнуть и проведать свою сестру Иду, которая жила с мужем в Неаполе. Луиза осталась в Хайндхеде. Джин его провожала. Мэри Дойл получила от сына откровенное письмо: «Она украсила мою каюту цветами и с двух сторон поцеловала подушку. В последний раз я видел ее лицо уже в тени навеса, куда она спряталась, чтобы не видели, что она плачет. Я рассказываю это Вам, матушка, потому что Вы можете понять и знаете, как много значат подобные мелочи». К этому времени уже и Хорнунги примирились с его отношениями с Джин – во всяком случае, внешне. Доктор мог позволить себе отпуск. По возвращении его ждало рыцарское звание – за книги о бурской войне, послужившие, как считали в правительстве, защите чести Британии; ему еще зимой сообщил об этом лично Эдуард VII, пригласив доктора к обеду. Но Дойл не радовался: принимать этой почести он не хотел.

Английские рыцарские ордена – явление уникальное, отличающееся от орденских награждений в большинстве стран; орден по замыслу – вовсе не награда, а причисление к сообществу людей, якобы объединенных служением высшим целям и идеалам. В современную эпоху это стало обыкновенной государственной наградой за различные заслуги, но формально считается по-прежнему не наградой, а почестью. Посвященный в рыцари получает орден Британской империи, а также звание рыцаря и титул «сэр», который ставится перед его именем, а его жена получает право на приставку «леди». У нас очень часто путают «сэра» с «пэром», и даже в англоязычных заметках нам попадалось утверждение, что Конан Дойл был пожалован пэрством. На самом деле пэрство и «сэрство» – разные вещи. Пэрство – понятие, включающее в себя пять дворянских титулов; низший из них – баронство – может быть не наследственным, а пожизненным, пожалованным указом суверена, и дает право заседать в палате лордов; Дойл его никогда не имел, хотя, как принято считать (об этом мы будем говорить в дальнейшем), возможность такая у него была.

Что касается почестей, то может быть разная их степень: например, человек получает только орден Британской империи, без звания рыцаря и без титула; если же в рыцари посвящается иностранец, он не может пользоваться титулом, но получает право добавлять к своему имени аббревиатуру, указывающую на то, что он получил звание рыцаря – как, к примеру, Билл Гейтс или Стивен Спилберг. Дойлу все это казалось устаревшим, вульгарным и смешным; рыцарское звание – если оно присуждается не военачальнику – он называл «значком провинциального мэра». Не то чтобы он не уважал рыцарей (настоящих) – скорее он относился к ним слишком серьезно, чтобы ему могла нравиться современная пародия на них. Многие умные, скромные и хорошие люди спокойно принимали и принимают рыцарские почести именно потому, что справедливо считают их забавной или красивой формальностью, за

которой скрывается обычная награда за работу. Дойл думал иначе. Тремя годами ранее он принял знак отличия Италии именно потому, что это была «всего лишь» награда – да и то терпеть не мог упоминать о нем. «Я никогда не ценил титулов, – писал он матери, – и никогда не скрывал этого. Я могу представить себе человека, который под конец долгой и плодотворной жизни принимает титул как знак признания проделанного им труда, как было, например, с Теннисоном; но когда не старый еще человек нацепляет на себя рыцарские достоинства, утратившие всякое значение, – об этом нечего и думать».

Дойл не стал бы первым человеком, который отказался от подобной почести, и далеко не последним – откажутся Джозеф Конрад, Грэм Грин, Олдос Хаксли, Ивлин Во, Джон Леннон (последний примет, затем вернет) и еще множество народу; некоторые принимали орден, но отказывались от звания и титула. О своем намерении Дойл неоднократно писал матери: «Звание, которым я более всего дорожу, – это звание доктора». Мэри была в бешенстве: в звании доктора она ничего привлекательного не видела, зато получение сыном титула ей казалось верхом счастья. Дойл написал матери, что не примет рыцарства, даже если три самых дорогих ему человека – она, Лотти и Джин – будут на коленях умолять его об этом. (Луиза в список самых дорогих в этом контексте не вошла – быть может, еще и потому, что никогда не пыталась давить на мужа и ее мало волновало, станет он рыцарем или нет.)

Ожесточенная дискуссия между матерью и сыном продолжалась всю весну. «Это люди, подобные Альфреду Остину или Холлу Кейну, принимают награды, – со злостью писал Дойл. – Вся моя работа для страны окажется осквернённой, если я приму так называемую „награду“». Вот, пожалуй, еще одна маленькая (а может, и не такая уж маленькая) причина, из-за которой он не желал принять почесть: дело в том, что Альфред Остин и Холл Кейн были очень плохими писателями – почти что притчей во языцех. Остин был официальным придворным поэтом и писал совершенно жуткие стихи; о Кейне Оскар Уайльд сказал, что «его книги – сплошной вопль, за которым не слышно слов». Дрянные писатели с радостью принимали награды, а великий Киплинг – отказался.

Однако в конце концов Мэри победила: ей удалось внушить сыну, что публичный отказ от титула оскорбит короля (хотя король лишь формально утверждал списки – как президенты утверждают списки представленных к наградам) и вообще будет выглядеть неприлично. Уступил ли доктор только матери, или на него также давила честолюбивая Джин, или друзья-масоны, или еще кто-нибудь – на этот вопрос однозначного ответа нет. Возможно, какая-то часть его души была не прочь принять почести; впоследствии, вероятно, он о своей слабости пожалел – то, что должно было сделать автору в соответствии с его убеждениями, в рассказе «Три Гарридеба» совершит Холмс, более цельный человек и к тому же не имеющий тщеславных родственников женского пола.

Присвоение званий должно было состояться при коронации Эдуарда VII; она сперва была назначена на 26 июня, но у короля случился приступ аппендицита. Церемония прошла 9 августа (по некоторым источникам – 24 октября). «Помню, что, направляясь в Букингемский дворец для совершения обряда посвящения в рыцарское звание, я увидел, что всех, кто ожидал различных наград, загнали, согласно их титулу и званию, в смехотворно маленькие клетушки, где они ожидали своей очереди». В одну клетку с Дойлом загнали профессора Оливера Лоджа, выдающегося английского физика (рыцарское достоинство ему было пожаловано за работы по исследованию атома и теории электричества) и убежденного спирита, и два будущих рыцаря (они были знакомы по Обществу психических исследований), убивая время в очереди, беседовали о потустороннем мире. Что касается взглядов Конан Дойла на спиритизм, то по сравнению с 1891 годом никакой особенной эволюции не произошло: в реальности большинства спиритических явлений он уже давным-давно был убежден и «сомневался только, нет ли какого-нибудь иного возможного объяснения невоплощенного разума как стоящей за ними силы» – иначе говоря, был еще чрезвычайно далек от того, чтобы возвести спиритизм в ранг религии. В 1901 году вышла книга Фредерика Майерза «Человеческая личность и ее дальнейшая жизнь после физической смерти», которая произвела на Дой-ла сильнейшее впечатление; тем не менее он по-прежнему не видел в спиритизме какого-то всеобъемлющего смысла и его сильно удручала ничтожность наблюдаемых им феноменов. Лодж, по словам Дойла, уже в ту пору продвинулся в своих взглядах намного дальше. Беседа с таким авторитетным ученым оставила в душе доктора значительный след – а все-таки до конца не убедила.

Орден, звание и титул Дойл получил, но был недоволен пуще прежнего и брюзжал – до предела формальный характер церемонии и в особенности очереди и «клетки» привели его в ярость. Он писал Иннесу: «Они сделали меня каким-то вице-губернатором Суррея» и сравнивал себя (в мундире) с «обезьяной на шесте». Поздравления, полученные отовсюду, успокаивали его лишь отчасти. Уэллс написал ему: «Я считаю, что поздравлять нужно тех, кто имел честь оказывать почести Вам»; в свете отношения Дойла к Уэллсу вряд ли можно

надеяться, что эти слова были ему так уж лестны; не исключено, что он про себя подумал, что Уэллс с его плебейским происхождением был бы рад получить титул. Больше утешило его письмо от знакомого издателя Гуинна, который сумел найти нужные слова: «Я приравниваю вашу работу во время этой ужасной южноафриканской истории к действиям удачливого генерала». В том фрагменте мемуаров, где доктор описывает историю с титулом, явно чувствуется смущение: похоже, и через много лет ему все еще казалось, что он в этой ситуации был смешон. «Звание, которым я более всего дорожу, – это звание доктора» – ну и не будем впредь называть нашего героя сэром Артуром, пусть он навсегда останется доктором Дойлом.

Другая награда, которую доктор получил годом позднее, грела его душу гораздо больше. Ее преподнесли ему родители солдат, воевавших в Южной Африке: то была серебряная чаша с выгравированной на ней надписью: «Артуру Конан Дойлу, который во времена великого кризиса словами и делами служил своей стране».

В августе Дойл снова поехал в Девоншир – там у него была запланирована встреча с Джин Леки, которая отдыхала на курорте Ли-Бей. Он устроил для Джин экскурсию по следам «Собаки Баскервилей»; та была в восторге. Потом Джин вернулась в Лондон, а доктор оставался в Девоншире еще в течение сентября. Он жил в доме Ньюнеса: играл в крикет и гольф, купался, работал. За лето и осень 1902-го Дойл написал новую серию рассказов о бригадире Жераре, составившую – вместе с написанным еще до войны и опубликованным в январе 1900-го рассказом «Как бригадир убил лису» – сборник «Приключения бригадира Жерара». Приводим их в порядке опубликования в «Стрэнде» с августа 1902-го по май 1903-го: «Как бригадир лишился уха» («How Brigadier Gerard Lost His Ear»), «Как бригадир спас армию» («How the Brigadier Saved the Army»), «Как бригадир побывал в Минске» («How the Brigadier Rode to Minsk»), «Как бригадир действовал при Ватерлоо» («How the Brigade Bore Himself at Waterloo»), «Как бригадир прославился в Лондоне» («How the Brigadier Triumphed in England»), «Как бригадир взял Сарагосу» («How the Brigadier Captured Saragossa»), «Последнее приключение бригадира» («The Last Adventure of the Brigadier»). По сравнению с ранними жераровскими рассказами в них чуть меньше комизма и чуть больше лирической грусти: бригадир все время думает о смерти: «Просто диву даешься, как незаметно подкрадывается старость. Не думаешь не гадаешь: душа все так же молода, и не чувствуешь, как разрушается и дряхлеет тело. Но наступает день, когда понимаешь это, когда вдруг, как блеск разящего клинка, осеняет прозрение, и видишь, каким ты был и каким стал».

России (если быть точным – Белоруссии) в этой серии посвящен целый рассказ. Жерар встречается с капитаном гродненских драгун (вообще-то таких частей не было, были гродненские гусары, но, согласитесь, это мелочь) по имени Алексис Бараков – это очень милый, честный и благородный человек, хотя и враг, – а также с прекрасной русской девушкой Софи и со злодеем майором Сержиным – то был «рослый малый со свирепым, жестоким лицом и щетинистой черной бородой, которая топорщилась поверх его кирасы». Есть среди историй и описание битвы при Ватерлоо; в «Великой тени» автор уже сражался в этой битве на стороне англичан, теперь – под началом Наполеона. Все рассказы так же энергичны, так же очаровательны и так же представляют собой в своем роде литературное совершенство, как и рассказы предыдущей серии.

Весной 1903 года у доктора Дойла появилось новое увлечение: он купил машину. Это был автомобиль фирмы «Вулсли», основанной Гербертом Остином и Фредериком Вулсли; завод по производству этих машин находился в городе, который был Дойлу очень хорошо знаком: Астон под Бирмингемом, тот самый, где Артур когда-то работал у доброго доктора Хора. Заранее купив длинный плащ, кепочку, какие тогда носили все автомобилисты, и шоферские «лягушачьи» очки, он сам поехал за машиной и выбирал ее сам: двенадцать лошадиных сил, цвет темно-синий. Шофера у него не было, был только кучер, которого он отправил в Бирмингем учиться на шоферских курсах, и домой он повел свой «вулсли» тоже самостоятельно. Ему пришлось проехать около 150 миль. Как ни странно, машину он привел в целости и сохранности и даже остался жив.

Автомобилистом он был страстным и, как многие автомобилисты, «провел под машиной ровно столько же времени, сколько и в ней». Бывало, его штрафовали за то, что он ехал с ужасной, недопустимой скоростью 30 миль (примерно 60 километров) в час; размер штрафа составлял пять фунтов. Нередко попадал в аварии, в которых были чаще всего виноваты лошади. Вот его описание типичного ДТП того времени: «Первая лошадь, вероятно, никогда прежде не видавшая автомобиля, уперлась в землю передними ногами, вскинула уши, уставилась застывшим взглядом вперед, затем мгновенно оборотилась кругом, взбежала вверх по откосу и попыталась скрыться, обойдя свою подругу. И ей бы это удалось, если б не телега, которую она втянула на откос. Вместе с телегой лошадь повалилась на вторую лошадь с телегой, и все так перемешалось, что распутать было невозможно. Телеги были нагружены репой, которая и

украсила сверху сцепившиеся оглобли и бьющихся лошадей. Я выскочил из машины и попытался помочь разъяренному фермеру что-то поднять и поставить, но тут глянул на свой автомобиль – он въехал в общую свалку..» Все это приводило доктора в совершенный восторг, и автомобиль он называл важнейшим изобретением современной цивилизации не потому, что он служил средством передвижения, а за то, что «способствовал развитию в человеке находчивости и способности быстро соображать».

Правда, зимой 1904-го он (вместе с Иннесом) попал в действительно ужасную аварию: при подъезде к «Андершоу», взбираясь на откос, «вулсли» въехал в столб и потерял управление; водителя и пассажира выбросило из машины, и та, перевернувшись, всею тяжестью обрушилась на Дойла. На какое-то мгновение силу удара приняло на себя рулевое колесо – это спасло доктору жизнь. Он лежал ничком, и машина с чудовищной силой вдавливала его в гравий. Он не мог ни шевельнуться, ни застонать. «Я чувствовал, что тяжесть нарастает с каждой минутой, и думал о том, как долго сможет выдержать мой позвоночник». Хотелось бы знать, вспоминал ли бедный доктор в те минуты свой «Палец инженера»: «Если лечь на живот, то вся тяжесть придется на позвоночник, и я содрогнулся, представив себе, как он захрустит. Лучше, конечно, лечь на спину, но достанет ли у меня духу смотреть, как неумолимо надвигается потолок». Иннес созвал людей и те спасли доктора, когда он уж переставал дышать. Следствием этой катастрофы было то, что Дойл. купил еще один автомобиль и мотоцикл.

Но доктору мало было покупать машины и ездить на них; он решил их сам производить. Отрасль перспективная, быстро развивающаяся, к тому же чрезвычайно интересная; вложения обещали приносить большой доход. Он не сомневался, что справится. В 1903 году он совместно с автомобильным конструктором Уоллом, известным своим пристрастием к необычным проектам, основал небольшую компанию по производству мотоциклов «РОК»; производство сперва базировалось в городе Гилфорд, а на следующий год переехало в индустриальный Бирмингем. Деньги внес Дойл, а Уолл занимался проектированием. Фирма производила в основном двухколесные мотоциклы мощностью от двух до шести лошадиных сил, а также велосипеды и автомобильные колеса. (Любопытно, что Дойла всю жизнь попрекали ошибкой, которую он вроде бы допустил в рассказе «Случай в интернате» относительно следов велосипедных колес – а рассказ-то был написал как раз в тот период, когда он занимался колесами профессионально...) Позднее, в 1911-м, Уолл и Дойл в городе Тизли основали еще одну компанию, «Уолл Трикар», которая выпускала довольно оригинальные машины – трехколесные мотоколяски; вместо рулевого колеса в них сперва использовался особый рычаг, но потом Уолл вернулся к обычной конструкции. Дела у обеих фирм шли ни шатко ни валко: продукция продавалась плохо, Уолл считал, что для исправления положения нужно совершенствовать конструкции, расширять модельный ряд: он постоянно придумывал что-нибудь новое и просил у своего партнера новых вложений – тот делал их, чтобы спасти прежние, но ситуация выправлялась лишь ненадолго. Обе фирмы обанкротились и прекратили свое существование в 1915 году. Разумная, осторожная Луиза ездить в автомобилях не любила. Зато любила Мэри Дойл – и, само собой, дети. Разумеется, катал доктор и Джин Леки; не исключено, что именно во время этих поездок летом 1903-го он обсуждал с ней сюжет нового рассказа «Пустой дом» («The Adventure of the Empty House») – рассказа, которого мир с нетерпением ждал почти десять лет.

Еще до того как Дойл отдал в «Стрэнд» законченный текст «Собаки», Ньюнес и Гринхоф выразили ему свое огорчение по поводу того, что Уотсон повествует о некоей давней истории и Холмс не ожил по-настоящему. Читатели также были расстроены и писали доктору гневные письма. Ньюнес предлагал автору воскресить Холмса и обещал платить по 100 фунтов за тысячу слов – гонорар по тем временам беспрецедентный; американские издатели сулили вдвое больше. Для сравнения: за рассказ «Убийца, мой приятель», в котором 7 500 слов, Дойл когда-то получил три фунта – получается 0,4 фунта за тысячу слов. Теперь его тексты ценили в 200 с лишним раз выше. В среднем в холмсовских рассказах Дойла примерно по десять тысяч слов – если учесть, что автомобиль стоил тогда порядка 500—600 фунтов, то за один рассказ можно было купить два автомобиля.

Он решил согласиться. Обычно пишут, что сделал он это исключительно из материальных соображений. Дом, в котором беспрестанно что-то достраивалось и перестраивалось, съедал уйму денег. Больших расходов по-прежнему требовало лечение Луизы. Дети росли, нужно было платить за учебу. Дойл помогал материально Иннесу, любителю жить на широкую ногу, и всем своим сестрам, хотя у них и были мужья. Сам доктор к тому времени тоже привык жить широко – да и вообще глупо отказываться от таких баснословных сумм, когда их пытаются тебе всучить едва ли не насильно. Матери он писал о своем решении продолжать холмсовские рассказы очень сухо: «Не вижу причин, почему бы мне за них снова не взяться». Вероятно, так все и было; хотя не исключено и другое: после «Собаки», которую Дойл писал не из корысти, а с абсолютным наслаждением, с каким обычно создаются шедевры, он почувствовал, что

немного соскучился по Уотсону и Холмсу и ему есть что еще сказать о них.

Но как воскресить покойника? Шестилетний Артур так и не смог придумать, как извлечь путешественника из желудка тигра, но теперь автор стал профессионалом и был обязан уметь выкручиваться. Дойл был не первым писателем, оказавшимся в подобной ситуации. Понсон дю Террайль закончил свой последний (как он думал) роман о похождениях Рокамболя тем, что героя связали, посадили в стальную клетку и сбросили в море с корабля. Воскресить Рокамболя и продолжить серию романов было предложено другим авторам, но они, как ни бились, не могли изобрести способа спасения; тогда обратились снова к дю Террайлю, и он не мудрствуя лукаво написал следующее: «Выбравшись из пучины, Рокамболь мощными гребками поплыл к берегу... »

Неизвестно, знал ли Дойл эту историю и вспомнил ли он ее. Основная трудность с литературной точки зрения заключалась вовсе не в том, каким образом Холмс должен был выплыть – в конце концов, он был не связан и не в клетке, – а в том, как объяснить его чудовищную жестокость по отношению к другу, годами безутешно оплакивавшему его. «Приношу тысячу извинений, дорогой Уотсон, но мне было крайне важно, чтобы меня считали умершим, а вам никогда бы не удалось написать такое убедительное сообщение о моей смерти, не будь вы сами уверены в том, что это правда». Звучит не слишком убедительно, но далее Холмс прибавляет: «За эти три года я несколько раз порывался написать вам.» – и, представив себе, как он в тоске начинает писать письмо, вздыхает и рвет листок бумаги, – читатель вместе с необидчивым Уотсоном, тоже вздохнув, прощает его.

Глава третья

ПУСТОЙ ДОМ

В конце сентября 1903 года толпы лондонцев атаковали книжные киоски: в «Стрэнде» (номер был октябрьский) опубликован «Пустой дом», Холмс вернулся, Уотсон овдовел. Тираж журнала возрос мгновенно. За «Пустым домом» последовали «Подрядчик из Норвуда» («The Adventure of the Norwood Builder»), «Пляшущие человечки» («The Adventure of the Dancing Men») и «Одинокая велосипедистка» («The Adventure of the Solitary Cyclist»). Все эти четыре рассказа Дойл написал за лето. Три из них – кроме «Велосипедистки» – он сам считал удачными и говорил матери и друзьям, что работает с легкостью и удовольствием, единственное затруднение – все время выдумывать сюжеты. Касательно «Пустого дома» он сам сказал, что обсуждал фабулу с Джин и она ему помогла; вероятно, обсуждались с нею и другие сюжеты, но, в отличие от истории с Робинсоном, никому не приходит в голову на этом основании считать Джин соавтором.

Вообще та осень была для Дойла в литературном отношении примечательная: у Ньюнеса вышли отдельной книгой «Приключения бригадира Жерара», а кроме того, издательство «Элдер и Смит» выпустило в свет двенадцатитомное собрание сочинений Дойла. (В нью-йоркском издательстве «Эпплтон» был добавлен еще тринадцатый том, включавший предисловие автора, обращенное к американскому читателю.) Осенью же были написаны все остальные рассказы, составившие сборник «Возвращение Шерлока Холмса» («The Return of Sherlock Holmes») – приводим их названия в порядке публикации в «Стрэнде» с февраля по декабрь 1904 года: «Случай в интернате» («The Adventure of the Priory School»), «Черный Питер» («The Adventure of Black Peter»), «Конец Чарлза Огастеса Милвертона» («The Adventure of Charles Augustus Milverton»), «Шесть Наполеонов» (« The Adventure of the Six Napoleons»), «Три студента» («The Adventure of the Three Students»), «Пенсне в золотой оправе» («The Adventure of the Golden Pince-Nez»; в этом рассказе в очередной раз появляются русские нигилисты – и люди они, в общем, неплохие), «Пропавший регбист» («The Adventure of the Missing Three-Quarter») и «Убийство в Эбби-Грейндж» («The Adventure of the Abbey Grange»). Последним рассказом, опубликованным в сентябре 1904-го, завершалась обещанная дюжина, но Дойл решил перевыполнить план и написал еще «Второе пятно» («The Adventure of the Second Stain»). Теперь у него были развязаны руки и он мог заняться чем-нибудь другим.

Более семи лет Дойл не писал романов; последним был «Дядя Бернак». И вот весной 1904-го он начал собирать материалы для новой большой работы, в которой должно было рассказываться о юности Найджела Лоринга. Дойл хотел сделать эту вещь очень давно – отвлекла война, потом помешал Холмс. Теперь он надеялся, что помех больше не будет. Действие романа «Сэр Найджел» («Sir Nigel») начинается в 1349 году—за 17 лет до событий, описанных в «Белом отряде», на двенадцатый год Столетней войны. Годом раньше по Англии прошлась чума: «Только такое страшное потрясение, разом изменившее всю жизнь, могло вырвать народ из железных цепей феодализма, сковавших его по рукам и ногам. Из смертного мрака выходила новая страна...» Почти год ушел на подготовительные работы: хотя эпоха была приблизительно та же, что и в «Белом отряде», но только приблизительно; все источники требовалось изучить заново.

Роман был окончен в 1905 году и начал публиковаться отрывками в «Стрэнде» в 1906-м. Он немедленно, как и все тексты Дойла, был переведен на русский язык. Но позже – вплоть до 1992-го – «Сэр Найджел» у нас не издавался. Это не единственный текст Конан Дойла, который не печатали в СССР. Но если в отношении некоторых из них причины неприязни объяснить можно, то чем провинился перед советской властью «Сэр Найджел» (притом что «Белый отряд» регулярно издавали) – какая-то загадка..

Юный Найджел живет в Тилфорде, родовом замке Лорингов: из-за доверчивости его отца, крючкотворства законников и алчности монастыря, расположенного по соседству, семья совсем разорена. Лорингов осталось двое: внук и бабушка, леди Эрментруда. «Ни ее седые волосы, ни согбенная спина не могли умалить чувство страха, который она внушала окружающим. Ее мысли и память постоянно обращались назад, в суровое прошлое. Англия нового времени казалась ей страной выродившейся, изнеженной, далеко отошедшей от старых добрых правил рыцарской учтивости и доблести». Начальные сцены романа, как и «Белого отряда», проходят в монастыре – не только потому, что средневековые монастыри были хозяйственными и экономическими центрами, вокруг которых сосредоточивалась феодальная жизнь, но и потому, что критика в адрес католической религии, которая была начата в «Белом отряде», – одна из основных тем и «Сэра Найджела». Уэверлийское аббатство, отнимающее земли у соседей и душащее их налогами, – главный враг Лорингов и всех окрестных

арендаторов:

«– Разве вы не почитаете святую церковь?

– Я почитаю все, что в ней есть святого. Но без всякого почтения отношусь к тем, кто выжимает последние соки из бедняков или крадет земли своих соседей».

Если в «Белом отряде» монахи, от которых удирает Хордл Джон, – просто комичные болваны, то Уэверлийское аббатство – сила могущественная и злая. Похожий монастырь (хотя и в другой стране) и почти ту же эпоху изобразил Умберто Эко в «Имени розы» – вот только сам Конан Дойл недодумался отправить туда Холмса с Уотсоном. Но монахи Уэверли очень похожи на монахов из безымянного аббатства Эко: крепкие хозяйственники, они куда больше заботятся о своей скотине, чем о спасении души; там и здесь настоятель – добрый, но ограниченный человек, а келарь – воплощение стяжательства. Даже начинаются два романа с одного и того же: с загадочной лошади. У Дойла в монастыре появляется неизвестно откуда взявшийся конь – у Эко, как в зеркале, монастырский конь теряется неизвестно куда. Преступление в аббатстве у Дойла, как и у Эко, тоже происходит – правда, это не убийство: просто Найджел наловил в речке щук и выпустил их в садок с монастырскими карпами, да еще изорвал в клочья судебные повестки, предписывавшие отдать Тилфорд аббатству и убираться куда глаза глядят. «Имя розы» завершается великолепной сценой пожара, в котором гибнет распутное аббатство; дойловское аббатство тоже погибло (его прокляла леди Эрментруда), но подробностей Дойл описать не захотел. Внимательный читатель легко найдет у Эко еще ряд отсылок не только к Холмсу, но и к Найджелу Лорингу.

Найджела судят монастырским судом, он не признает справедливости вынесенного приговора. Лучникам велят пристрелить дерзкого юношу, но один из них, чья семья тоже ограблена жадными монахами, отказывается – это наш старый знакомый Сэмкин Эйлвард. Тем не менее кровопролитие близится, но тут очень кстати появляется сам король (это тот же Эдуард III, что и в «Белом отряде», – он правил долго) со своим сыном Черным Принцем и своею свитой, и полководец Чандос, также знакомый нам по «Белому отряду», спасает юного Найджела от монахов и берет в свои оруженосцы, как сам Найджел семнадцатью годами позднее берет в оруженосцы Аллейна Эдриксона. За Найджелом, в свою очередь, увязывается Эйлвард, мечтающий пограбить французов. Попутно Найджел находит свою любовь и обещает будущей леди Лоринг совершить три подвига и стать рыцарем.

Доблестные англичане отправляются бить французов; опять дорога, опять «всеобъемлющая картина», где перечислены представители разных сословий, но на сей раз очень краткая – набросок умелыми штрихами. (Попадается, кстати сказать, парочка, живущая на болоте: разбойник и его жена, заманивающая прохожих в ловушку. Эта тема доктора не оставит никогда.) Встречают, в частности, революционера по имени Томас Безземельный, который сообщает путникам, что повсюду идут народные волнения, ибо простой люд задыхается под гнетом государства и церкви, и феодальный строй в Англии скоро падет: «.богатства надменных лордов всегда зиждутся на тяжком труде бедного, покорного Петра Пахаря, который от зари до зари, в жару, и в холод, и в дождь, из последних сил гнет спину на полях; предмет насмешек всех и каждого, он тем не менее держит на своих усталых плечах благополучие всего мира». Доктор Дойл никогда не заставлял своих персонажей поступать или мыслить неестественным для них образом: Найджел и не подумал хоть на грош проникнуться революционными идеями, а, напротив, выразил уверенность, что еще увидит этого самого Петра Пахаря болтающимся на виселице. Уж не этот ли пустячок не понравился советским издателям?! Да нет, добрый Айвенго ведь тоже к бунтующим крестьянам относился без симпатии – и ничего.

Далее Найджел пленяет французского рыцаря и спасает ему жизнь, чуть не поругавшись из-за своей мягкосердечности с королем. Воин, который не может и не хочет доводить свое воинское занятие до логического конца: в этом весь доктор Дойл – воевать очень интересно и здорово, вот только если б на войне не убивали! Следует еще ряд приключений; Найджел и Эйлвард видят новое прогрессивное оружие – бомбарду – и по-детски насмехаются над ним, но один только звук его выстрела заставляет их в ужасе повалиться наземь. Дойл не стеснялся то и дело ставить своего героя в дурацкое положение, как Уотсона, и тем самым вызывал симпатию к нему. Джон Чандос объясняет невежественным юнцам: «Еще придет день, когда все, чем мы восхищаемся, все великолепие и красота войны, потеряет свой блеск и уступит место такому вот оружию, что пробивает стальные доспехи, словно кожаную куртку. Я сидел тут как-то в доспехах на боевом коне, смотрел на покрытого копотью бомбардира и подумал, что я – последний из старого времени, аон – первый вестник нового; что придет день, когда он со своей машиной сметет и вас, и меня, и всех остальных со сцены и войны будут вестись совсем иначе». Такой пассаж немыслим у Вальтера Скотта, но для Конан Дойла он очень характерен. Никогда доктор не погружался с головой – как Найджел в доспехи – в те

стародавние времена, о которых писал; он всегда оставался снаружи, в своем времени. Не о Столетней войне говорил он – а об Англо-бурской, напоминая, что «артиллерия в современной войне становится важнее пехоты».

Англичане прибывают в Бретань, где сталкиваются с французскими крестьянами, дошедшими до последней стадии нищеты. Английские лучники берут в плен разбойных французских поселян и, забавляясь, расстреливают их; Эйлвард с удовольствием принимает участие в забаве, но Найджела автор милосердно оставляет за рамками этой сцены – в противном случае дружба между героями должна была дать хоть малюсенькую трещинку. Нет, не идеализировал доктор Дойл своих милых лучников – и по-прежнему трудно понять, чем ему не нравились лучники, изображенные Скоттом.

По сравнению с «Белым отрядом» «Сэр Найджел» – что неудивительно, ведь автор продолжал расти, – более искусное произведение: сюжет гораздо стройнее (все события нанизываются, как на ось, на «три подвига», обещанных Найджелом своей невесте), меньше «всеобъемлющих картин эпохи», уводящих в сторону, динамичнее развиваются события, больше изящных и неожиданных ходов, больше прелестного дойловского юмора. И Найджел Лоринг, оказывается, вполне живой человек – совестно делается, что мы к этому персонажу столько придирались. Правда, все средневековые персонажи – если сравнивать их с героями Скотта – все-таки очень поверхностные. Погружаться в глубины психологии доктор Дойл – чем дальше, тем больше, – не считал нужным. Но это его право. За что, почему советская власть лишила детей такой очаровательной книги, как «Сэр Найджел», – ответа на этот вопрос мы так и не нашли. Но, может быть, это и к лучшему: вдруг какого-то читателя эта загадка побудит взять роман в руки и внимательно перечесть его?

Неудивительно, что, когда Дойл писал о Столетней войне, ему на ум все время приходила война современная: в мире было неспокойно. Еще в 1904-м в Париже было подписано соглашение о военном союзе между Великобританией и Францией, получившее неофициальное название Антанта – «сердечное согласие». Продолжался дележ Африки: из-за колоний в 1905-м произошло серьезное осложнение в отношениях между Францией и Германией – так называемый первый марокканский кризис. Сразу же начались военные переговоры между Францией и Великобританией. В августе делегация французского военного флота посетила Англию.

Это был обычный дипломатический визит – но в тогдашних условиях он воспринимался как нечто большее.

Дойл уже давно забыл, как сердился на французов из-за их позиции по отношению к англо-бурскому конфликту. Французов он любил, на Антанту возлагал огромные надежды. Симпатия была обоюдной: когда французских офицеров, прибывших с эскадрой, спросили, с кем они желали бы встретиться в Англии, они назвали – сразу после короля и знаменитого адмирала Джона Фишера – автора Шерлока Холмса. Министерство иностранных дел по неофициальным каналам известило доктора об этом, спрашивая, согласен ли он принять делегацию у себя дома. Разумеется, он был счастлив. Выписали из Лондона четыре духовых оркестра; ветераны бурской войны при орденах и самые красивые хайндхедские девушки вышли встречать французов при подъезде к «Андер-шоу». Сад и дом украшали французские флаги. Моряки были тронуты великолепным приемом, но им не очень понравилось то, что большинство английских гостей не относились всерьез к возможности войны. «Дейли кроникл» писала об этом визите, что французы «увидели в нас людей, беззаботно относящихся к германской угрозе». Сам Конан Дойл, однако, никогда не был склонен воспринимать германские устремления беззаботно. И не зря: немецкий Генштаб уже разрабатывал планы вторжения во Францию.

Клуб стрелков в Хайндхеде продолжал функционировать; в 1905-м эта инициатива Дойла получила весомую поддержку. Лорд Робертс, герой бурской кампании, возглавил Общество стрелковых клубов. Дойл, в последние два года не выступавший в печати по этому вопросу, немедленно откликнулся новой статьей в «Таймс», где рассказывал о своих упражнениях с трубками Морриса и утверждал, что человек, обученный стрелять из винтовки малого калибра, на войне будет ничем не хуже того, кто учился на настоящем боевом оружии; он напоминал о XIV веке, когда между приходами постоянно проходили соревнования по стрельбе из луков, и предлагал возродить эту йоменскую традицию. Усилия Робертса и Конан Дойла не прошли даром: количество стрелковых клубов начало стремительно расти. Правительство отменило существовавший ранее налог на огнестрельное оружие, приобретаемое не для спортивного использования. В 1906-м в Англии насчитывалось более 600 стрелковых клубов, из них половина пользовалась трубками Морриса. Соревнования стали проводиться регулярно; старый друг доктора, Лэнгман, помог учредить приз, названный кубком Конан Дойла.

С Марокко в конце концов обошлось: Вильгельм войны пока не хотел, и на международной конференции кризис был разрешен мирным путем. Но все стороны продолжали наращивать свой военный флот. А у англичан приближались очередные парламентские выборы – они были назначены на январь 1906-го. У власти оставались консерваторы; премьер-министром с 1902 года был Бальфур, проводивший ту же политику, что и Солсбери. Британия теряла свои позиции на международной арене; ряд британских товаров не выдерживал конкуренции с европейскими, немецкими в особенности. Джозеф Чемберлен еще с 1895 года призывал к созданию имперской федерации с единым правительством, внутри которой товары, производимые членами федерации, имели бы преимущество перед товарами других государств; британские доминионы на федерацию не соглашались, и с 1903-го Чемберлен видоизменил свой план: вместо федерации – Таможенный союз. Доминионы должны были устанавливать «предпочтительные» цены на английские товары, а Англия – на сырье и продовольствие, закупаемые в доминионах (иностранные товары соответственно становились дороже). Идея эта называлась протекционизмом и по сути означала отказ от принципа свободной торговли, которым в течение предыдущих шестидесяти лет руководствовалась Англия. Чемберлен решил вовлечь в свое дело Конан Дойла и предложил ему вновь баллотироваться в парламент от юнионистов.

Участвовать в политических битвах доктор, помня свое разочарование, не хотел, но идеи Чемберлена ему казались привлекательными: он и сам всю жизнь ратовал за объединение доминионов. Как «старому либералу», ему был дорог принцип свободной торговли, но, как и в прошлый раз, он решил, что колебаться вместе с линией партии есть дело вполне благородное. Вдохновителем либералов был Дэвид Ллойд Джордж, который, как мы помним, резко осуждал позицию Британии в войне с бурами, а также выступал в защиту ирландских националистов. В глазах Дойла это был враг. В конце концов доктор дал согласие баллотироваться, взяв за основу своей избирательной кампании пропаганду протекционизма. Начался очередной кошмар.

У Чемберлена с самого начала было мало сторонников. Протекционизм поддерживали в основном крупные промышленники – представители тяжелой индустрии; но подавляющее большинство англичан видели в этом простое удорожание товаров. Против протекционизма выступали не только либералы, но и значительная часть консерваторов: назревал раскол в партии. Осенью состоялся ряд громких отставок. Чемберлен из состава кабинета вышел и начал очень шумную кампанию за протекционизм; а власть еще до выборов – в декабре 1905-го – перешла в руки либерального кабинета под руководством Кэмпбелла-Баннермана, включившего в состав своего правительства как умеренных либералов (Грея, Асквита), так и весьма радикальных – Черчилля и Ллойд Джорджа. На этом фоне происходила избирательная кампания доктора Дойла.

Он снова выставил свою кандидатуру в Шотландии, но на сей раз не в Эдинбурге. Его избирательный округ включал в себя так называемые приграничные города: Хоуик, Селкирк и Галашилс. Основной индустрией в них было производство шерсти, которое сильно пострадало от иностранной конкуренции; Дойл полагал, что избиратели в этих городках легко поймут преимущества протекционизма. Увы, они понимали плохо. Дойл относил это на счет врожденного консерватизма шотландского характера, «который не может приспособлять свои основные принципы к требованиям конкретной ситуации – черта благородная, но временами непрактичная». Доктор Дойл выступает против принципов и осуждает благородство – вещь немыслимая; до чего только не доводит людей политика!

Агитировать в трех городах сразу было очень тяжело: приходилось беспрестанно ездить туда-сюда и всякую речь повторять как минимум трижды. Чтобы заручиться доверием избирателей, Дойл принимал участие во всевозможных местных праздниках и других мероприятиях; однажды в Хоуике проходило празднество под названием «Скачки на общинном выгоне», суть которого заключалась в том, что каждый верховой должен был проскакать во весь опор полмили, а стоящие вокруг дороги горожане «подбадривали его, размахивая тростями и зонтиками». Забава была опасная: наездники и лошади постоянно получали тяжелые увечья. Дойлу досталась норовистая лошадь, и он едва не погиб. После скачек оставшиеся в живых пели хором народные баллады и пускались в пляс. «Поскольку не принять в этом участия показалось бы невежливым, я тоже стал притоптывать ногами в такт, и по возвращении в Лондон меня немало изумило и позабавило, когда я прочел в газетах, что публично плясал под волынку перед избирателями».

Либералы использовали несогласованность в рядах консерваторов и выдвинули свою программу умеренных реформ во имя создания «классового мира», где провозглашалось сохранение принципа свободной торговли, позволяющего иметь дешевые товары; в программе также содержалось множество пунктов (довольно туманных), в которых были выражены обещания лучшего будущего для рабочих. В приграничных городах соперником Дойла от

либеральной партии был Том Шоу, о котором Дойл почти ничего не мог сказать, ибо тот агитировал в основном не лично, а через представителей. Население городов тем не менее преимущественно стояло за либералов, и Дойлу постоянно приходилось выступать перед людьми, заранее настроенными против него: «Перед началом встречи набитый до отказа зал развлекался выкриками и ответными репликами, песнями и лозунгами противников, так что, когда к этому зданию подходил я, по шуму оно напоминало зоопарк во время кормежки». Доктор признается, что зачастую падал духом, заслышав эти крики; однако стоило ему взойти на трибуну, как он забывал свой страх и нередко умудрялся дать противнику неплохой отпор – локального, правда, свойства. Так, однажды один из присутствовавших на встрече заявил ему, что протекционизм есть нарушение христианских заповедей, на что доктор, случайно знавший, что этот человек в повседневной жизни отличается крайней скупостью, кротко осведомился, раздал ли уже его собеседник бедным все свое имущество. Аудитория хохотала. Но в общем и целом избиратели Дойла раздражали.

Стоя на развалинах обанкротившейся из-за конкуренции германских производителей шерстяной фабрики, он пытался объяснить людям, как важно дать отпор немцам, которые облагают английские товары налогами и «тратят вырученные таким путем деньги на военный флот, с которым в один прекрасный день нам, может быть, придется считаться». На это избиратели – по мнению Дойла, науськанные и замороченные либералами, – отвечали, что протекционизм повлечет за собой угнетение иностранных рабочих, которые трудятся в британских колониях. Дойл был убежден, что либералы все врут касательно угнетения, да и не больно-то его занимала участь иностранцев. Ему говорили, что протекционизм повлечет за собой повышение цен на хлеб и другие продукты первой необходимости; он отрицал это, ибо Чемберлен обещал, что такого не будет; ему не верили и говорили грубости. «Больше всего меня утомляла развязность поведения, свойственная неотесанному люду, не имеющему ничего общего с бедняками, которые, как я убедился, очень деликатны в своих чувствах». Но в приграничных городах деликатных бедняков было, к несчастью, мало, а неотесанного люда – очень много.

Дойла бесило, что слушатели, вместо того чтобы проявлять искренний интерес к мнению кандидата по той или иной проблеме и дискутировать по существу дела, предпочитают часами задавать абсолютно дурацкие вопросы с единственной целью – оскорбить и «уесть» выступающего. «Все эти избирательные кампании – дело отвратительное, хотя, вне всяких сомнений, воздействие их очистительно». Доктор сдерживался как мог, но раздражение не могло рано или поздно не прорваться; зачастую в таких случаях оно обрушивается не на тех, на кого бы следовало. Когда Дойл стоял на платформе, ожидая поезда, к нему подскочил один из его сторонников и очень навязчиво намеревался выразить свое восхищение – «тут меня прорвало, и полился поток слов из лексикона китобоев, который, я надеялся, давно был забыт».

На выборах Дойл получил 2 444 голоса, а его противник – 3 133. Консерваторы по всей стране потерпели сокрушительное поражение. В правительстве Кэмпбелла-Баннермана пост министра торговли достался Ллойд Джорджу. К власти пришли либералы – на десять лет. Больше Дойл никогда в парламент не стремился, поняв, что это не для него, но от мысли послужить обществу каким-нибудь великим деянием не отказался. Перед самыми выборами к нему приезжал Иннес: в перипетии политической борьбы он не особенно вникал, но ему понравилось, как старший брат держится перед аудиторией, и он заметил, что, быть может, истинным призванием доктора является политика, а не литература. Дойл на это ответил: «Ни то и ни другое, а – религия». Как он утверждает, он сам не знал, с чего вдруг у него вырвались эти слова. (Может, и задним числом додумал: с этими писателями никогда ни в чем нельзя быть уверенным.) Слова эти окажутся пророческими, но – далеко не сразу.

В начале 1906 года Конан Дойл решил собрать и обобщить свои впечатления о выдающихся произведениях английской (и частично американской) литературы. Отдельные фрагменты, посвященные этой теме, он ранее (с 1892 года) публиковал в лондонском литературно-философском журнале «Великие мысли властителей дум» («Great Thoughts from Master Minds»); он также говорил об этом, выступая с лекциями. Теперь он написал работу под названием «За волшебной дверью», которая была опубликована издательством «Элдер и Смит» в 1907 году.

По своему характеру текст Дойла конечно же эссе – но объем его для этого жанра очень велик. Почти все писатели хотя бы раз высказывались публично о том, какие книги других писателей им нравятся и почему; но мало кто поведал об этом так подробно и обстоятельно, как Дойл, причем он сосредоточился исключительно на своих соотечественниках – иначе бы текст вырос уже до размеров романа. Дойл начинает с исторических произведений Маколея, Скотта и Теккерея, переходит от них к современным мастерам рассказа (По, Стивенсон, Брет Гарт, Киплинг, Амброз Бирс и случайно затесавшийся в англоязычную компанию Мопассан),

затем обращается к английской классике – Филдингу, Ричардсону и Смоллетту; дальше следуют современные автору романисты – Мередит, Чарлз Рид и снова Стивенсон; завершают обзор книги о путешествиях, научно-популярная литература и эссеистика.

Стивенсон в эссе поминается едва ли не на каждой странице. Доктор никогда и не думал скрывать, в ком видит свой идеал. Создатель Джекила и Хайда писал, что «.более всего служат к нашему просвещению те возвышенные романы и поэмы, что великодушно насыщают нашу мысль, знакомят нас с благородными и благочестивыми героями». Автор «Паразита» также считал, что все должны писать о великом, благородном, возвышенном и высоконравственном. Сравнивая трех «старых китов» английской классической литературы, Дойл отдал предпочтение Ричардсону лишь потому, что тот повествовал о возвышенном и нравственном. Он упрекнул Смоллетта за грубость и вульгарность; ценя талант Филдинга, он нашел его творчество ужасно безнравственным: «Каких его героев отличает хотя бы след безупречности, одухотворенности, благородства?» Критику в адрес Филдинга и других безнравственных писателей венчает трогательнейший вскрик: «Вы должны описывать мир таким, каков он есть, говорят нам. Но почему?!»

«Он (писатель. – *М.* Ч.) должен показывать добрые, здоровые, красивые стороны жизни; он должен с беспощадной откровенностью показывать зло и скорбь нашего времени, дабы пробудить в нас сострадание; он должен показывать нам мудрых и хороших людей прошлого, дабы взволновать нас их примером; и говорить о них он должен трезво и правдиво, не приукрашивая их слабостей», – написал Стивенсон, кумир Дойла, в эссе «Нравственная сторона литературной профессии». Вроде бы всё то же, да не то же. Дойл добросовестно старался исполнять эту обязанность – писать обо всем «трезво и правдиво», – но она его угнетала. «В наших стойлах будет жевать золотой овес Гиппогриф, и Синяя птица будет летать у нас над головами и петь о прекрасном и невозможном, о том чудесном, чего не бывает, о том, чего нет и что должно быть. Но чтобы это случилось, мы должны возродить утраченное искусство Лжи». А это уже – Оскар Уайльд. Тут доктор Дойл согласился бы с ним, а не со Стивенсоном. (Чрезвычайно любопытно, что Уайльд, в своей работе «Упадок искусства лжи» раскритиковавший всех и вся, очень хвалил... роман Рида «Монастырь и очаг».) Недаром эссе доктора Дой-ла начинается предложением читателю войти в библиотеку – и «отринуть от себя все заботы внешнего мира, обратив свои взоры к умиротворяющему волшебству великих, ушедших от нас. И тогда, минуя волшебную дверь, вы окажетесь в сказочной стране, куда волнения и неприятности уже не могут последовать за вами».

Волшебное и сказочное, а не правдивое и даже не нравственное, – вот что было для него главным: «Ведь даже второсортный романтический вымысел и вызванные им банальные переживания, безусловно, лучше, чем скучная, убивающая монотонность, которыми жизнь оделяет большинство человечества». Кому-то, конечно, нужно писать правду, но не всякому. На жизнь такую, какова она есть, Артур Дойл достаточно насмотрелся в детстве; от правды жизни его воротило. Душа доктора жаждала сказки, волшебства, Гиппогрифа, а совесть бубнила: надо следовать фактам... рисовать всеобъемлющую картину эпохи... объяснить причины краха феодального строя и смены его более прогрессивной общественно-экономической формацией. Когда Дойл писал свои исторические романы, он пренебрег словами Уайльда. Но он в точности следовал им, когда сотворил бригадира Жерара. В этих рассказах совесть его молчала, а душа пела свободно; Гиппогриф с Синей птицей порезвились вволю. Самое легкомысленное, недостоверное и недобросовестное произведение доктора на историческую тему получилось самым совершенным, потому что в нем не было никаких всеобъемлющих картин эпохи и «жизни как она есть», а было – одно лишь чистое, абсолютное, не обезображенное фактами волшебство.

В 1905 году Ньюнес издал сборник «Возвращение Шерлока Холмса». В 1906-м в Лондоне была поставлена пьеса «Бригадир Жерар»; главную роль играл знаменитый актер Чарлз Уоллер. Пьеса не имела большого успеха: без прелестных монологов бригадира в ней терялось самое главное. В декабре того же года завершилась публикация «Сэра Найджела» в «Стрэнде», и тотчас же роман вышел у «Элдера и Смита» отдельной книгой. Она была главным бестселлером рождественского сезона; в Англии и США она имела еще больший успех, чем «Белый отряд». Американцы купили права за 25 тысяч долларов – громадная по тем временам сумма; по величине гонораров Дойл стал вторым – после Киплинга – писателем в мире. Киплинг, кстати, сказал, что читал «Сэра Найджела» запоем. Но доктор все равно остался недоволен. Рецензии на его труд были доброжелательные, даже хвалебные, но – совсем не такие, как нужно. Журнал «Букмен» *(Bookman)* писал: «"Сэр Найджел" – лучшая книга для мальчиков». Дойл писал ее не для мальчиков, во всяком случае, не только для них. Его работу опять восприняли как приключенческое чтение – а он хотел, чтобы его признали историком Средневековья... Больше он никогда не будет писать исторических романов. Вряд ли потому, что разочаровался; просто так сложится.

Но огорчение доктора от того, как восприняли его книгу, было не так сильно, как после «Белого отряда»: ему попросту было не до Найджела Лоринга. 4 июля, в возрасте 49 лет, умерла Луиза. Ее состояние резко ухудшилось еще в апреле. Она умирала весь июнь. Брату доктор писал о ее состоянии по несколько раз в день. Иногда ей как будто становилось лучше; она вставала. В конце июня надежды уже не было. «Счет идет на дни, – писал он Иннесу, – или недели, но конец теперь неотвратим. Она не ощущает телесной боли и беспокойства, относясь ко всему с обычным своим тихим и смиренным равнодушием».

Незадолго до смерти Луиза позвала к себе дочь и сказала ей следующее: Мэри не должна удивляться или расстраиваться, если папа когда-нибудь снова женится; она должна отнестись к этому с пониманием, как к любому поступку отца. Нет, это не довод в пользу того, что ей было известно о Джин. Любая женщина, искренне любящая своего мужа и свою дочь, сказала бы так. Вскоре ее парализовало, начался бред. И – конец.

Не нужно думать, что смерть жены стала для Дойла облегчением, как это было, без сомнения, для Джин Леки. В такие минуты всегда перебираешь все свои вины перед умершим – вольные и невольные – и от раскаяния становится почти невозможно дышать. Из письма к матери: «Я старался никогда не доставлять Туи ни минуты горечи, отдавать ей все свое внимание, окружать заботой. Удалось ли мне это? Думаю, да. Я очень на это надеюсь, Бог свидетель». Окружать заботой – безусловно удалось: врачи обещали Луизе четыре месяца жизни, а она благодаря уходу прожила 13 лет. Но всего своего внимания он жене, конечно, не уделял, особенно в последние годы: когда ей было худо, когда она в нем особенно нуждалась, он думал о том, как устраивать встречи с другой.

Луизу похоронили в Хайндхеде. Доктор слег. У него возобновились приступы бессонницы, о которых он упоминал еще в «Старке Монро». Врач Чарлз Гиббс, консультировавший его с 1901 года, констатировал депрессию. Дойл ничего не писал, и ему ничего не хотелось. С Джин он в первые недели не встречался: возможно, не только потому, что сразу после похорон жены это было бы неприлично, но и потому, что какое-то время ему не хотелось видеть ее.

Постепенно жизнь вошла в свое русло, но депрессия только углублялась. Он по-прежнему не работал. Редко видел Джин. Не спал ночью, днем ходил, как вареный. В таком состоянии он провел полгода. Давно известно, что одно из наиболее эффективных лекарств от горя – заинтересоваться чужим горем и, отвлекшись от собственных переживаний, попытаться что-нибудь сделать для другого человека. Такой человек нашелся. Ему никто не хотел помочь, кроме доктора Дойла, а доктору Дойлу никто не мог помочь, кроме него. Звали этого человека Джордж Идалджи.

Глава четвертая

УБИЙЦА, МОЙ ПРИЯТЕЛЬ

Эта история началась в 1892 году. В графстве Стаффордшир, неподалеку от Бирмингема, в деревне Грейт-Уирли, лежащей посреди угольных копей и населенной преимущественно шахтерами, жил человек по имени Шапурджи Идалджи, по национальности парс (индийский зороастриец). Он эмигрировал из Бомбея и женился на англичанке, племяннице священника. У них было трое детей. В 1876 году Идалджи обратился в христианство и стал, как это ни удивительно, викарием англиканской церкви. Дойл по этому поводу писал: «Возможно, какой-то адепт католицизма хотел продемонстрировать универсальность англиканства; подобный эксперимент, надеюсь, повторять не станут, потому что, хотя священник был приятным и глубоко верующим человеком, появление цветного священника с детьми-полукровками среди грубого и неотесанного населения прихода неизбежно должно было привести к самой прискорбной ситуации».

Шапурджи Идалджи считал свою семью вполне английской. Прихожане так не считали и недолюбливали викария и его родных. По ночам забрасывали всякой гадостью лужайку перед их домом. Кто-то писал анонимные письма, поливавшие грязью семью Идалджи, и подсовывал под дверь; другие письма, оскорбительного характера, писались от его имени и рассылались разным людям, особенно часто – директору Уолсоллской гимназии, находившейся рядом с Грейт-Уирли. Все это длилось с 1882 по 1885 год.

Идалджи обращался в полицию графства с просьбами оградить его семью от издевательств. Начальник стаффордширской полиции Ансон (который индийцев и всяких прочих «цветных» терпеть не мог) отвечал викарию, что все безобразия проделывает его собственный сын. Идалджи возражал, что это невозможно, так как во время появления на пороге анонимок Джордж находился дома на глазах у родителей. Ансон ему не верил и грозил привлечь обоих к уголовной ответственности. Идалджи-младший окончил Бирмингемский университет, получил специальность юриста. Он был блестящим студентом, неоднократно получал похвальные грамоты и призы. Написал учебник по железнодорожному праву. В 1903 году он работал в Бирмингеме юрисконсультом. Ему было тогда 27 лет. Это был тихий, робкий, замкнутый человек, непьющий, ничем не интересовавшийся, кроме своей работы. В Грейт-Уирли его по-прежнему не любили, а за то, что он получил хорошее образование, не любили еще больше.

В феврале 1903 года близ деревни начали происходить странные и жуткие события. Какой-то маньяк-садист по ночам регулярно калечил животных: коров, овец, лошадей, маленьких пони, взрезая их животы каким-то узким острым предметом и оставляя истекать кровью. Раны причиняли животным страшные мучения, но были не очень глубоки. Некоторых жертв удалось вылечить, другие умирали. В том же месяце в полицию графства начали приходить анонимные письма. Автор анонимок представлялся убийцей животных и со смаком расписывал кровавые подробности. Он утверждал, что действует не один, а является членом банды, причем называл конкретные имена. Полиция допрашивала людей, чьи имена назывались, но все они оказались непричастными к делу. Летом 1903-го преступник написал следующее: «То-то будет весело в Уирли в ноябре, когда мы возьмемся за маленьких девочек и к марту отделаем штук двадцать, как лошадок». В последующих письмах анонимщик назвал имя главаря банды: Джордж Идалджи.

Делом занимался инспектор стаффордширской полиции Кэмпбелл. Он, как и его начальник Ансон, с самого начала подозревал в преступлениях Джорджа Идалджи, так как был убежден, что именно Джордж рассылал анонимки на собственную семью в 1892-м (а животных калечил, либо принося жертвы своим ложным богам, либо просто из врожденной порочности натуры). За домом викария по ночам следили, но безрезультатно. После того как 18 августа был обнаружен очередной зарезанный пони, Кэмпбелл с полицейскими пришел в дом Идалджи – Джордж был в это время уже в Бирмингеме – и произвел обыск. Подходящего оружия в доме не нашли. Полиция забрала одежду подозреваемого. На одной паре ботинок и на одной паре брюк обнаружили свежую грязь, а на домашней куртке – некие темные пятна и некие волоски, которые Кэмпбелл определил как волосы пони, хотя, по мнению матери и сестры Идалджи, то были нитки. Пони потерял много крови и его умертвили; из шкуры полицейские вырезали полоску и положили ее в один пакет с курткой Джорджа. Когда несколькими часами позже куртку вынул из пакета и стал осматривать полицейский врач Баттер, на ней, естественно, нашлись конские волосы. Баттер также нашел на рукаве куртки два пятна крови. Они принадлежали какому-то животному и были очень старыми. Вечером Джордж Идалджи был арестован на работе, в присутствии коллег. По мнению Кэмпбелла, он вел себя подозрительно: ярость перемежалась с приступами слабости и отчаяния. Он также сказал полицейским, что давно ждал ареста.

20 декабря 1903 года Идалджи предстал перед судом. По пути толпа пыталась отбить его у охраны и линчевать. Дело слушалось на так называемой квартальной сессии мировых судей, где судья был довольно невежественным, малообразованным человеком, непригодным для ведения серьезных уголовных процессов. Идалджи признали виновным и приговорили к семи годам каторжных работ, которые он отбывал сперва в Суссексе, затем в Дорсете, разбивая киркой камни в карьерах. Пока он сидел, в Уирли произошел еще ряд нападений на животных.

Джордж Идалджи был способным юристом, пользовавшимся прекрасной репутацией в профессиональной среде; множество его коллег хлопотали за него, писали петиции в министерство внутренних дел, статьи в газеты. В частности, за него хлопотал известный юрист Илвертон, бывший верховный судья Багамских островов. Он представил в министерство ряд доводов в пользу Идалджи; он же организовал общественное мнение – под его петицией в защиту Идалджи поставили подписи более десяти тысяч человек, в том числе многие юристы. Все это возымело действие, и в конце 1906-го Идалджи выпустили на свободу. Однако его не оправдали. Он был оставлен под полицейским надзором. Работать по специальности он не мог. Жить в Уирли – тоже: его ненавидели и боялись. Он был в отчаянии и продолжал писать в газеты о своей невиновности. Но уже никто не хотел заниматься им. Все устали. Многие его знакомые и даже коллеги сочли, что он должен быть доволен, что всё так закончилось. Выпустили – скажи спасибо, уезжай подальше и сиди тихо, не высовывайся. Но Идалджи хотел восстановить свое доброе имя.

В декабре 1906-го Конан Дойл прочел в газете «Импайр» статью, написанную Джорджем Идалджи о его деле. Доктор Дойл (больной и убитый горем) моментально оживился. Тому было много причин: он был рад ухватиться за любую возможность отвлечься от собственных переживаний; дело заинтересовало его как детектив; ему стало очень жаль Джорджа, как когда-то было невыносимо жаль умирающего брата Луизы; наконец, из присланных материалов он сразу увидел, что процесс велся с грубыми нарушениями: «Я понял, что присутствую при ужасной трагедии и должен сделать все, что в моих силах, чтобы добиться правды». Он занялся делом Идалджи и – сразу скажем – потратил на него восемь месяцев напряженной работы. Вот когда пригодились и звание рыцаря, и общественное положение, и репутация: не будь доктор столь уважаемым человеком, вряд ли бы он смог получить доступ к протоколам суда и всем материалам по делу.

Дойл начал с первого допроса Идалджи. Тот утверждал, что грязь на его ботинках и одежде оказалась потому, что вечером 17 августа 1903 года (накануне ареста) он по шоссе ходил к сапожнику Хэнду в городок Бриджтаун, расположенный в получасе ходьбы. (Хэнд подтвердил это заявление; Идалджи видели и другие свидетели.) Затем Идалджи вернулся домой, поужинал с семьей и лег спать. Спал он в одной комнате со своим отцом. Отец, страдавший бессонницей, подтвердил, что его сын ночью никуда не отлучался. Во время похода к сапожнику Джордж совершить преступление не мог, что было доказано даже на суде, так как раны пони, по заявлению врача, были нанесены не ранее половины третьего часа ночи. Однако на суде слова отца, естественно, проигнорировали, а показания Хэнда не сочли важными: пусть Идалджи вечером ходил к Хэнду, но ночью он снова выходил и в поле зарезал пони. А полиция в ту ночь за домом Идалджи как раз и не следила, так что выйти незамеченным он мог.

Доктор Холмс – просим прощения, доктор Дойл – заинтересовался, какие вокруг Грейт-Уирли почвы, и выяснил, что на шоссе была черная грязь (именно она обнаружилась на одежде и обуви Идалджи), а в поле – рыжая глина, которой на вещах подозреваемого не было. Кроме того, всю ночь с 17 на 18 августа шел дождь, а одежда Джорджа была суха. Это было уже кое-что. Доктор стал копать дальше. Обвинение утверждало, что констебль сравнил ботинок Идалджи со следами, ведущими к месту нападения на пони, и нашел на глине один похожий след; затем он вдавил ботинок в глину, измерил *щепочками* оба следа и счел, что их длина одинакова. Фотографий следов в деле не имелось. Слепки также не были представлены. Суд просто поверил констеблю с его щепочками на слово. Подобные вопиющие нарушения Дойл обнаруживал на каждой странице дела.

Еще любопытнее все обстояло с анонимными письмами. Для работы по делу Идалджи в качестве эксперта был приглашен Томас Гаррин, довольно известный и уважаемый специалист. Правда, с этим специалистом произошел в 1896 году один нехороший случай, получивший в Англии широчайшую огласку. Он выступал экспертом на процессе Адольфа Бека – человека, которого обвиняли в мошенничестве, причем одним из аргументов в пользу его виновности были опять-таки письма. Гаррин с абсолютной уверенностью заявил, что письма Бека и письма другого человека (уличенного в мошенничестве двадцатью годами ранее) написаны одной рукой. Лишь благодаря случайности был пойман настоящий преступник, а Бек в 1904-м был реабилитирован. Гаррин продолжал выступать экспертом по почеркам. Ошибиться, конечно, может всякий, и Бека осудили не только из-за показаний

Гаррина. И все же этот эксперт не внушал Конан Дойлу, прекрасно осведомленному о деле Бека, особого доверия. Но окончательно Дойлу стала ясна невиновность Идалджи, когда в январе 1907-го они встретились в Лондоне.

Когда-то доктор Дойл, как мы помним, хотел специализироваться в офтальмологии; наблюдая за Идалджи, он сразу заметил, что тот очень плохо видит: астигматизм плюс сильнейшая близорукость. Очков он не носил, так как бирмингемские оптики не сумели подобрать подходящих при столь сложном заболевании, и ориентировался плохо даже в городе при свете дня. Дойл направил Идалджи к авторитетнейшему специалисту по глазным болезням Скотту – тот подтвердил диагноз Дойла. Мог ли человек, блуждавший в непроглядной тьме по полям, перелезавший через заборы и искусно калечивший животных, быть настолько слаб зрением? Это стало главной отправной точкой. Дойл вступил в переписку с семьей Идалджи и со всеми свидетелями. Сам несколько раз ездил в Уирли. 11 января он уже опубликовал в «Дейли телеграф» первую статью по делу Идалджи, требуя его официального оправдания.

«Это дело есть жалкое подобие дела Дрейфуса. И в том и в другом случае власти расправляются с молодым интеллигентом с помощью сфабрикованной графологической экспертизы. Капитан Дрейфус во Франции стал козлом отпущения потому, что он еврей. Идалджи в Англии – потому, что он индиец. Англия – колыбель свободы – содрогнулась в ужасе, когда подобное происходило во Франции. Что же прикажете сказать сейчас, когда это случилось в нашей собственной стране?» В статье, разумеется, была не только риторика. Дойл аргументированно разбивал в пух и прах все свидетельства обвинения. Он обвинял полицию и суд в некомпетентности, предвзятости и прямой лжи: «Можно найти оправдания тем чувствам, какие должен был вызвать необычный облик Идалджи у невежественных крестьян. Но трудно оправдать английского джентльмена, начальника полиции, который лелеял свою ненависть с 1892 года и заразил ею всю полицию графства».

Статья Дойла стала сенсацией. К его мнению присоединился знаменитый юрист Льюис. Джером Джером также писал статьи в защиту Идалджи; вместе с Дойлом они учредили общественный комитет, занимавшийся этим делом. Под давлением общественности министр внутренних дел Гладстон обещал, что дело будет пересмотрено. Однако в то время в Англии еще не существовало апелляционного уголовного суда, хотя юристы постоянно говорили о необходимости такого учреждения еще со времен «дела Бека»; единственной возможностью для пересмотра приговора было начать процесс заново. Гладстон согласился назначить комиссию из трех беспристрастных и высококвалифицированных судей, которые займутся делом Идалджи. Дойла это устраивало: он был уверен в победе. Более того, он нашел настоящего преступника. Человека, в виновности которого Дойл был убежден, звали Роуден Шарп, но Дойл не мог назвать его фамилию в печати, так как ему пригрозили уголовным преследованием за клевету. Будем называть его так, как его называл сам доктор, – Х.

В начале февраля Дойл получил анонимное письмо: «Отчаявшиеся люди клянутся на Библии, что вырежут тебе печень и почки, и есть кое-кто, кто считает, что тебе осталось жить недолго. Я знаю от детектива из Скотленд-Ярда, что если ты напишешь Гладстону (министру внутренних дел. – *М. Ч.)* и скажешь, что Идалджи виновен, а ты ошибался, и пообещаешь больше так не делать, тебя на будущий год сделают лордом. Не лучше ли быть лордом, чем остаться без печени и почек, а?» Почерк был все тот же, знакомый. Для его официальной идентификации Дойл обратился к доктору Джонсону – лучшему в Европе специалисту, в свое время работавшему по делу Дрейфуса. Тот в своем экспертном заключении подтвердил, что анонимки, присланные Дойлу, анонимки в Грейт-Уирли в 1903-м и анонимки в Грейт-Уирли в 1892—1895 годах написаны одной рукой. И доктор Дойл знал, чья это рука. Х. продолжал писать доктору, то угрожая расправой, то пытаясь грубо льстить. Его письма дышали тупой злобой: «…ему [Идалджи] надо сидеть до гроба в тюрьме вместе со своим папашей и всеми другими черномазыми и жидами» и т. п. Письма были длинные, путаные и явно обнаруживали признаки психического расстройства. Автор вставлял в текст массу лирических отступлений о своей жизни, не имеющих отношения к делу. Почему-то чрезвычайно большое внимание в письмах уделялось человеку, который в 1892—1895 годах был директором гимназии и к делу Идалджи тоже ни малейшего отношения не имел.

«Исходя из анализа почерка, я пришел к определенным выводам. Я утверждаю, что анонимные письма 1892—1895 годов писали два человека: один из них достаточно образован, а другой – полуграмотный мальчишка-сквернослов. И я утверждаю, что все письма 1903 года написаны тем же сквернословом. Я утверждаю, что он не только был автором писем, но и калечил животных. <…> Одна деталь настолько бросается в глаза, что я удивлен, как можно было ее не заметить. Я имею в виду необычайно длительный перерыв между двумя сериями писем. <…> Мне это говорит о том, что неизвестный злоумышленник в течение семи лет где-то отсутствовал. Прочтем самое первое письмо из серии 1903 года. В нем в трех местах упоминается о море. Пишущий расхваливает матросскую жизнь, он бредит жизнью

корабельного юнги. Ввиду его долгого отсутствия не естественно ли предположить, что он уходил в море и недавно вернулся?»

Дойлу также бросилась в глаза ненависть Х. к директору Уолсоллской гимназии. Он отправился в эту гимназию и стал искать сведения о каком-либо мальчике, который в 1890-х годах там учился, имел конфликты с директором и потом стал моряком. Такого мальчика он очень легко нашел. Х. был исключен из гимназии в 13 лет. Он любил писать анонимки на своих одноклассников и пытался подделывать почерки. Он вечно таскал с собой ножи и употреблял их в хулиганских целях. После исключения из гимназии он был отдан в обучение к мяснику, где с удовольствием резал туши животных. Он около года прослужил на судне, перевозившем скот, и там научился тихо подкрадываться к овцам и коровам. Он обладал превосходным зрением и был физически крепок и ловок. У него был старший брат, который по причине личного характера ненавидел семью Идалджи и чей почерк совпал с почерком, которым были написаны анонимки 1892—1895 годов. И, наконец, в 1903 году, когда в Грейт-Уирли все говорили о нападениях на животных, Х. показывал знакомой своей семьи ветеринарный ланцет и говорил, что именно таким ножом калечат скотину. (Дама не пожелала заявить об этом на следствии и суде, но Дойлу она призналась.) «Все раны, нанесенные животным, обладали одной особенностью. Это были поверхностные разрезы; они рассекали шкуру и мышцы, но нигде не проникали во внутренние органы, что неизбежно при заостренном кончике ножа. А лезвие ланцета имеет круглый выступ, оно очень острое, но может делать лишь поверхностный надрез. И я утверждаю, что большой ланцет для разделки туши, добытый "Х" на корабле, перевозящем скот, – единственное оружие, которым могли быть совершены все преступления».

Дойл подробно изложил свои доводы комиссии, которая должна была повторно рассматривать дело Идалджи, и министерству внутренних дел, а также опубликовал их (за исключением некоторых деталей) в «Дейли телеграф». Он не сомневался в успехе. Но он допустил ошибку, о которой писал впоследствии : «...напав на след злодея, я дал полиции и министерству внутренних дел ознакомиться с моими выводами до того, как дело было окончательно завершено». Шерлок Холмс подобных ошибок никогда не допускал.

В мае 1907 года было обнародовано решение комиссии. Оно выглядело довольно непоследовательным. Члены комиссии согласились с тем, что Джордж Идалджи был обвинен в нападениях на животных ошибочно и должен быть реабилитирован в этой части обвинения. Однако они остались при убеждении, что Идалджи был автором анонимок и таким образом сам оказался виноват в своих «неприятностях», а посему – никакой компенсации за три года, проведенных в тюрьме, ему не положено (в отличие от Адольфа Бека). Что же касается Х., то никаких улик против него члены комиссии непостижимым образом ухитрились не увидеть. Дойл отлично понимал, что причина этого – отнюдь не в слабости рассудка и неспособности к дедукции, а в том, что он назвал «профсоюзным принципом» – стремлении во что бы то ни стало защитить честь мундира. «Вы сталкиваетесь с решимостью не признавать ничего из обвинений по адресу ни одного из чиновников, а что до идеи наказать кого-то из них за проступки, навлекшие несчастья на беспомощные жертвы, то она никогда даже не маячит на их горизонте». Дойл не стал упоминать о том, что один из троих членов комитета был двоюродным братом Ансона, начальника стаффордширской полиции.

Тем временем Общество юристов восстановило Идалджи в списке юрисконсультов, что означало его возвращение к юридической практике. «Дейли телеграф» объявила денежную подписку в его пользу и за кратчайший срок собрала 300 фунтов. Сам Джордж полагал, что этого достаточно. Он и его семья были страшно благодарны доктору Дойлу. Но Дойлу этого было мало. Он снова ринулся в бой и с мая по август 1907-го опубликовал в «Дейли телеграф» большое количество статей по этому делу. Он продолжал бомбардировать письмами министерство внутренних дел. Он собрал все свои материалы воедино и издал их в издательстве «Гаррисон» отдельной книгой под названием «Дело Джорджа Идалджи» («The Case of Mr. George Edalji»).

Безрезультатно. Отписки, отговорки. Потом и вовсе – молчание.

Но эту битву нельзя назвать проигранной. Во-первых, Идалджи был реабилитирован и снова работал по специальности. Он дожил до 1953 года. Во-вторых, история Идалджи стала последней каплей, переполнившей чашу терпения юристов, и в 1907 году в Англии был наконец учрежден апелляционный суд по уголовным делам. Вполне можно считать, что доктор Дойл победил.

Что же касается Шарпа, то он, хотя и не был осужден по делу Идалджи, но тем не менее почти всю свою жизнь провел в разных тюрьмах, куда регулярно садился то за драку, то за грабеж, то за поджог. Надо думать, доктор Дойл, которого никак нельзя отнести к людям кротким и

склонным к всепрощению, испытывал изрядное злорадство всякий раз, когда узнавал об этом.

18 сентября 1907 года доктор женился на Джин Леки. Прошло больше года со дня смерти Луизы, истек срок траура. Хотя при желании можно увидеть символику в том, что Дойл позволил себе вступить в брак лишь после того, как сделал для Джорджа Идалджи всё, что было в его силах: сперва рыцарь совершает подвиг, а уж потом возвращается к Прекрасной Даме.

Венчание проходило в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Народу было мало – по желанию жениха в газетных извещениях не говорилось о месте церемонии, так что приехали в основном только родственники. В роли шафера жениха выступил Иннес. Службу совершал Сирил Эйнджел – зять доктора (муж Иды). Одной из подружек невесты была Лили Лоудер-Симмонс; запомним это имя – Лили в дальнейшем сыграет в жизни Дойлов важную роль (только не стоит предполагать любовный треугольник – до конца своих дней доктор больше ни на одну женщину не взглянет). После венчания все отправились в отель «Метрополь», где прошел свадебный прием. Там, в частности, присутствовали: добрый доктор Хор из Астона со своей семьей; Арчи Лэнгман, что заведовал госпиталем во время бурской войны; Роберт Крэнстон, который возглавлял избирательную кампанию Дойла; Джеймс Барри, Джером Джером, Роберт Барр и множество других друзей – всего 250 человек. В числе приглашенных гостей был Джордж Идалджи: он подарил новобрачным томики Теннисона и Шекспира. В тот же вечер муж и жена уехали в свадебное путешествие по Средиземноморью. «Как много людей так и проживут на свете, вообще не зная, что такое любовь. Она внезапно обрушивается на нас...»

Здесь вроде бы надо оставить в покое коррумпированную полицию и некомпетентные суды и продолжить последовательное описание жизни доктора Дойла после женитьбы – жизни, которую он сам определил как «спокойную оседлую жизнь» и «долгие годы спокойной работы». И в самом деле, в последующие семь лет в жизни доктора ничего экстраординарного не произойдет: работа, жена, дети, работа; в своем внешнем течении годы эти будут мало отличаться друг от друга. Так что, пожалуй, можно отложить хронологию до следующей главы и, раз уж мы начали рассказывать о сражениях доктора Дойла с полицией, правительством и судебной системой, свести здесь воедино все его подобные битвы. Так мы сможем яснее представить себе всю картину этой ожесточенной войны, в которой победы будут, увы, чередоваться с гибельными поражениями.

В 1908 году в городе Глазго жила Марион Гилкрист, довольно богатая дама восьмидесяти трех лет от роду. Она не доверяла банкам и хранила свои драгоценности на общую сумму в 3000 фунтов у себя в квартире, запираясь на десять замков. Этажом ниже жил музыкант по фамилии Адамс; миссис Гилкрист условилась с ним, что в случае нападения воров будет стучать в пол, сигнализируя о том, что нуждается в помощи. Еще у нее была молоденькая служанка Элен Ламби. Вечером 21 декабря 1908 года Элен по поручению хозяйки вышла купить газеты. Уходя, она запирала дверь снаружи. Миссис Гилкрист осталась в гостиной. Вскоре Адамс (у него в гостях были его сестры) услышал удары в потолок и побежал наверх. Ему никто не открыл. Но он снова услышал звуки ударов, доносившиеся из кухни. Он подумал, что служанка колет дрова, и вернулся к себе, но сестры отослали его обратно. Когда он снова подошел к двери миссис Гилкрист, то увидел возвращавшуюся Элен. Та отперла дверь своим ключом и вошла. В этот момент ей навстречу из квартиры вышел какой-то мужчина. Адамс его плохо разглядел, но его хорошо видела девочка, Мэри Берроумен, когда он уже бежал по улице. Элен была совершенно спокойна. Лишь пройдясь по квартире, она обнаружила, что в комнате, где хранились драгоценности, все перевернуто вверх дном, а в гостиной на полу лежит миссис Гилкрист – мертвая, вся в крови, с проломленной головой. Тогда она позвала Адамса.

Согласно показаниям Элен, похищена была лишь одна бриллиантовая брошка. А через несколько дней полиции стало известно, что в одном из третьеразрядных лондонских клубов некий подозрительный тип предлагал всем желающим выкупить закладную на бриллиантовую брошь, после чего уехал вместе со своей подругой в Ливерпуль, а оттуда отплыл на пароходе в Нью-Йорк. Полиция Глазго договорилась с полицией Нью-Йорка о том, что подозреваемого, Оскара Слейтера, арестуют по прибытии парохода. Предварительное расследование проходило в Нью-Йорке. Адамса, Элен Ламби и Мэри Бэрроумен привезли туда в качестве свидетелей. Раньше служанка и девочка описывали внешность убегавшего человека по-разному, но потом они стали сближаться в своих показаниях и в конце концов обе опознали в Слейтере мужчину, который выходил из квартиры убитой. Адамс опознать Слейтера не смог – у него было плохое зрение.

На суд Слейтера повезли обратно в Шотландию. 3 мая 1909 года в Высшем уголовном суде Эдинбурга начался процесс. Слейтер утверждал, что никогда не слыхивал о Марион Гилкрист.

Брошь, которую он заложил и которую полиция изъяла из ломбарда, оказалась совсем не той, что была украдена, и принадлежала Слейтеру уже много лет, что было доказано. Алиби Слейтера подтвердили его любовница и его прислуга, но им не поверили. Обвинителем выступал главный прокурор Шотландии Юр, председательствовал судья Гатри. Адвокаты были дешевые, защищали своего клиента неумело. Присяжные девятью голосами против шести признали Слейтера виновным. Его в два счета приговорили к смертной казни, которую назначили на 27 мая, но в последний день, как в кинофильмах, лорд Понтленд, министр по делам Шотландии, заменил казнь пожизненным заключением в тюрьме Питерхед. Адвокаты Слейтера пытались добиться пересмотра, но безрезультатно. В защиту Слейтера выступил известный британский криминалист Уильям Рафхед. Помните, мы говорили о том, что Дойла называли «рыцарем проигранных битв»? Это Рафхед первым назвал его так; но он же назвал его и «воскресителем разбитых надежд».

Рафхед написал книгу о процессе Слейтера. Тоже безрезультатно. Слейтера никто не пожалел. Весной 1912-го, вконец отчаявшись, адвокаты обратились к Конан Дойлу. Оскар Слейтер не имел с бедным Джорджем Идалджи ничего общего: у него было несколько разных имен и фамилий, он представлял собой богему, если не сказать хуже, когда-то содержал игорные заведения (в Лондоне и Нью-Йорке), занимался мелким жульничеством, прятался от законной жены, жил открыто с бывшей (а может, и не бывшей) проституткой и вообще был личностью крайне малопривлекательной. Дойл к этому времени уже читал книгу Рафхеда, но браться за дело Слейтера ему совершенно не хотелось. Слейтер был ему отвратителен. Дойл предупредил адвокатов, что ничего им не может обещать, пока не ознакомится с делом. Но из материалов дела он увидел, что ошибок на следствии и на суде было допущено раз в двадцать больше, чем в деле Идалджи.

Первое, на что он обратил внимание: почему служанка так спокойно отнеслась к тому, что из квартиры, которую она, по ее же словам, самолично заперла снаружи на ключ, вдруг выходит незнакомец? Как вообще мог Слейтер проникнуть в запертую квартиру? (Окна тоже были закрыты.) Откуда он, приезжий, узнал о существовании Марион Гилкрист и о драгоценностях? Все наводило на мысль, что убийца был прекрасно знаком либо с миссис Гилкрист, либо со служанкой, и одна из них впустила его в квартиру; если даже предположить, что он отпер двери своим ключом, он все равно для этого должен был быть вхож в дом.

Теперь о грабеже: когда полиция осматривала место преступления, было обнаружено, что драгоценности валялись рассыпанными по всей комнате, а на столе стояла раскрытая шкатулка с документами, в которых явно рылись. Почему убийца взял только одну жалкую брошку? Драгоценности ли он искал? Не документы ли? Постороннему документы ни к чему – только своему человеку.

Перейдем к орудию убийства. У Слейтера дома нашли дешевый набор инструментов, среди которых был, естественно, молоток. Рукоятка его была чиста. Полиция решила, что этого достаточно: раз ручка чистая – значит, с нее смывали кровь. Судебный врач, правда, утверждал, что миссис Гилкрист убили не молотком, а ножкой стула, но суд не принял это во внимание. Подобным образом велось все дело.

Доктор Дойл дал согласие заниматься делом Слейтера. Возможно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что Слейтер был германский иммигрант и к тому же – еврей; он даже по-английски говорил плохо. Публика его ненавидела, как ненавидела Идалджи, а для доктора Дойла было делом принципа пойти одному против озверевшей толпы. «Публика потеряла голову, с полицией произошло то же самое. Слейтер был беден, и у него не было друзей. Он жил с какой-то женщиной. И это оскорбляло нравственное чувство шотландцев. Как нагло выразился в печати один автор: „Если даже это не его рук дело, все равно он заслуживает наказания“.<…> Эта история просто чудовищна, и, по мере того как я читал ее и осознавал всю ее безнравственность, во мне росла потребность сделать для этого человека все, что могу». Обратим внимание на одно слово: «безнравственность». Для подавляющего большинства людей быть безнравственным – это жить с проституткой на сомнительные средства и выглядеть не так, как коренные жители страны. Тех, кто судит и приговаривает к смерти невиновных, безнравственными называют редко…

У Слейтера и Дойла все же были союзники, хоть и немного: кроме Рафхеда, в защиту Слейтера был готов выступить детектив из Глазго Джон Тренч, который с самого начала видел нарушения в ходе следствия и знал, что полиция оказывала чудовищное давление на свидетелей. Ему, например, было известно, что Элен Ламби на самом деле давным-давно опознала убийцу – племянника миссис Гилкрист – и назвала его имя, о чем говорила своей знакомой, но полиция оставила без внимания этот незначительный пустяк… Был также юрист Дэвид Кук, которому Тренч рассказал обо всем этом. (Не обошлось и без спиритов: на сеансе им явилась миссис Гилкрист и сказала, что ее убили не молотком, а консервным ножом.

Почему она не назвала имя убийцы? Доктор Дойл был уверен, что называла – просто спириты не сочли возможным заявлять об этом официально.)

Дойл списался с Тренчем и Куком, встретился с Рафхедом и летом 1912-го начал очередную кампанию в прессе, а уже в августе опубликовал на свои средства брошюру «Дело Оскара Слейтера» («The Case of Oscar Slater»). Поскольку Слейтер был всем противен, отклик читателей оказался значительно слабее, чем на дело Идалджи, но фантастическая популярность Конан Дойла свою роль сыграла: давление общественности оказалось достаточным, чтобы правительство поручило Королевской парламентской комиссии, которую тогда возглавлял шериф Миллер, пересмотреть дело Слейтера.

Однако все это оказалось бесполезным: доктор Дойл наткнулся на ту же «профсоюзную» стену. Комиссия не рассматривала и не оценивала действия полиции: они априори были признаны правильными. Просто допросили заново свидетелей, да и то без присяги. Уточнили некоторые мелкие детали – и все. Более того, началось преследование Тренча и Кука, которые выступили в пользу Слейтера. Нет ничего страшнее мундиров, когда они становятся на собственную защиту: Тренча уволили из полиции, а потом, когда он не замолчал, сфабриковали нелепейшее уголовное обвинение по другому делу против него самого. (Судья Скотт Диксон, к которому попало дело Тренча, отказался даже направлять его в суд, а вскоре Тренч умер.) Миллер опубликовал свой доклад, в котором говорилось, что для опротестования приговора, вынесенного Слейтеру, нет ни малейших оснований. Все было кончено – но не для доктора Дойла.

Доктор постоянно занимался этим делом в течение *пятнадцати* лет. Многие писатели – пусть меньше, чем хотелось бы, но все же многие – во все времена выступали в прессе в защиту невиновных. Но – целых 15 лет, причем когда речь идет о человеке аморальном, абсолютно вам несимпатичном и которого вы никогда в глаза не видали! Конечно, были тут и самолюбие, и простое упрямство – но какая разница? На каждого вновь назначаемого министра по делам Шотландии Дойл обрушивал лавину требований пересмотреть дело Слейтера. Ни на месяц не останавливался. Всякий раз получал отказы и отписки – и снова писал и требовал. Наверное, иногда ему хотелось кричать и биться головой о стену, как Слейтеру в его камере.

Время от времени у него находились новые союзники. В 1926 году, когда Дойл был уже стариком, он познакомился с молодым журналистом Уильямом Парком, которого охарактеризовал как человека, «внутри которого огонь разгорается медленно, но неугасимо» и который «представляет собой наипрекраснейший тип шотландца». Парк «медленно, но неугасимо» заинтересовался делом Слейтера, заново беседовал со всеми оставшимися в живых фигурантами, потом написал книгу – а Дойл написал к этой книге предисловие. Летом 1927-го книга Парка была издана; Дойл вместе с Парком и писателем Эдгаром Уоллесом развернули в прессе настолько мощную кампанию в защиту Слейтера, что новый министр по делам Шотландии Гилмур был вынужден уступить. На сей раз дело рассматривалось апелляционным судом, состоявшим из пяти судей. Выяснилось, что Элен Ламби (к тому времени уже умершая) признавалась многим, что всегда знала убийцу и что полиция заплатила ей 40 фунтов за дачу ложных показаний. Мэри Берроумен также созналась, что ей заплатили 100 фунтов и что прокурор 15 раз репетировал с ней ее показания. 20 июня 1928 года приговор в отношении Слейтера был отменен. Ему выплатили шесть тысяч фунтов в качестве компенсации. Он провел в тюрьме 18 лет. Конан Дойл впервые увидел его в зале суда – оба были уже седыми.

А теперь несколько слов о том, о чем не очень приятно говорить. Правительство выплатило Слейтеру компенсацию, но отказалось платить судебные издержки. Поскольку апелляцию подавал Конан Дойл, от него потребовали заплатить часть издержек – примерно 500 фунтов (другую часть оплатила еврейская община). Дойл заплатил, но потребовал от Слейтера, чтобы тот вернул ему эту сумму из полученной компенсации в 6 тысяч. Тут Слейтер от благодарностей мгновенно перешел к упрекам: он полагал, что Дойлу следует требовать свои деньги не с него, а с правительства, и формально был, пожалуй, прав. Дойл был богатым человеком; даже его друзья говорили, что ему следовало бы плюнуть на эти деньги. Вероятно, если бы Слейтер был «джентльменом», все бы уладилось миром. Но он таковым не был. Дойл настаивал: «Если Вы действительно вполне отвечаете за свои действия, тогда Вы – самый неблагодарный, а также самый глупый человек из всех, кого мне когда-либо доводилось видеть». В конце концов Слейтер отдал Дойлу деньги. Больше они не виделись. «Это было очень болезненное и грязное послесловие к такой истории». Грустно как-то. И ведь наверняка найдутся читатели, которые скажут, что «нечего было возиться с этакой дрянью, пускай бы сидел» – вот это самое грустное...

Слейтер дожил до 78 лет. Был общителен, завел массу знакомств. Успел еще раз жениться. Когда он умер, в местной газете (он доживал свой век в Шотландии) его назвали «другом

Конан Дойла».

Дело Идалджи и дело Слейтера – самые серьезные и продолжительные расследования, которыми занимался Дойл, но далеко не единственные. Начиная с первых публикаций в «Стрэнде», ему – а точнее, Шерлоку Холмсу, – постоянно писали знакомые и незнакомые люди, прося разобраться в какой-нибудь странной истории, а после дела Идалджи количество таких просьб возросло многократно, вот только адресовались они уже не Холмсу, а лично сэру Артуру.

Был длиннейший ряд детективных историй, вполне пригодных для пера доктора Уотсона. Например, дело человека, который забрал все свои деньги из банка, посетил театральный спектакль, вернулся в отель, оставил там свои приличные костюмы и бесследно исчез. Никто не видел, как он выходил из отеля, а жилец из соседнего номера утверждал, что всю ночь слышал его шаги за стеной. Полиция разводила руками. Родственники обратились к Конан Дойлу. Он разгадал загадку в стиле Холмса – не выходя из кабинета. Раз человек снял со счета деньги – значит, планировал бегство. Бросил приличную одежду – похоже, что намеревался начать совсем иной образ жизни, чем тот, что вел прежде. Как не заметили, что он вышел из отеля? В половине двенадцатого ночи из театра возвращалась огромная толпа народу – он запросто мог в этой толпе незаметно выскользнуть, а значит, исчез он именно в этот час. Сосед говорит, что слышал шаги в номере до самого утра? Не нужно верить всему, что говорят свидетели. Сосед мог ошибиться. Куда беглец потом делся? Если бы он собирался прятаться в самом Лондоне, то не стал бы вообще снимать номер в отеле. Стало быть – уехал в другой город. Если бы уехал в маленький город – его бы там на станции кто-нибудь заметил. Значит – в большой. Доктор пролистал железнодорожное расписание: экспресс на Глазго и экспресс на Эдинбург отбывали из Лондона около полуночи. Дойл посоветовал родственникам искать беглеца в Шотландии. Там он вскоре и нашелся. Элементарно? Да, когда кто-то все объяснит.

В «Воспоминаниях и приключениях» Дойл писал: «В каждом человеке скрывается потенциал разных возможностей. Среди этих разнообразных вариантов моего внутреннего "Я" есть и умный, зоркий детектив, однако, чтобы найти его в действительной жизни, я должен отбросить все другие мысли и заботы: особое настроение охватывает меня, лишь когда рядом в комнате никого нет. Тогда я добиваюсь результатов, и несколько раз мне удалось методом Холмса решить проблемы, которые ставили в тупик полицию». Адриан Дойл впоследствии рассказывал об этих периодах, когда отец, озадаченный чьей-нибудь новой тайной, на два-три дня запирался с трубкой в своем кабинете, отвечал на вопросы невпопад и мог выйти на улицу в разных ботинках – все домашние понимали, что происходит, и старались не попадаться ему на пути.

В другой раз молодая медсестра написала Дойлу о своем исчезнувшем женихе-датчанине: доктор тем же самым методом нашел жениха, а заодно разъяснил девушке, что беглец ее не стоит. Бывали, конечно, и случаи, в которых Дойл не сумел разобраться, как ни ломал голову: однажды, например, его знакомый издатель получил (на адрес фирмы) заказное письмо из Канады, адресованное его бывшему сотруднику, уже давно умершему. Письмо вскрыли – в нем были чистые листы бумаги. Доктор провел не один день над этими листами, обращался за консультацией к экспертам-химикам, но никакие слова на бумаге так и не проступили. Отгадки не было. Дело это так занимало Дойла, что он спустя много лет написал о нем в мемуарах.

Дойл, конечно, не на все просьбы откликался – иначе у него бы не осталось времени ни на что другое. Не мог он, подобно Холмсу, подменять собой полицию, да и не хотел – все-таки писатель должен писать, а не рыскать по всему свету с лупой. То просят собачку отыскать, то доказать супружескую неверность. Когда на богатого польского дворянина пало подозрение в убийстве и его родственники предложили Дойлу взяться за это дело, пообещав выслать в письме незаполненный чек, в котором он может проставить любую сумму, он отвечал с ледяной учтивостью, что не имеет возможности заняться их проблемой. Холмс тоже не очень жаловал клиентов, размахивающих толстыми кошельками. Из Польши же ему писала несчастная больная девушка, прикованная к постели, – никакой тайны не предлагала, а молила прислать для ее библиотеки его книги, которые она любит больше всех других книг на свете. Растроганный доктор в тот же день собрал громадную посылку, на каждой книге поставил автограф, но случайно узнал от своих собратьев по перу, что от этой польки получали письма чуть не все писатели Европы, причем написаны они были под копирку. Дойл обиделся и посылку не отправил. Быть может, девушка и впрямь была тяжело больна, но нельзя безнаказанно оскорблять авторское самолюбие.

Писали доктору отовсюду – из России в том числе. Ни сам доктор, ни его секретарь русским не владели, так что послания, написанные не по-английски, отправлялись, увы, сразу в корзину; среди тех, которые были написаны русскими на его родном языке, как-то тоже не оказалось

ни одного, которым бы он согласился заняться. Порой в письмах, которые получал доктор Дойл, содержались не детективные загадки, а мистические; не обошлось и без предложений отыскать затонувший корабль, полный сокровищ. Речь шла об английском паруснике «Гросвенор», на котором якобы вывезли из Бомбея знаменитый «Павлиний трон» – реликвию могольских падишахов. Доктор над этим предложением много думал, принимал участие в обсуждениях, рисовал карты, но плыть за сокровищами так и не решился – слишком много дел было дома.

А вот еще удивительная в своем изяществе история: когда в 1926 году Агата Кристи совершила свой знаменитый загадочный побег из дому, разгадать тайну ее исчезновения взялся – наравне со многими другими (Эдгаром Уоллесом, например) – и Конан Дойл. Он прочел об исчезновении в газетах, когда Кристи отсутствовала уже неделю. Как рыцарь Британской империи, он имел почетную должность депутатлейтенанта Суррея; эта должность давала право доступа к полицейским документам. Доктор изучил их, но дедукцией на сей раз не воспользовался. В 1920-м он опубликовал статью «Новый взгляд на старые преступления», где утверждал, что в некоторых случаях полиции стоит прибегать к помощи экстрасенсов и это может давать результаты. Дойл попросил у полковника Кристи, мужа Агаты, ее перчатку; он показал перчатку медиуму Хорэйсу Лифу, а тот назвал имя владелицы, сказал, что дама находится в полубессознательном состоянии, но жива, а также разъяснил причины ее поступка (о которых, заметим, было нетрудно догадаться, зная обстоятельства частной жизни семьи Кристи в тот период) и обещал доктору: «В следующую среду вы о ней услышите». Агату Кристи, как известно, нашли вечером вторника – но Конан Дойл узнал об этом только в среду. Престарелый король детектива отправляется на поиски молодой королевы детектива, показывая волшебнику ее перчатку, – это просится даже не в роман, а в сказку.

От сказок – обратно к прозе, да такой жуткой, что никакому писателю не выдумать.

«Мы являемся современниками величайшего преступления, совершенного когда-либо за всю историю нашего мира, и тем не менее мы, кто не только мог остановить его, но и обязан был это сделать в силу обязательства, скрепленного клятвой, ничего не делаем. Это преступление продолжается вот уже 20 лет».

Доктор Дойл написал эти слова не об уголовном преступлении: когда убивают не одного, а миллионы – или хотя бы сотни людей, – это в нашем мире считается не убийством, а политикой. Он писал об африканском государстве Конго.

В последней четверти XIX века территория Конго стала объектом соперничества колониальных держав. В 1876 году бельгийский король Леопольд II организовал под своим председательством Международную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки, в 1878-м – Международную ассоциацию Конго. Под прикрытием этой ассоциации он с 1879 по 1884 год захватил обширные территории в бассейне реки Конго и объявил их «Свободным государством Конго». Обратим внимание: это была не колония в общепринятом смысле, а личное, частное владение короля. До Леопольда на территории Конго проживало примерно 30 миллионов человек; он сократил это население в два раза.

На территории Конго добывали слоновую кость и еще каучук – вещь дорогую, пользовавшуюся громадным спросом. Леопольд ежегодно получал на одном каучуке 360 тысяч фунтов чистой прибыли. В мае 1903-го Эдмунд Морель, журналист и агент ливерпульской судоходной компании, опубликовал на страницах газеты «Уэст африкэн мейл» сенсационную статью, сопровождавшуюся фотографиями, о положении коренного населения Конго. На британского читателя обрушился фантастический, невообразимый кошмар. В отчете говорилось о женщинах, которых держали прикованными к столбам в качестве заложниц до тех пор, пока мужчины не вернутся с собранным каучуком, и о бельгийских карательных экспедициях, которые, демонстрируя свою безжалостность, возвращались на базы с корзинами, полными отрубленных кистей рук. В том же году Роджер Кейзмент, британский консул в Киншасе, по поручению правительства подготовил уже официальный отчет о положении в Конго. Все подтвердилось: казни (в том числе детей), пытки, увечья, принудительный рабский труд. Последовали новые и новые комиссии – британские, американские, шведские, бельгийские, – и все они привозили из Конго материалы один страшнее другого (Леопольд и в ус не дул). Кейзмент и Морель организовали «Ассоциацию в поддержку реформ в Конго». В нее входили более ста членов британского парламента и других влиятельных людей. Конан Дойл был среди них:

«Мой письменный стол завален фотографиями этих несчастных. На их теле видны следы перенесенных пыток. У одних отрублены ступни ног; у других – кисти рук. Один из них – ребенок, удивительно умный и красивый по европейским стандартам. У него отрублена рука. У другого ребенка, без правой ступни и левой руки, на лице застыло выражение странного,

задумчивого удивления. Это люди, которым мы „во имя Всемогущего Бога“ дали гарантии» (статья Дойла «Англия и Конго», опубликованная в «Таймс» в 1909-м).

США и Британия потребовали немедленного созыва «совета четырнадцати» (государств, подписавших соглашение по Конго на Берлинской конференции в 1885-м); бельгийский парламент тоже возмутился. Под этим давлением Леопольд был вынужден пойти на создание независимой комиссии по расследованию (уже в статусе официальной) – и в 1905-м эта комиссия в очередной раз подтвердила все, о чем говорилось в отчете Кейзмента. Однако дело с места не двигалось. Многие (и в Бельгии, и в Британии) считали, что Кейзмент и Морель преувеличивают и все не так уж страшно. Мало ли что там понапишут всякие иностранные комиссии, они нарочно выискивают плохое, очерняют действительность, а этому Кейзменту (подставьте какое-нибудь другое имя) заплатили американцы, которые вечно лезут не в свое дело.

«Ассоциация в поддержку реформ в Конго» не опускала рук, и в 1908 году Леопольд – за солидную денежную компенсацию – уступил права на Конго Бельгийскому государству. Из частной фирмы оно превратилось в обычную колонию под названием Бельгийское Конго (в настоящее время – Демократическая Республика Конго). Был ли Конан Дойл удовлетворен достигнутым результатом? Вовсе нет; в 1909-м, когда Конго уже не принадлежал – с формальной точки зрения – королю Леопольду, Дойл написал и опубликовал в издательстве «Хатчинсон» брошюру «Преступление в Конго» («The Crime of the Congo»), снабженную ужасными фотографиями, и еще ряд статей в «Таймс», из которых мы можем увидеть, что положение дел в Конго мало изменилось. «Возникли надежды на перемены. Увы, их не последовало. Г-н Ренкин, бельгийский министр колоний, откровенно заявил, что их и не будет. Он отправился в Конго, чтобы составить отчет. Но сам-то он – бывший концессионер и ярый защитник этой системы в бельгийском парламенте». Бюрократическую машину доктор Дойл понимал превосходно. Он предсказал, что будет дальше: полгода отчет готовится, потом его несколько лет рассматривают – и все по кругу. Он предлагал конкретные меры: созыв европейской конференции, которая должна была бы, рассмотрев все имеющиеся материалы, лишить Бельгию «доверия, которым она так чудовищно злоупотребила», и отдать Конго под международную юрисдикцию.

Несколько лет Дойл вместе с Морелем – и с сотнями других известных людей, среди которых был, например, Джозеф Конрад, – продолжали заниматься «делом Конго». Статьи Дойла перепечатывались в десятках изданий по обе стороны Атлантики; брошюра была переведена на множество языков. Он посылал ее крупнейшим политикам от Вильгельма II до Теодора Рузвельта (с которым они были знакомы заочно: Дойл восхищался Рузвельтом как государственным деятелем и спортсменом, Рузвельт обожал книги Дойла); три месяца он ездил по Великобритании с лекционным турне. Брошюру прочли во всем мире; политики считали, что она написана чересчур жестко; Дойл заявлял, что есть времена, когда жесткость является обязанностью.

Однако Конго так и не стало международной проблемой по-настоящему. Страна превратилась в «нормальную колонию» и тем самым сделалась внутренней проблемой бельгийцев, в которую другие государства не желали лезть: одно дело – возмущаться на словах, другое – вмешаться практически. Американское правительство не имело владений в Африке и потому не стало предпринимать никаких шагов; европейские колониальные державы также предпочли умыть руки. Рузвельт написал Дойлу: «Никогда нельзя угрожать оружием, если знаешь, что не будешь стрелять»... Разумно, что тут скажешь. Короче говоря, ничего сделано не было.

Дойл писал также о компенсациях, о выплате пенсий выжившим жертвам Леопольда; не забыл и про палачей. «Может, будет создан Международный суд, перед которым предстали бы преступники, нарушившие все заповеди религии и нормы цивилизации? Общественная совесть не успокоится, пока всем им, от автора преступного замысла, сидящего в Брюсселе, до исполнителя, пойманного на месте преступления, не воздастся по заслугам». Не воздалось. То, чего хотел доктор Дойл, впервые состоялось через 15 лет после его смерти – в Нюрнберге. Он был бы там, если бы дожил; он должен был быть там; он до такой степени обязан был быть там, что нам кажется, будто мы видим его – или его тень – сидящим в зале, где допрашивают Геринга и Гесса.

В 1913 году на бельгийский трон взошел новый монарх, Альберт. Реформы в Конго начали проводиться, положение коренного населения более-менее улучшилось. В 1924-м, в мемуарах, Дойл писал: «Теперь, когда вопрос попал в поле зрения короля Альберта, этого благородного человека, все пойдет как следует, так как теперь, насколько мне известно, эта колония управляется очень хорошо». Не совсем так это было, конечно; да, тех зверств, что были при Леопольде, не стало, но еще почти полвека Бельгийское Конго оставалось одним из тех мест в

Африке, где с населением обращались особенно жестоко. Но уже не было на свете Роджера Кейзмента, который мог бы об этом рассказать.

Кейзмент в 1904 году получил двухлетний отпуск, который провел на родине, в Ирландии. В 1906-м он был снова направлен на консульскую работу – в Южную Америку. Местом его службы были разные районы; в конце концов он занял должность генерального консула в Рио-де-Жанейро. Там он продолжал делать то же, что и в Конго: «очернять» действительность, то есть выявлять проблемы и во всеуслышание говорить о них. Самое ужасное положение дел он обнаружил в Путумайо – спорной территории между Перу и Колумбией. Фактически этой территорией управляла частная фирма, принадлежавшая двум братьям Арана и зарегистрированная в Великобритании. Там происходило все то же, что и в Конго: рабский труд индейцев, увечья, пытки, показательные казни. Рабы голыми руками прокладывали в джунглях автомобильные дороги, кто отказывался – отрубали руки и ноги и бросали умирать. Кейзмент получил эту информацию от десятника на каучуковой плантации; он отправился в Путумайо с инспекцией и весьма жестко реагировал на попытки скрыть факты злоупотреблений. Так же, как и в Конго, он составил подробный отчет и отправил его правительству Великобритании; вернувшись домой, он организовал Общество по борьбе с рабовладением в Южной Америке; и снова его обвиняли в очернительстве. Однако дело удалось сдвинуть с мертвой точки быстрее, чем в Конго: министерство иностранных дел Великобритании направило в Путумайо следственную комиссию, в результате деятельности которой удалось прекратить (насколько это было возможно в то время) бесчинства в отношении индейцев и привлечь к уголовной ответственности ряд чиновников. За свою деятельность в Южной Америке Кейзмент получил звание рыцаря Британской империи.

В период работы в «Ассоциации в поддержку реформ в Конго» Дойл, естественно, общался лично с Морелем; в 1910-м он познакомился с Кейзментом, и с тех пор они неоднократно встречались и регулярно переписывались. Дойл говорил, что людей благороднее Кейзмента и Мореля не встречал. Это были настоящие рыцари – не картонные. Доктору и в страшном сне не могло привидеться, каким образом их с Кейзментом пути пересекутся в последний раз – во время Первой мировой.

Ирландия, как мы помним, считала себя самостоятельным государством, а англичан – оккупантами. Роджер Кейзмент, рыцарь Британской империи, был ирландским националистом; Ирландия и поныне чтит его как своего героя; под его влиянием Дойл переменил свою позицию по ирландскому вопросу и стал сторонником гомруля. В 1912 году Кейзмент отказался от колониальной службы, вернулся в Ирландию и присоединился к освободительному движению. В июле 1914 года он поехал в США, чтобы собрать деньги и приобрести оружие для нужд движения. Когда в следующем месяце разразилась Первая мировая война, Кейзмент решил просить у Германии помощи в борьбе против англичан. Он надеялся на то, что Германия окажет Ирландии поддержку в борьбе за независимость.

Для установления контакта с германским послом в Вашингтоне он использовал влиятельную ирландско-американскую организацию «Кланна-Гэл». Многие члены этой организации ему не доверяли, так как он не был членом ИРА и занимал, по мнению крайних националистов, чересчур умеренную позицию. Его деятельность в США закрыла ему возможность вернуться в Британию, поэтому в октябре 1914-го он отправился в Германию через Норвегию. Когда Кейзмент прибыл в Берлин, он поставил себе три задачи: сформировать из ирландских военнопленных бригаду для участия в войне с Британией, добыть оружие для грядущей борьбы Ирландии за независимость и добиться от германского правительства публичной поддержки его дела. Германское правительство заявило о своей поддержке идеи независимости Ирландии, но практически ничего не сделало (ему в то время, наверное, и с Лениным было достаточно хлопот – революционеры по всему свету просили помощи у Германии) – только согласилось тайно доставить в Ирландию небольшое количество боеприпасов.

Тем временем ИРА намеревалась воспользоваться слабостью Великобритании, принимавшей участие в войне, чтобы организовать восстание. Оно было запланировано на Пасху 1916-го. Кейзмент был категорически против, так как видел, что людей и оружия недостаточно. Он уехал в Ирландию, надеясь уговорить своих товарищей отказаться от преждевременного выступления. Но ему не удалось ничего сделать. Судно, на котором везли германские боеприпасы, было захвачено британцами. Взяли и самого Кейзмента; его заключили в Тауэр. Восстание состоялось и было подавлено Британией за шесть дней с помощью военно-морской артиллерии, разрушившей центр Дублина. Пятнадцать его вождей были казнены военным трибуналом; шестнадцатый, Роджер Кейзмент, был лишен звания рыцаря и также приговорен к казни за государственную измену. Кейзмент вину отрицал и считал, что британский суд неправомочен судить его.

Кейзмент был правозащитником с мировым именем, человеком, известным своим личным мужеством; общественность, в том числе британская, поднялась на его защиту. Конан Дойл пришел в ужас, узнав о смертном приговоре (хотя в 1916-м в его жизни, как мы увидим, ужасов хватало и без Кейзмента); он немедленно подготовил петицию, обращенную к премьер-министру Асквиту, и стал собирать подписи своих коллег и других знаменитостей в защиту Кейзмента. Петицию подписали Честертон, Голсуорси, Джером Джером, Арнольд Беннет и другие известные литераторы. (Шоу к петиции Дойла не присоединился, но организовал собственную.) Речь, конечно, шла не об оправдании – факт измены было невозможно отрицать – но о смягчении приговора до пожизненного заключения. Еще одно «дело Дрейфуса», с той разницей, что Золя, убежденный в невиновности своего подзащитного, мог обратиться к обществу со словами «Я обвиняю», а Дойл никого обвинять не мог – только молить о снисхождении к человеку, который когда-то так много сделал для людей. Четырьмя годами ранее он написал в письме Кейзменту: «Вы сделали так много добра в Вашей жизни, что по справедливости ни одна тень не может упасть на Вас». И вот тень упала, да такая, что доктор мог призывать отнюдь не к справедливости, но лишь к милосердию.

Смертный приговор Кейзменту был воспринят общественностью как месть за критику колониальной политики; все вроде бы шло к тому, что осужденного должны помиловать. Но с точки зрения британских политиков помиловать Кейзмента было никак невозможно – это все равно что де-факто признать Ирландию свободным государством, находящимся в состоянии войны с Британией. Тут-то на свет и появились личные дневники Кейзмента (найденные полицией при обыске в его квартире), в которых говорилось о его сексуальной жизни. Записи в этих дневниках были откровенны до такой степени, что высоконравственная общественность съела бы Кейзмента, даже если бы в них шла речь о женщинах. «Ни одна тень не может упасть на Вас...»

Этими дневниками занимаются до сего дня; одни эксперты однозначно называют их подлинными, другие так же твердо устанавливают, что это изготовленная спецслужбами фальшивка; в подобных вещах окончательная ясность, как правило, никогда не наступает. Британское правительство послало расшифровку дневников папе римскому и президенту США Вильсону, которые ранее выступали за помилование Кейзмента; папа и президент прочли записи и от Кейзмента отреклись. Когда американский посол в Лондоне сказал Асквиту, что знает о дневниках, Асквит высказал пожелание не хранить эту информацию в тайне. Информация разлетелась по обе стороны Атлантики. От Кейзмента мгновенно отвернулись все. Что там какая-то жалкая государственная измена! Газета «Ньюс оф зе уорлд» писала: «Ни один человек, которому стали известны эти подробности, не может произносить имя Кейзмента без омерзения и ненависти». Смолкли даже ирландские политические деятели, до этого момента считавшие англичан оккупантами, а Кейзмента – героем: они не могли заступаться за такого мерзкого типа и сожалели о том, что он затесался в их ряды. Возликовали те, кто считал, что Кейзмент в истории с Конго и с Путумайо «преувеличивает»: он, конечно, тогда все выдумывал, такие порочные люди всегда выдумывают то, чего нет. Все церковные и государственные деятели в Британии и Соединенных Штатах отказались поддержать просьбу о помиловании.

Многие из тех, кто уже поставил подписи под петицией Дойла, отозвали их. С самого начала отказались подписать петицию Уэллс и Киплинг. Уэллс в своих «Очерках истории цивилизации» позднее писал: «Предатель, сэр Роджер Кейзмент, получивший рыцарский титул за прежние заслуги перед империей, который искал помощи для ирландских повстанцев в Германии, был отдан под суд и казнен – вполне заслуженно». Конечно, никто не обязан жалеть Кейзмента за его былые заслуги, но когда *писатель* отказывается проявить сочувствие к казнимому – еще раз подчеркнем, что речь шла не об оправдании, а о снисхождении, – это выглядит как-то по-людоедски. От Киплинга, «солдата Империи», ничего другого ожидать было невозможно, но Уэллс, прогрессивный Уэллс. Может, не совсем ошибался доктор Дойл, утверждая, что Уэллсу чуточку не хватало души?

Ни Шоу, ни Дойл своей позиции не переменили. Дойл писал Клементу Шортеру (журналисту и литературному критику, одному из тех, кто наиболее активно высказывался в защиту Кейзмента): «Они (министерство иностранных дел. – *М.* Ч.) сообщили мне, что Кейзмент совершал гадкие половые извращения, доказательством которых служат личные дневники. Я, конечно, слыхал об этом, но неужели половые извращения – это хуже, чем государственная измена и подстрекательство солдат к измене своему долгу? Меня все это не заставило отступить от моей цели». Доктор, однако, понимал, что игнорировать вновь открывшиеся обстоятельства невозможно, и с ловкостью заправского адвоката изменил свою линию защиты: в переработанном тексте петиции он упирал теперь на то, что Кейзмент невменяем, что годы, проведенные им в тропиках, и чудовищные ужасы, свидетелем которых он был, привели к тому, что он вконец повредился рассудком и не может нести ответственность за свои действия. Ужасные дневники как раз и являются наилучшим доказательством того, что

бедняга давно был не в себе; доктор теперь припоминал, что Кейзмент при общении постоянно жаловался на головные боли. Действительно ли он считал Кейзмента душевнобольным или то была единственная возможность хоть как-то его защитить? Неизвестно. В пользу первого предположения говорит его аналогичное высказывание об Уайльде; в пользу второго – то, что он никогда не упоминал о сумасшествии Кейзмента и Уайльда до того, как против них были возбуждены уголовные дела.

«Это был прекрасный человек, – писал Дойл о Кейзменте, – и любому, кто хоть немного знал его, покажется невообразимым, что он мог сознательно решиться на предательство своей страны. <…> Он неоднократно перенес тропическую лихорадку, он подвергался тяжелейшим испытаниям; неужели нельзя оказать снисхождение тяжелобольному, беспомощному человеку, который столько сделал добра в прошлом?» Доктор также приводил доводы, более понятные для правительства, – что убивать Кейзмента невыгодно, что это ожесточит Ирландию, что проявленное великодушие, напротив, послужит к вящей славе Британии за границей – но он не был политиком и так и не понял, что к вящей славе всегда служит только решительность и жесткость. Он снова и снова (уже после отправки петиции, в частных беседах) говорил политикам о болезни Кейзмента, о его беззащитности, напоминал о его заслугах перед мировой цивилизацией, снова взывал к милосердию, умолял, сам чуть не лишился рассудка – все напрасно.

Дойл также не оставлял надежду на то, что Кейзмента можно защитить юридическими способами. Принято считать, что он оплатил половину всех издержек на адвокатов. Стэшовер полагает, однако, что произошла ошибка: когда Дойл подключился к делу, адвокатам уже было уплачено полностью, и сделал это однофамилец доктора, американец ирландского происхождения. Как бы то ни было, Кейзмент погибал не из-за нехватки денег, их было достаточно. Но своим адвокатам он помогал плохо – не проявлял раскаяния в содеянном и, по-видимому, уже настроился геройски умирать. О вмешательстве Дойла в его зашиту он отозвался с негодованием, хотя и назвал его своим другом. Но доктора такое отношение со стороны его неблагодарных подзащитных никогда не смущало. Последний, отчаянный шаг, который предпринял Дойл: он потребовал признать Кейзмента военнопленным и обращаться с ним соответственно международным конвенциям. Но его, естественно, не послушали: шпион – не военнопленный.

Дойлу было не впервой идти против всех, но Кейзмент – это оказалось уже чересчур. Впервые (если не считать Шарпа, истязателя лошадей) доктор получил от незнакомых людей письма, в которых были не похвалы его литературному таланту и не просьбы распутать какую-нибудь тайну, а плевки и угрозы. Из-за выступлений в защиту Кейзмента Дойл рассорился чуть ли не со всеми политиками, которые раньше относились к нему весьма благосклонно. Считалось в те годы и сейчас считается (это не подтверждено документально, и все биографы вынуждены обходиться расплывчатыми и туманными формулировками), что за заслуги Дойла во время Первой мировой войны король и Асквит намеревались возвести его в пэры, но после истории с Кейзментом – передумали. Вполне вероятно, что то и другое – правда. Заслуги доктора, как мы скоро увидим, были велики – такой человек просто обязан заседать в палате лордов; но и глупость (с точки зрения государственных деятелей), совершенная им, была очень велика. Наплюй доктор на своего старого товарища – и стал бы пэром. Многие биографы называют выступления Дойла в защиту Кейзмента «жертвой» с его стороны. Нам почему-то кажется, что он бы разозлился, услышав это слово.

Казнь состоялась 6 августа 1916 года. Труп Кейзмента, снятый с виселицы, швырнули в известь – точь-в-точь как в «Балладе Рэдингской тюрьмы». Отношение к нему по сей день неоднозначное, даже среди самих ирландцев. В политике добро и зло очень трудно отделить друг от друга. «Когда у стен Тауэра трубач возвестил о начале казни и сотни ирландцев вокруг меня плакали и молились… я словно увидел обращенный на меня взгляд сэра Роджера. „Посмотри, как я умею умирать, ты, кто когда-то называл себя революционером!“ – сказал этот взгляд». Эти слова принадлежат хорошо известному чекисту Яну Петерсу – тому самому, что вел дело Фанни Каплан. Над нею он не заплакал.

В 1965 году многократные ходатайства независимой Ирландии о перезахоронении были наконец удовлетворены, и Кейзмент упокоился в Дублине. Гроб с землей (какой уж там прах после извести-то!) провожали десятки тысяч людей; надгробную речь произнес девяностолетний де Валера, президент Ирландии, один из сподвижников Кейзмента, заключенный в тюрьму в 1916-м и впоследствии возглавивший движение «Шинн фейн». Конан Дойл в своих мемуарах писал следующее: «Кейзмент, которого я всегда буду считать прекрасным человеком, страдающим манией, встретил свой трагический конец, а взгляды Мореля на эту войну (Морель во время Первой мировой стал пацифистом. – *М. Ч.)* разрушили чувства, которые я к нему питал, но я всегда буду утверждать, что оба они делали благородное дело, борясь против несправедливостей в отношении несчастных и беспомощных негров».

На страницах книг доктора Дойла Кейзмент жив и поныне. Его знает любой, даже тот, кто отродясь не интересовался ирландским освободительным движением. Только у него другое имя. Но об этом – в свое время. Сейчас очень хочется вернуться в мирный, тихий 1907 год.

Глава пятая

ЗА ГОРОДОМ

У родителей Джин был дом в Кроуборо – маленьком городке в графстве Сассекс, в 55 километрах южнее Лондона, где они проводили летние месяцы. Кругом леса и холмы; местность называли «сассекской Шотландией». На вершине самого высокого холма и примостился Кроуборо, который станет приютом для доктора Дойла на целых 23 года. Это его самый главный дом. Дольше – и счастливее – он нигде не жил.

Он побывал в Монкстоуне, усадьбе семейства Леки, еще в 1906-м; теперь молодожены решили поселиться поблизости. Еще до свадьбы они купили в Кроуборо дом под названием «Литтл Уинделшем»; Дойл написал в мемуарах, что продавец жестоко надул его со стоимостью. (Дом в Хайндхеде, напоминавший о смерти, без сожаления продали.) Малый Уинделшем стоял на отшибе, в безлюдной местности. В начале XIX века там жили одни цыгане да контрабандисты: место романтическое. Окна дома выходили на холмы, заросшие лиловым вереском, и небольшой лесок; именно этот вид Дойл несколько лет спустя опишет в романе «Отравленный пояс». Все пабы в Кроуборо гордятся тем, что в них захаживал доктор Дойл.

Доктор с обычным энтузиазмом принялся за строительство (сын архитектора!), и вскоре эпитет «малый» отпал за ненужностью. Дом стал называться просто «Уинделшем». Он был громадный, значительно больше «Андершоу», со множеством комнат и обилием прислуги. Его центром стала большая продолговатая комната, получившая название Бильярдный зал: если убрать ковры, там могли танцевать 150 пар. У доктора был большой удобный кабинет на первом этаже; отдельный кабинет отвели и секретарю Альфреду Вуду. В саду построили легкий деревянный домик, где хозяин любил работать в теплое время года; он называл его «своей хижиной». Джин, увлекавшаяся цветоводством, разбила большой прекрасный розарий; цветами занялся и доктор. Усадьба постоянно была полна гостей. Сами Дойлы по несколько раз на неделе выезжали в Лондон (там у них была квартира около вокзала Виктория, по адресу Букингем-Палас-мэншн, 15). За покупками ездили обычно в соседний город Танбридж-Уэллс. Между Кроуборо и Танбридж-Уэллсом находилось селение Грумбридж с красивейшими старинными усадьбами; Дойл, часто гостивший у одного из жителей Грумбриджа, потом опишет такую усадьбу в одном из своих детективных романов. В Уинделшеме оборудовали площадку для гольфа – куда ж без него; еженедельно приезжал тренер по боксу и занимался с хозяином. Супруги (ему было 47 лет, ей – 31) были отчаянно влюблены друг в друга. Ездили отдыхать на Средиземное море, посетили Алжир, Мальту, Корсику. Абсолютная идиллия – если, конечно, отвлечься от того обстоятельства, что в первые годы брака доктор Дойл как раз наиболее активно занимался проблемой Конго и с ужасом писал о ребенке с отрубленными конечностями. А что же его собственные дети?

«Кингсли и Мэри очень привязались к Джин», – пишет Стэшовер. Применительно к Кингсли это более-менее справедливо – он всегда хорошо относился к мачехе, во всяком случае, внешне, и она, по-видимому, его искренне полюбила; они вели оживленную переписку, он звал ее по имени, а она никогда не называла пасынка иначе как «наш милый Кингсли». Но между Джин и Мэри отношения были прохладными. Ко дню свадьбы отца Мэри уже исполнилось 17 лет; она увлекалась музыкой, пела, играла на фортепиано; вроде бы у нее был талант. В том же году ее отправили учиться в Дрезден, в музыкальную школу. Джорджина Дойл в своей книге доказывает, что этот поступок был со стороны отца и мачехи ужасной жестокостью и что с Мэри после появления в доме Джин вообще обращались очень плохо. Мачеха и семнадцатилетняя падчерица редко хорошо уживаются. С другой стороны, сам факт отправки Мэри из дому вовсе не свидетельствует о том, что от нее хотели избавиться; как известно, в Англии это самая обычная практика. За границей обучалась сама Джин; за границей училась бабушка Мэри – Мэри Дойл; Артура Дойла отправили в интернат, когда ему и десяти лет не было. Кингсли тоже отослали из дому – в Итон. Наверняка Мэри и Кингсли уехали бы куда-нибудь учиться и при жизни Луизы, достигнув соответствующего возраста. Но при Джин брат и сестра – особенно сестра, – могли воспринять это как ссылку.

Мэри в раннем детстве была живым и энергичным ребенком; девушкой она стала замкнутой, застенчивой. Она очень сильно любила мать и, естественно, приняла Джин в штыки. Теперь уж она точно не могла не знать, что «эта женщина» еще при жизни матери была очень близкой знакомой отца; брак отца с ней дочь восприняла как предательство. Бывали ли открытые скандалы? Вполне возможно, что бывали. Отец отослал дочь подальше, чтобы этих скандалов не было? Тоже возможно. Джин должна была быть ангелом небесным, чтобы как-то сгладить эту ситуацию. Но ангелом она не была.

После женитьбы доктор Дойл не прекращал своих занятий бизнесом, напротив – стремился

расширить эту деятельность. Его автомотоциклетные предприятия еще казались перспективными. Но он отнюдь не собирался ограничиваться машиностроительной отраслью. Добывающая промышленность также интересовала его. На угледобыче можно хорошо заработать. Но доктор связался не с теми людьми. Был такой коммерсант-авантюрист Барр, который еще в 1890-х объявил о том, что в графстве Кент обнаружены громадные месторождения угля. Ему удалось привлечь серьезных инвесторов. Но уголь в кентских шахтах почему-то не хотел добываться. Залежи располагались слишком глубоко, проходы к ним были узки, на пути находились подземные озера, и шахты все время заливало водой; то смехотворно малое количество угля, которое удавалось добыть, было низкого качества. О коммерческой добыче угля речь вообще не шла. Тем не менее к 1910 году Барр соблазнил еще великое множество инвесторов, открыл пять новых шахт и основал в общей сложности 22 добывающие компании: в одну из них Дойл инвестировал средства и стал управляющим: «Я даже спускался на тысячу футов сквозь известняк, чтобы собственными глазами убедиться, что уголь находится на своем месте. По внешнему виду и другим характеристикам это было похоже на уголь, за исключением того, что оно не горело». В 1907-м, когда Барру все-таки удалось добыть некоторое количество угля, он продал его пивоваренному заводу в Дувре, самом большом городе графства, и в рекламе пива было указано, что для его варки используется «наилучший кентский уголь».

К 1913 году, однако, даже пивовары поняли, что на кентский уголь рассчитывать не приходится. Все было похоже на историю партнерства Дойла с Уоллом, только стократ масштабнее: Барр объявлял инвесторам и акционерам, что для получения дохода нужны дополнительные вложения; инвесторы, стремясь спасти то, что уже внесли, эти дополнительные вложения покорно делали. Барр на эти деньги тотчас открывал новые компании. Против Барра было возбуждено дело, но его не осудили. Как многих создателей финансовых пирамид, его поддерживала значительная часть акционеров. Доктор Дойл был в их числе: когда в Дувре летом 1913-го давался торжественный обед в честь Барра, «одного из самых значительных благотворителей, которого Дувр когда-либо знал» (Барр обещал сделать из Дувра «второй Ливерпуль»), доктор выступил на этом обеде с горячей речью в поддержку и защиту Барра. Истина откроется ему годом позже, когда Барру предъявят с десяток судебных исков за мошенничество и объявят банкротом.

В январе 1909-го доктор Дойл серьезно заболел. У него была нарушена деятельность кишечника – по-видимому, после пребывания в Южной Африке. «Таймс» помещала бюллетени о состоянии его здоровья. Обошлось. А 17 марта 1909-го Джин родила первенца. Это был мальчик; его назвали Деннис Перси Стюарт Конан. Когда Деннис подрастет и характер его оформится, отец в повести «Трое» («Three of them»), посвященной своим младшим детям, назовет его «Лэдди» *(laddie* – мальчуган, парнишка) и напишет о нем следующее: «Он был рожден готовым кавалером. У него самая благородная, самая бескорыстная, самая чистая душа, живущая в высоком, худеньком, изящном, проворном теле с головой точно греческая камея, с серыми глазами, невинными и мудрыми одновременно, которые покоряют любое сердце». Лэдди застенчив и не раскрывается перед посторонними. Он болезненно честен. У него львиное сердечко. Однажды, когда выведенный из себя отец дал подзатыльник Димплсу (так доктор называет в рассказе младшего брата Денниса, который, заметим сразу, своим поведением на подзатыльники очень сильно провоцировал), то тут же почувствовал пинок в области пониже пояса и, обернувшись, увидел раскрасневшееся личико Денниса со сверкающими глазами. «Никто, даже папа, не смеет обижать братишку Лэдди». Вся любовь родителей была отдана малышу. Неудивительно, что Мэри было очень тяжело. Ее воспитывали в строгости – а всех детей, рожденных Джин, баловали сверх меры. Нам хотелось бы оправдать доктора Дойла – ведь в сказке о Золушке отец был добр и ни в чем не виноват, – но не получается.

Еще в 1909-м – тогда же, когда доктор начал писать о Конго, – он нашел для себя новое общественное поприще: стал председателем Союза за реформу бракоразводных процессов (и оставался на этом посту до 1919-го). Как у англичан обстояло дело с разводами в то время? Не будем вдаваться подробно в историю вопроса – это заняло бы отдельную главу – отметим только, что институт развода возник в 1857 году. (До этого для расторжения каждого отдельного брака требовался специальный парламентский акт.) Мужчины и женщины были перед этим законом не равны: мужу было достаточно уличить жену в неверности, а от жены требовалось дополнительно представить в суд доказательства невыполнения супружеского долга, изнасилования, инцеста, содомии или скотоложества. Лишь с 1870 года жена могла получить при разводе свое добрачное имущество, и лишь с 1873-го разведенная женщина могла видеть своих детей. Ни длительное раздельное проживание, ни душевная болезнь, ни жестокое обращение мужа с женой основаниями для расторжения брака не считались. По взаимному согласию супруги также не могли разойтись, и кто-то из них был в этом случае вынужден инсценировать прелюбодеяние и взять вину на себя. Процессы велись с участием

адвокатов, проигравшая сторона оплачивала судебные издержки, истец мог также требовать с ответчика и соответчика (того человека, с которым состоялась измена) возмещения убытков – так что малоимущим, даже мужчинам, опять-таки особо рассчитывать было не на что. Кто мог – уезжал от постылой жены в колонии, кто не мог – приходилось решаться на убийство, это было значительно дешевле. Жены, измученные побоями, тоже нередко убивали своих мужей.

У Дойла, кроме его вечного стремления к прогрессу и всеобщему улучшению жизни, несомненно, были свои личные причины интересоваться бракоразводной темой. Мэри Дойл наверняка была бы счастливее, имей она возможность развестись с Чарлзом, да и Чарлз, возможно, от этого бы тоже выиграл. Доктор не мог не думать об этом. Он в качестве председателя Союза за реформу требовал, во-первых, уравнять мужчину и женщину в правах при разводе, а во-вторых, расширить перечень причин, дающих основания на расторжение брака, который превратился в «унизительный и отвратительный союз», и предлагал именно те три причины, о которых говорилось выше: 1) безумие или неизлечимый алкоголизм супруга; 2) длительное отсутствие; 3) жестокое обращение.

С алкоголизмом он был знаком не понаслышке; на избитых жен и детей довольно насмотрелся, работая врачом в бедных кварталах Астона. Главный ужас положения был вовсе не в том, что дама из общества не могла разойтись с мужем, не пятная свою репутацию, а в том, что женщину из простонародья могли попросту забить до смерти, причем в большинстве случаев это не влекло за собой уголовной ответственности (как и истязания детей). Муж, больной сифилисом и знающий это, насквозь прогнивший, вечно пьяный, имел полное право зверскими побоями принуждать жену к «исполнению супружеских обязанностей», а она не могла уйти от него, ибо это было бы с ее стороны «нарушением святости брака».

Политики и общественные деятели консервативного толка (не обязательно принадлежавшие к партии консерваторов) выступали против реформы, ссылаясь на авторитет церкви.

Брак свят и нерушим, что бы там в этом браке ни происходило и чем бы он ни завершился – хотя бы и убийством. Дойла, естественно, эти аргументы бесили. «Удовлетворюсь тем, что скажу, – писал он в „Морнинг пост“ за 1913 год, – если какой-нибудь так называемый моральный закон принуждает сохранять союз безумца с нормальным человеком или беззащитной женщины с жестоким и грубым мужем, то их совместная жизнь становится проклятием, хотя вы и подкрепляете этот союз тысячью текстов».

Вообще-то собственные взгляды Дойла на развод и на брак были еще намного либеральнее, нежели те, что выносились в законопроекты Союза за реформу. Мы уже приводили его слова о том, что союз, освященный церковью, но лишенный любви, есть безнравственная связь; теперь приведем и следующую фразу: «Союз же, будь то с сестрой умершей жены или с разведенной женщиной или в любом другом случае, когда церковные правила расходятся с церковным законом, – это истинный брак, отмеченный благословением бескорыстной любви». Любовь – не единственное мерило; еще дети. «Плач беспомощного ребенка, растущего в пьяной, жестокой и грубой среде – закон навязывает ему это постоянное окружение, – самый сильный голос, способный прозвучать против существующего порядка вещей». Как это нередко бывает, недостаток внимания к собственным (старшим) детям доктор искупал, защищая чужих. Борьба была упорна, сопротивление сильно. «Пересилят ли здравый смысл и справедливость столь бессмысленный предрассудок и удастся ли добиться, чтобы настоятельные требования всех живущих возобладали над древними заповедями, многие из которых, как мы выяснили, совершенно не связаны с условиями современной жизни?»

Пересилили, но не скоро. Скажем сразу, что при жизни Дойла закон о разводе так и не был полностью реформирован. В 1921 году был издан акт о матримониальных делах лорда Бекмастера, в соответствии с которым было признано, что в неприемлемом браке жена является в большей степени пострадавшей стороной, чем муж; в 1937-м был принят новый закон, где в качестве причин для развода указывались все те, что называл доктор Дойл; в 1969-м сформулирована дополнительная причина – так называемое «неблагоразумное поведение» – и наконец-то разрешено разводиться «без вины», то есть по взаимному согласию. Сейчас в Англии материальное положение женщины после развода обеспечивается лучше, чем где-либо, так что русские миллионеры английских бракоразводных судов избегают, тогда как их жены стремятся туда.

Доктор, конечно, старался не для них; а все-таки и они должны ему сказать спасибо.

Хотя Дойл был зашитником женщин и прав женщин, методы самих женщин, борющихся за свои права, ему не очень-то импонировали. В начале XX века суфражистское движение в Англии набрало ход. В 1903 году в Манчестере был образован Женский социально-политический союз во главе с известной феминисткой Эмелин Панкхерст; его члены

придерживались весьма экстремистских методов борьбы. Начиная с 1906-го суфражистки заимствовали тактику ирландского освободительного движения: устраивали взрывы и поджоги общественных зданий, бурные демонстрации, сопровождавшиеся стычками с полицией, атаковали государственные учреждения, а позже, когда власти стали их арестовывать, практиковали голодные забастовки. Дойлу все это страшно не нравилось. Он неоднократно высказывался неодобрительно о поступках суфражисток – исходя из этого ему часто приписывают отрицательное отношение к суфражизму как таковому. Это не совсем верно. Отвращали его не цели, а методы. Когда интервьюер спрашивал его дочь Джин – много лет спустя после его смерти – о том, почему доктор, идеализировавший женщин, так резко отзывался о суфражистках, та ответила следующее: «Он, несомненно, полагал, что женщины – существа высшего порядка, гораздо более утонченные, нежели мужчины». По словам Джин, ее отец в принципе не был против того, чтобы женщины имели право голосовать на выборах; но, насмотревшись в период своей работы в Союзе за бракоразводную реформу на бесчисленные случаи семейного насилия, он считал, что политические разногласия между мужем и женой только увеличили бы количество такого насилия. Он также – будучи во многих отношениях идеалистом – высказал мнение, что женщина, счастливая в браке, непременно имеет влияние на своего мужа в том числе и в политических вопросах и таким образом его голос на выборах – это и ее голос. Что же касается суфражисток – его отвратила от них их склонность к насилию.

Женщина должна обладать сильным характером (как его мать, вторая жена или младшая дочь), но при этом быть женственной, а не крушить ломом стекла. Точно так же, кстати, Дойл относился и к ирландскому освободительному движению: с 1911 года (под влиянием общения с Кейзментом) он стал признавать необходимость гомруля, но был убежден, что добиваться этого следует исключительно парламентскими способами, а не террором. Экстремизм любого рода был ему неприятен, а женский – неприятен вдвойне.

Вскоре после женитьбы Дойл написал два новых рассказа о Холмсе: «Сиреневая сторожка» («The Adventure of Wisteria Lodge») и «Чертежи Брюса-Партингтона» («The Adventure of the Bruce-Partington Plans»), которые были опубликованы в «Стрэнде» в сентябре – декабре 1908 года. Что касается первого из них – рассказ сперва состоял из двух историй, озаглавленных «Необычное приключение Джона Скотта Экклса» и «Тигр из Сан-Педро»; как предполагал автор (а также Ньюнес), они должны были положить начало новому сборнику «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и публиковались с соответствующим подзаголовком. Такого сборника не существует: Дойл не смог или не захотел быстро сочинить достаточное количество историй. Два упомянутых рассказа вместе с последующими потом составят «Его прощальный поклон» («His Last Bow») – предпоследний сборник рассказов о Холмсе.

Вообще в первые годы брака с Джин он работал не так продуктивно, как обычно, и за крупную прозу не брался. Он написал в 1908—1909 годах еще несколько разностильных рассказов: «Серебряное зеркало» («The Silver Mirror»), «Хозяин Фэлконбриджа» («The Lord of Falconbridge»), «Возвращение на родину» («The Homecoming»), – которые в 1911-м будут в числе других включены в такой же разностильный сборник «Последняя галера» («The Last Galley. Impressions And Tales»), изданный в «Элдере и Смите» тремя годами ранее, в 1908-м, в том же издательстве вышел сборник «У камелька» («Round The Fire Stories»). Этот период был для него больше связан с драматургией, что, по его словам, «было не очень прибыльно, но доставляло довольно волнений и веселья».

16 июля 1909 года в лондонском театре «Лирик» состоялась премьера пьесы Дойла «Огни судьбы» («The Fires of Fate») – по повести «Трагедия „Короско“». Главную роль исполнял Льюис Уоллер – тот, что играл и бригадира Жерара. Постановка была осуществлена за счет Дойла и Уоллера – пополам. Актеры, игравшие арабов, очень натуралистично избивали своих пленников, так что один молодой офицер, товарищ Иннеса Дойла, даже порывался взобраться на сцену и прекратить истязания. Натурализм был коньком Дойла, не желавшего считаться с театральными условностями.

Успех у спектакля был, но недолгий; Дойл относил это на счет неудачно выбранного летнего сезона. Потом Уоллер увлекся другой постановкой и потерял к «Огням судьбы» интерес. А в феврале следующего года в театре «Адельфи» прошла премьера пьесы «Дом Темперли» («The House of Temperley», весьма вольная инсценировка романа «Родни Стоун»), которую Дойл поставил за собственный счет, так как не нашелся ни один антрепренер, согласный за нее взяться, и сам же оплатил аренду театра. На сцене происходили весьма реалистически выглядевшие боксерские поединки (актеров тренировал настоящий инструктор по боксу, и он же играл одну из небольших ролей); это было оригинально, правда, некоторые актеры жаловались на синяки и выбитые зубы. Была там и сцена военного сражения – все с настоящим дымом и грохотом. Спектакль получился очень длинный, очень натуралистичный, очень пышный, но успеха не имел – возможно, потому, что был уж очень «мужским», и дамы

на него не шли, – и принес автору огромные убытки. Критики его ругали. К нему в дополнение шла одноактная пьеска Дойла «Баночка икры» («The Pot of Caviare»), поставленная по одноименному рассказу, но и это не спасало. Как-то не очень везло Дойлу с пьесами, но он никогда не отчаивался – и правильно делал.

Через четыре месяца «Дом Темперли» сняли с постановки, а аренда «Адельфи» была оплачена еще на два месяца вперед. Можно было отказаться от дальнейшей аренды, но доктор поступил иначе: сел и за неделю написал новую пьесу – «Пестрая лента». Это была инсценировка одноименного рассказа; сперва Дойл хотел назвать ее «Случай в Стоноре», но его убедили, что лучше будет сохранить название, которое всем уже знакомо. «Подлинной ошибкой этой пьесы было то, что, стремясь противопоставить Холмсу достойного противника, я переборщил и представил злодея более интересной личностью». Пьеса была поставлена уже в июне 1910-го. Принцип натурализма был соблюден и тут: одну из главных ролей играл настоящий живой удав. Он был очень спокойный и кроткий, и критик написал, что одним из недостатков пьесы является наличие крайне неубедительной искусственной змеи, что страшно оскорбило доктора Дойла: «Я готов был заплатить ему порядочные деньги, если бы он решился взять ее с собой в постель. У нас в разное время было несколько змей, но ни одна из них не была создана для сцены, и все они либо имели склонность просто свешиваться из дыры в стене, словно безжизненный шнурок для колокольчика, либо норовили сбежать обратно сквозь ту же дыру и расквитаться с плотником, который щипал их за хвост, чтобы они вели себя поживее». В конце концов решили использовать искусственных змей, и все нашли, что это гораздо лучше. В целом спектакль удался: автор окупил свои расходы, а пьеса с тех пор много лет шла в разных театрах.

Сам Дойл в сентябре 1910 года решил, что с него хватит театра: слишком хлопотно и не оставляет возможности заниматься чем-нибудь другим, к тому же надо постоянно жить в Лондоне, а не дома. В интервью газете «Рефери» он поклялся, что больше для сцены ничего писать не будет, и вернулся в Уинделшем, где его ждала беременная жена. В сентябре он написал два рассказа: «Женитьба бригадира» («The Marriage Of The Brigadier») для жераровской серии и «Дьяволова нога» («The Adventure of the Devil's Foot») для холмсианы. Тот и другой относятся к лучшим в своих сериях: очень, видимо, доктор истосковался по литературной работе. А 19 ноября родился второй сын Джин Дойл, Адриан Конан Малькольм, он же Димплс («dimples» – ямочки). Он вырастет выше и крепче старшего брата и характером, пожалуй, будет покруче.

«Вы никогда не видели, – писал доктор в „Троих“, – такого круглого, мягкого, покрытого ямочками лица, с парой больших и плутоватых серых глаз, которые чаще всего смеются, хотя иногда могут быть торжественными и грустными. У Димплса – душа взрослого человека, хотя на вид это самый обыкновенный мальчишка. „Я пойду похулиганю“, – время от времени объявляет он, и, будьте уверены, слово свое он сдержит. Он страстно влюблен во все ползающее, скользкое и противное. Оставьте его на самой чистой и пустой лужайке – и спустя минуту он подойдет к вам с тритоном или жабой в кармане». Адриан громогласен и любит разглагольствовать; в отличие от Денниса он отнюдь не отличается застенчивостью и может завести беседу с любым незнакомцем, осведомившись, к примеру, кусал ли того когда-либо медведь. «Солнечное существо», «настояший ураган», «душа беспокойная и нетерпеливая» – и от этой беспокойной души старший брат с его тихим благородством немало настрадается. Именно Адриану суждено стать заводилой всех грядущих бесчинств, среди которых можно выделить стрельбу по садовнику из отцовского револьвера и тщательно спланированный поджог бильярдной.

6 мая 1910 года скончался король Эдуард VII. В 1907-м он заключил с Россией соглашение, регулирующее отношения между двумя державами: новый век создавал новые союзы. Первыми за гробом шли новый король Великобритании Георг V и кайзер Германии Вильгельм II – скоро они окажутся по разные стороны линии фронта. В том же месяце Англию посетил президент Теодор Рузвельт и они с Дойлом наконец-то познакомились лично.

Дойл в октябре ездил на суд над знаменитым убийцей Криппеном; тогда же он прочел книгу Рафхеда о деле Оскара Слейтера, но пока не слишком живо заинтересовался им. Зимой он вдруг увлекся историей Древнего Рима и начал писать новый цикл рассказов из римской жизни, которые войдут в сборник «Последняя галера» – «Нашествие гуннов» («The Coming Of The Huns»), «Отплытие легионов» («The Last Of The Legions»), «Прибытие первого корабля» («The First Cargo»), «Сквозь пелену» («Through The Veil»), «Святотатец» («An Iconoclast»), «Великан Максимин» («Giant Maximin»). Изящные, холодные, скучноватые, они несколько напоминают античные новеллы Валерия Брюсова и Анатоля Франса. Написал Дойл и несколько рассказов на другие темы: деревенскую мелодраму «Сошел с дистанции» («Out Of The Running»), мрачно-фантастические «Двигатель Брауна-Перикорда» («The Great Brown-Pericord Motor») и «Ужас расщелины Голубого Джона» («Terror of Blue John Gap»), а также

упоминавшуюся в предыдущих главах «Ошибку капитана Шарки» – эти разные истории получились, пожалуй, более живыми, нежели исторический цикл. В 1911-м он написал еще два рассказа холмсовского цикла: «Алое кольцо» («The Adventure of the Red Circle») и «Исчезновение леди Френсис Карфакс» («The Disappearance of Lady Frances Carfax»). Изредка писал стихи; издал в 1911-м сборник поэзии «Дорожные песни» («Songs of the Road»).

Спорта в эти годы было много, как и прежде. За Мэрилебонский крикетный клуб Дойл после 1907-го уже не выступал, играл только как любитель. В 1910-м он стал капитаном гольф-клуба в Кроуборо (а Джин – капитаном женской команды) и оставался на этом посту, пока его не начал мучить ревматизм. В гольф-клуб был записан и Кингсли, но он редко бывал в Уинделшеме, да и большим любителем гольфа не был; тем не менее доктор исправно вносил абонентскую плату за сына.

В июле 1911-го супруги Дойл отправились в Германию, где доктор принял участие в качестве гонщика в международном автопробеге, организованном прусским принцем Генрихом. Это было грандиозное мероприятие в честь коронации нового английского короля Георга V. Соревновались англичане и немцы – по 50 гонщиков с каждой стороны. Первый этап маршрута начинался в Гамбурге, последний заканчивался в Лондоне. (Из Германии в Британию машины переезжали на пароходе.) Главным призом служила статуэтка, на которой было выгравировано слово «мир». А подготовка к войне тем временем шла вовсю. 1 июля разразился так называемый «Агадирский инцидент», о котором писал Дойл, – германское правительство направило в марокканский порт Агадир канонерку «Пантера», что вызвало нервную реакцию Франции, имевшей в Марокко «особые интересы». Европа волновалась. Принц Генрих, организатор автопробега и по совместительству командующий немецким флотом, сказал, что ничего знать не знает ни о каком инциденте. Ллойд Джордж заявил, что в случае, если Германия начнет войну с Францией, ей придется воевать и с Великобританией тоже. Антанту этот инцидент укрепил – как и предыдущий марокканский кризис.

У Дойла тогда был «лорен-дитрих» мощностью в 16 лошадиных сил, с открытым верхом. За рулем, по правилам гонки, должен был сидеть он сам; его шофер (когда-то бывший кучером) мог выполнять только роль механика. Джин ехала пассажиркой. В машине каждого гонщика также находился наблюдатель из команды противника. С британской стороны наблюдателями были офицеры высших чинов, с немецкой – в основном простые лейтенанты; в этом виделось неуважение. Дойлу, во всяком случае, было весьма неприятно постоянное присутствие надзирателя, хотя он и мог разговаривать с ним по-немецки. Немецкие гонщики были очень хороши, но британская команда победила – по мнению Дойла, благодаря своему коллективистскому духу, тогда как немцев он определил как «сборище индивидуумов». Сам доктор прошел всю дистанцию успешно и потерял очки лишь на одном крутом холме. «Когда мы в конце концов совершенно выдохлись, я посадил за баранку своего легкого по весу шофера, забежал сзади и, по существу, втащил машину на гору, подталкивая ее вверх, но нам начислили много штрафных за то, что я оставил свое место за рулем». Если бы «лорен-дитрих» не смог одолеть холм, то штраф был бы больше – так что оригинальный метод доктора Дойла оправдал себя.

В том же году, 25 мая, он впервые летал на самолете. Это был биплан с маломощным, но чрезвычайно шумным мотором, так что полет его сильно зависел от ветра и оставил у Дойла не самые приятные впечатления: его изрядно укачало, болели уши. В литературном отношении этот опыт не прошел даром: несколькими годами позднее Дойл напишет «Ужас высот» («The Horror of the Heights») – довольно жуткий рассказ о том, что поджидает одинокого авиатора там, в холодной бездне небес... Летал доктор и на воздушном шаре – и почувствовал себя в небе абсолютно счастливым: «От изумления, которое вызывает открывшийся вид, и дивного чувства свободы и независимости совершенно забываешь обо всем».

А в 1912-м (забежим немного вперед, раз уж пошла речь про спорт) доктору довелось – ни больше ни меньше – организовывать Олимпийские игры. Дойл уже принимал деятельное участие в предыдущей Олимпиаде 1908 года – в качестве журналиста. Та Олимпиада проходила в Лондоне, и «Дейли мейл» предложила Дойлу освещать марафонский забег. Финал марафона оказался драматичным: итальянский спортсмен Дорандо, человек хрупкого сложения, шедший первым, перед самым финалом выбился из сил, и его обошел американский атлет Хейес. Симпатия доктора была – как всегда – на стороне проигравшего: «Слава Богу, он снова на ногах, – маленькие красные ножки двигаются неуверенно, но топают твердо, направляемые высшей внутренней волей. Когда он опять падает, раздается стон – и ликование, когда он, шатаясь, поднимается. <...> Упадет ли он еще раз? Нет, он качается, балансирует, и вот он уже коснулся ленточки, и его подхватило множество дружеских рук». Доктор организовал для маленького итальянца подписку через «Дейли мейл» и собрал 300 фунтов, в результате чего тот открыл булочную.

Интересно, однако, отметить, что на Дойла при всей его восторженности Олимпиада 1908-го произвела не слишком хорошее впечатление, и он отзывался об олимпийском движении весьма настороженно: «Когда я думаю. об Олимпийских играх, я никоим образом не уверен, что спорт оказывает то благое интернациональное влияние, которое ему приписывают. Я хотел бы знать, не имеет ли какая-нибудь из древнегреческих войн истинной причины в Олимпийских играх». Дело в том, что именно с 1908 года Олимпийские игры приобрели свой современный характер – профессиональный: о красоте спорта никто больше не вспоминал, все гнались за результатами; это не соответствовало тому идеалу, который представлял себе доктор – принцип любительства, право на участие для слабых, рыцарство, бескорыстие. Нетрудно представить, что сказал бы этот идеалист о допинговых скандалах и прочих «прелестях» современного большого спорта.

На следующей Олимпиаде в Стокгольме Великобритания заняла всего лишь третье место, получив 41 медаль; все ругали Олимпийский комитет, и газетный магнат лорд Нотклифф, владелец «Дейли мейл» (а также «Дейли миррор» и отчасти «Таймс»), предложил Дойлу заняться организацией подготовки к следующим играм. Дойл согласился и вошел в Олимпийский комитет. У него имелось собственное мнение о причине неудачи Великобритании, и он надеялся, что сможет убедить организаторов в своей правоте. В июле 1912-го он опубликовал две статьи в «Таймс», в которых говорилось о том, что на игры нужно отправлять не британскую команду, а – имперскую, то есть включить в ее состав спортсменов из всех колоний и доминионов. «Я уверен, что, если подойти к ним тактично, они охотно поступятся своими случайными победами местного значения и образуют единую команду под общим флагом. Я пойду дальше и задам вопрос: почему бы нам не поискать победителей среди цейлонских и малайских пловцов, бегунов-индусов и борцов-сикхов, то есть среди цветных рас империи?» В том, что касается спортсменов «цветных рас», доктор все предвидел правильно. Но чрезвычайно наивно, конечно, было с его стороны думать, что кто-то чем-то «охотно поступится» ради величия империи – единства не было даже внутри собственной страны. Олимпийский комитет под председательством лорда Десборо и пресса были озлоблены друг на друга. «Было ясно, что прежде всего надо распутать весь этот клубок и что дипломатии для этого потребуется не меньше, чем для решения балканского вопроса».

Дойл предложил сформировать независимую организацию, которая могла бы как-то примирить воюющие стороны. Это ему удалось. Теперь дело было за тем, чтобы собрать недостающие средства. Планировалось обратиться к парламенту. Дойл считал, что нужно просить 10 тысяч фунтов. Но он по рассеянности забыл сказать об этом своим коллегам и уехал по делам за границу, а те потребовали 100 тысяч. Эта сумма, по нынешним временам смехотворно ничтожная (даже учитывая масштаб), тогда показалась дикой, невообразимой. Организаторов стали ругать пуще прежнего. В конце концов собрать удалось всего семь тысяч фунтов. (Игры, правда, все равно не состоялись – война помешала.) «Это дело отняло у меня год жизни, – писал Дойл, – и было самым бесплодным изо всех, какими я занимался, потому что из него ничего не вышло и я не могу припомнить, чтобы получил слово благодарности хоть от одного человека». Напомним, что в тот же самый период Дойл интенсивно занимался делом Слейтера – его он не считал бесплодным.

Обратно в год 1911-й – примечательный, в частности, тем, что у Холмса появился сильный соперник: в свет вышла книга Честертона «Неведение патера Брауна». В том же году Дойл едва не обзавелся соавтором: архитектор Артур Уитейкер прислал ему свои рассказы о Холмсе и предложил сотрудничество. Доктор выслал Уитейкеру чек на 10 фунтов, но от услуг отказался. История имела неожиданное продолжение: в 1942-м Хескет Пирсон, обнаружив в архиве Дойла эти тексты, предположил, что они принадлежат самому писателю. Уитейкер и Адриан Дойл затеяли судиться из-за них; в конце концов авторство Уитейкера было установлено, но до сих пор можно встретить упоминания о том, что эти тексты («Приключения высокого человека» и «Разыскиваемый») якобы являются неопубликованными черновиками Конан Дойла.

Лето прошло в поездках: едва успели чуть передохнуть в Кроуборо после автопробега, как в августе наконец-то женился Иннес Дойл – на датчанке Кларе Свенсен. Доктор с женой ездили на свадьбу в Данию. Вернувшись, Дойл немедленно уселся за письменный стол: он чуть не лопался от нетерпения. Семь долгих лет – после «Сэра Найджела» – Конан Дойл не писал романов. И вот осенью 1911-го он приступил к новой крупной вещи – «Затерянному миру» («The lost world»). Это был далеко не первый его опыт в фантастике, но первый фантастико-приключенческий роман в чистом виде – жанр, восходящий прежде всего, конечно, к Жюлю Верну. На сей раз Дойл сразу адресовался к подростковой аудитории; он, по его собственному выражению, «хотел дать книге для мальчишек то, что Шерлок Холмс дал детективному рассказу». Получилась книга, которую с наслаждением читают и взрослые.

Замысел романа возник частично под влиянием английского путешественника и этнографа

Перси Фосетта, с которым Дойл познакомился на почве спиритизма; они не раз встречались в Лондоне, а в феврале 1911-го Дойл присутствовал на лекции Фосетта в Королевском географическом обществе: тот докладывал о поездке в Боливию. Майор Фосетт был презанятнейшей, удивительной личностью; его называли мистиком и мечтателем, но в то же время это был человек практического склада, изобретатель и разносторонний ученый. Он был захвачен идеей отыскать в Южной Америке следы древних цивилизаций, связанных с культурами Египта и Атлантиды. Бывал он и в Путумайо, знал Кейзмента, сам писал об эксплуатации индейцев, впоследствии участвовал в работе по определению границ этого района. По утверждению французского зоолога Бернара Эйвельманса, место действия «Затерянного мира» – это горы Рикардо-Франко, где Фосетт был со своей экспедицией в 1908 году. (Впоследствии Фосетт в тех же местах пропал без вести; его искали в течение 15 лет, но не нашли никаких следов.)

И Фосетт, и Эйвельманс полагали, что на изолированных плато теоретически могли бы существовать неизвестные науке виды животных (многие до сих пор придерживаются этого мнения). Другим советчиком Дойла был известный зоолог Ланкастер, заведовавший отделом естественной истории в Британском музее и тоже мечтатель; при написании романа Дойл во многом опирался на труды Ланкастера по зоологии.

Третьим источником послужила книга ученого-географа Бейтса об экспедициях в бассейне Амазонки (опубликованная еще в 1863 году); и, наконец, отчеты о путешествиях Томсона и Вайвилла на судне «Челленджер». Так что свой роман доктор, как всегда, строил на весьма солидном научном фундаменте. Однако в «Затерянном мире» наукообразности нет совсем – и в этом основное отличие Дойла от Жюля Верна. Как отмечали многие критики, его больше интересовали люди, чем рыбы, звери и подводные лодки.

В текстах Дойла мы всегда находим либо пару друзей, либо мушкетерскую четверку: в «Затерянном мире» главных героев снова четверо, хотя в типажи мушкетеров они не совсем укладываются (особенно Саммерли) и близкими друзьями не становятся. На кого они похожи? Уже говорилось, что прототип редко бывает один. Эксцентричный профессор Челленджер вобрал в себя воспоминания Дойла о Джордже Бадде (как Бадд, он носится с проектами то обезвреживания торпед, то дешевого способа получения азота из воздуха и т. д.), о вспыльчивом и громогласном профессоре Резерфорде, о профессоре Томпсоне, а также о множестве других людей, с которыми Дойлу приходилось встречаться; безусловно, в чем-то Челленджер – это Фосетт, да и от Паганеля в нем тоже можно кое-что отыскать, а еще – от Шерлока Холмса. Профессор Саммерли – это прежде всего, вероятно, профессор Вайвилл (он был педантом и постоянно спорил с Резерфордом, что доставляло большое удовольствие студентам), отчасти – другой ученый, Кристенсен, отчасти тот же Паганель. Сплошные ученые. А что же два других героя?

«Три года назад мне пришлось выступить с этой винтовкой против перуанских рабовладельцев. <…> Бывают времена, голубчик, когда каждый из нас обязан стать на защиту человеческих прав и справедливости, чтобы не потерять уважения к самому себе. Вот почему я вел там нечто вроде войны на свой страх и риск. Сам ее объявил, сам воевал, сам довел ее до конца. Каждая зарубка – это убитый мною мерзавец. <…>Самая большая отметина сделана после того, как я пристрелил в одной из заводей реки Путумайо Педро Лопеса – крупнейшего из рабовладельцев…» Так говорил лорд Джон Рокстон; Лопесом он назвал Арану.

1911 год – это период, когда Дойл уже написал «Преступление в Конго», период, когда он регулярно общался с Морелем, переписывался с Кейзментом и был восхищен тем, что делали они оба. Биографы не сомневаются, что основной прототип молодого журналиста Эдварда Мелоуна – это молодой журналист Эдмунд Морель, а лорда Джона Рокстона – сэр Роджер Кейзмент. В 1911-м Дойл еще не разругался с Морелем из-за его пацифизма, не знал о заговорщических делах Кейзмента и его скандальных дневниках. Но это вряд ли что-то изменило бы в тексте «Затерянного мира»: герои впитали черты людей, которых доктор когда-то любил, и он запомнил их именно такими, какими были они для него в самые лучшие минуты дружбы.

Разумеется, не нужно упрощать: как и в любом другом случае, Мелоун и Рокстон – не фотоснимки, а самостоятельные плоды фантазии автора. В Мелоуне нет практически ничего от реального Мореля, зато в нем можно увидеть и самого Дойла в юности (атлет-ирландец, который успешно выступал в международном матче регбистов), и еще кучу его знакомых, Флетчера Робинсона прежде всего; по своей сути это все тот же «простодушный рассказчик», с которым читатель встречается в каждом произведении Дойла.

Что касается Рокстона – конечно, он и Фосетт, и Холмс, и Теодор Рузвельт, спортсмен и охотник; он, бесспорно, и Иннес Дойл, и Артур Дойл – но, пожалуй, в наибольшей степени тут

все-таки видны черты Роджера Кейзмента. «Чем ближе надвигалась на нас опасность, тем красочнее становилась его речь, тем ярче разгорались его холодные глаза, тем больше и больше топорщились длинные, как у Дон Кихота, усы. Он любил рисковать, наслаждался драматичностью, присущей истинным приключениям, особенно когда это касалось его самого, считал, что во всякой опасности есть своего рода спортивный интерес – интерес жестокой игры человека с судьбой, где ставкой служит жизнь». Лорд Джон Рокстон, видя, как Лопес измывается над индейцами, собрал беглых рабов, вооружил их и «начал военные действия, закончившиеся тем, что изверг метис погиб от его пули, а возглавляемая им система рабства была уничтожена». Кейзмент, правда, воевал с Араной с помощью пера, а не винтовки. И «изверг» не погиб, тут Конан Дойл выдал желаемое за действительное: когда казнили Кейзмента, Арана был целехонек, жил припеваючи в Перу и даже писал ирландцу в тюрьму издевательские письма.

В «Затерянном мире», кроме четверых доблестных британцев, действуют еще представители самых разных рас, как настоящих, так и выдуманных. Индейцы – несчастные, угнетенные и озлобленные; негр Самбо – добрый силач, который с радостью служит британцам и выручает их; метисы, как всегда, – дьявольские злодеи (если в тексте Конан Дойла появляется человек по фамилии Гомес или Лопес – с ним все ясно заранее); человекообезьяны – кровожадные чудовища. («Как говорится, „недостающее звено“. Ну, недостает, и черт с ним, и обошлись бы без него!» – говорил лорд Джон Рокстон.) Человекообезьяны ловят и убивают индейцев – при большом желании можно сделать вывод о том, что под видом этих чудищ прогрессивный доктор Дойл вывел бельгийских и перуанских колонизаторов, но вряд ли это так: к политическим аллегориям он никогда не был склонен, скорее ему просто было по-детски интересно придумывать существ, которых нет.

Хотя... Челленджер говорит о человекообезьянах, что они являются «нашими предками, но не только предками... а и современниками, которых можно наблюдать во всем их своеобразии – отталкивающем, страшном своеобразии». Может, все-таки человекообезьяны – это и вправду аллегория? Они – это мы? В 1911 году Дойл находился под впечатлением отчетов о Конго; он помнил, как толпа (человекообезьян?) пыталась растерзать Джорджа Идалджи; да и вопли публики, собиравшейся на предвыборные митинги и напоминавшей ему «зоопарк перед кормежкой», тоже вспоминались наверняка: описывая беснующийся зал во время доклада Челленджера, Дойл употребляет то же самое выражение – «зоопарк». У него и птеродактили похожи на людей: «Их гигантские перепончатые крылья, согнутые в предплечьях, были прижаты к бокам, и от этого в облике их мне мерещилось что-то человеческое; они напоминали старух, кутающихся в мерзкие, цвета паутины, шали, из которых выглядывали только хищные птичьи головы». В довершение всего Дойл придает обезьяньему вожаку сходство с самим профессором Челленджером – «точная копия, только масть другая – рыжая» и «такой же заносчивый вид – подите, мол, вы все к черту!».

Дойл конечно же не мог спокойно наблюдать, как злые человекообезьяны измываются над индейцами; когда приходит час решающей битвы, четверо британцев с винтовками в лучших традициях прогрессорства выступают на стороне угнетенных и разбивают в пух и прах превосходящие силы противника. Правда, люди-победители с побежденными нелюдьми обошлись так, что поневоле задумаешься, отличаются ли они друг от друга хоть чем-нибудь: «Самцы обезьяньего племени были истреблены все до одного, обезьяний город разрушен, самки и детеныши угнаны в неволю». Недаром профессор Челленджер и о людях был невысокого мнения; в более позднем романе Дойла, «Страна туманов» («The Land of Mist»), он говорит, что стоит взглянуть на наших современников, и смерти сразу возрадуешься: «Это единственная надежда человечества. Представьте себе, что все они живут вечно – ужасный вариант!»

И тем не менее «Затерянный мир» – очень оптимистичная и уютная книга. Ощущение обволакивающего уюта, казалось бы, неотделимого от лондонских гостиных, Дойл с легкостью перенес в дебри Амазонки. «Мы расположились на ночлег у самого края обрыва и тут же поужинали, запивая еду аполлинарисом, две бутылки которого нашлись в одном из мешков с провизией». Прибавим, что даже в «Отравленном поясе», перед лицом гибели человечества, герои только и делают, что завтракают да ужинают – прямо как мушкетеры под стенами Ла-Рошели.

Любопытно, что когда автор этой книжки попросил нескольких образованных взрослых людей сказать, сколько книг Конан Дойл написал о Челленджере, Мелоуне и Рокстоне, то первым ответом всякий раз было: «Ну-у, их много!» – и лишь потом вспоминали, что романов всего три, да еще два маленьких рассказа, где фигурирует один лишь Челленджер. Это – заслуга профессора Челленджера, конечно; персонаж получился такой обширный, громогласный и шумный, что кажется, будто его и вправду очень много, почти столько же, как Холмса. При этом довольно трудно понять, что в нем, собственно, такого уж хорошего. Ну да, конечно, он

смелый, хладнокровный и несгибаемый – но это такое общее место! Он махровый эгоист и, если проанализировать все его высказывания, любит не «науку в себе», а преимущественно «себя в науке». Он тошнотворно самодоволен, в десять раз более самодоволен, чем Холмс; эгоист, фанфарон, грубиян. В жертву своей науке может принести что угодно и кого угодно. В кратких предисловиях к советским да и к современным изданиям «Затерянного мира» можно прочесть, что на самом-то деле Челленджер добрый. Никакой он не «добрый», во всяком случае, в «Затерянном мире». Никаким несчастным, в отличие от Холмса, не помогает. Когда обезьяний царь из-за внешнего сходства приближает его к себе, ходит довольный и об участи своих товарищей особенно не задумывается. Друзей не имеет: друзьями четверо путешественников так и не становятся. Позднее, в «Отравленном поясе», в Челленджере будет намного больше человеческого, мягкого; это связано с его отношением к жене. Миссис Челленджер фигурирует и в «Затерянном мире»; там ее роль эпизодическая, и все же она очень важна.

Зачем вообще эта жена понадобилась? Конан Дойл не любил в своих текстах ничего лишнего и потому предпочитал обходиться без жен: его фанатичные ученые, да и вообще подавляющее большинство героев, как правило, холостяки; эксцентричному Челленджеру вроде бы сам Бог велел остаться свободным. Но тут Дойл в очередной раз проявил идеальное писательское чутье: именно ненавязчивое присутствие миссис Челленджер смягчает образ профессора и придает ему обаяние; эта маленькая отважная женщина – «растревоженная клушка, грудью встречающая бульдога» – играет в «челленджериане» ту же роль, что бедные девушки, оборванные старики и другие страдальцы, толпящиеся на Бейкер-стрит. Должно быть что-то слабое и беззащитное, к чему герой относится с почти материнской нежностью: не человечество, так хоть жена. В самом начале «Затерянного мира» мы наблюдали очаровательную сценку, когда профессор сажает жену на шкаф и затем снимает ее «с такой легкостью, словно она весила не больше канарейки», с улыбкой принимает ее сердитые попреки, кладет ей руки на плечи, целует и мягко говорит: «Ты права, как всегда, дорогая». Это сценка, вроде бы ненужная с точки зрения сюжета – а Дойл всегда все подчинял сюжету – и очень короткая (миссис Челленджер, снятая со шкафа, тотчас исчезнет и не появится даже в конце романа), но она сделала главное: мы полюбили профессора и дальше можем с легкостью простить ему все недостатки. Будь профессор холостяком-одиночкой – впечатление от него получилось бы совсем иным. Да, это был гениальный ход – сделать «сумасшедшего ученого» примерным семьянином и чуть ли не подкаблучником.

Дойл работал над «Затерянным миром» быстро и с огромным увлечением; каждый вечер он вслух читал главы из романа Джин и ее подруге Лили Лоудер-Симмонс, приехавшей погостить. Роман он закончил 11 декабря и отослал в «Стрэнд», где тот печатался с апреля по ноябрь 1912 года. (Отдельной книгой роман вышел в издательстве «Ходдер и Стоутон» в 1913-м.) Гринхофу Смиту доктор написал: «Я думаю, это будет лучший сериал (оставив в стороне особый случай Шерлока Холмса) из всех, мною сделанных». Он не ошибся.

Как Стивенсон в «Острове сокровищ», он нарисовал подробнейшие карты местности, которую придумал. Он также хотел снабдить текст фотографиями, на которых сам – в парике, с наклеенной бородой и бровями – должен был изображать профессора Челленджера; фотографии сделали, но редакция потом воспротивилась их публикации, боясь, что читатели воспримут все всерьез. Доктору именно этого и хотелось – чтобы поверили. (Чтобы грим не пропадал зря, доктор отправился в таком виде в гости к Хорнунгам и перепугал всех в доме.) Он до сих пор с удовольствием вспоминал реакцию простодушного читателя на «Сообщение Хебекука Джефсона». Мистификации он обожал. И то, чего он хотел, случилось: вскоре после публикации «Затерянного мира» в прессе появилась заметка о том, как группа американцев, воодушевленная романом, отправилась на яхте в плавание по Амазонке, надеясь отыскать плато Мепл-Уайта.

Существует, кстати, версия, вполне серьезно высказанная американцами Хэтэуэем и Мейером, в соответствии с которой Конан Дойл в 1912 году совершил одну из самых известных в Англии научных мистификаций, а именно подделал так называемый «пидлтаунский череп». Будто бы он, решив подшутить над одним из его тогдашних соседей, адвокатом Доусоном, неодобрительно отзывавшимся о его романах и увлекавшимся археологическими раскопками, раздобыл человеческий череп (он легко мог купить или найти его, например, когда посещал Мальту во время медового месяца с Джин), а у знакомого зоолога приобрел челюсть орангутана; бормашиной обточил череп, присобачил к нему челюсть и обработал получившуюся голову химикатами, чтобы «состарить» изделие, а потом (он ведь как раз в тот период занимался угольными шахтами и, стало быть, знал толк в раскопках) зарыл эту штуковину в заброшенном руднике, где Доусон любил копаться; тот отослал находку в Британский музей, и лишь в 1950-х годах было доказано, что череп является фальшивкой. Находка Доусоном черепа, его знакомство с Дойлом и то, что он с Дойлом свою находку обсуждал, – это факты; остальное, конечно, пустые домыслы,

построенные в основном на сюжете «Затерянного мира» и предположениях о том, что Дойл теоретически мог сделать то-то и то-то, быть там-то и там-то, знать такого-то и сякого-то. Наверное, подобный фокус был бы вполне в духе доктора Дойла. Но вряд ли он стал бы тратить на это столько времени и сил.

Глава первая

ОПАСНОСТЬ!

Кино в те годы никого уже не удивляло; был снят не один фильм о Шерлоке Холмсе. Но лишь в 1912 году кинематографисты впервые обратились к Дойлу, чтобы купить у него права на экранизацию. Это были представители французской кинокомпании «Эклер», которые уже снимали фильмы о великом сыщике; теперь наконец непосредственно у автора были приобретены права на «Медные буки». Предложенная сумма, по словам доктора, показалась ему настоящим кладом – он тогда не знал, какими деньгами может ворочать киноиндустрия. Впоследствии, когда он захотел продать эти права своим соотечественникам, ему пришлось выкупать их у французов за сумму в десять раз большую. Неизвестно, видел ли он французскую экранизацию – скорее всего, конечно, видел. Он об этом не упоминает. В 1912-м его занимали совсем другие вещи.

Артур Конан Дойл и Джордж Бернард Шоу были знакомы с 1891 года. Не раз им доводилось сражаться по одну сторону баррикад – рядом, но не вместе. Оба были ирландцами со всеми вытекающими последствиями: горячий, упрямый характер, сентиментальность и умение сказать едкое словцо; если у Дойла преобладала сентиментальность, то у Шоу – желчность. Друг друга они недолюбливали. Дойл воспринимал Шоу как злобного, ядовитого критикана, для которого нет ничего святого, который ради красного словца отца родного не пожалеет; Шоу считал Дойла весьма посредственным литератором, а также напыщенным, восторженным и недалеким человеком. Маленький штрих, характеризующий обоих: однажды в Хайндхеде был поставлен любительский спектакль по пьесе «Как вам это понравится»; на представлении были Дойл и гостивший там Шоу. Нетрудно догадаться, как самодеятельные деревенские актеры могли играть Шекспира. Дойл рукоплескал и очень хвалил игру. Шоу сказал, что ничего ужаснее он не видел. Дойл неплохо разбирался в театре и мог отличить хорошую игру от плохой, но считал, что нужно быть благодарным людям, которые тянутся к искусству и искренне желают доставить окружающим удовольствие. Шоу подобные соображения были чужды. И так у этих двоих было во всем и всегда. При этом внешне сохранялись дружелюбные отношения. Но в 1912 году два писателя страшно поссорились.

14 мая погиб «Титаник». Пересказывать обстоятельства самой катастрофы нет смысла – их нынче знают все. Море было спокойное, и лайнер тонул медленно, но из 2 206 человек, находившихся на борту, спаслись только 711. Погиб, в частности, Уильям Стид, старый приятель и идейный противник Дой-ла, двадцатью шестью годами ранее опубликовавший в «Пэлл-Мэлл газетт» статью с описанием выдуманной катастрофы современного лайнера, который не был оснащен достаточным количеством спасательных шлюпок; через два дня после его смерти провидческая статья была перепечатана всеми газетами. Это – установленные факты; в том же, что касается подробностей спасательной операции, разногласия существуют до сих пор.

В первые дни сведения о катастрофе поступали очень отрывочно, в виде слухов и искаженных рассказов очевидцев. Сразу появилась версия о том, что капитан Смит застрелился. (По сей день неизвестно, как именно он погиб.) Британские газеты начали писать о мужестве и героизме, проявленных их соотечественниками – пассажирами, уступавшими места в шлюпках женщинам и детям, членами экипажа, стрелявшими в трусливых и злобных иностранцев, которые пытались спастись, расталкивая слабых, оркестрантами, игравшими до последнего мгновения, чтобы поддержать дух в пассажирах. Очень много говорилось о благородстве и очень мало – о панике и неразберихе, о пассажирах третьего класса, запертых по приказу капитана, о нехватке шлюпок, о том, что на судне не проводилась учебная тревога, что члены экипажа не знали, за какие шлюпки они отвечают, что пассажирам не объяснили, насколько серьезная опасность им угрожает, предпочитая успокаивать их музыкой. Тон всех статей был сентиментально-романтический.

Шоу это взбесило. В гибели «Титаника» он не видел героизма, а одну лишь самодовольную, преступную глупость. Не говоря уж о том, что капитан пренебрег предупреждением относительно айсбергов (сейчас вроде бы считается, что он был пьян, а его помощнику Лайтоллеру, который намеревался снизить скорость и изменить курс, не дал сделать это председатель судоходной компании Исмей – есть, впрочем, и другие версии). Само спасение было организовано из рук вон плохо, в результате чего шлюпки отчаливали от борта, заполненные лишь наполовину, и сидевшие в них даже не пытались помочь тем, кто оказался в воде. 14 мая Шоу опубликовал в «Дейли ньюс» статью под громоздким заголовком «Некоторые неупомянутые моральные соображения», где высказал все, что он думал по поводу «Титаника». Капитана Смита он прямо назвал преступником. Он привел известный пример со шлюпкой №1, впоследствии получившей название «специальная миллионерская»,

на которой уплыли всего 12 человек, хотя она вмещала 40. Он говорил о том, что женщинам и детям никто мест не уступал, что толпа готова была идти по головам, что офицеры стреляли в обезумевших пассажиров не из благородства, а от ужаса. Но больше всего он ополчился на тех, кто видел во всем этом проявления «прекрасного героизма»: «Я спрашиваю, зачем это отвратительное, святотатственное, бесчеловечное, мерзкое вранье? Произошло несчастье, которое любого гордеца сделает смиренным, самого необузданного шутника – серьезным. Нас оно сделало тщеславными, нахальными и лживыми».

Шоу всегда был на стороне меньшинства и в меньшинстве (и, заметим, ему это нравилось); разумеется, на него и тут набросились все. Конан Дойла статья Шоу страшно возмутила. Он глубоко переживал трагедию лайнера, всплакнул над рассказами о героических оркестрантах, о седом капитане, ценой собственной жизни спасшем ребенка (была и такая версия, столь же недоказанная и недоказуемая, как и то, что Смит застрелился); он горевал о Стиде, который, по словам выживших очевидцев, проявил во время катастрофы мужество и благородство. Ему казалось, что горе сплачивает людей, что благородное поведение офицеров с «Титаника» послужит очистительной жертвой и добрым примером; он верил в катарсис – и вдруг такая лохань помоев!

«"Дейли ньюс", 20 мая 1912 г.

М-Р ШОУ И «ТИТАНИК»

Сэр, я только что прочел статью м-ра Бернарда Шоу о гибели «Титаника», напечатанную в Вашей газете. Она якобы написана в интересах истины и обвиняет всех во лжи. Никогда, однако, я не встречал выступления, в котором было бы нагромождено столько лжи. <...>

М-р Шоу хочет подкрепить примерами свой извращенный тезис о том, что героизма не было, и делится фактами, что женщинам не предоставили право спастись в первую очередь. С этой целью он выбирает одну-единственную самую маленькую шлюпку, спущенную на воду и укомплектованную при особых обстоятельствах, которые сейчас расследуются (речь о той самой «миллионерской» шлюпке. – *М. Ч.).* <...> Но м-ру Шоу известно не хуже, чем мне, что если бы он взял следующую лодку, то был бы обязан отметить, что в ней преобладали женщины (65 из 79 человек) и что почти все лодки двигались медленно, так как не хватало гребцов-мужчин. Значит, м-р Шоу намеренно выбрал одну лодку, чтобы создать ложное впечатление, ведь он знал, как это исказит ситуацию. <...>

В другом разделе статьи м-р Шоу пытается очернить поведение капитана Смита. Он использует свой излюбленный метод ложного предположения, заявляя, что будто бы сочувствие, выраженное общественным мнением по отношению к капитану Смиту, приняло форму оправдания того, как он командовал кораблем. На самом деле никто не пытался оправдать риск, на который пошел капитан, а сочувствие было адресовано старому почтенному моряку, который совершил одну ужасную ошибку и который сознательно отдал жизнь в ее искупление. <...>

Наконец, м-р Шоу пытается очернить прекрасный эпизод с оркестром, утверждая, что музыканты играли по приказу, дабы предотвратить панику. Но даже если это так, разве это умаляет мудрость приказа или героизм игравших музыкантов? <...>

Что же касается основного обвинения, будто катастрофой воспользовались с целью прославить достоинства британской нации, то мы были бы последними людьми, если бы не оценили мужество и дисциплину в их высочайших проявлениях. То, что наши симпатии отданы не только нашим соотечественникам, видно из того, как превозносится поведение американских пассажиров, и особенно столь часто ругаемых миллионеров, – так же тепло, как и любое другое событие этой замечательной эпопеи.»

С одной стороны, именно так до сих пор принято говорить о трагедиях и именно такой тон большинство людей считают уместным; с другой – при чтении последнего абзаца хочется взвыть – особенно от слов о добрых миллионерах и эпитета «замечательная». Вряд ли родственники погибших оскорбились бы, прочтя о том, что их родных не спасли из-за халатности – скорее их бы шокировало то, что смерть их близких для кого-то – «замечательная эпопея». Но доктор Дойл таков, каков он есть. Во всем он хотел находить – и находил – возвышенное, благородное, мужественное, героическое. Шоу очернил британский народ – этого Дойл ему не мог простить. Он часто ополчался против своих – в случаях с Идалджи или Слейтером – с таким же гневом, как и Шоу, но не мог слышать, когда его страну ругает кто-то другой. И тем не менее Дойл был абсолютно прав в отношении Шоу: тот подобрал факты тенденциозно – как и он сам. Оба говорили то, чему верили, и оба черпали сведения из недостоверных источников.

Шоу ответил Дойлу в той же газете 22 мая: «Сэр Артур обвиняет меня во лжи, и я должен сказать, что после него я не чувствую особого воодушевления говорить правду. Сам он против своей воли пишет самую, на мой взгляд, громоподобную ложь, которую автор когда-либо передавал в типографию. <…> Я так же принимаю близко к сердцу трагедию катастрофы, как и любой другой человек; но из-за невыносимой провокации, из-за отвратительной и бесчестной чепухи я был вынужден призвать наших журналистов прийти в себя и сказал открыто, что все происшедшее было опозорено бесчувственным всплеском романтического вранья».

Комиссия, возглавляемая лордом Мерси, расследовала гибель корабля; на Дойла первые результаты расследования комиссии произвели удручающее впечатление, и дальше спорить с Шоу он не решился. (А между тем в своих окончательных выводах комиссия заявила, что на «Титанике» все было в общем правильно, случилась не халатность, а просто ошибочка, лорд Исмей – молодец, повсюду царили дисциплина и мужество, если какие пассажиры погибли, то в основном по собственному легкомыслию, и на вопрос, что же случилось с «Титаником», дала ответ: «он утонул».) 25 мая Дойл завершил дискуссию: «Самое худшее, что я могу подумать или сказать о м-ре Шоу, это то, что среди многих его блистательных талантов нет умения взвешивать факты и свидетельства; также нет у него черты характера – назовите это хорошим вкусом, гуманностью или как угодно, – которая не дает человеку бессмысленно оскорблять чувства других людей». Шоу понял, что отвечать дальше было бы уже глупо, и промолчал. На дуэль они друг друга не вызвали, и конфликт потихоньку рассосался – вспыльчивые люди, как правило, отходчивы.

Из крупных биографов Дойла, описывавших этот конфликт, одни (Пирсон, Бут) остались нейтральными, другие – Карр, Стэшовер – приняли сторону Дойла, потому что его позиция «человечнее». Нам – если говорить конкретно о «Титанике» – ближе первый подход. Но... Еще раз отметим, что с точки зрения Шоу, конечно, Конан Дойл был сентиментальным, доверчивым идиотом. А сам Шоу был человек свободомыслящий, скептический, все подвергавший беспощадному анализу. Вот только... Шоу посылал Ленину свои книги с нежными надписями, сидел со Сталиным за столом и писал о том, как прекрасно живется в СССР – именно в те годы, когда на Украине крестьяне ели собственных детей. Так кто же после этого доверчивый идиот?

В декабре того же года Шоу и Дойл сошлись уже вполне мирно – на митинге, который был посвящен ирландскому гомрулю: протестанты Северной Ирландии полагали, что введение самоуправления приведет к преследованию протестантского меньшинства католическим большинством, а английские протестанты были убеждены, что этого опасаться не стоит: католики никого преследовать не собираются, а если начнут – Англия защитит своих единоверцев. И Дойл, и Шоу, естественно, придерживались второй позиции: Шоу всегда был за гомруль, Дойл постепенно, общаясь с Кейзментом, пришел к тому же мнению и, разумеется, был уверен, что Англия действительно сможет заступиться за протестантское меньшинство. Тексты их речей были напечатаны в газетах, освещавших митинг. Карр с нескрываемым злорадством описал, насколько сентиментальным и восторженным получилось выступление Шоу и насколько простым и трезвым – его недавнего оппонента: если Шоу с дрожью в голосе заявил, что одна лишь мысль о его ирландском происхождении «наполняет его дикой, неугасимой гордостью» и что ни в какой защите со стороны англичан он не нуждается – «пусть лучше католики его живьем сожгут», – то Конан Дойл сухо порекомендовал собравшимся поменьше предаваться воспоминаниям и побольше думать о «современных реалиях», как сказали бы сейчас.

Когда проходил вышеупомянутый митинг, Дойл уже приступил к работе над вторым романом о Челленджере – «Отравленный пояс». Пожалуй, после «Трагедии „Короско“» то был второй раз, когда доктор обратился к жанру, характерному для более позднего времени. Это сейчас пишется огромное количество книг и снимается еще большее количество фильмов в жанре глобальной апокалиптики, а до Второй мировой войны это была все-таки редкость. Родоначальником жанра обычно называют Уэллса с его «Машиной времени» (1895), рассказом 1897 года «Звезда» и «Войной миров», опубликованной в 1898-м. Это не совсем точно и уж совсем несправедливо по отношению к французу Жозефу Рони, известному нам в основном своими «первобытными» романами, но написавшему также несколько интересных текстов о глобальных катастрофах, причем первый из них, «Ксипехузы», появился за несколько лет до «Машины времени». Грядущему концу света еще в 1826 году был посвящен роман Мэри Шелли «Последний человек», а еще раньше – книга француза де Гренвиля с таким же названием; можно вспомнить еще «Грядущую расу» Э. Бульвер-Литтона, «Колонну Цезаря» американца И. Доннелли и роман русского беллетриста А. Беломора «Роковая война 18?? года». Уэллс в первое десятилетие XX века написал еще два произведения на апокалиптическую тему – «В дни кометы» и «Война в воздухе». В те же годы вышли повесть английского писателя Форстера «Машина останавливается», роман Рони «Гибель земли»,

Валерий Брюсов написал о гибели цивилизации пьесу под названием «Земля», а русский фантаст С. Бельский – повесть «Под кометой». В 1913-м Куприн опубликует роман «Жидкое солнце», Рони – «Таинственную силу», Уэллс – «Освобожденный мир», а затем эсхатологические романы станут во всех странах появляться регулярно, чтобы достичь пика в 1940-х.

Совершенно естественно, что апокалиптика стала зарождаться на рубеже веков, когда в воздухе витали предчувствия катастроф, войн и революций. В Англии с концом викторианской эпохи заканчивалось и ощущение спокойного уюта. Но то, что к жанру апокалиптической аллегории обратился доктор Дойл с его несокрушимым рассудительным оптимизмом, с его пристрастием к реализму, на первый взгляд кажется удивительным. Однако если мы вспомним, сколько раз он в самые разные, вполне мирные годы произносил слова о том, что «Англия стояла на пороге войны», то ничего удивительного уже не будет в том, что он и настоящую большую войну предчувствовал заранее. В мемуарах он писал, что «долгое время» не хотел верить в немецкую угрозу и что «в компании образованных англичан нередко оставался в одиночестве, высказывая мнение, что ее не существует». Но к 1912 году это «долгое время» безусловно закончилось. Война уже виделась ему. Катастрофа «Титаника», которую он принял так близко к сердцу, тоже была ее предвестием.

«Где-то произошла перемена. О том свидетельствуют нарушения в спектрах всех небесных тел. Перемена может оказаться доброй. Может оказаться дурной. Может оказаться и нейтральной. Мы не знаем. Наивные наблюдатели думают, что происходит нечто, чем спокойно можно пренебречь; но тот, кто, подобно мне, наделен более глубоким прозрением истинного мыслителя, тот понимает, что вселенная таит непостижимые возможности и что среди всех людей мудрейший тот, кто всегда готов к неожиданному». О себе доктор, разумеется, не смог бы сказать, что он «наделен более глубоким прозрением истинного мыслителя», но профессору Челленджеру это было позволительно: «Наша планета вступила в пояс ядовитого эфира и теперь углубляется в него со скоростью многих миллионов миль в минуту». До выстрела в Сараеве оставалось совсем немного времени.

Дойл, конечно, романы Уэллса читал. И его собственный роман похож на уэллсовские тексты, в некоторых частностях так сильно, что впору говорить о заимствовании. Особенно большое сходство существует между «Отравленным поясом» и повестью «В дни кометы» – с той лишь разницей, что Уэллс клянет «гидру капитализма», а Дойл ограничивается общим сетованием на несовершенство человеческого жизнеустройства. В обоих романах Земля, на которой царят суетность, раздражение и непонимание, окутывается облаком отравленного газа; на краткое время героям кажется, что мир погиб; потом выясняется, что газ сделал людей лучше; то, что воспринималось как катастрофа, пошло человечеству на пользу; отравлен был как раз тот, прежний мир. У Уэллса сам газ благодаря присущим ему свойствам в один миг переделывает души людей, у Дойла люди «просто осознают», что раньше жили неправильно, но по сути это одно и то же.

«Мы живем теперь в такое время, когда Великая Перемена во многом уже завершилась, когда в людях воспитывается известная духовная мягкость, ничего, впрочем, не отнимающая от нашей силы, – писал Уэллс. – <…> Изменился воздух, и Дух человеческий, дремавший, оцепеневший и грезивший лишь о темных и злых делах, теперь пробудился и удивленными, ясными глазами снова смотрел на жизнь». А вот и «Отравленный пояс»: «Мрачная тень нависла над нашей жизнью, но кто посмеет отрицать, что под покровом этой тени произошла некая переоценка ценностей, пересмотр жизненных целей: сознание долга, разумное понимание ответственности, глубокое стремление к совершенствованию окрепли в нас до такой степени, что всколыхнули общество во всех его слоях. <…> Больше здоровья, больше радости стало у людей, и от этого они стали против прежнего только богаче, несмотря на выплату повышенных сборов в общественный фонд, благодаря которому так поднялся общий жизненный уровень на наших островах».

Очень любопытна эта оптимистическая эсхатология. У более поздних авторов, описывающих глобальную катастрофу и конец света, практически не встретишь мнения, что подобное может пойти людям на пользу. Две мировые войны убили веру в человечество. Однако Джек Лондон писал «Алую чуму» всего двумя годами позднее, чем Дойл – «Отравленный пояс», но и он в преобразование Земли уже не верил: «Снова изобретут порох. Это неизбежно: история повторяется. Люди будут плодиться и воевать. С помощью пороха они начнут убивать миллионы себе подобных, и только так, из огня и крови, когда-нибудь в далеком будущем, возникнет новая цивилизация. Но что толку? Как погибла прежняя цивилизация, так погибнет и будущая». Лондон, как и Дойл с Уэллсом, родился и вырос в тихом, спокойном XIX веке; в XX веке в Америке было значительно безопаснее, чем в воюющей Европе. И тем не менее вера британцев в человечество была крепче. И Дойл, и Уэллс говорили о том, что нельзя самоуспокаиваться – а все-таки, наверное, сказалась викторианская убежденность в конечной

незыблемости и справедливости всего сущего.

Юрий Кагарлицкий в статье об Уэллсе писал, что последний был прекрасным юмористическим писателем, в отличие от Киплинга и Конан Дойла, чьи юмористические потуги тяжеловесны и неловки. Не очень это справедливо по отношению к Киплингу, и Конан Дойл писать смешно тоже умел, даже про страшное. Когда Мелоун, Саммерли и Рокстон, нагрузившись баллонами с кислородом, едут в поезде к Челленджеру, то, не сознавая, что уже отравлены, беспрестанно скандалят и ссорятся между собой – сцена вроде бы аллегорическая, смысл которой заключается в том, что перед лицом грозящей катастрофы негоже предаваться мелким политическим распрям, но вместе с тем это прелестный комический текст. Едва не перебив друг друга, они все-таки попадают в дом Челленджера; тот рассказывает им, как, находясь под воздействием эфира, покусал свою экономку, но затем нашел в себе силы контролировать сознанием разрушенную психику: призыв к человечеству разумом обуздать свои разрушительные инстинкты... «Так, когда моя жена сошла в столовую и мне захотелось спрятаться за дверью и напугать ее диким криком, я оказался способен побороть это побуждение и поздороваться с нею достойно и сдержанно. Неодолимое желание закрякать уткой было равным образом осознано и подавлено. Позже, спустившись во двор заказать машину и увидав нагнувшегося Остина, увлеченного чисткой мотора, я остановил свою уже занесенную руку и воздержался от некоего опыта, который, вероятно, заставил бы шофера последовать по стопам экономки».

Уэллс как юморист был вообще гораздо сильнее Конан Дойла, но в его апокалиптических текстах с юмором как-то плоховато. Одна из причин этого, вероятно, заключается в его чрезмерной увлеченности идейно-нравоучительной стороной произведения; другая, пожалуй, та, что герои Уэллса всякий раз встречают конец света в одиночку – тут не до смеха. У Дойла друзья (пусть просто приятели) готовятся к гибели вместе, а в хорошей компании и смерть красна: «Настоящее принадлежало нам. Мы его проводили в добром товарищеском общении и приятном веселье».

Доктор Дойл ухитрился даже гибель цивилизации сделать уютной:. «...С чисто английским уважением к порядку и с хозяйской гордостью маленькая женщина в пять минут разостлала на круглом столе белоснежную скатерть, разложила салфетки и подала скромную закуску – все, как требует цивилизация, вплоть до электрического фонаря, установленного в виде лампы на середине стола!» «Завтрак в самом деле прошел очень весело. Правда, мы не забывали ужас нашего положения». С точки зрения психологии – чушь, вздор. Но если бы в книгах Конан Дойла соблюдались законы психологии, мы бы вряд ли их так любили. Для сравнения – в «Войне миров» есть внешне очень похожий фрагмент: «Милое, встревоженное лицо жены, смотрящей на меня из-под розового абажура, белая скатерть, серебро и хрусталь (в те дни даже писатели-философы могли позволить себе некоторую роскошь), темно-красное вино в стакане – все это запечатлелось у меня в памяти. Я сидел за столом, покуривая папиросу для успокоения нервов, сожалел о необдуманном поступке Оджилви и доказывал, что марсиан нечего бояться». Но у Уэллса эта сцена служит для того, чтобы подчеркнуть ужас одинокого, близкого к отчаянию героя; она – болезненное напоминание о прошедшем, безвозвратно утерянном. Герои Дойла о прошлом не сожалеют и наслаждаются белой скатертью абсолютно искренне. Может ли такое быть? Поскольку конца света пока что не было, поделиться опытом некому, и писателям, характеризующим психологическое состояние героев перед лицом гибели мира, приходится полагаться исключительно на собственное воображение. Но нет, все-таки подобное поведение невозможно, надо же знать какую-то меру, соблюдать хоть какое-то психологическое правдоподобие... Разве все списать на кислородные баллоны, вызвавшие эйфорию?

У Дойла функцию «кислородного баллона» для героев – которую у Уэллса не слишком убедительно берет на себя социализм – с успехом выполняет вера в жизнь после смерти. В «Отравленном поясе» мы сталкиваемся с удивительнейшей для эсхатологической фантастики вещью: оказывается, гибель человечества (даже если герои ни чуточки не надеются на его возрождение) – это вовсе не так уж скверно.

Обычно в произведениях апокалиптического толка – и у того же Уэллса – гибель человечества кажется наиболее ужасным из всего, что может произойти. У Дойла все наоборот.

«Если бы вы совершали свое плавание на превосходном пароходе, который взял бы вместе с вами на борт всех ваших родных и друзей, вы бы чувствовали себя иначе: как бы ни была сомнительна и тогда ваша судьба, вас, по крайней мере, ободряло бы сознание, что вас ожидает общее и одновременное для всех испытание, которое до конца оставит вас в том же неразлучном кругу». Умирать – не страшно, умирать – не плохо, умирать – легко, хорошо и правильно; напротив, истинной трагедией было бы «остаться жить, когда все доброе, благородное, прекрасное погибло бы на Земле». Умирать даже очень полезно. «Наше тело

было для нас главным образом источником боли и усталости. Оно постоянно указывало нам на нашу ограниченность. Так чего же нам огорчаться, когда оно отделяется от нашего духовного "я"?» Когда миссис Челленджер задыхается и любимый муж спасает ее, дав ей подышать кислородом, она недовольна.

« – Ах, Джордж, мне так жаль, что ты вернул меня обратно, – сказала она и взяла его за руку. – Дверь смерти в самом деле, как ты говорил, скрыта за красивой, сверкающей завесой: едва прошло первое чувство удушья, мне стало несказанно легко. Зачем ты увлек меня обратно?

– Потому что я хотел, чтобы мы вместе совершили переход от жизни к смерти».

Сразу вспоминается финал «Писем Старка Монро»: лучше умереть вместе, чем жить порознь. А Мелоун говорит о своей любимой матери: «Что мне горевать о ней? Она отошла, и я отхожу вслед за нею, и, может быть, там, в новом бытии, мы будем ближе, чем здесь, когда я жил в Англии, а она – в Ирландии».

В 1911 году доктор Дойл еще не знал, что будет «там», не мог даже утверждать с полной уверенностью, что будет хоть что-нибудь. «Если я буду жить после смерти, – писал он в дневнике, – меня не сможет удивить ничто из того, что я встречу за покровом вечности. Лишь одно может поразить меня. Это – осознание дословной правоты христианских догм». И еще: «Даже предположив, что спиритизм не ложь, мы сделаем лишь небольшой шаг вперед. И все же этот шажок приводит нас к решению насущного вопроса – все ли кончается со смертью?» Доктор Дойл не был пока уверен, но очень надеялся. Профессор Челленджер уже знал точно.

Итак, ядовитый эфир постепенно заполняет весь мир; четверо британцев, вооруженных кто верой, кто – равнодушным презрением, – устроившись уютно, как в театральной ложе, глядят в глаза смерти со спокойным любопытством. «На нашу долю выпадает самое необычайное переживание, так как, по всей вероятности, мы будем последним арьергардом армии человечества в ее походе в Неизвестное». Молодому Мелоуну, правда, в последний миг становится жаль гибнущего мира: «Слишком хороша была обитель, откуда нас теперь так внезапно, так беспощадно изгоняли!» Немножко «поскуливать» начинают и остальные, но Челленджер всем присутствующим подает пример стойкости. «Научная мысль умирает на посту, работая нормально и методично до самого конца. Она не останавливается на такой мелочи, как ее собственный физический распад, пренебрегая им в той же мере, как и всеми вообще ограничениями в нашем материальном пространстве». В общем, все замечательно, можно спокойно умирать.

Но тут хитроумный автор, обманув своих героев, загоняет их в непредвиденную ловушку: Земля умерла, а они остались живы. Это их очень огорчает. «Вместо радости, какую, казалось, должны были испытывать люди, только что избежавшие неминуемой смерти, нас захлестнуло волной черное уныние. Все, что мы любили на земле, смыто в бесконечный неведомый океан, и мы высажены одни на необитаемый остров, без ожиданий, без надежд. Несколько лет мы будем рыскать, как шакалы, между могилами вымершего человечества, а потом придет и наш запоздалый и одинокий конец». То же самое, кстати, чувствуют и персонажи Уэллса, оказавшиеся в аналогичной ситуации: «Зачем я брожу по этому городу мертвых, почему я один жив, когда весь Лондон лежит как труп в черном саване?» (Картины мертвой, охваченной пожарами Англии в «Войне миров» и «Отравленном поясе» вообще очень схожи.) Растерян даже непоколебимый Челленджер, а у хладнокровного смельчака Рокстона начинается что-то вроде тихого помешательства.

В более поздних постапокалиптических романах – у Уиндема и Мерля, например, – выжившие персонажи тотчас начинают думать о продолжении человеческого рода: копить провизию, сажать огороды, организовываться в отряды, искать женщин и интенсивно размножаться. Дойловские герои ни о каком продолжении рода человеческого не мечтают. С концом цивилизации для них все кончено, жить просто незачем – на кой черт нужна такая жизнь?! Даже Челленджер, заявляя, что наука не умерла, пока жив хоть один ученый, тем не менее готов планировать дальнейшую жизнь лишь на те годы, что ему остались, – а ведь он совсем не так стар и у него есть жена. Мелоун еще в предыдущем романе потерял любовь девушки, Саммерли и Рокстон в ней, похоже, сроду не нуждались, и они отнюдь не намерены заниматься продолжением рода. Подобные мысли им даже в голову не приходят. Чем выживать – без достоинства, без комфорта, без свободы – лучше умереть. У Уэллса, между прочим, то же самое. Выжившему герою «Войны миров», которого катастрофа разлучила с любимой, встречается человек, проповедующий возрождение рода человеческого, естественный отбор, уничтожение слабых и подбор подходящих «самок» – но он оказывается отвратительным полубезумным пьяницей; сам же герой мечтает увидеть жену или умереть, потому что жизнь без нее ему не интересна. В современном романе он бы скорее вооружился топором и побежал драться за встречную самочку, желая положить свою индивидуальность на

алтарь продолжения рода (а четыре дойловских британца живо разъяснили бы миссис Челленджер, что в ее обязанности входит послужить возрождению человечества со всеми вытекающими последствиями). Как и Дойл, Уэллс не хотел размножения вместо любви и выживания вместо жизни.

Литература XX века, убившего невероятное количество людей, провозгласила человеческую жизнь наивысшей ценностью. В литературе XIX века ценность была другая: человеческое достоинство. Если нельзя жить как подобает, как хочется, как не противно – так уж лучше умереть. Вот такие они были чудаки, эти викторианцы. В отличие от нас они – верующие и неверующие – считали смерть не самым худшим из того, что может случиться с человеком.

Проехавшись по вымершему Лондону, герои Дойла – даже не попытавшись воспользоваться радио! – приходят к выводу, что мертва вся планета; если живые люди где-то и остались, так в каком-нибудь Тибете, а это все равно что ничего. В «Войне миров» так же молчаливо подразумевается, что с разрушением Лондона погибло все – так что читатель даже удивлен, когда в финале ему сообщают о материальной помощи, которую Англии оказала Франция – какая еще может быть Франция, у них, что же, не было марсиан? Здесь невозможно удержаться от того, чтобы привести еще одну цитату: «Ты думаешь, я хоть одну минуту верю тому, что что-нибудь случилось с Европой? Там, брат Генрих, электричество горит и по асфальту летают автомобили. А мы здесь, как собаки, у костра грызем кости и выйти боимся, потому что за реченькой – чума...» Так говорит персонаж пьесы Михаила Булгакова «Адам и Ева» (написанной в 1931 году), выживший после глобальной катастрофы. Очень это по-русски: нет, не верим мы, что у них там в ихних европах может быть конец света, как-нибудь да выкрутились – одни мы. У наших британцев все наоборот: с гибелью их народа умирает Земля.

Но все заканчивается хорошо, люди вразумляются – не с помощью социализма или чудесного газа, как у Уэллса, а просто потому, что должны же они вразумиться когда-нибудь. «Навеки должно запечатлеться в наших сердцах сознание неограниченных возможностей во вселенной, разрушившее наше невежественное самодовольство и открывшее нам глаза на наше материальное существование, как на бесконечную узкую тропу, с обеих сторон ограниченную глубокими провалами. Зрелость и торжество человеческой мысли – эта черта нового нашего душевного состояния – пусть послужит основным устоем, на котором более серьезное поколение воздвигнет достойный храм природе!»

Дойл был сильно удивлен, когда после выхода «Отравленного пояса» (роман печатался в «Стрэнде» с марта 1913-го и в том же году вышел отдельной книгой в издательстве «Ходдер энд Стаутон») агент Жозефа Рони заявил, что роман является плагиатом по отношению к опубликованному в том же году, но двумя месяцами раньше, роману француза «Таинственная сила». Действительно, когда читаешь роман Рони, поначалу кажется, что сходство между двумя текстами действительно большое. У француза Земля подвергается воздействию не газа, а неких космических спор, занесенных кометой; с людьми происходит ряд последовательных психических и физиологических мутаций; по всему миру начинаются ужасные бунты и революции; кажется, что человечество погибает, как вдруг обнаруживается, что мутация изменила людей к лучшему, они стали счастливы и довольны: «Города пострадали больше деревень, но здесь удивительным образом оказались решены социальные проблемы и прежде всего вопрос трудоустройства: работы, пусть временной, теперь хватало всем, повысили жалованье служащим, а казна обогатилась до такой степени, что впору было понижать налоги. У многих появилась теперь возможность проявить милосердие и помочь страждущим».

Ну чистый Дойл! Но дальше Рони «заворачивает» такое, что Дойлу никогда бы в голову не пришло: все это социальное умиротворение было лишь промежуточным этапом, обманкой, люди на самом деле продолжали мутировать и в результате превратились в животных. Как фантаст Рони оказался оригинальнее, как футурист – глубже, как беллетрист – парадоксальнее наших англичан. Но в чем тут можно увидеть плагиат – решительно непонятно. Идейная направленность книги Дойла совершенно иная. Ни научная фантастика, ни футуристика его не интересовали, не говоря уже о том, что события в двух романах развиваются прямо противоположным образом. С куда большим основанием Рони мог бы обвинить в плагиате Джека Лондона с «Алой чумой», где люди тоже возвращаются в первобытное состояние.

Дойл вступил в публичную переписку и несколько раз объяснял довольно кротко, что начал писать «Отравленный пояс» за много месяцев до публикации «Таинственной силы», что если даже допустить, что он ее прочел, он не успел бы. и пр. и пр., – при этом, правда, ввернув фразу «У меня в жизни много других занятий, кроме наблюдения за творчеством месье Рони и копирования его произведений», которая, надо полагать, не добавила французу симпатий к английскому коллеге. Издатели Дойла вступились за своего автора, и таким образом инцидент был исчерпан.

«Отравленный пояс» был хорошо принят публикой и критикой. Шоу, правда, обругал его на все корки. По отношению к «Затерянному миру» он этого не сделал. Похоже, что он великодушно дозволял своему коллеге писать книжки для подростков, но осаживал его, когда тот пытался браться за какую-нибудь мало-мальски серьезную проблему.

21 декабря 1912 года Джин родила девочку – Джин Лину Аннет Конан, будущую военную летчицу, «Air Commandant Dame», и любимицу доктора Дойла. Она была самой энергичной, самой талантливой из всех его детей. Как никто, она понимала его. У нее было великолепное чувство юмора. Из ее поздних интервью можно сделать вывод о том, что она больше любила отца, чем мать. Кингсли и Мэри считали родителя чрезмерно строгим, Деннис и Адриан – строгим и справедливым. Джин он запомнился как «веселый и ласковый». Когда она, одетая матерью в новое светлое пальто, лазала по берегу реки и падала в грязную лужу, то, боясь материнского гнева, бежала к отцу – и тот за нее заступался. В детстве она считала себя мальчиком и играла только в мальчишечьи игры. Ее основное имя было Джин, но доктор звал ее «Билли», и в своих детских письмах к нему она подписывалась «твой сын Билли». В «Троих» он называет ее Бэби («детка») и говорит о ней: «Оба мальчика – бурные, но мелководные речки в сравнении с этой маленькой девочкой с ее сдержанностью и элегантной отчужденностью. Мальчики понятны; но эту девочку никто никогда не сможет понять до конца. Она полна скрытой внутренней силы. Воля у нее железная. Нет такой силы, что могла бы согнуть или сломить ее дух; на нее можно воздействовать лишь с помощью мягкого и спокойного убеждения. Но упрямой она бывает редко. Обычно она тиха, вежлива и спокойна; она предпочитает наблюдать за событиями, лишь время от времени принимая в них участие со снисходительной улыбкой».

Противоположности притягиваются: лучшим другом Джин станет не застенчивый Деннис, а бестия Адриан. Они будут часто и бурно ссориться; наступит даже день, когда пятилетняя Джин откажется помолиться за своего брата перед сном: «Боже, благослови всех, но только не Димплса». Мать отругала ее: так поступать нехорошо. Тогда Джин, перечислив в молитве имена всех окрестных кошек, собак, коз, а также своих кукол и других игрушек, самой любимой из которых было старое, драное, грязное, скатанное в трубку стеганое одеяло, нареченное именем Риггли («червячок»), в самом конце сквозь зубы пробормотала: «Ладно, так и быть, Боже, благослови эту сволочь Димплса»...

Кингсли приезжал на каникулы. После Итона он обучался на медика в Лозанне. В 1913-м он уже готовился к получению медицинского диплома в госпитале Сент-Мэри. Это был мягкий и замкнутый юноша, и отец признавался, что далеко не всегда понимает его. Но в целом они ладили. Конфликт с Мэри тоже смягчился, и она, приезжая на каникулы, возилась с малышами. В общем, все у доктора Дойла было хорошо. Вот только человечество его малость подводило.

Параллельно с «Отравленным поясом» Дойл писал большую статью «Великобритания и грядущая война» («Great Britain and the Next War»), которая была опубликована в феврале 1913 года в газете «Фортнайт ревью». Она была вызвана чтением книги германского генерала фон Бернгарди, который без всякого стеснения писал о том, что здоровым нациям, чья численность возрастает, необходимо завоевывать новые территории, и даже называл эти территории поименно, начиная с Франции. Англия тоже была среди них.

В те «долгие времена», когда Дойл, по его словам, не верил в возможность войны с немцами, он обосновывал свою позицию следующим образом. С одной стороны, Британия никогда не нападет на Германию, потому что население страны этого никогда не одобрит, а вести большую войну за границей без поддержки народа невозможно. С другой – Германия никогда не нападет на Британию, потому что ей незачем это делать: «Было непостижимо, что собственно она могла приобрести в результате подобных действий. <...> Самое большее, на что она могла надеяться, – это кое-какие угледобывающие районы и, возможно, некоторые колонии в тропиках, которых у нее и так имелось предостаточно». Все-таки доктор был очень наивен в геополитических делах. Отродясь ни для одного государства то обстоятельство, что у него чего-то «предостаточно», не служило препятствием к тому, чтобы заполучить еще больше.

И вот наконец доктор прозрел и увидел, что его разумные, логические доводы, которые могут убедить любого отдельного человека, в отношении государств не работают: «К несчастью, в национальных делах не всегда правит разум, а порой страна может быть охвачена безумием, сметающим все расчеты». (В своей статье он, впрочем, не называл Бернгарди безумцем, не высказывался насчет его морального облика и был по отношению к нему ядовито-корректен.)

Англия в войну давно уже верила, но – благодаря своему флоту – считала себя непобедимой; доктор ясно видел, что она ошибается. В вопросах военной стратегии и тактики он наивным

никогда не был, и если несколько лет тому назад он «в компании образованных людей» был едва ли не единственным человеком, отрицающим наличие опасности, то теперь он в той же компании и в том же одиночестве кричал о ней, а его не хотели слушать. Отсидеться на острове не удастся. Страна импортирует продукты (почти пять шестых общего потребления!) из других стран, в особенности из Франции. Если Германия нападет на Францию, Британии волей-неволей придется воевать и на континенте. Кроме того, на британский флот появилась управа – самолеты и подводные лодки. О тогдашней авиации Дойл говорил, что она «весьма пригодна для сбора информации», но пока что не способна изменить ход войны (и был, пожалуй, прав: хотя тяжелые бомбардировщики на Балканах в Первую мировую использовались, в целом применение военной авиации не было масштабным); субмарины – другое дело. В них Дойл видел главную и реальную опасность.

Уже к 1900 году некоторые страны имели небольшой подводный флот. Но англичане идею воевать с помощью субмарин не одобряли: адмирал Уилсон говорил, к примеру, что подводная лодка есть подлое и несправедливое средство – настоящие мужчины воюют лицом к лицу. К 1914-му, однако, Британия уже обладала крупнейшим в мире подводным флотом в 74 единицы. И все же когда адмирал Скотт заявил, что субмарины полностью изменят облик войны на море, ему почти никто не поверил. Но именно так думал Конан Дойл. Ни одна блокада не поможет против немецких субмарин; торговые суда, перевозящие продовольствие, будут ими уничтожены.

Просто «каркать» доктор Дойл никогда не любил: он предлагал конкретные меры. Во-первых, говорил он, надо не зависеть от иностранных продуктов, а производить все нужное дома, для чего поднять тарифы на импортное продовольствие. Во-вторых, следует производить подводные лодки самим, причем «грузовые», чтобы можно было перевозить продовольствие на них. В-третьих, необходимо построить под Ла-Маншем туннель – «дорогу жизни». (Такой проект ранее уже выдвигался – впервые он был предложен Наполеоном при заключении мирного договора между Англией и Францией; в 1880-м даже начали проходку тоннеля с обеих сторон пролива.) В 1913 году проект был вполне осуществим технически. В-четвертых, надо ликвидировать всеобщую воинскую повинность и вместо этого готовить компактные и мобильные территориальные войска для боевых действий на континенте. В-пятых, нужно учесть опыт Русско-японской войны и срочно разработать средства борьбы с плавучими минами.

В статье Дойл также касался «ирландского вопроса»: по его убеждению, перед лицом грозящей опасности будут забыты внутренние распри; ирландцы, шотландцы, англичане – все должны встать рука об руку. Еще до публикации статьи Дойл послал ее текст Роджеру Кейзменту, которого считал тогда одним из самых лучших и достойнейших своих друзей. Но Кейзмент на статью отреагировал весьма кисло. Военные технологии его не заинтересовали. Он в ответ написал статью «Ирландия, Германия и грядущая война», в которой доказывал, что у его родины нет и не может быть с Англией никаких общих интересов (статья, носившая явно провокационный характер, была под псевдонимом опубликована в Ирландии). Доктор был очень огорчен. Но эти идейные разногласия не изменили его отношения к Кейзменту, как и разногласия со Стидом не разрушили их дружбы.

«Великобританию и грядущую войну» опубликовали; все меры, предложенные Дойлом, были осмеяны и отвергнуты. Доктор уже привык к роли Кассандры: повторялась ситуация с Англо-бурской войной. Конан Дойл, «весь такой средневековый», говорил о научно-техническом прогрессе, о современных методах ведения войны, а военное ведомство отмахивалось от него, предпочитая все делать по старинке. (Может, не Иннесу, а именно ему надо было стать профессиональным военным и, чем черт не шутит, министром обороны?) Тарифы на ввозимые товары поднимать нельзя, так как это нарушит принципы торговли и приведет к удорожанию продуктов, что вызовет недовольство в народе. Подводные лодки – чепуха, мелочь, их в Германии кот наплакал, британскому флоту они повредить не смогут, не стоит принимать их всерьез. Туннель под проливом не поможет в войне, напротив, поспособствует проникновению противника на остров – именно потому в 1883-м его строительство и прекратили. (Из этих соображений британское правительство долго противилось строительству туннеля – его построили только в 1994-м.) Рекрутский набор есть единственный способ формирования армии. Мины не так уж страшны, да и все равно против них ничего не придумаешь. Нет, конечно, были высокопоставленные военные, которые оценили предложения доктора – генерал Тэлбот, генерал Тернер, – но подавляющее большинство военных и политиков их проигнорировали. Премьер-министр Асквит предпочитал толковать о непобедимости могущественного британского флота. Генерал Вильсон, распорядитель военных операций, пригласил Дойла на конференцию по военным вопросам, но доводам его не внял.

В особенно сильное отчаяние Дойла приводило то, что никто не желал слышать о туннеле. Об этом проекте Дойл говорил особенно много: бесчисленные статьи в прессе, меморандумы во

все военные ведомства и в Совет обороны; всякий раз, как ему представлялась возможность какого-либо публичного выступления, он, подобно Катону Старшему, твердил: «Туннель должен был построен». В мемуарах он посвятил целую главу этому туннелю. Он продумал вопрос всесторонне и нашел контрдоводы на каждое возражение. По туннелю можно эвакуировать раненых, доставлять на континент войска, с континента – продукты; он мог бы служить крепостью, а в мирное время способствовал бы развитию туризма. Дельцы из Сити, кстати говоря, проект поддерживали, но политики и общественность отвергали категорически. Член палаты общин Макнил охарактеризовал проект как «безумный». Военный обозреватель «Таймс» Репингтон смеялся над Дойлом и называл его профаном. То же самое в вопросе о подводных лодках. Доктор, однако, не собирался опускать руки. Если не внемлют публицистике – он напишет художественный текст.

Свой фантастический рассказ о войне Дойл назвал «Опасность!» («Danger!»); у него был длинный подзаголовок «Судовой журнал капитана Джона Сириуса». Существует вымышленная страна Норландия со столицей Бланкенбургом – напрашивается предположение, что речь идет о Германии, но при чтении выясняется, что это не так. Произошел пограничный инцидент, в результате которого Англия предъявляет Норландии ультиматум. Норландия – страна маленькая; ее король готов сдаться, но тут к нему приходит офицер Джон Сириус, у которого есть план, как победить Англию. «Много лет они (англичане. – *М. Ч.)* тратили сотни миллионов в год на армию и флот. Их крейсеры и торпеды были исключительно мощны; они обладали мощными гидропланами; их армия была самой дорогостоящей в Европе. И все же, когда пробил час испытаний, вся эта мощь оказалась неэффективной». Джон Сириус и есть рассказчик – прием для литературы того времени весьма нетипичный: повествование не должно вестись от лица злодея, это все равно как если бы холмсиану писал профессор Мориарти.

Неэффективной британская военная мощь оказалась потому, что хитроумный Сириус придумал, как использовать субмарины – их у Норландии всего восемь, но они заставляют Англию пасть на колени. Нет, он не собирается атаковать британские военные корабли, он не сумасшедший; он будет топить мирные суда с продовольствием (и не только английские, а любые), и англичане вымрут с голода. Сириус – человек не кровожадный (во всяком случае, так он сам о себе говорит), просто он патриот; мысль об убийствах ему не доставляет удовольствия. «Меня охватывала жалость, когда я думал о толпах беспомощных людей: шахтерах Йоркшира, ланкаширских ткачах, лондонских докерах, в чьи дома я должен буду принести ужасную тень голода. Но война есть война, и глупцы должны будут заплатить за свою глупость».

Крошечная подводная флотилия Сириуса топит одно судно за другим, а сама ускользает; наконец Сириус видит в свой перископ лайнер «Олимпик», принадлежащий судоходной компании «Белая звезда», красу и гордость британского гражданского флота. Лайнер «Олимпик» действительно существовал, и все же это, конечно, отсылка к «Титанику». (Версии о том, что «Титаник» был потоплен вовсе не айсбергом, а немецкой торпедой, стали появляться сразу же после катастрофы; они высказываются и доныне.) Сириус выпускает торпеду, и «Олимпик» гибнет; это зрелище вызывает в норландских моряках не восторг, а жалость. Он тонет медленно, и гуманные норландцы надеются, что людей удастся спасти. В конце концов голодающая Британия сдается. Угрюмые британцы ругают норландцев: нельзя нападать на беззащитные гражданские суда и при этом трусливо удирать от военных кораблей, это подло, люди так не поступают. И тут доктор Дойл устами Джона Сириуса высказывает мысль – к сожалению, абсолютно провидческую: «Война – не спорт; это – бизнес, где в ход идут любые средства».

Норландия – государство умное; оно понимает, что второй раз его хитрость не удастся, и вовсе не хочет вечного антагонизма с Англией. Мирный договор заключен на мягких условиях – вот только Англия должна выплатить компенсацию тем странам, чьи корабли были потоплены. Британское правительство, втянувшее свой народ в неподготовленную войну, отправляется в отставку; к власти приходит новое, более разумное, которое не обижается на Норландию, а, напротив, ценит ее гуманность и даже благодарно за полученный урок (тут уж Дойл преувеличил – таких правительств не бывает).

Отсылая рукопись в «Стрэнд», доктор просил Смита заполучить отзывы со стороны военных специалистов и опубликовать их в приложении к рассказу. Смит это с удовольствием сделал: комментарии должны были усилить интерес читателей. Текст Дойла сопровождался двенадцатью отзывами. Семеро рецензентов были адмиралами, и все они охарактеризовали рассказ как чистейший вымысел, который никогда не осуществится. Ни одна нация, по их мнению, никогда не станет нападать на торговые корабли, писал адмирал Хендерсон; а если даже и станет, то справиться с подводными лодками не составит труда, говорил адмирал Фитцджеральд; экипажи захваченных лодок надо публично казнить, вот и все. Легкомыслие

просто поразительное. Особенно если учесть, что «Опасность!» была опубликована в июле 1914-го. (В 1918-м она была включена в сборник «Опасность! и другие истории».) Зато адмиралы одобрили идею Дойла о том, что Англии не худо бы производить побольше продуктов питания.

Позднее немецкий адмирал Капелль, выступая в рейхстаге, заявит, что Артур Конан Дойл был единственным среди англичан, кто понимал, что грядущие войны будут носить экономический характер. Это будет доктору даже лестно. Правда, Капелль говорил также, что Дойл своими выступлениями подал Германии хорошую идею насчет использования подводного флота. «Хвалили» Дойла и другие немецкие военные. (Занятная деталь: во время войны в Германии будет снято пять кинофильмов о Шерлоке Холмсе – больше, чем в Англии...) Была ли в этих заявлениях какая-то доля правды – неизвестно. Но доктору пришлось публично оправдываться и объяснять, что писал он свой рассказ для предупреждения британских военных, а вовсе не затем, чтобы подавать какие бы то ни было идеи немцам.

В том же 1914 году, только в сентябре, в «Стрэнде» начнет печататься другая вещь Конан Дойла, которую он писал примерно в одно время с «Опасностью!», с ноября 1913-го по апрель 1914-го, – «Долина ужаса» («The Valley of Fear»). За прошедший год он уже второй раз вернулся к Холмсу. Первый был в рассказе «Шерлок Холмс при смерти» («The Adventure of the Dying Detective»), опубликованном в «Стрэнде» в декабре 1913-го. Больной, несчастный, слабый, безумный Холмс (пусть потом оказывается, что все было притворством – но ведь он и вправду три дня не ел, бедный!); Холмс, который кашляет, всхлипывает, жалобно стонет, задыхается, умоляет о помощи, «тонким голосом поет какую-то безумную песню», «лепечет как дитя», по-детски же просит на него «не сердиться» и в бреду рассуждает о полукронах и пенсах – такого Холмса мир еще не видел; со времен «Этюда», где юный Холмс то и дело заливался хохотом и прыгал по комнате, великий сыщик не был так эмоционален. Сердце Уотсона пронзено жалостью – и он впервые осмеливается ослушаться своего «бедного друга»: «Больной все равно что ребенок. Хотите вы этого или нет, я все равно примусь за лечение». Когда злобный Кэлвертон-Смит грубо трясет больного за плечо, доктор Уотсон сдерживается из последних сил; еще пара секунд – и он бы, наплевав на запрет «бедного друга», непременно выскочил из своего укрытия; доктор Дойл это чувствовал – и сцену тотчас завершил эффектной развязкой, вслед за которой Холмс просит у обиженного друга прощения и, разумеется, получает его. Перед нами один из самых прелестных и трогательных текстов поздней холмсианы. «Долина ужаса» – вещь совсем в другом духе.

Замысел «Долины» появился у Дойла еще до того, как он написал «Холмса при смерти», в апреле 1913-го, когда к нему в гости приехал американец Уильям Бернс – сотрудник знаменитого детективного агентства Аллана Пинкертона. (Бытует неподтвержденна версия, будто Дойл еще раньше познакомился с самим Пинкертоном.) Бернс демонстрировал Дойлу свое изобретение – подслушивающее устройство – и спрашивал, нельзя ли использовать его в рассказах о Холмсе. Дойл, в свою очередь, расспрашивал гостя о его детективной практике. Из многочисленных историй, рассказанных Бернсом, доктора больше всего заинтересовала одна, произошедшая в 1876 году в Пенсильвании. «Ручаюсь, доктор Уотсон, что еще никогда через ваши руки не проходили такие истории. Изложите их, как хотите. Я только вручаю вам факты. Два дня я провел взаперти и, пользуясь слабым дневным светом, который проникал в убежище, набрасывал свои воспоминания. Это история Долины ужаса».

В СССР эту повесть не жаловали. После дореволюционных изданий она была опубликована в очень сокращенном русском переводе лишь однажды, в 1966 году в журнале «Звезда Востока». После 1986-го ее снова стали у нас издавать. Поэтому многие нынешние взрослые, которым не удалось прочесть «Долину ужаса» в детстве, так никогда ее и не читали; многие даже не знают, что такая повесть существует. Почему «Долину» нельзя было печатать в советское время? На этот вопрос многие из читавших ее не задумываясь отвечают: потому что она о масонах, а эта тема для советского читателя неподобающая. Ответ неверный: вовсе не поэтому, а из-за той реальной истории, на основе которой была написана «Долина ужаса» – истории «Молли Магвайрс», изложенной Пинкертоном в своей книге (она была издана в 1877-м) и творчески переработанной Дойлом.

А теперь – две версии, точнее, две интерпретации этой истории.

Интерпретация первая: с 1873 по 1878 год в Пенсильвании действовало кровавое ирландское тайное общество «Молли Магвайрс», которое использовало социальные столкновения в угольном районе для установления там господства бандитов. Один из лучших агентов Пинкертона Макфарлан стал членом общества и оставался им, рискуя жизнью, на протяжении трех лет, до тех пор, пока все бандиты не были арестованы, и он тогда сам открылся и выступил свидетелем на суде против главарей «Молли Магвайрс».

Интерпретация вторая: в 1873 году в США разразился экономический кризис, началась повальная безработица, и пенсильванские шахтеры-ирландцы создали профсоюз для защиты своих прав («Рабочий благотворительный союз»); шахтовладелец Гоуэн поручил агентству Пинкертона дискредитировать профсоюз. Агент Пинкертона Макфарлан приехал в Редингтол, внедрился в рабочую среду и был введен в руководство профсоюза. В декабре 1874-го Гоуэн объявил о сокращении заработной платы; в январе 1875-го вспыхнула забастовка. Начались стычки, а затем и перестрелки. Пресса писала, что это дело рук ирландских заговорщиков. Провокатор Макфарлан призывал к активным выступлениям; в результате профсоюзных активистов арестовывали. Потом Макфарлан и его подручные стали убивать жителей города: врывались к людям в масках и распускали слух о том, что это «Молли Магвайрс» расправляется с неугодными. Когда голод заставил забастовщиков капитулировать, Гоуэн добился своего назначения на должность прокурора по особым делам и начал судебные процессы против профсоюзных лидеров. (Главным свидетелем обвинения был, естественно, Макфарлан; защита пыталась заявить ему отвод, но судья ответил, что не видит в использовании провокатора ничего особенного.) Подсудимые – 19 человек – были обвинены в терроре и убийствах и казнены, а подлый Пинкертон стал предлагать подобные услуги другим капиталистам.

У Конан Дойла кровавое тайное общество в Пенсильвании реально существует, а Макфарлан (в повести его зовут Эдвардс) – герой более-менее положительный. Надо полагать, в СССР подобным образом порочить деятелей шахтерского профсоюза было нежелательно. Правда, некоторые исследователи с этим объяснением не согласны: например, Антон Лапудев замечает, что об американских профсоюзных деятелях «нехорошо» писали Льюис Синклер и Ирвин Шоу – и ничего. Но «Долина ужаса», на наш взгляд, совсем другое дело – ведь пенсильванские события широко освещались советскими историками, о казненных писали как о героях, а Дойл их оклеветал.

Не будем здесь рассуждать о том, какое толкование «Молли Магвайрс» правильно – это одна из тех историй, по поводу которых всегда останутся разные точки зрения. Мы даже не можем утверждать, что Конан Дойл безоговорочно принял первую версию: он просто сочинил книгу, вот и все. Сам по себе сюжет о внедренном шпионе был чрезвычайно интересен, а в какую именно организацию он внедрился – не суть важно. Рассказ Бернса всего лишь подтолкнул фантазию доктора, и он придумал свою собственную историю «Молли Магвайрс».

Дойл писал детектив, а не исторический труд: у него заговорщики-убийцы стали не прогрессивными трудящимися и не ирландскими националистами, а масонами из выдуманного ордена Чистильщиков. На этом основании иногда утверждают, что бывший масон Конан Дойл решил на старости лет разоблачить ужасную организацию, к которой принадлежал. Дойл в 1911 году окончательно вышел из ложи «Феникс» (если он вообще туда входил) и больше масонством не интересовался. Он к этому времени стал членом лондонского отделения совсем другой международной организации – Общества пилигримов *(Pilgrims Society).* Эта организация была основана в 1902 году, чтобы служить углублению англо-американских отношений на основе сотрудничества ведущих банковских и производственных учреждений. Ее членами были и являются самые влиятельные политики, бизнесмены и общественные деятели; его патрон – монарх Великобритании. Поклонники «теории заговоров» считают, что подобные общества ничем не отличаются от масонских: все они суть тайные мировые правительства, стремящиеся захватить Землю, и пр. Вряд ли стоит здесь разворачивать дискуссию на эту тему; скажем только, что Дойл всегда считал такого рода общества призванными служить и служащими прогрессу, миру и добру. Масонство было для него слишком абстрактным и метафизичным; обрядовая сторона масонства была ему смешна. Тем не менее он остался в превосходных отношениях со множеством масонов, занимавших высокие государственные должности. Никого он, конечно, разоблачать и не думал. После общения с Кейзментом он не хотел писать, что члены тайного общества в «Долине ужаса» были ирландскими националистами. Но кем-то же они должны были быть...

«Жертвами Чистильщиков один за другим падали люди, неугодные ложе или опасные для нее. В это число попадали все, кто отказывался делать „добровольные“ взносы в кассу ложи, или те, кто пытался разоблачить ее деятельность. Чистильщики начинали с шантажа, а если он не приносил успеха, то без малейших колебаний кончали поджогами и убийствами. <...> Никто не решался давать против них показания, а если дело все же доходило до суда, у них всегда оказывалось достаточно свидетелей защиты. Полная касса позволяла в этих случаях не стесняться в расходах». Современный человек, прочтя это, сказал бы, что речь идет о мафии. В 1913 году таких слов применительно к организованной преступности в обиходе не употребляли, хотя мафия, конечно, существовала. Конан Дойл предпочел сделать своих злодеев масонами – затем, чтобы можно было описать разные жуткие и таинственные обряды, каких ни у ирландцев, ни у гангстеров, ни у профсоюзных деятелей быть не могло.

Когда «Долину ужаса» издали (в 1915-м она печаталась в «Стрэнде», потом вышла книгой в «Элдере и Смите»), Пинкертон был очень обижен на Дойла за то, что тот воспользовался его книгой без спросу, и даже намеревался привлечь его к суду. Потом остыл.

Во всем остальном мире «Долина ужаса» известна так же, как и любое другое произведение о Холмсе, но отношение к ней довольно неоднозначное: многие критики считали и считают эту вещь неудачной. По мнению Дж. Д. Карра, она – едва ли не самый лучший текст холмсианы, а ее американская часть – «совершеннейший образчик детективного жанра». Можно понять Карра – он писал свою книгу в то время, когда гангстерская литература еще только зарождалась. Нынче подобными историями никого не удивишь. Да, сюжет о деяниях Берти Эдвардса довольно интересный, но мы-то читаем холмсиану не ради сюжета, а ради Холмса и Уотсона. Они в «Долине ужаса» – просто бесплотные куклы, без единой человеческой черточки. И это не потому, что Конан Дойл разучился писать о Холмсе или в очередной раз возненавидел его – и в написанном совсем незадолго до «Долины ужаса» рассказе «Шерлок Холмс при смерти», и в «Его прощальном поклоне», который будет написан вскоре, мы находим все, что нам дорого, – обаяние личности, очарование уюта. Нам хочется видеть не мрачные шахты Пенсильвании, а мягкий лондонский туман. Но, в конце концов, доктор Дойл не виноват в том, что читателю XXI века в его текстах важнее атмосфера, чем сюжет. Он хотел написать американскую гангстерскую повесть – и написал ее.

Сам Дойл предупредил Смита, что «Долина ужаса» будет его лебединой песней (в том, что касается Холмса) – «или, точнее, гусиным гоготаньем». О Холмсе давно не выходило ничего нового; «Стрэнд» предложил еще более высокую плату, чем за рассказы предыдущего цикла. Читатели расхватывали журнал, несмотря на войну; все сожалели, что в повести «мало Холмса», многие даже ругались. Доктор полагал, что это последнее его произведение, где фигурирует Холмс. Сколько раз он уже так думал – и ошибался.

Сразу после завершения «Долины ужаса» Дойл отправился в долгое путешествие. Еще весной 1913-го правительство Канады приглашало его посетить заповедник Джаспер-парк в Скалистых горах и в качестве почетного гостя совершить турне по Канаде. Тогда он не принял предложения из-за занятости и семейных дел (Джин-младшая была еще мала), теперь решился ехать вместе с женой. Присматривать за детьми осталась Лили Лоудер-Симмонс. 20 мая Дойлы отплыли из Саутгемптона на лайнере.«Олимпик», принадлежащем компании «Белая звезда». Писатели – народ обычно суеверный. Очень многие на месте доктора Дойла предпочли бы другой пароход. Он суеверен не был (или надеялся на доброту Джона Сириуса) и спустя неделю благополучно прибыл в Нью-Йорк.

Канадцы расщедрились по отношению к почетным гостям: для писателя были выделены специальный поезд и специальный пароход для плавания по Великим озерам. Но сперва Дойлы провели неделю в Штатах. В отеле «Плаза» доктора осаждали бесчисленные репортеры. Американские газеты писали, что он очень молодо выглядит, а его жена необыкновенно красива; ей даже дали прозвище «Солнечная леди». Был, правда, и весьма неприятный инцидент, связанный с женщинами.

В начале года в Лондоне суфражистки осуществили ряд погромов. Они не просто били какие-то обыкновенные витрины, а уничтожали произведения искусства – эти инциденты получали широкую огласку не только в Англии, но и по всему миру; так, газета «Утро России» в марте 1914-го сообщала: «В национальной галерее суфражистка Ричардсон сильно повредила ценную картину Веласкеца „Венера“». За полгода Ричардсон шесть раз отбывала тюремное заключение за подобные поступки; когда ее судили за порчу «Венеры», она заявила суду, что, как только ее выпустят, она вновь придет в музей и изуродует еще несколько картин. (С февраля 1914-го почти все музеи в Англии из-за угроз Ричардсон были на неопределенное время закрыты!) Соратницы Панкхерст разбивали стекла в общественных зданиях, лили серную кислоту в почтовые ящики. Общий материальный ущерб от их деятельности исчислялся сотнями тысяч фунтов – это если только считать крупные повреждения, которые они нанесли строениям, железным дорогам, историческим памятникам и музеям. Когда сама Панкхерст была в очередной раз арестована при произнесении зажигательной речи, женщины отважно бросились на ее защиту, осыпая полицейских ударами палок и разбивая об их головы цветочные горшки.

Перепуганные мужчины организовали против суфражисток свой митинг, на котором Дойл произнес довольно резкую речь и, в частности, обмолвился, что в Штатах за такие штучки их могли бы линчевать. Суфражистки объявили его своим врагом. Его почтовый ящик был дважды облит кислотой – пришлось поставить полисмена для охраны. Когда он выступал в одной из церквей по поводу реформы бракоразводного законодательства, они пытались ворваться туда. Это доктора особенно обозлило – он старался улучшить положение женщин, а они набрасывались на него. Уже говорилось о том, что их методы борьбы за свои права Дойл

считал абсолютно неприемлемыми, дикими и глупыми. «Венера»-то чем перед ними провинилась? Дойл конечно же вспоминал сцену из своего «Михея Кларка», где обезумевшие фанатики-пуритане громят храм и призывают сжигать театры. Но он, видимо, забыл, что эти фанатики – в соответствии с его же концепцией – в конечном итоге были выразителями общественного прогресса.

Еще раз подчеркнем, что негодование Дойла вызывали методы суфражисток, а не их цели. Биографы часто ссылаются на слова Джин Дойл (старшей) о том, что ей не нужно никакого избирательного права – она и так счастлива, – и делают вывод о том, что Конан Дойл на основании этого заявления своей жены решил, что в избирательных правах не нуждаются все женщины. Можно подумать, он больше никогда ни с какими женщинами не разговаривал и во всем полагался на мнение жены! Его художественные тексты и некоторые письма, которые мы уже рассматривали, говорят об обратном. Тем не менее американская пресса разместила ряд статей, в которых Дойла позиционировали как врага женщин – якобы он призывал к их линчеванию. Дойл дал краткое интервью, в котором разъяснил свою позицию; на сем инцидент был более-менее исчерпан.

Программа была чрезвычайно насыщенная, ни минутки свободной. Доктор с женой осмотрели нью-йоркские небоскребы, были на завтраке в упомянутом Обществе пилигримов, где Джозеф Чоу, бывший посол США в Великобритании, произнес речь в честь Конан Дойла и назвал его «самым знаменитым среди живущих ныне англичан», сходили в театр посмотреть на американских звезд Джона и Этель Бэрримор, сходили на бейсбольный матч, ездили в сопровождении Бернса на остров Кони-айленд (газеты писали, что в парке развлечений доктор Дойл вел себя «как большой ребенок») и побывали в тамошнем полицейском участке, приняли участие в открытии летнего сада «Плаза», присутствовали на нескольких торжественных обедах у официальных и частных лиц. Однако самое большое впечатление на Дойла – если не считать американских такси, к которым он никак не мог приноровиться и потерял в них две шляпы, – произвело посещение нью-йоркских тюрем. Обедами-то он и дома был по горло сыт, а тут – новые впечатления.

Сперва Бернс повел его в тюрьму Тумбс – мрачное здание, расположенное в самом центре города: «Я ходил по нему с некоторым чувством стыда, так как не можешь не испытывать его, встречаясь с человеческим страданием, которого ты не в силах облегчить» (невиновный Оскар Слейтер сидел в тюрьме, и Дойл не забывал об этом ни на минуту). Потом доктор, сопровождаемый все тем же Вергилием-Бернсом, отправился в знаменитейший Синг-Синг – в тот день как раз приехали артисты мюзик-холла, чтобы выступить с концертом перед заключенными: «Бедняги, вся эта вымученная, вульгарная веселость и кривлянье полуодетых женщин, должно быть, вызвали в их душах странную реакцию!» Дойл нашел, что среди заключенных много людей явно невменяемых; с другой стороны, у многих были «разумные и хорошие лица». Ему хотелось хоть на несколько минут ощутить себя узником: по его просьбе его заперли в камере-одиночке, потом усадили на электрический стул. К концу экскурсии он был очень подавлен. В беседе с начальником тюрьмы он признался, какое угнетающее воздействие на него произвело все увиденное; начальник отвечал, что его тоже это не радует, но ничего не поделаешь. Журналисты допытывались у Дойла, не собирается ли он написать рассказ о приключениях Холмса в Нью-Йорке (о «Долине ужаса» они слышали, но не читали – она начнет публиковаться лишь в сентябре, а в Штатах выйдет отдельной книгой в 1915-м и будет иметь там огромный успех); он вежливо отвечал, что не исключает этого – и действительно думал о подобном сюжете. 2 июня Дойлы отбыли из Штатов в Канаду.

В Монреале Дойл принял участие в дискуссии о канадской литературе. Затем началось путешествие. Канадцы не обманули: гостям был предоставлен пульмановский вагон (гостиная, столовая, спальня, все возможные удобства), в котором они за месяц проехали 3 тысячи миль – от Монреаля до заповедника Джаспер-парк на самой границе с Британской Колумбией. Они посетили Виннипег, Эдмонтон, Оттаву; видели легендарную Тикондерогу, Ниагарский водопад и Великие озера. Были на приеме у генерал-губернатора Канады. Ночевали в вигвамах, удили рыбу, катались верхом, опять ходили на бейсбол – доктора чрезвычайно заинтересовал этот новый для него вид спорта. В каждом городе повторялось примерно то, что было в Нью-Йорке – завтраки, обеды, спичи, интервью, – только канадские репортеры были гораздо тише и деликатнее, чем американские. Разумеется, доктора интересовали индейцы; в городке Солт-Сент-Мери он побывал на уроке в индейской школе. Его привел в восторг канадский лось – «пугливый скиталец безлюдных пространств»; такой же восторг вызвали зерновые элеваторы, построенные по последнему слову техники. Канада понравилась ему еще больше, чем Штаты: всё здесь было такое величественное, спокойное – как спящий медведь – флегматичные люди, громадные прерии, леса голубых елей. Доктор восхищался энергичными и трудолюбивыми фермерами, но не мог представить, как бы он сам жил в таком уединении, в такой глуши – ему казалось, что он бы сошел с ума, несмотря на существование телефонов и радио.

Ему было грустно, что США, Канада и Великобритания – не одна страна. «Я не усматриваю в этих распрях никакой славы, а у тех государственных мужей, которые их вели, никакой мудрости. Сообща-то они и раскололи нацию от вершины до основания, а кто от этого выиграл? Не Британия, отчужденная от столь многих лучших своих детей. Не Америка, утратившая Канаду и оказавшаяся перед лицом гражданской войны, которой соединенная империя могла бы избежать». О французах, населяющих Канаду, доктор, по-видимому, забыл – а может, ему казалось, что неплохо бы, если и милая, симпатичная Франция тоже вошла бы в эту единую дружную империю.

Во всех канадских городах, где побывал Дойл, он выступал с речами. Говорил он не о Шерлоке Холмсе (чего бы, наверное, хотелось слушателям), а о грядущей войне, повторяя тезисы своих статей и предупреждая об опасности. Как и в Штатах, он всеми силами старался развеять тот неприятный образ англичанина, который сложился у обитателей Северной Америки: «Я рассказывал канадцам о нашем великолепном движении бойскаутов, а также о движении наших старых солдат за создание национальной гвардии». Неизвестно, убедил ли он канадцев в чем-либо. Но сам он им понравился. Когда Дойл вернулся в Монреаль, репортеры спросили, не собирается ли он написать рассказ о приключениях Холмса в Канаде; утомленный, он ответил на сей раз, что о Канаде напишет непременно, но Холмса туда отправлять не станет. В самом деле, как-то трудно себе представить Холмса в канадских прериях, среди медведей и лосей – разве что пенсионером. 4 июля Дойлы отплыли в Англию – уже не на «Олимпике», а на другом пароходе.

По возвращении Дойл тотчас кинулся в очередной бой за Слейтера – в деле как раз обнаружилась новая информация. В остальном лето 1914-го было для него спокойным. В подарок детям доктор привез игрушечную железную дорогу; Кингсли, приехавший на каникулы, показывал малышам, как она работает. Приезжал Иннес с женой и двухлетним сыном. Приезжала Конни с мужем и сыном – ровесником Кингсли. Почти каждый день в Уинделшеме бывали гости из Лондона. Доктор рассказывал об Америке. Сплошные обеды и ужины; много танцевали, было весело. Вроде бы вся Англия знала, что война должна быть, что она будет, что она будет скоро, – но надеялась, что, может, как-нибудь обойдется. Из того, что английские писатели говорят о себе и своих соотечественниках, можно сделать вывод, что надежда на «авось» и «как-нибудь» в англичанах очень сильна. Нам это слышать удивительно – но им, наверное, виднее.

Глава вторая

БЕЛЫЙ ОТРЯД

«Было девять часов вечера второго августа – самого страшного августа в истории человечества. Казалось, на землю, погрязшую в скверне, уже обрушилось Божье проклятие – царило пугающее затишье, и душный, неподвижный воздух был полон томительного ожидания».

Фон Борку, последнему противнику Холмса, осталось ждать всего лишь двое суток. Британия вступила в войну 4 августа 1914 года. К этому времени в Европе уже произошло много событий. Хотя мы все и учили историю в школе, на всякий случай припомним, «кто за кого и почему»: Германия еще в 1879 году заключила с Австро-Венгрией договор, участники которого обязались оказывать помощь друг другу в случае войны с Францией или Россией, а в 1882-м к ним присоединилась Италия, искавшая поддержки в борьбе с Францией за обладание Тунисом – так был создан Тройственный союз (другое название – Центральные державы). В противовес ему стала складываться другая коалиция: сперва – в 1893 году – русско-французский союз, затем – в 1904-м – англо-французское соглашение, урегулировавшее споры между Великобританией и Францией по колониальным вопросам, и, наконец, в 1907-м – англо-русское соглашение, более-менее примирившее интересы сторон в Тибете, Афганистане и Иране; так возникла Антанта. 28 июня произошло Сараевское убийство; 23 июля Австро-Венгрия под давлением Германии предъявила Сербии ультиматум и, несмотря на согласие сербского правительства выполнить почти все ее требования, объявила Сербии войну; 30 июля Россия начала всеобщую мобилизацию; 1 августа (19 июля по старому стилю) Германия объявила войну России, а 3-го – Франции и Бельгии. Немцы, как обычно, рассчитывали на блицкриг – и, как обычно, просчитались.

Если до этого момента британское правительство (его премьером был Асквит) еще могло надеяться «спустить дело на тормозах», то теперь отступать было некуда: «Стало ясно, что заблуждения немцев относительно деградации нашего характера на самом деле заставили их уверовать, будто трусоватый здоровяк будет стоять сложа руки и глядеть, как громила избивает его маленького друга». Дойл мгновенно позабыл все свои претензии к бельгийцам. Дружба или расчет – так или иначе, Британия предъявила Германии ультиматум. Его срок истек 4 августа, в 23.00 по Гринвичу. Жители Лондона были возбуждены; всем хотелось действовать. Вместе с Британией в войну вступали все ее доминионы. «Как правило, человеку снятся дикие сны, а просыпается он в здравом уме, – писал Конан Дойл, – но в те дни, просыпаясь, я терял здравый смысл, обнаруживая, что нахожусь в мире кошмарных снов».

Доктору было 55 лет; однако первое, что он сделал – это попытался пойти военврачом на фронт. Он писал в военное министерство: «Мое имя известно довольно многим молодым людям в стране, и мне кажется, что, если бы человека моего возраста в виде исключения взяли в действующую армию, это послужило бы для молодежи неплохим примером. Мне пятьдесят пять, но я силен и крепок и, что немаловажно, мой голос может быть услышан многими». 21 августа ему отказали. В те же дни на войну просился Гумилев. Его тоже поначалу не хотели брать – из-за проблем со зрением, – но он был молод и своего добился: в сентябре был отправлен на фронт. А неутомимый доктор Дойл в это время уже формировал собственную армию.

Еще в день ультиматума он получил письмо от водопроводчика из Кроуборо, в котором говорилось: «В Кроуборо полагают, что надо что-то делать». Письмо его рассмешило, но потом он понял, что именно надо делать: создавать добровольческие отряды по месту жительства: «Этот союз, который я замыслил, должен был охватывать всех: здесь каждый гражданин – и стар и млад – должен был проходить военную подготовку, некий огромный котел, из которого нация в случае необходимости сможет черпать силы». Вечером того же дня он с Альфредом Вудом организовал собрание жителей Кроуборо. Пришли и люди из соседних деревень. Желающих записаться в добровольцы оказалось 120 человек. Отряд назвали Гражданским резервом. Тех, кто по возрасту должен был быть призван в настоящую армию, в отряд не записывали, так что составили его именно «стар и млад». На следующий вечер сошлись снова, разобрались, кто что умеет делать, выбрали «унтер-офицеров». Командование принял на себя доктор Дойл. Он уведомил военное министерство о создании отряда и попросил признать Гражданский резерв официально. Он ничего не требовал и кротко обещал не мешать законной мобилизации, однако же написал статью в «Таймс», где рассказал об отряде Кроуборо.

За несколько дней он получил письма из 1 200 городов и деревень, жители которых просили взять их в ополчение или хотя бы поделиться опытом по формированию добровольческих отрядов: прислать правила и инструкции. Правила и инструкции тотчас были написаны и

разосланы всем желающим. Военное министерство было в гневе. Уже через две недели оно издало приказ немедленно распустить все незаконные формирования. Телеграмму в Кроуборо принесли, когда отряд на импровизированном плацу занимался строевой подготовкой; доктор зачитал своей армии текст приказа и, чертыхаясь и кляня все на свете, велел расходиться по домам.

Однако ругался он, как выяснилось, напрасно: правительство было не так уж равнодушно к его идеям, просто правительства не любят, когда кто-то что-то делает без их санкции и руководства. Тут стоит напомнить, что такой институт, как добровольческие войска, в Британии ранее был – он прекратил свое существование в начале XX века, но в стране осталось немало его сторонников. Одному из них, лорду Десборо, было поручено сформировать новую Добровольческую армию. Теперь Дойл мог делать то же самое, что и раньше, но – на законных началах. По его поручению Альфред Вуд написал всем тем, кто просил у него «правил и инструкций», и переадресовал их к новому ведомству. Что касается отряда Кроуборо, он стал теперь называться Кроуборской ротой Шестого королевского сассекского добровольческого полка.

Десборо предложил Дойлу стать командиром отряда, но тот отказался. «Не вести, а быть ведомым приносило большое успокоение, и пока мысли твои ограничивались необходимостью навести блеск на пуговицы и пряжки и прочистить винтовку, ты чувствовал себя совершенно счастливым». Командиром назначили капитана Сент-Квентина, постоянного партнера Дойла по крикету. Сам доктор остался рядовым и был им четыре с половиной года, периодически выполняя обязанности то сигнальщика, то первого номера в пулеметном расчете. Состав отряда часто менялся, так как многих забирали в регулярную армию, а на их место приходили новые ополченцы; общая численность его все время составляла около ста человек, средний возраст, все увеличиваясь, к концу войны приблизился к пятидесяти годам. Всем выдали винтовки. Занимались строевой подготовкой и стрельбой. Спали в палатках вповалку. Периодически руководство Добровольческой армии присылало своих инспекторов, и Кроуборская рота всегда выдерживала проверки успешно. О ее передовом опыте писали в газетах. Иногда совместно с другими подобными отрядами рота участвовала в маневрах и смотрах. Найдя свое место на войне, доктор успокоился. Да что там – он был в восторге: «Я сохранил приятнейшие воспоминания о том долгом периоде службы. <…> Я находил жизнь солдата замечательной». Воевать очень интересно, и сослуживцы все были милейшие люди.

А война в Европе развертывалась вовсю. Основная ее тяжесть в тот первый год пришлась на Францию. Великобритания рассчитывала, что военные действия на суше будут вестись армиями ее союзников, и масштабные операции сухопутных войск не планировались: англичане только направили на континент в помощь французам экспедиционный корпус. Флот же Британии должен был установить блокаду Германии на Северном море, обеспечить безопасность морских коммуникаций и разгромить германский флот. Тем временем главная группировка немцев, оттеснив бельгийские войска и часть французских, наступала на Париж; одержав ряд побед над войсками Антанты, к 5 сентября она вышла к реке Марна между Парижем и Верденом. Французскому командованию удалось, проведя перегруппировку, создать превосходство в силах, и в Марнском сражении 12 сентября немцы, ко всеобщему восторгу, потерпели первое крупное поражение. Они отошли за реку Уазу и, закрепившись там, отбили контрнаступление Антанты. Далее последовали два крупных сражения: на реке Изер и на реке Ипр. Стороны понесли большие потери, прекратили активные действия и закрепились на достигнутых рубежах.

Семью и дом Дойлов война не обошла стороной. Воевали почти все. Военврач Малькольм Леки, брат Джин, ушедший в составе экспедиционного корпуса помогать французам, в первый же месяц пропал без вести; лишь к концу войны стало известно, что он был смертельно ранен в сражении при Монсе, но продолжал оказывать помощь другим раненым и через четыре дня скончался. На фронте были муж Лотти Лесли Олдхэм (сама Лотти вступила во французский Красный Крест) и сын Конни Оскар Хорнунг. Воевали четыре брата Лили Лоудер-Симмонс, лучшего друга Джин и почти что члена семьи. Ушел на фронт Альфред Вуд – и стал майором Вудом. Иннес был на передовой с первых дней войны; он уже дослужился до подполковника. (Его жена и ребенок жили у Дойлов в Уинделшеме.) Джин Дойл организовала в Кроуборо приют для бельгийских беженцев. Мэри пошла работать на завод, принадлежавший военно-промышленному концерну «Викерс» и выпускавший гильзы для артиллерийских снарядов, а по вечерам дежурила в столовой.

Кингсли Дойл, врач и пацифист, вступил в действующую армию в первых числах сентября. Он так и не смог преодолеть своей застенчивости, мягкости и робости в общении с людьми и, не пожелав получать офицерский чин, остался рядовым. Несколько месяцев его часть пробыла в Египте; в Европу он отправился в начале 1915-го. Он еще увидится с отцом, но живым с войны не вернется.

Многие промышленные предприятия переходили на выпуск продукции военного назначения; обе мотоциклетные фирмы Дойла и Уолла поступили точно так же. Дойл отказался от получения дивидендов – но удержаться его фирмы все равно не смогли и вскоре прекратили свое существование. Что касается Добровольческой армии – сразу скажем, что участия в военных действиях ее подразделения так и не приняли. Доктор Дойл об этом сожалел, но не обижался: он понимал, что такое было бы возможно лишь в случае вторжения немцев на территорию Британии, и – надеемся – не желал подобного развития событий. Все же, по его мнению, Добровольческая армия «представляла собой последнюю опору национальной жизни» – и в случае, если бы ее распустили или даже давали бы ополченцам длительные отпуска, в стране «воцарился бы хаос». Рядового Дойла, правда, отпускали довольно часто. Нет, он не отлынивал – он бы с радостью все четыре года без передышки чистил винтовку, – но оружие писателя все-таки не винтовка, а, условно говоря, перо. И для пера его находилось много работы.

Сбывались, к несчастью, его пророчества относительно Джона Сириуса. Нельзя сказать, что в целом кампания на море 1914 года складывалась в пользу немцев: после того, как 1 ноября немецкая эскадра нанесла поражение английской эскадре адмирала Крэдока в Коронельском бою, англичане выправились: 8 декабря эскадра адмирала Стэрди выиграла сражение у Фолклендских островов, а к началу ноября англичанами были потоплены еще несколько германских крейсеров, действовавших в Атлантическом и Тихом океанах. Но это – общая картина, за которой скрывались ужасные частности. 5 августа немцы заминировали устье Темзы и там подорвался британский корабль. 22 сентября три британских патрульных крейсера встретились с немецкой субмариной и были уничтожены, похоронив с собою более 1 400 человек. Не было тогда никаких средств защиты от мин и никаких средств спасения для экипажа – вот что самое удивительное и ужасное. Теперь не имело смысла говорить «Я же предупреждал»; доктор стал придумывать выход. О минах: нужно какое-то приспособление, чтобы их «за хвост» вытаскивать из воды (они крепились на линях). Дойл предложил использовать для этой цели щуп в виде большой вилки, который можно было бы в случае опасности выставлять перед носом корабля, глубоко погружая в воду, и взрывать мину прежде, чем судно подойдет к ней вплотную. Он написал о своем изобретении в газеты, написал в военное министерство, но ответа не получил. (Приспособления против мин британский флот стал использовать только в 1916-м.)

Еще сильнее, чем мины, его заботила проблема спасательных средств для моряков. На военных кораблях не разрешалось держать шлюпки, так как они при попадании снаряда могли загореться и создать дополнительную опасность. От мины или торпеды, выпущенной с субмарины, корабль моментально погибал весь – какая уж там дополнительная опасность! Дойл писал об этом в самые первые дни войны, предлагая все-таки оснащать суда достаточным количеством шлюпок, а с началом боя спускать их на воду и буксировать при помощи катера; представители Адмиралтейства (которое тогда возглавлял Уинстон Черчилль) его жестоко высмеяли: «Маловероятно, чтобы государственное ведомство поблагодарило человека за то, что он выполнял возложенную на это ведомство работу». А беспомощные люди медленно умирали в ледяной воде, ибо к тонущим военным судам было запрещено близко подпускать спасательные катера, чтобы они тоже не затонули.

Не хочется придумывать, что доктор Дойл, узнав о гибели трех кораблей, «побледнел» или что «его сердце наполнилось горечью» – вообще не хочется беллетризировать рассказ о жизни доктора, его жизнь в этом не нуждается. Он увидел проблему и немедленно стал искать пути ее решения. Спустя всего четыре дня он выступил в печати со статьей, в которой предлагал простую меру – индивидуальные надувные круги, которые позволили бы морякам продержаться на воде хотя бы некоторое время, пока не подоспеет помощь. Зная по опыту, что генералы его опять засмеют или просто проигнорируют, он даже не стал к ним обращаться, а сразу развернул в прессе кампанию широчайшего масштаба. Он понимал: военное министерство может пренебречь голосом одного человека, но к мнению общественности – если ее удастся убедить – оно будет вынуждено прислушаться. Расчет оказался верен: все британские газеты, в особенности «Дейли мейл» и «Дейли кроникл», в течение нескольких дней писали почти исключительно о спасательных кругах. Предложение было настолько простым и понятным, что военные на сей раз отреагировали немедленно: недели не прошло, как от Адмиралтейства поступил заказ производителям резиновых изделий на изготовление 250 тысяч кругов. Газета «Хэмпшир телеграф» писала, что Адмиралтейство всецело обязано сэру Артуру Конан Дойлу и должно благодарить его. Благодарить оно, разумеется, не подумало, так что сам доктор так никогда и не был уверен, что адмиралы последовали именно его рекомендации – может, просто совпадение.

Уже в октябре всем экипажам флотилий, базирующихся в Северном море, стали выдавать спасательные круги, отгружая их прямо с заводов. В «Хэмпшир телеграф» было написано: «Круг изготовлен из резины, уложен в прочную сетку-чехол и весит вместе с ней меньше трех

унций. Его можно носить в кармане, а надев, как положено, на шею, надуть за десять секунд. Он предназначен, чтобы удерживать над водой голову человека бесконечно долгое время». (Эта штуковина, как мы понимаем, впоследствии трансформировалась в спасательный жилет.) Все радовались, а доктор Дойл – нет; он понимал, что это полумера. В зимнем море, если помощь так и не придет, круги лишь продлят агонию. Нужны шлюпки; и если изготовители резиновых изделий могут сделать надувной круг, почему бы им не сделать надувную лодку? Тотчас он начал новую кампанию, за лодки, но тут он не смог пробить адмиральскую броню. Черчилль ответил ему вежливым письмом, но оснащать военные суда надувными шлюпками стали лишь во время Второй мировой. И все же благодаря спасательным кругам и тому, что на британских кораблях стали размещать некоторое количество деревянных шлюпок, много людей смогли спастись.

Чтобы завершить разговор о военных изобретениях Дойла, упомянем здесь же (хотя это относится уже к 1915 году), что он предложил меры для защиты не только моряков, но и пехотинцев. Если нельзя одеть солдата в доспехи – можно защитить хотя бы голову и сердце. Британские солдаты не носили касок, тогда как французские – носили; нужно обязательно последовать их примеру. Всем известны случаи, когда ременная пряжка или стальной портсигар спасали человеку жизнь. Почему бы не закрыть грудь тонкой и прочной стальной пластиной? Доктор сам проделал эксперимент (к счастью, не на себе и вообще не на живом человеке) и убедился, что защитная пластина вынуждает пулю отклониться. Ни в коем случае нельзя позволять, чтобы отряд пехотинцев шел на германские траншеи под пулеметным огнем, теряя по пути половину людей. Если нет защитных средств для солдат – значит, вообще нельзя отправлять пехоту в подобные наступления. Так-так, ладно, а для артиллеристов что можно сделать? А можно попробовать защищать орудийные расчеты камуфляжными сетками! Опять бесчисленные статьи в «Дейли кроникл» и в «Таймс»... Воззвания доктора успеха у военных чинов не имели. Генералы и члены кабинета министров отзывались о нем как о надоедливом профане. Каски, правда, британские солдаты стали носить. Но бронежилеты появятся еще очень не скоро.

Черчилль-то на словах был – «за». Дойл написал о нем как о человеке, «открытом для идей и симпатизировавшем тем, кто стремился к какому-то идеалу». Но и Черчилль, по мнению Дойла, не мог сладить с неповоротливой и консервативной бюрократической машиной. А может, просто понятие об идеалах у него было несколько иное. «Просто защитить» солдат ему было не слишком интересно. Вот создать такую вещь, которая сможет, защищая, нападать – совсем другое дело. Вообще-то бронированные автомобили с установленными на них пулеметами в начале войны уже применялись – их использовали для ведения разведки, охраны и доставки личного состава и грузов на поле боя, изредка даже для непосредственной поддержки пехоты в бою. Но когда боевые действия повсюду приобрели позиционный характер, эффективность бронеавтомобилей снизилась: имея низкую проходимость, они не могли разрушать инженерные заграждения и прорывать оборону. Нужна была машина посолиднее – и Черчилль посвятил всю свою энергию созданию танков. Дойл впоследствии говорил, что танки выиграли войну, и преклонялся как перед их конструкторами, так и перед энергией Черчилля. Но сам он – такой изобретательный – какой-нибудь штуки, которая могла бы разрушать и убивать, не придумал. Односторонний у него был подход. Потому, наверное, он и не стал политиком.

И все-таки, когда читаешь мемуары Дойла и некоторые из его статей военного времени, невозможно отделаться от ощущения, что война ему нравилась. Ведь воевать очень интересно! Даже в том, как он описывает различные бытовые неудобства – продовольственные карточки, затемнение окон, постоянные визиты полицейских, неразбериху и хаос, необходимость проходить разного рода регистрации, – за сетованиями немолодого разумного человека чувствуется восторг мальчишки, попавшего на самый увлекательный футбольный матч. «Худшим из лишений был недостаток сахара и чая. С помощью верного слуги Джейкмена, который не щадил своих сил, моя жена творила чудеса по части экономии продуктов. Это не спасло нас однажды от налета полиции, когда мы получили чай, посланный нам в подарок из Индии. Однако большую часть его мы уже успели раздать соседям, так что все обошлось более-менее благополучно». Дойл сам назвал войну «кульминацией своей жизни, как, должно быть, каждого мужчины и женщины»; и хотя дальше он написал о ней как о «страшной пучине», пучина эта была ему чем-то по душе.

Ему нравилось, что всё постоянно меняется, что каждый занимается каким-нибудь новым делом; нравилось ощущение всеобщего единения (отчасти ложное, но в основном все же верное), нравилось, что все кругом заняты чем-то одним и вместе, нравилась атмосфера мужского братского сообщества, нравилась бивачная жизнь, нравилось спать в палатках и есть из котла; нравилась опасность, нравились развеселые ужины для офицеров, нравился особенный военный уют. Ничего сверхординарного в этом нет. В подавляющем большинстве книг о войнах, написанных мужчинами, ощущение мальчишеского восторга присутствует. Из

мемуаров Дойла: «Что касается еды, в ней всегда заключался элемент приятной неожиданности. Неизменно присутствовало ощущение приключения и любопытство: удастся ли раздобыть хоть что-нибудь? Все это разжигало аппетит». «Приключение» – вот ключевое слово. Он сам его произнес – семидесятилетний старик, у которого на фронте погибла чуть не вся семья. Нет, войны ему решительно не нравились. Но ему очень нравилось воевать.

В течение всей войны Дойл был корреспондентом «Дейли кроникл»: писал аналитические статьи, освещал отдельные военные операции – в частности, печально известную Антверпенскую операцию в октябре 1914-го, которая весьма плохо сказалась на репутации Черчилля. В конце сентября бельгийский порт Антверпен подвергся тяжелейшей осаде со стороны немцев; если бы город пал, Германия получила бы выход на Дюнкерк и Булонь. Британия «со смелостью, граничившей с безумием», по выражению Дойла, приняла решение направить две бригады морских пехотинцев на помощь бельгийцам. Безумие заключалось в том, что в составе этих двух бригад было несколько десятков ветеранов, а все остальные – гражданские лица, всего несколько дней как вставшие под ружье. Эти «странные силы», по выражению Дойла, были призваны не столько оказать реальную помощь, сколько продемонстрировать Германии свою позицию. Черчилль был инициатором этой авантюры (как ее теперь обычно называют); он отправился в Антверпен, дабы лично возглавить операцию по освобождению города. Ничего хорошего из этого не вышло. Спасателям едва удалось самим уйти, понеся значительные потери; 10 октября немецкие войска заняли Антверпен. Эта неудача – вкупе с поражением под Галлиполи – скоро станет причиной отставки Черчилля. Дойл описал Антверпенскую операцию с грустью как пример необдуманных и легкомысленных действий, приведших к напрасной гибели людей. Однако поведение самого Черчилля он назвал мужественным. Другие называли его безумным. Если бы Черчилль не приехал в Антверпен, а руководил операцией из кабинета, Дойл, при всей к нему симпатии, наверное, выразился бы так же. Но за личное мужество он прощал всем и все.

У всякой войны должны быть свои летописцы: в конце 1914 года Конан Дойл начал потихоньку работать над серьезным историческим трудом, который публиковал отрывками и завершил спустя несколько лет. Он составил шесть томов под общим названием «Британская кампания во Франции и Фландрии» («The British Campaign in France and Flanders»). По замыслу это была книга, аналогичная «Великой бурской войне». Но если в тот раз военное министерство предоставило летописцу доступ к всевозможным материалам, то нынче оно не только отказывалось давать официальную информацию, но и намекало, что не следует даже спрашивать о ней. Приходилось выкручиваться по-другому, используя бесчисленные личные знакомства среди генералов и офицеров, расспрашивая любого солдата-отпускника, какой попадался под руку. Доктор очень полагался на слова частных лиц – прекрасных людей и джентльменов, – и потому, как выяснилось позднее, в его работе было много неточностей. Незнакомым генералам Дойл писал очень учтивые письма с просьбами поделиться материалом; генералы, которым хотелось, чтобы их частям было отдано должное, таяли и на письма, как правило, отвечали: «В силу этого я смог первым описать в печати целиком всю линию фронта с указанием точного размещения бригад, начиная с Монса и до последнего сражения перед подписанием перемирия». Легко писать такую книгу, когда твоя страна побеждает. В начале войны это было очень тяжело. «Взгляните на эту великолепную панораму побед» – такие слова он написал о победах Германии. «Я не знаю, можно ли найти в истории серию побед, подобную этой».

Помимо военной журналистики и летописей, война подыскала для пера Конан Дойла работу еще одного сорта. 2 сентября 1914 года Чарлз Мастерман, видный деятель либеральной партии, возглавивший бюро оборонной пропаганды, собрал на секретное совещание литераторов, чтобы просить их послужить делу подъема патриотического духа в населении и, в частности, вербовке в действующую армию. Кроме Конан Дойла там присутствовали Честертон, Уэллс, Гарди, Киплинг, Голсуорси, Уильям Арчер, Арнольд Беннет и ряд других писателей. Почти все они изъявили желание написать пропагандистские статьи и брошюры. Дойл, естественно, тоже согласился. Он написал несколько памфлетов. В феврале 1915-го он также по просьбе Мастермана совершил поездку по шести городам, где выступал на митингах для рекрутов: «Бывают разные времена. У нас было время для спорта, было время для бизнеса, было время для частной жизни. Было время для всего, но сейчас настал момент, когда для нас есть только одна вещь – война. Крикетист, обладающий острым зрением, должен взяться за винтовку; если сильные ноги футболиста служили ему в игре – пусть послужат и на поле битвы».

Глуповато? Доктор отнесся к поручению Мастермана с ответственностью и выполнял его честно. Намерение «сочинить что-нибудь патриотическое» нередко заставляет литераторов, куда более тонких, чем Конан Дойл, скатываться в пошлость. Наших это тоже коснулось: война-то была одна, и сторона у нас с ними – одна. Некоторые тогдашние стихотворения Сологуба невозможно читать без содрогания: «В плен врагам не отдавайся, умирай иль

возвращайся с гордо поднятым лицом!» А Северянин, а Кузмин, а Городецкий; ну, про Маяковского и говорить нечего... А что и как писали в эти годы наши британцы – те, кого мы поминаем постоянно?

Киплинг – кто бы сомневался – стал одним из наиболее горячих военных пропагандистов. Писал патриотические стихи и памфлеты. Сам пытался, как Дойл (и как Гумилев), отправиться на фронт – его по возрасту не взяли; не брали и его семнадцатилетнего сына Джона из-за сильной близорукости. Киплинг использовал все свое влияние, чтобы отправить сына в действующую армию, и добился своего. Сына взяли в армию. Почти сразу его убили. Отец не знал о его судьбе почти до конца войны.

Уэллса лето 1914-го поставило перед сложным выбором. Он уже не раз заявлял себя противником войн; с другой стороны, он решил, что мировая война разрушит старые порядки и откроет путь социально-политическим преобразованиям, а поражение Германии, которую он считал самым реакционным государством (и у которой революционеры всего мира, как потом выяснилось, искали поддержки), подорвет позиции реакции во всем мире. (Точь-в-точь Леонид Андреев...) После совещания у Мастермана Уэллс написал ряд пропагандистских статей, собранных вскоре в книгу «Война против войны».

Честертон, певец христианских добродетелей, стал одним из активнейших соратников Мастермана. Обрушился с критикой на пацифистов. Написал ряд антигерманских памфлетов: «Аппетит тирании», «Берлинское варварство» и т. д. Красиво говорил о величии войны и о «чести меча». Позднее, когда его любимый брат Сесил умер от ран во французском военном госпитале, впал в депрессию и замолчал. (Продолжая игру, поищем параллель у себя дома; с кем сравним? Может, с Эренбургом, чей первоначальный припадок энтузиазма тоже прошел довольно быстро? Нет, не совсем то; наверняка читатель сам сумеет отыскать пример получше.)

Шоу – как всегда – оказался в гордом меньшинстве. Никаких иллюзий относительно войны не питал (как Горький, как Волошин, как Хлебников.). В ноябрьском номере журнала «Нью стейтсмен» за 1914 год он опубликовал большой очерк «Война с точки зрения здравого смысла», в котором критиковал и Англию, и Германию, призывал всех к мирным переговорам и осмеивал патриотизм, в результате чего растерял тех немногих друзей, какие у него были, и был исключен из Клуба драматургов.

Джером, «душка» Джером, много лет проживший в Германии и любивший ее, призывал к миру. Единственный, пожалуй, настоящий и абсолютный гуманист из всех своих коллег, он не мог видеть в войне ни приключения, ни служения прогрессу, ни повода для издевок, а лишь одно то, чем она на самом деле является, – убийство. И – единственный же – на войну ушел. Ему было 55 лет, но он правдами и неправдами «устроился» во французские войска. Служил во Франции, был шофером, вывозил раненых из-под огня. Вот такой парадокс... (А ведь был и у нас такой: Саша Черный, тоже, между прочим, сатирик и юморист...)

Дойл, как Киплинг и Гумилев, был последователен: патриотизм «лежа на диване» его никогда не привлекал. Надо разбирать винтовки – значит, надо; надо кропать листовки – значит, буду кропать. Но впоследствии он вспоминал об этих листовках не без смущения. Другое дело – спасательные жилеты; вот это по-настоящему важно. Как ни странно для такого сентиментального человека, он, когда доходило до дела, всегда предпочитал патетике – конкретику, высоким словам – сухое перечисление насущных мер.

Военная кампания 1914 года не принесла решающих результатов ни одной из сторон. Всем уже стало ясно, что война будет продолжительной – всем, но не Германии, которая еще раз попыталась закончить войну «быстренько» и сосредоточила свои основные усилия на сей раз на Восточном фронте. Германское командование, обеспокоенное успехами России в Восточной Пруссии, сняло два армейских корпуса из Бельгии и Франции и перебросило их на восток. Конан Дойл с некоторым эгоизмом замечал, что если бы это было сделано в предыдущем году, битва на Марне могла стать полным разгромом немцев на Западном фронте. А так Западный фронт преимущественно сидел в окопах и ждал.

В феврале 1915-го Антанта попыталась разрубить этот узел: англо-французское командование приступило к осуществлению морской десантной операции, стремясь форсировать пролив Дарданеллы, прорваться к Константинополю, вывести из войны Турцию (союзника Германии) и выйти на помощь русским «с изнанки». Прорыв не удался. В апреле был высажен десант на полуостров Галлиполи, но турецкие войска опять оказали сопротивление. В конце концов союзное командование было вынуждено эвакуировать десантные войска; эти неудачи прервали военную карьеру Черчилля. А в мае произошло одно из самых страшных событий Первой мировой: Ипр. Сбылся он – отравленный пояс! Среди пятнадцати тысяч отравленных

солдат были три брата Лили Лоудер-Симмонс, все они погибли. (А еще раньше погиб муж Лотти; о судьбе Малькольма Леки по-прежнему ничего не было известно.) Именно после Ипра Дойл начал газетную кампанию за каски и бронежилеты. Не подумаем, что он сошел с ума и надеялся стальными доспехами защитить солдат от хлора: немцы на Ипре воевали не только ядовитыми баллонами, но и артиллерией; что же касается газа, Дойл – как и все в тот период – верил, что смоченные раствором гипосульфита повязки могут полностью решить проблему. До противогаза Кумманта и угольного фильтра он, несмотря на свою любовь к химии, недодумался.

На море тоже все шло в соответствии с мрачными пророчествами Дойла. 18 февраля Германия объявила, что начинает «неограниченную подводную войну». Был отдан приказ топить любое судно под флагом противника независимо от его статуса. В мае германская подводная лодка и-20, расстреляв шхуну с продуктами, торпедировав два пассажирских лайнера и промахнувшись по норвежскому пассажирскому пароходу, встретилась в Ирландском море с лайнером «Лузитания», шедшим из Нью-Йорка в Ливерпуль – еще одной красой и гордостью британцев, неоднократным чемпионом Северной Атлантики. Спасательные работы были плохо организованы, деревянные шлюпки разбились. 761 человек из числа пассажиров и членов экипажа «Лузитании» спасся, 1198 – погибли. 16 августа субмарина и-24 уничтожила другой пассажирский пароход, «Арабик», следовавший из Ливерпуля в Нью-Йорк; там спаслись 389 из 429 человек, находившихся на борту. Как нередко бывает в истории, трагедия имела и положительные последствия. На обоих судах было много американцев, и если до этого момента США занимали выжидательную позицию и даже высказывались против английской морской блокады Германии (торговать мешает), то после него отношения между Германией и Штатами резко ухудшились. Немцы объявили о прекращении подводной войны против невоенных судов – в обмен на то, что США будут давить на Англию по поводу ослабления блокады. (В 1917 году немцы подводную войну возобновили – и Америка, которая к тому времени нашла достаточно других рынков и перестала интересоваться Германией, вступила в войну на стороне Антанты.) Все по Джону Сириусу: война – бизнес, а не спорт.

Сбывался и один из романов Уэллса: хотя полномасштабной войны в воздухе не было, но цеппелины начали бомбить Англию. Первый налет состоялся 19 января. Кайзер Вильгельм выразил надежду, что «воздушная война против Англии начнется с величайшей энергией», но не велел бомбить здания, принадлежащие королевской семье. Летом 1915-го начались бомбардировки Лондона и окрестностей. В последующие годы цеппелины и дирижабли сменились самолетами. От бомбардировок в Лондоне погибло немного людей (около 700 человек за всю войну – пустячок, с точки зрения политика), но для защиты пришлось отвлечь с фронта более десяти тысяч человек, самолеты, прожекторы и другую технику – это, конечно, было серьезнее; к тому же бомбардировки оказывали самое угнетающее психологическое воздействие на людей. В этой войне все новейшие вооружения действовали в основном психологически – репетиция к «настоящим» войнам.

Для координации стратегических усилий держав Антанты 7 июля был образован Межсоюзнический военный совет в Шантийи. Решили для помощи России предпринять еще одно крупное наступление на Западном фронте. В сентябре – октябре были организованы наступательные операции в Шампани и Артуа, но союзным войскам не удалось прорвать оборону противника. Потери союзников составили 300 тысяч человек. Настроение у англичан было крайне подавленное. Газета «Интернешнл сайклик газетт» обратилась к ряду знаменитых людей с просьбой сказать что-нибудь бодрое в утешение скорбящим. Ответ доктора Дойла был самым кратким и самым печальным: «Сказать мне нечего. Лишь время, может быть, залечит раны». Немцы брали много пленных; от нейтральных стран и Красного Креста в Англию стали поступать сведения о жестоком обращении с ними.

«"Таймс", 13 апреля 1915 года.

Сэр, неизвестно, как надо поступать с этими европейскими краснокожими, истязающими своих пленных. <...> Напрасны все призывы к добру, ведь средний немец столько же смыслит в рыцарских чувствах, как корова в математике. <...>

Если наш народ не стремится к мести, то, по крайней мере, мы можем решить, как вести себя дальше. Мы должны напечатать отчет майора Ванделера вместе с официальными американскими докладами и такие документы, как сообщение в голландской газете «Гид» о пытках трех раненых английских офицеров в октябре на пограничной станции. Эту газету следовало бы распространить среди наших солдат во Франции. Когда душа объята праведным гневом, солдат сражается лучше. Это также научит англичан, если кто-нибудь из них нуждается в уроках, что лучше умереть на поле боя, чем поверить в гуманность немцев-победителей. <...>

Искренне Ваш,

Артур Конан Дойл».

В войну втягивалось все больше разных государств. К Антанте присоединилась Италия, но от итальянских войск большого проку не было: четыре их наступления окончились провалом. На стороне Германии выступила Болгария; в октябре австро-германские и болгарские войска начали наступление на Сербию. Великобритания и Франция для помощи сербам высадили экспедиционный корпус в Салониках, но все, что им поначалу удалось сделать – это эвакуировать сербов в Грецию. К началу 1916-го Антанта довела число своих дивизий до 365 против 286 дивизий германского блока. Германия по-прежнему была вынуждена воевать на два фронта, а если считать колонии – то на три. В Англии стали, в свою очередь, появляться немецкие военнопленные. Когда их выводили на работы, охрана поручалась служащим Добровольческой армии. Рота, в которой служил доктор Дойл, тоже занималась этим, и он лично в том числе. Вот уж, наверное, он на них отыгрался, на этих «краснокожих европейцах», – мог бы подумать человек, который плохо знает доктора Дойла. «Выйдя на сельскую дорогу, я решил заговорить с этими несчастными, понуро бредущими беднягами, и установить с ними добрые отношения. <…> Могу поручиться, что они были великолепными работниками, а также вежливыми и послушными людьми». Во многих местах немецких военнопленных «несчастными беднягами» не считали и грубо обращались с ними; доктор немедленно написал трогательное воззвание в их защиту, которое было опубликовано во всех центральных газетах. Излишне, наверное, упоминать, что он снабжал своих подопечных немцев едой и куревом.

Чем только не занимался Дойл, кроме стояния под ружьем и ежедневной работы над «Британской кампанией во Франции и Фландрии»: ездил по госпиталям и военным заводам и писал о них статьи, устраивал обеды и вечера для канадских офицеров, расквартированных в Англии, брал интервью у военачальников, учился разбирать и обслуживать пулемет, читал лекции, встречался с сотнями всевозможных людей – живых и мертвых (несмотря на занятость, он продолжал посещать спиритические сеансы). Дело ему было решительно до всего. Когда все были заняты исключительно войной и всё кругом увешано военно-патриотическими плакатами, Дойл уже пытался коренным образом решить проблему пьянства в английском народе: «Если на стенах наших судоверфей и заводов появятся хорошо сформированные воззвания и если рабочий, входя в любое служебное здание, бросит взгляд на плакат, напоминающий ему о его долге, это, безусловно, окажет воздействие. Когда он прочтет: „Твое пьянство – смерть для наших солдат“, или: „Они пожертвовали для тебя жизнью, неужели ты не бросишь пить ради них?“, или: „Трезвый рабочий сражается за Британию, рабочий-пьяница – за Германию“, эти слова не оставят его равнодушным». А можно и двух зайцев одним ударом попытаться убить – начать плакат с того, что пить нехорошо, а дальше написать: «Без этого ты будешь счастливее, здоровее и богаче. Записывайся добровольцем на фронт». На некоторых оборонных предприятиях рецепту доктора Дойла последовали. Неизвестно, правда, стал ли в результате этой меры средний британец меньше пить.

И все это время доктор не забывал регулярно «доставать» министра по делам Шотландии запросами касательно Оскара Слейтера, который сидел в тюрьме, и все это время повсюду искал людей, нуждающихся в заступничестве. В Англии, как в любом воюющем государстве, плохо обращались не только с военнопленными, но и со многими «не местными», жившими и работавшими там давным-давно и ни в чем дурном не замеченными. Шпиономания царила повсюду. Из гостиниц, ресторанов и столовых стали поголовно увольнять официантов-иностранцев. Дойла бесили такие вещи. Он и в защиту официантов написал целый ряд статей; на бог знает каком по счету военном митинге, где все ждали от него ура-патриотической речи, он опять принялся говорить о судьбе несчастных официантов, за что был обруган, освистан и обвинен в прогерманизме.

А между тем шпионская тема его самого интересовала: в конце 1915-го он написал единственный за первые годы войны беллетристический текст – рассказ «Защита узника» («The Prisoner's defence»), опубликованный в «Стрэнде» в феврале следующего года. Английского офицера судят за подлое убийство (выстрелом в спину) его любовницы, молодой красивой женщины, – и он на суде рассказывает свою историю. Героиня у Дойла получилась весьма нестандартная, настоящая амазонка, которая по ночам разъезжает одна на мотоцикле и может ударом ноги раскидать по комнате двух здоровых мужчин. Потом оказывается, что она – немецкая шпионка; оседлав мотоцикл, она мчится прочь в ночную тьму, и герою не остается ничего другого, как выстрелить ей вслед. Хороший, между прочим, рассказ получился. Доктор явно соскучился по беллетристике.

По прошествии полутора лет войны у некоторых из британских писателей отношение к ней

стало меняться. Честертон еще зимой 1915-го заболел нервным расстройством, слег и почти перестал писать. Уэллс, потрясенный успехами немцев, к пропаганде охладел и стал высказывать мрачные предположения о том, что война не сможет закончиться победой Антанты. Он ссылался при этом на работу военного теоретика Блиоха, который доказывал, что возросшая мощь огнестрельного оружия делает войны самоубийственными. Дойл книгу Блиоха (семитомное исследование, изобилующее профессиональной терминологией) тоже читал; он немедленно откликнулся на эти пророчества статьей в «Дейли кроникл». Он утверждал, что Блиох и Уэллс ошибаются: именно возросшая мощь современных орудий, а также опыт поражений будут способствовать победе союзников, которые просто еще не нашли нужной стратегии: «Я категорически отказываюсь принять эту мрачную и расслабляющую доктрину, согласно которой эта война может кончиться лишь бесславным истощением сил». Кто оказался прав? Можно сказать и так и этак: с одной стороны, Германию не столько разбили, сколько обескровили – за счет превосходства Антанты в материальных и финансовых ресурсах; с другой – хотя война страшно истощила силы обеих сторон, но победители в ней безусловно были, как и побежденные.

Уэллс ничего своему коллеге не ответил. Он начал писать антивоенный роман «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Разошлись также пути Дойла и Мореля: доктор потерял еще одного друга. Морель с первых дней войны высказывал пацифистские взгляды, стал активистом общественно-политического движения «Союз демократического контроля», призывал к немедленному прекращению военных действий, за что отсидел три месяца в тюрьме. Кинулся бы доктор Дойл на защиту Мореля, если бы тот получил не три месяца, а смертный приговор или, к примеру, двадцать лет? Как вам кажется?

В начале 1916 года на очередной конференции в Шантийи страны Антанты впервые приняли общий стратегический план. Было намечено провести наступления на Восточно-Европейском, Западно-Европейском и Итальянском театрах военных действий: первой должна была начать наступательные действия русская армия, затем англо-французские и итальянские войска. Все это было намечено на лето 1916-го. А Германия даром времени не теряла: 21 февраля началась знаменитая Верденская операция. Ожесточенные бои продолжались до сентября: погибло в общей сложности почти полтора миллиона человек. А в Уинделшеме в это время умерла от пневмонии Лили Лоудер-Симмонс. Тогда-то доктор Дойл и понял, что. но этот разговор уместнее оставить на потом. Слишком уж он важный – важнее даже, чем война.

В феврале Ассоциация английских журналистов устроила банкет в честь делегации русских литераторов. Среди них был Корней Чуковский. «Как раз в тот день, когда нам предстояло посетить какого-то немаловажного министра, – вспоминал он, – мне позвонили в мой номер, что в холле ждет меня сэр Артур Конан Дойл. Я спустился вниз и узнал, что автор Шерлока Холмса хочет побродить со всей компанией по Лондону и показать нам достопримечательности этого города. Но, кроме меня и Алексея Толстого, эта перспектива не увлекла никого. Все предпочли свидание с министром. Наружность Конан Дойла поразила меня тем, что в ней не было ничего поразительного. Это был плечистый мужчина огромного роста, с очень узкими глазками и обвислыми моржовыми усами, которые придавали ему добродушно-свирепый вид. Было в нем что-то захолустное, наивное, заурядное и очень уютное».

Далее захолустный Дойл и столичный Чуковский прогулялись по Бейкер-стрит, где «извозчики, чистильщики сапог, репортеры, уличные торговцы, мальчишки-газетчики, школьники то и дело узнавали его (Дойла. – *М. Ч.)* и приветствовали фамильярным кивком головы». Они сфотографировались вместе – снимок потом у Чуковского кто-то украл. По словам Корнея Ивановича, беседовали они с Дойлом исключительно о его книгах: Чуковский рассказал коллеге, как русские детишки любят Холмса, а Дойл пожаловался, как ему надоело, что все считают его автором Холмса; Чуковский похвалил Челленджера, чему Дойл был рад. «В то время он был в трауре. Незадолго до этого он получил извещение, что на войне убит его единственный сын. Это горе придавило его, но он всячески старался бодриться». Все это (кроме самого факта совместной прогулки по Лондону), разумеется, сплошная выдумка. Чуковский был на такие выдумки мастер.

В марте 1916-го Россия провела Нарочскую операцию, которая заставила германские войска временно ослабить атаки на Верден; в мае состоялся знаменитый Брусиловский прорыв; командование Центральных держав вынуждено было перебросить на русский фронт дивизии из Франции и Италии. Воспользовавшись этим, англо-французские войска 1 июля начали грандиозное наступление на реках Сомме и Шельде (север Франции и юг Бельгии). Во время боев на Сомме был ранен и попал в плен Вилли Лоудер-Симмонс, последний брат Лили.

Вилли написал домой письмо, которое немецкая цензура пропустила, потому что в нем просто описывалась ферма, на которой он с другими пленными работал; но Дойл вычитал из этого

письма ряд сведений о положении военнопленных в Германии, которые были не известны ранее: «Мне представлялось, что если человек проявил подобную изобретательность, то готов найти нечто подобное и в письме из дома». Доктор взял одну из своих книг (к сожалению, неизвестно, какую именно) и просидел несколько вечеров, накалывая булавкой буквы (он начал с третьей главы, так как предполагал, что цензор проверит начало книги и на том успокоится), пока не сообщил все военные новости. Книгу он отправил Вилли вместе с безобидным письмом, в котором, в частности, было сказано, что третья глава – самая интересная, а начало можно пропустить. Увы, ничего не понял не только цензор, но и Вилли; однако в конце концов среди пленных британцев нашелся умный человек по фамилии Кеппель, который шифр разгадал и в письме своему отцу попросил передать привет Конан Дойлу и попросить у него новых интересных книг. С этого момента доктор ежемесячно отправлял Вилли свои книги с зашифрованными бюллетенями, которые составлял «с таким оптимизмом, с каким позволяла истина, или, пожалуй, чуть-чуть оптимистичнее». (К сожалению, скрывать от Вилли смерть сестры долго не получилось.) Переписка велась больше двух лет – и ее так и не разоблачили.

Первые небольшие отрывки из «Британской кампании во Франции и Фландрии» (изрядно порезанные цензурой) начали печататься в «Стрэнде» с апреля 1916 года. А в мае Дойлу впервые удалось попасть на фронт. Этим он был обязан не своему правительству, а – итальянскому.

Италия на момент начала войны формально входила в состав Тройственного союза; в августе 1914-го она объявила о своем нейтралитете, но настороженное отношение у англичан осталось. Затем Антанте удалось (пообещав немецкие колонии) привлечь бывшего противника на свою сторону; летом 1915-го Италия объявила войну Австрии, год спустя – Германии. Итальянская армия начала военные действия против австрийцев на реках Тренто и Изонцо, пытаясь выйти к Триесту, но все ее наступления окончились провалом. В мае 1916-го австро-венгерские войска в районе Трентино нанесли ответный удар; итальянская армия начала отступать на юг. Италия запросила от своих союзников (прежде всего от России) срочной помощи. В Англии – да и не только в Англии – подавляющее большинство людей к итальянцам относились плохо: и ненадежный союзник, и бесполезный, и вообще итальянцы очень плохие солдаты, раз не могут справиться с австрийцами, которые тоже плохие солдаты и стрелять-то толком не умеют.

Нужно было как-то менять это отношение. Итальянское министерство иностранных дел обратилось к английскому с предложением направить на фронт независимого наблюдателя – журналиста, который должен будет увидеть своими глазами итальянскую армию и написать о своих впечатлениях (положительных, разумеется). Деликатную миссию поручили Конан Дойлу.

«У меня были сомнения, потому что там, где солдаты делают свое дело, неуместны простые зрители и увеселительные прогулки. Я чувствовал, какую досаду они должны были вызывать». Но, разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы упустить такую возможность. Дойл тут же вытребовал у военного министерства разрешение посетить заодно и британский фронт – чтобы было с чем сравнивать; когда согласие было дано, он попросил позволить ему побывать еще на французском фронте и вновь получил согласие; лишь когда он заявил, что ему необходимо увидеть также бельгийский фронт, ему отказали. Поездка длилась чуть больше трех недель; свои впечатления о ней Дойл обобщил в большом очерке под названием «На трех фронтах» («A Visit to Three Fronts»). Дома в тот момент было не все ладно – шестилетний Адриан заболел воспалением легких, болезнь протекала тяжело. Совсем неладно было и в Ирландии, так сильно всегда его волновавшей: только что было подавлено Пасхальное восстание (об аресте Кейзмента Дойл еще не знал). Но на передовой, как нигде, мужчина всегда мог отвлечься от проблем.

Началась поездка с британской линии обороны. Там царило мрачное равновесие. Проволочные заграждения немцев, поливавших пулеметным огнем всякого, кто пытался сделать шаг, казались непреодолимыми – но и враг не мог прорвать британскую оборону. Доктора заставили снять шляпу и надеть каску – он все время ратовал за каски, но самого его она раздражала, и иначе как «ночным горшком» он свой новый головной убор не называл. Боев увидеть не удалось – было затишье, изредка нарушаемое орудийными перестрелками. Зато Дойл встретился с Кингсли и Иннесом (уже полковником); оба были здоровы и жизнерадостны. Иннес отправил Джин, беспокоившейся за мужа, краткий отчет об этой встрече. «Артур все время очень занят, но мне думается, что ему здесь интересно, и он сказал, что спал хорошо». У Дойла действительно не было ни минуты свободной – то встречи за завтраком с главнокомандующим Хейгом и другими представителями командования, где он старался почерпнуть как можно больше информации для своей книги, то интервью с солдатами, то автомобильные вылазки на передовую.

«Всюду и на каждом лице мы видим одно и то же выражение веселой храбрости. Пессимистов здесь не найдешь. Нет никакой глупой бравады, никакой недооценки сильного противника, но есть быстрое и уверенное выполнение каждым своих обязанностей, что не может не вселять в наблюдателя радость. Эти храбрые парни защищают Великобританию сейчас – и мы обязаны проследить, чтобы Великобритания защитила их в будущем. Они – фундамент нации. Социализм никогда не привлекал меня, но я стал бы социалистом завтра же, если бы это помогло улучшить в мирное время жизнь этих людей, отдавших стране свое здоровье: сделать для них льготное налогообложение, организовать лечение за государственный счет».

Доктор старался описывать как можно больше живых сценок, которые он наблюдал, – патетических, поэтических, печальных, которые должны были глубоко задеть сердце читателя. После очередного завтрака в штабе корпуса состоялось награждение отличившихся – британцев и французов. «Один француз, совсем мальчик, стоял, опираясь на пару костылей; когда маленькая девочка подбежала, чтобы вручить ему букет цветов, он, пытаясь поцеловать ее, стал крениться и едва не упал на нее – какая жалкая и трогательная сцена!» Интересно, откуда там взялась маленькая девочка – или Дойл придумал ее?

Он побывал на военном аэродроме; летчики говорили ему, что между авиаторами обеих воюющих сторон присутствуют элементы джентльменства: если одной стороне становится известно об участи вражеского летчика (сбит, погиб, взят в плен) – то, пролетая над аэродромом противника, с самолета сбрасывают записку, где об этом сообщается. Такая деталь не могла не тронуть сердце доктора Дойла, и он в своем очерке написал, что, если бы все воюющие немцы были подобны этим летчикам, мир, без сомнения, был бы скоро достигнут. Но бомбардировщиков он назвал убийцами и тут же помянул «Лузитанию» – вопреки той истине, которую он понял, сочиняя историю о Джоне Сириусе, сам он все-таки мечтал о том, чтобы война была спортом.

Во время одной из поездок доктор увидел Ипр – то, что от него осталось. Немецкие позиции были совсем рядом. Высоту, на которой находился доктор и сопровождающие, обстреливали – ему пришлось лечь и ползком продираться через колючие кусты: «На мгновение мы оказались зрителями в первом ряду партера, наблюдающими за ужасной всемирной драмой, приближающейся к своей грандиозной развязке». В «Отравленном поясе» такое сравнение уже было – Челленджер и его товарищи тоже готовились наблюдать за концом света «из первых рядов кресел». Но в действительности это ощущение не вызвало у Дойла восторга, совсем наоборот: «Чувствуешь ужасный стыд, находясь здесь в безопасности, как бесполезный зритель, когда там внизу храбрецы должны выстоять перед стальным ливнем, обрушивающимся на них».

Долго задерживаться у англичан Дойл не мог – все-таки главной целью его поездки были итальянцы. Он обязан был не просто расхвалить их – он должен был сделать так, чтобы английские читатели газет их полюбили; он должен был описать итальянский характер так, чтобы «простые англичане» увидели в нем что-то близкое и родное. Как беллетрист с огромным опытом он нашел отправную точку: спорт. Он напомнил читателям свой собственный рассказ о несчастном марафонце Дорандо. Итальянский солдат – маленький, скромный, стойкий, упрямый, слабый наружно, но отчаянный, обладающий сильнейшим внутренним огнем. Верно или неверно Дойл описал итальянского солдата – не имеет значения. (У Хемингуэя итальянец Ринальди говорит американцу: «Вы настоящий итальянец. Весь – огонь и дым, а внутри ничего нет».) Но Дойл написал именно то, что должно было тронуть английского читателя. Если бы ему дали задание вызвать симпатию к болгарам или китайцам – не сомневаемся, что он бы нашел нужные слова, и совершенно искренне.

Эмоциональная симпатия к союзнику вызвана – и лишь после этого Дойл стал приводить объяснения причин неудач итальянской армии в Трентино: «Мы обязаны помнить, как много они сделали для нашей общей цели, и быть благодарны им за это. Они целый год сдерживали сорок австрийских дивизий и тем самым частично освободили руки России; теперь, если русские продолжат наступление и австрийцы будут вынуждены отвести часть своих дивизий на восток, – итальянцы совершат бросок на Триест. Если кто-либо и в силах прорвать вражеский фронт в Альпах – маленький Дорандо сделает это». (Россия, кстати сказать, не подвела: командование Центральных держав вынуждено было перебросить на русский фронт шесть австрийских дивизий из Италии, и отчасти благодаря этому итальянская армия была спасена от разгрома.) Дойл хорошо помнил, что австрийцев в Англии принято считать не слишком опасными противниками, и привел эпизод, опровергающий это расхожее мнение: он сам лишь чудом избежал гибели, когда австрийский снаряд лег в ту самую точку, где за секунду до этого находился его автомобиль; итальянские сопровождающие принялись извиняться перед доктором за то, что подвергли его жизнь опасности, – а его терзал стыд, ведь это они могли погибнуть из-за его «прихоти».

Что же касается успехов итальянских войск – их, к сожалению, не последовало: в 1917-м они вновь были на волосок от полного разгрома и лишь с помощью английских и французских дивизий удалось остановить наступление австрийцев на реке Пьяве. С этим военным эпизодом у Дойла связано одно воспоминание, показавшееся ему странным: 4 апреля 1917 года «я проснулся с таким чувством, будто во время сна мне было передано какое-то важное сообщение, из которого мне запомнилось только одно слово, звучавшее у меня в голове по пробуждении: „Пьяве“. <…> Поскольку оно звучало как географическое название, я оделся и тотчас пошел в кабинет посмотреть в указатель названий в своем атласе. Слово „Пьяве“ там действительно значилось, и я обнаружил, что это название реки в Италии, где-то в сорока милях от тогдашней линии фронта на позициях союзников, продолжавших победоносное наступление». Доктор не поленился и записал, что у реки Пьяве должно произойти некое важное событие; более того, он попросил секретаря подписаться под этими строчками, а жену – засвидетельствовать их, поставив дату. Спустя несколько месяцев итальянская армия в очередной раз отступала и наконец остановилась именно на берегах Пьяве. Дойл придавал своему сну очень большое значение и считал его вещим. Почему-то ему не пришло в голову, что он мог слышать название этой реки, когда целую неделю общался с итальянцами в 1916-м.

Из Альп доктор отправился в Париж, чтобы встретиться там с редактором «Дейли кроникл» Дональдом. Там он с горечью узнал о гибели фельдмаршала Китченера – крейсер, на котором тот направлялся в Россию для переговоров, был подорван немецкой миной. На следующий день Дональд и Дойл выехали в расположение французских войск – в Арденнский лес близ Вердена.

«Французские солдаты велики. Они велики. Нет другого слова, чтобы выразить это. Это – не просто храбрость. Все расы показали храбрость в этой войне. Но это – их основательность, их терпение, их благородство. Я не видел ничего более прекрасного, чем поведение их офицеров. Они горды без высокомерия, строги без жестокости, серьезны без мрачности. <…> Под тяжестью ударов национальные характеры меняются: если британские солдаты стали добродушнее, беспечнее и отважнее, то у французских развились то торжественное спокойствие и строгое терпение, которые, казалось, были присущи одним нам». Дойла удивляло, что на французских позициях – в отличие от британских – он ни разу не услышал смеха, музыки и песен. В «британской» части его очерка то и дело упоминаются «веселые лица» и «веселое мужество». В мужестве французов веселья было мало – не потому ли, что они, в отличие от британцев, дрались на своей земле?

Доктора также поразили во французах их элегантность и кошачья нетерпимость к сырости и грязи: у всех офицеров выглаженные брюки, у солдат начищенные до блеска пояса. Об обмундировании своих соотечественников он ничего не писал, но вывод напрашивается не очень-то лестный для них. «Француз – денди европейской войны, а по словам Веллингтона, денди были самыми лучшими офицерами». Вообще французские военные произвели на Дойла (который всегда нежно любил их страну и язык) совершенно потрясающее, романтическое впечатление: абсолютно о каждом французе, будь то генерал, офицер или рядовой, мы читаем, что это был воплощенный Атос, Арамис, д'Артаньян или Сирано де Бержерак; и по своему эмоциональному воздействию «французская» часть его статьи получилась, пожалуй, самой сильной, даже если бы он и не говорил впрямую (а он говорил, и не раз), что французская нация в Европе лучше всех и для англичан было бы честью сравняться с французами. Был, впрочем, один француз, который Дойлу не понравился: социалист Клемансо. По мнению доктора, Клемансо и ему подобные являются полезным и здоровым раздражителем в дни мира, но они – общественная опасность во время войны.

Французы в долгу не остались, доктора принимали с трогательной торжественностью; к обеду в его честь была подготовлена карта блюд, украшенная виньеткой в виде лупы, скрипки и револьвера, а один из тостов был посвящен Холмсу. Генерал Гумберт поинтересовался у сидящих за столом, кто такой этот Шерлок Холмс – выдающийся английский военный, что ли? – и Дойл ответил (по-французски, разумеется): «О нет, мой генерал, он для этого чересчур стар». Наверняка это выдумка. «На трех фронтах» – не документальная статья, это текст очень беллетризованный, яркий и красочный, и читается он как хороший роман, где почти сразу за изящным анекдотом следует абзац, опаляющий дыханием подлинной войны.

Особой надобности защищать французов от английского читателя не было – им, в общем, и так все сочувствовали, – но Дойл нашел одну несправедливость: на его взгляд, кинооператоры и кинорежиссеры, показывая французские войска, чересчур много внимания уделяли колониальному корпусу. «Складывается впечатление, будто негры и арабы спасают Францию. Это абсолютно неверно. Ее собственные храбрые сыновья делают это. Лично я не видел ни одного военнослужащего из французских колоний. „Колониальные“ – неплохие ребята, но, подобно нашим бравым шотландским горцам, они любят позировать, а когда доходит до настоящего дела, вся тяжесть ложится на коренных французов». Звучит ужасно

неполиткорректно и, наверное, не понравилось некоторым политикам, которые прочли статью доктора Дойла, а также бравым шотландским горцам.

У французов Дойл впервые увидел вещь, которая ему очень понравилась, – нашивки на рукаве за ранение; он не только написал об этом в своем очерке, но и при личной встрече с генералом Уильямом Робертсоном (которому посвящен первый том «Британской кампании во Франции и Фландрии») обратил на это его внимание и предложил обычай перенять; очень скоро такие нашивки появились и в британской армии (со времен Второй мировой это – всеобщая практика). А насчет музыки во французской армии доктор допустил неточность: была один раз музыка и смех был – в честь Брусиловского прорыва французский военный оркестр играл «Марсельезу» и «Боже, царя храни», а все кругом громко смеялись и пели, «чтобы досадить бошам» – пока те, достаточно выведенные из себя, не отозвались ружейной стрельбой.

Очерк «На трех фронтах» публиковался в июле – августе и был принят читателями на ура (в отличие от отчета Уэллса, который в конце лета совершил точно такую же поездку на три фронта и увидел там не героизм, а скуку и грязь). Другая судьба ожидала «Британскую кампанию во Франции и Фландрии», которая начала отрывками печататься в «Стрэнде» еще в апреле, до отъезда автора на фронт (и прекратилась в 1918 году, после чего была издана у «Элдера и Смита» за счет автора). Этот гигантский труд не был оценен ни критикой, ни специалистами, ни читателями – ни во время войны, ни после. Дойл не мог понять почему: «В настоящий момент литература о войне не в моде, и моя история войны, отразившая всю страсть и страдание того тяжкого времени, так и не получила должного признания. Я бы счел это самым большим и незаслуженным разочарованием в моей жизни, если бы не знал, что это еще не конец и что она сможет послужить зеркалом тех великих времен и людям, которые придут потом». Современные исследователи считают, что неуспех книги был следствием, во-первых, ее чрезмерно большого объема, а во-вторых – громадного количества ошибок, допущенных автором из-за своей доверчивости и спешки. Толстые книги, подробно описывающие ход войны, интересно читать прежде всего специалистам – для специалистов «Британская кампания», изобилующая неточностями, в качестве источника не годилась. Вероятно, была еще и третья причина: как и в «Великой бурской войне», как и в «Белом отряде», Дойл привносил в документалистику очень много беллетристики – и наоборот. Он всегда стремился следовать примеру Маколея. Но Маколей был уже не в моде.

Вернувшись домой, Дойл узнал об участи Кейзмента – и немедленно начал свою очередную безнадежную битву. Маленький Адриан все еще болел, но был уже вне опасности; доктор Дойл проводил с ним вечера, рассказывая о людях, которых видел. А 1 июля 1916 года на реке Сомме во Франции началась одна из самых кровопролитных битв Первой мировой, вошедшая в историю не только как самое масштабное наступление войск Антанты за все время войны, но и как сражение, в котором впервые были использованы танки.

Черчилль давно мечтал о танковых атаках: их следовало использовать для прорыва вражеской обороны одним быстрым броском при поддержке пехоты; неуязвимые для пулеметов танки должны были легко сминать проволочные заграждения. Бросок должен был быть стремительным, без артиллерийской подготовки, чтобы сработал фактор неожиданности. (До сих пор никакие внезапные наступления были невозможны – не со штыками же лезть на заградительные сооружения! – и всё начинала артиллерия, громогласно предупреждая противника: сейчас мы будем атаковать...) Первый опытный образец танка был построен англичанами годом раньше; разработка его велась в условиях секретности под видом строительства «водяных баков новой конструкции» – отсюда и название «танк», «бак» по-английски. Первые танки были неповоротливы и неуклюжи; тем не менее Хейг оценил их как перспективный вид вооружения. В феврале 1916-го началось серийное производство. К началу битвы при Сомме у англичан было 49 полностью оснащенных танков МК I; 15 сентября 32 из них приняли участие в сражении (остальные сломались еще до начала боя). Сразу же поломались еще девять, а пять увязли в болоте. И все же Черчилль мог ликовать, любуясь на свое детище: оставшиеся 18 танков смогли продвинуться вглубь германской обороны на 5 километров, при этом потери наступающих были в 20 раз меньше обычных, а германская пехота на этом участке была совершенно деморализована: как боевые слоны прежних времен, танки наводили ужас.

Союзники продолжали наступление до середины ноября; им удалось продавить германскую оборону лишь на 10 километров вглубь и на ограниченном участке; фронт не был прорван – и все же это было началом разгрома. 18 ноября Хейг отозвал большую часть британских экспедиционных войск с позиций на Сомме. Этот день стал формальным окончанием легендарной битвы. Потери были ужасны: 650 тысяч убитых, раненых и пропавших без вести немцев, 600 тысяч – со стороны войск Антанты. Но цена этих потерь – для военачальников – была разной: британские дивизии состояли преимущественно из малоопытных добровольцев, а

в германских дивизиях на Сомме воевал кадровый состав; для Германии эти потери были столь значительными, что она после Соммы и Вердена уже не смогла восстановить прежнюю боеспособность.

Дойл, который не считал, что потери англичан «не так ценны», не мог простодушно ликовать по поводу танковых успехов; в отчаянии он снова развернул в газетах кампанию за применение нательной брони – и снова безрезультатно. Среди раненых на Сомме был Кингсли. Он все-таки получил офицерское звание; к моменту своего ранения в июле он был уже в чине капитана. Его ранили двумя пулями в шею. Ранение казалось не особенно опасным. В конце лета после госпиталя его отправили домой на поправку; он говорил, что чувствует себя хорошо. Осенью его должны были снова направить на передовую. Его присутствие было очень важно для доктора Дойла, который был страшно подавлен ирландскими событиями и позорной казнью Кейзмента. Вокруг Кингсли сосредоточилась вся жизнь дома. Адриан и Деннис слушали его разинув рот, малышка Джин висла на нем, Джин-старшая ухаживала за пасынком очень ласково. Его бабушка решила наконец уехать из Йоркшира (каковы бы ни были ее отношения с Чарлзом Брайаном, они закончились: тот женился) и поселиться поближе к своим. В семье сына, правда, эта свободолюбивая женщина жить не захотела; для нее купили дом по соседству. Теперь почти все оставшиеся в живых члены семьи были вместе.

К концу года стратегическая инициатива перешла в руки Антанты, Германия была вынуждена обороняться на всех фронтах. А в Англии сменилось правительство: 5 декабря Асквит ушел в отставку. Его место занял Ллойд Джордж, старый идейный противник Дойла, бывший с мая 1915-го главой вновь созданного министерства вооружений; в 1916-м он провел закон о всеобщей воинской повинности, а в июне, после гибели Китченера, был назначен военным министром. После отставки Асквита он стал премьер-министром коалиционного правительства (хотя многие либералы отказались поддержать кабинет и подали в отставку вместе с бывшим премьером). Обескровленные немцы к тому времени уже отошли на линию Гинденбурга; они отказались от наступательных действий на суше и вторично объявили Великобритании «неограниченную подводную войну»; в течение февраля – апреля германские субмарины уничтожили свыше тысячи торговых судов союзных и нейтральных стран.

Уже погиб сын Редьярда Киплинга. Погиб Реймонд, сын Оливера Лоджа – того самого ученого, с которым Дойл вместе «сидел в клетке», ожидая представления к рыцарству. В семье Дойлов новых потерь пока что не было – последняя передышка. Кингсли Дойл на фронт не вернулся: комиссия обнаружила, что его состояние не улучшается. Был ли доктор втайне рад этому – неизвестно. А у нас между тем произошла революция.

«– Скоро подует восточный ветер, Уотсон.

– Не думаю, Холмс. Очень тепло.

– Эх, старина Уотсон! В этом переменчивом мире вы один не меняетесь. Да, скоро поднимется такой восточный ветер, какой никогда еще не дул на Англию. Холодный, колючий ветер, Уотсон, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания».

До чего же соблазнительно отыскать в текстах писателя какой-нибудь смысл, которого он не вкладывал! Призрак коммунизма прилетел, сопровождаемый ледяным дуновением, как подобает призраку, – и доктор Дойл тотчас уловил его присутствие. Уж он-то знал о призраках всё. Увы, когда Дойл писал свой знаменитый рассказ, он имел в виду совсем другой восток – для него вся Европа была востоком. И тем не менее о русской революции он думал и высказывался.

Конан Дойл и Ллойд Джордж были знакомы лично уже много лет; в апреле 1917-го новоиспеченный премьер пригласил доктора на завтрак к себе на Даунинг-стрит. Больше никого не было. Дойл опять говорил о защите судов от торпед и о броне для солдат. Он очень волновался. Его собеседник уже видел, что война кончается; выживут ли несколько десятков тысяч солдат – теперь не так важно. Премьера больше интересовало мнение Дойла о русских событиях. Оба собеседника сошлись на том, что все произошедшее весьма напоминает им революцию во Франции. Ллойд Джордж сказал, что в таком случае следует ждать казни монарха. Дойл ответил, что за всякой революцией приходит свой Наполеон. Будут и Девятое термидора, и Восемнадцатое брюмера. Все будет как от веку заведено.

В марте германское командование, узнав о готовящемся наступлении на реке Эна, отвело свои войска на так называемую линию Зигфрида, и в апреле союзники попытались прорвать фронт, наступая в районе Арраса и Реймса. Но успеха не случилось: с «нашей» стороны было уничтожено около 200 тысяч человек, со стороны немцев – 280 тысяч. Потом был еще ряд локальных наступлений, которые к значительному успеху тоже не привели. Зато 6 апреля

США наконец-то объявили Германии войну: доктор Дойл, с самого начала обеспокоенный и огорченный поведением своих любимых американцев, был отчасти утешен. Но в Европе, казалось, войне не будет конца: прав Уэллс, прав Блиох, а Конан Дойл – безнадежный оптимист.

Гораздо лучше шли дела у англичан в Восточной Африке, Сирии и Месопотамии – с этой самой Месопотамией связан один интересный эпизод. Когда в Париже формировался отряд из русских офицеров, которые хотели вступить в британскую армию и ехать на месопотамский фронт, Гумилев (откомандированный во Францию офицером для поручений при военном комиссаре Временного правительства) очень хотел в этот отряд вступить. Его поездка в Месопотамию сорвалась из-за бюрократической неувязки с деньгами. Так и не попал Николай Степанович в британскую армию. А ведь могли как-нибудь бы потом с доктором Дойлом в мирном Лондоне встретиться за обедом, обернись все иначе; мог бы доктор и рассказ написать о русском путешественнике и поэте, сражавшемся вместе с его соотечественниками. Посидели бы, Африку повспоминали... Эх...

Гумилев приезжал в Лондон летом 1917-го, встречался с Йетсом и Честертоном, чью поэзию высоко ценил. (Честертон в итоге отозвался о приезжем русском как об утописте и безумце, которому явно недостает здравого смысла.) Автор детских книжек про Шерлока Холмса, захолустная, непоэтическая натура, Гумилева не интересовал. Литературоведы обожают слово «невстреча»; нам почему-то кажется, что лучше бы все было наоборот: эстету Чуковскому повидаться с Честертоном, а воину Гумилеву – с Дойлом: ей-богу, лучше бы поняли друг друга.

Во время войны Дойл почти не писал беллетристики; в 1917 году он написал только один художественный текст, который цитировался выше, – рассказ «Его прощальный поклон». Первоначально он был опубликован в «Стрэнде» под другим заголовком – «Военная служба Шерлока Холмса».

Один-единственный коротенький рассказ – зато какой! В нем Дойл в сжатом, почти афористическом виде высказал все, что он думал об Англии и английском национальном характере, о Германии и о войне.

Фон Борк и фон Херлинг, в начале этой главы стоящие над обрывом в предвкушении большой игры, уверены, что с Англией удастся легко сладить. «Как же она сможет войти в игру, особенно теперь, когда мы заварили такую адскую кашу из гражданской войны в Ирландии, фурий, разбивающих окна, и еще бог знает чего, чтобы ее мысли были полностью заняты внутренними делами?» (Оказывается, даже суфражистки – и те подкуплены Германией; любопытно, неужели доктор Дойл вправду так думал?) Фон Борк заявляет, что англичан «не так уж трудно провести», а фон Херлинг отвечает, что не все так просто. «В них есть черта, за которую не переступишь, и это надо помнить. Именно внешнее простодушие и является ловушкой для иностранца». И он же попадается в ловушку, о которой предупредил, когда с усмешкой характеризует Марту, старую служанку, называя ее «олицетворением Британии – погружена в себя и благодушно дремлет». Старушка и в самом деле являет собой олицетворение Британии – ведь это, по сути, все та же миссис Хадсон, флегматичная, невозмутимая и отважная, хрупкая и немощная, но готовая на любой подвиг для своей страны, настоящая женщина – не чета фуриям, бьющим стекла. Никогда прежде Дойл не возносил старую англичанку так высоко, и мы рады, что ей наконец-то отдано должное.

Не только немцы вездесущи; Холмс тоже поучаствовал во всем, что творилось в последние годы. За американца он выдает себя перед фон Борком неспроста: он, оказывается, был в Америке и входил в тайное ирландское общество (может, вся «Долина ужаса» – обманка и на самом деле никакого Эдвардса не было, а Холмс придумал эту фигуру, чтобы скрыть свое собственное участие в деле «Молли Магвайрс»?); он «причинил немало беспокойства констеблям в Скибберине» (это опять об ирландских делах, но уже в самой Британии) – и все же он предпочел бы спокойно, как подобает пенсионеру, разводить пчел, если бы Герберт Асквит лично не упросил его взяться за работу. Это любопытная деталь: Дойл мог бы написать, что Холмс сам вызвался послужить своей стране, вроде бы так было красивее, ведь сам-то он вызывался, не дожидаясь просьб. Но это противоречило бы характеру Холмса, которого мы знаем, а доктор Дойл в своих рассказах о нем старался не допускать фальшивых нот.

«Его прощальный поклон», несмотря на заглавие, – далеко не последняя история о Холмсе, рассказанная Конан Дойлом. Да, вероятно, Дойл хотел сделать ее заключительной, но трудно сказать, верил ли он в свое намерение, помня, сколько раз уже объявлял очередной холмсовский текст «лебединой песней». Будет еще целый большой сборник. Но с хронологической точки зрения «Его прощальный поклон» – действительно прощальный. О жизни Холмса и Уотсона после 1914 года нам ничего, к сожалению, неизвестно. Но эта

милосердная неизвестность дает миру основания предполагать, что оба они по-прежнему живы, здоровы и все у них в порядке.

Глава третья

DE PROFUNDIS

За год с лишним до публикации «Стрэндом» «Его прощального поклона» в журнале «Лайт» (номер от 21 октября 1916 года) была опубликована статья Конан Дойла, в которой он говорил о том, что твердо и бесповоротно уверовал в жизнь после смерти и возможность общения с другим миром: «Или абсолютное безумие, или переворот в религиозной мысли – переворот, дающий нам бесконечное утешение, когда те, кто дорог нам, уходят за завесу мрака». Доктор, как мы знаем, склонялся к мысли о существовании иного мира давным-давно; его убеждения развивались постепенно в одном направлении, обрастая новыми доказательствами (не будем брать это слово в кавычки) и становясь год от года все крепче и крепче. И все-таки почему именно в 1916-м он перестал колебаться и сразу решил вслух объявить свое кредо? В кратких биографических очерках, где всё спрямляется для простоты, обычно пишут, что причиной послужили смерти близких ему людей – сына и брата. Но тогда они оба еще были живы и даже здоровы. Что же случилось?

Лили Лоудер-Симмонс – в отличие от Джин Дойл – полностью разделяла интерес доктора Дойла к потустороннему. Она и доктор проводили немало времени вдвоем – за телепатическими и спиритическими опытами. Знаем мы эти опыты, просто незамужняя девица поселилась в доме подруги и отбивает у нее мужа – так можно было бы рассудить, если бы не то обстоятельство, что Лили была влюблена в Малькольма Леки, брата Джин. Лили пыталась быть медиумом; большая часть опытов была посвящена так называемому автоматическому письму, когда рукой медиума водит некая потусторонняя воля. Этими опытами увлекался погибший на «Титанике» Стид. Конан Дойл в «Новом откровении» впоследствии признавал, что автоматическое письмо – вещь, очень подверженная обману и самообману и потому из всех форм медиумичества нуждается в наиболее жестком контроле. В отношении Лили он так до конца и не был уверен, высказывается ли через нее какое-то иное существо или же девушка впадает в самообман (мысли об обмане сознательном он не допускал). Он сам признавал, что многие из сообщений, написанных рукой Лили, были абсолютно бредовыми; но иногда они, казалось, соответствовали действительности. Он приводит пример: когда погибла «Лузитания» и утренние газеты ошибочно сообщали, будто жертв нет, Лили тотчас написала: «Это ужасно, ужасно и сильно повлияет на исход всей войны». Дойл считал, что Лили предугадала истину – нападение на лайнер повлекло за собой вступление США в войну, что, естественно, повлияло на ее исход. (Правда, Штаты вступили в войну очень нескоро после гибели «Лузитании»; правда, любой человек, услышав о катастрофе, сказал бы, что «это ужасно».)

Малькольм Леки зимой 1916-го был уже мертв, но семья не знала об этом. Он числился пропавшим без вести. Зато было известно, что погибли три брата Лили. И вот эти братья осенью 1915-го начали посылать ей сообщения. В них рассказывались различные военные подробности, которых Лили, по мнению доктора, знать никак не могла; в то же время он признает, что они изобиловали ошибками: «Это походило на то, как если бы пытаться услышать верную информацию по испорченному телефону». Нетрудно представить, в каком состоянии находилась девушка и насколько у нее были расшатаны нервы; неудивительно, что она периодически получала послания от своих погибших братьев; удивительно скорее то, что доктор Дойл не учитывал ее психологического состояния – и физиологического тоже: к тому времени она уже была тяжело больна.

А потом пришла весточка от самого Малькольма. Тут биографы расходятся: большинство из них настаивают, что медиумом на том сеансе была все та же Лили, но некоторые полагают, что это произошло уже после ее смерти, с посторонним медиумом. Сам Дойл ясности не внес; он просто замечал неоднократно, что именно этот «разговор» стал для него одним из наиболее весомых доказательств реальности потустороннего мира. Дело в том, что Малькольм, отправляясь военврачом на фронт, подарил своему деверю гинею «в качестве платы за хороший совет в выборе профессии», которую тот носил на цепочке часов; и вот теперь медиум, который, по словам Дой-ла, «не мог ничего знать об обстоятельствах, при которых монетка была подарена», упомянул об этом сувенире. При всей наивности доктора трудно представить, будто он не допускал мысли об осведомленности Лили в том, что касалось эпизода с монеткой. Так что, вероятно, медиум был уже чужой – потому-то доктор так и поразился. Хотя, с другой стороны, все возможно. Доверчивость его подчас не знала границ.

Но отнюдь не только записи, сделанные Лили, и беседы с Малькольмом Леки окончательно убедили Дойла в существовании иного мира. Вполне возможно, что главной причиной стала изданная в 1916 году работа другого давнего приверженца спиритизма – сэра Оливера Лоджа. Его сын Рэймонд был военным инженером; в 1915-м он погиб на фронте. Отец написал книгу

под названием «Рэймонд, жизнь и смерть», в которой, помимо теоретического материала, касающегося проблем спиритизма, содержатся послания, которые Рэймонд – через посредство живого медиума миссис Леонард и умершей девушки по имени Теда – отправлял своим убитым горем родителям. Книга странная, но очень трогательная; это прежде всего книга о бесконечной, нежной любви – родительской и сыновней. «Не так много, на мой взгляд, существует трогательных в своем простом юношеском красноречии страниц, – писал Конан Дойл, – как те, на которых Рэймонд описывает чувства погибших на войне юношей, желающих послать весть родным и встречающих постоянной помехой этому стену невежества и предрассудка в умах последних. "Вам мучительно думать о том, что сыновья ваши умерли, и все же множество людей думает именно так. Мне еще более мучительно слышать, как мальчики говорят мне, что никто больше не хочет с ними разговаривать. Это ранит меня очень больно».

С Оливером Лоджем тоже «никто не хотел разговаривать»; в лучшем случае его жалели, в худшем – издевались над ним. В его книге Рэймонд приводит громадное множество подробностей, рисующих картину загробной жизни во всех деталях; многие из этих простодушных подробностей как критики, так и обычные читатели сочли просто дурацкими – например, когда Рэймонд рассказывает о «тамошних» ученых-химиках, которые, подобно своим здешним коллегам, могут синтезировать различные вещества: спирт и табак, в частности, чтобы те духи, которые не могут обойтись без этих вредных вещей, не страдали. Подобные фрагменты из книги вызывали у публики смех. Доктор Дойл этого смеха – смеха над пожилой четой, чья любовь оказалась не способна смириться со смертью, смеха над заслуженным, серьезным ученым – перенести просто не мог. Он нигде не говорит этого впрямую, но, зная его, представляется несомненным, что это было ему так же больно, как если бы чужие люди посмеялись над его чувством к Кингсли. «Мальчики говорят мне, что никто больше не хочет с ними разговаривать!..»

Книгу Лоджа всегда называют одним из теоретических источников спиритической религии Конан Дойла – как философию Гегеля для марксизма. Но нам кажется, что это был в первую очередь не теоретический источник, а эмоциональный; и к ряду тех униженных и оскорбленных, за которых сэр Артур кидался заступаться, следует отнести и сэра Оливера. Дойл выступил в «Лайт» потому, что хотел встать на защиту Лоджа и доказать ему, что он не одинок, – и то, что на той же самой неделе он опубликовал в «Стрэнде» статью «Прав ли Оливер Лодж? Да!», а в «Обсервере» – самую сочувственную и хвалебную рецензию на книгу Лоджа; то, что он практически в каждой своей спиритуалистической работе вспоминал Рэймонда и его друзей, с которыми «никто не хочет разговаривать», и с неугасающей свирепостью ругал тех, кто не понимал его отца, ругал и тогда, когда книгу Лоджа давно забыли, наверное, подтверждает наше предположение.

«Я спрашиваю: „Но как же ты пришел? Ты же умер!“

– Да, умер, очень надо было – отпустили.

– А что там, где ты? – спрашиваю.

– Ни-че-го.

– Но из ничего нельзя прийти.

– Узнаешь потом. Ты никогда для меня не имела времени, я тебе был не нужен.

– Как, я же тебя так люблю».

Эта цитата – не из книги Лоджа. Книга эта русская, современная, она называется «Магия мозга и лабиринты жизни», ее автор – Н. П. Бехтерева, внучка «того самого» Бехтерева, знаменитый нейрофизиолог, академик РАН, много лет возглавлявшая Институт мозга РАМН. В этой книге Наталия Бехтерева рассказала о том, как после смерти своего мужа неоднократно разговаривала с ним – находясь, по ее предположению, в «измененном состоянии сознания». Любители мистики и эзотерики растащили книгу на цитаты. Серьезные люди над ней посмеиваются: «Была ученым, стала мистиком, активно пропагандирующим ненаучный подход». Жаль, что доктор Дойл этой книги не читал: не приходится сомневаться, что он бы первым кинулся на защиту Наталии Павловны.

В октябре 1917-го Дойл выступал на заседании Лондонского спиритуалистического общества, где председательствовал Лодж, и заявил, что считает себя обязанным нести миру новый свет. После этого он начал выступать в кружках спиритуалистов постоянно. «Когда мир бился в агонии, когда всякий день мы слышали о том, что смерть уносит цвет нашей нации, заставая молодежь нашу на заре многообещающей юности, когда мы видели кругом себя жен и

матерей, живущих с пониманием того, что их любимых супругов и чад более нет в живых, мне вдруг сразу стало ясно, что тема, с которой я так долго заигрывал, была не только изучением некоей силы, находящейся по ту сторону правил науки, но что она – нечто действительно невероятное, какой-то разлом в стене, разделяющей два наших мира, непосредственное, неопровержимое послание к нам из мира загробного, призыв надежды и водительство человеческой расе в годину самого глубокого ее потрясения».

В период написания статьи в «Лайт» и после него доктор Дойл вовсе не «сделался не от мира сего», не «тронулся умом», не превратился в сумасшедшего фанатика; все повседневные проблемы его занимали абсолютно в такой же степени, как и раньше. Он только стал участвовать в конференциях спиритуалистов чаще обычного – впрочем, он и раньше старался их не пропускать – и на каждой из них выступал с речами. В то же время он спокойно продолжал корпеть над «Британской кампанией во Франции и Фландрии», выступал на патриотических митингах, ночевал в любимой палатке, чистил винтовку, рассказывал фронтовые байки, сочинил блестящий рассказ о Холмсе, не пытаясь навязывать ни ему, ни Уотсону своей религии, завтракал с генералами и премьер-министрами, был все так же влюблен в свою жену; когда был дома, каждый день возился с детьми.

Дети спрашивали: почему не приходит Санта-Клаус – неужели его убили немцы? Ни в коем случае, отвечал отец, просто северный олень повредил ногу, но, когда война кончится, Санта обязательно приедет. Деннис и Адриан были в ту пору помешаны на индейцах; мать находила игру грубой, но отец покорно (а может, и с удовольствием) раскрашивал себе лицо и под именем Большого Вождя принимал участие в кровавых битвах, изредка позволяя взять себя в плен. Скальпы! Адриан интересовался, снимали ли когда-нибудь с папы скальп; тот, вздрогнув, отвечал, что Бог его от этого миловал. Тогда Адриан спрашивал: почему, если Бог такой всемогущий, он не убьет дьявола и не снимет с него скальп? Ведь тогда со злом было бы покончено. Отец с ответом затруднился, а мать объяснила, что зло нужно для сравнения, чтобы оценить добро. Логичный Деннис пришел к выводу, что в таком случае зло полезно. Кое-как родители выпутались из этих софизмов. Дети полюбопытствовали: правда ли, что Бог все видит? Стало быть, он и сейчас подслушивает этот разговор? Отец вновь был поставлен в тупик, а мать сказала, что так и есть. В таком случае, заметил Адриан (вызвав улыбку отца и возмущение матери), это весьма невежливо с Его стороны. Вечер завершался молитвой: маленькая Джин просила у Бога побольше сахару для бедных, а Адриан – побольше бензина для папиной машины.

Дойл продолжал ежедневно следить за ходом военной кампании и написал еще ряд фронтовых очерков, в которых нет и следа потустороннего. В ноябре 1917-го (только что вернувшись с конференции спиритов) он анализировал битву при Камбре – грандиозную операцию, в которой британскими войсками для прорыва обороны противника было осуществлено первое массированное применение танков: «Это был великий и смелый план, ибо укрепления противника в этом районе были настолько мощны, что их можно сравнивать с пирамидами Хеопса; эти колоссальные траншеи показали нам, как велика численность немцев, как умелы их инженеры и как жестоко они используют труд пленных».

Перед рассветом 20 ноября двести танков пошли в атаку. «Движущиеся в полном молчании, они выглядели чудовищно в мрачном свете ранней зари; этого зрелища не сможет забыть ни один из тех, кто видел его». Артиллерия открыла огонь, сопровождая танки и пехоту огневым валом, авиация наносила удары по батареям, пехоте и штабам противника; немцы были в смятении и отступали, почти не пытаясь сопротивляться. За день англичане продвинулись на 10 километров (неслыханный успех), взяли в плен восемь тысяч немцев и захватили 100 орудий. Все бы замечательно, да вот беда – победитель оказался не готов к своей победе. Достигнутый успех необходимо тотчас развивать – а британцы, утомленные и не имевшие достаточных ресурсов, встали. За это время немцы закрепились на новых рубежах, подтянули свежие дивизии, и всё пошло как раньше – позиционная война. Дойл писал об этом, не скрывая своего разочарования. Но он был по-прежнему убежден: именно танки выиграют войну.

В ноябре итальянцы отступили к речке Пьяве (и доктор вспомнил свой сон); в декабре советское правительство заключило перемирие с Германией. Один союзник пропал, за ним другой – Румыния. Довольно тоскливо начинался 1918 год. Немцы, у которых были теперь развязаны руки на востоке, стали на западе наступать, чего они давно уже не делали. В марте в Пикардии они попытались отрезать британские войска от французских – казалось, вот-вот Париж будет взят, доктор Дойл был близок к отчаянию, но французы выстояли.

26 марта наконец-то было создано единое командование силами союзников; с марта же началось массовое прибытие во Францию американских войск. С апреля по июль германские войска провели целый ряд наступательных операций на территории Франции; в июле

произошло второе крупное сражение на Марне – сперва немцам удалось продвинуться, но союзники нанесли контрудар и отбросили их за Эну. И вот наконец настал черный день для Германии: Амьен, 8 августа. Удар массы танков и действия авиации позволили англичанам одним броском вклиниться в оборону противника; в течение одного дня английские и французские войска продвинулись на глубину до 11 километров. Взяли много пленных и орудий, но не это было главным. Успех Амьенской операции был в общем-то локальным: ликвидировали угрозу Парижу. Но именно в ходе этой операции обнаружилось резкое падение боеспособности германской армии, и немецкие военные историки сами признали Амьен своим черным днем. Конан Дойл, человек весьма осведомленный и неплохо разбиравшийся в военной стратегии, понял: Германии – конец.

Летом доктор много ездил по своим спиритическим конференциям, выступал всюду: на юге Англии, затем в Центральной Англии, ближе к осени – в Ноттингеме и Лидсе. А в сентябре сэр Джозеф Кук, военно-морской министр Австралии, пригласил его посетить австралийский сектор передовой. Дойл писал, что именно австралийские части спасли Амьен в июле (военные историки так не считают); во всяком случае, он всегда австралийцам симпатизировал, находя их чем-то похожими на американцев. Да и вообще был рад любой возможности снова оказаться на линии фронта. С Куком должны были встретиться в Лондоне. Джин приехала проводить мужа. Она остановилась в отеле. Кингсли в это время находился в госпитале – долечивался. Он написал ей записку: «Я рад за отца, потому что знаю, что значит для него отправиться туда».

Как раз накануне поездки, 26 сентября, началось общее наступление союзных войск на всем фронте от Вердена до морского побережья. План союзного командования заключался в нанесении непрекращающихся ударов по сходящимся направлениям, с угрозой окружения противника, с целью не дать ему ни дня передышки. Как известно, план этот был успешно и быстро осуществлен – даже те, кто видел, как Германия катится к поражению, не ожидали, что это падение будет так стремительно. «Мне и в голову не приходило, – признавался Дойл, – что я увижу завершающее сражение этой войны».

Ехали вместе с Куком, с ним же ночевали в землянке и очень мерзли, потому что оба джентльмена, натягивая на себя по пяти одеял, недодумались постелить чего-нибудь на стылую землю, с ним же учились пользоваться противогазами. Австралийский участок фронта, куда прибыл Конан Дойл, находился на Сомме, напротив бельгийской границы, близ Пьеронна – старинной французской крепости. Австралийцы оказались по сравнению с европейцами неотесанны и грубы, но – «отменные солдаты». «У них была бесшабашная лихость, сдобренная хитростью, которые обеспечивали им особое место в рядах имперской армии». Младшие офицеры были сплошь только что произведены из рядовых, и доктор приводит текст докладной записки, которую ему показали: «Выйдя из укрытия, я наткнулся на фрица, и мы полезли за своими пушками, но он сдрейфил, а я его замочил».

Поездка была недолгой, всего четыре дня, но доктору удалось снова встретиться с Иннесом. Он был теперь бригадным генералом (низший генеральский чин, примерно соответствующий старому русскому «бригадир») королевской полевой артиллерии и состоял в ту осень помощником адъютанта при генерале Батлере в Третьем британском корпусе, располагавшемся в 10 милях левее австралийского участка фронта. По просьбе Дойла ему телеграфировали; Иннес пригласил брата к себе. Обедали вместе в офицерской столовой. Почти не говорили о назначенном на завтра наступлении. Офицеры за обедом предпочитали болтать о пустяках, и доктор эту светскую болтовню поддерживал, но потом робко спросил у брата, уместно ли это. Ему виделось в происходящем больше торжественности и красоты, чем кадровым военным. «Никогда не забуду возвращения назад, когда мы проехали ночью десять миль в беспросветной тьме, без единого проблеска света, кроме двух крошечных золотых точек, вспыхивавших вдали высоко в небе, словно автомобильные фары, внезапно перенесенные на небеса. Это были британские аэропланы, освещенные таким образом, чтобы отличать их от немецких хищников. Весь горизонт был на востоке залит желто-красным заревом от артиллерийского огня, а дальний гул артподготовки напоминал грохот валов Атлантического океана, разбивающихся о береговые скалы. <…> Этот канун Судного дня, когда должен был пасть последний оплот Германии, а самой ей предстояло пасть объектом возмездия, которое она так долго на себя навлекала, вызывал восхищение и ужас».

Наутро доктор увидел битву – из самых первых кресел партера. Его вместе с Куком и адъютантом Кука Лэтемом передали под присмотр австралийского офицера и нескольких солдат; на машине отправились на позицию у небольшой деревни Тампле. Еще не светало, но они припоздали к началу: две американские дивизии уже прорвали оборону противника, и теперь присоединившиеся к ним австралийцы двинули линию сражения вперед. Навстречу Дойлу и его спутникам уже ехали санитарные машины, нагруженные ранеными – «большинство из них курило с мрачной улыбкой». Провели первую партию пленных – человек

пятьдесят. В тот день доктор Дойл жалости к ним – «едва плетущимся, презренным созданиям без капли благородства в чертах или осанке» – не испытывал.

Машину оставили за холмом и дальше пошли пешком – через ферму, где располагалась батарея противовоздушной обороны, – на равнину, к самой линии фронта. Миновав расположение тяжелой артиллерии, путники очутились посреди британской батареи – артиллеристы посмеялись, когда у гостей от грохота едва не лопнули барабанные перепонки. Одному молодому артиллеристу позволили проводить путников дальше на восток. Шли и шли, миновали полевой госпиталь. От линии Гинденбурга их отделяла примерно тысяча ярдов. Вокруг них время от времени рвались снаряды – свои и чужие. Увидев подбитый танк, молодой Вергилий предложил забраться на него. Это было круто, как сказали бы сейчас. «Там, внизу, прямо у нас под ногами, зияла брешь – здесь несколько часов назад была прорвана линия Гинденбурга. За нею, на серо-коричневом склоне, прямо у нас на глазах даже и сейчас еще разворачивалась часть той великой битвы, в которой дети света загоняли в землю силы тьмы». Воочию видеть Армагеддон – да, не всякому так везет.

Слезли с танка и пошли дальше на восток. Прошли еще одну деревню, оставленную немцами. Все было окутано дымом, «как в преисподней». Немцы, прижатые к стене, вдруг начали артобстрел, и путешественники наконец поняли, что забрались слишком далеко. «Если кто-то скажет, что он любит не по велению долга находиться под прицельным орудийным огнем, я не поверю». На обратном пути встречали все тех же – артиллеристов, бойцов ПВО. Как ни удивительно, обнаружили в целости свою машину. И тут совсем рядом раздался взрыв – и они увидели сцену, в которой не было ничего величественного, а только. «На дороге лежала груда искалеченных лошадей с ходящими ходуном шеями. Рядом с нею, удаляясь прочь, ковылял человек, у которого оторвало руку и кровь хлестала из его закатанного рукава. Он кружился, поддерживая приподнятую болтающуюся руку, как собака поджимает ушибленную лапу. Рядом с лошадьми лежало развороченное тело человека, залитого с головы до пят багряной кровью, сквозь маску которой уставились вверх два огромных остекленевших глаза». Это как будто не Конан Дойлом написано – а, скажем, Амброзом Бирсом или Эдгаром По. Подобные строки можно еще найти у Дойла на тех страницах, где он описывает, например, свой госпиталь в умирающем от жажды Блумфонтейне и людей, падающих от усталости среди нечистот. Лишь настоящий ад вызывает настоящий ужас. Торжественному и величественному там места нет.

Возвращаясь в Перонн, обогнали новую колонну пленных немцев, на сей раз очень большую: «Масса грубых мужланов с тяжелой челюстью и насупленными бровями, недоуменно взиравших на своих жизнерадостных конвоиров». Дойл не увидел в них никакого облегчения оттого, что они вырвались из ада, и никаких признаков страха – «преобладало впечатление бычьей невозмутимости и тупости. Это была не вереница людей, а стадо скотов. Если подумать, что эти обряженные в военную форму олухи представляли великую военную нацию, в то время как доблестные фигуры, протянувшиеся вдоль дороги, принадлежали к народу, который те презирали за отсутствие воинственности (имеются в виду австралийцы. – *М. Ч.)*, это поистине походило на фарс». Да, конечно, никаких иных чувств по отношению к побежденным агрессорам быть не могло, ни у кого их не могло быть, – но не совсем ясно, как, по мнению доктора, пленные должны были вести себя: плакать, танцевать, выкрикивать лозунги?

А все-таки доблестные и отменные австралийские солдаты доктору не совсем понравились. Во-первых, его неприятно поразил тот факт, что австралийские солдаты снимали с пленных и убитых немцев часы – он был уверен, что англичане такого никогда не делали. И потом: да, они отменные солдаты, как и канадцы, но – как и в очерке «На трех фронтах», когда шла речь о Франции и ее колониях, – Дойл постарался подчеркнуть, что главную тяжесть на себе вынесли коренные британцы и негоже «колонистам» чересчур много мнить о себе и своих успехах: «Мне кажется, что велось систематическое принижение славных деяний собственно английских солдат, в отличие от британских. Англия слишком велика, чтобы превратиться в провинцию, но иногда ничтожным душонкам удается позлословить на ее счет». Он не побоялся выступить перед австралийскими солдатами с речью, в которой высказал им свои претензии; некоторые офицеры, по воспоминаниям Дойла, «тепло благодарили за это, уверяя, что, поскольку они ничего, кроме своего фронта, не видели, они утратили представление о соотношении вещей». Остальная масса австралийцев, по-видимому, такой теплой благодарности не выразила.

После сентябрьского наступления события развивались с головокружительной быстротой. 5 октября германское правительство обратилось к правительству США с просьбой о перемирии. В течение октября была разбита Турция. 3 ноября Австро-Венгрия подписала перемирие с Антантой. 9 ноября в Германии произошла революция. 11 ноября союзники заключили с Германией Компьенское перемирие. Этот день подробно описывает Питер

Акройд в книге «Лондон», упоминая о кровожадном буйстве и грубости обезумевшей от восторга толпы, что запрудила улицы. Дойл находился в тот день в Лондоне; он увидел из вестибюля Гроувернор-отеля, как какая-то солидная дама идет по улице вальсируя, с флагом в руках; он выбежал и кинулся к Букингемскому дворцу. Туда стекалась толпа. «Тоненькую девушку подняли и поставили на высокий экипаж, и она распевала, дирижируя хором, словно некий ангел в твидовом костюме, только что упавший с облаков. Я видел, как в густой толпе остановился открытый автомобиль, где сидели четверо пожилых людей, один в гражданском с грубым лицом, остальные офицеры. Видел, как этот в гражданском отбил горлышко бутылки с виски и так и пил из нее, не разбавляя. Мне хотелось, чтобы толпа растерзала его. То был миг молитвы, а этот скот оказался грязным пятном, портившим всю картину. В целом же люди держались очень хорошо и спокойно».

Побежденная Германия обязалась немедленно вывести свои войска со всех оккупированных территорий и передать союзникам большое количество вооружения и военного имущества. Затем последовал Версальский мирный договор. Дой-ла все это уже мало интересовало. Две недели тому назад умер его сын.

Кингсли заболел пневмонией в конце октября; от ранений, полученных на Сомме, он был очень слаб. Дойл был в то время в Ноттингеме, выступал на очередной спиритуалистической конференции. Перед выходом на сцену ему подали телеграмму от Мэри, в которой сообщалось, что Кингсли при смерти. Он прочел лекцию и поехал домой. Кингсли умер 28 октября. «Один из великолепнейших парней – как физически, так и духовно, – какие были когда-либо дарованы отцу». Какая-то корявая, тусклая, даже неприятная фраза; такими же корявыми и серыми фразами доктор говорил о смерти Луизы – как будто он вмиг потерял главное умение своей жизни: подбирать и складывать слова. А в феврале 1919-го в Уинделшем пришла новая телеграмма: в Бельгии от той же пневмонии умер бригадный генерал Иннес Дойл. «Мы сделали прививку младенцу и лечили человека с чахоткой. Мальчики говорят мне, что никто больше не хочет с ними разговаривать... »

Вот перечень некоторых наиболее известных работ Конан Дойла по спиритуализму начиная с 1918 года: «Новое откровение» («The New Revelation: or, What Is Spiritualism?»), 1918; «Жизнь после смерти» («Life After Death»), 1918; «Жизненное послание» («The Vital Message»), 1919; «Спиритизм и рационализм» («Spiritualism and Rationalism»), 1920; «Наш ответ церковной прессе» («Our Reply to the Cleric Press»), 1920; «Странствия спиритуалиста» («The Wanderings of a Spiritualise), 1921; „Визит фей“ („The Coming of the Fairies“), 1922; „Спиритуализм: вопросы и ответы“ („Spiritualism-Some Straight Questions and Direct Answers“), 1922; „Факты в защиту спиритической фотографии“ („The Case for Spirit Photography“), 1922; „Раннехристианская церковь и современный спиритуализм“ („The Early Christian Church and Modern Spiritualisms), 1925; „Сохранение души после смерти тела (опыты в исследовании человеческой психики)“ („Psychic experiences (Survival)“), 1925; „История спиритуализма“ („The History of Spiritualisms), 1926; „Финеас говорит“ („Pheneas Speaks. Direct Spirit Communications in the Family Circle Reported by Sir A. C. Doyle)“), 1927; „Чему учит спиритуализм“ („What does Spiritualism actually Teach and Stand for?“), 1928; „Предостережение“ („A Word of Warning“), 1928; „Открытое письмо моему поколению“ („An Open Letter to those of my Generation“), 1929; „Грань неведомого“ („The Edge of the Unknown“), 1930 – а помимо этого еще более двухсот статей в „Лайте“, „Стрэнде“ и множестве других периодических изданий; а еще целый ряд автобиографических текстов, где о спиритуализме упоминается в той или иной степени, как, например, в „Воспоминаниях и приключениях“, в путевых очерках „Наши приключения в Америке“ („Our American Adventure“), „Наши новые приключения в Америке“ („Our Second American Adventure“), „Наша африканская зима“ («Our African Winter“); а еще записи выступлений, диспутов; а еще серия статей на тему «Спиритизм и сумасшествие“; а еще переводы десятков иностранных авторов, предисловия и комментарии к ним; а еще тезисы в различных сборниках, которым несть числа.

Только с осени 1918-го по весну 1919-го Дойл провел не менее шестидесяти встреч-бесед в различных городах Великобритании; начиная с 1920-го он объехал с лекциями полмира. Он отдал пропаганде спиритуалистического учения двенадцать лет; он потратил на это почти все свое состояние – 250 тысяч фунтов, не заработав, естественно, ни пенни. Но что такое деньги – пустяк... «Мальчики говорят мне, что никто больше не хочет с ними разговаривать! Неправда, неправда: есть по крайней мере один человек, который хочет, и будет, и разговаривает постоянно, и никогда не бросит их одних там, в стране туманов, и всему свету объяснит, как это жестоко – похоронить, смириться, отречься, забыть, не говорить, не звать, не отвечать на вопросы!»

С начала 1918 года Дойл параллельно с «Британской кампанией во Франции и Фландрии» работал над небольшой по объему книгой, в которой пытался сказать все, что думал о жизни и смерти. Основные тезисы этой книги содержались в речи, которую он произнес в октябре

1917-го. Он назвал ее «Новое откровение». Это вещь небольшая по объему (хотя для Дойла, любившего военную краткость и редко писавшего длинные тексты, она достаточно велика) – примерно с «Долину ужаса». В первой главе Дойл излагает историю своих собственных сомнений, начиная со студенческого материализма и телепатических опытов с архитектором Боллом, – эта история нам уже известна. В начале следующей главы объясняется, какими способами человечеству надлежит узнать о существовании откровения: метод автоматического письма, вращающиеся столы и пр. Далее Дойл – пока что очень сдержанно и деликатно – отвергает возможные обвинения в «связях с дьяволом» и тому подобном в адрес спиритов со стороны традиционно верующих.

«Сами результаты психических исследований, выводы, которые мы из них извлекаем, и уроки, которые они могут нам дать, учат тому, что жизнь души продолжается и после смерти. <…> Если в этом заключается различие с религией, то я должен признаться, что не очень-то разумею, в чем, собственно, оно состоит. Для меня это и есть религия – самая ее суть. <…> Оно (новое откровение. – *М. Ч.)* устранит серьезные недоумения, всегда оскорблявшие чувства всякого мыслящего человека; оно также подтвердит и сделает абсолютно определенным факт продолжения жизни после смерти, факт, лежащий в основании всякой религии. <…> Оно подтвердит идею о рае и временном состоянии искупления, которое соответствует более понятию чистилища, нежели ада. Таким образом, это Новое откровение в самых жизненно важных своих точках никак не разрушает все прежние верования, и действительно серьезными людьми, какой бы веры они ни придерживались, оно должно быть встречено как исключительно могучий союзник, а не опасный недруг, порождение дьявола».

Если со стороны религиозных людей, по мнению доктора, претензий к спиритизму быть не должно, то у спиритизма к традиционной религии (имеется в виду христианская, естественно) претензий довольно много. Во-первых, ее учение устарело и не согласуется с современной наукой: когда известно, какой длинный и сложный эволюционный путь прошел человек, всерьез воспринимать мифы об Адаме и Еве, Авеле и Каине, говорить о падении и первородном грехе, не ставя эти слова в кавычки, попросту смешно. Во-вторых, поклонение божеству, которое требует жертвоприношений и искуплений за несуществующий грех, оскорбляет нравственное чувство мыслящего человека. В-третьих, традиционная церковь искажает личность Христа, рассматривая ее под неверным углом зрения.

«По моему мнению, слишком много внимания уделено смерти Христа и слишком мало – его жизни, ибо именно в этой последней заключаются истинное величие и настоящий урок. Это была жизнь, которая даже в тех ограниченных воспоминаниях, что дошли до нас, не содержит в себе ни единой черты, которая не была бы прекрасной, жизнь, полная естественной терпимости к другим, всеохватывающего милосердия, умеренности, обусловленной широтой ума, и благородной отваги; жизнь, устремленная всегда вперед и вверх, открытая новым идеям и все же никогда не питающая горечи в отношении тех идей, которые она пришла упразднить, хотя порой даже и Христос теряет терпение из-за узости ума и фанатизма их защитников. <…> Больше ни у кого и никогда не было такого могучего здравого смысла или такого сострадания слабому. Именно эта восхитительная и необычная жизнь является истинным центром христианской религии. <. > Если бы человечество искренне посвятило себя изучению этой жизни и подражанию ей, вместо того чтобы забивать себе голову мистической и противоречивой философией, насколько выше был бы сейчас уровень культуры, благополучия и счастья на нашей планете!»

Далее в этой же главе Дойл (затратив на это всего один абзац) разъясняет, что такое Бог и как «там» все в принципе устроено: над духами недавно усопших землян имеется множество других духов, их превосходящих и иерархически соотнесенных, («назовите их „ангелами“, если вы желаете говорить языком старой религии»). Над этими высокоразвитыми духами находится самый Высший Дух – «не Бог, поскольку Бог столь бесконечен, что недосягаем для нас, – но тот, который ближе других к Богу и который, до известной степени, представляет самого Бога: это Дух Христа». Дух Христа любит и защищает планету Земля; он жил среди землян, чтобы преподать им пример идеальной жизни, и теперь по-прежнему питает к ним самые добрые чувства, несмотря на их несовершенство. Во всяком случае, именно так рассказывают духи, которые общались с медиумами. Был ли медиумом сам Христос, обладал ли он высокоразвитыми духовными способностями (которые мы назвали бы экстрасенсорными)? О, разумеется: иначе как бы он мог излечивать больных, идти по воде и совершать другие деяния, которые описывали его биографы-апостолы и которые церковь трактует как чудо? Сильными медиумами были и сами апостолы, и ничего сверхъестественного в этом нет.

Третья глава «Нового откровения» содержит самое интересное: что именно ждет нас «на той стороне»? Помня, какое пристрастие доктор всегда питал к реализму в мелочах (то змея на сцене, то настоящий синяк под глазом у артиста, играющего боксера), мы заранее ожидаем увидеть иной мир таким же реалистическим – и наши ожидания не обмануты. «Отшедшие, все

в один голос, указывают, что переход обычно легок и в то же время безболезнен и сопровождается необъятным ощущением мира и покоя. Человек обретает себя в духовном теле, которое является точной копией его физического тела, исключая его болезни, слабости и уродства, которым новое тело не подвержено. Тело это стоит или витает близ старого тела и одновременно сознает его и окружающих людей. <…> Вскоре он, к своему изумлению, обнаруживает, что хотя он и пытается сообщаться с теми, кого видит, но его эфирный голос и эфирные прикосновения равно не способны как-либо воздействовать на человеческие органы, настроенные лишь на более грубые возбудители. <…> Теперь он уже сознает, что в комнате, рядом с людьми, которые были здесь при его жизни, есть еще и другие, которые представляются ему столь же вещественными, как и живые, и среди них он узнает знакомые лица и чувствует, как ему пожимают руку и целуют в уста те, кого он когда-то любил на земле и потом потерял. Затем вместе с ними и с помощью и под водительством некоего лучезарного существа, которое стояло тут же и ожидало вновь прибывшего, он, к своему удивлению, устремляется сквозь все препятствия и материальные преграды навстречу новой жизни».

Потом дух переживает некую «пору сна», то есть отдыхает от треволнений прежней жизни; постепенно к нему возвращается бодрость и он начинает осваиваться на новом месте. Таким образом, дух, по Дойлу, – это тот же самый и такой же человек, каким он был прежде, – «со всеми его достоинствами и недостатками, мудростью и глупостью, так же как и его внешностью»; а поскольку среди нас глупцов и людей невежественных, к сожалению, хоть отбавляй, то стоит ли удивляться, почему некоторые духи, явившись на сеанс, мелют вздор. (В другой книге Дойла об этом сказано очень мило и убедительно: «Они (духи. – *М.* Ч.) иногда говорят такие глупости! – Умирают всякие, а не только те, что семи пядей во лбу. На том свете не умнеют».)

Если есть бестолковые и глупые духи – значит, есть и злые и подлые; неужели все они живут в тех же условиях, что и добродетельные духи? А как же наказание? «Понятие об аде, я должен сказать, вообще отпадает, как уже давным-давно оно выпало из мыслей всякого разумного человека. Эта одиозная концепция выражает собой такой взгляд на Создателя, который по сути дела есть не что иное, как богохульство. <…> Не существует ада как места особого и постоянного. Но идея искупления, очищения страданием, т. е. чистилища, подтверждается сообщениями с того света. Без такого наказания в мире не было бы справедливости, ибо невозможно помыслить, чтобы, к примеру, у Распутина и у отца Дамиана была та же самая участь». Но чистилище доктора Дойла – не тюрьма; это – школа или, быть может, *больница,* где безнравственные духи с помощью духов-специалистов проходят более или менее длительный (в зависимости от тяжести диагноза) курс самоусовершенствования, а по завершении его – присоединяются ко всем остальным.

Духам в их мире хорошо, они счастливы, но те из них, кто оставил в нашем мире любимых, сильно тоскуют по ним и жаждут общения. Духи, разумеется, работают (в сфере наук и искусств преимущественно); они завтракают, обедают, ужинают, а некоторые из них пьют (умеренно) и курят. Они живут семьями и сообществами, как и мы; но бывшие муж и жена вовсе не обязаны продолжать жить вместе, если им не хочется. «Мужской дух находит свою настоящую подругу, хотя там и нет сексуальности в грубом смысле слова и нет деторождения».

В «Троих» дети спрашивали у доктора, есть ли на том свете игрушки; он отвечал, что игрушек там много, очень много. «В том мире жизнь по сути преимущественно духовная, как в этом она телесная. Всепоглощающие заботы о еде, деньгах, всевозможные вожделения, боль и тому подобное исходят от тела и потому там отсутствуют. Музыка, искусства, интеллектуальное и духовное знание значительно обогатились, и развитие их продолжается. Люди одеваются, как и следовало ожидать, поскольку нет никаких причин отказываться от скромности и приличий в новых условиях. А тело наше там представляет собой точную копию нашего земного тела, но в его наилучшем виде, т. е. молодые мужают, а старики молодеют, и все, таким образом, пребывают в поре расцвета сил». На существовании тела Дойл особо настаивает: «Но если бы у духов не было тела, подобного нашему, и если бы при переходе туда мы теряли свою индивидуальность, то говорите тогда что угодно, но это означало бы, что мы перестаем существовать. Что матери за радость, если ей явится некое светозарное и безличное существо, купающееся в лучах славы? Она скажет: „Нет, это не мой сын. Я хочу видеть его золотые локоны, его улыбку, его столь милые мне жесты“. Вот чего она хочет, и именно это, я уверен, она и получит.» Малышка Джин сказала отцу, что отказывается идти в рай, если там с нею не будет ее любимого Червячка. Разумеется, он будет там!

Воображаемый оппонент замечает Дойлу, что христианская религия и так дает веру в бессмертие души – зачем нужно подтверждать ее показаниями духов? На это доктор отвечает, что традиционные религии потому и воюют друг с дружкой, что все они основаны на слепой вере; спиритическая же религия – единственная, которая основана на уликах и показаниях

свидетелей. Спиритизм не верит: он наблюдает факты и анализирует их с помощью логики – тут уж, извините, двух мнений быть не может, и потому именно спиритическая религия способна примирить всех, кроме разве что безнадежных глупцов. Спиритизм – единственная теория, примиряющая религию и науку; его откровения не приписываются древним пророкам или каким-либо очевидцам, жившим в глубокой древности и само существование которых представляется мифом и может быть законно взято под сомнение. Они были удостоверены учеными. Дуглас Хоум летал по воздуху, это видели десятки уважаемых и почтенных людей. Предметы двигаются, столы вращаются, призраки материализуются и расхаживают по комнатам, поют и играют на музыкальных инструментах, медиумы выделяют эктоплазму, которая вполне материальна и приятно пахнет озоном. Религия, в которой нет места вере, – да религия ли это? Хотя книга Дой-ла и называется «Откровением», мир духов автор постигает методом отнюдь не откровения, а исключительно научного – во всяком случае, наукообразного – познания, где единственным критерием истины является практика; иной мир дает о себе знать самыми что ни на есть материальными проявлениями.

И при всем при этом, если по отношению к традиционному христианству Дойл был настроен в общем довольно дружелюбно, то в адрес другого соперника – материализма – высказывался куда более уничижительно. Газеты он назвал «материалистическими и невежественными», Евангелие исказили «злоупотребления людей и материализм», и вообще «Откровение будет фатальным лишь для одной из этих религий, или, если угодно, философских систем: для материализма». Он, правда, тут же добавил, что вовсе не питает к материалистам, которые, на его взгляд, «как организованная группа серьезны и моральны, быть может, как никакая другая», ни малейших враждебных чувств; просто «само собой разумеется, что коль скоро дух может существовать и действовать без материи, то сам принцип материализма рассыпается в прах, повлекая за собой крушение всех вытекающих из него теорий». Материя исчезла, а энергия осталась! Что-то знакомое, где-то мы все (за исключением молодого поколения) об этом читали. А вот доктор Дойл «Материализма и эмпириокритицизма» не читал – иначе бы он понял, что критика его направлена в адрес не материализма как такового, а только лишь старого механистического материализма; и коль скоро существование своих духов он подтверждает исключительно доказательствами материального порядка, то, стало быть, они материальны по своей сути и являются новым, пока что неизвестным науке видом объективной реальности, данной нам в ощущениях.

Дойл постоянно подчеркивает, что подавляющее большинство духов дали одинаковые свидетельские показания – именно это является доказательством правоты его учения. Он, правда, забыл о том, что ему не довелось разговаривать с духами, например, буддистов. Он оговаривает, что, согласно спиритической теории, потусторонний мир не отдает никакого предпочтения одной религии перед другой и умершие, какова бы ни была их прежняя вера, оказываются в одинаковом положении; а все-таки не исключено, что бывшие буддисты дали бы показания, отличающиеся от показаний христианских духов; а духи атеистов, быть может, сердито заявили бы доктору, что никакого Христа они «на той стороне» не видели и точно знают, что его там нет, а встречал их и помогал им освоиться автор разоблачительной статьи «Естествознание в мире духов» Фридрих Энгельс...

Книга вышла в издательстве Ходдера и Стоутона летом 1918-го (напоминаем, что это было еще до смерти Иннеса и Кингсли); откровением для человечества она, естественно, не стала, как не стала учебным пособием «Британская кампания во Франции и Фландрии». Умы людей занимала война – а когда она закончилась, всем хотелось отдохнуть и отвлечься, а не думать о потустороннем. Положительно восприняли книгу Дойла в основном те, кто и до этого был приверженцем спиритизма, но и среди них многим не понравился наивный реализм его учения. В нем напрочь отсутствовали мистика и таинственность. Дух, который курит папиросы и по моде одевается, дух, который может быть глуп и невоспитан, – как-то это уж чересчур. Но сотни женщин, чьи мальчики ушли навсегда, писали доктору благодарные письма...

Потом умерли сын и брат. Дойлу не раз говорили впоследствии, что именно эти события заставили его обратиться в спиритическую веру. Он это категорически отрицал – и в самом деле, «Новое откровение» было написано раньше. В предисловии к своей следующей работе он скажет: «Автору хотелось бы вставить краткое замечание от своего имени о том, что, хотя его собственная потеря и не повлияла на его воззрения, зрелище мира, сокрушенного горем и молящего о помощи и наставлении, несомненно оказало воздействие на его разум и волю, подвигло его на практические действия». Доктора начали называть сумасшедшим. Он сделался смешон. Он крепился, не отвечал. В 1919 году журналист Дуглас, интервьюировавший его, написал, что Конан Дойл, несмотря на странность тех идей, которые он проповедует, производит впечатление абсолютно нормального, рассудительного, здравомыслящего человека. «Он просто хочет быть услышанным, и он имеет на это право». Но не все соглашались признать это право.

В июле 1919 года вышел в свет третий поэтический сборник Дойла – «Гвардия идет в бой» («Guards come through»), а в августе была издана вторая большая работа по спиритуализму – «Жизненное послание». В ней доктор уже не доказывал существование иного мира – оно, по его мнению, было доказано раз и навсегда. «Время научных исследований прошло и наступила пора религиозного строительства». Дойл сосредоточился исключительно на моральной стороне «психических явлений». По сравнению с «Новым откровением» «Жизненное послание» написано в более энергичном, сердитом и воинственном духе (такова, увы, обычная эволюция всех проповедников) и, что интересно, в нем взгляды доктора Дойла отчасти сближаются с взглядами Уэллса, которые тот высказывал в 1914-м: мировую войну следует в некоем высшем смысле воспринимать как благо, ибо она была в конечном счете призвана способствовать очищению и улучшению человека – так, во всяком случае, замысливал ее Инженер... Не в политических интересах отдельных государств и группировок следует искать причины войны, заявляет доктор Дойл в «Жизненном послании», эти причины – куда более глубокого религиозного характера; война была предупреждением, своего рода репетицией Страшного суда; Инженер был вынужден так поступить, поскольку по-другому люди не понимают: «Необходимо было пробудить человечество от сплетен за чаем, от боязливого преклонения перед мечом, субботнего пьянства, эгоистичного политиканства, теологической болтовни». Всё как в апокалиптических романах: пройдя катастрофу, люди должны были начать жить по-другому.

Если в «Новом откровении» основное внимание уделялось иному миру, то в «Жизненном послании» – нашему, полному невежества и злобы. В своей работе Дойл прошелся по всем государствам накануне войны: британцы были эгоистичны и слепы, немцы алчны, бельгийцы в Конго и перуанцы в Путумайо предавались зверствам. Досталось и нам: «Подумайте о России того времени, с ее грубой аристократией и ее пьяной демократией, с насилием и убийствами с обеих сторон, с еврейскими погромами и коррупцией». В другой книге Дойл выскажется еще хлеще: «Россия стала выгребной ямой. Германия так и не раскаялась в страшном грехе материализма, который стал главной причиной войны. Испания и Италия скатились, одна – в пучину атеизма, другая – предрассудков. У Франции нет религиозного идеала. Англия потеряла ориентацию и погрузилась в хаос, в ней расплодились нелепые, оторванные от жизни секты. Америка не сумела реализовать свои превосходные возможности и, вместо того чтобы стать любящей сестрой сокрушенной и израненной Европе, занялась собственным экономическим благоустройством; она отреклась от подписи своего президента и отказалась присоединиться к Лиге Наций – единственной надежде человечества. Все погрязли в грехе, некоторые больше других, и всем без исключения воздастся по делам их».

Нехороши были не только все народы, но также все сословия: богатые гнались за удовольствиями, многие бедняки были грубы и злоупотребляли алкоголем, духовенство закостенело, нигде не находилось «сколько-нибудь глубокого и подлинного духовного импульса». Дойл, впрочем, признавал наличие такого импульса в учреждениях, где лечили больных и учили детей и юношество; но такие учреждения есть и у буддистов и мусульман; в чем же тогда преимущество христианства, о котором мы толкуем?

В общем и целом всё, безусловно, именно так и было, как и всегда и везде и перед каждой войной; но неужто доктор и впрямь полагал, что все эти пороки исчезли после 1918-го и Первая мировая война станет в истории человечества последней? Нет, он вовсе не был слеп: в том-то и беда, что он как раз видел, что ничего в сущности не изменилось, так как люди в очередной раз не поняли адресованного им свыше предложения изменить себя. «Если в наших душах, страдавших в течение этих ужасных пяти лет, не может произойти никаких радикальных перемен, то что же еще им нужно, когда, какие души смогут отозваться на призыв небесного вдохновения?» Но нет, не понимают, не хотят понять; вот и приходится скромному доктору выступать в роли посредника между Высшим Замыслом и неразумным человечеством.

Вновь большое внимание уделено Библии, но тон уже более жесткий. «Мумия и ангел находятся в самом неестественном соседстве» – это о Ветхом и Новом Заветах. По мнению Дойла, противоречие между этими двумя текстами, механически объединенными под одной обложкой, является одной из главных причин того, что официальная христианская религия изжила себя. Ветхий Завет с его восхвалением жестокости и мстительности отвратителен и приносит вред; лишь Новый Завет есть подлинно христианская книга. Но и ее клерикалы толкуют формалистически-буквально, выхолащивая из нее главное – дух Христа, личность Христа. Доктор замечает, однако, что и Евангелие не стоит воспринимать чересчур буквально, ибо это всего лишь записи, сделанные биографами. «Утверждать в наши дни, что каждый должен буквально раздать все бедным, или что английский военнопленный, умирающий от голода и пыток, должен буквально любить его врага Кайзера, или что два супруга, которые ненавидят друг друга, должны быть навсегда прикованы друг к другу и жить в мучительном рабстве лишь потому, что Христос говорил о святости брака, – все это – гнусная пародия на его

учение, пародия на человека, который являл собой образец разумности и здравого смысла!» Опять этот «здравый смысл» – верующего человека это вряд ли обидит, но все-таки довольно неожиданная характеристика Христа, правда? Однако для Дойла она абсолютно естественна: он, хотя и называл Христа «высшим духом», но воспринимал его не как теологическую абстракцию, а исключительно как реального человека – и, вероятно, не раз воображал себе, как «на той стороне» они встретятся, сядут у камина (быть может, даже за трубочкой, раз Рэймонд Лодж утверждает, что там есть табак) и потолкуют обо всем на свете – о войне, о бурах, о суфражизме и, быть может, даже о Шерлоке Холмсе немножко.

А теперь обратим внимание на следующее обстоятельство: по какой-то нелепой случайности (а может, в соответствии с неисповедимыми замыслами Инженера) самому проповеднику спиритуалистического учения было решительным образом отказано в медиумических способностях.

Никогда, ни разу, начиная с самых первых экспериментов в Саутси, у доктора не выходило наладить общение с миром духов без посредника. Какая ирония судьбы: он, столько говоривший о сверхчувственном восприятии, был его абсолютно лишен; он мог постигать «ту сторону» с помощью интеллекта, иногда с помощью эмоционального сопереживания, но никогда – непосредственно; а ведь у тысяч людей, не заслуживших этого дара, как-то получалось! Сам доктор в своей монументальной «Истории спиритизма» объяснял это очень просто (и таково было мнение большинства тогдашних авторитетов в этой области): «Все мы, или почти все, выделяем определенные вещества из своего тела, причем эти вещества имеют особые свойства. У большинства из нас, как доказал Кроуфорд, содержание эктоплазмы незначительно и только у одного из ста тысяч оно достаточно велико. Именно этот человек и становится медиумом. Он или она являются тем „сырьем“, которое используют невидимые внешние силы. <…> Установлено, что между физическим медиумизмом и моралью существует не больше связи, чем между последней и утонченным музыкальным слухом. Оба эти явления относятся к разряду физического дара».

Дойл, эктоплазмой обделенный, был вынужден все время опираться на посредников; когда последнего близкого ему человека, будто бы обладавшего нужными способностями, Лили Лоудер-Симмонс, не стало, он нуждался в новом медиуме. Он прибегал к услугам профессионалов. 7 сентября 1919 года медиум Эван Пауэлл на сеансе «привел» к доктору дух его сына Кингсли. Дойл описал свой разговор с сыном в письме Лоджу: «Вдруг я услышал голос: „Джин, это я…“ Моя жена вскрикнула: „Это Кингсли!“ Я сказал: „Это ты, мой мальчик?“ Он сказал тихим шепотом: „Отец…“ и после паузы добавил: „Прости меня.“ – „Мне не за что прощать тебя. Ты самый лучший сын“, – ответил я. Потом я ощутил на своем лбу дуновение поцелуя. „Скажи, ты счастлив?!“ – воскликнул я. И услышал в ответ очень мягкое: „Я так счастлив.“»

Доктор жаждал общения с сыном и другими близкими постоянно; начиная с 1920 года роль посредника время от времени начала исполнять Джин. «Моя жена всегда неодобрительно относилась к моим исследованиям в области спиритуализма, считая этот предмет неприятным и опасным. В скором времени ее собственный опыт убедил ее в обратном.» А ведь это противоречит теории самого доктора: если от рождения Джин выделяла мало эктоплазмы – откуда она вдруг у нее взялась? Но доктор вывернулся: «Почти каждая женщина является медиумом, не упражнявшим пока что своей способности. Пусть она попробует свои силы в автоматическом писании».

До сих пор неясно – и вряд ли когда-нибудь станет ясно, – в какой степени Джин Дойл разделяла веру мужа, а в какой подыгрывала ему, руководимая жалостью и любовью; вполне возможно, смешивалось то и другое. Существует и такая точка зрения, что тщеславной женщине было попросту приятно выступать со сцены, привлекая всеобщее внимание. Автоматическое письмо – самый простой способ выдать себя за медиума, не обладая никакими специальными умениями; Джин даже не утруждала себя тем, чтобы изменить почерк или писать на каких-либо других языках, кроме английского. Почему она согласилась быть медиумом, хотя никогда не обнаруживала к этому ни малейшей склонности? Она всегда была всецело «от мира сего» – практичная, честолюбивая, общительная; что на самом деле водило ее рукой, когда она записывала на бумаге послание от Малкольма – вера, надежда или жалость? С другой стороны, доктор и сам был честолюбив, энергичен и (умеренно) практичен – а стал бескорыстным проповедником. Так или иначе, попытки Джин выступать в роли медиума публично ни к чему хорошему не привели: получалось у нее плохо и она, сама того не желая, мужу изрядно навредила.

В 1920 году у Шерлока Холмса появился еще один конкурент: Агата Кристи опубликовала свой первый роман об Эркюле Пуаро «Таинственное происшествие в Стайлз», три персонажа которого – умный детектив, его простодушный друг Гастингс и туповатый, но энергичный

инспектор Джепп – в точности копировали дойловскую схему. В жизни же самого Дойла в апреле 1920-го произошло событие, которое, может, и не имело судьбоносного значения для нашего героя, но о котором очень любят писать журналисты, потому что это интересно, а биографы – потому что все грани характера Дойла здесь проявляются как под увеличительным стеклом: Конан Дойл познакомился с великим иллюзионистом Гарри Гудини (Эрихом Вайсом).

Встреча произошла по инициативе Гудини: находясь в Англии на гастролях, он прислал Дойлу в качестве подарка экземпляр своей книги «Разоблачения Роберта Гудини», в которой, в частности, изобличались как шарлатаны и жулики два известных американских медиума, братья Девенпорт, о доверии к которым публично заявлял Конан Дойл. К моменту знакомства с Дойлом Гудини уже неоднократно публиковал (в том числе – в «Стрэнде») статьи, в которых разоблачал известных медиумов. Он сам одно время был увлечен спиритизмом и пытался общаться с духами, но никакого результата не добился и утверждал, что так называемые медиумы – мошенники; на своих представлениях он повторял спиритические трюки и объяснял, как они делаются. Этим, кстати, занимались многие профессиональные иллюзионисты – не столько из бескорыстного желания «раскрыть людям глаза», сколько ради разоблачения конкурентов.

Зачем Гудини понадобилось знакомиться с Дойлом, чьих взглядов он не разделял? Биографы иллюзиониста утверждают, что он обожал знакомиться со всеми знаменитостями, которые ему подворачивались; то была его безобидная слабость. Дойлу же личность Гудини импонировала: человек любит опасность, летает на самолетах, во время войны много занимался благотворительностью в пользу армии (кроме устройства бесплатных представлений, Гудини обучал солдат освобождаться от наручников, плавать под водой и прочим своим умениям); но главная причина интереса Дойла к знаменитому иллюзионисту заключалась в том, что ему многие (только не он сам) приписывали паранормальные способности. Дойл был также в этом уверен. Он желал видеть супермедиума; в то же время он не слишком хотел знакомиться с человеком, который, по его мнению, предавал идеалы спиритизма. Доктор ответил фокуснику любезным письмом, где благодарил за книгу, но высказывал свое несогласие: отдельные факты мошенничества отнюдь не доказывают, что мошенничеством является спиритизм как таковой.

Завязалась оживленная переписка. Ее основной темой были братья Девенпорт. Переписка эта довольно странная, и тон ее – со стороны Дойла – особо дружелюбным не назовешь. Он, например, писал Гудини следующее: «Вы сказали, что Айра Девенпорт осуществлял свои феномены обычными материальными способами. Но если он поступал так (чему я отказываюсь верить), то он явно не только лжец, но и богохульник, так как он постоянно общался с мистером Фергюсоном, священником, и примешивал религию к своим деяниям. И тем не менее Вы фотографируетесь с этим человеком и верите его словам, наступая на те же грабли. Как можно примирить одно с другим? Я этого решительно не понимаю». Гудини почувствовал, что приглашать его не хотят, и ответил уклончивым письмом, где уже не так настаивал на мошенничестве Девонпортов. Дойл продолжал наступать и требовал, чтобы Гудини сказал твердо: считает ли он, что Девенпорты обладали медиумическими способностями? Гудини ответил примирительно-уклончиво. Он писал, что испытывает к спиритизму глубочайший и искренний интерес, что ему просто не посчастливилось ни разу наблюдать истинного медиума, что на данном этапе он – скептик, но ум его открыт для всего нового и он готов стать учеником. Дойл счел ответ более-менее удовлетворительным и наконец пригласил Гудини в Уинделшем. Он надеялся, что ему удастся разъяснить гостю его заблуждения.

Они встретились 14 апреля; говорили о спиритизме, понравились друг другу. Но друг друга они не поняли. Право же, доктор Дойл не мог выбрать менее подходящего товарища по вере, чем профессиональный фокусник! Представим себе весь грустный комизм этой сцены: Гудини терпеливо объясняет, что свои волшебные иллюзии совершал благодаря интеллекту, физической ловкости и навыкам, приобретенным бесконечными тренировками, а доктор Дойл, обиженный, огорченный, ему возражает: «Нет-нет, вы сами себя не знаете, вы – один из избранных...» Особенный скептицизм Гудини вызвало утверждение Дойла о просыпающемся медиумическом даре его красивой жены; однако же Гудини был вежлив и деликатен, понравился всей семье, охотно показывал детям простые фокусы, приглашал доктора к себе в Америку – а доктор, всегда быстро завязывавший горячие дружбы и к тому же потерявший Иннеса, не терял надежды, что ему удастся обрести в лице Гудини единомышленника.

Гудини же попросил Дойла ввести его в круг лондонских спиритов: он хотел видеть сеансы. Трудно сказать, хотелось ли ему в самом деле увидеть настоящих духов (это не исключено: материализм его был довольно относительный и не вполне твердый) или он – что все-таки вероятнее – сознательно искал новый материал для профессиональных разоблачений. Доктор дал Гудини необходимые для посещения сеансов рекомендации. Тот посетил три сеанса,

организованных Обществом психических исследований, на которых ничего интересного не произошло; тогда Дойл устроил ему пропуск на сеанс медиума Эвы Каррьер, знаменитой тем, что она производила эктоплазму в больших количествах, и там Гудини, как говорил в письме Дойлу, видел эктоплазму. Другим своим знакомым он, правда, писал, что Эва и ее помощница обыкновенные мошенницы и своей репутацией медиумов обязаны исключительно людской доверчивости. Но Дойл считал, что его новый друг потихоньку становится на путь истины. Не очень-то хорошо закончится эта дружба. И делать медиума из своей жены, наверное, не стоило.

Слово нужно было нести миру (а телевидения-то не было); в сентябре 1920-го шестидесятилетний Конан Дойл отправился в свое первое пропагандистское турне – в Австралию. «Пропорционально населению она понесла во время войны почти такие же тяжелые потери, как мы, и я чувствовал, что зерно упадет на благоприятную почву». В поход доктор выступил не один, его сопровождали Джин, Адриан (10 лет от роду), Деннис (11 лет), Джин-младшая (7 лет) и Вуд, секретарь (благополучно вернувшийся с войны в чине майора). Мэри осталась дома. В Англии шел учебный год; Деннис и Адриан, учившиеся тогда в школе Хокстед в Кроуборо, были рады возможности прогулять чуть не полгода.

Джин Конан Дойл (леди Бромет) рассказывала впоследствии о поездке: «Это был первый случай, когда мой отец заговорил со мной о спиритизме. Я помню тот день очень ясно: мы плыли на корабле. Отец объяснил мне, что нет такого понятия, как смерть, – то, что люди называют смертью, на самом деле означает переход в другой мир. Поэтому, конечно, с тех пор я всегда чувствовала, что смерть не означает конец всего. Для ребенка было очень полезно расти с этим убеждением. Позже, когда я стала старше, эти поездки мешали моей учебе в школе, но мой отец и мать решили, что они будут полезнее для моего образования, чем сидеть на уроках и слушать лекции». Джин-младшая всю жизнь была порядочным, скромным и трудолюбивым человеком, и на ней, слава богу, пробелы в школьном образовании никак не сказались; что же касается Денниса и Адриана, то оба выросли, откровенно говоря, плейбоями, существовавшими за счет отца; неизвестно, впрочем, изменилось бы что-либо, если бы они не разъезжали с родителями по всему свету, а сидели на уроках.

Дойлы объехали всю Австралию с юга на север; доктор выступил с лекциями во всех крупных городах. Не попал только в Тасманию из-за забастовки моряков. Его личность привлекала большие толпы слушателей. Публика, уже забывшая или не знавшая, как он в своих очерках «поставил на место» австралийских солдат, и обожавшая Шерлока Холмса, встречала его очень тепло. Да и оратор он был прекрасный – умел и привлечь внимание аудитории, и поддержать его.

О чем Дойл говорил на своих лекциях? Время доказательств прошло, сказал он в «Жизненном послании», – следовало бы ожидать, что он будет объяснять людям, как нехорошо они живут, и говорить о том, что Христос своей жизнью завещал нам всем быть добрыми, разумными и жить по совести. Но на самом деле время доказательств только начиналось: вместо того чтобы сосредоточиться на этической стороне своего учения и развивать ее, доктор по-прежнему уделял основное внимание онтологии. Он, конечно, говорил своим слушателям о примере жизни Христа и о страшных уроках войны; но не это составляло главную, «ударную» часть его выступлений. Он говорил о медиумах, которых знал и чью работу видел лично, рассказывал об удивительнейших случаях полтергейста, демонстрировал множество фотографий и слайдов, на которых были запечатлены духи. Все это было для слушателей очень *занимательно.* Беседы о морали и призывы к добру так занимательны бы не были. Опытный лектор и беллетрист, Дойл это хорошо понимал.

Стали бы люди толпами ломиться на его лекции, если бы там не было необыкновенных фотоснимков и историй о привидениях? Могла ли увлечь их одна голая этика? Вряд ли: слишком трудных и скучных вещей требовал доктор Дойл от человечества. Изо дня в день жить добродетельно, смело и умно, как Иисус Христос, – ничего себе задачка; один раз умереть за идею и то, пожалуй, проще! Ни чуда, ни тайны, ни прощения в последний момент – миг экстатического раскаяния не спасет негодяя; сколько ни молись на смертном одре, а если жил скверно, все равно угодишь надолго в школу для умственно отсталых или на кушетку психотерапевта. Те, кто и так были умны, добры, терпимы и совершали добрые поступки, в наивных поучениях доктора не нуждались; большинству же было куда легче нагрешить, а потом проговорить в церкви заученные слова и считать себя прощеными, нежели каждый день терпеливо и самоотверженно строить свою жизнь по образу и подобию Божиему.

И потом, раз, по утверждению доктора, «там» нет мук ада – какая выгода здесь-то особенно стараться? Ну, полечат меня, подумаешь, – а потом все равно в рай, как все. И еще: если моему соседу, которого я терпеть не могу, потому что он плохой, будет там так же хорошо, как и мне, хорошему – что-то есть в этом неправильное. Мне было бы как-то веселее, если бы его

ждали вечные муки. Нет, что-то тут не так. (А стремился ли соответствовать заданному высокому образцу сам доктор? Когда он сражался за Идалджи, когда пятнадцать лет не оставлял Оскара Слейтера, когда настаивал на необходимости спасательных жилетов для моряков, когда наплевал на пэрство и карьеру ради Роджера Кейзмента – безусловно, да; когда, встретив любимую женщину, десять лет не оставлял больную жену – да, наверное; когда предлагал брать буров заложниками, ссорился с тем же Слейтером из-за 300 фунтов или препирался с коллегами-литераторами – увы, нет. Но он, по крайней мере, сознавал собственное несовершенство. И он всегда очень старался.)

Находясь в Австралии, Дойл продолжал вести полемику с теми, кто осуждал его учение на родине; прежде всего – с церковной прессой, которую его заверения в дружбе нимало не тронули. Доктора обвиняли в богохульстве, идолопоклонничестве, всех смертных грехах. В 1918-м священник Бернард Воэн, выступая на конференции Общества католической молодежи, уличил Лоджа и Дойла в связях с дьяволом; в 1919-м преподобный Мейджи на конгрессе церковных лидеров в Лейчестере сказал, что Конан Дойл «подрывает нравственные устои общества». (Между прочим, в подрыве нравственных устоев Дойла так же публично обвинял лорд Альфред Дуглас, уайльдовский «Бози», очень высоконравственная личность.) В 1920-м Дойл откликнулся статьей «Наш ответ церковной прессе»: он писал, что спиритуализм является единственным союзником церкви в борьбе с атеизмом и только ограниченные люди могут такого союзника отталкивать. Позиция церкви после этой статьи ничуть не смягчилась. Доктор не мог понять, отчего его искренняя любовь к Христу встречена так недоброжелательно. «Во все времена в религиозных разногласиях каждая сторона стремилась доказать, что ее противники связаны с дьяволом. Высшим примером тому может служить обвинение, выдвинутое фарисеями самому Христу, который ответил им, что видно будет по плодам. Мне не понятен ход рассуждения тех, кто связывает с дьяволом желание доказать существование жизни после смерти. Если деятельность дьявола такова, он определенно переменился к лучшему».

Кажется, Дойл действительно никогда не понимал, почему церкви его теория не нравится. Церковь учит, что душа бессмертна, он с этим согласен, он помогает церкви, предоставив новые доказательства. Да, он сказал: «Мы не настроены антихристиански, доколе христианство есть учение кроткого Христа, а не его горделивых представителей». Но если представители церкви на это обижаются, стало быть, они признают себя «горделивыми последователями»? Кто не горделив, тому обижаться вроде как не на что. Да, он осуждал религиозные войны – «вера, в ее положительно-агрессивном понимании, принесла более зла, нежели голод и чума, вместе взятые»; но ведь он писал это о фанатизме, существование которого вряд ли кто-то может оспаривать, а не о христианстве как таковом… Что плохого он сделал?! Он просил назвать причины.

Причины, доктор? Совершенно неуместно было бы в рамках небольшой биографической книжки пускаться в религиозные или этические дискуссии, поэтому назовем лишь одну причину, не имеющую никакого отношения ни к теологии, ни к морали, а лишь к социологии. Дойл никогда и нигде не говорил, что церковь нужно упразднить, напротив, призывал идти всем рука об руку, но из его учения недвусмысленно следует, что, поскольку человек может общаться с представителями Бога через медиумов (или непосредственно, если он сам медиум), то надобность в церкви как посреднике отпадает. «Я знал самых восхитительных людей, которые ходили в храм, и я знал самых дурных людей, которые делали то же самое. Я знал самых восхитительных людей, которые туда не ходили, и я знал самых дурных, которые также воздерживались от этого. Мне ни разу не встретился человек, который был бы добр потому только, что он ходил в церковь, или зол потому, что не ходил туда». Довольно наивно предлагать какому-либо общественному институту самораспуститься за ненужностью и ждать, что этот институт воспримет подобное предложение с восторгом. Льва Толстого за подобные идеи от церкви публично отлучили. Дойл еще легко отделался.

Австралия, не избалованная визитами знаменитостей, принимала его хорошо. Удалось не только окупить расходы на поездку. Его противники упрекали его за то, что он берет за проповедничество деньги. Этот упрек ему был смешон. Любой труд оплачивается. И священники получают зарплату, а церковь имеет собственность (и не маленькую). Но на себя он заработанных лекциями денег не тратил. Он передал австралийским спиритическим обществам пять тысяч долларов (то есть примерно 60 тысяч современных долларов США) – все, что осталось сверх стоимости билетов на пароход. Вдохновленный успехом, он почти сразу по возвращении домой в феврале 1921-го отправился в Париж, где пытался проповедовать на французском языке; прием оказался весьма холодным, самым холодным, какой был у него когда-либо. Трудно представить себе менее подходящую аудиторию для британского проповедника, чем парижане. Да и в разговорном французском он давно не практиковался.

В марте, когда Дойл еще не вернулся из Парижа, умер его деверь Хорнунг; доктор не успел его повидать напоследок. Но это был не первый близкий человек, с которым он не смог проститься. В декабре 1920-го, когда он проповедовал в Мельбурне, умерла Мэри-старшая.

«Часто в детстве я говорил ей: „Когда ты состаришься, мамочка, у тебя обязательно будут бархатное платье и золотые очки и ты будешь сидеть, уютно устроившись у камина“». Так и вышло: последние свои годы Мэри Дойл провела в покое и комфорте. Но камин, у которого она сидела, находился не в доме ее сына. Доктор и его мать всегда были очень близки духовно и при этом ни в чем не разделяли взглядов друг друга. К увлечению сына спиритуализмом Мэри относилась более чем холодно. Но она была его другом. Как он пережил ее смерть? Припомним слова Мелоуна: «Что мне горевать о ней? Она отошла, и я отхожу вслед за нею, и, может быть, там, в новом бытии, мы будем ближе, чем здесь, когда я жил в Англии, а она – в Ирландии». Пересмотрит ли Мэри свое отношение, когда окажется «там», захочет ли говорить с сыном?

О, разумеется, мы беспокоились напрасно. Она приходила. Дойлы обходились без профессиональных медиумов. Все организовывала любящая Джин – методом автоматического письма. Родные и близкие наносили визиты с завидной регулярностью. Доктора это устраивало идеально. Он терпеть не мог внешних эффектов и мистики. В общении с духами ему нравились тихость, обыденность, домашность.

«21 июля 1921 года. Общаясь с помощью моей жены-медиума с моим старшим сыном Кингсли, я спросил о Вилли Хорнунге. <…> „Он очень устал. Но ему становится лучше. Он стал более восприимчив. Ему жаль, что он не верил в возможность контакта. Сейчас он осознает это“. Длинная пауза. „Я Вилли. Я здесь. Я так рад быть здесь. Артур, это замечательно. Если б я знал это при жизни, я мог бы помочь другим людям. Но и сейчас еще не поздно. <…> Мне хорошо. Я работаю и чувствую себя прекрасно. Кстати, избавился от астмы“. <…> „Твоя нынешняя работа – литературная?“ – „Да, в своем роде. Очень интересно. Она лучше, чем та работа, которой я занимался на Земле“. – „Как поживает Иннес?“ – „Не беспокойся. Он придет очень скоро. Он пока отдыхает. <…> Кстати, здесь много крикетистов, с которыми ты раньше играл. Они все передают тебе привет“».

Не успевает Хорнунг уйти, как появляется Малькольм Леки. «"Привет, старина! Как хорошо, что ты здесь! Мы любим, когда ты приходишь". – „Я прихожу не так часто, потому что есть и другие люди, нуждающиеся в общении. <…> Я счастлив. Я занимаюсь медициной. Моей работой в больнице руководит один очень авторитетный врач, у которого я учусь. Вам здесь понравится“. – „Мы бы рады были прийти к тебе, чтобы собраться всем вместе“. – „Нет-нет, вы пока нужны там, где вы есть“». Доктор вновь с тревогой спрашивает об Иннесе. Малькольм отделывается общими словами.

Десять дней спустя заглядывает Кингсли: «"Ах, как здесь хорошо!" – „Где ты? Скажи – где?“ – „Я очень близко. Я вижу вас всех совершенно ясно. Мать Джин находится рядом со мной. Мы все очень счастливы. Бабушка тоже поняла великую истину. Она сожалеет лишь о том, что не понимала этого раньше“. – „Она просто не могла“. На этом месте в беседу включилась моя мать: „Я должна была больше доверять тебе, мой дорогой сын“. – „Милая, бедная мама!“ – „Не бедная – совсем напротив. Мне очень хорошо. Ты уладил все мои дела как надо“».

Обсудив дела с матерью, доктор опять спрашивает, почему не приходит Иннес. Мать обещает, что он придет. Возвращается Кингсли – и ему адресован все тот же вопрос: где Иннес, почему его нет? Проходят две недели – и в августе 1921 года Джин допускает младшего брата к старшему. «"Я так рад быть здесь! Артур, я присутствовал на твоей лекции..." <…> – "Ты видишь Джона? (сын Иннеса Дойла. – *М.* Ч.)" – «Я всегда с ним и со всеми моими близкими. Он делает меня счастливым. Он вырастет прекрасным человеком. Я так им горжусь!» – «Ему сейчас столько же лет, братишка, сколько было тебе, когда ты ко мне приехал». – «Милый брат, я все прекрасно помню. Мы скоро увидимся с тобой, скоро будем вместе. Мы будем очень счастливы». – «Иннес, я видел тебя во сне.» – «Это был не сон. Я часто прихожу и смотрю на тебя спящего.»»

Но толком поговорить не удается: в разговор друг за дружкой встревают Лили Лоудер-Симмонс, Малькольм, Кингсли и еще куча разного народу, в том числе – незнакомцы. К доктору постоянно ломятся бывшие атеисты, которые испуганы, раскаиваются и жаждут услышать духовное наставление. На сеансах присутствуют и дети. Адриан, услыхав от Кингсли, что «там» очень хорошо, первым делом интересуется, есть ли там змеи и червяки, без которых он не представляет себе счастья; старший брат его обнадеживает. Тут забегает Аннет, сестра доктора, и говорит, как ей нравятся ее племянники, а также просит передать детям от бабушки привет и пожелание хорошо учиться – бабушке, по-видимому, в тот момент было недосуг прийти, но скоро она является снова и говорит сыну о своей любви, терпеливо

пережидая докучливых незнакомцев... Она бывает у Дойлов по нескольку раз на неделе. То же и Кингсли. Иннес почему-то приходит редко. А доктор так тоскует по нему.

Читатель, возможно, будет несколько ошарашен (мы, во всяком случае, были), когда вдруг обнаружит, что в этом самом 1921 году, когда доктор был вроде бы занят исключительно изучением потустороннего мира и призывами к спасению нашего, он снова начал писать рассказы о Шерлоке Холмсе и не прекращал почти до самого ухода «на ту сторону» (если только представить, сколько еще он написал их там!). Эти рассказы печатались, естественно, в «Стрэнде» и составляют сборник «Архив Шерлока Холмса» («The Case Book of Sherlock Holmes»). Первым из них был «Камень Мазарини» («The Adventure of the Mazarin Stone»), сюжет которого основывался на одноактной пьесе «Бриллиантовая корона» («The Crown Diamond»), написанной Дойлом полугодом ранее; следующим – «Загадка Торского моста» («The Problem of Thor Bridge»). Премьер-министр Ллойд Джордж сказал, что «Камень Мазарини» – самый лучший рассказ о Холмсе; его слова были приведены на страницах «Стрэнда». Наверное, Ллойд Джордж просто, как и все кругом, радовался новому появлению Холмса: оба рассказа вряд ли можно отнести к шедеврам, хотя таковые среди поздних рассказов холмсианы еще найдутся. В общем и целом они никак не выбиваются из прежней канвы. Ничего «спиритического» в них нет; если они и нравоучительны, то ничуть не более, чем любой другой рассказ о Холмсе.

Многие биографы считают, что Дойл взялся за продолжение эпопеи исключительно из-за нужды в деньгах. Вряд ли это так: в 1921-м он еще и представить себе не мог, что так ужасно потратится на пропаганду спиритуализма, а, напротив, рассчитывал лекционной деятельностью пристойно зарабатывать. «Доктору Уотсону было приятно снова очутиться на Бейкер-стрит, в неприбранной комнате на первом этаже, этой исходной точке стольких замечательных приключений» – так начинается «Камень Мазарини». «У вас тут все по-старому», – сказал Уотсон слуге Билли. Может, и доктору Дойлу было просто приятно снова очутиться на Бейкер-стрит? Отвлечься хоть ненадолго, присесть, положить свой крест на пол, покурить и отдохнуть со старыми друзьями в старой гостиной, где все по-старому..

Но воспринимал ли доктор свою миссию как крест? Да нет, похоже, ничуть. Он был для своего возраста бодр и здоров, его любимая была с ним рядом, его младшие дети росли крепкими, красивыми и жизнерадостными, его сын и мать почти каждый вечер навещали его, и он знал, что у них все в порядке; он был спокоен. Смерти он ждал не со страхом, как большинство из нас, верующих и неверующих, а с радостью и любопытством; и даже то, что гораздо хуже собственной смерти – потеря любимых, – его не пугало. Он не был мучеником и не нуждался в передышке. Он просто занимался тем делом, которое любил всю жизнь: сочинял истории. Писал рассказы о Холмсе потому, что ему так захотелось; а не хотелось – не писал. Он также написал в этот период рассказы «Громила из Брокас-Корта» («The Bully of Brocas Court») и «Кошмарная комната» («The Nighmare Room») – это тоже «старое», такое же очаровательное, как все то, что он писал раньше, – нет, он нисколько не утратил легкости, ясности, изящества – а может, и новое приобрел.

В «Кошмарной комнате» нас встречает старая знакомая – демоническая красавица; у того, кто желает во что бы то ни стало найти в жизни героя точное соответствие каждой строчке из его текстов, может даже возникнуть соблазнительная гипотеза, что речь идет о Джин Дойл. «Она обладала уникальной способностью показать мужчине, что она интересуется им, вкрасться в сокровенные уголки его души, проникнуть в святая святых его натуры, куда он не пускает никого, и внушить ему, что она вдохновляет его на честолюбивые дерзания и даже на служение добродетели. В этом-то и проявлялось роковое коварство расставленных ею сетей». Муж красавицы обнаруживает пузырек с ядом, которым она намеревалась его отравить, и узнает о ее связи со своим другом (ликующий изыскатель начинает лихорадочно перебирать кандидатуры); но вместо того чтобы отомстить, герой предлагает жене свободу. «Она смотрела на него, и ее глаза зажглись новым странным чувством. перед ней был мужчина, которого она не знала раньше. Жесткий, практичный американец куда-то исчез. Вместо него она в мгновенном озарении увидела героя, святого, человека, способного подняться до недоступных людям высот бескорыстной добродетели». Ага, вот и влияние новых взглядов доктора – герой, надо полагать, усвоил Откровение! Тут приходит любовник – и муж предлагает жене выбрать, кому из двоих она даст смертельный яд.

«– Если один из нас выпьет его содержимое, это распутает узел, – он говорил пылко, почти исступленно. – Люсиль, кому достанется флакон?

В кошмарной комнате действовала странная посторонняя сила. В ней находился еще один человек, хотя ни один из этих троих, стоявших на пороге развязки своей жизненной драмы, не замечал его присутствия. Никто бы не мог сказать, сколько времени он тут пробыл и как много слышал. Но те трое не думали об этом. Поглощенные борением своих собственных

страстей, они забыли, что есть сила, более могущественная, чем они сами, – сила, которая могла в любой момент подчинить себе все и вся». Ну, решает читатель, это, понятное дело, дух с той стороны, который намерен по своему обыкновению вмешаться в дела живых, или это – рука Провидения. нет, все-таки доктор Дойл малость свихнулся на своем спиритизме. Тем временем персонажи решают доверить выбор колоде карт – и.

«Вот тогда – и только тогда – грянул гром. Незнакомец поднялся во весь рост, бледный и мрачный. Все трое вдруг ощутили его присутствие. Они повернулись к нему с напряженным вопросом в глазах. Сознавая себя хозяином положения, он обвел их холодным и грустным взглядом.

– Ну как? – спросили они в один голос.

– Скверно! – ответил он. – Скверно! Завтра будем переснимать весь ролик».

Дни идут спокойно; доктор собирается ехать в Америку – там почва благодатная для проповедей любого рода. Родные и близкие навещают его. А Луиза? До сих пор она не приходила – наверное, при всей своей кротости не могла простить того, что муж так сильно любит другую. Простит ли? Это нам еще предстоит узнать. Нас вообще ждет еще масса интересного в те восемь лет, что нам осталось быть с доктором Дойлом.

Глава четвертая

СТРАНА ТУМАНОВ

«Пап, ты когда-нибудь видел фэйри?»

«Нет».

«А я видел один раз».

Это сказал Деннис, чья правдивость «доходила до болезненности»; он описал фэйри «бесстрастно, как если бы речь шла о персидском коте». Художник Ричард Дойл, дядя Артура, в последние месяцы своей жизни каждый день рисовал своих фэйри и умер, окруженный их дружелюбными лицами, – быть может, они казались ему приятнее, чем лица людей; двадцатилетний Артур написал тогда стихотворение, в котором маленькие феи плакали по своему Волшебнику. Предсмертные альбомы-дневники несчастного Чарлза Дойла заполнены рисунками фэйри и рассказами о наблюдениях за ними. Теперь и сам постаревший Артур Дойл знал точно, неопровержимо: фэйри – есть.

Фэйри из Коттингли, одна из самых знаменитых и самых прелестных мистификаций XX века! История сказочная и начинать ее надо так, как начинают все сказки: жили-были в графстве Йоркшир две девочки, шестнадцатилетняя Элси Райт и ее девятилетняя двоюродная сестра Фрэнсис Гриффитс.

Летом 1917 года девочки показали своим родителям фотоснимки, сделанные ими в парке Коттингли, на которых были отчетливо видны фигурки фей и эльфов (будем для простоты именно так называть фэйри женского и мужского пола), стоящих или танцующих. На одной из них Фрэнсис сидела в окружении четырех очаровательных фей, на другой рядом с юбкой Элси стоял крохотный эльф. Матери девочек значения снимкам не придали и рассказам дочерей не склонны были верить, но обе женщины увлекались теософией и посещали собрания теософского кружка в городе Брэдфорде; в 1919-м они показали фотографии Эдварду Гарднеру, известному теософскому деятелю, а тот, в свою очередь, показал их высококвалифицированному фотографу Снеллингу, который заявил, что фигурки фэйри не вырезаны из бумаги и не нарисованы, более того, их несколько размытые очертания говорят о том, что они во время съемки двигались. Элси занималась в студии фотографии и даже фальсифицировала фотоснимки на заказ, но этому обстоятельству почему-то никто не придал значения – или не захотел придать.

Гарднер стал показывать снимки и слайды с них на своих лекциях; присутствовавшая на них его родственница (и знакомая Дойла) миссис Бломфилд рассказала о фотографиях доктору, который как раз собирался написать для «Стрэнда» рождественскую историю о фэйри. В июне 1920-го Дойл и Гарднер встретились. Дойл написал о фотографиях небольшую статью в «Стрэнд» – просто как о забавном казусе. Гарднеру же он выразил сомнения в подлинности снимков. Еще бы он их не выразил – он сам не так давно, когда «Затерянный мир» готовился в печать, пытался устроить грандиозную мистификацию, основанную именно на фотомонтаже!

Дойл уехал в Австралию, а девочки тем временем сделали еще три фотографии с фэйри; Снеллинг опять утверждал, что они подлинные, и Гарднер написал Дойлу об этом. Доктор начал задумываться. Ведь его отец видел фэйри, и дядюшка Ричард, возможно, тоже; ведь Гарднер был уважаемый человек и джентльмен, Снеллинг – специалист своего дела, а девочки хорошо учились в школе и были образцами примерного поведения; ведь так хотелось поверить; да и для спиритического движения полезно. «После этого открытия мир уже не посчитает за такой труд воспринять то подкрепленное физическими фактами духовное послание, какое уже было ему предъявлено».

Спириты, однако, в признании существования «маленького народца» никакой выгоды для себя не видели, а наиболее образованные из них категорически отвергали мысль о подлинности снимков. Оливер Лодж, например, писал в том же «Стрэнде»: «Впечатлительная девушка, которая любила играть и изображать разные вещи, могла с вполне невинными намерениями попытаться разбудить фантазию своих подруг, показывая им сделанные ею фигурки, а потом их же сфотографировать». Доктор Дойл потом писал о позиции, занятой Лоджем, с горькой обидой и выражал свое сомнение в том, что Лодж говорит искренне, а не руководствуется какими-то сторонними соображениями. И доктора можно понять: рыцари всегда должны стоять друг за друга, сэр Артур сэра Оливера поддержал, а сэр Оливер зачем-то пытается сэра Артура образумить.

Дойл несколько раз писал о фотографиях Гудини, но тот в своих ответных письмах этот вопрос

оставлял без комментариев: возможно, просто не мог заставить себя всерьез обсуждать подобные вещи. Сам Дойл все еще колебался. В том, что на фотографиях могут быть засняты призраки, он, кстати сказать, не сомневался никогда, сам фотографировался с духом Кингсли и верил всем фотографам, делающим подобные снимки; с одним из них, Уильямом Хоупом (не путать с Хоумом, который левитировал), будет в дальнейшем связан большой скандал. Но фэйри-то – не призраки! Это совершенно разные явления!

В марте 1921-го в «Стрэнде» появилась еще одна статья Дойла, в которой он объявлял, что склонен считать фотографии подлинными; однако в августе он дал девочкам новую камеру с двадцатью пластинками, которые пометил, опасаясь подмены. Вскоре из Коттингли пришла посылка с негативами: на новых снимках силуэты фэйри были почти неразличимы. Дойл показал их нескольким квалифицированным фотографам – они подтвердили, что негативы не подвергались никакому воздействию после съемки и что размытость контуров, несомненно, свидетельствует о движении изображенных на них фэйри. То, до чего бы в два счета догадался Холмс – что бумажные фигурки колебались от ветра, – специалистам не пришло в голову, а может, они предпочли не расстраивать доктора – он ведь за экспертизу платил.

Тем временем «дело фэйри» приобрело такую известность, что стали организовываться целые экскурсии в Коттингли. Привезли туда известного ясновидящего Джоффри Ходсона, который подтвердил, что видел фэйри «на астральном уровне», и написал об этом красочный отчет (впоследствии целиком включенный Дойлом в книгу о фэйри из Коттингли), где рассказывалось о десятках различных представителей «малого народца», которые играют, поют, принимают солнечные ванны и ездят верхом на приручeнных насекомых; он также много общался с Элси и Фрэнсис и «смог убедиться в подлинности их дара ясновидения и совершенной честности».

После этого Дойл перестал сомневаться. Новые фотографии появились в «Стрэнде», а летом 1922-го вышла в свет довольно объемистая книга Конан Дойла – «Визит фей». Большая часть книги состоит из переписки Дойла с различными людьми касательно фотоснимков из Коттингли, пересказа старинных легенд и историй, поведанных очевидцами (Ходсоном, в частности), и мнений экспертов; собственных комментариев в тексте не очень много.

Для начала Дойл подводит под существование «малого народца» научную базу. Возражения людей, не желающих признавать существование фэйри, основаны на том, что они недоступны зрению. Но что такое зрение? «Иначе как через ощущения, мы ни о каких формах вещества и ни о каких формах движения ничего узнать не можем; ощущения вызываются действием движущейся материи на наши органы чувств. <…> Ощущение красного цвета отражает колебания эфира, происходящие приблизительно с быстротой 450 триллионов в секунду. Ощущение голубого цвета отражает колебания эфира с быстротой около 620 триллионов в секунду. <…> Наши ощущения света зависят от действия колебаний эфира на человеческий орган зрения». «Мы способны воспринимать объекты, расположенные в цветовом спектре от красного до голубого, но спектр излучений на самом деле простирается в обе стороны до бесконечности. Существа, созданные из такого вида материи, которая излучает более длинные или более короткие световые колебания, не могут быть видимы нашему глазу, если только мы не сумеем настроить наши органы зрения соответствующим образом». Читатель, которого миновала зубрежка марксизма-ленинизма, может и не заметить, что из книги доктора Дойла взята лишь вторая половина цитаты. Первая – из ленинского «Материализма и эмпириокритицизма».

Вокруг одной из фигурок на поздних фотографиях было видно что-то вроде кокона, свитого из тумана; Дойл пришел к выводу, что это – особого рода магнитное поле, генерируемое фэйри. Всё не сказки, всё вполне научно: существуют объекты и явления, которые мы не способны увидеть, как, например, рентгеновские лучи – и тем не менее они реальны. «Мир значительно более сложен, чем мы воображаем, и, возможно, в нем существуют удивительные и неизведанные явления, благодаря которым нашим потомкам откроются совершенно новые отрасли науки». Да-да, сэр Артур, вы совершенно правы, соглашается Владимир Ильич: «Сущность вещей или „субстанция“ тоже относительны; они выражают только углубление человеческого познания объектов, и если вчера это углубление не шло дальше атома, сегодня – дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека. Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она бесконечно существует».

Почему же, если невидимость фей имеет научное объяснение, дети и медиумы могут их видеть? Да просто потому, отвечает доктор Дойл, что у них более развитое восприятие. В будущем наука непременно изобретет приборы, «своего рода психические очки», которые сделают мир фэйри видимым для всех нас. И мы сможем тогда увидеть, например, маленького

брауни: «Он спокоен при встрече с нами, не выказывает испуга и выглядит заинтересованным; он вглядывается в нас широко открытыми глазами с любопытным выражением, свидетельствующим об основах интеллекта» или «маленьких карликов, похожих на бесенят с виду, летящих по нисходящей линии к траве. Они образовали две линии, пересекающие друга друг. Одна линия вертикальная – головы направлены к ступням, а другая – горизонтальная, плечо к плечу. Достигнув земли, они все бегут в разные стороны, сохраняя серьезность, будто участвуют в важном». Это фрагмент из отчета Ходсона, которому полностью посвящена одна из глав «Визита фей». Ходсону простительно было не понять, что фэйри играют в некую разновидность регби, но Дойл-то наверняка догадался. Между прочим, в некоторых британских легендах говорится о том, что фэйри обожают играть в футбол и хоккей с мячом, а также заманивают к себе сильных и ловких людей для усиления своих команд (так вот откуда пошла мода на легионеров!) – и, будь доктор Дойл помоложе, быть может, его бы тоже похитили для этой благой цели.

«Мне трудно даже представить, каков может быть конечный результат того, что мы получили доказательства существования на нашей планете иной формы жизни, которая, быть может, столь же многочисленна, как и человеческая раса, жизнедеятельность которой поддерживается совершенно иным способом, чем наша; жизнь, скрытая от нашего непосредственного наблюдения благодаря различиям в колебании эфира и световых волн». И, как ни странно, подобная перспектива доктора не слишком радует. То есть, с одной стороны, он, конечно, рад любому научному открытию, но с другой… «Я смотрю в будущее со страхом. Может случиться так, что эти крошечные существа пострадают от контакта с нами! Если так – то был бы печальный день, когда мир узнал об их существовании…»

Но и не признавая реальности фэйри, человечество наносит им неизмеримый вред. С какой изумленной нежностью доктор говорит о маленьких существах, которых ему, увы, не было дано увидеть! «Как, должно быть, крошечные хрупкие сильфиды страдают от загрязнения окружающей среды, от того, что мы безжалостно вырубаем леса, в которых они привыкли жить!» Именно этим и объясняется то недружелюбие, с которым фэйри издавна относятся к своим эгоистичным и грубым соседям по планете. Нет, пусть уж лучше наука развивается и открывает людям правду; обязанность людей – отнестись к маленьким существам с добротой и уважением, и тогда, быть может, удастся завоевать их расположение, и они поделятся с нами своими знаниями, которые, в свою очередь, послужат развитию науки. Мы должны полюбить их за их красоту и очарование, помочь им, не обижать их, как мы обижаем друг друга; должны понять, что они живут рядом с нами, что они не злые, что мы заставляем их страдать.

Лишь в 80-х годах прошлого века старушки Фрэнсис и Элси признались публично в своей мистификации. Еще чуть позднее компьютерные технологии позволили проанализировать фотоснимки и доказать, что фигурки фэйри были не трехмерными, а плоскими. Установили даже образец, с которого девочки скопировали своих эльфов и фей: иллюстрации из детского сборника «Подарки принцессы Марии», опубликованного в 1915 году. Как элегантно закольцевалась бы эта история, если бы оказалось, что автором иллюстраций был Ричард или Чарлз Дойл! К сожалению, то был другой художник, Клод Шепперсон. Правда, в этом сборнике есть приключенческий рассказ «Дебют Бимбаши Джойса» («The Debut of Bimbashi Joyce»). Его автор – Артур Конан Дойл.

«В Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Ведь многие, сама знаю, дали бы 100 тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение – куда больше». Так в «Кентервильском привидении» говорила маленькая Вирджиния беспокойному духу. В апреле 1922 года – в самый разгар увлечения фэйри, но еще до написания «Визита фей», – Дойлы в том же составе, в каком ездили в Австралию, отправились в США.

Доктор не так хорошо понимал тамошний народ, как американочка Вирджиния, и его терзали опасения. «Я предвижу, какие опасности меня здесь ожидают и сколь они велики. У них острое чувство юмора, у этих американцев, а нет такого предмета, над которым им было бы легче посмеяться, чем этот. Они поглощены мирскими интересами, а это становится им поперек дороги. А главное то, что они находятся под влиянием прессы, и если пресса займет легкомысленную позицию, я не в силах буду до них докричаться».

Однако ж именно Америку называют (в том числе сам Дойл в «Истории спиритизма») родиной современных спиритуалистических учений – во всяком случае, именно там, на западе штата Нью-Йорк, в 50-х годах XIX века разрозненные попытки людей вызывать духов, сеансы фокусников и различные нетрадиционные интерпретации христианского вероучения стали рационалистически обобщаться и приобретать наукообразные формы. Пионерами – точнее, пионерками современного спиритизма обычно называют двух сестер – Кейт и Маргарет Фокс: их истории в книге Дойла посвящена отдельная глава, и мы к ней обратимся чуть далее.

Сразу же по прибытии Дойла в Нью-Йорк организатор турне Ли Кидик устроил пресс-конференцию; на следующий день в «Нью-Йорк таймс» вышла статья, в которой приезжий мессия был жестоко высмеян. Это его ничуть не охладило. В Карнеги-холле состоялась его первая американская лекция: несмотря на удушающую жару, зал был набит битком. Лекция длилась около полутора часов: говорил доктор, как всегда, просто, живо и занимательно, и публика осталась довольна. Следующая статья, в «Нью-Йорк уорлд», была намного мягче и доброжелательнее: «Сэр Артур Конан Дойл произвел ошеломляющее впечатление прошлым вечером в Карнеги-холл, пытаясь доказать существование жизни после смерти и возможность общения с мертвыми. Эффект от его речей достигается благодаря тому, что, несмотря на странность его воззрений, он производит впечатление абсолютно искреннего человека».

Дойл провел в Нью-Йорке семь лекций; все они были восприняты публикой очень хорошо и на всех был аншлаг. Как и в Австралии, демонстрировались фотографии духов; но в Австралии эти фотографии не имели столь оглушительного успеха. (Снимки из Коттингли Дойл на своих лекциях никогда не показывал, так как они не имели отношения к спиритизму.) Наиболее впечатлительную часть слушателей эти демонстрации (сопровождавшиеся музыкой) привели в такое состояние, что они падали в обморок или начинали громко кричать, призывая своих умерших близких. Люди вставали и бегали по проходам, женщины рыдали. Когда очередная лекция, несмотря на все эксцессы, благополучно заканчивалась и лектор уходил в комнату отдыха, за ним тащились толпы слушателей, выражавших свою благодарность. Были, разумеется, и скептики и недоброжелатели, но даже они не уходили с лекций доктора Дойла зевая. «Эти толпы людей не имеют ко мне никакого отношения, – писал доктор, – ибо значение имеет предмет лекции, а не лектор». Вот уж ничего подобного. Личность лектора имеет громадное значение, и Дойл как лектор обладал – как сказали бы сейчас – мощной энергетикой. (А может, это и есть эктоплазма...) Газеты перепечатывали речи Дойла целиком. Их транслировали по радио. Доктор ошибся: американская публика не была ни легкомысленна, ни смешлива. Она, напротив, всё воспринимала с устрашающей серьезностью и буквальностью.

Некоторые из последствий лекторского успеха доктора были такого рода, что у нас возникает ужасный соблазн о них умолчать – все равно читатель на русском языке этого нигде не найдет, – но доктор сам завещал нам всем быть честными. Одна женщина, Моди Фанчер, услышав по радио выступление Дойла, написала ему благодарное письмо и потом отравилась лизолом вместе со своим ребенком: она хотела немедленно оказаться «на той стороне». Один мужчина, Фрэнк Алекси, вернувшись из Карнеги-холла, убил свою жену и объяснил это тем, что после лекции за ним увязался злой дух, вынудивший его на подобный поступок. Один бедный студент покончил с собой и написал в записке, что уходит в иной мир, потому что там не надо платить за отопление. В защиту доктора можно сказать, что разных теорий проповедуется очень много (особенно в Америке) и людей с неуравновешенной психикой тоже очень много (особенно в Америке); абсолютно у каждой религии, включая самые солидные и проверенные веками, находятся поклонники, которые во славу этой религии совершают неадекватные поступки; можно сказать также, что эти люди не были счастливы здесь, на нашей стороне. И все же, как ни крути, нехорошо получается.

Дойла все эти известия (о которых сообщалось в тех же газетах, где печатались тексты его речей) привели, естественно, в ужас; журналистам он отвечал, что некоторые люди, неуравновешенные по натуре, абсолютно неверно поняли суть его учения. Свои следующие лекции он уже начинал с предупреждений о том, что в другой мир ни в коем случае не нужно торопиться – сперва надо исполнить свой долг в этом. Но репутация его была подмочена изрядно.

Все американские медиумы зазывали Дойла на свои сеансы – и он старался посетить каждый. И снова получались такие вещи, о которых говорить неприятно. В сентябре на одном из сеансов, который устраивала чета профессиональных американских медиумов, Уильям и Ева Томпсон, над туманным саваном появилось лицо Мэри Дойл; доктор был растроган необычайно. Пастор спиритуалистской церкви Хартман написал восторженный отчет об этом событии. Два дня спустя Томпсоны проводили уже другой сеанс и были арестованы. При обыске у Томпсонов нашли множество париков и другого «спиритического» реквизита, в том числе – краски, фосфоресцирующие в темноте. В газете «Нью-Йорк санди американ» появилась издевательская статья. Но на автора «Собаки Баскервилей» это впечатления не произвело, и о Стэплтонах он даже не вспомнил. Он был счастлив и не сомневался, что видел свою мать. Однако его обвинили в пособничестве мошенникам.

Гудини в письмах предлагал Дойлам всем семейством поселиться в его нью-йоркском доме; Дойлы отказались, предпочтя отель «Амбассадор» в Атлантик-Сити, недалеко от пляжа. Вполне вероятно, что на этом настояла Джин: хотя достаточного количества эктоплазмы у нее и не было, но в людях она разбиралась неплохо и видела, что иллюзионист ей не доверяет. Но,

может, просто не захотели стеснять. Сам Гудини был на одной из лекций Дойла и пригласил его в гости. В начале мая Дойл с женой посетили дом Гудини. Все было очень мило и светски. Потом хозяин отвез гостей в их отель на своей машине; по дороге он разъяснял Дойлу, как делаются некоторые медиумические трюки – например, как с помощью обыкновенного парафина и пары резиновых перчаток можно сотворить «призрачные» руки и даже с отпечатками пальцев. Но Дойл ничего не желал слушать. Пусть некоторые отдельные медиумы поступают так, как говорит Гудини, но из этого не следует, что призрачных рук не существует. Бедный Гудини все еще не понял, что невозможно раскрыть глаза тому, кто сам хочет обманываться.

Из Нью-Йорка доктор отправился с выступлениями по Новой Англии и Среднему Западу; он также посетил Торонто в Канаде. Участвовал в заседаниях всех спиритических кружков, какие ему попадались. Посещал памятные для спиритического движения места. В городе Рочестере ему показали дом семьи Фокс. Он отнесся к этому месту благоговейно, как паломник.

Кейт и Маргарет Фокс с юности общались с духами и давали публичные сеансы; вокруг них группировались не только приверженцы спиритизма, но и люди, желающие нажиться на новом развлечении. Девушки выступали с утра до вечера, зарабатывали много денег. Завели массу знакомств, любили веселые компании. Стали алкоголичками. Дойл их жалел: «Представьте себе усталых молодых девушек, лишенных материнской заботы, измотанных нападками врагов, не способных сопротивляться все возрастающему искушению обратиться лишний раз к спиртному». В 1871 году Кейт Фокс приехала в Англию. На ее сеансы в Лондоне собирались известные европейские ученые. Наш великий Бутлеров, специально приехавший в Лондон на сеанс Кейт, писал в 1876-м: «Я пришел к заключению, что явления, вызываемые медиумом, имеют объективную и убедительную природу». Слава сестер Фокс росла до тех пор, пока в 1888-м Маргарет не объявила публично о своем обмане и не отреклась от прежних убеждений. Она стала ездить по всей Америке, выступая с разоблачениями, и на этом опять зарабатывала. Дойл был убежден, что именно это обстоятельство – несмотря на то, что раньше она зарабатывала и на спиритических сеансах, – доказывает ее неискренность. Потом обе сестры неоднократно то признавались в мистификациях, то брали свои слова обратно и окончательно всех запутали. Дойл считал, что все это – побочные издержки профессии: «Опасности подстерегают слабовольных, измотанных непрерывными сеансами медиумов. Многие из них пытались снять напряжение с помощью алкоголя или прибегнуть к мошенничеству, когда ослабевали собственные психические силы. <…> Способ борьбы с перечисленными опасностями заключается в определении истинных медиумов, выплате им заработной платы, сокращении количества сеансов». Медиумы должны создать профсоюз, получать твердый оклад (и, наверное, пенсию по выслуге лет) – тогда им не придется жульничать.

Печальная судьба сестер Фокс волновала и огорчала доктора Дойла. Он считал, что им не воздали должного, сравнивал бедняжек с первыми христианскими мученицами и даже ставил их выше: «Первые женщины-последовательницы заповедей христианства исполнили свой долг с истинным благородством; они жили как святые и умирали как мученицы, однако среди них не было проповедниц или миссионеров». Немедленно по приезде в Штаты он написал статью в газету «Прогрессив синкер», где предложил воздвигнуть монумент в память двух сестер. Идея была с энтузиазмом воспринята спиритической общественностью. Памятник, правда, так и не поставили, зато построили спиритическую церковь – Дойл оказал строительству солидную финансовую помощь.

В июне, объехав более двадцати городов, Дойлы вернулись в Нью-Йорк. Гудини пригласил чету Дойлов на ежегодный банкет Общества американских фокусников, где намеревался, в частности, демонстрировать и разоблачать некоторые медиумические фокусы. Доктор ответил отказом: он боялся, что на банкете будут издеваться над его вероучением. Возможно, этот отказ был написан опять-таки по инициативе Джин: сам доктор сроду ничего и никого не боялся, а возможность поспорить его привлекала. Гудини заверил его, что ничего подобного на банкете не произойдет. Тогда Дойлы дали согласие, но предварительно вооружились собственным фокусом. На банкете присутствовали самые известные иллюзионисты, которые демонстрировали захватывающие трюки. Когда пришла очередь доктора Дойла, по его просьбе на сцене установили кинопроектор. Дойл сказал, что покажет публике картины, полученные посредством экстрасенсорного восприятия, – и на экране появились динозавры. Они ходили, дрались, ели. Даже матерых иллюзионистов номер впечатлил. То была одна из первых кинолент, где использовались спецэффекты – снимаемая в тот год экранизация Уотерсоном Ротакером «Затерянного мира», безнадежно затерянная, в свою очередь, в 1925 году и вновь восстановленная в 2002-м. (Анимацией занимался Уиллис О'Брайен – тот самый, который позднее создаст первого Кинг-Конга.) На следующий день Дойл написал Гудини письмо, где раскрыл секрет своей иллюзии; посмеялись и вроде бы все было хорошо. Семья Дойлов и семья Гудини вместе провели уик-энд в Атлантик-Сити; Гудини учил Денниса и Адриана

плавать и нырять, жена Гудини Бесс и Джин загорали, доктор читал, лежа в шезлонге. Однако уже через два дня произошел инцидент, способствовавший охлаждению отношений.

Дойл предложил Гудини устроить для него закрытый спиритический сеанс, на котором Джин поможет иллюзионисту пообщаться с его покойной матерью. Почему Гудини согласился – неясно, как неясно и то, что на самом деле произошло во время этого сеанса: свидетелей-то не было, а участникам сеанса верить в данном вопросе затруднительно. Гудини впоследствии писал, что шел на этот сеанс «с благоговейным чувством» и всерьез надеялся поговорить со своей матерью. Что-то плохо верится.

Обе стороны сходятся на том, что Джин стала писать на бумаге очень ласковое послание от матери Гудини, Цецилии Вайс. Писала она по-английски, тогда как миссис Вайс при жизни на этом языке не говорила, и рисовала христианскую символику, хотя мать Гудини была правоверной еврейкой и женой раввина. Все это не выдерживало критики даже со спиритической точки зрения: приличный медиум обязан уметь писать на том языке, на котором надобно, или уж вовсе не браться за автоматическое письмо. Вдобавок у матери иллюзиониста накануне был день рождения – а явившаяся «мать» об этом не упомянула. Гудини все это тотчас высказал Джин. Доктор стал защищать жену: в ином мире все говорят на одном языке, у всех одна религия и т. д. (Можно было, кстати, насчет языка и найти аргумент потоньше: духи-де вообще не формулируют свои послания в словах, а передают их Джин непосредственно в виде мыслей.) Гудини был крайне разозлен, но доктора Дойла ему стало жалко и публичного разоблачения не последовало. Внешне отношения остались дружескими. Дойлы были приглашены на празднование очередной годовщины свадьбы Гудини с Бесс; Гудини провожал Дойлов, когда они отплывали в Англию.

Вернувшись домой, Дойл написал (помимо «Визита фей», над которым работал еще в Америке) за лето и начало осени несколько остросюжетных и исторических новелл: «Лифт» («The Lift»), «Центурион» («The Centurion»), «Соприкосновение» («A Point of Contact»), а также статью «Спиритуализм: вопросы и ответы». Работалось ему очень хорошо. Написал «Троих» – самый нежный и лиричный текст, который когда-либо выходил из-под его пера. Написал великолепный, яркий холмсовский рассказ «Человек на четвереньках» («The Adventure of the Creeping Man»). В этом же году издательство «Джон Мюррей» – так теперь назывался бывший «Элдер и Смит» – выпустило в свет сразу несколько сборников, составленных из рассказов Конан Дойла разных лет: «Истории о кольце и лагере» («Tales of the Ring and Camp»), «Пиратские истории» («Tales of Pirates and Blue Water»), «Страшные истории» («Tales of Terror and Mystery»), «Таинственные истории» («Tales of Twilight and the Unseen»), «Медицинские истории» («Tales of Adventure and Medical Life») и «Истории былых времен» («Tales of Long Ago»), а также большой сборник его стихотворений («The Poems of Arthur Conan Doyle»). Экранизации произведений Дойла приобрели уже массовый характер.

Деньги, заработанные литературным трудом, текли рекой. (Всю выручку за лекции Дойл передал американским спиритическим обществам.) Всё было благополучно. Только нападки со стороны общества на спиритов огорчали доктора: вскоре после его возвращения в Англию разразился очередной скандал, когда комиссия Общества психических исследований публично изобличила известного своими снимками призраков фотографа Уильяма Хоупа в фальсификации.

Суть «спиритической» фотографии заключалась в том, что при проявке на снимках оказывалось нечто такое, чего перед объективом камеры вроде бы не было, – туманные лица и фигуры выглядывали из-за плеча фотографирующегося или просто позировали на каком-либо реалистическом фоне. Фотографии духов пользовались необычайной популярностью: публика полагала, что обмануть камеру невозможно. В результате фотографирование привидений превратилось в весьма доходное предприятие. Фальсификации делались разными способами: либо готовые снимки ретушировали, либо на фотопластинку заранее наносилось изображение, либо при проявлении на ней искусственно затемняли нужные места, либо попросту фотографировали кукол, манекены переодетых ассистентов; впечатление присутствия на снимке чего-то непонятного также зачастую создавалось случайно – благодаря составляющим фон растительному покрову, листве, теням, текстуре панельной обшивки и фасадам. Дойл всегда очень интересовался спиритическими фотографиями; в 1924-м он писал о том, что на фотоснимках, сделанных у Военного мемориала в Лондоне, он видел лица Кингсли и других своих родственников и знакомых, погибших на войне.

Фотографов, изготавливающих спиритические снимки, подозревали в жульничестве, но доказать ничего не могли, да не очень и старались. Хоуп стал первым, кого публично обвинили. К тому моменту он занимался фотографированием духов 20 лет; на сделанных им снимках насчитывалось более 2 500 «дополнительных» образов, как называли тогда образы призраков. Хоуп занимался духами не один: в местечке Кру, где он работал, собрался целый

кружок его товарищей по ремеслу. (Дойл эти снимки демонстрировал в Штатах.) Кружку покровительствовал архиепископ Томас Колли – такое покровительство было очень важно, ибо изготовители спиритических снимков, как и прочие медиумы, рисковали быть привлеченными к уголовной ответственности – причем вовсе не за мошенничество.

В Англии в то время все еще действовал закон от 1735 года – Акт о юридическом преследовании и уголовном наказании за колдовство; медиумов также преследовали по закону от 1824 года – Акту о бродяжничестве. Законы эти – государственные, светские, но подоплека их принятия была, естественно, религиозная. Медиумы подвергались уголовному преследованию не за жульничество, а за то, что они были медиумами, то есть ведьмами и колдунами. Запрещено было всё: гадание, знахарство, предсказание судьбы, ясновидение, составление гороскопов. Дойла этот анахронизм приводил в отчаяние, и все последние годы своей жизни он посвятил, в частности, борьбе за его отмену. Медиум-мошенник, по его мнению, должен был быть судим именно за мошенничество, а не за «колдовство»; факт мошенничества должен был доказываться в каждом конкретном случае, а если он не доказан, то преследовать медиума не имеют права.

Итак, заручившись поддержкой архиепископа, Хоуп и его коллеги из Кру занимались бы своим делом и дальше, но в их жизнь вмешался один весьма незаурядный человек – журналист Гарри Прайс, с которым Дойл был в приятельских отношениях. В наши дни его считают первым охотником за привидениями. Прайс с юных лет интересовался спиритическими явлениями и полагал, что некоторые из них реальны; но свою деятельность он направил на то, чтобы разоблачать случаи фальсификаций и таким образом отделять зерна от плевел. Он был хорошим иллюзионистом (хотя никогда этим не зарабатывал; богатство жены позволяло ему вести жизнь независимого исследователя) и наряду с Гудини считался одним из наиболее квалифицированных экспертов в области медиумического мошенничества. Несть числа медиумам, которых разоблачил Прайс за свою жизнь; не было такой уловки, такого фокуса, который он бы не смог разгадать. Не поздоровилось и Хоупу.

Прайс в 1922-м только что вступил в Общество психических исследований, а Хоуп к тому времени уже переехал в Лондон и стал очень знаменит; когда общество решило расследовать деятельность фотографа, Прайс с энтузиазмом взялся за это дело. Ему без особого труда удалось доказать, что Хоуп подменял фотографические пластинки и что образы «духов» представляли собой заранее сфотографированные картинки из книг и семейных альбомов. Прайс немедленно опубликовал свои разоблачения.

Оливер Лодж признал их справедливыми. Но Дойл признавать не хотел. Разоблачениям своих прежних товарищей он не поверил и немедленно написал горячую статью «Факты в защиту спиритической фотографии», которую затем воспроизвел в отдельной главе «Истории спиритизма». Фактыто все были как раз против. Но доктор, несмотря на свою любовь к фактам, отрицал любые факты, если они ему были не по душе.

В своей работе он перечислил более десятка фотографов, которые представляли снимки призраков начиная с 1861 года, – все они были, разумеется, честнейшие люди, включая тех из них, кто признался в мошенничестве, – их просто насильно вынудили поступить так. А вот те люди, которые фотографам не верили, – либо невежды, либо сознательные фальсификаторы. Комиссия общества была против Хоупа «в заговоре». Дойл сам лично общался с Хоупом и с другим фотографом из Кру, миссис Дин; оба безусловно обладали медиумическими способностями. Однажды, правда, миссис Дин таки подменила коробку с пластинками, которую ей дали проверяющие, на другую, где на все пластинки были заранее нанесены изображения «призраков». Но кто виноват? Виноваты те, кто принуждал ее демонстрировать свои способности постоянно, а ведь медиум тоже человек и может устать. Подумаешь, один раз она сжульничала, это не значит, что она жульничает всегда; а хотя бы и всегда, из этого отнюдь не следует, что жульничают Хоуп и другие. Что же касается Хоупа, доктор лично давал ему пластинки, наблюдал за его работой, сам проявлял фотографии и ручается словом джентльмена, что подмены быть не могло.

В конечном итоге Дойл, защищая Хоупа, поссорился с руководством общества и отказался от дальнейшего членства в нем. Впоследствии он писал об обществе в раздраженном тоне, обвиняя его членов в склонности доверять недобросовестным людям. Забавно, что его противник Гарри Прайс вышел из общества примерно по тем же причинам.

Доктор обычно гневался на тех людей, которые отвергали спиритизм априори, не пытаясь изучить явления, о которых шла речь; но он также гневался на тех, кто, изучив эти явления, пришел к противоположным, чем он, выводам. Спустя 11 лет Прайс, переживший Дойла, разыскал одну из помощниц Хоупа, которая дала ему дополнительные доказательства мошенничества знаменитого фотографа. Прайс сожалел о том, что у него не было этих

доказательств тогда, в 1922-м; если бы он мог предъявить их Дойлу, дружба могла бы сохраниться. Однако доктор вполне мог остаться глух и к этим доказательствам: он умел быть глухим, когда хотел. Прайс говорил о Дойле с большой нежностью: «Среди всех известных людей, являющихся приверженцами спиритизма, он, вероятно, был самым некритичным. Его крайнее легковерие приводило в отчаяние его коллег, однако все они относились к нему с глубочайшим уважением благодаря его абсолютной честности. Бедный, дорогой, милый, доверчивый Дойл! В его огромном теле жила душа ребенка».

В октябре в Британии снова сменилось правительство. Перед Парижской мирной конференцией 1919—1920 годов Ллойд Джордж одержал победу, но потом популярность правительства стала уменьшаться: бюджетные траты вызвали возмущение и критику консерваторов, строгие меры экономии – недовольство радикалов, плачевным оставалось положение в Ирландии. Неудачной оказалась и внешняя политика. В октябре 1922-го Ллойд Джордж вынужден был подать в отставку, а новым премьер-министром стал консерватор Бонар Лоу. Дойл никогда не питал к бывшему премьеру большой симпатии, но и Лоу ему не особенно нравился; он продолжал симпатизировать Черчиллю и предпочел бы видеть во главе правительства именно его. Но Черчилль, покинувший военное министерство после того, как Британия была вынуждена признать советское правительство, впервые с 1900 года потерпел поражение на выборах. Особая ирония судьбы заключалась в том, что удачливым соперником Черчилля на выборах стал… бывший друг доктора Дойла – Эдмунд Морель, баллотировавшийся от партии лейбористов.

Вряд ли доктор злился на Мореля, но неудача Черчилля его очень расстроила. Он не потерял интереса к политике. Но в конце года в его жизни произошло событие, которое затмило все земные дела: он познакомился с существом, чье мнение обо всем происходящем на нашей планете будет для него отныне гораздо более важным, чем чье-либо другое.

«10 декабря 1922 года.

Дж. К. Д. и А. К. Д.

Моя мать прибыла.

– Я счастлива, мой милый сын. Все мы знаем и любим Вас. Спасибо за то, что Вы помните обо мне. (Мы в тот день собирались положить цветы на ее могилу.) Я не хотела часто беспокоить Вас и отвлекать от Ваших занятий. <…> Ваш духовный руководитель – очень высокоразвитый дух. Он будет помогать Вам и инструктировать Вас. Его имя – Финеас. Он умер тысячи лет тому назад на Востоке. Он хочет сказать Вам, мой дорогой, что Вы должны исполнить большую работу на Земле. <…> Он будет говорить с Вами.

– Мы – братья. Ваша жена оказывает нам неоценимую помощь.

– Скажите, должны ли мы снова ехать в Америку?

– Это – желание Бога. Вы должны ехать».

Это цитата из книги «Финеас говорит», в которой Дойл пятью годами позднее обобщит многочисленные разговоры с высокоразвитым духом Финеасом, которому его представила Мэри Дойл, а также с другим духом, Юлиусом, с которым Финеас, в свою очередь, его познакомил. Несмотря на то, что Финеас умер «тысячи лет тому назад на Востоке», он изъяснялся исключительно на современном английском – но это можно отнести на счет его разносторонней образованности.

Дойл отмечает, что все духи – все как один, включая высокопоставленного Финеаса, – каждый раз выражали глубочайшую признательность доброй леди Конан Дойл за помощь в общении. Свекровь благодарна, пасынок благодарен, деверь благодарен; конечно же только злой человек объяснит редкость визитов Иннеса тем, что братьев связывало множество воспоминаний, о которых леди могла не знать и боялась попасть впросак. Вот только первая жена доктора почему-то ни разу на сеансы Джин не пришла – удивительный факт! И никогда не придет. Плохо звали?

Как бы то ни было, благородный Финеас и леди Конан Дойл помогли доктору выдержать удар, который сама же леди своим незнанием еврейской письменности и спровоцировала – полутора месяцами ранее Гудини опубликовал в газете «Нью-Йорк сан» большую статью, где высказывал все, что он думает по поводу спиритизма вообще и четы Дойлов в частности: «На подобных сеансах мне никогда не довелось видеть или слышать что-либо, что могло бы меня убедить в возможности общения с умершими». Другие американские издания перепечатывали статью. (Потому-то Дойл и спрашивал Финеаса, нужно ли ему снова ехать в Америку, где

общественность настраивают против него и его жены.) Финеас успокоил доктора на этот счет. Но в перепалку с Гудини тот все же вступил: как публичную, так и частную. Он написал иллюзионисту: «Вы получили все необходимые доказательства; если Вы их не принимаете, я не намерен впредь обсуждать с Вами этот вопрос». И тем не менее продолжал обсуждать.

Они написали друг другу множество писем: Дойл ругался, Гудини замечал, что доктор сам призывал всех к правдивости и искренности и ему, Гудини, не совсем понятно то раздражение, в которое Дойла привело честное и открытое высказывание человеком своего личного мнения. В начале 1923-го Гудини стал членом Американского научного комитета по расследованию спиритических явлений, что вызвало очередной приступ ярости у Дойла: «Вы не можете заседать в этом комитете и быть беспристрастным. Позиция его предвзятая. Все эти комиссии – жалкий фарс». Комитет разоблачил очередную шарлатанку, выдававшую себя за медиума – Мину Крэндон; Дойл был в ужасном гневе. Он верил Мине. Он безоговорочно верил всем, кто ему не противоречил, – любому фокуснику, любому фотографу. Где была его логика, куда девалась дедукция? Почему то и другое не отказывало ему, когда он составлял очередную петицию по делу Слейтера или писал рассказы о Холмсе, по-прежнему блистающие ясностью? «Если бы не эти странные припадки, – говорит один из персонажей „Человека на четвереньках“, – я бы сказал, что он никогда еще не был так энергичен и бодр, а ум его так светел. И все же это не он, это не тот человек, которого мы знали». Не тот человек?

Необычайная доверчивость доктора, приводящая в изумление всех исследователей, наводит на одну гипотезу: может быть, он считал, что его – человека разумного, образованного, пожившего на свете и видавшего виды, человека, наделенного этой самой логикой, неоднократно помогавшей ему в реальной жизни и в книгах разгадывать тайны и устанавливать личность преступника, – *невозможно обмануть.* Да, Гудини раскрывал ему секреты некоторых своих фокусов; некоторых, но не всех! Оставались трюки, способов исполнения которых доктор своим развитым разумом постичь не мог. Если он с помощью наблюдательности и логики не сумел понять, каким образом Хоуп его обманывает, – значит, Хоуп не может обманывать. Вспомним фразу из «Старка Монро», которая нас так умиляла: «Если мой разум мне откажется помогать – что ж, я обойдусь без его помощи». Но пусть читатель, у которого наш герой к этому моменту вызывает одно лишь недоумение или раздражение, все-таки помнит, что доктор Дойл все это время продолжает вести переписку по делу Слейтера и добиваться для него свободы.

Раз Финеас велит ехать в Америку – значит, едем. В апреле 1923 года Дойлы с детьми отправились в новое путешествие по Штатам и Канаде. Маршрут их на сей раз был еще более напряженным и охватывал более тридцати городов. Всё повторялось: лекции, собиравшие полные залы, журналисты, доброжелательные интервью, недоброжелательные и издевательские статьи, знакомства, посещения спиритических сеансов. Правда, в Штатах публика на лекции рвалась уже меньше и репортеров тоже было меньше – всякая сенсация постепенно приедается. Зато больше было критики и острых вопросов – даже те, кто готов был разделить и принять этическую сторону учения доктора, желали, чтобы докладчик высказал негативное отношение к шарлатанству и жульничеству, процветающим в среде спиритов, в частности, к фотографиям «духов». Встань доктор с самого начала твердо и определенно на ту позицию, которую он в своих работах нехотя был вынужден высказывать – что жуликов полным-полно, но это не имеет к спиритизму как таковому ни малейшего отношения, – возможно, люди понимали бы его лучше. Но он всегда в подобных ситуациях вел себя как преступник на допросе: отпирался до тех пор, пока это было возможно, и когда было уже невозможно – все равно продолжал отпираться.

«Отрицают подлинность фотографий духов те люди, которые их никогда не видели», – заявлял он. (И ведь, откровенно говоря, был прав: 99 процентов из тех, кто считал снимки фальшивыми, на них даже не взглянули.) Это его больше всего злило в людях, презирающих спиритизм, – нежелание хотя бы попробовать. «Представьте себе дилетанта-астронома, не имеющего даже подзорной трубы, насмешливо и высокомерно оспаривающего выводы ученых, работающих с телескопом, – и вы поймете, кому подобны люди, не обладающие собственным опытом в области психических явлений, но тем не менее высказывающие критические суждения по этому вопросу». Дойл заклинал своих слушателей не относиться к спиритизму предвзято, не выносить априорных суждений, не верить никому на слово, а руководствоваться одной лишь практикой, одними лишь опытами, одним лишь собственным разумом. Как можно возражать против такого подхода?! Правда, тех людей, которые призыву доктора следовали – изучали спиритизм, наблюдали за деятельностью медиумов, накапливали опыт и, руководствуясь собственным разумом, приходили к выводам, отличным от тех, к каким пришел сам доктор, или даже не приходили вообще ни к каким определенным выводам, а оставались в недоумении, – он почему-то ругал и называл их злонамеренными шарлатанами.

Наиболее тяжелым испытанием для Дойлов стало посещение Солт-Лейк-Сити: после того, что

доктор в «Этюде в багровых тонах» написал о мормонах, было трудно рассчитывать на хороший прием. Масла в огонь подлила гувернантка, мисс Френч: в поезде она рассказывала детям всяческие ужасы о нравах мормонов и высказывала опасения, что их всех из мести похитят и убьют. Дети всю дорогу тряслись от страха; маленькая Джин плакала. Отец, узнав о причине ее слез, пришел в ярость. Но некоторые жители Солт-Лейк-Сити и в самом деле были недовольны. Профессор Янг, изучавший историю мормонов, организовал прием в честь Дойла; ему было предоставлено помещение для лекций. Епископ Нибли, однако, высказался по отношение к гостю весьма ядовито: «Мы не проявили нетерпимости и позволили ему выступить, благодаря чему сэр Артур положил в свой карман несколько тысяч долларов. Приятно ли ему было принимать деньги от мормонов после того, как он вылил на них столько грязи в своей книге?»

Репортеры, естественно, ухватились за повод раздуть скандал и обратились к Дойлу за комментариями. Тот заявил, что жители штата Юта оказали ему самый дружественный прием и он, в свою очередь, самого высокого мнения о прекрасных жителях штата Юта и благодарен им за проявленный либерализм; но слова епископа он расценивает как клевету, ибо ни разу не присвоил ни одного цента из денег, заработанных лекциями. Что же касается «Этюда» – он не отказывается ни от единого слова в этой книге, так как писал ее на основании исторических материалов, которые считал и считает достоверными. Дойл требовал извинений от Нибли; другой житель Солт-Лейк-Сити, Хиггинс, потребовал публичных извинений от Дойла за то, что тот опорочил мормонскую церковь. В итоге никто ни перед кем извиняться не стал, а Дойл в следующем интервью сказал, что предлагает всем отнестись к «Этюду» как к беллетристике, каковой она и является, и в дальнейшем не затрагивать эту тему. А гувернантку, запугавшую детей, он уволил.

Из Штатов – на север; канадцы, для которых (кроме жителей Виннипега и Торонто) все это было в первый раз, встречали Дойла с восторгом. Билетов на выступления невозможно было достать. Канадские газетчики были менее критичны, чем американские, и писали в самых доброжелательных тонах о деятельности. «любимого нами автора Шерлока Холмса». Дойл не обижался: в интервью он неоднократно признавал, что, не будь он благодаря Холмсу так знаменит, слушателей на лекциях было бы значительно меньше. В городе Калгари его спросили, будет ли он писать новые рассказы о Холмсе; Дойл ответил, что это вполне вероятно, но обещать он не может – очень устает, пропаганда спиритизма отнимает все его силы. Ему было тяжело подниматься по ступенькам. У него развилась одышка. Глаза его слабели: уже три года он был вынужден носить очки, которые его сильно раздражали и потому обычно находились не на носу, как положено, а в руке: он крутил и размахивал ими во время выступлений. «Он сказал, – писала местная газета, – что иногда у него возникает ощущение, что его физические силы уже изменили ему, но его поддерживает некая высшая сила, и поэтому по завершении утомительной поездки, в ходе которой ему удалось донести до людей свои убеждения, он порой чувствует себя даже лучше, чем до нее». Усталость, однако, не мешала доктору посещать спортивные состязания почти в каждом городе, который он проезжал. Гостеприимные хозяева пытались увлечь его бейсболом и той игрой, что американцы называют футболом; Дойл на матчи ходил, спортсменов хвалил, но признавался, что старый добрый крикет и нормальный европейский футбол намного милее его сердцу.

Промчавшись за два с половиной месяца через всю Канаду с запада на восток, в августе Дойлы вернулись в США. Хотя доктор немало пострадал от американских репортеров, тамошние газеты с удовольствием предоставляли место для его выступлений. Именно в «Нью-Йорк таймс» доктор 2 сентября опубликовал статью, где рассказывалось о нескольких появлениях в Англии духа Оскара Уайльда: сперва он продиктовал медиуму Эстер Доуден пьесу, затем – ей же – несколько прозаических отрывков. «Я блуждаю в вечных сумерках, но знаю, что в мире за алым закатом следует яблонево-зеленый рассвет». «Май всегда крадется, как белый туман, над лужайкой или изгородью, и каждый год ягоды боярышника наливаются кроваво-красным цветом после своей белой смерти в мае». Эти фразы, по мнению доктора, в точности воспроизводили стиль мышления и речи великого эстета. Ведь он так любил краски! Дойл, кажется, забыл, как сам в молодости пытался пародировать знаменитых литераторов.

Но статья рассказывала отнюдь не только об Уайльде: доктор сообщал американским читателям об успехах спиритизма по всему миру. В Мюнхене доктор Шренк-Нотцинг демонстрировал эктоплазму ста ученым, и «все они были вынуждены признать истинность своих ощущений». В Парижском метафизическом институте подлинность телекинеза и других спиритических явлений засвидетельствовали несколько издателей, несколько медиков, представитель префектуры полиции и трое ученых – Рише (французский физиолог и психолог, лауреат Нобелевской премии, способствовал тому, что автоматическое письмо стали использовать при исследованиях истерии), Фламмарион (французский астроном, исследователь планет Солнечной системы, автор книги «Множественность обитаемых миров») и сэр Оливер Лодж. Было, правда, в Европе еще множество ученых, не менее выдающихся,

чем Рише и Лодж, которые спиритизм отрицали, но ведь они не ходили по спиритическим сеансам! Как можно отрицать то, чего не видел? Факты и только факты! Все по сей день удивляются: как все-таки Дойл мог быть таким легковерным? А что, если он легковерным вовсе не был? Если он, напротив, был предельно недоверчив? Не доверял никому и ничему, чего не видел лично (или – в крайнем случае – не видели лично несколько уважаемых джентльменов безупречного поведения); если не мог постичь сам какого-то секрета – не верил тому, кто якобы его постиг. Допустим, у доктора исчез бумажник – это факт. Доктор не смог догадаться, как это было сделано, – значит, произошло чудо. Пусть другие сколько угодно рассказывают о ловком карманнике – это домыслы, ведь его никто за руку не поймал, факта нет! Одни гипотезы!

Дойл отвергал возможность обобщения – вот в чем его проблема; певец дедуктивного метода мышления, он полностью отрицал индуктивный, восходящий от общего к частному. Если доказано, что преступник убил 99 человек, – отсюда вовсе не следует автоматически, что именно он убил сотого: доказывать фактами необходимо *каждое* преступление. Если медиума ловили на жульничестве 99 раз, но в сотый раз не сумели поймать, – значит, в этот сотый раз он был невиновен и творил чудо! Разве не осуждают у нас невинных?! Никому нельзя верить на слово – ни полицейским, обвинившим Слейтера, ни самому Слейтеру, а только фактам!

Мало ли что там Гудини видел на каком-то сеансе – а доктора Дойла на этом сеансе не было! Мало ли что Прайс один раз поймал Хоупа за руку – а еще десять раз поймать не смог! Мало ли кого какая-то там комиссия разоблачила – а доктор в этой комиссии не участвовал! Дело бедняги Идалджи тоже комиссия разбирала – и чего они там наворотили, покуда не пришел доктор Дойл и лично не изучил факты? Факты, факты! Видеть все улики своими глазами! «Отбросьте всё невозможное – и оставшееся, как бы оно ни было невероятно, и есть истина». Но большинство людей рассуждают иначе: «Отбросьте всё невероятное – и.» Утверждаем: не был доктор доверчив, не был! Совсем даже наоборот! Не верил ничему, чего не видел, не понял, не пощупал, не попробовал на зуб. Не верил церкви, потому что она пренебрегала фактами; при всем своем уважении к науке не верил и ученым, потому что они создавали теории на основании анализа ста тысяч фактов – а ведь осталось еще двести или триста тысяч, которые они не сочли нужным рассматривать! Кто докажет, что яблоко *всегда* будет падать вниз, а не вверх? А если я сам видел, как оно один раз упало вверх?!

И тут, кстати сказать, его подход самым удивительным образом совпадает с позициями двух его идейных недругов. Бернард Шоу, «Святая Иоанна»: «В Средние века люди думали, что Земля плоская, и они располагали, по крайней мере, свидетельством собственных органов чувств. Мы же считаем ее круглой не потому, что среди нас хотя бы один из ста может дать физическое обоснование такому странному убеждению, а потому, что современная наука убедила нас в том, что всё очевидное не соответствует действительности, а всё фантастичное, неправдоподобное, необычайное, гигантское, микроскопическое, бездушное или чудовищное оправдано с точки зрения науки». Честертон, «Ортодоксия»: «Каким-то образом возникла странная идея, будто люди, не верящие в чудеса, рассматривают их честно и объективно, а вот верящие принимают их только из-за догмы. На самом деле все наоборот. Верящие в чудеса принимают их (правы они или нет), потому что за них говорят свидетели. Неверящие отрицают их (правы они или нет), потому что против них говорит доктрина».

Вернемся к призраку Уайльда: хотя в своей статье Дойл писал о посланиях от Уайльда как о факте, не подлежащем сомнению, самой Доуден он в письме говорил несколько другое: обстоятельства жизни писателя настолько широко известны, что вполне возможно сознательное или бессознательное влияние знаний и представлений самих медиумов на содержание данных посланий. Двумя месяцами раньше, когда Дойл был в Канаде, местная женщина-медиум по фамилии Пул представила ему сообщения, полученные ею от покойного Стивенсона: некоторые фразы в них являлись прямыми цитатами из стивенсоновских книг, но доктор истолковал это в пользу медиума, так как миссис Пул, по ее словам, Стивенсона сроду не читала. Доверчивость? Но разве кто-то доказал, что эта дама хоть раз открыла книгу Стивенсона?! Доктор не верил, а изучал факты; и к каждому странному факту подходил с презумпцией невиновности. А странных фактов в мире так много – кто сумеет объяснить их все? Пользуясь дедуктивным методом – никто и никогда. Если бы наукой занимались следователи (или писатели), она по сей день не продвинулась бы дальше трех китов.

В Америке продолжилась публичная перебранка с Гудини. Когда Дойл в городе Денвере давал интервью местному репортеру, тот сказал ему, что Гудини предлагает награду в пять тысяч долларов любому так называемому медиуму, который осуществит трюк, какого Гудини не смог бы разгадать и повторить. Репортер написал, что Дойл ответил, что даст Гудини пять тысяч долларов, если тот «покажет мне мою мать». (В английском языке это выражение не имеет того несколько комичного оттенка, какой оно приобретает у нас.) Потом, правда, выяснилось, что репортер слова Дойла исказил. Тем не менее извинения пришлось приносить Дойлу, а не

репортеру. Оно и поныне так бывает.

Там же, в Денвере, они встречались лично. Потом Гудини дал интервью лос-анджелесской газете «Окленд трибюн», где высказывал свое мнение о спиритизме; Дойл написал ему несколько писем: «Мне очень жаль, что между нами все рушится, мы чувствуем искреннее дружеское расположение к миссис Гудини и к Вам лично, но „друг тот, кто поступает по-дружески“, и мы не можем считать дружескими Ваши поступки, когда Вы высказываете вещи, в которых нет ни слова правды». После таких заявлений должна бы последовать дуэль – или как минимум полный разрыв. Но дружба иногда бывает иррациональной, как любовь: переписка продолжится.

Вернувшись домой летом 1923 года, Дойл подсчитал, что к этому времени он с проповедью спиритического учения проехал примерно 80 тысяч километров, а это то же самое, что дважды объехать Землю по экватору. Его лекции посетили 250 тысяч слушателей. Он получал более трехсот писем в день. Он потратил на пропаганду спиритизма в Британии и за границей около 150 тысяч фунтов стерлингов (что приблизительно составляет 4 миллиона 500 тысяч (!) современных фунтов). Ему было 64 года. Он очень устал и решил на год прервать поездки за границу. После этого он планировал поехать в Скандинавские страны.

В 1923-м Дойл написал для «Стрэнда» великолепного и, как всегда, весьма материалистического «Вампира в Сассексе» («The Adventure of the Sussex Vampire»). «Реальная действительность – достаточно широкое поле для нашей деятельности, с привидениями к нам пусть не адресуются». Ребенок с ангельским личиком оказывается преступником – ход довольно необычный для литературы того времени, если не считать «Поворота винта», которым Дойл восхищался.

Почему Дойл так и не захотел свести Холмса с настоящими духами? Высказывать предположения можно до бесконечности. Одни исследователи полагают, что в какой-то части своей души (или разума) Дойл оставался рационалистом (по Лайсетту, у Дойла было что-то вроде раздвоения личности), другие говорят, что он просто относился к писанию рассказов о Холмсе очень формально и потому не желал излагать в них свои истинные взгляды. Часто высказывается мнение, что Дойл все-таки наделил позднего Холмса тягой к спиритизму; в поддержку этой точки зрения приводятся десятки цитат, в которых, на наш взгляд, увидеть сходство взглядов сыщика и автора можно, но только при очень большом – нет, поистине при гигантском желании. Например, в рассказе «История жилички под вуалью» Холмс удерживает от самоубийства несчастную изуродованную женщину, а когда она спрашивает его, кому нужна ее жизнь, отвечает: «Откуда вам знать? Пример терпеливого страдания сам по себе – драгоценнейший из уроков миру, не знающему терпения». В «Москательщике на покое» Холмс философствует: «Мы тянемся к чему-то. Мы что-то хватаем. А что остается у нас в руках под конец? Тень. Или того хуже: страдание». Ну и что? Если каждого человека, который время от времени разглагольствовал о смысле жизни (за трубочкой и рюмочкой) или попытался отговорить кого-нибудь от суицида, записывать в идейные единомышленники Конан Дойла, то туда следует зачислить полмира. Холмс не отрицает спиритизм, не ругает его: он просто им не интересуется. Дойл, скорее всего, просто следовал логике литературного образа: Холмс таков, каким он был сотворен, и не в воле автора ломать характер героя.

В 1924-м доктор написал о Холмсе и Уотсоне еще один маленький, не входящий в сборники рассказ – «Как Уотсон учился делать фокусы» («How Watson Learned the Trick»). Это было сделано для серии книг-миниатюр «Библиотека Королевского кукольного дома». Эта забавная вещица является своего рода продолжением «Благотворительной ярмарки», и в ней доктор Уотсон пытается блеснуть своими способностями к дедукции. Нетрудно догадаться, с какими результатами.

Дойл не только писал собственные работы по спиритизму, но и много занимался переводами. Леон Дени, французский патриарх спиритизма, автор десятков теоретических трудов, которые спиритуалисты изучали, как революционеры «Капитал», написал книгу о феномене Жанны д'Арк. Как нетрудно догадаться, в ней доказывалось, что Жанна была медиумом и в ее деятельности ею руководили духи – они в интерпретации Дени являют собой примерно то же самое, что святые в традиционной трактовке. Дойл озаглавил свой перевод «Тайна Жанны д'Арк» («The Mystery of Joan of Arc») и сопроводил ее предисловием: «Я настолько люблю эту книгу и ей восхищаюсь, что мне бы очень хотелось следовать ее тексту как можно ближе. Изложение темы в ней настолько полно и совершенно, что мне ничего не остается добавить от себя, кроме разве только того, что, на мой взгляд, – и я совершенно в этом убежден – непосредственно после Христа Жанна д'Арк является на этой Земле наиболее высоким духовным существом, о котором у нас имеются достоверные сведения. Перед ней чувствуешь потребность преклонить колена».

Дойл сравнивал Жанну Леона Дени с Жанной Анатоля Франса («Жизнь Жанны д'Арк») и Бернарда Шоу («Святая Иоанна») – сравнивал, естественно, не в пользу двоих последних: у Дени понимание Жанны «более здраво» и «более истинно». В трактовке Франса Жанна – миф, созданный церковниками; ее – психически неуравновешенного и подверженного галлюцинациям (но при этом – наделенного прекрасными душевными качествами) человека – использовали в своих интересах политические силы; ее «видения» инспирированы лицами духовного звания. У Шоу Жанна была «здравомыслящей и сообразительной крестьянской девушкой, наделенной необыкновенной силой духа и физической выносливостью», и при этом – подлинной духовидицей; она также – «жертва лицемерия сильных мира сего, которые, хотя и объявляют ее святой, снова позволили бы ее сжечь».

Понятно, почему Дойла приводила в бешенство книга Франса (хотя церковных мифов он и сам не любил), но Шоу-то чем ему на этот раз не угодил? Свою работу Шоу пишет как бы «в пику» Вольтеру и Франсу, защищая Жанну и отстаивая ее психическую нормальность; духовидения он не отрицает, напротив, защищает духовидцев, доказывая, что они вовсе не обманщики и не сумасшедшие. Вообще в тексте «Святой Иоанны» (имеется в виду не пьеса, а прозаический комментарий, предваряющий ее) обнаруживается множество мыслей и даже фраз, которые вполне могли бы принадлежать Конан Дойлу. «Церковь, в которой нет места для свободомыслящих, которая, более того, не воодушевляет и не награждает свободно мыслящих абсолютной верой в то, что мысль, когда она действительно свободна, сама, по своим законам, должна найти путь, ведущий в лоно Церкви, – такая церковь не имеет будущего в современной культуре». Ну и что здесь доктору не понравилось? Что не так?! Ах, разве вот это: «...бесстыдная подмена святых преуспевающими жуликами, негодяями и шарлатанами в качестве объектов поклонения». Доктор отнес эти слова на счет медиумов – и был прав.

Ни Шоу, ни даже Франс ничем Жанну как человека не оскорбили, не обидели. Франс писал, что она принципиальным образом отличается от других исторических персонажей, страдающих галлюцинациями: «Они настолько же неуклюжи, насколько она прекрасна, и неоспоримо то, что они терпели неудачи в то время, как она возвысилась благодаря своей внутренней силе и расцвела в легенде». Шоу наделял ее мощным интеллектом, великолепными организаторскими способностями, идеальным здравым смыслом (качество, так любимое Дойлом), ярчайшей индивидуальностью. Оба отнеслись к ней с уважением и нежной жалостью. Но они – какое кощунство! – отказывали ей в умении выделять в больших количествах эктоплазму..

Дойл вступил в возраст, когда люди обычно садятся за мемуары; он стал писать «Воспоминания и приключения» (частично они набрасывались еще в течение трех—пяти предыдущих лет). С октября 1923 года они будут публиковаться в «Стрэнде» небольшими отрывками. Эту книгу мы столько цитировали, что отдельно говорить о ней вряд ли требуется. Она написана прелестным языком, полна мягкого юмора и наивной важности. Она писалась так, как жилась жизнь, – последовательно: доктор не пытался переосмысливать свои ранние воспоминания в свете своих поздних убеждений. Читатель, по какой-либо причине оборвавший чтение этой книги на событиях Первой мировой, даже не заподозрит, что ее писал человек, считавший себя носителем необычайной миссии и каждый день разговаривавший с призраками. О некоторых фактах эта книга умолчала – но не существует таких мемуаров, автор которых не умолчал бы ни о чем. Это блестящий образец беллетристики и мемуаристики, который показывает, что религиозное «помешательство» доктора нисколько не отразилось на его умении рассказывать истории...

В первой главе своих мемуаров Дойл написал: «Один из пока не осуществленных мною планов – собрать как можно больше работ и устроить в Лондоне выставку Чарлза Дойла – вот удивились бы критики, узнав, каким он был великолепным и самобытным художником! – по-моему, самым великим из всей семьи». В 1924-м он свой план осуществил. Выставка картин Чарлза была организована. Она была встречена критиками благожелательно, но ажиотажа не вызвала. Адриан Дойл в своей книге «Подлинный Конан Дойл», опубликованной в 1945 году, с гордостью заметил, что его семья является «единственной в Британской империи семьей, поставившей для Национального биографического словаря пятерых отдельных героев на протяжении всего трех поколений». Но бедный Чарлз Алтамонт Дойл в словарь так и не попал. А все-таки люди увидели его фантастические картины. Теперь любой может найти в Интернете репродукции с них и, не веря никому на слово, «собственным разумом» решить, был ли он великим художником.

На осень у доктора Дойла была запланирована поездка в Скандинавию. Но она не состоялась.

«– Мы чувствуем, что вы необходимы более здесь, в Англии. Англия ведет мир за собой. Если Англия примет наши идеи, то мы таким образом проложим путь к любой другой стране. Вы ослабите нашу энергию, если уедете сейчас. Нужно быть здесь и ковать железо, пока горячо.

– Но зимой я и так буду читать лекции здесь.

– Мы хотим, чтобы вы остались, но мы не можем запретить вам ехать. Поверьте, что мы видим дальше, чем вы.

– Я приму ваш совет».

Этот диалог с мудрым Финеасом состоялся 17 июля 1924 года. Нас не оставляет подозрение – быть может, несправедливое, – что леди Конан Дойл просто надоели бесконечные поездки. Так или иначе, но Дойлы остались дома.

В этом же году – так, во всяком случае, считает большинство биографов, – вновь возник вопрос о пэрстве. К доктору был прислан с деликатным поручением его дальний родственник, преподобный Ричард Барри-Дойл: он намекнул, что Дойла хотели бы пожаловать титулом, но с одним условием: перестать пропагандировать спиритуализм. Для доктора это было примерно то же самое, что перестать дышать. Так он и не попал в палату лордов...

1924-й подарил нам еще два рассказа о Холмсе: «Три Гарридеба» («The Adventure of the Three Garridebs»), где Холмс отказывается от титула, и «Знатный клиент» («The Adventure of the Illustrious Client»), в котором у Холмса появляется новый помощник, как будто позаимствованный у Честертона – раскаявшийся преступник Джонсон, – а сам Холмс совершает кражу со взломом и ему даже грозит уголовное преследование. В финале «Знатного клиента» Холмс произносит краткую тираду о грехах и Божией каре. Все-таки уверовал? А с чего мы, собственно, взяли, что он когда-то был материалистом? Атеистом он уж точно не был: с самого начала саги он чуть не в каждом втором рассказе роняет пару общих слов о Провидении. Также никогда не говорилось, что он отрицает бессмертие. Нет, Холмс не изменился: он был и остался верующим рационалистом.

Но с Челленджером ситуация иная. Осенью Дойл приступил к новому роману «Страна туманов» («The Land of Mists»). Его у нас – как и «Долину ужаса» – долго не печатали, так что человек, не прочитавший роман в детстве, вполне может быть с ее текстом не знаком; взрослый же, узнав, что это роман о спиритизме, читать и не станет (хотя если заменить спиритизм на парапсихологию, прочтет непременно). Скажем так: это роман о паранормальных явлениях, и в нем профессор Челленджер и журналист Мелоун становятся убежденными спиритуалистами. Дойл не очень любил «впихивать» спиритизм в свою беллетристику. Но спиритизм стал частью его жизни, очень большой частью: об этой жизни он не мог хоть раз не написать всё, что знал, и человек, которому любопытен мир тогдашних спиритов, найдет в этой книге «всеобъемлющую картину» их деятельности, с разными организациями, с узнаваемыми прототипами и бытовыми подробностями.

Книгу много критиковали – в частности, за то, что превращение лондонского репортера и ученого-естественника в спиритов выглядит крайне неубедительно. Сейчас говорят, что эта вещь слабая, скучная, устаревшая. Что ж, давайте разбираться: убедительно или нет, устарела или не очень. И вообще, «Страна туманов» заслуживает подробного рассмотрения: ведь в ней Дойл отчасти описывает свой собственный путь к спиритизму, описывает занятнее, живее и искреннее, чем в теоретических трудах; может, если мы внимательно прочтем «Страну туманов», нам наконец станет понятно, как доктор «докатился» до своих теорий?

Челленджер уже в «Отравленном поясе» проповедовал жизнь после смерти; было бы вполне естественно, если бы его воззрения продолжали развиваться в заданном направлении. Кроме того, профессор уже не тот, что был: умерла его любимая. Благодаря своей дочери Энид он снова смог «включиться в жизнь», но любить жену не перестал: главные его помыслы отныне устремлены «туда». Так что его погружение в страну туманов с психологической точки зрения было бы вполне оправданно. Как знать, быть может, если бы доктор Уотсон умер, осиротевший Холмс понял бы вдруг, что лишился значительной части своей души, и тоже захотел бы хоть изредка поговорить с покойным другом?

Мелоун тоже изменился – ведь прошли годы. «Юноша превратился в мужчину. Внешне он мало переменился, разве что усы стали погуще, округлилась талия, а лоб прорезали морщины – следы новых условий жизни в послевоенном мире». Мелоуну в «Затерянном мире» лет 25, во всяком случае, так его воспринимает читатель, следовательно, сейчас ему нет сорока; могло еще и не быть морщин. Как-то он быстро постарел и стал весьма похож на Артура Конан Дойла – больше, чем какой-либо другой из когда-либо придуманных доктором персонажей.

Итак, обстоятельства жизни Челленджера вроде бы таковы, что ему и провозглашать спиритизм, а Мелоуну, который никого не потерял и всегда был скептиком, следует с профессором спорить. Тем не менее Дойл принял совершенно иное решение: когда Мелоун в качестве репортера собирается идти в спиритическую церковь и робко замечает, что «есть же

что-то такое непознанное», Челленджер его жестоко высмеивает.

«– И все же их поддерживают весьма достойные люди, – произнес Мелоун. – Что вы скажете о Лодже, Круксе и прочих уважаемых гражданах?

– Не стройте из себя дурака, Мелоун. И у великих есть слабые стороны. Своего рода оскомина на здравый смысл. Неожиданно впадаешь в идиотизм. Что и произошло с этими людьми. Нет, Энид, я не знаком с их доказательствами, да и не собираюсь знакомиться: существуют очевидные вещи».

Профессор, таким образом, предстает воплощением тех самых предвзятых людей, которые априори отвергают спиритизм, даже не дав себе труда вникнуть в проблему. Но он – человек честный, и добросовестность ученого не позволяет ему умолчать об одном факте, который его мощнейший интеллект не в силах объяснить: однажды ему на краткий миг почудилось присутствие умершей жены.

Но и после этого признания Челленджер вовсе не склонен менять свою точку зрения. Мелоун с Энид отправляются к спиритам. Зал набит до отказа, публика – мелкие торговцы, администраторы магазинов, крепкие ремесленники, женщины, измученные повседневными заботами, и немногочисленные молодые люди, пришедшие любопытства ради. Дойл описал свою типичную аудиторию. «Все они имели между собой какое-то неуловимое сходство, оно крылось не в особом отпечатке изысканности или интеллекта, а в безусловной открытости, честности и здравом смысле. Да, эти люди были искренними. И не походили на умственно отсталых. И все же, глядя на них, Энид и Мелоун испытывали жалость. Грустно, когда тебя обманывают в деле столь личном, когда мошенники играют на самых святых струнах твоей души, используя в нечистых целях любовь к почившим дорогим тебе людям». Мелоун уверен: сейчас присутствующих начнут морочить мошенники. И в самом деле: при чтении описания спиритической службы возникает ощущение, что Конан Дойл задался целью высмеять и разоблачить спиритов. «Дух из Атлантиды оказался непроходимым тупицей. Он изрекал такие явные глупости, нес такой откровенный вздор, что Мелоун, не удержавшись, прошептал Энид, что если умственное развитие духа соответствовало стандарту того времени, то можно только приветствовать гибель Атлантиды». Затем на сцену выходят другие медиумы и все как один выглядят придурками и мелют комический вздор. Неужто доктор Дойл решил отречься от своих взглядов?

После службы Мелоун беседует с ученым Аткинсоном, который говорит о спиритизме следующее: «Не обходится без разных нелепостей, допускаю, что возможен и просто обман, но есть там и нечто поистине чудесное. <…> Все видят сначала комическую сторону. Думаю, и вы состряпаете что-нибудь презабавное. Я, правда, не понимаю, что такого смешного в общении, скажем, с духом покойной жены, но это уж вопрос вкуса и знаний». Мелоуна приглашают на частный спиритический сеанс – он отказывается, не желая тратить на это время. Но тут его предупреждают, что на сеансы ему лучше бы не ходить. Людей, которые плохо относятся к спиритам, потусторонние силы могут покарать: некоторые люди умерли странной смертью. «Среди них были судьи, которые выносили несправедливые приговоры, основываясь на предвзятом мнении; журналисты, писавшие, сенсации ради, лживые материалы, бросавшие тень на спиритическое движение; или их коллеги, бравшие интервью у медиумов с заведомой целью их высмеять; просто любопытствующие, которые при первом знакомстве с явлением пугались и отшатывались, осудив его, хотя в глубине души понимали, что столкнулись с чем-то серьезным». Тут нас оторопь взяла: неужели доктору Дойлу мечталось, чтобы духи в самом деле поступали так жестоко? Даже в отношении ни в чем не повинных «просто любопытствующих»?! Но, оказывается, о мести призраков говорится не по этой причине. Просто это был единственный способ заставить Мелоуна все-таки посетить спиритический сеанс. «Существует один безошибочный прием, позволяющий со стопроцентной точностью выяснить, есть ли в интересующем вас человеке ирландская кровь. Поставьте его перед вращающейся дверью, с одной стороны которой написано – к себе, а с другой – от себя. Англичанин – существо разумное – поступит, как ему подсказывают. Ирландец же, в котором чувство независимости всегда берет верх над здравым смыслом, обязательно сделает наоборот. То же самое случилось и с Мелоуном». То же самое, возможно, когда-то случилось и с ирландцем Дойлом. Чувство независимости, дух противоречия и желание быть там, где опасно.

Побывав на спиритическом сеансе и не составив никакого определенного мнения о спиритизме, Мелоун идет в свой клуб, где собираются литераторы и художники: они грубо издеваются над спиритами, особенно романист Полтер: «За этим неглупым человеком водилась одна странность: его абсолютно не волновало, на чьей стороне истина, и он всегда был готов употребить всю мощь своего интеллекта, чтобы отстаивать, забавы ради, заведомо ложные взгляды».

Полтер – это, конечно, образ выдуманный и собирательный, как подавляющее большинство литературных персонажей. Многие писатели того времени – да практически все! – к теориям доктора Дойла относились, мягко говоря, неодобрительно. Его друг Джером одним из первых пытался увещевать его – еще в июле 1921-го между ними развернулась дискуссия (очень вежливая) в журнале «Здравый смысл»; его друг Барри публично высказывал свое огорчение тем, что талантливый человек тратит свое время на глупости. Для Честертона спиритизм был – обман и зло, уводящее людей от Бога. Бернард Шоу постоянно издевался над спиритами: хаживал на их сеансы и однажды устроил ловкую мистификацию, которой присутствующие поверили, а он потом написал об этом в самом насмешливом тоне. Дойла это бесило, и он не мог понять, при чем тут спиритизм: если злодей-атеист продемонстрирует доверчивому христианину фальшивого ангела, а потом будет над ним потешаться, – разве это доказывает, что ангелов не бывает? В своей предпоследней книге «Наша африканская зима» (изданной в 1930-м) доктор писал: «Не приходится сомневаться, что я, в присутствии свидетелей, видел свою мать также и после ее кончины. Но, похоже, люди уже не верят моему слову, поскольку Бернард Шоу обманул своих друзей. Можно ли придумать софизм более бессовестный?»

Уэллс, также поклонник здравого смысла, спиритизма терпеть не мог: в его романе «Неугасимый огонь» есть издевки даже в адрес несчастного Оливера Лоджа; в романе «Любовь и мистер Льюишем» герой говорит спиритам: «Это обман. <…> Даже если то, что вы делаете, и не обман, все равно это – заблуждение, то есть бессознательный обман. Даже если в этом есть хоть частица истины, все равно это плохо. Правда или нет – все равно плохо». Вот так вот: правда или нет – все равно плохо, плохо – и все тут! Дойла подобная позиция могла свести с ума. В те годы Уэллс и Дойл раздражали друг друга неописуемо, чем дальше – тем больше; мы безуспешно пытались сформулировать суть этого раздражения, пока не наткнулись на эссе Оруэлла, где тот пишет об Уэллсе: «Подобно Диккенсу, Уэллс происходит из среднего класса, которому чуждо все военное. Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. <…> С одной стороны – наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой – война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессора древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса – это победа за победой, которые ученый одерживает над романтиком». Конан Дойл, хотя его и приводили в трепет такие слова, как «боевое знамя», вовсе не был поклонником националистических страстей, монархий и религий. Он обожал прогресс и не считал, что лошади лучше аэропланов, а рыцари полезнее танков. И бетон в его системе ценностей занимал высокое место. Но все же не такое высокое, как поэты...

«Лучше увязать в грязи со здравомыслящими людьми, чем витать в облаках с психами, – сказал Полтер. – Я знаком с несколькими спиритуалистами и убежден, что половина из них дураки, а другая – плуты.

Сначала Мелоун прислушивался к разговору с интересом, но потом в нем стало нарастать раздражение. И вдруг он взорвался.

– Послушайте, Полтер, – сказал он, разворачивая стул в сторону спорщиков. – Именно такие, как вы, тупицы и олухи, тормозят прогресс. По вашим собственным словам, вы ничего об этом не читали и, могу поклясться, ничего не видели. Тем не менее вы, пользуясь своим положением и именем, заслуженным на совсем другом поприще, изо всех сил стараетесь дискредитировать людей, которые серьезно и обстоятельно исследуют эту проблему».

Беззащитных, неуклюжих спиритов ругают у них за спиной; их жестоко высмеивают – а за них некому заступиться! Мелоун же видел, что среди них есть приличные, образованные и доброжелательные люди, – а их называют дураками и плутами! Некому заступиться! Именно с этой минуты Мелоун невольно становится на сторону гонимых, а не гонителей, и, разругавшись с литературной братией, уходит из клуба. Он посещает новый сеанс с материализацией духов, где медиумами работают супруги Линдены. К ним приходят клиенты (гинея за сеанс, это немного, ведь любой труд должен оплачиваться): несчастную женщину, потерявшую мужа, утешают, бизнесмену, желающему получить биржевой совет, отказывают. Приходят две несчастные девушки, Линдены проникаются к ним жалостью, а те оказываются агентами полиции. Линдену грозят судом. Вид безобидной супружеской четы, охваченной ужасом, вызывает у Мелоуна желание защитить жертву – все равно, виновна она или нет. Мелоун находит Линдену хорошего адвоката, и тот на суде произносит речь: «В то время как полиция тратит время, посылая к медиумам своих агентов, проливающих крокодиловы слезы по якобы почившим родственникам, повсюду безнаказанно вершатся жестокие злодеяния». Но Линдена все же приговорили к нескольким месяцам заключения.

Далее появляется лорд Рокстон, вернувшийся из Африки: он намерен приобрести дом с привидениями. На спиритизм ему наплевать, неугомонный лорд попросту ищет новых

приключений: интересно ведь! Дойл, как мы помним, вступив когда-то в Общество психических исследований, не пропускал ни одной возможности переночевать в доме с полтергейстом – не эта ли возможность так долго удерживала его в организации, взгляды большинства членов которой его раздражали? С Рокстоном беседуют Мелоун и священник англиканской церкви Мейсон, сочувственно относящийся к спиритизму. Тут нет ничего надуманного, теологов, сочувствовавших спиритическому движению, было немало: Филдинг Оулд, Артур Чамберс, Чарлз Твидейл; в «Истории спиритизма» Дойл писал о преподобном Бейкере и других представителях церкви (только не католической), которые много сделали для пропаганды спиритических учений; его другом и сподвижником по спиритизму был пресвитерианский священник Джон Ламонд, который, возможно, отчасти является прототипом Мейсона.

В ответ на вопрос Мелоуна Мейсон рассказывает, почему он стал придерживаться нетрадиционных взглядов: «В деревне был дом, где прочно обосновался полтергейст необычайной злобности и коварства. Я вызвался прогнать его. Как вам известно, у нас в церкви существует по этому поводу специальный обряд, и я чувствовал себя во всеоружии. Служба началась в гостиной, где особенно буйствовал призрак; все домашние стояли на коленях, внимая мне. И как вы думаете, что произошло? – Суровое лицо Мейсона расплылось в добродушной улыбке. – В тот момент, когда я произнес „аминь“, ожидая, что пристыженный злой дух не замедлит покинуть поле боя, медвежья шкура, лежавшая у камина, поднялась во весь рост и пошла на меня, пытаясь обхватить. Стыдно сказать, но я в два прыжка выскочил из дома. Тогда-то я и понял, что от чисто формальных религиозных обрядов проку мало.

– А что может помочь?

– Доброта в соединении с разумом».

Прогрессивный священник разъясняет Мелоуну, что такое привидения: «В том месте, где мы пережили сильное духовное потрясение, может остаться часть нашей ауры, автоматически повторяющая наш физический облик и психику». Некоторые из этих аур бывают очень злыми, и привидение, обитающее на вилле, которую намерен купить Рокстон, может оказаться чудовищем, коварным монстром, подобным осьминогу. Мелоун смотрит на собеседника в изумлении.

« – А как же мы?! – воскликнул он. – Мы что же, беззащитны?

– Почему? Думаю, защита есть. Иначе эти монстры опустошили бы землю. Ведь существуют не только темные, адские силы, но и светлые. Католики называют их ангелами-хранителями, можно назвать их наставниками или проводниками, ну, да как их ни именуй, главное – они существуют и хранят нас от зла».

Ну и какая же «Страна туманов» устарелая вещь? Скорее уж можно назвать доктора одним из пионеров жанра. Добрая половина современной остросюжетной литературы и кино на этом построена: Светлые колотят Темных и наоборот. А вот с учением самого Дойла теория, высказываемая Мейсоном, не очень сходится. Нам же объясняли, что все люди попадают в подобие рая, в худшем случае – на недолгий период в чистилище, похожее на больницу или школу. Все выглядело так по-доброму, так интеллигентно. И вдруг – чудовища, монстры, кошмары, ад, война. Изменились взгляды Дойла? Да вроде бы нет: в своих работах по спиритизму, написанных позднее «Страны туманов», он ничего подобного не говорит. Просто мы увлеклись и забыли, что доктор – высокопрофессиональный беллетрист и фантаст. Идеи идеями, но прежде всего он хотел, чтобы читателю было интересно. Мораль и этика, любовь к Христу – всё это очень мило; но чтобы читатель не захлопнул, позевывая, книгу, в ней должен присутствовать подобный осьминогу монстр.

Смелая троица ночует на вилле, купленной Рокстоном; видит ужасных призраков. Мейсон не читает формул; он «просто беседует» с духом, как беседует психолог с маньяком, захватившим заложника, и «добротой и разумом» убеждает его уйти. Священник без кафедры, священник без молитв, священник, который просто беседует, – а зачем тогда вообще нужен священник? Чем он отличается от квалифицированного психиатра? Неужели доктор все еще не понял, за что церковь его не любит?

Мелоун собирается жениться на Энид. В «Старке Монро» Дойл говорил, что люди не должны ломать своих близких и переделывать их убеждения. Мелоун, однако, не хочет оставить будущего тестя в покое. Он с утра до вечера изводит его разговорами о спиритизме; бедный старик, бранясь, наконец соглашается посетить спиритический сеанс. Мелоун и его новые друзья долго обдумывают, как сделать этот показательный сеанс максимально убедительным. Совещаются раз двадцать, какого медиума выбрать, чтобы он не подвел: один пьющий, другой

слабонервный. Наконец всё готово. «Итак, капканы были расставлены, ловушки вырыты, и охотники готовились заполучить большую добычу, – вопрос заключался лишь в том, согласится ли зверь дать себя заманить». Опять жалко профессора: почему нельзя было оставить его при его убеждениях? Разве хорошо загонять людей в капканы? Кажется, спириты сами проповедовали свободу совести и отказ от принуждения – а теперь просто какую-то военную операцию готовят против одного пожилого человека. Пока Мелоун защищал слабое и гонимое меньшинство от сильного большинства, мы ему сочувствовали; но теперь он становится нам неприятен.

И вот кульминация романа: сеанс. Челленджер своими нападками доводит медиума до истерики; у того ничего не получается. Казалось бы, всё кончено. Но внезапно Энид впадает в транс и передает отцу сообщение от двух умерших людей. Сообщение это таково, что ни один человек на свете не мог располагать содержащейся в нем информацией. Профессор вмиг пал на колени и уверовал: «Страстный и открытый по натуре, он теперь стал отстаивать спиритуализм с тем же рвением и, как ни удивительно, с той же непримиримостью, с какой прежде его отвергал». Признаем, правы были критики: обращение Челленджера выглядит на редкость неубедительно и по-дурацки. А вот процесс обращения Мелоуна очень даже убедителен и реалистичен. И то, что герой, начав с защиты инакомыслящих, в конце концов устраивает на инакомыслящего тестя жестокую охоту, – тоже, увы, вполне убедительно, – хотя сам автор этой жестокости и не заметил.

Глава пятая

ЕГО ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН

«Страна туманов» была окончена в феврале 1925 года (она начала публиковаться в «Стрэнде» с июля, а в конце года вышла в издательстве Хатчинсона). Потом Дойл написал «Раннехристианскую церковь и современный спиритуализм» и начал работать над «Историей спиритизма». А летом. «Все уехали за город, и я начал тосковать по полянам Нью-Форес-та и по каменистому пляжу Саутси». Доктор Уотсон потосковал-потосковал, но в те места жить не вернулся. А доктор Дойл взял да и купил там деревенский дом. В тех самых местах, где он начинал свою взрослую жизнь, где работал врачом, где разворачивалось действие «Михея Кларка» и «Белого отряда» – в графстве Хэмпшир, близ прекрасного заповедного леса, в деревушке Минстед, что двумя милями севернее города Линдхерста, считавшегося столицей района Нью-Форест.

Дом Дойлов получил название «Бигнелл-Вуд». Пошла молва, будто это что-то вроде молельного дома или убежища для спиритов, куда нет входа инакомыслящим. Говорили также, что Дойл там «прячется» и не пускает соседей. Товарищи доктора по убеждениям в «Бигнелл-Вуд», разумеется, приезжали, но приезжали и другие знакомые. Те и другие приезжали редко: доктор действительно решил немножко спрятаться, чтобы писать в покое и тишине. В Кроуборо его одолели визитеры и почтальоны. Джин Дойл-младшая говорила, что дом был куплен в основном затем, чтобы сделать приятное ее матери: та любила деревенскую жизнь. «Бигнелл-Вуд» действительно был преподнесен Джин ее мужем как подарок: может, и нравилась ей деревенская жизнь, а может, просто надоело в Кроуборо.

Место для нового дома, во всяком случае, выбирал сам доктор. Он осмотрел дом еще летом прошлого года, и Финеас его одобрил: хорошее место со светлой аурой. Нью-Форест – где-то нам это название уже встречалось, помимо романов; да, именно в тех местах доктор снимал на полгода такой же коттедж, когда писал «Белый отряд». Какая там молельня – человек на склоне лет захотел уехать туда, где ему в молодости отлично жилось и работалось; может, он никогда больше не был так счастлив, как в те полгода, без жен, без детей, без собраний и заседаний, один со своей работой. У многих писателей бывали такие уединенные райские места, а у кого не было – те мечтали бы их иметь. Что же касается соседей в Нью-Форесте, они к Дойлам ходили регулярно – званые и не очень. «Булочник давеча говорил, вы приехали, – дай, думаю, зайду». Нравы там были самые деревенские, двери не запирались. Поблизости находился цыганский табор; доктор полюбил ходить к цыганам, болтать с ними и слушать их песни. Конан Дойл и цыгане – какое-то непривычное сочетание: так и видишь Никиту Михалкова в обличье Генри Баскервиля. «К нам приехал, к нам приехал сэр Артур наш дорогой.» Но ему в таборе нравилось. С цыганами и деревенскими он о спиритизме не беседовал. Он просто отдыхал.

В «Бигнелл-Вуд» обычно проводили летние месяцы, когда у детей были каникулы. (Все трое учились в Кроуборо, в школе Бикона.) Детям в Нью-Форесте нравилось – особенно Джин, которая любила гулять по лесу, наблюдая за животными и птицами. У Денниса и Адриана уже потихоньку начали формироваться интересы такого рода, что их больше привлекал Лондон; лесная фауна их интересовала только с точки зрения убийства. (В «Уинделшеме» маленький Адриан едва не пристрелил садовника из охотничьего ружья.) Отец позволял им управлять автомобилем. Однажды это кончилось плачевно: тот же Адриан расколошматил о дерево новую, стоившую 700 фунтов, незастрахованную машину. Вообще мальчишки вели себя не слишком примерно. Щипали служанку – отец был в страшном гневе, грозился выгнать из дому. Начали курить – отец был тоже в гневе, но гнев его вызвало в основном то, что сыновья осмелились закурить в присутствии дамы.

Доктор все больше привязывался к дочерям. Джин была его любимицей с рождения, ее он баловал как никого из своих детей; но лишь теперь он по-настоящему оценил Мэри. Усидчивая, трудолюбивая, пунктуальная, замкнутая, старательная – она становилась отцу товарищем. Осенью 1925 года Дойл открыл в Лондоне, на Виктория-стрит, неподалеку от Вестминстерского аббатства, небольшую спиритическую библиотеку-магазин, предназначенную также для издания его собственных работ в этой области. Вместе с Мэри он занимался библиотекой: сами перетаскивали горы книг, паковали, клеили пакеты из упаковочной бумаги. Мэри оставалась заведовать библиотекой, когда отец уезжал из Лондона в «Уинделшем» или «Бигнелл-Вуд»; осталась заведовать ею и после смерти отца. Но была ли это идиллия?

В книге Джорджины Дойл высказывается мысль, что этой библиотекой Дойл загубил карьеру музыканта и личную жизнь своей старшей дочери (Мэри умерла незамужней). Не зная

подлинных мыслей самой Мэри в тот период (а их, к сожалению, никто пока не знает), трудно вынести какое-либо суждение по этому поводу. Учитывая характер Мэри, кажется довольно маловероятным, чтобы ей удалась сценическая карьера. Но как знать? Выйти замуж, во всяком случае, библиотека ей не мешала, скорее наоборот: любая женщина знает, что подцепить мужа проще всего в различных кружках по интересам; спиритки очень часто выходили замуж за своих единомышленников. Допустим даже, что отец не поощрял замужества Мэри (хотя на этот счет абсолютно ничего не известно) – но когда он умер, Мэри был 31 год; вопреки бытующему мнению, что «раньше женщины выходили замуж молодыми», в Британии сплошь и рядом под венец шли тридцатипятилетние и сорокалетние невесты.

Дойл использовал свою дочь как бесплатную рабочую силу? Скорее он был рад пристроить ее к какому-нибудь делу, занять чем-то полезным (по его мнению) ее жизнь; он был также рад, что нашел родного человека, с которым мог постоянно говорить о занимавших его проблемах и находить у него полное понимание. Библиотека особых доходов не приносила, но средства Дойл своей старшей дочери оставил. В соответствии с его завещанием, по которому все имущество переходило к леди Конан Дойл, после смерти последней имущество делилось поровну между всеми четырьмя детьми. Мэри пережила мачеху на 36 лет, так что у нее было время осуществить наследственные права. Кроме того, Мэри отдельным пунктом была выделена сумма в две тысячи фунтов. По сравнению с тем, сколько ее отец тратил на спиритизм, эта сумма, конечно, выглядит непристойно маленькой; и если учесть, что авторские права унаследовали Джин и трое ее детей, то получается, что Мэри обидели. Но все же это были хорошие деньги – 80 тысяч современных британских фунтов: жить вполне можно. Ей также оставались акции, принадлежавшие ее матери и унаследованные отцом. Мэри могла при желании переменить род занятий, могла распорядиться своей жизнью иначе. Она не смогла или не захотела.

В Париже с 6 по 13 сентября 1925 года проходил международный конгресс спиритуалистов; Леон Дени, уже глубокий старик (то было его последнее появление на публике), предложил избрать доктора Дойла председателем. Его кандидатура была утверждена единогласно. Гастон Люс в книге «Леон Дени, апостол спиритизма» писал: «Добрый великан склонялся к почти слепому старцу, с трогательной заботливостью вел его по лабиринту коридоров Зала ученых обществ, помогая занять место в президиуме. Добрейший учитель наш был этим сильно тронут: „Конан Дойль, каков он из себя? Я плохо его вижу...“ – "О, он очень высокий, – отвечали мы, – у него прекрасная большая голова, серые глаза и усы *a la gauloise*. Это не англосакс. Взять хотя бы его имя. Конан – 'вождь', ведь это бретонское имя!"» Звучит ужасно слащаво, но по сути верно: Дени и Дойл были очарованы друг другом, французский патриарх не мог мечтать о более верном последователе – хотя тот, по его собственному признанию, в спиритизм вовсе не верил. Да-да, не верил! В своей речи Дойл заявил: «Есть нечто более сильное, чем просто вера, – это знание. <...> Я утверждаю эти вещи, потому что у меня есть знание о них. Я не верю – я знаю».

В том же году духи неоднократно сообщали Дойлу о приближающейся смерти его друга Гудини. В конце 1923-го Дойл писал ему: «Наши отношения складываются очень странно и, наверное, станут еще более странными, ибо всякий раз, когда Вы объявляете ложью то, что, как я знаю, является истиной, я вынужден атаковать Вас в ответ. Как долго может прожить дружба, подвергаемая подобным испытаниям, я не знаю». В последний раз они обменялись письмами в феврале 1924-го:

Гудини просил Дойла поделиться сведениями о некоторых медиумах, доктор отвечал, что не может удовлетворить просьбу, так как боится, что друг использует полученную информацию для дискредитации спиритического движения; Гудини, все еще пытавшийся сохранить отношения и недавно опубликовавший новую книгу «Чародей среди спиритов», спросил доктора, желает ли тот, чтобы ему выслали экземпляр. Дойл не ответил. После полученного с того света предостережения Дойл писал американке Гертруде Хиллс, знакомой Гудини, что не стал предупреждать иллюзиониста, хотя очень опасался за его судьбу, так как знал, к чему это приведет: Гудини опубликует его письмо в газетах с издевательскими комментариями.

Иллюзионист скончался в больнице 31 октября 1926 года от перитонита, полученного в результате нелепого несчастного случая: на гастролях, демонстрируя свою неуязвимость, он предлагал наносить ему удары – и один из зрителей перестарался. Перед смертью он оставил своей жене Бесс несколько кодовых фраз: в случае, если спириты станут заявлять, что им являлся его дух, но не смогут эти фразы воспроизвести, она должна будет разоблачить их. Существует версия, будто его убили обиженные им спириты. Странно, что никто еще не сочинил книгу о том, как Конан Дойл, загримировавшись, приехал в Америку и забил своего бывшего друга до смерти. Это было бы покруче, чем отравление Флетчера Робинсона. Спустя ровно две минуты после того, как была написана эта опрометчивая фраза, интернет-поиск сообщил, что такая книга недавно вышла, она называется «Тайная жизнь Гудини»: в ней

рассказывается о том, как Гудини был агентом британской разведки и как Конан Дойл участвовал в его убийстве. В этой связи нам бы хотелось обратить внимание литераторов на следующее подозрительное обстоятельство: у Конан Дойла было – по самым скромным подсчетам – более тысячи знакомых, с которыми он состоял в более или менее близких отношениях. Вообразите себе, все они умерли!

В книге «Грань неведомого» доктор посвятил своему другу первую главу. Она начинается словами: «Кто был самым ярым преследователем медиумов в последние годы? Несомненно, Гудини. Кто был самым выдающимся медиумом последних лет? Несомненно, он же.» Далее Дойл писал, что Гудини был самой интересной, самой интригующей, самой противоречивой личностью из всех, с кем он когда-либо сталкивался (то есть даже противоречивее Кейзмента). Доктор рассказывал о необыкновенной личной смелости Гудини, приводил примеры его доброты, его милосердия по отношению к старикам, детям и животным. Нет, то не был напыщенный некролог – доктор просто отдавал своему другу должное и писал то, что думал о нем на самом деле. «Он также был одним из самых учтивых, доброжелательных и приятных в общении людей, дружба с ним была радостью. Когда вы были с ним рядом, вы не могли и мечтать о лучшем компаньоне, хотя иногда за вашей спиной он мог сказать о вас довольно неожиданные вещи». Ребяческое тщеславие и страсть к рекламе, не знавшая границ, – вот, по мнению Дойла, черты, которые могли затмить в характере его друга всё остальное. Два человека, обладавших тем же ребяческим тщеславием, нам давно известны, их фамилии – Челленджер и Холмс.

В 1927-м свершилось событие, которого Дойл добивался много лет: Оскар Слейтер вышел на свободу. Как мы уже знаем, между ними тотчас завязалась некрасивая тяжба из-за денег. Было бы неправильно утверждать, что погибла еще одна потенциальная дружба, – Слейтер никогда не был Дойлу симпатичен (именно это обстоятельство делает его борьбу подвигом); и все же нам кажется, что, случись этот конфликт десятью годами раньше, доктор не стал бы его так раздувать. Но проповедники – народ суровый. Доктор знал это, еще когда писал «Михея Кларка».

За два последних года Дойл написал все остальные холмсовские рассказы, составившие сборник «Архив Шерлока Холмса»: «Происшествие на вилле „Три конька“» («The Adventure of the Three Gables»), «Побелевший воин» («The Adventure of the Blanched Soldier») – именно из этого рассказа читатели с изумлением узнали, что Уотсон вторично женился, «Львиная грива» («The Adventure of the Lion's Mane»), «Москательщик на покое» («The Adventure of the Retired Colourman»), «Дело необычной квартирантки» («The Adventure of the Veiled Lodger») и «Загадка поместья Шоскомб» («The Adventure of Shoscombe Old Place»). Ничто в этих рассказах не указывает на то, что автор считал их последними. Когда Дой-ла уже после выхода сборника (он был издан Мюрреем в июне 1927 года) спрашивали, будет ли он еще писать о Шерлоке Холмсе, он отвечал, что ему некогда и что пропагандистская работа отнимает у него слишком много сил. Но от резких жестов в адрес своего героя он уже давно отказался и вряд ли собирался бросить его навсегда. *«Уже почти полночь, Уотсон. Я думаю, нам пора возвращаться в наше скромное пристанище».* Это последняя реплика, которую Конан Дойл вложил в уста великого сыщика. При желании ее можно счесть символической.

Писал в те годы Дойл очень много – совсем как в молодости. Громадный труд «История спиритизма», бесчисленные статьи, детективы, фантастика. Во всех кратких биографических очерках говорится, что Дойл, после того как занялся пропагандой спиритизма, написал «очень мало беллетристики». Может, и маловато, но уж никак не «очень мало» – почти десяток холмсовских рассказов, «страшные рассказы» (как, например, упоминавшийся «Ужас высот»), да еще и роман «Маракотова бездна» («The Maracot Deep»). «Иногда я задавался мыслью: действительно ли гибель Атлантиды не могла случиться позднее, чем мы думаем? По расчетам Платона, это произошло около девяти тысяч лет до нашей эры, но ведь вполне могло произойти и постепенно, и, может, Ганнон (карфагенский полководец и мореплаватель. – *М. Ч.)* наблюдал затухание одной из ее последних конвульсий». Мыслью этой доктор Дойл задавался много-много лет тому назад – когда плыл у берегов Африки на «Маюмбе». И вот он все-таки решил написать об Атлантиде.

С публикацией «Маракотовой бездны» в СССР связана целая история, которую рассказал переводчик Александр Щербаков; в наше время о ней писали довольно много, но вряд ли она известна всем, так что стоит ее привести. В 1927 году «Стрэнд» публиковал первую часть книги – собственно «The Maracot Deep». Советское издание «Мир приключений» немедленно, в том же году опубликовало отрывки из нее под названием «Глубина Маракота», затем перевод вышел в журнале «Всемирный следопыт». Вторая часть романа была написана позднее и печаталась в «Стрэнде» в 1929-м. Конан Дойл назвал ее «The Lord of the Dark Face», что обычно переводят как «Владыка Темной стороны»; молодому читателю, наверное, ближе другой вариант – «Темный Лорд», хотя Темный Лорд доктора Дойла не имеет ничего общего с

обаятельными душками Вольдемортом и Сауроном – он скорее напоминает темные силы, какими их видел Стивен Кинг: омерзительные чудовища, лишь иногда напяливающие человеческую личину.

Тотчас же «Всемирный следопыт» – в майском номере – поместил отрывок из этого текста, озаглавленный переводчиком «Опасности глубин», и анонсировал выход второй части романа полностью. Однако, после того как в майском «Стрэнде» появилась кульминация романа, редакция «Следопыта» объявила, что печатать «Темного Лорда» будет в сильно урезанном виде: «Досадно за талантливого писателя, который не только докатился до мракобесия, но и проповедует его наивными приемами, лишенными даже тени оригинальности и новизны». (То есть проповедовать мракобесие методами, в которых наличествуют оригинальность и новизна, можно?) Щербаков пришел к выводу, что истинная причина, по которой «Следопыт» осерчал на доктора Дойла, заключалась вовсе не в мракобесии; дело в том, что Дойл мимоходом обругал там французскую революцию и советский строй. Дойловский Темный Лорд – дьявол, скажем для простоты, – заявляет, что он «был тем высоким темным человеком, который вел толпу в Париже, когда улицы утопали в крови. Такие времена редки, но в России в последнее время было и похлеще. Я и сейчас оттуда». Дьявол обретается в СССР! Наверное, Щербаков прав, хотя и «мракобесие» тоже вызвало недовольство – иначе можно было выкинуть пару фраз, а не кромсать весь текст.

Вторая часть «Маракотовой бездны» публиковалась у нас с громадными сокращениями, а потом вовсе перестала печататься; лишь с 1990-х российскому читателю стал доступен полный перевод. Но роман все равно принято называть слабым – возможно, по инерции. Что касается первой части – в детстве она читалась с тем же интересом, что и другие фантастические тексты Конан Дойла. Когда «Бездну» перечитывает взрослый, которому важно не «про что», а «как» написано, – да вроде бы тоже все в порядке, не потерял доктор своего мастерства... И все же «Затерянный мир» интереснее... Почему? Героя «Бездны», профессора Маракота, называют бледной тенью Челленджера. На наш взгляд, Маракот никакая не тень, а просто совсем другой характер – сухарь, фанатичный аскет, зануда, «живая мумия», как сам автор его определил. Скорее уж можно сказать, что Маракот – это Саммерли: быть может, доктор Дойл пожалел, что рано похоронил его.

Вероятно, «Бездна» кажется бледной по сравнению с тем же «Затерянным миром» из-за того, что не совсем удачно выбрана точка обзора. Дойл изменил своему обычному принципу – пара или четверка; главных героев теперь трое: фанатичный Маракот, грубоватый весельчак Билл Сканлэн и Сайрес Хедли, от чьего имени в основном ведется повествование. Хедли – образованный человек, молодой ученый и на роль «простодушного рассказчика» не очень-то годится: мы уже видели, какой сбой дает блистательная схема, когда повествователь недостаточно наивен – эффекта волшебных очков не получается. Если бы Дойл заставил читателя смотреть на происходящее глазами простоватого Билла Сканлэна – наверняка все воспринималось бы куда ярче и живее.

Так почему же погибла Атлантида? «Мы видели войны – беспрерывные войны, на суше и на море. Мы видели беззащитные дикие племена, уничтожаемые огнем и мечом, их подминали под себя колесницы, топтала тяжелая конница. Мы видели сокровища, доставшиеся победителям, но чем богаче они становились, тем резче менялись лица на экране: они приобретали более жесткие, животные черты. <...> Мы видели беззаботные, легкомысленные толпы, бросавшиеся от одного увлечения к другому; они гонялись лишь за порочными наслаждениями, никогда не пресыщаясь ими. Выросла, с одной стороны, группа богачей, стремившихся исключительно к чувственным удовольствиям, с другой стороны, обнищавшее до последней степени население.» Это все доктор писал конечно же не об Атлантиде – о Земле.

Затем «появились реформаторы, пытавшиеся указать заблудшим другие пути, вернуть их к забытым благородным целям. Мы видели, как эти печальные, исполненные серьезности люди увещевали ставших на путь порока, но те, кого они хотели спасти, издевались над ними. Особенно враждебны реформаторам были жрецы Ваала, по милости которых бескорыстная религия духа выродилась во внешние ритуалы и церемонии». Реформаторы – это, надо полагать, спириты, а кто такие жрецы Ваала – вряд ли нужно объяснять. Далее объявился еще один реформатор, собрал вместе всех ученых и построил убежище на случай конца света. Он звал в убежище всех, но все смеялись над ним – так что когда Атлантида начала опускаться под воду, добрый реформатор со своими единомышленниками были единственными, кто спасся. Остальных поглотила пучина. «Видимо, есть точка, после которой продолжение становится невозможным. Терпение Природы кончается, и единственное, что остается, – смести все с лица земли и начать заново».

Не будем думать, что доктор Дойл хотел такой участи для всех, кто не разделял его взглядов, –

иначе в этом можно обвинить каждого, кто пишет антиутопию. Он просто предупреждал человечество – как делал во всех своих работах за последние десять лет. Но в конце 1920-х годов он по-настоящему опасался, что нашу планету может постигнуть судьба Атлантиды. Великий Финеас говорил ему о предстоящем конце света, а все, что говорил Финеас, доктор воспринимал как истину.

Да и было отчего поверить в конец света: 1 сентября 1923 года Японию постигло страшное бедствие – разрушительное землетрясение в районе Канто практически полностью уничтожило Токио; 22 мая 1927 года в Китае землетрясение унесло около двухсот тысяч жизней. Финеас говорил: вот она, кара; вот оно, начало конца. Называл сроки: в 1928 году разразится катастрофа, подобная той, которую описал его друг в «Отравленном поясе». Дойл повторял это в своих статьях и публичных выступлениях, ссылаясь на Финеаса. Его книга «Финеас говорит» уже была опубликована; он готовил к печати второй том этих бесед, в котором должны были быть собраны все эсхатологические предупреждения Финеаса (этот том никогда не был издан). Доктора опять называли сумасшедшим. Но Гарри Прайс писал, что его друг производит впечатление совершенно нормального человека: счастлив в семейной жизни, увлечен работой. Ничего оригинального в пророчествах доктора, кстати сказать, не было. Ужасающие всемирные катастрофы после тех землетрясений предрекали очень многие. И, учитывая то, что начало твориться в Европе уже в конце 1930-х, разве можно сказать, что Финеас и Дойл предупреждали зря? Правда, те, кто тащил мир в очередную бездну, искренне считали себя добрыми реформаторами, желавшими отвратить народы от сладострастия и беспутства. Но ведь никто не станет спорить с тем, что добрые реформаторы действительно существуют. Их просто не всегда можно сразу отличить от тех, других. Наверное, поэтому современные беллетристы обычно следуют примеру доктора Дойла: нужно сразу назвать одних Темными, а других Светлыми – чтобы читатель ненароком не спутал, кто есть кто.

«Владыка Темной стороны» – текст совсем небольшой по объему. Хедли, уже давно выбравшийся на сушу вместе со своей женой-атлантkой, делится воспоминаниями о жизни в подводном мире. Он рассказывает, как жрецы хотели принести в жертву младенца и как отважные земляне способствовали его спасению, а также о встрече с Темным демоном: тот был чрезвычайно могуществен, насмехался и угрожал, но в конце концов профессор Маракот объяснил ему, что Добро всегда побеждает Зло, и велел убираться в ад, – и ужасный демон был вынужден послушаться. (А Маракот, как Челленджер, отказался от своих прежних материалистических убеждений.) Эпизод этот занимает всего пару страниц. Больше никакого особенного мракобесия во второй части «Бездны» нет, даже нет ничего о спиритизме (хотя есть, например, о реинкарнации), зато там много красочных описаний подводной жизни. Это самая нормальная приключенческая фантастика. Она наивна, но нисколько не устарела: мы не реже одного раза в неделю можем видеть по телевизору сцену, подобную той, что произошла между Маракотом и демоном, а многие из нас даже ходят за этими сценами в кино.

Если за «Маракотову бездну» Дойл, как всегда, получил большой гонорар, то «Историю спиритизма» – как и другие работы на ту же тему – ему пришлось издавать за свой счет. Это поистине монументальное произведение, в котором добросовестно собрано (или свалено) в одну кучу абсолютно все, что доктор знал о предмете, – в том числе и такие вещи, которые в начале XX века даже сами спиритуалисты не воспринимали всерьез. Дойл выражал надежду, что Оливер Лодж оценит его работу. Но Лодж сильно сомневался, что книгу кто-то будет читать: она была безнадежно устаревшей. Он говорил, что сожалеет о решении Дойла публиковать эту вещь, но прибавлял, что «это естественный выход для его миссионерской активности», и сравнивал своего старого друга с фанатичными проповедниками XVIII века. Лодж, конечно, оказался прав: книга расходилась плохо и не вызывала интереса. Отметим, однако, что сейчас «Историю спиритизма» очень любопытно читать – книга написана с наивной, милой, детской важностью и к тому же хорошо переведена на русский язык. Когда временная дистанция становится достаточно велика, старомодность может превратиться в достоинство.

После «Маракотовой бездны» Конан Дойл продолжил писать беллетристику: зима 1928-го – «Когда земля вскрикнула» («When The World Screamed»), лето – «Подача Спидигью» («The Story of Spedegue's Dropper») и «Дезинтеграционная машина» («The Disintegration Machine»). По советской традиции, все поздние тексты Дойла принято считать слабыми; человек, который не прочел их ребенком, может подумать, что они написаны высокопарным слогом религиозного проповедника и состоят из рассуждений о спиритизме. Ничего подобного. Никакие они не слабые – точно такие же, как и прежние. В двух из перечисленных историй действующим лицом является профессор Челленджер; во всех трех никакого спиритизма нет и в помине. В рассказе «Когда земля вскрикнула» Челленджер пытается доказать, что наша планета – живое существо: ей бывает больно, когда мы ее терзаем, и она может отомстить. В XXI веке это предположение вряд ли кто-то возьмется оспаривать. В «Дезинтеграционной

машине» злобный изобретатель Немор демонстрирует свою машину, назначение которой ясно из названия рассказа, и намеревается продавать ее военным, а хитрый Челленджер дезинтегрирует самого Немора. Классическая фантастика, высокопрофессиональная, зрелая, сдержанная, с теми же бытовыми деталями, с мягкой иронией – абсолютно все как раньше. «Подачу Спидигью» тоже можно отнести к фантастике: был такой деревенский парень, был у него такой вот удивительный удар, и помог этот парень Англии выиграть матч у Австралии – а потом свой удивительный удар больше повторить никогда не мог. Будь верны упреки доктору в том, что перо его ослабло, – он бы не преминул указать, что руку Спидигью направлял дух-патриот. Но доктор просто рассказал историю.

В сентябре 1928 года очередной конгресс спиритуалистов проходил в Лондоне. Конан Дойл на нем председательствовал. Он говорил о Леоне Дени, уже умершем: «Когда-то прежде он сражался на поле брани, принося свою жизнь в жертву великому и чистому идеалу. В наши же дни он бился силою просвещения за самое благородное дело, какое только есть на земле». К тому времени Дойл уже включил в свою доктрину и учение о переселении душ (хотя не очень на нем настаивал) – а почему нет? Ведь никто не доказал, что реинкарнации не бывает, а всякий неопровергнутый факт есть факт существующий.

В рамках конгресса Дойл провел специальную конференцию для любопытствующих, где демонстрировал фотографии эктоплазмы и призраков. Свою заключительную речь он посвятил вопросам борьбы с законами, преследующими медиумов. «От своего имени я написал главам некоторых политических групп в Англии и сказал им, что если все это не прекратится к полному нашему удовлетворению, то я сделаю и невозможное для того, чтобы добиться восстановления справедливости. Если то будет нужно, я публично предстану перед какой угодно партией, которая вздумает творить над нами суд. У нас пятьсот церквей в Англии, из которых четыреста объединены внутри Лондонского спиритического альянса, а остальные сто – независимы. Пятьсот церквей! Мы сможем преобразовать каждую из них в политический центр, мы прекрасным образом организованы, и я не знаю никакой другой группы, которая была бы способна объявить забастовку лучше, чем то можем сделать мы. Я уверяю вас, что если только вы пожелаете это осуществить, вы добьетесь отмены преследующего нас законодательства».

Политические забастовки! Так и до битья витрин и поджигания картин в музеях недолго докатиться. Самое время прийти к выводу о том, что Конан Дойл замышлял совершить спиритическую революцию и захватить власть над всем миром. Нелепо? Кому как. Полутора годами позже был издан роман Уэллса «Самовластие мистера Парэма»: в этом романе, полном издевок над спиритами, можно увидеть злую пародию на «Страну туманов» и карикатуру на доктора Дойла. .Герой Уэллса Парэм – интеллигент «старой закалки», любящий «поэтов и лошадей», верящий в Британскую империю и незыблемость законов; современный мир, где «рушатся старые идеалы», ему непонятен и страшен. Знакомый Парэма уговаривает его посетить спиритический сеанс; другой знакомый с презрением ругает спиритов: «Мистер Парэм отчужденно прислушивался к разгоравшемуся спору. <..> Он глубоко сочувствовал этому маленькому кружку, который так мирно и счастливо шел от откровения к откровению, а теперь сюда вторглись шумные ниспровергатели с шумными обвинениями и грозят шумным разоблачением. Особенно сочувствовал он даме в трауре. Она обернулась к нему, словно взывая о помощи, в глазах ее блестели непролитые слезы. Рыцарские чувства и жалость переполнили его сердце». Разве не так описывал Дойл первые душевные побуждения, приведшие Мелоуна к спиритизму? Абсолютно так. И точно так же, как Мелоун, Парэм не может не встать на защиту гонимых и слабых. Парэм начинает посещать спиритические сеансы (описание этих сеансов, кстати сказать, выглядит не более издевательским, чем описание службы в спиритической церкви, данное самим Дойлом в начале «Страны туманов»); на одном из них он знакомится с неким высокопоставленным духом и начинает постоянно консультироваться с ним. Чем не пародия на Финеаса? В конце концов дух воплотился в Парэма и они вдвоем взяли власть над страной. «Укажи, что нам делать! – ревела толпа. – Направь нас. Поведи!»

Уэллс писал свой роман в год, когда Муссолини пришел к власти; этот роман – об итальянском фашизме (в котором он видел преимущественно комическую сторону), а вовсе не о спиритизме. Но Конан Дойл на Уэллса обижался – ведь тот походя ругал и высмеивал то, что было для доктора – нет, никакой не святыней – а научной истиной. Разумный, ясно мыслящий Уэллс посмеялся над глупеньким сентиментальным Конан Дойлом. Пока тот фотографировал эктоплазму, Уэллс постиг суть тоталитаризма.

«Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нем нет ничего темного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснять его огромную власть в России. Я думал раньше, прежде чем встретиться с ним, может быть, о нем думали плохо потому, что люди боялись его. Но я установил, что, наоборот, никто его не боится и все верят в

него. <...> Сталин – совершенно лишенный хитрости и коварства грузин» (Уэллс «Опыт автобиографии», 1934).

Джордж Оруэлл в своем эссе написал: «Уэллс слишком благоразумен, чтобы постичь современный мир». Это сказано незадолго до Второй мировой – когда Уэллс уверял всех, что Гитлер – просто паяц. Уэллс с помощью теоретических выкладок доказывал, что мир в XX веке стал другим и старомодные фанатики не опасны. Доживи Конан Дойл до той поры – не приходится сомневаться, что он занял бы противоположную позицию; простодушный, он не знал, другим или не другим стал мир, но знал твердо: если вооруженные немцы идут на Францию – добра не жди и англичане должны браться за винтовки. У него было много недостатков. Но излишнее благоразумие не входит в их число.

Осенью 1928 года Дойл с семьей отправился в Африку. Почти тридцать лет спустя он возвращался туда – не только затем, чтобы проповедовать, но и чтобы показать своей семье места, где проходила «великая бурская». Деннис и Адриан были уже взрослыми – такие же здоровенные «столбы», как их отец в юности, оба заядлые автогонщики, губители девичьих сердец. Для них поездка была приятным развлечением. Джин-младшая училась в выпускном классе и ехать в Африку ей не хотелось: нужно было готовиться к экзаменам, много заниматься. «Мой отец всегда учил нас принимать самостоятельные решения с самого раннего возраста, и он хотел, чтобы я сама решила, ехать мне или нет. После долгих размышлений я решила не ехать, но мой отец сказал, что это ужасно огорчит мою мать. Я снова подумала – согласна ли я причинить боль матери? Конечно, я этого не хотела и потому согласилась ехать. И я очень рада, что поступила так, потому что это были последние годы жизни отца, и сама поездка оказалась очень интересной». Самостоятельные решения – а на дочь все-таки надавил. Стоил ли того Блумфонтейн, где доктора принимали без особой теплоты? Видеть знакомые места ему было скорее грустно, чем приятно. Некоторые вещи не могли его не коробить: при посещении мемориала южноафриканцам, умершим в британских лагерях, он не знал, что говорить репортерам.

Турне продлилось около пяти месяцев. Кроме Южно-Африканского Союза Дойлы посетили Родезию, Уганду, Танганьику и Кению. Лекции проходили с успехом, на который Дойл даже и не рассчитывал: в Кейптауне все желающие не могли достать билеты, и Дойлу предоставили для выступлений прямой радиоэфир; он нашел, что это великолепный способ донести свои идеи до большого числа слушателей. Однако газеты его травили, а аудитория его большей частью разочаровывала: он писал, что зачастую слушали его со снисходительностью, если не с полным равнодушием. Но в целом он остался доволен поездкой. «Мы возвращаемся поздоровевшие, укрепившиеся в вере, жаждущие броситься в бой за величайшее дело – возрождение религии и практического спиритизма, который есть единственное противоядие от материализма».

Пока старшие Дойлы занимались пропагандой, младшие охотились; неугомонный Адриан едва не погиб, когда раненный им громадный крокодил бросился на сопровождавшего охотников африканского юношу. Сам доктор при этом присутствовал; несмотря на свои 70 лет, он порывался уже лезть в воду. Адриану пришлось кидаться в реку и исправлять свою оплошность самому. Хочется верить, что он сделал бы это и в том случае, если бы отца не было рядом.

По итогам каждого из своих турне Дойл писал книгу: «Наши приключения в Америке», «Наши новые приключения в Америке»; помимо рассуждений о спиритуализме, они полны красочных и жизнерадостных путевых заметок. Поездка в Африку не стала исключением: из нее родилась книга «Наша африканская зима», в которой Дойл много размышлял о социальном укладе бывших британских колоний. Дойл отмечал, что между англичанами и бурами, а также между белым и черным населением Южной Африки растет напряжение, которое может превратиться во взрыв: «Опасность еще не близка, но она неуклонно приближается». Обращение с коренными африканцами приводило его в негодование: он возмущенно писал о том, как низок уровень медицинского обслуживания, предоставляемого им, – для врача все должны быть равными. Но полного равенства он не допускал и был против того, чтобы африканцы получали образование и право голосовать: по его мнению, это лишь усилило бы в них сознание неравенства и привело к ужасным последствиям. О бедных неграх надо заботиться, как о детях, и тогда все будет хорошо.

Домой вернулись незадолго до юбилея доктора – 70 лет. Празднование состоялось в «Бигнелл-Вуде»; там провели все лето, омраченное случившимся в июле пожаром. О причинах его толком ничего не известно. Адриан был уже слишком взрослым для подобных подвигов. Говорили, что поджог совершил кто-то из местных жителей, невзлюбивший семейство Дойлов. Пожар вполне мог быть и случайным: стояла жаркая сухая погода, кто-то уронил горящую спичку.. Сам доктор и его жена полагали, что огонь имел психическую природу и был вызван

неким злым влиянием. В любом случае последствия пожара были ликвидированы быстро. В июне вышло в свет новое шеститомное издание рассказов Дойла; в июле – сборник «Маракотова бездна и другие истории» – последний прижизненный сборник беллетристики.

По жаре доктор несколько раз чувствовал себя плохо – прихватывало сердце. Ему был поставлен диагноз: грудная жаба, она же стенокардия. Однако осенью ему стало лучше, и во второй половине сентября состоялось давно планируемое турне на север Европы: Голландия, Бельгия, Дания, Норвегия и Швеция. Дойл страдал от болей в сердце, но от выступлений отказываться не хотел. Флегматичные скандинавы принимали его довольно доброжелательно – правда, о таких больших и шумных аудиториях, как в Америке, нечего было и мечтать, зато никто не падал в обморок и не травил себя ядом. Наиболее теплый прием был оказан лектору в Стокгольме – там он снова выступал в радиоэфире и ему снова это очень понравилось. В Лондон возвращались к 11 ноября – годовщине Компьенского перемирия. Дойл в этот день должен был выступить с речью (посвященной не столько спиритизму, сколько памяти погибших) сразу в двух местах: Альберт-холле – днем, Куинз-холле – вечером. Его ждали. Но он впервые в жизни мог подвести своих слушателей. На пароходе у него начался сердечный приступ. Его в сопровождении жены и трех врачей отвезли в лондонскую квартиру.

Врачи поставили ультиматум: никаких публичных выступлений. Он сказал, что согласен. А 11 ноября встал, оделся и поехал в Альберт-холл. Ноги плохо слушались его и говорил он с трудом. Джин безуспешно просила его уехать домой. Вечером оказалось, что зал Куинз-холла не вмещает всех желающих услышать выступление; тогда доктор вышел на балкон и произносил речь оттуда. День был очень холодный, шел снег. Но доктор Дойл отказался надеть шляпу. На следующее утро он не смог подняться с постели. Со всеми предосторожностями, как умирающего, его перевезли в Уинделшем. Но нет, нет, это еще далеко не конец сказки.

Вести постельный режим для Дойла означало – работать в постели. Он заканчивал свою последнюю большую вещь, которая была опубликована в 1930 году – «Грань неведомого». На русском языке эта книга не издавалась, а жаль: чтение прелюбопытнейшее. В предисловии к книге доктор назвал своих единомышленников «теми, кто боролся с упрямством нашего времени»; ее цель – побороть упрямство недоверчивого читателя.

В отличие от всех предыдущих работ Дойла по спиритизму в этом тексте нет практически ни слова о морали или загробной жизни; он целиком состоит из описания различных удивительных случаев, которые, по мнению автора, можно объяснить, лишь признавая подлинность спиритических явлений.

Это классические истории домов с привидениями, рассказы о чудесах, творящихся во время спиритических сеансов, краткие жизнеописания выдающихся медиумов, начиная с Гудини, который исключительно по своему упрямству не понимал, что является таковым, и заканчивая летающим Хоумом. Книгу обильно населяют замурованные скелеты, фавны, дриады, пророчества, загадочные стуки, светящиеся надписи, вещие сны, блуждающие огни, таинственные монахи и женщины в белых одеяниях. Не совсем ясно, почему всякий человек, который выступает против религиозной нетерпимости и войн и согласен с тем, что мы должны брать пример с жизни Христа, обязан признавать существование всех этих явлений (в противном случае он относится к упрямцам, с которыми необходимо бороться), – но доктору было не до этики и религии: чем дальше, тем больше он увязал в эмпирике: «А вот был еще такой случай, вы только подумайте...» Ему казалось, что человека, которого не убедили 49 примеров, может убедить пятидесятый. Истории, описанные в «Грани неведомого», интересны, но несколько однообразны. Есть, правда, среди них одна, которая заслуживает самого пристального нашего внимания. История эта называется «Лондонский призрак»...

В мае 1924 года в старом доме, расположенном в глухом переулке на расстоянии нескольких сотен ярдов от Пиккадилли, стали замечать паранормальные явления: глухие постукивания, светящиеся лучи в подвале. Девушка-секретарша, служившая в одной из находящихся в здании контор, несколько раз замечала на лестнице расплывчатую фигуру пожилого мужчины с недобрым лицом. И вот 28 мая, незадолго до полуночи, компания храбрых британцев, состоявшая из доктора Дойла, девушки-секретарши, одного молодого лондонского врача, одного молодого голландского художника, который также бывал в этом здании и ощущал его зловещую ауру, известного медиума Хораса Лифа (того, кто отыскивал Агату Кристи по ее перчатке) и священника Вейла Оуэна, прибыла в зловещий дом, дабы провести там ночь и познакомиться с призраком поближе.

Дойл был в экспедиции за главного; он позаботился о том, чтобы обеспечить чистоту эксперимента и уберечься от шутников: все двери были накрепко заперты, а поперек единственной лестницы привязали крепкую длинную бечевку, свободный конец которой

спускался в подвал. В половине двенадцатого участники экспедиции спустились в подвал и выключили электричество. Они сидели вокруг стола в полной темноте; ни звука не доносилось с улицы. Они не молчали, а спокойно беседовали на посторонние темы, ибо многолетний опыт говорил о том, что звук человеческих голосов обычно способствует появлению призраков. Поначалу тьма казалась абсолютной; постепенно, однако, присутствующие смогли различать тусклый свет на ступеньках. Они пришли к выводу, что это было отражение от стеклянной крыши здания. Время от времени что-то негромко потрескивало, как обычно бывает в старых домах. Стол начал слабо колебаться, но не двигался; минула полночь... Экспериментаторы уже приготовились смириться с разочарованием, как вдруг секретарша, сидевшая слева от Дойла, взволнованно прошептала, что видит призрак. «Он – там. Он стоит на ступеньке и смотрит вниз, прямо на нас.» Она описала внешность призрака: то был пожилой мужчина с бородкой и узкими, немного раскосыми глазами, в которых было хитрое выражение. Молодой голландец подтвердил это описание. Сам доктор не видел ничего; медиумы сказали ему, что призрак спускается по лестнице. После недолгих уговоров призрак вступил в диалог с экспериментаторами посредством стола, который теперь раскачивался и вращался в мерном ритме.

«Действительно ли вы – дух?» – «Да».

«Вы – мужчина?» – «Да».

«Вы – именно тот дух, который часто посещает эту комнату?» – «Да».

«У вас есть на это причина?» – «Да».

«Вы ищете деньги?» – «Нет».

«Документы?» – «Нет».

«Вас мучит раскаяние в совершенных поступках?» – «Да».

После этого доктор объяснил духу, что тот вынужден появляться в подвале потому, что его мысли о мирской суете задерживают продвижение его духовной сущности в более высшие сферы, и порекомендовал ему работать над своим духовным совершенствованием и больше думать о возвышенном, что поможет ему уйти из подвала навсегда и больше не докучать людям. Священник и Дойл также пообещали духу, что будут молиться за него. Затем они спросили духа, понял ли тот их; дух отвечал, что понял, но следовать советам посторонних людей не собирается. Это был очень самостоятельный дух, с твердым и упрямым характером. Тогда англичане, поняв, что кратким нравоучением тут не отделаешься и разговор предстоит тяжелый, попросили духа хотя бы представиться.

Объясним – если кто-то этого не знает – каким образом духи разговаривают. Есть три основных способа: 1) медиум пишет сообщения от их имени, как делала Джин Дойл; 2) дух вселяется в медиума, и тот говорит его голосом; 3) дух выражает свои мысли посредством стола – именно этот способ для начала избрали наши храбрые британцы. На столе лежит лист бумаги, на котором по кругу написаны буквы алфавита, цифры и слова «да» и «нет»; в середину круга обычно кладется небольшой предмет (например, тонкое фарфоровое блюдце), и, когда духу задают вопросы, он перемещает этот предмет (либо сам столик) таким образом, чтобы указывать на «да», «нет» или на различные буквы, складывая из них слова. Итак, дух отвечал, что его имя – L-E-N-A-N, однако после долгих переспрашиваний выяснилось, что он ошибся в одной букве. Ведь он был иностранцем...

«Так ваше имя – Lenin?» – «Да».

«Ленин, российский вождь?!» – «Да».

Изумленные англичане попросили Ленина сказать что-нибудь по-русски; тот согласился, но они его не поняли; однако с помощью голландского художника, владевшего различными языками, в том числе немецким, им удалось столковаться. (А как же общий для всех духов язык, спросит читатель; на это мы можем предположить, что духи низшего порядка, к которым относятся разгуливающие по старым домам привидения, этим общим языком еще не овладели.) В конце концов англичане получили от призрака следующую глубокомысленную фразу: «Художники должны пробуждать эгоистичные народы». Если верить голландцу, взявшему на себя функцию переводчика, дух выбрал не слово «painters», обозначающее живописцев, а «artists», то есть художники в широком смысле; Дойл полагал, что дух имел в виду людей, наделенных творческим воображением. Но Ленин говорил так медленно, что экспериментаторы не выдержали: они решили прибегнуть к другому способу общения и предложили духу вселиться на выбор в медиума Лифа или в молодого голландца. Ленин

выбрал Лифа, но из попытки вселения ничего хорошего не вышло: медиум корчился от боли и не мог говорить. (Девушка-секретарша добавила, что Ленин при этом глумливо смеялся.) Тогда снова взялись за алфавит и после долгих переговоров выяснили, что Ленин рекомендует Англии подружиться с Россией, а не то будет война. Высказав эту угрозу, Ленин поспешно ретировался. «Так закончился наш любопытный опыт в старом лондонском доме. Мы не беремся объяснить это явление, однако утверждаем, что никто из нас не способствовал вращению стола и что полученные нами сообщения были связными и логичными».

Почему призрак Ленина выбрал для своих появлений подвал старого дома в центре Лондона? Дух сообщил британцам, что в былые времена знавал этот дом, однако никогда в нем не жил. Доктору Дойлу удалось узнать, что в начале века дом нередко посещали иностранные «artists» (артисты, художники), в том числе – русские; быть может, Ленин каким-то образом затесался в их компанию. Участвовавшие в сеансе медиумы сказали Дойлу, что, по их ощущениям, Ленин их всех принял за «artists» и согласился с ними беседовать именно поэтому, надеясь, что они смогут пробудить эгоистичные народы; вероятно, он относил к «artists» и себя самого. Так что можно предположить, что он приходил в этот старый дом не потому, что совершил в нем нечто злодейское, а потому, что был в нем счастлив и сожалел, что потратил жизнь на бессмысленный вздор вместо того, чтобы отдаться художественному творчеству.. Впрочем, Дойл не исключал обмана «с той стороны» и допускал, что дух мог попросту выдавать себя за Ленина из хулиганских побуждений. Так или иначе секретаршу он больше не пугал. И все же, на наш взгляд, британцам не следует терять бдительности – быть может, призрак Ленина все еще бродит невдалеке от Пиккадилли (да еще, не дай бог, с призраком полония в кармане)...

Одна из глав «Грани неведомого» посвящена умершим литераторам, которые общались с миром живых; кроме упоминавшегося случая с Оскаром Уайльдом, Дойл рассказывает о посланиях от Джека Лондона, Альфреда Хармсуорта (британского журналиста и медиамагната), Чарлза Диккенса, Джозефа Конрада и Джерома Джерома. Здесь нас интересует не столько содержание посланий от мертвых писателей, сколько способы, которыми они были получены. Например, послание от Лондона было обнародовано его близким знакомым Эдвардом Пейном, который, в свою очередь, получил его от «одной леди, которая пожелала остаться анонимной». Пейн подтвердил, что анонимная леди, не знавшая Лондона при жизни, сообщила множество точных сведений о нем. Для Дойла это явилось доказательством того, что леди не плутовала. Мысль о том, что никакой леди не было и в помине, даже не пришла ему в голову. (Нет, все-таки наша гипотеза о том, что доктор не был доверчив, не выдержала критики, но не станем ее исправлять. Пусть читатель видит, как автор ломал голову, мучился и ошибался – вдруг это поможет кому-нибудь выдвинуть собственную версию?) Однако в двух случаях Дойл своему принципу не изменял и никому на слово не верил: с Диккенсом и Джеромом он беседовал лично.

История с Диккенсом имела предысторию: сперва один американец, Джеймс, заявил, что в него вселился дух великого писателя и продиктовал ему продолжение своего неоконченного романа «Тайна Эдвина Друда». Конан Дойл сей текст прочел и нашел его плохим. Однако он не назвал Джеймса мошенником, а сказал лишь, что, если бы текст писал живой Диккенс, это не делало бы ему чести. Теперь переходим к Конраду – иначе дальнейшее развитие истории с Диккенсом нам будет непонятно. Ван Рейтер, известный музыкант и медиум, сообщил Дойлу о своем разговоре с покойным Джозефом Конрадом: тот просил передать, что был бы счастлив, если бы Конан Дойл закончил его незавершенный роман из наполеоновских времен. Дойл представления не имел, что такой роман существует. (Рейтер – тоже; во всяком случае, так он сказал Дойлу.) Вскоре после этого чета Дойлов участвовала в спиритическом сеансе с ван Рейтером и его матерью; вдруг ван Рейтер сообщил Дойлу, что в комнате появился некий призрак, представившийся как Боз; то был псевдоним, которым пользовался Диккенс. (Рейтер не знал этого – во всяком случае, так он сказал.) Между писателями завязалась оживленная беседа. На вопрос Дойла о продолжении «Эдвина Друда» Диккенс ответил, что не имеет никакого отношения к тексту, представленному американцем, и выразил надежду на то, что его роман мог бы завершить Уилки Коллинз. Дойл просил его сказать, как же все-таки завершилась судьба несчастного Эдвина Друда. Дух Диккенса увиливал:

«Я сожалею о том, что ввергнул его в такие ужасные неприятности. Бедняга! Не знаю, что лучше: позволить тайне храниться в вашей записной книжке или похоронить ее навсегда». Лукавый дух обещал, что расскажет Дойлу все, если у того получится завершить роман покойного Конрада. Доктор отвечал: «Буду чрезвычайно польщен, мистер Диккенс». Дух же в ответ на это попросил называть его по-дружески Чарлзом. «Читателю это, конечно, покажется смешным, – писал Дойл в своей книге, – мне и самому было смешно. Но именно так все и было.»

После того как два писателя перешли на «ты», Диккенс произнес нечто маловразумительное насчет четвертого измерения и исчез, напоследок все же бросив ясный намек относительно

судьбы героя своего неоконченного романа. (Ван Рейтер «Эдвина Друда» никогда не читал. Во всяком случае, так он сказал Дойлу.) Доктор считал, что вся эта история является одним из наиболее бесспорных доказательств существования духов: ведь призрак Диккенса сослался на факт, известный призраку Конрада! Но Дойл был прежде всего добросовестен: дело в том, что неоконченный роман Конрада в конце концов обнаружился – он был опубликован двумя годами ранее. «Это обстоятельство, конечно, снижает ценность полученного сообщения. Вероятно, мы раньше слышали о романе и забыли о нем, а потом подсознательно вспомнили». Так что призрак Конрада – не в счет.

Дойл мог бы и не писать об этой ошибке – ведь она давала читателю повод подумать, что и все остальные «случаи» основаны на подобных недоразумениях. Но он не хотел скрывать ничего, даже ошибок. Добавим, что с призраком Джерома доктора Дойла свел все тот же Рейтер, и великий юморист принес другу извинения: он был неправ, критикуя спиритизм, а теперь все понял и раскаивается. Разумеется, Рейтер ничего не знал о том, что Джером при жизни критиковал спиритизм, не слыхивал даже, что Джером и Дойл были знакомы. Ничего-то он не знал – счастливый человек.

Завершая разговор о «Грани неведомого», следует сказать, что есть одна область экстрасенсорики, из которой Дойл не привел в этой книге ни единого примера. Это – знахарство и «чудодейственные излечения». Ведь он был врачом и остался им навсегда.

Улучшение в состоянии доктора наступило во второй половине декабря. Новый, 1930 год он встречал за столом со всеми домочадцами. Он стал подолгу гулять в саду. К весне он почувствовал, что выздоравливает. Он нарисовал себя в виде лошади и приписал внизу: «Старая кляча долгую дорогу везла тяжелый груз и надорвалась. Но ее холят и лелеют, и шесть месяцев в стойле плюс шесть месяцев на лугах поставят клячу на ноги». Несмотря на свой диагноз, осенью Дойл намеревался отправиться в очередное турне, на сей раз – в Рим, Афины и Константинополь, «духовные столицы мира». Он не сомневался, что поехать сможет. Правда, он иногда задыхался; правда, ему нужно было давать кислород; правда, ему тяжело было ходить; но это пустяки. Курить запрещали – вот что самое противное. Весной и в начале лета он написал несколько рассказов, которые были опубликованы уже после его смерти: «Приходской журнал» («The Parish Magazine»), «Конец Дьявола Хоукера» («The End of Devil Hawker»), «Последнее средство» («The Last Resource»). На русский язык они (как и многие тексты Конан Дойла, особенно поздние) никогда не переводились. А ведь это очень интересно: о чем человек написал в своих последних рассказах...

Тематика всех трех рассказов кажется не то чтобы странной, но несколько неожиданной. «Приходской журнал» – чистейшая юмористика: к типографу приходят юноша и девушка, заявив, что желают печатать у него журнал; уже после того, как тираж сдан, типограф обнаруживает, что весь журнал состоит из ужасных (и – что самое ужасное – правдивых!) сплетен об уважаемых прихожанах. Герой близок к отчаянию, но тут его приглашают посетить заседание некоего тайного общества; когда он приходит туда, то видит большую компанию веселой молодежи, которая, как выясняется, просто хотела развлечься; тираж на самом деле никому разослан не был, а типографа за то, что он способствовал приумножению веселья в нашем сером мире, щедро вознаградят. «Конец Дьявола Хоукера» – история о боксерах времен Регентства, своего рода небольшое ответвление от «Родни Стоуна». На «Последнем средстве» задержимся чуть подробнее – оно того стоит. О чем мог писать тяжелобольной доктор Дойл в рассказе с таким названием? Ну, наверное, о спиритизме как последнем средстве спасти мир или чью-то душу, о чем же еще. Но все было совсем не так.

Жил-был американский бандит (по совместительству – полицейский осведомитель) Кид Уилсон, и, поскольку ему грозила опасность со стороны своих же коллег, пришлось ему обосноваться в Англии, где он часами просиживает в кабачке и рассказывает о своих похождениях двум добропорядочным британцам. Что заставляет их его слушать? «К сожалению, добродетель никогда не может сравниться в привлекательности с пороком. Человек, воздерживающийся от деяний определенного сорта, безусловно является прекрасным членом общества, но он никогда не будет овеян славой подобно тому, кто совершает их». Оказывается, доктор Дойл, вот уже пятнадцать лет призывавший мир к добродетели, отлично это понимал. Однажды Уилсон (на своем ужасном американском языке – у него даже Америка звучит как «Амюррка») поведал историю одного американского городка, который насквозь прогнил от коррупции и где всем заправляют мафиози – преимущественно чужаки, понаехавшие из Европы и других мест. Но нашелся человек по имени Гидеон Фаншоу, который решил, что с него довольно: «Это был странный человек <...> Он проводил свою жизнь в библиотеке среди книг, погруженный в своего рода дрему, но изредка он пробуждался и начинал действовать. Один раз он проснулся и взошел на высочайшую вершину Аляски. В другой раз он проснулся и застрелил троих грабителей, ворвавшихся в дом. В третий раз он проснулся, когда началась война: на целый год он исчез, а

потом вернулся без одной ноги и с французской медалью». И вот этот человек, чье описание напоминает нам не героя романа Уэллса «Когда спящий проснется», а скорее былинного Илью Муромца, изредка слезающего с печи, приходит к начальнику полиции – честному, но беспомощному, – и объявляет, что в городе существует тайное общество и это общество отныне берет на себя очистку города от мафии.

В назначенный день две тысячи вооруженных людей (обычные горожане, многие из которых – бывшие фронтовики) под предводительством Фаншоу проводят военную операцию и захватывают в плен всех видных гангстеров и коррумпированных чиновников. Нет, никого не линчуют; Фаншоу произносит перед пленными речь. Чиновников он журит, взывая к их чувству долга перед народом; разоруженным бандитам напоминает, что Америка гостеприимно приняла их всех, когда они бежали от произвола, царившего в их собственных государствах, а они так неблагодарно ей отплатили, и настоятельно рекомендует им покинуть страну – в противном случае честные граждане будут вынуждены принимать соответствующие меры. «В Америке много опасных людей, но нет никого опаснее, чем простой человек, когда его загоняют в угол и у него не остается выхода кроме как постоять за себя».

В 1930-м преступность в Америке, как выражаются журналисты, расцвела пышным цветом; газеты об этом писали, доктор Дойл – читал. А все равно рассказ удивительный. Он удивляет своей схожестью с историями, которые 50 лет тому назад писал Артур Дойл, сидя один-одинешенек в своей новенькой приемной в Саутси и нервно выглядывая в окно в ожидании пациентов. «Чикаго Билл был не только очень высок, но и удивительно силен.» Кид Уилсон – да это ж Мэлони из «Убийцы, моего приятеля»... Юмореска, боксерский рассказ и история о «диком западе». Не очень нам импонируют поиски символики в биографиях, но тут, видно, от нее никуда не деться: замыкался жизненный круг, старый писатель вновь превращался в юношу. С каким вкусом, с каким мальчишеским наслаждением он живописал подробности операции, проведенной ограниченным контингентом честных граждан в американском городке! Воевать очень интересно. Вот если бы собрались все хорошие люди и поубивали всех плохих. А как было бы здорово взять да и разыграть всех нудных старичков-прихожан. Секретные общества, развеселые детские шуточки, костюмированные щеголи-боксеры, бесшабашные головорезы, револьверы, пальба из-за угла, гангстеры в черных лимузинах! И никакой там любви, никаких там занудных бабьих переживаний, никаких туманных призраков; и ни единой грустной нотки, ни полсловечка о спасении души. Бах, бум, трам-тарарам, руки за голову, сдавайся, подлый трус! Как будто в 71 год доктор стал совсем молодым.

Три духовные столицы ждали его осенью. В июне у него было несколько приступов стенокардии. Один раз он шел по коридору – медленно, держась за стену, – и все-таки упал. На шум прибежал дворецкий; доктор попросил ничего не говорить жене. Тем временем в Лондоне проходил очередной процесс против медиума: миссис Кантлон, гадалку, обвинили в запрещенном занятии, ей был предъявлен иск на 800 фунтов стерлингов. Дойл немедленно написал протестующую статью, но этого ему было недостаточно. Он заявил, что поедет в город: лондонское спиритическое общество, председателем которого он был, готовило делегацию к государственному секретарю Великобритании Клайнсу. Врачи негодовали, Джин умоляла. Все равно – собрался, оделся и поехал. Он уже еле-еле ходил. Но делегацию Клайнс принял, а это главное. Дойл рассчитывал дожить до того дня, когда законы против ведьм будут отменены. Не дожил. Последняя английская ведьма, Хелен Дункан, была осуждена по закону 1735 года в 1944-м (за предсказания, связанные с ходом военных действий). В тюрьме ее посетил Черчилль. Когда он выиграл выборы в 1951-м, закон о колдовстве был отменен. По новому закону уголовному преследованию стали подвергаться лжемедиумы – за мошенничество.

Июль начинался уже привычно: приступы чередовались с улучшениями. Доктор не прекращал читать и работать. В те дни он прочел воспоминания Черчилля о Дарданелльской операции, где тот частично признавал свою ошибку, и тотчас отреагировал письмом в «Дейли телеграф»: «Представьте себе ситуацию, если бы мы захватили Константинополь и вывели Турцию из войны. Константинополь был обещан России, и теперь бы нам противостояла могущественная держава, обращенная к Европе по фронту, растянувшемуся от Архангельска до Средиземного моря. Если бы эта держава была большевистской, то ситуация была бы ужасной. <...> Может быть, наша неудача в итоге оказалась благотворнее, нежели успех, если бы мы его достигли, и это является еще одним примером того, как самые умные планы человека были отодвинуты чем-то другим, более мудрым».

Очередной приступ начался в ночь на 7 июля. В Кроуборо не оказалось кислородных баллонов; Деннис и Адриан помчались на машине в Танбридж-Уэллс. Кажется, все обошлось. В половине восьмого доктор пожелал подняться с постели. Ему помогли сесть в кресло. Вся семья была рядом; Джин держала его за одну руку, Адриан за другую. Незадолго до этого он сказал в письме американцу Эрнсту (бывшему адвокатом Гудини), что, возможно, скоро

встретится со своим другом и у них наконец-то будет возможность все обсудить. Он сидел, смотрел в окно, слабо шевелил губами. Сказал Джин, что она самая лучшая из всех сиделок на свете. Через час он умер.

Похороны состоялись 11 июля. Проводить соседа в последний путь собрались почти все жители Кроуборо. Цветы и телеграммы прибывали по железной дороге вагонами. Весь парк грузовых автомобилей Кроуборо обслуживал в тот день только одного человека. Присутствовавшие отмечали, что атмосфера на похоронах была скорее торжественная, чем мрачная. Члены семьи не выглядели убитыми. Среди многочисленных венков от домашних наличествовал венок от собаки доктора – ирландского терьера Пэдди. Некоторые гости сочли это проявлением дурного тона.

Панихида прошла 13 июля в Альберт-холле. На ней присутствовали десять тысяч человек. По желанию доктора, его тело похоронили не на кладбище, а в собственном саду, под буками, около розария, в вертикальном положении, как предписывали обряды спиритуалистской церкви (последнюю деталь, впрочем, некоторые исследователи называют глупой выдумкой). Десять лет спустя рядом с ним положили тело его жены. В 1955 году Деннис и Адриан, проживавшие наследство, продали «Уинделшем». Его купила местная администрация – под дом для престарелых. Тела эксгумировали и перезахоронили в одной могиле и в одном гробу – согласно воле Джин, высказанной ею еще при жизни, – в Нью-Форесте, на маленьком кладбище близ церкви Всех Святых в деревне Минстед. Похоронить нечестивого доктора внутри церковной ограды не позволили, и могила находится позади церкви, под большим старым дубом. Потом в разных местах по всему миру устанавливались (и продолжают возводиться) мемориальные доски и памятники. Но все это уже не имело к доктору Дойлу никакого отношения. Он был далеко.

Сразу после смерти мужа Джин сказала репортерам, что она уверена: ни на секунду он не оставит ее. В «Дейли геральд» написали, что Дойл, как Гудини, сообщил жене секретный код, чтобы избежать обмана со стороны жуликов. Разумеется, медиумы по всему миру сообщали о том, что доктор с ними говорил; они и поныне продолжают получать от него послания. Разумеется, леди Джин постоянно общалась с мужем, слышала его голос, он давал ей полезные советы. После ее смерти Деннис и Адриан уже через других медиумов продолжали получать приветы и сообщения от обоих родителей. Обо всем этом написаны тонны статей. Джин-младшая, когда ее впоследствии спрашивали, говорила ли она со своими мертвыми родителями, не желала отвечать на этот вопрос.

«Мальчики говорят, что никто не хочет с ними разговаривать.» Все теории, по словам Воланда, стоят одна другой; есть среди них и та, согласно которой каждому воздастся по его вере. Мы не сомневаемся, доктор, что в том месте, где Вы сейчас находитесь, Вы – как бы ни было там все замечательно и разумно устроено, – нашли кого уврачевать, с кем вступить в перебранку и за кого заступиться. Не сомневаемся, что «там» Вам хорошо. Но, доктор, если бы Вы только знали, как сильно Вас не хватает здесь.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АРТУРА КОНАН ДОЙЛА

1859, 22 мая – у архитектора Чарлза Алтамонта Дойла и Мэри Дойл (урожденной Фоли) родился сын Артур.

1866 – Артур начал посещать общеобразовательную школу в Эдинбурге.

1868 – отправлен учиться в Ходдер, подготовительную школу для мальчиков при иезуитском колледже Стоунихерст.

1871 – переведен в колледж Стоунихерст.

1873 – родился Иннес Дойл, любимый брат Артура.

1874 – первая поездка в Лондон к родственникам отца.

1875 – Артур сдал выпускные экзамены. Его отправляют учиться в иезуитский колледж в Австрии для практики в немецком языке.

1876 – Чарлз Дойл, больной алкоголизмом, уволен со службы и отправлен в психиатрическую лечебницу. В октябре Артур Дойл зачислен на первый курс медицинского факультета Эдинбургского университета.

1877 – Артур знакомится с профессором Беллом и становится его помощником.

1878, весна – Артур пишет и пытается опубликовать рассказ «Замок с привидениями в Горсторпе» (не издан при жизни).

Лето – вторая поездка в Лондон. Артур Дойл подрабатывает помощником врача в Шеффилде, затем в Райтоне.

1879, весна – работает помощником врача Хора в Бирмингеме.

6 сентября – первый опубликованный рассказ «Тайна долины Сэссасса».

1880, февраль—сентябрь – работает судовым врачом на китобойном судне в Арктике.

1881, январь – сдал выпускные экзамены и получил степень бакалавра медицины и магистра хирургии.

Март—сентябрь – работает помощником у Хора в Бирмингеме. Опубликованы несколько рассказов.

Октябрь 1880 – январь 1881 — работает судовым врачом на грузопассажирском судне в Африке.

1882, март—июнь – совместная практика в Плимуте с бывшим сокурсником Баддом.

Июль – переезжает в Саутси, пригород Портсмута. Начало самостоятельной медицинской практики.

1883 – вступает в Портсмутское литературно-научное общество, политические кружки и спортивные клубы. Становится активным членом партии юнионистов. Пишет роман «Исповедь Джона Смита» (при жизни не издан).

1884, январь – в журнале «Корнхилл» опубликован рассказ «Сообщение Хебекука Джефсона», принесший Дойлу первую популярность. Начинает работу над романом «Торговый дом Гердлстон».

Август — женитьба на Луизе Хоукинс.

1885 – защита диссертации, получение ученой степени доктора медицины. Возникновение интереса к гипнозу и экстрасенсорике. Первые посещения спиритических сеансов. Публикуется несколько рассказов.

1886, март – пишет повесть «Этюд в багровых тонах», где впервые появляется Шерлок Холмс.

Декабрь – «Этюд в багровых тонах» вышел в свет.

1887, январь – предположительно вступает в масонскую ложу.

Зима—весна – пишет свой первый исторический роман «Приключения Михея Кларка».

1888 – начинает изучать глазные болезни с целью специализации на них. Пишет и публикует много рассказов.

1889, 28января – родилась дочь Мэри.

Февраль – издан роман «Приключения Михея Кларка».

Август – знакомство с Оскаром Уайльдом. Дойл пишет «Знак четырех».

Осень — начинает работу над романом «Белый отряд».

1890 – «Знак четырех» опубликован. Выходит первый сборник рассказов.

Апрель – Дойлы поселились на съемной квартире в Лондоне. Дойл открыл практику как окулист.

Октябрь – едет в Берлин слушать доклад Коха о туберкулезе. Принимает решение переехать в Лондон и стать окулистом.

Декабрь — вместе с женой едет в Вену, где слушает курс лекций по глазным болезням. Пишет роман «Открытие Раффлза Хоу». Знакомится с литературным агентом Уоттом.

Вышел в свет первый номер журнала «Стрэнд».

1891, март – через посредство Уотта «Стрэнд» публикует рассказ Дойла «Голос науки». Дойл принимает решение писать серию детективных рассказов о Холмсе. Пишет «Скандал в Богемии» и другие рассказы, впоследствии составившие сборник «Приключения Шерлока Холмса». Первые серьезные гонорары.

Май – болезнь. Решение оставить медицинскую практику и стать профессиональным литератором.

Июнь – переезд в собственный дом в Сауз-Норвуде, пригороде Лондона.

Июль – «Стрэнд» начал публиковать рассказы о Холмсе, принесшие Дойлу громкий успех.

Декабрь – заводит литературные знакомства с Джеромом Джеромом, Робертом Барром, Джеймсом Барри.

1892 – сотрудничество с журналом «Айдлер». Дойл пишет пьесу «Ватерлоо».

Весна – поездка с Барри в Шотландию. Знакомство с Мередитом.

Август – поездка с Барри в Норвегию.

Лето—осень – по настоянию «Стрэнда» пишет новую серию рассказов о Холмсе (сборник «Записки Шерлока Холмса»). Совместно с Барри пишется пьеса, при постановке провалившаяся.

15 ноября – рождение сына Аллейна Кингсли.

1893 – начало переписки со Стивенсоном. Публикация исторического романа «Изгнанники». Дойл вступает в Общество психических исследований.

Февраль – поездка с Луизой в Швейцарию.

10 октября – смерть Чарлза Алтамонта Дойла.

Ноябрь – у Луизы диагностируют туберкулез. Переезд в Швейцарию. Дойл пишет автобиографический роман «Письма Старка Монро».

Декабрь – публикуется «Последнее дело Холмса». Возмущение подписчиков «Стрэнда».

1894, весна – начинает писать цикл рассказов о бригадире Жераре.

Октябрь – выходит сборник рассказов «Вокруг красной лампы».

Сентябрь—декабрь — лекционное турне в США. Знакомство с Р. Киплингом.

1895 – рассказы о бригадире Жераре публикуются в «Стрэнде».

Май – знакомство с литератором Грантом Алленом. Покупка участка в Хайндхеде, графство Суррей. Начало строительства дома.

Лето — совместно с Уильямом Хорнунгом пишется пьеса, переделанная в роман «Родни Стоун».

Ноябрь — поездка с женой и сестрой Лотти в Египет.

1896, май – Дойлы снимают дом в Хайндхеде.

Лето – работа над историческим романом «Дядюшка Бернак».

Осень – пишет повесть «Трагедия „Короско“». Становится членом ряда литературных обществ.

Ноябрь – публикация «Родни Стоуна».

Декабрь — начинает писать серию рассказов о капитане Шарки.

1897 – Дойлы въезжают в собственный дом под названием «Андершоу».

Март – знакомство с Джин Леки, будущей второй женой.

Июнь – бриллиантовый юбилей королевы Виктории. Публикация «Дядюшки Бернака» и рассказов о капитане Шарки.

1898 – публикуются «Трагедия „Короско“» и сборник стихов «Песни действия». Дойл начинает писать для «Стрэнда» серию остросюжетных рассказов «У камелька».

Осень – пишет автобиографическую повесть «Дуэт со случайным хором».

1899 – становится членом Мэрилебонского крикетного клуба.

11 октября – начало Англо-бурской войны.

Ноябрь – успешная премьера пьесы о Шерлоке Холмсе в США.

Декабрь – пытается вступить в действующую армию и в итоге записывается в госпиталь Лэнгмана.

1900 – в США снимают первый фильм о Шерлоке Холмсе.

Февраль – с госпиталем Лэнгмана отплывает в Южную Африку. Госпиталь начинает работу в Блумфонтейне.

Март—апрель – борется с эпидемией брюшного тифа.

Май – окончен первый этап Англо-бурской войны.

Июль – возвращается в Англию. Знакомство с литератором Флетчером Робинсоном. Начинает писать документальную книгу «Великая бурская война».

Сентябрь—октябрь – парламентские выборы. Дойл баллотируется от партии юнионистов и проигрывает.

1901, январь – смерть королевы Виктории. Дойл организует в Хайндхеде стрелковый клуб.

Март – поездка с Робинсоном в Норфолк. Дойл пишет «Собаку Баскервилей».

Август — начало публикации «Собаки Баскервилей» в «Стрэнде».

Осень – пишет вторую часть «Великой бурской войны» и брошюру «Война в Южной Африке: ее причины и ведение».

Сентябрь – премьера пьесы «Шерлок Холмс» в Лондоне.

1902, январь – «Война в Южной Африке» огромными тиражами публикуется в тридцати странах мира, выходит полное издание «Великой бурской войны».

Апрель – поездка в Италию к сестре Иде.

Август – по настоянию матери Дойл принимает рыцарское звание, пожалованное ему за книги об Англо-бурской войне и работу в госпитале.

Лето—осень – пишется новая серия рассказов о бригадире Жераре.

1903, весна – становится автомобилистом. По настоянию «Стрэнда» пишется новая серия рассказов о Холмсе (сборник «Возвращение Шерлока Холмса»); она публикуется с сентября.

Лето – издано собрание сочинений в двенадцати томах.

1904, весна – начинает работу над историческим романом «Сэр Найджел».

1905, декабрь – по просьбе О. Чемберлена Дойл вновь принимает решение баллотироваться в парламент и снова проигрывает.

1906 —пишется эссе о литературе «За волшебной дверью». Премьера пьесы «Бригадир Жерар». Публикация «Сэра Найджела».

4 июля – смерть Луизы Дойл.

Декабрь – начинает заниматься делом несправедливо осужденного Джорджа Идалджи.

1907, май – Идалджи частично реабилитирован.

18 сентября – женитьба на Джин Леки.

1908 — семья Дойлов переезжает в Кроуборо, графство Сассекс. Строится новый дом под названием «Уинделшем». Кингсли и Мэри уезжают учиться. Новые рассказы о Холмсе и другие рассказы.

1909, 17 марта – родился сын Деннис Перси Стюарт.

Весна – становится председателем Союза за реформу бракоразводных процессов. Участвует в общественной кампании против бельгийского угнетения коренного населения в Конго совместно с Э. Морелем и Р. Кейзментом. Пишет документальную книгу «Преступление в Конго».

Июль – премьера пьесы «Огни судьбы».

Декабрь – премьера пьесы «Дом Темперли».

1910, июнь – премьера пьесы «Пестрая лента».

19 ноября – родился сын Адриан Малькольм.

Осень—зима — пишет цикл исторических рассказов, составивших сборник «Последняя галера», и ряд других рассказов, в том числе о Шерлоке Холмсе.

1911 – под влиянием Роджера Кейзмента Дойл выступает за предоставление самоуправления Ирландии.

Июль – участие в международном автопробеге. Полеты на самолете.

Осень – пишет первый роман о профессоре Челленджере – «Затерянный мир».

1912, весна – начинает заниматься делом несправедливо осужденного Оскара Слейтера. Входит в комитет по подготовке Олимпийских игр.

Апрель – начало публикации «Затерянного мира» в «Стрэнде».

14 мая – гибель «Титаника»; полемика с Бернардом Шоу.

Декабрь – вместе с Шоу выступает за самоопределение Ирландии. Начало работы над романом «Отравленный пояс».

12 декабря – родилась дочь Лина Джин.

1913, февраль – публикует статью «Великобритания и грядущая война» и разворачивает

кампанию за строительство туннеля под Ла-Маншем.

Август – издан «Отравленный пояс».

Ноябрь—декабрь – написана повесть «Долина ужаса».

1914, весна – написан и издан рассказ «Опасность!», посвященный грядущей войне.

Май—июль – лекционное турне по США и Канаде.

4 августа – Британия вступила в войну. Дойл пытается записаться в действующую армию и получает отказ.

Сентябрь – публикация «Долины ужаса». Дойл организует в Кроуборо отряд вооруженной самообороны «Гражданский резерв». Кингсли и Иннес уходят на фронт.

Осень – по заданию бюро оборонной пропаганды пишет патриотические памфлеты и листовки. Становится военным корреспондентом «Дейли кроникл». Начинает исторический труд «Британская кампания во Франции и Фландрии».

1915 – проводит кампанию за применение касок и бронежилетов.

1916 – «Британская кампания во Франции и Фландрии» начинает публиковаться с цензорскими сокращениями.

Май – по заданию министерства иностранных дел отправляется спецкорреспондентом на три фронта: британский, итальянский, французский. Пасхальное восстание в Ирландии. Р. Кейзмент арестован и приговорен к смертной казни за шпионаж.

Лето – совместно с Б. Шоу и другими литераторами проводит кампанию за помилование Кейзмента, закончившуюся неудачей. Продолжается кампания за оправдание Слейтера.

Июль – Кингсли тяжело ранен в битве на Сомме.

21 октября – публично заявляет о своей приверженности спиритуалистическому вероучению.

1917 — активное участие в конференциях спиритуалистов. Готовится программная книга о спиритуализме «Новое откровение». Написан и опубликован «Его прощальный поклон».

1918 – изданы «Новое откровение» и ряд статей о спиритуализме.

Сентябрь – поездка на передовую, в австралийский сектор фронта.

28 октября – смерть Кингсли от пневмонии.

11 ноября – Компьенское перемирие. Конец войны.

1919, 19 февраля – смерть Иннеса.

Весна – написана и опубликована вторая значительная работа о спиритуализме – «Жизненное послание». Активная пропаганда спиритизма.

1920, апрель – знакомство с иллюзионистом Г. Гудини.

Сентябрь – лекционное турне в Австралию со всей семьей.

30 декабря – смерть матери.

1921 – новые рассказы о Шерлоке Холмсе и другая беллетристика. Дойл начинает заниматься делом «фей из Коттингли».

Лето – Джин Дойл утверждает, что обрела медиумические способности. Общение с умершими родственниками.

1922, апрель—июнь – лекционное турне в США. Идейная ссора с Гудини.

Лето – выходит собрание сочинений в шести томах. Публикуется книга «Визит фей». Пишется ряд исторических и остросюжетных рассказов.

1923, апрель—июль – лекционное турне в США и Канаду.

Осень – пишется книга мемуаров «Воспоминания и приключения».

1924 – организовал в Лондоне выставку картин своего отца. Публикация «Воспоминаний и приключений». Новые работы по спиритуализму.

Осень – пишет роман «Страна туманов» и новые рассказы о Холмсе.

1925, весна – покупает дом в Нью-Форесте, графство Хэмпшир.

Июль – публикация «Страны туманов».

Сентябрь – председательствует на международном конгрессе спиритуалистов.

1926 — пишет рассказы о Холмсе, фантастические рассказы, роман «Маракотова бездна».

1927 – Оскар Слейтер освобожден. Публикуется «Маракотова бездна».

1928 – председательствует на очередном конгрессе спиритуалистов (в последний раз). Издано Полное собрание сочинений о Шерлоке Холмсе.

Ноябрь 1928 – апрель 1929 – лекционное турне в Южную Африку.

1929, май – празднование 70-летнего юбилея.

Июнь – издан последний прижизненный сборник беллетристики.

Сентябрь—ноябрь – лекционное турне в Скандинавию.

11 ноября – сердечный приступ.

1930, весна – временное улучшение состояния. Поездки в Лондон.

7 июля – смерть.

11 июля – похороны в Кроуборо.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Дойл А. К. Собрание сочинений. В 10 т. М., 1993.

Дойл А. К. Собрание сочинений. В 14 т. М., 1998.

Дойл А. К. Англо-бурская война. М., 2004.

Дойл А. К. Воспоминания и приключения. Мемуары. – В кн.: Артур Конан Дойл. Жизнь, полная приключений. М., 2001.

Дойл А. К. За волшебной дверью. – В кн.: Артур Конан Дойл. Жизнь, полная приключений. М., 2001.

Дойл А. К. Новое Откровение / Пер. с англ. Й. Раманантаты, М. Б. Антоновой, П. А. Гелевы. М., 1999.

Дойл А. К. Уроки жизни. Статьи и письма. М., 2003.

Doyle A. C. The Coming of the Fairies. London, 1999.

Doyle A. C. The Crime of the Congo. London, 2000.

Doyle A. C. Danger! aM other stories. London, 2002.

Doyle A. C. The Edge of the Unknown. London, 2001.

Doyle A. C. The History of Spiritualism. London, 2001.

Doyle A. C. Phineas Speaks. London, 1927.

Doyle A. C. The Stark Munro Letters. London, 2007.

Doyle A. C. Three ofthem. (Three children.) A reminiscence... London, 1923.

Doyle A. C. The Vital Message. London, 2004.

Doyle A. C. The Wanderings of a Spiritualist. London, 2001.

Arthur Conan Doyle: a Life in Letters. Ed. J. Lellenberg, D. Stashower & Ch. Foley. London, 2007.

Booth M. The Doctor, The Detective & Arthur Conan Doyle – A Biography of Arthur Conan Doyle. London, 1997.

Carr J. D. The Life of Sir Arthur Conan Doyle. London, 1949.

Conan Doyle A. The True Conan Doyle. London, 1945.

Doyle G. Out of the Shadows – The Untold Story of Arthur Conan Doyle's First Family. London, 2004.

Hardwick M., Hardwick M. The Man Who Was Sherlock Holmes. London, 1964.

Lycett A. The Man Who Created Sherlock Holmes: The Life and Times of Sir Arthur Conan Doyle. London, 2007.

Pearson H. Conan Doyle, His Life and Art. London, 1943.

StashowerD. Teller ofTales: The Life ofArthur Conan Doyle. New York, 1999.

Андреев К. К. Противник Шерлока Холмса. – В кн.: *Андреев К. К.* На пороге новой эры. М., 1974.

Вайль П. Гений места. М., 1998.

Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. М., 1997.

Генис А. Закон и порядок. Мой Шерлок Холмс // Знамя. 1999. № 12.

Давидсон А. Забытый Конан Дойл // Эхо планеты. 1999. № 28.

Кагарлицкий Ю. И.Конан Дойл – рыцарь, литератор, человек. – В кн.: *Дойл А.* К.Собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. М., 1993.

Клугер Д. Баскервильская мистерия. История классического детектива. М., 2005.

Урнов М. В. Артур Конан Дойль. – В кн.: *Дойль А. К.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. М., 1993.

Урнов М. В. Конан Дойл, Шерлок Холмс и профессор Челленджер. – В кн.: *Дойл А.* К.Затерянный мир: Фантастические произведения. М., 1990.

ФаулзДж. Конан Дойл. – В кн.: *Фаулз Дж.* Кротовые норы. М., 2002.

Чуковский К. И. О Шерлоке Холмсе. – В кн.: *Дойл А. К.* Записки о Шерлоке Холмсе. Л., 1991.

Примечания

1

Lamond J. Arthur Conan Doyle: A Memoir. London, 1931.

2

Pearson H. Conan Doyle: His Life and Art. London, 1943.

3

Conan Doyle A. The True Conan Doyle. London, 1945.

4

Dickson Carr J. The Life of Sir Arthur Conan Doyle. London, 1949.

5

Booth M. The Doctor and the Detective: A Biography of Sir Arthur Conan Doyle. London, 1997.

Stashower D. Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle. New York, 1999.

Lellenberg J., Stashower D., Foley C. Arthur Conan Doyle: A Life in Letters. London, 2007.

Lycett A. The Man Who Created Sherlock Holmes: The Life and Times of Sir Arthur Conan Doyle. London, 2007.

9

Цитируется в переводе М. Кореневой и М. Ремизовой. (Здесь и далее – примечания автора.)

10

«Revue des deux Mondes» («Обозрение двух миров») – журнал на французском языке, выводящий с 1829 года и освещающий новости французской культуры для читателей в Англии и США.

11

Здесь и далее цитируется в переводе Т. Шишкиной.

12

Перевод Д. Дубшина.

13

Здесь и далее цитируется в переводе И. Гуровой и Т. Озерской.

14

Желающие могут ознакомиться с русским переводом этого текста, опубликованным в журнале «Иностранная литература» (№ 1 за 2008 год).

15

Здесь и далее цитируется в переводе Йога Раманантаты, М. Антоновой и П. Гелева.

16

Doyle G. Out of the Shadows – The Untold Story of Arthur Conan Doyle's First Family. Ashcroft, British Columbia, 2004.

17

Иногда имя героя переводится как Мика или Майки, но это не совсем корректно: мальчик, родившийся в религиозной семье, был назван в честь библейского пророка, чье имя, в свою очередь, всегда переводится на русский язык именно как Михей; подобные старинные имена носят многие персонажи романа.

18

Либералы в 1895 году потерпели крах и к власти пришло консервативное правительство во главе с лордом Солсбери.

19

Перевод Н. Облеухова.

20

США присоединились к Бернской конвенции аж в 1988-м, тремя годами позже России – когда обнаружили, что копирайт на программное обеспечение приносит им немалый доход.

21

Жан Поль Рихтер – немецкий писатель, сатирик, публицист, которого наш Белинский разделал под орех, назвав хаотическим, путаным, выспренним, сентиментальным, натянутым и елейным.

22

Перевод В. Станевич.

23

Сервантес М. Дон Кихот / Пер., под ред. Б. А. Кржевского.

24

Скотт В. Айвенго / Пер. И. Лихачева.

25

Дойл А. К. Белый отряд / Пер. В. Станевич.

26

Позднее обнаружилось, что туберкулиновая проба может использоваться в диагностике туберкулеза: это открытие явилось главной причиной присуждения Коху Нобелевской премии.

27

Вторая мировая война подкосила журнал: расходы возросли, тираж упал, и в марте 1950-го «Стрэнд» был вынужден уйти с рынка. Позднее журнал возродился и существует по сей день. Уже в первом его выпуске были помещены две статьи, связанные с творчеством Конан Дойла; ни один последующий выпуск не обходился без материалов, посвященных человеку, который сделал для славы «Стрэнда» больше, чем кто-либо.

28

Желающим прочесть на эту тему что-нибудь фундаментальное можно порекомендовать, например, текст венгра Тибора Кестхейи «Анатомия детектива».

29

В самых поздних рассказах о Холмсе появится беглое упоминание о том, что Уотсон снова женился и съехал на отдельную квартиру; читатель – если он не холмсовед – этого обстоятельства даже не замечает, так как Уотсон по-прежнему круглосуточно околачивается на Бейкер-стрит.

30

Лк. 1:1 – 1:3.

31

В работе Клугера, кстати, и христианнейший Браун имеет схожую природу – это таинственный, падший, черный, адский монах; а имя «Ниро Вульф», означающее «черный волк», символизирует волка-оборотня...

32

Перевод А. Ю. Гаврилова.

33

Этим термином принято обозначать период с 1811 по 1820 год, в течение которого принц Уэльский Георг был регентом при своем душевнобольном отце, короле Георге III, а также период его правления уже как короля Георга IV с 1820 по 1830 год.

34

Перевод Е. Фельдмана.

35

Был не так давно забавный случай: боксер Насим Хамед был удостоен Елизаветой II звания рыцаря Британской империи, но после того как рыцаря поймали при управлении автомобилем в пьяном виде, королева звание отняла – наглядная иллюстрация к словам доктора Дойла о «достоинстве, утратившем всякое значение».

36

Последняя мотоколяска, произведенная «Уолл Трикар», была в 1988 году продана на аукционе «Кристи» за 61 тысячу фунтов.

37

Его виновность так никогда и не была доказана. Некоторые современные исследователи в ней сомневаются.

38

Многие литературоведы, кстати, полагают, что образы Марлоу и Куртца в «Сердце тьмы» Конрада тоже вдохновлены Кейзментом.

39

Интересующиеся историей спиритизма, вероятно, видели русский перевод, озаглавленный «Религия в свете Нового откровения». Такой работы у Конан Дойла нет. Это компиляция, включающая фрагменты из разных книг и статей доктора, посвященных спиритизму.

40

На эту тему написана масса книг – например, «История странной дружбы» Х. Каррингтона и Б. Эрнста (Carrington H., Ernst B. M. L. The Story of a Strange Friendship. N.Y., 1932).

41

Зачастую пишут «леди Джин», но это неверно: так следовало бы называть жену доктора, если бы она была леди по рождению.

Kalush W., Sloman L. The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero. N.Y., 2005.